Борис Викторович
Шергин

Собрание сочинений

Том третий

Дневник
1939 – 1968

БОРИС ВИКТОРОВИЧ

ШЕРГИН

Собрание сочинений

ТОМ ТРЕТИЙ

ДНЕВНИК
1939–1970

НО «ИЦ «Москвоведение»
Москва
2014

УДК 821.161.1(093.3)Шергин
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Ш49

**Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»**

**Благодарим за оказанную помощь:
Музей Б.В. Шергина в Москве (Рождественский б-р., д. 10/7)
Архангельский литературный музей (ул. Володарского, д. 10)
и лично Б.М. Егорова**

Шергин, Борис Викторович.
Ш49 Собрание сочинений : В 4 т. / Сост., послесловие Шульман Ю.М. – Москва : НО «Издательский центр «Москвоведение», 2014.

ISBN 978-5-905118-27-2

Т. 3 : Дневник. 1939–1970. – 496 с. : ил.
ISBN 978-5-905118-48-7

Перед вами третий том издания произведений Бориса Викторовича Шергина (1893–1973) – замечательного русского писателя, сказителя, знатока древнего русского народного творчества и мастера русского языка.

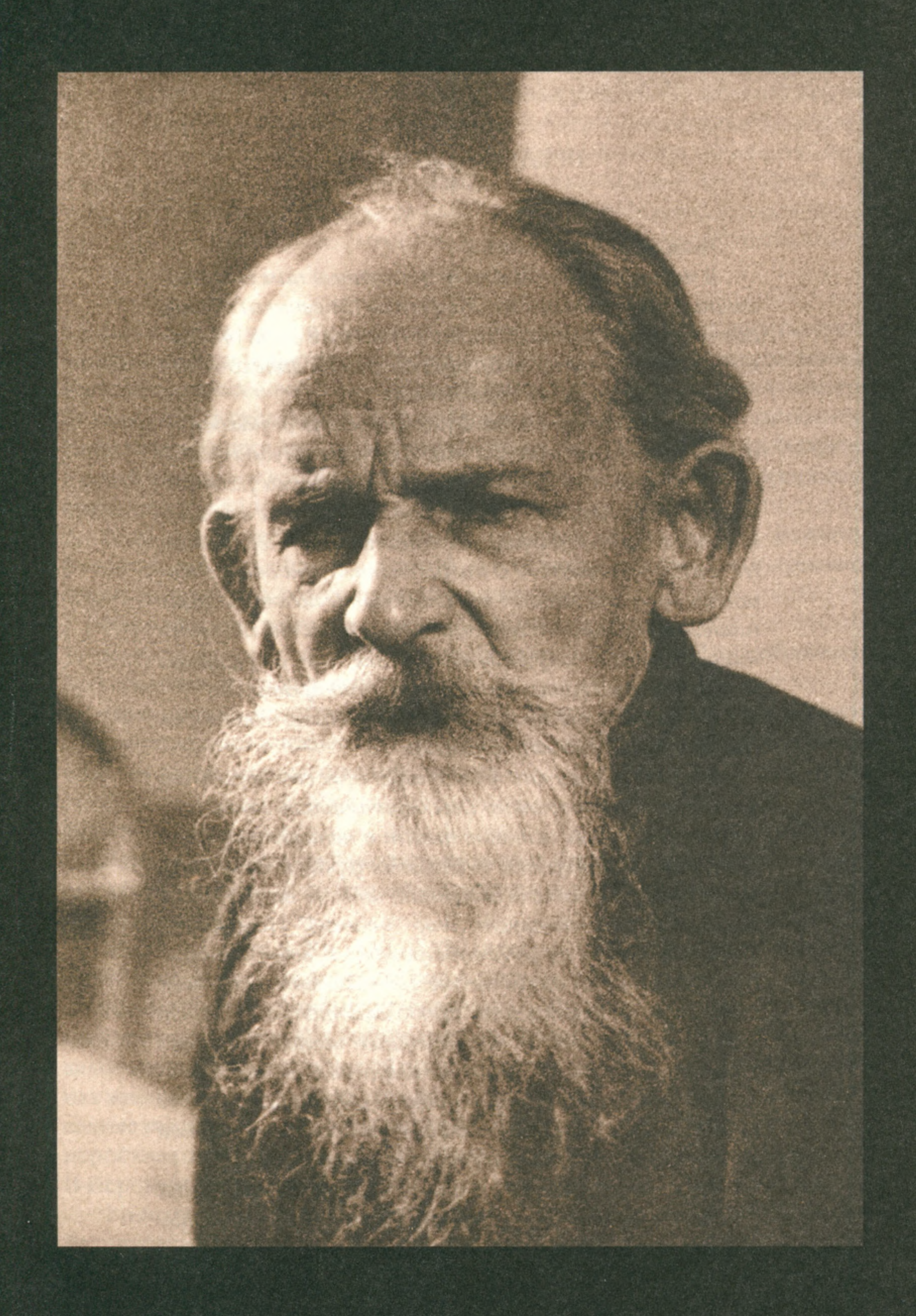
Первый и второй тома собрания, включившие фольклорные обработки, статьи и сказы писателя, вышли в 2012–2013 годах и сразу привлекли к себе интерес читателей.

В третий том вошёл в наиболее полном виде сокровенный дневник писателя, который он вёл практически в течение всей своей писательской жизни, его размышления о жизни и смерти, о вере, об искусстве и культуре, о времени и людях. Издание дополнено фотоматериалами из архива писателя.

Отрывки из этого дневника, вышедшие после смерти писателя, вызвали большой резонанс у всех любителей литературы, неравнодушных к судьбе культуры нашей Родины.

**УДК 821.161.1(093.3)Шергин
ББК 84(2Рос=Рус)6-4**

ISBN 978-5-905118-48-7 (т. 3)
ISBN 978-5-905118-27-2



ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые читатели!

В настоящий том вошли доступные нам на сегодняшний день тексты из «Диариуса» (дневника) Бориса Викторовича Шергина. Часть из них уже была опубликована, часть взята из архива писателя. Далеко не всё. Отсутствуют целые года. Почему?

Значительная часть архива писателя находится в Институте русской литературы (Пушкинском доме) Российской Академии наук. Над ними работают учёные, специалисты-филологи. Работа их тщательная, кропотливая, доскональная и неспешная. Не будем им мешать! С ними достигнута договорённость, что мы можем опубликовать на страницах нашего популярного издания новые тексты Шергина только после опубликования их на страницах «Ежегодника» Пушкинского дома. Это правильно.

В нашем томе вы наверняка заметите некоторые странности и несоответствия.

Они касаются как языка писателя, своеобразного, живого и неповторимого (мы ограничились самой лёгкой корректурой, оставив текст в авторской редакции), так и датировки отдельных фрагментов (внимательный читатель заметит, что не всегда число месяца соответствует дню недели). Некоторые отрывки вообще трудно датировать, и, возможно, они находятся не на своём месте. Нам известно об этом. Работа над рукописями продолжается, она будет идти не один год. В последующих наших изданиях (запланирован ещё один том, но его явно недостаточно) мы будем исправлять ошибки и публиковать новые тексты. Все замечания, которые вы пришлёте на наш сайт, будут с благодарностью учтены.

Пользуясь случаем, ещё раз благодарим Пушкинский дом и лично Татьяну Сергеевну Царькову за внимание и благорасположение к нашему скромному изданию.

1939

***

Вот я всегда писал о цветочках, да облачках, о птичках да лестовочках. А миру надобны ведь решения вопросов смысла вот этого существования. Решение вопросов вот этих болезней самого человека или его близкого. Вот как у врача: целый день люди с болезнями, которые надо сейчас лечить. Они смерти боятся, нужды, голода. Им не до лестовочек и белых берёзок. Как избавиться «от всякия скорби, гнева и нужды» – вот по каким вопросам нужна консультация.

Если около тебя плачет семья, то корми её, во-первых, телесно. Воспитай, пособи, подыми, успокой. А там, ежели в силах, дак и душевно поучи. Но знай, что: голодное брюхо к ученью глухо.

Как я радости-то этой в сердце хочу! Она ум рождает.

Радость из себя, в себе радость дорога, которая всё преображает. Бескорыстная радость, так сказать.

Мрачно шёл по переулку, горюя, что денег нет в антикварный или букинистический магазин идти. И вдруг в переулочке веточка и дерево на небе вечернем, меж туч осенних, тяжких.

1939 <?> осень

Какая радость иноческие те писания мне! Какую тишину на сердце сводят, какой мир! Какой-то вечный кислород в воздухе для меня пребывание иноком в мире.

Жили ли они в XV, XVI, XVIII веке. А наиболее живы, жившие в XIX веке. К словам, к рассказам о них, не говоря уж об их словесах и писаниях, как к вешнему утру приникаю. Их дело, их жизнь – подлинный эликсир жизни. Как богата, как полна была жизнь XIX века! А я увлекался археологией, эстетикой старообрядчества. Не скажу, что в расколе нет жизни, но у нас есть... Есть... Как же есть. Sic! Ведь они умерли, эти оба святые иноки. Вот сейчас ты читал в Соловецком патерике об Иерониме иеросхимонахе и обрадовался. А ведь и книга та, издание 1873 года. И Иеронима нет давно.

Во-первых, (вероятно, один из замечательных иноков плеяды Паисия Величковского) жив. (Но о сем после.) А во-вторых, помни рассказ

Гейденрейха, ездившего на Соловки, по переписи и видевшего в дебрях пустынника, 30 лет безмолствующего в пещере.

Пустынник только посмотрел на «переписчиков». И молодежь богохульная от взгляда присмирела и убралась молча в лодку да обратно.

Значит, есть святые иноки и в наши дни. Сколько их, пребывающих сокровенно, ведомых Единому только Богу. А «мир» воображает, что нет ныне святых. Подлинное скрыто для «широких масс» и как бы пропадает для тех...

***

...но, кроме, конечно, Достоевского, Самарина, К. Леонтьева, кто сознавал себя современником святого. Знали о<тца>Иоанна К<ронштадтского>, но если «тот берег» Амвросия Оптинского не желал замечать, то Иоанна Кронштадтского «те» поносили и забрасывали грязью. Вот тут-то аксиома «мир во зле лежит» и подтвержается. Узнав о святом, если святого поставят на свещницу, наш век не только не умилится, не только не почтит святого, а будет тщиться в грязь имя святое втоптать.

Как досадно, что начнёшь об <нрзб.>, о внутреннем говорить и сразу свернёшь на внешнее, на ничтожное...

Удивительное свойство «мира» искать, видеть и помнить в людях, от мира отрёкшихся, только худое. Одни поносят их сознательно, по заданию, другие бессознательно, по глупости. Слово «монах» у них ругательное. Мнихи «все дармоеды, паразиты, обманщики, притворщики». Монахини – «мокрохвостницы, смутницы, ханжи и т. д.». Конечно, были такие, и таких-то мир знал, потому что был их достоин. А которых мир не был достоин, тех и не знал.

И вот ещё доказательство, что мир пал и лежит во зле невсклонно. (Это многие чуткие отмечают и поражаются): в зло вера отнюдь не малится. Верят в волшебство, в колдовство, в приметы, боятся мертвецов, несчастливых дней. Лизка Харит<оновна> ненавидит Бога, попов, иконы, а колдовство, чертовщина, приметы... тут самым диким и нелепым басням и бабьим запукам верит.

Апостол: «В велице дому не суть точию сосуды серебряные и золотые, но и глиняные и деревянные».

Я отчаялся, горе душу сжало: почему иные хапают, и у них тысячами насыпано, не знают, что придумать. ...И вдруг коснулось сердца: а ты кем быть обещался? Не иноком ли? На что ты родился? Забыл ты преподобного Сергия? Не нищету ли и он, чудный, принял на себя? И тебе ли надуваться и надмеваться теперь, когда всечестные кости великого отца нашего Сергия Радонежского валяются в плену? Тебе ли, сору, навозу возвышаться?? Отнята красота от нас Божиим промыслом.

А «тем» не завидуй: черви они, кишащие в трупе.

1939 года

Тишину ты, Господи, дай мне в сердце, чтобы слушать-то мне тебя. Редка, мимолётна была эта радость в сердце. Конечно, может быть, раньше я недарованное восхищал. Встают в уме «начальники тишины», манят светло в мир покоя, тишины немерцающего света. Оптинские<?> «сборники» сколько основоположники иночества в каждом месте, друга столько теперешние умиляют, радуют. Ведь жили эти иноки теперь, в нашей обстановке, ещё домы те стоят, где они, чу́дные, обитали.

То, что сейчас не рисуют так, как прежде, не могут так рисовать, говорит о склерозе человечества.

Не вовсе без ума некто говорил, что лучшие произведения, напр<имер>, писатель создаёт до 30 лет. (Я бы сказал, наиболее взволнованные.) Ну... до 50 лет. А мир ведь уж дряхл, дряхл... Европа особенно. В молодости, можно сказать, всяк поэт, всяк художник. В молодости творческое живёт. Весело смолода жить. «Что это иду да наиттись не могу. А теперь, – говорит старуха, – радость вся потерялась». Это болезнь, это сейчас в искусстве ненормальное состояние, что рисование иссякло. «Senectus ipse morbus»[1]... И надо, конечно, лечиться. Но не надо отчаиваться. Надо только знать, что это болезнь, это состояние ненормальное в искусстве. В нездоровом теле сей дух. Далёкие от искусства, от художества, никогда не касавшиеся рисования, громят и раскатывают, топчут копытами рисующих. Мнят себя быть, может быть, убеждённо, правыми. А они больные, жалкие склеротики, дети декаданса, дети дряхлости и упадка. Это неврастения, психостения. Но ежели и ты, и я потеряли здоровье, веру, дак всё же не считай своё такое состояние нормальным, а лечись, понимай, верь, что правильными были убеждения (рода человеческого) в цветущих годах, при разуме, при расцвете сил умственных, душевных и телесных. А наши времена – упадок, болезнь, идиотизм, маразм. Болезнь века: так тому быть.

Книга как человек. Книга – мир богатейший (говорю о настоящей книге) собран в ней. Она невелика стоит на полке, а всё в ней. И человек, её написавший, и мир, им описанный. Возьми патерик Оптинский, возьми Дамаскина (Валаамский). ...Волны, небо, море, острова, история; века и люди сохранены прекрасные, чудные. Всё перед тобой оживает, как только книгу раскроешь. Дела их, речи, поступки живые, яркие, блещущие, искрящиеся. Люди патериков, они более живы, чем все мы, ещё таскающие ноги по земле. Посмотри, повторяю, на в чёрном переплёте патерики. Какая сила, какая мысль, какие характеры, какой героизм! Сколько света, воли! И всё это чудным, дивным образом собрано, осталось в малой книжице. Такая книга, как оконце в мир светлый, бодрый, радостный, здоровый. Такая книга – чудные духи во флаконе. Книгу такую раскроешь – как

[1] Правильно: Senectus ipsa morbus est – Старость приходит не с радостью, но со слабостью (лат.).

из чёрной ночи в золотой, вешний день войдёшь; из нищеты в богатство. Да, я-то беден, нищ, а царское одеяние у меня на полке. Я-то озяб, трясусь, а летнее солнце у меня вон стоит. Я-то болен, а вон лекарство вечное, испытанное. Я в грязи, а вон моя баня. Я в тосках, в печалях, а вон моя радость. Протяни руку... Я в безумии, а вон верный разума наставник. Востину книга такая – «царство небесное дома родилось» (Аввакум Петров). Я слепну телесными глазами, а оная книга очи душевные раскрывает. Ты заблудился, а она путеводитель. Ты голоден, а оная святая книга – хлеб неистощимый. Вот что силы найдёшь, человека искать куда пойдёшь? А книга та тут с тобой. И аз, памятуя о добрых книгах, помышляю оные изобильно у иных лежащие; почитаю их акибы сокровище некое. И в оных по горло увязал, оные приобрести тщуся, и сия моя страсть несть добро, понеже не похваляют отцы, чтущих многие книги.

20 ноября (по ст. стилю)[1]

Учись-ко ты не ждать «соловьёв с неба», что настроение и вдохновение снидёт на тебя откуда-то. Учись в себе находить и самому создавать. Но как близ десятка лет писал и разорялся на себя, что де «слово просто обидит мя, мала печаль повержет мя», то и теперь едва ли не хуже стало. Соберёшься иное, и хочется от радости отрыгнуть слово, а уж и отлетело «настроение»-то. А тишину, умиление хочется получить. Это всего дороже, это настоящее счастье, «радость» эта, источник, ключ отмыкающая. Когда бывает эта радость, это умиление, не знаю откуда в душу приходящие, то всё ладно, всему радуешься, всем доволен, всем счастлив... Да, расплакался Адам, перед раем стоя: «Раю мой, раю, прекрасный мой раю!». Где ты, моё умиление, где та тишина, где то «настроение», так неожиданно, бывало, находившее? Метёшь пол, постель убираешь, и вдруг тихость эта придёт. ...Бросишь веник и стараешься посильно светлую минуту на бумаге запечатлеть.

...Да, невозможно это с людьми, даже с родными, живя[2].

В каком надо быть устроении, преуспеянии, чтобы равнодушно, не говорю уж «благодушно» переносить житейские щелчки, пинки, подзатыльники. А в жизни ведь не то что ежедневные, а ежеминутные раздражения да перекоры... «Терпения надо не воз, а целый обоз» (говаривал ст. Амвросий Оптинский). Конечно, ежели в себе самом на каплю нет терпения и благодушия, то нельзя от людей требовать. Верно говорено, что надо с людьми как с детьми обходиться, а часто как с больными. И то понять крепко надо, что сам-от ты «больной» и не по-здоровому всё делаешь и поступаешь. Не смог я никоего добра доспеть «ближнему» своему. Истинно: слепой слепого поведёт, оба... (это всё я ведь с горя, в раздраже-

---

[1] Даты в дневнике даны по старому стилю, кроме оговорённых мест.
[2] «Мнение незрелое, ошибочное» – примечание Б.Ш.

нии пишу. И себя со злости угрызаю. И лютую на брата. И вдруг помянул, что он хотел завтра насчёт книг сходить: еле жив сый побредёт...).

...Насчёт книг... Теплее кряду стало, как о любом-то, желанном помянул... Насчёт книг... Как я жадаю книгами, которые годятся-то мне.

Книги моё удовольствие. Настоящие, конечно, книги. Вот ещё, кабы возможно было, «костюмчик чёрненький»[1].

Ещё кабы именем псевдоним-то свой сменить. Впрочем, пока-то и своего имени недостоин, а «балабол» – самое мне названье подходящее. А завтра ведь мой праздник Введения.... Там у Жиздры снега лежат, и ели стоят, и тишина... «Я не видал своей святыни, не знаю я твоих красот», прекрасная Оптина пустыня, «одно, одно я знаю верно», что ты ныне «таинственна безмерно», но жива ты, жива душа твоя!

И ныне тамо «силы небесные невидимо служат». Есть Оптина, «не умерла, но спит»... О, восстани, восстани, моя обитель! Жив Бог, жива душа моя!

Видимо святыня Оптинская в едином месте была. А невидимая она везде стала. Разрушена моя пустыня и тем переселилась во многие и многие сердца. И в моё. И в моё! Нет, не случайно и патерик Оптинский <?>, заветнейшая книжица с детства, с оптинскими надписями в руки попал. А портрет любимейшего отченька моего Амвросия. А чудные эмалевые иконы знаменитого ростовского мастера, знаменитыми отцами Моисеем и Антонием принесённые. И это диво мне досталось! Это всё оттуда мне благословение дивным образом.

Я вот что хочу давно сказать: Бог подаёт, вероятно, милость всем, о ней вопящим, но тёмным и слепым, слабым жизнью неявно для них от них смертную беду отводит. Они думают «так прокатилось», а это Он отвёл. Но чистые душой явно десницу Божию видят.

***

Ох, эти «паршивые настроения»! Когда настанет такое «плохое настроение», то уж всякое неустройство и просрочки, и долги давят и страшат; главное, угнетают.

А как радость или хоть тень радости, дак уж «ладно», «как-нибудь», «обойдётся», «авось да небось», «Живём мол, да маемся, а всё вперёд пихаемся», «Не горюй, мол, Параша, не потонем».

Всё равно: худо, бедно, здоров, болен – повадишься писать, дак оно и пойдёт само. А я себя писать не повадил. У другого льётся само, а я себя выжимаю. А се и теснота мешает. Хочется писать то, что из души, хоть не ключом бьёт, а струится. Хоть тоненьким ручейком, а от сердца. А выдумывать, вымучивать – скучно это. Бывало, как на дрождях от полного-то сердца ходишь: скорей бы листок где схватить, карандашик найти.

[1] ряса?

Бывало, по дорогам на берёзах записывал благие-то мысли... А теперь я увял, оравнодушел. Не подымусь, не полечу весёлой-то думой, лёгкой, светлой. Сел, сижу. Нету в сердце радости...

***

Всегда всё хорошо в природе. Всегда она прекрасна, во всякую пору. Не говорю уж о весне и лете. А зимой в лесу разве не чудно хорошо. Нет, не умерло всё, но спит. Тишина, снежок. А тона куда более благородные, чем летом. Чёрный цвет, как сталь воронёная, как тушь китайская. Чудная гамма серых тонов: и серебро, и жемчуг, и белые тона – вспоминаю старинные определения белого цвета: сахарный, блакитный. А мы всё: «белый». «Палевый» скажут ещё. Своих-то, вишь, нет, дак французское «pâle». А старые красного цвета определения: «мясной», «брусничный» и т. д. А жёлтые: «светло-соломенный», «русый». «Камень тот рус живёт» (гиацинт).

***

Как у отдельного человека притупляется острота восприятия по отношению к тому или иному предмету, так и у целого народа. Отсюда смена вкусов, мод, стилей в искусстве. Нам кажется странным, например, как это в России с конца XVII века могли сменить строгий, величавый, высокий дорический ордер на барокко, тогда уже распространившееся по всей Европе. Да потому что захотелось чего-то полярного давно приглядевшейся древней иконописи. А в барочных (затем рокайль) образах-картинах и была как раз новая острота. И более чем на сто лет барокко чувствительный полюбился. Такова была реакция против многосотлетнего единообразия. Долго матушка Русь от «западных» стилей отворачивалась и небрегла, да вдруг сразу «с ручками» (как говорят ребята-купальщики) в барокко утонула.

***

Они святые-то, ведь древние... А что есть древность?? О, как она относительна... Ведь и матери нет, а вот их письма, и чернила ещё не пожелтели. Вот кофта материна, кошелёк её. А вот Нинушкины все вещи. Отец Виктор Васильевич, уж и вещей его мало: писмецо, запись из книжечки. Бабушки Олёны Кирилловны что есть ли? А тётино, она давно ли умерла, а что есть? Патерик Соловецкий, спорок шубный. А иные и прошлый год умерли, а ни синь пороха не оставили.

Да ещё вот что, фотографии многих есть, кои покойные и тряпки по себе не оставили. Но я знаю, что они были. Со мной они, во мне они живы. Поколику я помню их, своих родных, бабушек, дедушек, отцов, матерей, я о них рассказываю, их портреты показываю, пишу о них. И таким обра-

зом они живы во мне и через меня. Я свидетель. Не было бы меня да фотографий, дак и недавние они, недавно умершие уж как бы небывшими оказались. Всё равно, что сто лет умерли они, что десять лет. Это в малом, в моём роду. Но так и в большом, и в великом. Не было бы о великих людях свидетелей, описавших их, не было бы портретов их, не было бы именья их, и мир не знал бы о них. И их бы всё равно что не было. Конечно, от великих дела остались, писания их И это живёт, этим ещё живы великие. «Умолкли Иоанна Златоуста уста, он оставил нам другие свои уста – книги». Так что великие вдвойне живы. Не только тем, чо о них свидетельствовали современники, а по современниках предание устное и письменное, не только потому, что вещи их остались, но и потому, что дела они оставили приснопамятные.

Но всё равно: я хочу доказать, что всё равно, что десять лет, что пятьдесят, что сто лет, что триста лет назад и пятьсот, а может быть, и тысячу лет назад жил человек. Уж как нет в теле человека, дак всё равно, всё равно, что десять годов не вижу, что двадцать пять лет, что сто лет (мамы нет 18 лет, сестрёнки 8 лет, отца 35 лет... А разве не всё равно... Какая разница, что, скажем, мамина бабушка умерла в 1863 году, отец отца в 1865... 75 лет назад... А Нина – 7 лет? Живы бы, дак менялись, старились. А нет их в теле, дак они перестали меняться. Время для них не существует. Они уж вечные. Приложились ко отцам своим и стали вне времени.

Относительная вещь время. Оно только для этого болеющего тела существует. А так, вообще, времени нет. Условно это счисление времени. Онтологически не время проходит, а проходим мы. Т. е. вот этот участок бытия в теле своего и измеряй, а как в вечность канешь, дак пустое дело – вычислять. Особливо об отошедшем, канувшем в вечность. Там 1000 лет, яко день един. Там, в пучине вечности, и IX век со светилами его всё одно, что XIX век. Там они живут без календарей, без дат, без численников, без годов. Там Иоанн Златоуст со святым Филаретом Дроздовым беседует, Дамаскин с Тихоном Задонским, Антоний Великий с Серафимом Саровским. Помахивают они века-то.

Таким образом, как сделался человек невидим здесь, ушёл туда, где нет времени, но жизнь вечная, где нетление, дак и не глупи, не считай, что, вот, те древние отцы, «чудотворцы», а эти «новые»: мы их застали. Ты этих знал, а бабка твоя тех давних видела и слышала. Ты Нектария знал, а бабушка твоя Амвросия знала лично. Этих не молоди, «недавних», тех не старь. Погляди-ко на иконы-те. Иоанн Предтеча со святителем Филиппом (Колычевым) вместе. То и правильно. Так и есть. Законы настоящей-то жизни, бесконечной, иные, чем тут, в жизни временной. Тут у нас всё, как в ящичке или в инкубаторе, всё в мелких, жалких, ограниченных масштабах. У нас всё тут игрушечное.

Игрушечный детский мы домик «нащокинский»[1]. А «тамо» – «не тот материал-с!». (И как смешно, что мы тут надымаемся, топорщимся да пы́хаем.) Дак вот: детское рассуждение, что «те древние, а эти новые». Все они «в Боге почивают». Значит, жалкая земная мерка о времени не существует для них.

...Я начал было с того писать, что доказывал о вещах да об остатках. Любим (верим) за то новых, что сами их видели. О том говорил, что и древнее столь же достоверно свидетельство... что де остатки остались, дак и живы. И что де всё равно, что 75 лет, как деда нет, что 7 лет, как сестры нет. Дурова голова! Не в остатках дело, а в том, что с Вечным Солнцем, вездесущим, они соединились. А там разбирай, какой оттуда тебе луч светит – древний или новый. Все там равно сияют. Там, «идеже лики святых Господи и праведнии сияют, яко светила».

Впрочем, по-сесветскому я не неправ. Мы в теле, дак и судить вправе телесно, вещественно. Ино, вечная правда и здесь права. Как увижу калиги да ложку, да чашку Сергиевы (а он жил многонько веков назад), дак нисколько он не древнее Оптинского Амвросия. У Амвросия тоже и посох, и чётки, и шапка остались. И XIV, XIX век, вот они: задеваю их руками. А вот кости их. А вот рука – подпись Филиппа Колычева (XVI век), а вот Филарета Дроздова (XIX в.). А се списаны речи их; а се постройки, ими возведённые.

Очень близки к нам (по-сесветски-то) описания жизни их, данные современниками ярко и просто. Поэтому изумительные характеристики, прямо сказать картинки бытовые, скажем, из патерика Скитского и т. п. отцов наших южных древних (начала Средневековья) очень к нам приближают, к нашему времени подводят. О какое благо было бы, ежели бы эти патерики, прологи, минеи четьи и служебные стали нашими настольными книгами; люди эти (а ведь это не тени – герои сочинённые романа, а биографии) близки были бы для нас. Конечно, время, поскольку мы на земле и во времени, чувствуется. Но, чуть оставили книгу, опять это: ох какая древность! И вот поэтому легко и светло нам видеть во святых современников (XIX) век. Вот почему любим и ликуем их обиталища видеть, их горницы, их вещи, даже фотографии сохранились подвижников XIX в. Как-то нам надёжнее, что вот в этих стенах жил и душу Господеви предал Серафим Саровский. ...Вот его рукавицы, сапоги на прямую колодку. Чу́дно это и радостно. И об Оптинском радовании, Амвросии, знаем, что хоть полсотни годов преставился, а келлия его ещё вчера тут вот была сохранна. А карточки с живого везде и старики о. Амвросия помнят.

Древние в «те» эпохи жили. Жизнь, культура, быт – всё иное было. А эти-то в наше время, в нашей обстановке, среди знакомых нам вещей жили. Они по-нашему одевались, говорили, снимались, на таких же стульях сидели, вот эти книги в руках держали.

[1] Известный игрушечный домик П.В. Нащокина, друга А.С. Пушкина.

Уж очень это любо и светло, и радостно, что среди нас они жили, среди наших отцов и матерей.

Но вот тут ещё ворочусь назад. Радуйся, зовый, ликуя, что задеваешь сапоги, рукавицы Серафимовы, и умились, что он перед этой вот самой иконой Умиления отыде ко Господу.

И сразу же сообрази: а вот две келейных преподобного Сергия иконы, перед коими так же точно, как Серафим Саровский, молился, на коих Сергий угасающий взор остановил.

Серафим близок, а Сергий почему далёк?? Вот тебе и ризы Сергиевы пестрядинные, и его ученика фелонь и книга тут.

Добавлю, наконец, что и тому радуешься о святых нашего времени, что они доказательство пребывания благодати в церкви Христовой и в наши дни.

Убоги, жалки, скаредны ценности мира сего. Только вера Христова есть действительность. Только Мессия истинная реальность.

***

Люблю святых Божиих угодников Севера, своего родного края. Зосима и Савватий Соловецкие, Антоний Сийский, Кирилл Белозерский и многие, многие... Но вот живу в Средней России два десятка лет, и уж близки стали не только, напр<имер>, божественный Сергий и Никон, его ученик чудный, люблю уж не только святых общеименитых «всея России чудотворцев»; Серафима и прочих великих, не только люблю Оптинского Амвросия и Льва, и Макария, и Антония, и Анатолия, в Оптинской подвизавшихся, Димитрия Ростовского, Тихона Задонского, Митрофана Воронежского. Их все знают и ублажают. Везде их лики. О них мог бы как-то и на Севере узнать.

Живя в Средн<ей> России, люблю, полюбил и по брату ставшего близким сердцу моему Савву Звенигородского. И кто ещё? Да всех святых угодников, что в старых московских градах и обителях почивают.

А святые угодники Севера рисуются мне: море шумит, волны бегут, ветры, бегут корабли, белые парусы. И они: Зосима и Савватий, Антоний Сийский, Елисей Сумский, Герман, Иринарх; Пертоминские Вассиан и Иона, Яренгские Иван и Логгин... Везде они по северным морям. Они как чайки, нигде им не загорожено. С кораблями они плывут, обороняют попавших в относ на льдинах, видят их у руля, направляющих в гавань шкуны, видят с веслом правильным на краю льдины.

Угодников Соловецких Зосиму, Савватия, Германа, Иринарха, Елеазара, Святителя Филиппа (Колычева) в XVII, XVIII, XIX веках видали многажды на судах, стоящими, как мачты, с мантиями, наполненными ветром, проводящими гибнущий корабль в гавань.

Похоже на сагу скандинавскую житие Елисея Сумского[1]. Жену убил любимую, положил тело в кораблец перед собой, погрузил свечей и хлеба. Отворил паруса и уплыл в дали морские. Плыл океаном весну, лето и осень. Зимовал в мурманском диком ущелье, не сводя глаз с лица любимой, мало изменившегося, хотя иссохшего от морских солёных ветров. Весной Елисей справил в Белое море. Полуночное солнце, беспредельное море, кораблец с чёрными парусами, посередине мумия прекрасной женщины. В тихую погоду над нею горят свечи. У руля окаменел человек.

Когда лицо любимой изменилось от чёрных зимних ветров, Елисей высек в Сумском берегу «печеру», схоронил жену. И сам в нечеловеческих подвигах поста, молитвы, наготы скончался здесь, стяжав посмертно дар чудотворений.

Или вот ещё живая чёрточка о святых, живших в XV веке. Чёрточка, стирающая без всяких преодолений и трудов, без всяких проникновений «в древность», чёрточка, разрушающая время по самому обыкновенному, земному: «Лета 7032 (1524), 2-го марта, пытал у Евпроксеньи Васильевой. И Евпроксения сказывала: «Помню маму его, которая его кормила. А звали её Ефимия[2]. А жила 106 лет...». Выходит, мама-та ещё в XIV веке жила. Ибо и «дитя» (св. Макарий Калязинский), ею выкормленное, преставилось в 1483 г. «в старости глубоце». А справка понадобилась при обретении мощей Макария Калязинского в 1521 году.

Прочтёшь, и как будто сам проник и приник к тем векам, и обоняешь их аромат. Видишь, как легко через века шагают, как время малится.

Тётка Глафира Васильевна говорила мне, что её дедушка ей рассказывал, что видел человека, который присутствовал при казни стрельцов.

По расчётам, это она от деда слышала в 1850 году. Деду было 80 лет. Деду рассказывали тоже в юности, примерно в 1780 г. Рассказывал 100-летний старик, ещё заставший XVII век.

Если читать историю, исторические «романы», как это всё всегда «было давно». А послушаешь такой рассказ и высоко над временем взлетишь, два века видишь... И это ещё в «сесветных» условиях такой взлёт, такой охват и конденсация времени возможны.

***

И ещё почто люблю наших северных святых. Имена их с детства на октениях слышал. Ещё мама на руках в церковь водила, за руку к Воскресенью водила. По порядку из уст о. Михаила помню: Зосиму и Савватия Соловецких, Антония Сийского, Никодима Кожеозёрского, Трифона Печенгского, Варлаама Важеского... Пертоминских... Яренгских, Артемия Веркольского чин.

---

[1] Речь идёт о В. Керетском (см. старину о Варлааме Керетском во 2-м томе).
[2] Матерью Макария была Ирина Кожина.

А в Соловецком подворье с детства выучил на слух Зосиму, Савватия, Германа, Иринарха, Елеазара Анзерского и прочих Соловецких чудотворцев...

И ещё почто радуюсь о таких святых, как Филарет Митрополит? И иные, нам по времени близкие? Потому что с ними, как на одном корабле плывёшь. Они ещё кораблём-то правят. Тут ещё они, близко.

***

Сто лет для жизни в церкви ничто, и 200 ничто. Например, «петровское» – это уже как бы наше. Но 300 лет, XVII век – это уже древность. Прискорбно это, конечно. Там-то самое «наше». Но послепетровских людей как бы больше понимаешь. Они уже как бы современники. Они уже на твоём корабле. А то всё «древние». «Там» всё «разительно» отличается от жизни, от быта, скажем, столь близкого нам века XIX, в недрах которого мы родились. (Деды наши родились из недр XVIII века.) Вот, как художник и как убогий, но всё же именующий себя сыном церкви, люблю, скажем, град Сергиев, Лавру преподобного Сергия (сокровищницу и искусства, и веры). Но кипение её, центры тяжести её ведь вот куда надо отнести – к преподобному её основателю, к его ученикам, к Дионисию XVI века. Вот где основной акцент Лавры.

Цветуща была сия сокровищница и в последующие века, но, как бы утомясь и убоясь величием и роскошью сей святыни древней, центральной, исторической, героической, знаменитой, иное робко ищет душа.

Бремени веков, бремени истории «суеверно дивится посетитель». Отчасти вот почему возникают новые и новые обители. Да и простодушный человек любит, что поближе. Древние преподобные... их издревле навыкли знать в серебре.

Перечёл написанное и смутился. Лишь плод утомлённого ума эти умозаключения... Неужто только музей присносияющая лавра Сергиева?! Неужто не жив богоносный отец наш Сергий... Никон... Дионисий?

Нету «древнего» и «нового» в вере Христовой. Вечно юнеет церковь Христова и всё, что в ней и от неё. Нету времени в Боге. Не стареет ничто, во Христе живущее.

***

Незамогла ты, ворона, по поднебесью-то летать... Вот и стараешься качество количеством заменить. Вон на Святей Горе велено одну икону, одну книгу держать. А ты хапаешь, хватаешь сюду и сюду. И уж не из чего хватать-то, карман-от пуст, от хлеба у семьи рвёшь, а полки забиваешь. И не читаешь уж, а лишь бы полки ломились. Тужишь, что не как у людей, что нет кармана. А пёс ли тебе в целой-то библиотеке?! Хоть двадцать комнат

книгами забей. Хоть Боткиным, хоть Остроуховым будь, а кому то осталось?! И на что тебе много книг? Сам будешь читать?

И на настоящие книги одну полку отряди: их немного, твоему убожеству насущных. А это ведь обжиранье: всё одно не переварить, не усвоить.

И вот, знаю, и не только знаю, но и чувствую, что одна, две книги нужны. Потому что «одно на потребу». А жадности не могу преодолеть. Подавай коробами. Старцы учители скажут, что это плохая примета. В сторону это от самых первых ступень преуспеяния. Хоть и об одном книги собираешь, да для тебя-то много. Да и каждому человеку не множество книг надо об этом «одном». Только «классические» книги об «едином на потребу» надо читать. И будешь их читать десяток, а одну изберёшь.

Но в большой надо быть мере, чтобы, как Феофан Затворник Соловецкий, говорить: «Читай Псалтырь! Одну Псалтырь».

А вот как, по-сесветному-то судя, для радости всё это охота собрать обилие-то книг об иночестве, об обителях, о святых... Я радуюсь над ними. Кабы можно, «сухой бы я корочкой питался», а книги покупал. Спал бы с книгами, которые люблю. Ужасти как они дух мне веселят и надымают...

Притупилось восприятие-то, не шевелят меня привычные-то одни и те же вещи и книги; надо новые. И это свойство, вероятно, всех любителей и собирателей «искусства и старины». Помню, говорил Н. А. Кл(юев): «Я сменил бы эти иконы: не чувствую их» (!!!) Любитель-антиквар Антонов, покупая у нас фарфор, говорил: «Приглядятся они мне, я их за ту же цену отдам». А молодой ещё библиофил предложил меняться книгами: «У меня все неразрезанные»...

Дети могут, конечно, в игрушки играть. Но даже и для «будущего» инока очень это несерьёзно. Помню, кажется, у Лермонтова: «Не множеством картин старинных мастеров...». Настоящая книга, настоящая икона – как дрожди неиждиваемые, век она бродит, мысли родит и надмевает тебя.

5 декабря

Зимний завтра Никола. Так по белым снегам его и прокатывает Русь-та. Краше его, света, мало, а прославить соборно некуда сходить. Да ещё и радения мало... В Кленниках у Мечёва Сергия, бывало...

Я вот толкую: «древние» святые да «новые» святые. Ближе-де новые. А в народной вере вопроса о древности или современности того или другого святого не существует.

На шкунах в море кого грызут? Многих грызут, а Николу первого. Не плесневеет этот хлеб. Цвет сей не теряет благоухания. Чудное дело: знать, хороший хозяин заботится!

Он жил на далёком юге. Жил много веков назад. И тут вот какое дивное дело: Русь его присвоила, на Руси Никола – «скорый помощник». «Никола –

скоропомогательное имя». Монастыри, храмы, деревни, корабли – сколько их, посвящённых святому Николе.

Русь (как и греки) не сделала из св. Николая ёлочного деда, как в Америке. Как он есть, таким Николу имеет Святая Русь. Живший в Малой Азии в Мирах Ликийских в IV веке, живёт уж много веков на Русском Севере. «От Колмогор до Колы тридцать три Николы» – церкви Николины. Монастырь Николы Корельского на Двине, Никола Веркольский на реке Пинеге. В каком доме не было его лика пречестного? И много ли ликов краше, любимее лика Николы Милостивого?.. А в храмах сияние свеч, тёмный измождённый лик с высоким челом, взгляд, проникающий в душу...

Малоазиатский грек, живший в IV веке. Но кто более жив, чтим и любим, чем он?? Кто не знает его? Про кого больше рассказов и легенд?! Жизнь святителя Николая на Руси – разительный пример тому, что счисление веков – IV, V... XX – важно только для учебников. А в церкви «древность» и современность сливаются. Могут не знать и «новых чудотворцев», канонизированных в XIX веке, а «древний» Никола живёт и чудотворит в народе. На Пинеге «вырезной» Никола ежегодно снашивает сапоги. «Поглядишь: подмёточки все уж сношены... Он ходит».

Да где только не расскажут вам о новых чудесах св. Николы. На Северной Двине в 1930 году женщины перегружали карбас с сеном. Карбас затонул на песчаной кошке. И женщины враз закричали: «Святитель Никола, убавь воды!». Вот вам малоазиатский «мифический» грек. Полной жизнью живёт «святый Николае» на Руси. Что там 70 его лет на дальнем юге, в безвестном тогда граде: его жизнь, жизнь в Византии, в России, в Италии, во Франции, в Германии... настоящая жизнь святителя Николая – это последние полторы тысячи лет. Скажем, с V по XX столетие! Вот этот «период» жизни святителя как раз богат событиями, происшествиями... Европа, Азия, Америка... Везде он!

...Да... В церкви, в религии всё так. В теле жив, невелико место занимал, а сбросил и везде стал. Отошёл святой ко Господу, и сразу «деятельность» его крылья, размах получает.

Как только человек святой жизни, о Господе почивший и Господу угодивший, ко Господу преставился, он, иногда сразу, иногда постепенно (это самое разительное!) со всеми рядом, с людьми-то, становится. Жив-то, дак куда-то писать или ехать куда-то надо, добывать старца-то. А преставился – и рядом около тебя оказался. Жив, годы считал: «Ох, стар де... немощен». А помре, и счёт годов отпал. Время перестало для отошедшего ко Господу. Полторы тысячи или тысячу лет назад жил в теле святый, но, начав жить жизнь вечную, стал одинаков и XV веку, и веку XX. Века сего света проходят, а живущий жизнь вечную всё тот же. Тамо жизнь неизменяемая, нестареемая.

7 декабря

Антоний Сийский... Сегодня с Двинской земли струится тихий, но настойчивый свет. Антоний Сийский – одна из звёзд Севера. Он как северное сияние в ночи. Но и сюда достигает свет его святости... Там, на далёком Севере, четыреста лет назад затеплилась эта свеща неугасимая. Сегодня там праздник. Разорена обитель, но: жив Господь, жива святыня. Ныне силы небесные тамо невидимо служат. Нет людей, но горят свещи праздничные, озаряя снега и дремучие ели, и скованные во льдах реки и озеро. Антоний Сийский, благодатный луч северного сияния. Сегодня в день его блаженного успения стремится на Север душа моя, хочет слушать тихость безмолвную ночи. Вот я вижу Двинскую землю в зимнем сне. Великие реки, беспредельные леса и озеро, и остров, и как ковчег драгоценный – обитель Антониева. Род сей, в смраде срамно ликующий, не видит света святых. Но тем, кто взыскует оного света, сияет имя Антония Сийского, любо его житие и эти леса, и реки, освящённые его пребыванием, его чудесами.

Светильник иночества, зажжённый Антонием Сийским, равно как и сияние иных благодатных огней Севера о дне света, дак именно что на суд тебе. Весь мрак твой только осветит, всю мглу и ночь.

Как надо работать, как учиться... с азов, с азбуки, чтобы как-то приблизиться к осиянному чину иноческому, к пречестному имени преподобного. А то смотреть так со стороны, безучастно, не учась, не трудясь, не борясь с собственным ничтожеством, не стоит. Кругом дети смерти не спят, не дремлют: растлевают, развращают, хулят правду. Что же ты-то хоть две лепты, хоть одну в дело Божие, в дело правды не отдашь?

Любить церковную культуру, любоваться ею, собирать книги и иконы – это всё внешнее для тебя. Книги и собрание икон кому-то останется. А ты что с собою возьмёшь?'

7 декабря

Вчера вот шёл по переулку... Снег на высоких крышах старых домиков. Снег на ветках. Вспомнил о дне святителя Николы. Бредучи, за безлюдьем пел величанье. И думалось: куда вот эти сердечные излияния о святом и песня уст идут?.. Частью в эфир, частью туда, где его лики на святых иконах, где чтут святую его память. А больше, может быть, в своё сердце посылаю ему величанье, стихи. Сердце человеческое, даже такое убогое, как моё, целый мир. Туда и посылаю слова благодатные. ...Куда идут слова молитвы?

А помнишь: «Ищи Бога, а не ищи, где пребывает». Отцы, стяжавшие подвигом великим молитву, знают, где молитва и куда молитва идёт. Но великим подвигом светлое сие знание достигается. А твоё дело – пой да молись, как заповедано по святым уставам. Бог велик, непостижим. Знай, что он во всём и всё в нём, и молись. Николин день, дак читай святителю

канон, пой ему, скорому помощнику, умились о нём, помни и люби, и чти дни святых угодников Божиих. Жития их, службы им одна другой дивнее и умилительнее. И Господь даст тебе умиление и молитву, и знание светлое, радостное.

***

Сам-то я у́падь, тля, дак надо с утра-то хлебнуть живой водицы. Кое и родится в пустой-то башке.

Творения святых великих отцов, великие книги (их с тебя надо не много). Филокалия, Исаак Сириянин, Лествица.

(Уж, я чай, чтиво всякое мусорно-газетное ты давно оставил.) А в великих книгах всякая строка – жизнь, всякое слово – маяк. Эти книги не будешь читать на ходу, за чаем. Но и не только современное сифилитическое, гнусавое, смрадное чтиво. И классиков новых и старых, где страсти любовные расписаны и размазаны, взыскующий града читать не будет: не интересно, ни к чему, не про нас писано.

Нет пользы, когда «Любовь к красоте» – Филокалия, будет у тебя рядом с «1001 ночью» лежать... Тут уж последняя честь горше первых. Тем любоваться и другое любить.

Жизнью надо проходить эти книги. Нет пользы после сытного обеда, развалясь в креслах с папиросой в зубах, прочесть полстраницы, нет пользы, когда, блестя корешком, поставлены «Словеса постнические» Исаака Сирина вместе со «Старыми годами», «Аполлоном», стихами, «Декамероном».

А вот польза, когда одну-единственную для себя книгу носил «странник» в котомке, храня её больше жизни и жизнью своей проходя эту Божественную книгу.

Странник «алкал» дивных словес этой книги, читал, забывая мир, в лесу, сидя в сторожке, проходя Сибирь и Россию, пустынными дорогами, питаясь сухарём, утоляя жажду водой из рек и болот. Имея в сердце только великое учение «добротолюбия».

Конечно, беспечность и профанация – вот и так, как я, молитву Исусову твердили. Здание надо не с крыши строить, а с окладного бревна, с фундамента

Quod licet Jovi, non licet bovi[1]. Безмолвников дело есть – упражнение в молитве Исусовой. По учению святых отцов, это уже завершение подвигов, крыша.

Конечно, и лестовичка, и молитва Исусова могут украшать быт. Но при таком «декоративном» отношении в трудную минуту и забудешь о ней.

Я довольно говорил, толковал, мечтал, воображал о «церковном». Но то всё было или от эстетики, <или плотское, буйственное, страстное>,

[1] Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (лат.).

красивые башенки, а здания-то и не было. Павильон был воздушный, на песке строен. Каких вещей я касался, расписывал настроения, утешения самые добрые, самые здоровые.

А вот поди ж ты! Граблюсь за «барокко»! Пресытился хлебом чистым беспримесным северной родной речи. Нравятся вот такие выражения, как «тратиться» и т. д., и т. п.

В этих же планах и моя любовь, скажем, к елисаветинскому «барокко».

P.S. Замечателен язык царя Грозного. До него величавая архаика (есть изумительные образцы русской речи и до Грозного, конечно). Не знаешь, к чему примениться. А у Ивана царя крепкая, ёмкая острая русская речь.

25 декабря 1939. Рождество Христово

...С тем умру. Тут только падать да плакать, да величать.

Откуда это чувство приходит... Это выше моих понятий. Это чудное нечто, и не знаю, откуда, и не помню, когда явилось. Говорю о любви моей к художеству и старцу Амвросию Оптинскому.

Даже вот теперь, когда я себя плохо чувствую целыми днями, когда голова не работает, иное еле брожу, час какой-то придёт, и думаешь о чу́дном старце. Канун сочельника видел его во сне даже.

Будто он, отец наш, оставляет «дом». В спину отченька видел. Уж не помню всего. Высокий будто, сутулый. В выцветшей, вишнёвого как бы цвета долгой одежде. Власы седые с ушей... Горькое и сладостное чувство что, вот, увидел. И во сне-то как бы сознание было что не явь, а видение вижу.

Бывает почитание святого народное, которого многие любят. У меня к отченьку моему как бы личное чувство. Я не жил с ним в одно время, но его рождение в вечную жизнь и моё рождение на сей свет соприкоснулись. Год возле год. Не огонь, не пламя оставил он, благостный, на земле, но тысячи огоньков, как бы свечечек. И одна свечечка в моей душе. Искорка, может быть, одна шает. «Слабый огонёчек то совсем замрёт, то дрожащим светом "стены" души моей обольёт»...

Частыми стали равнодушие и хлад сердечный... Все цветы опали... И уж как рад, когда оживёт искорка-та Божья, согреет сердце.

Что это за чувство, эта любовь, если можно так выразиться, к святому, которого не знал, которого не видал, о котором я мало и слышал, но больше читал, о котором и книги-то нет у меня, ниже брошюрочки. Очевидно, только в церкви такие отношения возможны. Это, конечно, не институтское обожание. Но хотел бы за ноги отеческие держаться.

И такое отношение возможно только в церкви, отношение к отшедшему как к живому. Церковь смерти не признаёт, не знает. В церкви все живы. И отченько твой жив. И близко он. Есть в иных областях человеческих

явлений и отношений чувства, почитание, скажем, общественных деятелей, исторических героев: «Суворовых», «Вашингтонов», «Наполеонов». Почитание таких героев, гражданских, военных, иное по природе, нежели пригорнование к избранному авве.

Здесь у послушника отношения глубоко личные, интимные, таинственные и сокровенные. Здесь сын и отец, но в планах горних, чудных, высоких. Внимать ему, беседовать с ним, учиться делом, молиться с ним. За его риз воскрылия держаться: в радость Господа ведёт отец твой тебя!

Чудно и давно писано: от пелены изберёшь себе авву (хоть бы по рассказам, хоть бы по книгам) и устремишься к нему, от того часа и авва (на земле живый или уже отошедший ко Господу) тебя знать будет.

Не малое бы дело, ежели бы меня, нищего, таков авва, как отче Амвросий Оптинский, знать стал! Такие, как уж ежели кого «знают», дак о том не худо промышляют.

Пути Божии неисповедимы. Доброму, честному человеку вольно Богу и явно помощь послать. А таким, как я, окольно Бог подаёт, на догадку всяко. И эта любовь моя к херувимскому отцу моему Амвросию – не орудие ли счастия моего и моего спасения? Не есть ли это «объятия отча»?

***

Как я радуюсь, как я веселюсь душою, когда любимого-то, обожаемого-то человека лице гляжу. Когда постоянно он глядит на меня со стены моей. Да, разные бывали люди. Ина слава солнцу, ина луне, ина звёздам. И это не обида. Не можешь быть большой, дак будь поне малой звездой.

Малые звёздочки – это мои родные отшедшие: мама, сестра Нина. Оне глядят с портретов скромных. А звёзды великие или луны это, или солнышко в горнице моей – это ангелы земные, отцы мои о Господе. Не с грустью лики их вижу, нет: сердце мне они ростят, душу надымают. Крылья даруют и будят, и говорят: давай полетим! Это помощники мои.

Думается, что в деле религиозного воспитания хорошо, чтоб молодёжь во-первых чувствовала красоту, потом уж знала. Это, конечно, о тех, у кого есть искорка Божия, у кого вложено это стремление или влечение к вере, к церкви, к Богу.

Добро и то, когда, ещё не имея выношенной любви к «духовному», к «церковному», уже желают иметь эту любовь, хотят этой потребности.

Но когда желающие учиться вере Христовой есть, но потребности к красоте нет, когда эстетически люди неуязвимы, тогда величие, авторитет, универсальность, грандиозность и великолепие исторической церкви надо показать. Удивление сначала внушить.

***

Рассказываю в последние годы, для школьников особенно, всё одно и то же. И я уже абсолютно не чувствую, не переживаю ничего, когда о море ребятам говорю... «путём-дорогой, здравствуйте!» И в сказках не смешно мне и даже чудно́, что аудитория моя смеётся. Говорю всегда с одними и теми же интонациями. Глубоко я равнодушен к своим сказкам. Равнодушно пою былины Где оно, моё былое увлечение былинами, любовь к ним? Чувство очарования былинами отошло. Может быть, заменилось каким-то чувством «публики».

***

А честна эта работа: вот хоть что-нибудь гоношишь, а по пути у тебя родятся мысли в голове угодные, и ты их знай заносишь да заносишь. Добро это, когда стоющий дневник, записки подённые хорошие, годные человекам кто оставил. И самому любо. Как он желанья-то, от ума и сердца мысли, соображенья, наблюдения остались за тот, за другой период жизни, дак значит, ты добро шёл этот путь, видел, слышал там, где был. А как ничего-то не записано, дак этим путём тебя как кошку в мешке вслепую тащили. Пропало это время напрасно. Никакого ты прикупу не сотворил.

1948

1941

4 августа 1941 года

Сияет он, день, на Соловках и озарены его светом клубящиеся валы седого моря. И бежат туда корабли, бежат на свет боголепного Спасова Преображения, как на маяк.

Всё темнее и темнее будут дни, но сияет там, на Севере, чудный престол боголепного Преображения. Светит и согревает сердца он, праздник в краях преподобных Зосимы и Савватия, в стране, где как звезда светит пречестная обитель Соловецкая...

Всякий дом своим духом пропитан. Чужим. И ты им чужой. Это не враждебность, а сердце ни к чему не лежит.

Весь день «осенний мелкий дождичек сеет меж туман». Брызги не чувствуешь, а пальто, шапка, лицо – всё мокрое. И дороги: вчера сухо, а чуть смочило – и грязь.

Старуха-хозяйка глядит в окно: «Кормилец, подождал бы недельку, дал бы хоть картошку убрать!»... Дерева сжелтели, уж листва падёт. Небо тускло, облачно.

Озябные ветры, дожди, опаловые и рыжие зори вечерами к ветру, к дождю. Осень в деревне: как давно я её не видал! Чу́дно было всякое время на родине в Архангельске... как сон теперь вспоминаешь, а не ценил тогда!

В унылом осеннем пейзаже – тусклое небо, голая земля – в этих красках тонкость и изысканность, благородство, богатство и нежность тонов.

Нигде и никогда нет «мертвенности» в природе. Всегда есть красота.

1 сентября 1941 года

Хоть день начал без дождя, а облачно было небо. Низко стояли облака над землёй. Точно завесы ряд за рядом уходили в даль. Облака были серебристо-серые, снизу оттушёванные, а со стороны, обращённой к незримому солнцу, серебряно-золотые. В редких местах проглядывала чистая лазурь. Гряды облаков серо-серебряные, то темнели, то прозрачно золотились. Точно там за ними совершалось какое-то действо. Чему дивить? Сергиево небо, Сергиева земля!

Ясно, что это не был только «слой атмосферы», за которым следует «межпланетное пространство». Это небо низко склонилось над землёй и тихо на неё смотрело. Это приникшее к земле небо точно молча утешало её: «Потерпи ещё, Мати Сыра Земля».

Молчало простёртое над землёю небо, молчала земля. Но была между ними молчаливая беседа.

...В духовном стихе поётся:

«Ты чем, Мати Земля, изукрашена? – Изукрашена земля церквами Божьими».

Пространство земли, мною видимое, не было украшено церквами... И всё-таки это была земля преподобного Сергия.

Мне не мешало, не вздорило с моим настроением это серое плоское пространство станции. Не мешали бесконечные ряды товарных вагонов, таких серых, латаных, точно вереницы странников. Не мешали мне рельсы, уходящие вдаль...

И низенькие амбары, и лужи перед ними, унылый строй уходящих телефонных столбов – всё это немудрёное, молчаливое, убогое без прикрас сродни было моей душе.

Я люблю нагие холмы, пустынный осенний пейзаж, бегущую куда-то ленту дорожки, серое небо... Наступающие сумерки.

Я люблю это видеть и думать... Это моё. Это никто у меня не отымет. Никому я не отдам моих болезней, печали, воздыханий. Своя печаль чужой радости дороже.

***

Сказано, что тело – храм души. Душа, как на престоле царь, в теле царствовала. А теперь душа как в тёмной яме.

Не то чтобы люди стали совершать какие-то необыкновенные грехи. Нет, всё стало плоским, мизерным, всё измельчало.

Отсюда то, что человека перестали ценить. «Коллектив». Член «коллектива». Что нам душа! Машинка есть человек! Какая разница в тт. Ивановых да Сидоровых. Масса, коллектив!

В стадо тупое, безмолвное, многоголовое людей превратило безбожие.

Души не стало. Ничего не стало. Массы одни. Зерно осыпалось, душевно-то зерно, выколотили ложью своею проклятые вожди. Торчат пустые колосья, целые поля пустых колосков. Нет в них жизни. Как спички обожжённые, или как сотни номерков на табели фабричной, или как орехи пустые...

Какая уж тут душа! Вытравлена душа отравою смертоносных лживых безбожных учений, осталась одна шелуха.

Валят по улицам, по площадям-то люди... Тысячи! Масса! Где тут разбирать, кто тут будет разбирать Марью от Дарьи, Ивана от Егора?

Господь разбирает!

«Единой души человеческой весь мир не достоин быти»... Вот что в основу Христос кладёт. Вот где личность-то, индивидуум-то, вот где человек-то вознесён и поставлен.

Каждый человек – это сложный громадный мир. Тело человеческое – это храм Святого Духа. Все сокровища мира – ничто перед ценностью души человека.

«Вы есть други мои, – говорил людям Спаситель. – По образу Божию создан человек... Человек малым чем умален от ангела».

Великое дело показать человеку его величие, его ценность, его значение. Великое дело показать человеку, в чём его истинное счастье, в чём его мир нерушимый, в чём его неотымаемая, неиссякаемая радость.

Нам на волю дано: «Вот зло, а вот добро. Вот смрад, а вот благоухание. Вот честь, а вот срам. Вот сиянье, а вот мрак, вот жизнь, а вот смерть. По которой хочешь дороге, иди. Этот путь – по следу ко храму, а этот – к дьяволу в плéну».

Великий, сложный, иногда прекрасный, иногда страшный мир. Вот что такое человек. Человек есть венец творения.

13 сентября 1941

Годами забрался, летами зажился. Старовер Трофим, благодаря меня за что-то, помолился: «Помилуй, Господи, создание Бориса». И объяснил: «Ты Божье создание, но ты не раб Божий. Ты не работаешь Богу».

Трофим был раскольник. Для него все мы «еретики».

Сам, судя по поведению, по жизни, я вижу, конечно, я не работаю Богу...

Что-то давно перестал я открывать застёжки старых книг. Иной раз как бы коснуться хочется для какой-то радости. Но уж нет сил для неё. И смиряешься умом, и только печаль остаётся об утраченном.

Мне как-то чудно, когда меня стариком, дедушкой называют...

Внешность, фигуру свою, как ни странно, очень смутно я себе представляю. А внутри себя как старость, её признаки уличают? Прохожий назовёт меня стариком, и мне чудно: точно к другому кому обратились...

Как-то я пробежал-перечёл предыдущие свои записи. До чего же однообразны стали у меня описания природы! И как скучно кому бы то ни было это перечитывать.

Насколько в лучшем положении рисовальщик. Рисунок окинешь взглядом, силён – верен, полюбуешься, слаб – сух, бросишь.

А письмо-то разбирай, трать время. Особенно, когда взволнованность стариковской болтливостью заменяется.

Не сомневаюся я, что эти записки бедного мечтателя некому будет читать. Но не понимаю я, для чего я это всё записываю?!

Или хочу память оставить? Так ведь память-та от добрых дел, а не от благих намерений остаётся.

23 сентября 1941

Давно люблю думу мою, мечту мою об иночестве. Всё мне тут любо. Уж не знаю, как проживу остатние-то дни, может, наскитаюсь ещё, намаюсь. А хочу, чтоб называли хоть на смертном-то одре: инок. Хочу, чтоб на родине (может, мне там и не бывать) знали, что такой-то умер в монашестве.

У староверов Севера древняя осталась идея: окрестят в старую веру и имя дадут «христианское». Но «мир» не ведает, не знает, не подозревает, что эта Матрёна Ивановна, скажем, вовсе не Матрёна, а София. Тем более и живёт-то эта «Ивановна», как всегда жила среди всех. А помрёт, и люди на отпеве слышат, что поминают «какую-то Софью».

Вот хотя бы в какой-то мере, хотя бы в этих планах и я хотел стать: ну... Исихий или Варнава...

Тут я говорю о любовании иночеством. Звание иноческое почитаю я величайшим, честнейшим и знатнейшим всех званий человеческих.

Будучи Иван Иванычем, худо я живу, худо я и брату моему служу. Весь я слаб, и уныл, и беззащитен, «ни Богу свеча, ни чёрту кочерга».

А вот сподобил бы меня Бог чина иноческаго, и я бы как в рыцари себя счёл посвящённым. Иночество для меня, как для воина оружие, панцирь, щит.

Так, я ничто, а будучи иноком, смотри-ко, в какой бы я полк зашёл. Иноки святые Египта, Сирии, святой Горы Афон, Киево-Печерской, Троице-Сергиевой лавры и всей нашей Северной Фиваиды мне бы помогли. Я был бы хоть всех уж сзади, да в том же стаде!

Киевский князь встарь метлой хотел быть у ограды Лавры Киево-Печерской.

Ино я хоть последней крапивой, да в монашеском огороде.

Будь бы я монах, я бы «твёрдую ориентировку» имел. Сам-то для себя я опору в себе бы чувствовал. Знал бы, что моё, что не моё, что надо мне, что не надо, что вредно, что полезно. Я знал бы, кто я. Шагал бы твёрдо. А покеда я Иван Иваныч, мне всё можно. Не знаю, кто я: ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса.

Почему Иван Иванычу не развратничать по маленькой, почему ему не скандалить, не обжираться, не врать, не красть, не клеветать, не блудословить, не болтать языком впустую, не сплетничать.

Зачем Иван Иванычу рано вставать для молитвы, зачем ему какое-то правило?

Иван Иваныч – обыватель. Может знать, что сегодня праздник, может и не знать. С него не спросится, если он мяса в Великую пятницу поест...

А уж будь я инок, тут шабаш болтаться. Чёткий устав-правило поведения дан. Мрак от света разграничен. Добро и зло разделены.

Бурно море житейское, да ясно берег виден.

6 декабря 1941

Род человеческий всё своё представление о доброте, о праведности, о кротости, о милости и милосердии, о ревности и о страстности вложил в «представление» о святителе Николе...

Тихо колеблется пламя лампады. Глядит с иконы строгий и кроткий лик Николы многомилостивого...

В Египте, в Сирии, в Палестине, на Святой Горе, в Сербии, Болгарии, Греции и во всех северных странах Российского царствия: Киеве, и Новгороде, и Москве, и на Белом море, и на Двине, и на Печоре – везде тот лик, знаемый и старым, и малым, и греком, и славянином и зырянином: Никола многомилостливый!

Кратки зимние дни начала декабря. День святителя Николы меркнет.

День меркнет.

Месяц, как я не писал.

Убил месяц ни на что.

Неужто Москва Богом оставлена вконец...

Сижу в старом-старом, ещё при матушке Екатерине построенном и освящённом доме. Всё старое, древнее оконце глядит в переулок старый, засыпанный снегами; домик (в нём живу двадцать лет) глядит прямо в переулок, как сторож месту сему. По одну сторону, направо за старинно-полукаменной оградой, – дерева́. По вечерам здесь кричат галки. По другую сторону – старые дома. А по нашему порядку – сплошь старая Москва. Дома XVIII века сплошь с колоннами, целые, нетронутые ансамбли старой Москвы...

Домик наш глядит вдоль Архангельского переулка.

В мои оконца с февраля по всё лето светила вечерняя заря. Особенно Великим постом, в Пасху хорошо в наших двух комнатках. Как тут много уже прожито.

Все, кто дороги мне в жизни, в эту вторую половину моей жизни бывали, даже живали в этих двух комнатках на Сверчковом. А ведь, кроме дома там, на светлом Севере, да здесь, на М. Успенском, я подолгу нигде и не живал.

Моя душа либо в обстановке старины, либо в природе может растворяться. В обстановке природы конечно чище, непосредственнее, полноценнее.

«Везде Господь», – говаривал отец Сурский...

16 декабря 1941

Прискорбно мне моё равнодушие о богослужении. Ещё вот эту половину литургии до «причастного» я люблю. А потом... какое-то, видно, по старой памяти ребяческое ожидание: де поскорей бы окончилось

произнесение этих формул. В детстве по глупости ребячьей стоишь: вот это споют и это, а там скоро и конец. Можно домой бежать.

Очевидно, в полсотни лет я сохраняю ум пяти-шестилетнего младенца.

Конечно, такого расслабленного душою и телом человека, как я, не может не рассеивать обстановка тепершнего богослужения.

Не говорю о всяких крайностях, а говорю о рядовых воскресениях...

Эти приходят справить требу; через головы протолкаться к такой-то «матушке». Вот полдесятка старух, невзирая на момент литургии, ломятся вперёд, чтоб самолично поставить свечу праведнику.

Вот с руганью они пробиваются обратно. Встречные и поперечные течения народа ругаются во весь голос.

Службы не слыхать.

...Конечно, впереди, ближе к иконостасам стоит толпа сосредоточенных, пришедших молиться. Вот тут-то ловишь, внимаешь заветным, вечным возглашениям литургии.

Кто бы ни служил, как бы ни пели: огненные, серафимские крылья у литургии.

Тут ещё вот какой момент: личность священнослужителя, пребывание в храме святыни, например, Чудотворной иконы.

Когда в храме служит истинный пастырь, истинный иерей Божий, истинный отец духовный, вся служба приемлется сердцем, полноценно, радостно, благодарно. Великое дело личность священника.

1942

8 января 1942

Этот глухой асфальт, грязные щели улиц, вонючие машины, электрические бельма! Давно уже я живу среди этого всего, а противно мне это всё...

Спичку чиркнешь, электричество включишь – никакой тебе радости.

А вот лучинку засветишь от лампадки – и весело.

Затрещит, побежит живой огонёчек. Она живая лучинка-та. Тут что-то от детства, от игры. Дети любят самодельные игрушки.

Лучинушка сосновая, берёзовая, дело простое, ясное, честное, бесхитростное. Горит, потрескивает, светит, греет. Ребёнку занятно, старику любо.

Века, тысячелетия светила лучина, моя лучинушка. Как с матерью жил с ней народ. И в песне отлилось именно чувство к лучине.

– Лучина, моя лучинушка берёзовая. Что же ты, моя лучинушка, не ярко горишь? Не ярко горишь, не вспыхиваешь? Али ты, моя лучинушка, в печи не была? Не высушена?

– Я была, была в печи вчерашней ночи.

Ну-ка, электролампе что споёт ли когда народ, отольёт ли от души, от сердца что-либо подобное:

– Сегодня тебя, электролампочка, купили, а ты погасла. Перегорела или плохо запаяна?

– Осмотри проводку. Не я перегорела, перегорела пробка.

То же и центральное отопление, калориферы тёплые, холодные. «Оно» работает, дак цветы чахнут, словно яд в нём, в искусственном-то бишь, в центральном отоплении. Картины ценные от него погибают...

А печка русская, галанка, оно живое. Дровишечки сам расколи. Береста, поленья берёзовые, угли, как сахар. Ель, сосна – они смолистые. Гудят. Трещат, живут явно, словно разговаривают с тобой... Печка как мать.

10 января 1942

Всегда мне хотелось иметь икону Христа, чтобы по сердцу-то была.

Мы, православные русские люди, почитали как откровение, как небесное явление, как святыню, как Господне благословение византийское искусство. Таково же чтим мы: и иконы Древней Святой Руси, и иконы из Царьграда, с Афона, из Святой земли, с Синая, иконы Новгорода, древней Москвы... греческие великие иконописцы Панселин, Феофан Грек

и русские – Андрей Рублёв, Дионисий; эти и многие другие боговдохновенные оставили нам <иконы>.

...Сколько этих дивных ликов Спасителя, Богоматери и святых, пред которыми и мы, как и праотцы наши, поём, и молимся, и плачем.

Видя икону Божьей Матери Владимирской, не думаешь о её древности, о стиле, формальных совершенствах. Видишь лишь чудо, видишь Её живую, Матерь всех, за всех скорбящую; видишь «моление о нас тёплое», видишь воочию.

Вот в этих же планах хочу я видеть лик Господа моего, видеть Его на святой иконе. И как раз древние греческие и русские изображения Спасителя всесовершенно отвечают требованиям молебной иконы.

Такому лику молился преподобный Сергий Радонежский и вся Святая Русь. На таковой лик взирали и пели, такой лик созерцали мои отцы и праотцы. Может быть, и моё сердце поэтому, «по родителям», бессознательно для рассудка, «своё» видит здесь.

Одной северной простой женщине подарили католическую картину «Христос с пылающим сердцем». Сначала женщина повесила это изображение вместо образа, потом убрала... «Не пристают к нему наши молитвы», – недоумённо говорила она.

1942. На пятой седмице в пост, в понедельник

И Лазарева суббота, и Вербное воскресенье – оба эти праздника как бы сливаются в общем представлении. Ветви пальмовые заменили на Руси вербочкой. Что чудеснее, что милее, что трогательнее, что нежнее нашей вербочки?!

Верба одна расцветает, распускает свои барашки серебряные в столь раннюю пору весны. По оврагам ещё снег, реки ещё только начинают располоняться ото льда, и это, если Пасха поздняя. Ни травочки, ни подснежничка ещё. Только вербочка нежная всегда потрафит нарядиться к Лазаревой субботе.

Мы на родине и сами хаживали за город по вербу. Где снег, где вода разлились, кусты в воде – убродишься, вымокнешь.

Много росло вербы под горкой полузаброшенного староверского кладбища. Там на могилах срубцы с крышами, высокие поморские кресты с выпуклой вязью, с титлами. На изображенье совсем сказочного вида резные столбики.

Церковь о всенощной под Вербное воскресение как сад. Всюду вербные ветки, всюду свечи. Вербы, которые держат в руке дети, а иногда и старинные старики, приобретались «в торгу», были перевиты полосами золотой бумаги, украшены серебряными листьями, усажены бумажными розанами.

И как любо целый год потом видеть вербочку за образом. Взглянешь – и вспомнишь праздник, и подумаешь: есть ещё на земле радость, придёт ещё, если потерпит Бог грехи, снова придёт желанная предвестница Пасхи – вербная суббота и будем стоять с вербочкой, свечечкой.

1942. На пятой седмице в пост, в понедельник

В благостном свете православия, в свете и радости праздников Церкви Христовой росли мы дома. Старшие строго соблюдали посты. Но и дети не ели мяса, разве рыбу.

С крестопоклонения начиналось трепетное, но и деятельное приготовление к празднику.

...Много лет прошло. Многое и забылось. Но любы, светлы и вечно юны воспоминания о праздниках Христовых там, дома.

Ставши постарше, после христосования, разговения, когда все прилягут отдохнуть, я любил посидеть один в нашей старинной низкой зале, где бывал накрыт пасхальный стол.

Синева светающего дня Воскресения льётся уже в окна сквозь тюлевые гардины, странно сливаясь с жёлтым светом лампад. Зальца сверкает праздничной чистотой, блестит резьба старинного дивана, наполированы ряды старинных стульев. Вощёные столы покрыты узорными скатертями. Всюду фикусы, по окнам розаны, резеда. На пасхальном столе в красивых горшках цветущие благоухающие гиацинты.

В старинной вазе пасхальные яйца, красные, мраморные, розовые, разрисованные моёю рукой. На куличах и бабах сахарные нарядные фигурки ангелков-купидонов, агнцы с хоругвью, искусно сделанные сахарные розаны. Пасхи, сыры творожные и окорока на ночь выносятся в холодную кладовку. Тишина, в доме в дальних комнатах прозвенят часы. Высокие, стоящие в зале дедовские часы бьют половины и четверти. В красном углу зальцы иконостас красного дерева сияет серебром окладов и горящих цветных лампад. Фарфоровая, расписанная золотом и букетами, лампада у образа Богоматери казалась какой-то райскою птицей. Но что особенно казалось нам смала упоительно – это фарфоровые яйца у образов и лампад на розовых и голубых бантах, сияющие золотом и цветной росписью. Натёртый пол отражает окна, всё сверкает праздничностью, ведь даже выстираны и вычищены паруса на больших моделях кораблей, укреплённых над дверьми и диваном.

А потом день, напоённый звоном переливных пасхальных колоколов, поцелуями нарядных поздравителей, приездом священников: соборных, кладбищенских и наших приходских от Воскресения...

«Христос воскресе!» я запел, едва начав говорить. А крестное знамение творить учила и меня, и сестрёнку мать, ещё не умевших ходить. В кануны праздников, рассказывала потом тётка, когда во всех комнатах перед иконами сияли лампады, носила нас мать в часы всенощной от киота к киоту, велела: «Хвалите имя Господа» – и своей рукой слагала нам неумелые ещё пальцы в крестное знамение.

Давно было, а живо помню, вижу...

***

Утром бродил к преждеосвящённой, туда к Солянке, к Петру и Павлу. ...брёл Колпачным переулком, брёл утре Подкопаевским... Как прекрасно и тут, у нас, в старых московских переулках это начало весны. Ин переулок в гору, другой под гору. Вода вешняя вчера бежала, сегодня за северным ветром мёрзнет в тени. А с крыш лёет. Сосули блестят, что хрусталь. И слаще скрипок и флейт эта песнь капающей воды.

В Подкопае изумительные старые дома, экими пузами вылезли чуть не на середину переулка. Высокие крыши, оконца, как бойницы. Как крепостца загораживает узкий кривой переулок. Но сколько уюта, сколько очарования в экой древней громадине. На углах Колпашного опять поменьше ростом, но столь же древние, капитальные такие, с какими-то крепостными фундаментами и глухими каменными стенами-оградами домы: коротенькие глухие оконца. И пока идёшь до церкви, за старыми стенами много старых дерев: чёрные искривлённые стволы, узор ветвей, корневища инде приобтаяли. А небо сверкает голубое с золотыми облаками, и снег ещё инде сверкает, но много и чёрных луж, и льду. И тротуары там старые плиточные... Помянул старые-то дома. Греются они на солнце, жмурят подслепые оконца на вешнее солнышко. Я иду, подслепые глазишки свои тоже жмурю: и солнце блестит, и снег инде в саду блестит, и лёд по утреннику блестит, и лазурь небесная, и облака – всё сияет. ...Родная, милая Москва. Вон купол Ивановскаго монастыря, вон шпиль готической кирхи. Завернёшь у Николы Подкопая, у ампирных его колонн и в гору опять лепись, звеня своим железным батожком. Вот на горочке так дивно подана и старая чудесная церковь. Белая, узорная XVII века с барочной колокольней. Как она красиво стоит на горке: справа, как птичье крыло, широкие древние каменные ступени огибают храм Божий. С крыльца необъятный вид: и Яуза, и Воспитательный вдали, и Кремлёвские вдали стены и главы. А под холмом церковным море крыш, и деревья опять, и переулки. С переулка идучи, и не ждёшь такого кругозора, такого вида. Родная, милая Москва!

В ночь с четверга на Страстный Великий пяток

Я всё считал: Москва теперь не моя. А сегодня, верно, ради величия дня «согрелося сердце моё во мне». И думалось: всякая святыня нетленна, неодолима. Разорены святыя монастыри, нарушены храмы, но всё существует, всё пребывает таинственно, и живо всё. Великие дни праздников внешнему глазу незаметны. Но пребывает праздник и, как роса, сходит на землю, умащает, облагодатствует тот или другой день. И сердце впервые чувствует, что вот, праздник опустился на город.

Нерушима, нетленна всякая святыня, видит или не видит её сейчас телесное наше око. ...Иду Москвой: Господи, в эти дни (давно ли!) сколько было предпраздничной и праздничной радости, спеху, лилась толпа

с праздничными покупками (дома-то радости!). И яства, и подарки и для старых, и для малых. Толпами монашки расписные, филигранные, сахарные яйца продают, а «верба» на Красной, а витрины: везде радость, ожидание праздника. У всех свет, у всех веселье в душах. Что там усталость! Надо и дома праздник устроить, и в церковь сбегать, и к 12 Евангелиям, к Плащанице, на погребенье. Ночью на субботу урвутся хозяйки. А там и Христова ночь, Пасхальная, о которой сдумаешь, дак сердцу от предначатия восторга тесно в груди... Этими переживаниями, этими чувствами, этими настроениями насыщена, пропитана ещё Москва. Родная, степенная, древняя моя Москва «не умерла, но спит». Но сонное оцепенение града, как спящую царевну, одним поцелуем разбудит Царь.

Брёл переулочком к Поварской. И как наяву видится: и в подвальных квартирах, и в бельэтаже вон уж куличики уготованы с розанами, вон яйца красят пунцовые, вон творог кладут в пасочницу.

Это мню вот в этих домах, за этими оконцами. ...Родная, милая Москва. И в самом деле: сколько встречных и поперечных, и идущих и едущих несут в сердце праздник. Как храмы Божии набиты в эти дни. А это самое главное, самое важное: в сердце, в душе иметь радование о празднике. Была бы земля хлебородная, семена живые, всхожие были бы, а там, чуть солнышко пригреет, цветы-те будут, не окинешь глазом. Надо любить, надо видеть, надо чувствовать сокровенное древнего Города: «Девица не умерла, но спит».

Самые дорогие, самые заветные, самые великие в году переживания: предначатие Пасхи. И несёшь их, как сосуд драгоценный, и боишься расплескать. Тихими старыми переулочками брожу к Страстным службам. И вижу, и чувствую, что праздником упоены и эти переулочки, старые камни их, о которых стукаю я железной клюшкой, о празднике журчат ручейки в полдень и этот хруст ледка рано по утрам. Я чувствую, что по праздничной земле иду, что земля знает праздник. Как знает праздник предвесеннее это вот, ненаглядное святое небо Страстной недели. Иное больше, чем в хороме, где за многолюдством нарушается молитвенная настроенность, в тихих древних улочках попутных ощущаешь, осязаешь, видишь благостную тихость некую и от тихого сияния неба, и от пробуждающейся земли, и от этих древних домов с оконцами, отражающими небо, как младенчески ясные глаза стогодовалых стариков, всё это, именно в эти дни, таинственно благоухает умилённостью, тихим радованием. У этих любых попутных мне старых улочек, у древних камней, у плит, у старых дерев, точно благословляя, протягивающих ветви там и там над тобой идущим, одна радостная дума с небом и с тобой идущим.

6 июня. Воскресенье

Прочитываешь святыя писания богоносных отцов: Лествичника, Исаака Сирина, авву Дорофея и других учителей, ведущих нас по пути

Евангельскому, научающих, как препроводить утлый кораблец души нашей чрез бури моря житейского.

Церковь учит устами богоносных отец наших. Преуспевать в жизни духовной велит Церковь чадам своим, велит познавать своё душевное устроение. Церковь открывает ищущим меры духовного возраста. «Восходите, братья, восходите», – говорит Церковь устами святаго Иоанна Лествичника.

Для великой радости привёл Бог в бытие род человеческий, для того, чтобы восполнить отпадший некогда десятый чин ангельский. Ангелами хочет видеть нас Творец. Но мы сами себя в бесов претворяем. Ангелы спали с неба, ибо имели свободную волю и употребили её во зло. Того же и мы желаем, свободных и нас сотворил Отец наш небесный.

...Но, Господи, мой Господи, вот я всю жизнь в грехе провалялся. Но вспомнило нечто во мне, что я образ неизреченныя славы Твоея, аще и язвы ношу прегрешения. Помню, сквозь греховный сон помню, что был я образом Божественным почтён. Помню и плачу, и желаю древнею красотою вообразитися.

Да, я люблю услаждаться пением тропарей. Люблю и знаю толк в церковном пении, знаю толк в иконописи, сам иконописец. Всю жизнь я кипятился и ратовал за высокохудожественную обстановку храма, за древний стиль храмового зодчества, за древнее пение, за древнюю иконопись, а вот ударили ветры, пришла буря, навалился страх отовсюду, и – всю мою кичливую и неразумную ревность как ветром сдуло.

Потому что праздно разглагольствуя о церковном, богослужебном устроении, потому что увлекаясь эстетически старообрядчеством, его стильностью обрядов и видя в Церкви <1 нрзб> аляповатую новейшую живописец небрежность в отношении обряда, слыша концертное театральное пение, я отвращался одно время вообще от церкви, забывал, что православная Церковь велика, обширна, вседовольна, что во многих святых обителях блюдутся древния богослужебныя чины и уставы, наблюдается древнее пение (Соловки, Валаам и др.).

Но о сем до зде, всё это не моё было дело! Обо всём суетясь, всюду нос суя, я о том, что для меня есть самое нужное, не позаботился нисколько. А дом душевный и не начал строить. Ни одного кирпича не припас.

Была молодость: в мягких муравах у нас (художников-эстетов-поэтов) песни были, игры всякой час. И вдруг извне пришли годы испытаний Божиих. А в себе я увидел, что и старость близка, и уж пришли неисцелимые болезни «зима катит в глаза, нет уж дней тех светлых боле»... А у меня ничего нет... Я был «богатая творческая натура». А все эти лепесточки-то единым дуновением сдуло, и уж никто мною не любуется, не нюхает, а и наступят, не заметят: мало ли увялой травы. «Дни мои, яко цветы в поле, тако они увяли».

Поздно я отрезвился-то, поздно в сознание пришёл. Но Господь говорит устами Златоуста: отдал диаволу силу молодости, дак отдай мне пыл <?> с устами трясущимися.

..Десятки лет, какое – сотни лет стояли сии стены зданий рукотворных. Но едино мгновение, и всё сие – груды мусора, кучи песку и уж трава на грудах этих растёт, и уж не знаешь, где и было.

Тысяча лет назад, а иное и полторы тысячи, а священное Евангелие возвещено и списано и к двум тысячам, а Библия и тысячи лет. Но Божие слово стоит, как стояло. Авва Дорофей, преподобный и преблаженный, жил в VI веке, но постулаты его о человеке, о законах психики человеческой вековечны, незыблемы. Сколько-то было философов, психологов, скажем, за две тысячи лет, за время христианской эры, но разве кто-нибудь сказал человеку о нём самом так благодатно, так исчерпывающе, так живительно, так спасительно, так живоносно. Разве кто-нибудь так поразительно показал человеку его душу, все пути и заблуждения человеческой души, все изломы человеческой психики, разве кто раскрыл человеку смысл жизни, смысл страданий, разве кто привёл род человеческий в сияние, в радость, разве кто показал путь в вечность, как осиянные светом Евангелия, учителя веры Христовой, истинные носители света Христова: апостол Павел, отцы Церкви, учители Церкви и богоносные отцы – Исаак, Иоанн, Дорофей и другие.

Всё пройдёт, а словеса истинных учеников Спасовых не пройдут. И сейчас, а сейчас особенно, они, благодатные, и только они дадут ответы на все вопросы жизни нашей. (Дорофей о построении здания души.)

Авва Дорофей в пятом поучении делает привод и притчей Соломоновых: «Им же несть управления, падают яко листвие, спасение же есть во мнихе, (его) совете».

И в книгах может запутаться страстный, плотский, неискушённый человек. Здесь совет и слово мудрого, искуснаго, опытного старца может сразу свет явить.

Конечно, и книги, разумно читаемыя, великое дело, когда нет духовного руководителя.

Вот у меня нет старца. Брожу бессоветен, шатаюсь «меж двор», сущая сиротина и бездомовник по части духовного окормления.

У святых отцов, усты ли к устам как беседующих, записанное ли слово их мы слышим, – всяк на своё недоумение, на своё вопрошение ответ получит. Ты с бедою, а Бог с милостью. Устами святых отец наших Господь сердцеведец возвестит нам.

Вот я, убогий, у аввы Дорофея нашёл ответ на одно великое недоумение своё. За последние года три я всячески укорял и ругал себя за увлечение моё иконописью (древней), древностями, старым обрядом, крюковым

пением, древним зодчеством. Видя равнодушие большинства или непонимание красоты древнего пения, древней иконы, красоты древней уставной обрядности, я собирался в молодости перейти в староверие...

К зрелым годам эта эстетская буесть молодости стала проходить. Благой свет православия, вчера и днесь той же и во веки, снова осиял душу, облака юношеских пристрастий отошли.

Жив Господь, жива святая вера православная, как древо цветами и плодами, благоухающая святыми подвижниками, жившими в последняя времена, угодниками Божиими, причисленными или ещё не причисленными к лику святых: святители Дмитрий, Митрофан, Феодосий, Иннокентий, Иоанн, Иоасаф, Тихон Задонский, Феофан Затворник, Филарет, митрополит Московский, Платон, митрополит Московский, Гавриил, митрополит Петербургский. Преподобные отцы: Серафим Саровский, Паисий, Игнатий Брянчанинов, Старцы оптинские и лики других святых иноков, подвизавшихся во времена недавния.

Благодатную силу Церкви доказывают и явленныя иконы, не в древние времена, а в недавния. В одной Москве сколько явленных икон Божией Матери, не превышающих древностью и сто лет.

Итак, я «увлёкся» и «новою» красотою, новыми богатствами, новыми «приобретениями» церкви. И тут опять меня, художника, увлекать стал быт. Ведь я сам вырос в патриархальной обстановке середины XIX века, долго жившей в нашем старом Городе... В юности увлёкшись «новгородской» иконописью (мода была 1913–1917 гг.), Рублёвым, я не замечал, считал «новым, позднейшим» уклад нашего дома с тяжёлыми киотами александровских и николаевских времён, с иконами в ризах и т. п. Мы, эстеты, презирали XVIII век и XIX в иконописи, презирали церковное искусство, а вместе и церковную жизнь XVIII, XIX веков.

...И вот я увлёкся и церковной жизнью, и бытом религиозным веков XVIII, XIX.

...И вот пришли грозные времена. И смерть и ад со всех сторон. Стало не до игры, не до увлечений, не до «искусств», не до «бытовизма». Вечное предстало, как туча грозовая во всё небо. Страшные апокалипсические видения явлены миру. Восстал род на род, и язык на язык, и царство на царство. Нельзя стало, как чижик, сидеть да чирикать. Гремят апокалипсическия громы, блистают молнии. И как будто слышен сквозь громы пушек, сквозь стоны миллионов убиваемых, вопиющих к небу, не слышен ли глас: «Ей, гряду скоро!». И миллионы падающих во прах детей наших, не они ли это вопиют: «Ей, гряди, Господи Иисусе!».

Горе миру сему, горе и мне, убогому! И у меня в моей жизни «доидоша воды до души моей». И мой живот аду приближися... Не до красот, не до убранства, не до стилей стало... Грозные времена для мира настали, лютое

время лично для меня пришло: болезнь одолела неисцельная, годы далеко, и ничего, ничего нет в запасе. Ничего не запасено на чёрный день...

И я взвыл: о, не тем я всю жизнь занимался, не то искал. Пришла пора тяжких и страшных испытаний, и всё отлетело! Как же так??? Почему нет утешения, нет спокойствия? Ведь я всю жизнь вокруг да около церкви завлекался. Иконопись, пение и т. д. и т. п.

И вот пришли годы со страхом. И сердце озябло, и ноги задрожали. Далее болезнь пришла... И вот я в нужде, раздражённый, беспомощный. Значит, это всё не добро было, мои увлечения, это всё, значит, ошибка была? А если не добро, то зло?!

И вот прочитываю я в день преподобного святителя слово аввы Дорофея: «Из постройки чувственного дома можно в точности научиться созданию дома душевного. И дом душевный...»... <Запись обрывается>

2 июля. Среда

Небось от рассвета всё дождь пал. Темновидно было, под один облак небо затянуто. Не похоже, что лету макушка. Ну, думаешь, недаром и закат вчера был таков, и зяблось к ночи. Сменилась погода на дожди. Уж так-то глухо да плотно небо было затянуто... Калош-то не поспели залить. Мокни, мол, теперь... На неделю дождя загадывал. А пришёл полдень, и начало солнышко тучи-те разганивать; запросвечивала небесная лазурь шире да шире. Будто синие озёра во блакитных берегах на небе заразливались. Покамест на небо глядел, и дорога обсохла, и плиты, и крыши.

Так вот и тебя, иное, накроет мрачное, унылое состояние, отупение найдёт. Далёкими, давно прошедшими и ушедшими кажутся дни и часы светлого мира душевного. С горечью те дни или годы вспомнишь... Нет, думаешь, не вернётся то лето души, те часы душевной весны. Осень жизни пришла. Ветви многолиственные опали, цветы мира и умиления повяли.

...И вдруг снова, точно кто тебе руку невидимо на голову возложит, руку невещественную, но живоносную. И мир коснётся опять души, и воспрянешь, за дело какое примешься. Точно всё кругом посветлеет. И опять радует тебя, опять оживает для тебя твоё сокровище заветное – вера Христова. В часы уныния, мрачности душевной пропадает для тебя благоухание веры, не слышишь блаженной музыки оной, а коснётся сердца просветление, откатится плита оная гробовая, и опять добро тебе жить и с твоими болезнями тяжкими. Плюёшь на них: Господи! Что там скорби земные – ведь у меня есть сокровище неистощимое, богатство есть некрадомое, есть у меня счастье, при котором день и ночь ликовать надобно. Есть у меня вера Христова! Что передо мною богачи: моё всё! Что передо мною учёные: я знаю всё!

Пусть мрачна современность, ежели я живу во Христе Жизнодавце, для меня живы есть века жизни веры Христовой. Для меня живы века мучеников,

и они со мною живы, века преподобных... Да зачем мне по-сесветному, по-земному говорить: эти святые IV века, а эти IX, а эти XV; у Бога нет времени. В Боге всё: сейчас всё, теперь всё, сегодня. И вот я сегодня живу, беседую, радуюсь с Дамаскиным, и с аввой Пименом, с Паисием Великим, ангелом, и с Паламой, учителем света. И Серафим Саровский смотрит на меня, и Нил Сорский с Амвросием и Макарием Оптинским, и вся Церковь Христова, торжествующа, жива со мною. Во мне жива, и ликую я о дивно живущем во мне мире благодатном. О, милость Божия о нас! Песчинка я, пылинка я, ничто я перед этим великим, необъятным миром, перед Богом, перед церковью Божией, а оно всё в моём сердце вмещается. Что есть я? Убогое тело, поглядеть не на что. Много ли я места занимаю? Весь я с этот пень. А смотри-ка, как пречудно мне раскрывает вера: не разыскивай, говорит, где Он есть и где Его обитель. В верных сердцах Он почивает, паче херувимского престола. (Здесь припомяну слово святое: ищи Бога, а не место, где пребывает...)

Бог во мне. А Бог – всё. Значит, всё во мне, и небо во мне. Свет весь во мне. Эти зори небесные, эти вёсны. И праздники Божии все во мне. А что твоё, ты тем обладай, радуйся над тем. Господь, давший тебе эти таланты, спросит тебя, что приплодил...

Это то, что Бог в тебе, и церковь в тебе, и небеса в тебе, и весь мир Божий в тебе. Это всё семена в тебе. Возрасти это в себе, а не заглуши.

Бог создал наше тело, как ниву, как землю, и семена живоносные, вечнующие, благодатные засеял. Наше дело эти семена возрастить. Урожай этот в жизнь вечную пойдёт. Но она ещё здесь начнётся.

Вот я, убогой человеченко, телом и душой убогой я, в грехах жизнь всю провалявшийся, перед всеми виноватый. Вот и такой нищетный человек и то может свидетельствовать, что здоровье духа не зависит от здоровья телесного. А у совершенных чем мощнее дух, тем более истаевает в немощах тело.

О, как преизобилует благодать в церкви Христовой! Благодать веры не гнушается светить в самые мрачные закоулки, в самые тёмные задворки. Вот я, на что уж скудельный сосуд – худая, бренная, ненадёжная посудина. Ножи́шки не ходят, глази́шки мало видят, голова изо дня в день болит, никакие уж порошки не пособляют. И весь я – день ползаю, да два лежу. А вот с утра живёт во мне какое-то веселье, будто зеницы какия вовнутрь меня отверзлись опять, или слух открылся иной, чем эти мои телесные уши, или сон обычный мой снялся с меня, и я вижу явь. Хоть вот на малые часы некоего духовного (посильного по мере своей) сейчасного моего бодрствования знаю и вижу, что живо всё, что прекрасно всё, дивно всё. И дивно мне самому как-то ощущать, что это вот тело моё слабое, болеющее – только хра́мина для меня другого, нового, не зависящаго от возраста моего ветхого тела. Сейчас небо вот опять затянуто серым облаком, пыль городская даль туманит. Но там, за серой тучей, та же лазурь, там то же солнце. Ослабленное грехами, виноватое, пре-

ступное и за это болеющее тело продолжает держать в плену душу. Ведь весь век только в страстях мысль и сознание моё купались.

Но очевидно, как я ни глубоко сплю, а есть кто-то во мне, кто-то слышащий, что некто глашает его по имени. Слышу, что Господь глашает меня по имени, и уж окоряет дверь хлева, где мы, овцы, зиму зимовали, и уж хочет нас выпустить на луга, где вечная весна, где мы неразлучны будем с Ним, Добрым пастырем.

Мы, живя на сем свете, земля. И добро нам, ежели не дадим врагу рода человеческого себя заболотить, не дадим себя засеять плевелами, а если поддались грехам, не вырвем мусорные травы. Мы земля. Страдания и скорби, неизбежные на сем свете, – плуг, вспахивающий нашу душу для приятия семян Божьих. Сделаем себя нивой Господней.

8 июля. Казанская Божия Матерь. Вторник

Город лежит растлен, лежит пластью, в расстил, лежит втоптан в грязь, смешан с прахом. Страшное многомогильное кладбище стал город, стала вся страна. Духовно угас целый народ. Тело заморили гладом, а душа сама умерла.

Сквозняком выдуло из народа всё... душу. Опустошённые, прозябаем ещё, кишим так же, как жуки в навозе, как черви под доской. Во грехе лежит растлен целый народ, сердце России. Вот когда «духовно на век почил» росс. <...>

Но... воскресни Боже, суди земли... Но... вот сегодня стоял я в переулке, в пыли, внизу. А надо мною возносился хором Божий. Я глядел, подняв лицо, и – ничего в мире не было: только белый хором Божий да лазурное небо с серебряными облаками. Как мачта корабля, возносился ввысь крест Господень, плыли облака. Но, мне, глядящему вверх, казалось, что это хором Господень плывёт, как корабль.

Помню то же ощущение два года назад у Троицкой вечерни, в граде Преподобного Сергия. Я стоял во дворе Ильинской церкви. Но там природа, дали, окрестность как бы предстояли и молились с народом. Здесь «мир сей», растление городское. Не знают праздника. Под церковным холмом гнездился «мир сей», слепые многоэтажные корпуса. И одиноко высился над ними дом Божий.

И чудо Божие совершалось ещё в мире; <ещё> преславное благодатное чудо совершалось над городом.

Пусть пыльныя бесчисленные ящики этих жилищ пронизаны, пропитаны сверху донизу, с утра до ночи сифилитической радио-гнусью. Пусть из каждой дыры заколоченных, как гробы, этих домовищ (бывших домов) просачивается один и тот же... радио-сип и хрип. Надо мною на холме древний дом Божий. И вот сейчас совершается в нём вечное чудо... И с бьющимся сердцем слышу я, дивяся: звонко и чётко возглашает иерей. И в отверстые окна алтаря, как белые голуби, вылетают иерейские

возгласы и, серебрясь, и ширяся на крилех, плывут над городом как благословение, как «мир всем» Церкви Христовой... Лязг, скрип, визг, как унылый вой, стоят над городом, но в этом денно-нощном гуле Города – и вопль отчаяния, и рыданье безнадёжности, и слёзы лютой скорби. И плач, и скрежет зубом, ад заживо в бредовой этой лихорадке нового Вавилона.

Но, о чудо Божие! – явственно, воушию всем несутся над городом слова: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами!»... Благословляет иерей в этот миг народ, и в отверстые западные двери видны и ему оттуда эти бесчисленные теряющиеся в далях крыши домов. И далеко, далеко он шлёт своё благословение, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Отца... Шлёт своё всемогущественное благословение Церковь Христова в час святой...

В той же день пречудо от иконы благовещения во граде Велицем Устюге и святого праведного Прокопия.

Наш город связан был давними, а Понизовье двинское очень древними связями с градом Великим Устюгом. Торговые устюжские люди и Церковь Богородицы Благовещения в честь святыни своего города создали, <нрзб.> и в нашем Городе.

Корни многих архангельских старых семей шли из Устюжской земли. Родитель мой был из тех краёв. Тётка, отцова сестра, хотя и девочкой выехала оттуда, на особицу, чествуя родину, праздновала Прокопьев день.

Древняя, пречудная, великая икона Благовещения, древле бывшая в Устюге, вывезена была оттуда ещё Иоанном IV и поставлена в Московском Успенском соборе.

В <последующие> годы именно как чудо устюжская святыня сияла нетленною красотою своею в <1 нрзб.> галерее.

Июль стоит. Но празднуем сегодня чуду от иконы Благовещения устюжского и, любя и умиляясь, летит мысль на родину, где провёл я блаженные дни весны жизни, и к весне природы, к светлому месяцу марту, ещё белеющему снегами, но и шумящему водами. О март, месяц любимый, март и апрель, заповедные мои в году месяцы. Март – предначатие радости весны. Март – «ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят». Уж долги вечерние зори. Лазурно сверкающими днями небо, кричат в роще грачи. Сердце весны ждёт и светлого Христова Воскресенья. И чем ещё люб и заветен март: блеск его дней несказанно мешается с сиянием свещей великопостных. Недели марта – святыя седмицы Великого поста.

В марте – жаворонки прилетели, и под шум ночных, сгоняющих снега, рождающих капели ветров, под говор дневной ручьёв (в ночь мартовские воды ещё прихватывает морозец) звучат пленительные и трогательные напевы святыя четырёхдесятницы. И как алмаз в венце месяца марта оный светлый праздник Благовещение.

Суровы спасительные яства дней Великого поста. «Стоит мост на семь вёрст (семь недель поста), впереди[1] моста золотая верста»... Вот и считаешь, сколько ещё до золотого дня Пасхи. И вдруг ещё шествующим нам дорогою поста, ещё подымающимся нам оною благословенною горою, на вершине которой солнце Христова Воскресенья, Церковь ещё прежде света Воскресенья озаряет нас радостью Благовещенья – вот вы дошли, говорит, до двадесят пятого дня марта, и здесь остановитесь, здесь препочийте, месяца марта в двадесят пятый день: «Благовествуй, земля, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу».

Нам, странникам, ступающим по святой земле Великого поста, прежде чем войти в Иерусалим Пасхи Христовой, отверзает Церковь благословенные врата Назарета, града Благовещения. Прежде чем насладиться пасхальным пиром веры, мы вкушаем веселящую празднественную чашу Благовещения.

Хоть редко, но бывает, что Благовещение совпадает с Пасхою. Тогда будто два солнца светят в «Божием мире», в Церкви Божией. И две радости нераздельных, но и неслиянных кладёт Господь на сердце Божьего мира. И в оные благословенные дни благодатнаго месяца, когда солнце Пасхи обходит вкруг пресветлой звезды Благовещения, две златых чаши радости держу я в руках. Пью и от той, и от другой... Солнце за солнце зашло. «Вечной тайны явление» и «Воскресения День». Пречудно это соединение таинств, неизреченно совершающихся каждый год. Неизъяснимо и несказанно воскресает Христос каждую весну. И столь же неизъяснимо в таинственный день Благовещения в Божием мире, а друга <столько в верных> сердцах опять и опять совершается вечной тайны явление. Гавриил благодать благовествует, и Сын Божий <1 нрзб.> днесь бывает. Дивное дело: Пасха сошлась с Благовещением. Архангельский глас вопиет: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Но покрывает нас другой вопль, архангел бо и иную радость вопиет Благодатной: «Святая Дева, радуйся, и паки, реку, радуйся, Твой Сын воскресе!».

В 1942 настоящем году радость Воскресения Христова предварила радость Благовещения. Но когда первый день Христова Воскресения совпадает с днём Благовещения, тогда он называется Кириопасха – истинная Пасха, ибо предано, что Христос воскрес месяца марта в 25-й день.

И не только этими двумя венцами благословлен месяц март. Чти в минеях и прологах «силу и угодье», славу и величие месяца марта. Древле год начинался с марта. «В оный месяц Бог мир сотворил».

В мире Божием всё живёт, всё дивно насыщено жизнью. Там, где мир падший видит мёртвую материю, случайную схему, там, где растленный «мир сей» импотентно дрочится над клеткой, атомом, там Божий мир благодатно видит жизнь таинственную и прекрасную, видит разум Божий сияющий, видит неиссякаемою <?> чудо жизни.

[1] Правильно: позади моста.

Мир сей, наука мира сего, миросозерцание безбожное – слепые и глухие невежды-мертвецы. Не знают и не чувствуют они во всём, во всём, во вселенной, во всём, от малой былинки до звёздных миров, не ведают они, внешние, биения единого Божественного сердца. Занимаются «они» миром видимым (а видят «они» не дальше своего носа), но мало, убого, ничтожно познавание их и сих видимых вещей. «Их» мудрецы препарируют вещи, до атомного деления, затем сушат или спиртуют. Очи имут и не видят, уши имут и не слышат. Чему быть: обезьянья порода они.

А наша Мать Сыра Земля, а род человеческий, по образу Божию созданные, поём Творца небу и земли, видимого же всего и невидимого.

Есть знание мертвенное и знание живоначальное. Плачуся и рыдаю, егда помышляю о тебе, отпадший от жизнодавца мир, позавидовал ты бесам, предпочёл, безумствуя, объятия отчи объятиям смерти.

Христос Воскрес – радуется каждая былинка в поле и в небе каждая звезда. Христос не воскрес! – трясясь и ярясь, и пены точа<?> вопит (как будто ему от этого польза!?!) безбожник. Ничто так не ненавидит безбожник, как весть воскресения, как этот благословенный и препрославленный привет: Христос Воскрес!

Посмотрите: каждый червь из этой кучи смрада, то есть каждый безбожной гроб на себе носит. В безбожнике гроб и на безбожного гроб. Трупом от них несёт... Безобразны, бесславны они.

О чудесе, что се о роде человеческом судьбы: почто вот эти возлюбили тление, привержены смерти? О, <учители> тления, наставники безумия, <воспитатели> самоубийц! В смердящих гробах лежите, червями кипите, воздух почернел от вашего смрада, уж нос провалился, пасть сгнила, а всё бахвалитесь, шипя и гнусавя.

Но скоро вас носапыри лопатами в нужники сгребут. Оттуда вы пришли, туда вас и сгрузят.

Бесславный, отпадший от Божией славы мир сей не знает, забыл уже, уснув сном непробудным (их уже только труба архангелова разбудит), не знает мир сей, что и небо, и земля, видимое же всё и невидимое единую сладчайшую симфонию составляют, единый дивный хор.

Мертвенный мозг сих человекообразных потомков не способен, во-первых, понять, что «всё прекрасно в Божьем мире», потому что Сотворивый мир в нём скрыт. Бог во всём. Во всём Троица Живоначальная. Манием Триипостасного Божества движутся непостижимые человеческим умом громады звёздных, необъятных в величии, недомыслимых в числе и расстояниях миров. Троица Живоначальная движет и соки дерев от корня к вершине, силою Троицы Животворящей цветёт роза, благоухает фиалка.

Всё в славе Отца и Сына и Святого Духа. Всё поёт славу Троице Живоначальной. Не гусли ли слышим царя-пророка: «Хвалите Его, солнце и луна...».

27 июля

Ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давно ли, давно ли весну следил, к весне прилежал? Ловил весенние настроения, а се вот и осенние скоро праздники, и 1 августа, и Преображение, и Успение.

Давно ли, кажись, полз я старым переулком, и меня обгоняли ручьи вешней воды, давно ли шедшу мне с преждеосвящённой под ногой хрупал ледок... и вот уж скоро «мелькнёт жёлтый лист на зелени дерев». Так вот у меня и жизнь прошла. Давно ли, кажись, молодость была, и как быстро, как незаметно пришла осень.

Братило ещё на дачу собирается, но уж Ильин день прошёл, и Борис и Глеб прошли, и лето на выходе.

Сейгод пышна зелень в городе. Я тягости лета в городе не ощущаю. В подвале не жарко. Брателко бьётся за меня, мне всё под нос принесёт. Я теперь к ночи разве выползу на улицу. Изредка туда, «к себе», к Петру и Павлу, ползу. Хоть не пыльно и не вонюче нынче лето в Москве (дожди перепадают, машин мало), а всё в день плоско как-то улицами. Хотя неба, неба се лето много над городом, чистого неба. И думаешь: что там деревня, не эти ли же серебряные облака, не сия ли лазурь и там, над полями.

А вечером люблю я как начнут свиристеть ласточки. И оне природу в городе водворяют. Как вот дождь летний, смывающий камни города. В дождь омываются старые плиты города, древние фасады. А омытый дождём булыжник старых переулков кажется гармонично тканым ковром. Каждый камень омытый кажет свой цвет. А слепой асфальт и асфальтовые тротуары возле домов кажутся канавами чёрной стоячей воды... Люблю плиты, что бегут ещё возле домов в старых московских переулках. Они сродни столь поэтическим плитам старых кладбищ. Вяло и плоско тянется слепая, глухая, немая корка пыльного асфальта. И эти плиты, как живая меняющаяся речь, как ручьи каменные, обегают старые дома. Теперь видим их под углом одна к другой, иные треснули, покрошились с краёв. Но какой у них чудесный цвет, серебряно-седой на солнце, а в дождь одна плита видится перламутровой, другая – из слоновой кости.

Шагами многих, многих поколений отшлифованы эти плиты, дождевыми каплями бесчисленных дождей. Ступаешь по этим прямоугольникам (ступаешь так надёжно – они так глубоко сидят в земле, словно растут из неё), ступаешь, словно считаешь их, словно страницы каменной книги города читаешь... Полированными желобами, вымоинами, выбоинами, узорными трещинами, царапинами много, много успеют тебе рассказать эти старые плиты старых, старых переулков, столько не споёт иная эпитафия в стихах...

В Петров день шёл я своим Подкопаевским переулком. Полдень, а тут тихо. (И дивишься – в Москве ли ты?!) Старые дома рады солнышку... эти вот подслепые лица подставили солнышку, уставились с радужными

бельмами и смигнуть им неохота. Так и дремлют. А ряд приятелей и сверстников ихних зады с надворья солнышку греть предоставил, там старые крыльца-галдерейки, неожиданные мезонины, нужники. В Москве часто так: идёт скучная улица, обозначенные обезличенные сплошные фасады. А вошёл во двор – и увидишь сказку: старинное «глаголь» или «покой» корпусов ещё барочных. Рокайлистые наличники окон, белое по синему высокое нахлобученное крыльцо с люнетами слуховых окон... А как много александровских, екатерининских, николаевских дворов, ансамблей. Красивые подъезды, внутри красивые вестибюли, широкие марши лестниц, изящно у места поданные оконца. И это в рядовых домах, в глухих переулках. И, опять высокие чёрные крыши, с чердаками обширными, поместительными. Теперь живут, выгоняя сантиметры, а прежде ширилась усадьба во весь квартал, ширина, дом на усадьбе с садом, с огородами...

Ино я о переулке своём, Подкопаевском, заговорил, да на широкую улицу свернул. А опять в переулок свернём... Видно, никто не ездит тут.

Сквозь булыжник проросла трава, а возле домов, у подножия домов и оград словно зелёными изумрудными плюшевыми дорожками здесь постлано... И середи улицы сидит младенец голенький, в одной распашоночке и пытается сплести себе венок, накладывая на головёнку весенние цветочки. А в нише старого дома сидит и шьёт его мать и во весь переулок слышна её песенка.

Была такая здесь тишина, что песню молодой матери слышал с одной стороны переулка старый Никола Подкопай, рассевшийся на старых плитах туда, вниз к Солянке. С другого конца переулка слушал песню грузный и великолепнейший некогда дворец Найдёновых.

Я и зимой, и в весну, и теперь, в лето, брожу этим переулком к службе. Приду домой да рассказываю, что в «центре» улочка, а посереди её на травке дитя сидит и веночек плетёт. А мать шьёт, сидя в оконце древнего дома, и не боится, что дитя её раздавит телега или машина. Ещё рассказываю я брату и племяннику, что на вечерней заре и «государь мой дедушка», и порядовные ему дома, справа и слева, что утром греют широкие зады, храня в тени породистые переда-фасады, чтобы не выгорели да не вылиняли, да не выцвели. Теперь, по вечерней заре, подставляют закату свои лики. Озарённые тихим светом вечерней славы неба, похожи эти дома на старых стариков, стоявших у вечерни и под пение «свете тихий» умилённо взирающих на иконостас, залитый сиянием свеч.

Я сказывал, а брателко в эту пору из очереди прибежал, в столовую бежать посуду собирать за обедом...

Он послушает да горестно возопит: «Нету, нету, светы, такой улочки... и травки там нет, и дома эти рассыпаны, и свет тихий погас...».

9 августа

Передают сонату Шумана для скрипки и фортепиано. Торжественность есть и светлость в музыке. А я стихиры начал тихонько выпевать Зосиме и Савватию Соловецким. И вот нисколько не вразрез и не оскорбителен аккомпанемент музыки, звуки скрипки гимну святым пустынникам... Благодатный свет соловецкой святыни разливается сегодня по морю Севера. Слышу чудные звуки музыки Шумана и вижу: это волны бегут, обгоняя одна другую. Это волны ряд за рядом набегают на серебряные пески соловецкие, это волны с гребнями, озлащёнными уже осенним солнцем Севера, плывут к стенам святой обители и лобызают камни ея... Соната Шумана... Там, на Соловках, поёт ли сегодня славу хотя один голос человеческий? Но море поёт стихиры, как пело века... Торжественно и властно звучит музыка... Как перезвоны колоколов, рояль. И скрипки, будто вдохновенное «Хвалите» молодых иноческих голосов... Вот я слышу: набегают мелкие волны, целуют камни основания стен соловецких и отхлынут обратно... А вот молчаливо подходят, как монахи в чёрных мантиях с белыми кудрями, ряды больших волн. Выравнявшись перед древними стенами и став во весь рост, валы враз творят земной поклон. Сегодня кудри припали к подножию стен. И вот встают в рост и, оправив тёмные, тьмо-зелёные мантии, уже пошли с другими вокруг острова как бы в торжественном крестном ходе.

Память святых соловецких угодников, почитание преподобных Зосимы, и Савватия, и Германа, и прочих соловецких святых, любовь к ним... О, какое драгоценное наследие вручила мне моя милая родина, возлюбленный мой Север... Смала, в родной семье я привык слышать святые имена Зосимы и Савватия, привык видеть икону их, Соловецкий патерик любимейшая моя была книга, а литографированные картинки его первою моею были картинною галерееею. И начал я копировать их, едва научась держать в руках карандаш. (Соловецкий патерик. С.-Петербург, 1873.) Патерик этот принадлежал тётеньке моей, отцовой сестре Глафире Васильевне. Когда они жили в доме Перова, что против собора, к Соборной пристани, я ещё был мал, но любил рисовать. Придя в гости ко крёстному, я срисовывал и «вид» с циферблата старинных часов, и цветы из «Цветника-травника», и вот особенно мною любимые «виды» из помянутого патерика. Тётенька сама любила эту книгу, и я привык относиться к рисункам бережно. И теперь, спустя сорок лет, всё цело...

Дорогие, любимые, заветные воспоминания... Город жил морем. Отец ходил в море. Он часто по рейсу мурманского парохода заходил на Святые острова. Иной год мать и тётки ездили к преподобным. Маленьких нас, ребят, брали не всегда. Надо плыть 16 часов морем, в хорошую пору лета. На Преображенье, на эту августовскую память преподобным, многое множество туда «ходило» богомольцев. От Соловецкой пристани, что на Соломбальском острове (под Городом) отходили на празднество 3–4 августа соловецкие пароходы. Что сказку вспоминаю теперь эти пароходы... Золочёные кресты на

высоких мачтах. Нос парохода, корма, основания мачт были украшены деревянной резьбой, ангелы, святые, цветы... всё было раззолочено, расписано лазурью, киноварью, суриком, белилами. Команда на всех пароходах монастыря состояла из монахов. Только длинные волосы да скуфейки выдавали чин ловких матросов... Вот пароходу, до отказу заполненному богомольцами (приехавшие из средней России со страхом ждут морской качки), время отваливать. Пароход свистит, стучит машина, гул толпы... И вдруг раздаётся голос штурмана: «Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!». Капитан, бородатый помор, в море состарившийся, обутый в нерпичьи бахилы, в кожаные штаны и морской бушлат (но на плечах у него коротенькая – как бы воротник – манатейка), нахлобучивает на глаза соловецкий клобук, крепче накручивает на руку чётки (чётки и у всей команды) и, по-соловецки истово знаменуясь крестом, творит поясные поклоны. Сразу умолкнув, молится и тысячная толпа на берегу и на палубе, и в машине, и в каютах: «Молитвами преподобных отец наших Зосимы и Савватия, Германа, Иринарха, Елизария Анзерского и прочих соловецких чудотворцев, Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!». «Аминь, аминь», – гудит толпа. Начинается дивный в летнюю пору путь открытым морем... Ночь, белая, сияющая, небеса и море сияют тихими перламутровыми переливами. Грань воды и неба теряется в золотом свете. Струящие жемчужное сияние небо и море... как створы перламутровой необъятной раковины... Мало кто спит. Чтутся соловецким речитативным напевом жития преподобных. А тишина блаженная, умилённая... Запоют тихо тропарь: «Яко светильники явитеся всесветлые на отоке окияна-моря, преподобные...».

– Глядите-ко, – скажет кто-нибудь, – из воды кто вышел...

Это нерпа, за нею другая, третья – помахивая головочкой, поглядывая умными глазками, неслышно перебирая руками-плавниками... А к утру, как видение, покажется как бы вознесённая над водами обитель. И как спутники, окружают судно белые соловецкие чайки. Облаком сверкающим налетят они, сядут на борта, на мачты... И вот уж слышны звоны.

А какой захватывающий интерес был для меня в этих привезённых из Соловецка гостинцах. Всё необыкновенным казалось. Малых нас не брали в море. Мы знали, что туда отец уходит, оттуда дуют сердитые ветры. На стене висела картина, привезённая отцом из Соловецка, писанная на тонкой столешнице: золотой корабль, серебряные паруса, чёрные валы моря в серебряной пене, белые чайки, снасти вырисованы пером... Море малых нас страшило. Но знали, что «там, за далью непогоды, есть блаженная страна». Камешки оттуда привезут. Круглый он как мячик, обкатан морем... Годы лежит камешек, и всегда от него аромат моря. Ещё привезут цветистых соловецких раковин. А потом хлеб соловецкий, ржаной. Каждому богомольцу, помимо того, что трои-четверы сутки монастырь всех поил, кормил бесплатно, выделялось на дорогу пять фунтов хлеба. Чудесно выпечен-

ного, необыкновенно вкусного. Замечательны были большие соловецкие просфоры с изображениями. А как любили мы эмалевые образки, писанные на кипарисе иконы. И стопу таких нарядных, столь праздничных картин с видами монастыря, с изображениями святых. И ещё ложки с рыбой в рукояти, или с благословляющей рукой. Затем чудесная соловецкая посуда глиняная. И всюду изображена чайка – герб соловецкий...

13 сентября. Суббота

С Успенья не протянул руки к перу. В пусте дни проходят. Обо всём разоряюсь, о внешнем и о внутреннем. На себя и на людей в досаде. На братишку опрокинулся, сел ему на шею и когда слезу – не предвидится. Весь упал, весь ослаб. Толя... на троих он один добывает. И деньгу он добудь, и на деньгу ухитрись купить. И приготовь обед и ужин, и одень, и зашей, и... всё он один. До ночи не присядет. А я, а моя функция в доме в том состоит, чтобы скандалить с нарушающими моё настроение, срывающими моё преуспеяние. К ночи придёт братишко-то, еле приползёт, за косяки держится, за стенку, сумчонка болтается, бидончик гремит... Мы за еду, он и есть не может. Глазишки его чистые, светлые, серые... Сколько в них усталости смертельной. Я у окошечка дома с книжечкою сижу, в церковь схожу да покушаю, да вечером картинки разбираю. А он и в союз, и в столовую, на кухню и в очередь, то в одну, то в другую. Все удары, все обиды, все стражи, бесконечное сколачивание порогов с просьбами, с прошениями, с ходатайствами, ежедневное барахтанье в море беспредельного блата, несмотря на усталость свою смертельную, невзирая на болезнь, всё на себя брателко мой взял, измученный, голодный, больной. Каждый день – может, не может – с утра ему надлежит в битву бросаться. Денежки выколачивать, купить еду, купить подарки тем-то и тем-то, умздить, упросить, одарить, выстоять, выждать, из-за куска хлеба, из-за фунта картошки десять раз съездить по начальству, выпросить, доказать... Ино высшее даст записку на кило капусты, дак низшее «саботирует», этих надо смазать... Придёт домой-то, да и упадёт... А я всегда в ярость, что настроение мирное нарушил, с своими буднями, злобами дня. Я тру в три горла братом добытое, добытое через пот кровавый (он добывает, да он же и готовит), братом мне под нос подставленное. Да я же на любое самомалейшее проявление его усталости нечеловеческой, невзирая на то, что он болен тяжко (а лечиться разве он найдёт минутку времени?!), я же любую минуту с яростью, с визгом, скандалом затеваю, что он нарушает мой покой и умонастроение. Отлаю последними похабными словами, не стыдясь, не страшась, не стесняясь мальчика, и, хвостнув дверью, вылечу на улицу, чтоб, ежели дело к ночи, успокоить расходившееся сердце, умирить непонятую, неоценённую мою душу лицезрением звёздного неба. Брат, истерзанный и людьми за день (каждый день людьми истерзанный), истерзанный заботами, тревогами (ведь всё на нём, ни из чего

надо ему одному всё создать), истерзанный болезнью и усталостью, да вдобавок мною обруганный, опозоренный, побитый, брат сидит, хватаясь за голову, не дыша, не шевелясь, он уж и плакать, как, бывало, из-за меня или обо мне плакал, не может, а и отдыхать нельзя, надо мне и Мише ужин готовить... А я, наполнив дома стены матерной исступлённой хульной бранью, облив грязью измученного работой на меня человека, двадцать лет с беспредельной нежностью заботящегося обо мне, как ни одна мать в мире не заботится о ребёнке, я, избив и оскорбив его, втоптав в грязь, я, вышед на улицу, возвожу очи на небо, взираю на звёзды, жду, «дондеже утишатся вся чувствия»... Жду, когда он пойдёт искать меня. Ходит, зовёт с тревогой. Найдёт, просит простить. Я поизмываюсь да покуражусь ещё, тогда прощу, а иное и дерусь, ударю его, раз железной палкой по ноге ударил...

21 сентября. Воскресенье

Выбрался сегодня за заставу, за Калитники. И точно в другом «городе» побывал. Сколько неба, сколько света, воздуху сколько! Веселье какое-то даёт природа: осень сейчас, и ветер резкий в тени, ветер с дерев лист сносит, лист кружится по ветру; чудно глядеть: вереницы листьев, точно живые, гонятся друг за другом по дороге, кружатся венком под ногами, будто дети играют. Трава пожелтела, поздний лист летит с дерев. Облака злато-серебряные к солнцу, с исподи дымного цвета по-осеннему. Но радует сердце эта воля, простор, купол небесный, который, выйдя за город, опять увидал я от края до края... Широкая дорога, тропинки, ряды дерев идут далеко-далеко и манят тебя идти. И всё бы шёл по этим коврам опавших листьев. Подойду да постою... Вон меж дерев старая церковь, покосившаяся ограда. И безлюдье, и тишина. Только птицы чиликают, да ворона крячет на коньке заколоченной избушки...

Я навеку здесь не бывал, а всё здесь моё, всё мне здесь любо. Здесь всё так, как мне надо. Тишина, безлюдье (даже удивишься!), много неба с злато-сизыми облаками, дорога, вдаль уходящая, лист осенний. Ты-то стоишь, душа, точно вот птичка эта, из груди вылетает, чирикнет да на той берёзке посидит, опять к небу взмоет. Ты-то стоишь, клюкой подпёртый, а душа-та рада, что из стен городских, из асфальтов слепых вырвалась, душа-та твоя везде налетается, наиграется. Вон как любо небо-то блестит, облака-те сияют сквозь голые ветви дерев. Облака-те что корабли плывут... Обо всём наигралась душа, и меж дерев, и над деревьями, и вокруг старой колоколенки, и над крышами далёких домиков. Ты-то недалеко на липовой ноге, на берёзовой клюке убежишь, а душа – ох, как она далеко слетала по дороженьке той... Трамвай-то долго ползёт долгими улицами до заставы, да от заставы до Таганки, от Таганки до Солянки. Деревянная Москва... Домишки двух-, одноэтажные, флигельки, дворы покрыты травой, деревья из-за заборов... Какая здесь была уютная,

настоящая жизнь. Какой спокой. Как жизнь проходила по-человечески... Покосилось, похилилось всё сейчас. Было быто, да было жито...

***

Будто в каком-то сне тоскливом, дни мои идут. И рад бы обрадоваться и неоткуда радости ждать. Радость и мир надо заработать, надо других обрадовать, тогда и сам радость получишь. «Тако да просветится свет ваш пред человеки...» А я весь мгла, весь муть и туман по отношению близких моих. Простой мирской честности нет во мне, кругом ложью живу, своё бросаю, чужое хватаю, лгу людям, лгу и себе. Глубоко в тине барахтаюсь, а требую от других уважения...

26 сентября

И я сегодня день-от вился как белка в колесе. Сейчас Толька понёс Мишке в джаз хлебца, и я урываю писнуть. Завтра память преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватий и Зосима жили в XIV и в XV веках. Мы живём в иные времена. Но это не значит, что иное время – «иные песни». Нет! Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звёзды. Вот это созвездие видишь ты, видели его и твои праотцы, будут видеть если продлит Бог век мира сего, и правнуки твои... Благословенна эпоха, благословенны времена, в которые жили чудотворцы Сергий, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наша слава, они наша гордость, упование и утвержние. Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш против тех святых времён. Но я наследник оных благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же стаде...

Златые уста говорят: «Не можешь быть большой звездой, будь малой, только на том же церковном небе почивай...».

Вот так опомнишься на мал-то час, очнёшься, от будней бесконечных упразднишься на мал час хотя и думаешь: вот какое мне царство предлагается, ведь я царству наследник: сыном света, чадом божьим я могу быть, вместилищем радости нескончаемой, которую даёт Христос любящим его. Я церкви Христовой, и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким богатством земным не сравнишь... Дак что же я скулю как собака, что в мире сем обойдён да не взыскан, не пожалован!..

27 сентября. Суббота

Ехал на трамвае: Лубянка, Театральная... Толкотня, жмут, ругают. А над городом, за площадью, за домами дальними туманная заря... И вот вижу берег родимого моря. День, тишина безглагольная, разве чайка пролетит и жалобно прокричит, рыба плеснёт. Бледное северное небо. В беспредельных далях морских реют призрачные туманы. В тишине несказанной слышен ещё лёгкий плеск

волн о камни... Серые камни, белые пески, раковины... В этой тишине, в тихом сиянии северного дня вижу двух иноков. Это преподобный Савватий и преподобный Герман отправляются на Соловки. Тихи их голоса, спокойны их действия. Преподобный Савватий выше Германа, тонок и худощав... Инокам предстоит двухдневный путь в малом карбасике открытым морем. Но ничто не может нарушить спокойствия Савватия... Начав подвиг иночества в Кирилловом монастыре, Савватий отошёл на Валаам как место более пустынное, но сияние святости заставило и суровых иноков Валаама преклоняться перед Савватием. И вот он бежит в пустыни Белого моря, на берега, в XV веке почти безлюдные. Здесь обретает он другого пустыннолюбца – Германа. И вот садятся они в малый карбас, чтобы, переплыв морскую пучину, положить начало благословенному жительству иноческому на диком, необитаемом острове Соловецком.

В движениях инока Савватия, во взгляде его очей, в выражении его светлого, но измождённого постом лика столько величия неземного, что инок Герман, сам муж духовного разуменья, сразу всем сердцем приник к новому своему сопостнику и сомолитвеннику, почтив Савватия старшинством в великом смирении своём...

Карбасик наполовину вытащен на берег. Мачту поставят, выйдя в голомя, сейчас она с навёрнутым парусом лежит вместе с вёслами и багром. Пестерь с сухарями, мешок с сушёной рыбой, бочонок воды – вот и вся кладь иноков-мореходцев.

– Господи, благослови путь...

– Аминь. Бог благословит, – тихо говорит Савватий...

Упираясь грудью в карбас, они толкают его в воду. Песок шуршит, плещет вода. Иноки входят в своё судёнышко, отпихиваются вёслами. Савватий садится в корму, правит. Герман ставит мачту. Но кругом много камней. Карбас надо вести осторожно... Иноки садятся за вёсла. Берег всё дальше и дальше. В тишине только и слышен стук вёсел. Небо да вода. Чайки долго летят, провожая святых. Когда потянул ветер и путники поставили парус, вода белыми кружевами забурлила под карбасом...

28 сентября. Воскресенье

Эти вот дня два всё мыслью туда, к святыне родины моей возвращался. Я маленький и скаредный, а сокровище родины моей, которому и я наследник, святыня Соловецкая велика, и неистощима, и пречудна, и лазурна, и пренебесна, и благоуханна. Я приник живоначальной памяти преподобного Савватия, и будто кто меня взял и поставил на бреге пресветлого Гандвика, родимого моего моря... И лики преподобных вижу, и слышу плеск волн, и стук вёсел, и крик чайки...

листи сю заплакані [illegible] зарурим
мені пошли

Тік народ!

— розпатися подкал

[illegible] якщо займемо. кам

[illegible]? одежа що?

~~[illegible]~~ що? одежа що?

— Ваша одежа не зна
що. ~~наша~~ на собі. Зло ~~[illegible]~~
~~[illegible] на~~ сарафан ~~[illegible] да~~
кінви.
Змі собі ~~[illegible]~~
перед ницим

1943

10 февраля. Вторник

Ещё вот свойство мирно-радостного состояния. Обычно уж теперь я, одолеваемый болезнями, нуждою, печалью о брателке, о Мише, равнодушно, в бессилии своём гляжу на то, что собирал, что любил. Книги, картины... нечем взять. А как согреется сердце маленько, и опять мне любо поглядеть на книжные полки, в руках подержать ту, другую книгу. Ведь каждая из них пища и веселие мыслям. Оживают и разговаривают опять со мною и портреты заветные; и они весело глядят на меня со стен. И Филарет в белом клобуке, и Амвросий. И с финифтей оптинских, засуетясь, дым отру. (Ежедень в дыму комнатушка-та.) И виды Лавры, и Валаам, и диван, и вся, вся дедова наша громоздкая обстановка, коли я мирен, и она ласково глядит: «Ничего, – говорит. – Не горюй, Параха!..».

...Западный человек, старея, с утешением и надеждой глядит на благоустроенность семьи, на своих внучат. Семейственностью, внуками он заслоняет от себя конец. Внучата, дети – вот оправданье и утешенье старящегося человека, всегда живущего настоящим.

На Руси человек, старея, начинает глядеть в мир иной. На стариках у нас отображается свет иного века. Старые люди на святой Руси думают и стараются приникнуть к «тамошнему». И какой же радостный ответ на эти столь всеобъемлющие и самые существенные для Руси святой вопросы даёт праздник Пасхи!!

– Христос Воскресе! – И этим сказано всё. Жизнь полна смысла. Лишения, скорби, болезни, нужда, смерть самая – всё полно смысла. Пасха могущественно осмыслена и принята Русью святой, востоком православным, и от рождения до смерти «Пасха Христова», «Христос воскресе» хранится и теплится в тайнах души православной. «Пасха Христова», «Христос Воскресе» – это семя вечной радости, которое носит в сердце Русь святая, это никогда не гаснущая искра Радости Единственной.

...издыхая, уже явно издыхая, мир сей уж и язык, издыхая, вывесил, уж и пену точит, а ещё богохульствует... Но тут ликует смерть, а ад о своих сие... Им бы всем давным-давно жёрнов на шею... над миром свою свистопляску.

Но Бог есть любовь. Свет Божий, отчее сияние той мучен быть за грехи наша и принят бысть за прегрешения наша.

Жизнь на земле – цепь непрерывная лишений, бед, напастей, болезней, скорби. Но имей всегда перед мысленными очами распятого за нас Господа Иисуса. Святый епископ Игнатий (Брянчанинов) дивно говорит о страданиях: «Просили ученики у Христа престолов славы... он даровал им чашу свою. Чаша Христова – страдания».

У многих из нас жизнь – страдание. И безумием будет, недостойным животного, не то что человека, проклинать всех и вся, клясть судьбу, лезть в петлю. Церковь Христова здесь говорит своему детищу скорбному: «Потерпи Господа, чадо!». Т. е. – этими страданиями Господь тебя избрал, этими скорбями сам Бог тебя посетил.

Недомыслимое дело плотскому нашему уму постичь, что любовь Божия к избраннику своему выражается в скорбях и напастях, посылаемых этому человеку, таких напастях, ужасаясь которыми от «несчастного» бегут друзья и знакомые, бессильные помочь и облегчить. Но, попуская такие скорби, Господь властен послать терпение, и утешение, и радование о скорбях. «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог».

В минуту, уж, кажись, крайнего отчаяния вдруг свет сияет в скорбном сердце и человек видит «удрученнаго ношею крестной Христа», проходящего в рабском виде, в терновом венце, с гвоздиными язвами на руках и запылённых ногах, из-под тяжкой ноши креста благословляющего землю, ободряющего всех нуждающихся и обременённых.

Вот приходит Пасха Христова, а «Вземляй грехи мира» висит на кресте. Снова и снова распинают Его преступления мира. Мы веруем в распятого Бога...

Здесь великая и живая тайна веры христианской: грешный мир снова и снова распинает Христа. Вот сейчас кругом старики, старухи умирают гладом, трясутся зимою. И если я не делюсь с голодным, который стоит возле, я хулю Христа Иисуса. Я с безбожниками плюю на Его заповедь.

Свете мой Христе, надеждо моя Иисусе! Как часто я теряю Тебя, ухожу от Тебя. Но, Господи, мой Господи, как скучна и пуста тогда жизнь... Ты, Господи, рек пречистыми Твоими устами: – Я лоза, а вы рождие; без Меня не можете творити ничегоже.

26 февраля 1943 г.

Улками-переулками – всё слило в корку ледяную. Только держись! В переулках народишко (старух больше!) посередь дороги бродит. С крыш срыто, а худо убрано на тротуарах-то. Инде горбом натоптано, инде и вода. А инде пообсохло у домовых-то пят, чистенько по-весеннему. Какая-нибудь старуха-говельщица, валенки на тротуар не помещаются, до того наподшиваны, лепится по сухому-то.

Давно ли было как нарядно. Везде у зимы, как у попадьи, белые постели накрыты, подушечки, накрывашечки... и, вдруг, – всё оголено. Наго видится,

голо... Эдак вот, бывало, для стирки предпраздничной всё поднимают, занавески с окон и дверей, скатерти, полоски, подзоры у кроватей, накрывашки с угольников, кроликов, полок... Зима ещё пыжилась да морозилась.

Но уж ветры, но уж солнце весну будят: – Плющиха идёт, Евдокия, март. Зиму будто из гостей домой попросили. Она схватила свои перины, подушки с прошвами, простыни с кружевами, обснимала всё убранство и убралась. Сор и грязь оставила. А новая госпожа, Весна, ещё не въехала.

Ежели хоть на малые минуты падёт веселье на сердце тебе, идущу к службе Божьей, знай, что это ангел Божий шаги твои считает. В этом разуме и сказано в патерике. Хорошо, если есть у тебя триодь постная. И по триоди с каждым днём побеседуй. Мне вот книгу разбирать горе стало, не вижу строк. Я буду, если нельзя утром, то в вечерню, а то и к ночи (ночи хороши предвесенние! Капели, вода, ручьи) на улицу ходить, «Божий мир» соглядать – что глазом не вижу, то ухом учую. Кабы я в деревне жил, я бы каждый день этой несказанной поры – когда «ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят, бегут и будят сонный брег»... я бы с утра вышел за околицу, услышал говор вод, так бы душу выронил с радости. Евдокия Плющиха и «Алексей с гор вода». Всякой год одно и то же, и всякой год ум исхититься об этом месяце только готов от радости. А что бы взять Великий пост в обители где, у леса, у рек... Услышать бы, как поёт жавороночек, сидючи весной на проталинке...

...Но и в городе... Жива душа моя, жив Господь! и в городе. Сколько неба! Сколько тихости теперь в ночах. Какие ручьи побегут, омывая древние плиты Города, многовековые пороги стен церковных... Разве в городе нет природы? Как заветны у меня часы рассвета, с которым так пречудно-радостно я беседую в моё подвальное оконце. И этого так много!

Великий пост, службы церковные... Ходи весь май<март?> себе.

2 марта

На рассвете брателко, уходя, развесил мне оконце. И лёжа, вижу золотящуюся от солнца весеннего стену и голубого неба кусок. И уж знаю себя лежащим в красе Божьего мира, в радости весны.

Неважно, о как неважно, что телёшко моё в подвале, что кругом «пыль да копоть и нечего лопать». Это не загораживает сейчас утреннюющей мысли. Закоптелый потолок не помеха. Мысль радующаяся летает, как ласточка. В Божьем мире нигде ей не загорожено.

Открыл глаза, увидел стену дыма в солнце и небо мартовское и к стене повернулся. Богач. Божье богатство споро. Се Бог в оконце мартовской весны подал. И Божий дар, как дрожди в человеке. Крылата душа человека. Летаю, вижу елие столетнее, но и ручьи небес горние вижу над моими горами хотьковскими, и перелески. И дороги и... нигде не загорожено.

Какой пустяк, что носом в саженной приступок упираясь лежу, что в саже и паволока. Вторая седмица Святых постов. Какая радостная одежда у этих дней-иноков! Какая радостная печаль! В марте всегда Великий пост, и всегда дни эти одеяны блистаньем начинающейся весны солнечного голубого неба; говор вод, шёпот капелей. А сегодня память матери.

10 марта

Мне любо выписывать, что вот вторник сейчас третьей седмицы Великого поста. Прискорбно проходит день. Горестно живётся. И всё-таки сознание, что хоть ты-то в таинстве, но дни-то над тобой, святые дни Великого поста, каплю мёда кладёт на язык, вергающий горечь... Ели «порцион», угрыз брата за мрачность (больного, голодного, уставшего). Поссорились. Он залёг в угол. В подвале быстро стемнело. Но <...>молитвенно глядела в оконце угасающая заря. Твоё-то сердце окаменело. А небо вечернее, как ни взглянешь, всё точно молится за нас бессмертному, отцу небесному <?> святому блаженному. И стоит, и зовёт, и <...> этот умилительный свет вечерний.

...Вышел на улицу. За два дни снега по дворам вовсе как бы пеплом подёрнулись... Я вот при <?> когда на дню-то упадёшь в отчаянность, аж до крика. (И это несмотря на то, что я погано и непростимо виноват.) То нечто утешит тебя, отчаянного, унылого, как зверь выползшего под божье небо. Бьючи яростно-безумным словом единственного рыдательно любимого человека, я и себя ведь бью. И вот когда умученный-то вылезешь «на волю», острее всё сознаёшь. Милость божья велит оку твоему сердечному утиху высмотреть <?> для тебя.

...Опять как-то отчётливо, ясно стало, что годы, время – нечто условное, относительное. Небось это душа приоткрыла глаза. А про душу нельзя сказать, что она старуха. Ей нет конца. Душевные очи истинным всё видят. Физическое зрение скользит по поверхности. В красотах природы, в произведениях искусства видит только внешнее. Всё глазу плотскому быстро примелькается. Подавай новые и новые объекты для впечатлений. Любители искусств катают по Европе, Италии... Париж, Венеция, Флоренция, Рим. ...И как это можно одному человеку вместить. Я понимаю: жить так годы. А ведь за одно «турнэ» охватывают ценители...

Я двадцать лет брожу по своему Архангельскому переулочку. И новые, новые вижу... Откроет свои глаза сердце и снимется со всего маска. Мартовский ветер, к ночи сухо под морозцем, дорога <...> крыши как свет зари меркнущей. Пусто.

И вот я, почти старик, подал руку себе мальчику. Те же ощущения, то же чувство сладкое. Город другой... Переулки: Б. Успенский, Архангельский... И всё же я в родном городе. Детство мне подало <...> руку – это значит,

я (правильно) увидел окружающее. Открылось око сердца на миг и взимаются куда-то завесы греха, кроющие город, и видишь, что опустилась радость над этими дорогами, над кровлями. Та вечная радость... Ожидание... Первой ли любви ожидание у юного, счастья ли... Мимозы с юга, благоуханные, радостные вербочки, подснежники, всё это выра <СЛОВО НЕ ЗАКОНЧЕНО>. Я хотел написать, кажется: – Выражает странную красоту и не<...>ность видения.

Хочется иное «настроение» занести в тетрадь (ино дика): то руки не доходят, то отрываться приходится на полуслове. Так и бросаю, не закончив мысли. Опять и то о писаниях моих надо сказать: «плохо молиться, коли в уме двоится». По отношению к семье честнее было бы мне включиться как все в лошачью (свадьбу?), бежать с лучьей свадьбой как все... Тогда, может, сыт был мой братишко.

...Но господи, господи... хочу я пить атриды и кадма петь охота, постр <...>

11 марта

Ведь вот, зачем-то вложил Бог искорку света своего в меня. И не угасла ещё она под пеплом лени и греха. Как молчать о том, о чём поёт душа. Помнит душа звуки небес, не может <не могут?> их заменить скучныя песни земли <...>

Хочется... то рассказать про свет, про радость. Церковь поёт в Пасху: «Днесь всяка тварь веселится и радуется». Этим и приглашается тварь к веселью... Гонюсь за веселием, бегу за покоем. Потому и бегают они от меня. Скорбями надёжная-та радость зарабатывается. Печалью по Боге. А про мои скорби-печали одно можно сказать: «Ерёмины слёзы по чужом пиве льются». Пословица старинная. Ну «о сем до зде». <...>

А вчера я сделал приобретение. Брёл переулком в «устроении», подобном тому, о чём блаженный Августин пишет, вспоминая детство своё: «Ещё не был я влюблён... но уже любил любовь»... Ещё не Пасха, но уже люблю любовь и Пасху. А уж тени вечера стояли <?> в переулке, дома сливались в одну линию, и тут я как бы в первый раз увидел храм архангела Гавриила. Одиноко в молчании как божья свеча ярус за яруски возносил храм в вечернее небо. Одиночество, торжественность, обособленность. Всюду <?-дные> будни, нищий, погано заголившийся конструктивизм в современной архитектуре. И <...> храм необычайный, преукрашенный как жених, он весь как свет <?> как ангел благовестный <?> в райских <?>

Сряжался отпечатлевать настроения всякого дня мартовского сего, веяние всякого дня поста. Наместо того тоскливый испуг жмёт сердце. Давно съели «паёк», неоткуда ждать денег. Бросили опять продавать вещи, остатки остатков. Одежда, посуда, книги, давно заушили <?>. Сейчас за столетнюю

итальянскую гитару (паспортизированную) в скупке дают 150 р. (т. е. кило чёрного хлеба). Бросив псам под хвост четыре веджвудовских блюда, купили сегодня на вырученные деньги два кило мелкой картошки да и съели за один вечер. А пайка месячного не хватает и на неделю. <...> голодный бешено завидует продавцам в булочных да судомойкам в столовых. И вот теперь, пока Тоська не продаст какую вещь, да не купит чего перекусить, и сижу... вчера две охапки книг обратно принёс. Не берут. ...А на дворе снег и дождь. Братишко в полном унынии: ни с чем-то придёт... А и продать больше нечего. Пишу для журналишка, но мало надежд на заработок.

Хищны – вместе когтями и зубами держатся.

<...>

Я в среду рассказывал у Миши. Кашей чудесной нас с Толей <?> накормили, овсянкой.

...Пайку ту хлебную (500 гр.) мы к вечеру доедим и всегда к утру грамм по 50 оставим. Но, легши в постель (сосёт утробу!) выудим статочек и... запьём его водичкой.

...Брателко совсем болен, выбился из последних сил... За часы старинные, серебряные в скупке дают 50 р., т. е. на стакан овсянки.

...Братишко уснул, я взял перо, хотел хорошее что-то написать, и вот, сам не знай зачем, точно письмо кому пишу, рыночные цены сообщаю. А писать бы хоть о том, что «добро и что любо»...

Ночь Христова

В 4-м часу я от обедни Вел. Субботы домой явился. У Михайлушки уж и вымыто. Засмеялись горенки-те. Тось прибежал, стали опять топить да лепёшки печь. Михайлушко и моет, и топит, и щи варит, и за тестом следит, и самовар греет... И брат тут же пилит, колет, лучинит. Как с ним хорошо жить-то. Как любо хоть праздник-то встретить! И у брателка нет заботы тревожной на лице: там что будет, а завтра... Пасха! Сегодня ещё... заутрене.

...В начале десятаго уж срядились идти. Я их на улице вышел ждать.

Тихо. Звёзды сияют. А запад не угас: скоро заря с зарёю сойдутся. Светлыя ночи. Вот и наступила светозарная ночь, Христова ночь. Над городом, над домами меж хоромными углами небо, как синяя кисея. Она не скрывает сияния светлой заутрени на небе. Звёзды как лампады, как свечи. Безмолвие ночи исполнено таинственной радости <...>

Вспомнил византийскую икону. Вселенная изображена как великий четвероугольный престол, облачённый в белыя одежды. ...и с углов престол оглаживают, оправляют последние складки, ангелы. Над престолом горят звёзды. Подножие престола земля.

Изображение это, полное какого-то предначатия радости, называется «итимасия» – уготóвание престола. И глядя в тихое, торжественное небо

пасхальной ночи, я видел это уготование престола. И оно сошло уже на землю. Залог тому радостный спех старых и милых, в церковь ли бегут, дома ли остаются. А много, много спешащих в храм. Тёмен город, и бегущие поднимают лица к звёздам. Меж домов по звёздам видят дорогу. Тихая весенняя ночь. Пасхальная ночь. Торжественно небо: Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на небесех. Но и нас здесь на земле, скорбных, содержимых адовыми узами, отчаянных <сподоби?> Тебе славити.

Ночь <?> вся исполненная света, небо и земля. Небеса достойно веселятся. Скажи, Господи, миру падшему, как сказал ты разбойнику: Днесь со мною будеши в рай. Воскресни, Боже, сиди <суди?> земли. Снизши его в Преисподняя изведи – тленных ей наших... <?>

Наш двор равно опоясали глухия стены. Плоския крыши.

Как часто при звёздах, а сейчас особенно, мне кажется, что я в Граде Божием Иерусалиме. Смала любил картинки и описания Святой Земли. Всегда мечтал о счастье встретить там у Гроба Господня пасхальную ночь. Какое же счастье доступно было людям: видеть, сознавать, быть в Иерусалиме. Осязать и целовать камни <стены ?> Города – средоточия сердец и умов всего христианского мира. Как я картинки любил, как описания утрени в храме Гроба Господня любил читать... Так ясно вижу и греков и латинян, и арабов.

...Уж мне там не бывать. Но на Руси Святой, разве не «Воскресе Христос». Востину воскрес. Искони радуется, искони бодрствует Русь Святая в эту священную ночь, в ней же благословит <?> Христа вовеки<?>

26 июня 1943 г.

...Я давно приметил: небо теряет силу своей лазури к середине лета. Зелень, – травы, кусты, деревья тоже сравниваются в цвете. Пейзаж становится похожим на подкрашенную фотографию. Конечно, притупилась моя впечатлительность: скоро три месяца как вижу одно и то же.

Но не сравнишь с блаженною жизнью ранней весны. «Красное летичко». Уж кто только не воспел лета красного. И проза, и поэзия. Когда человек отдаётся природе, как не летом: лес, луга, грибы, ягоды, прогулки, купанье, дачная жизнь... Летом под каждым кустом и стол и дом. И одеваться не надо. Недаром тёплые страны, юг, представляются нам как некий рай, мечта.

30 июля 1943 г.

Опять сижу во своём переулочке, во своём домике, во своей горенке, у своего оконца. И опять заря вечерняя глядит прямо на меня: широкая полоса золота неба. И опять гляжу купу старых дерев вправо и влево, высокую стену старого дома.

Третий десяток лет живу тут. Пятнадцатый год любуюсь вечернею зарёю из этих окон. Встанет заря над переулком Архангела Гавриила и долго глядит в наши комнатки. И так празднично осветит портреты наших с Тоськой родителей, модель корабля... Ласково глядит святой Филарет, старец Амвросий. Любимые мои старые книги, ряды книг опять ведут со мною умную молчаливую беседушку. И древний, кроткий лик Владычицы опять вижу озарён трепетным огоньком. Слава Богу, – опять дома. Не надо шепотком, не надо прислушиваться, слушать скотскую брань. Вот когда оценишь обособленность, отдельность наших комнаток. В центре города, а ведь как будто «башня наугольная». Древняя неохватная толща стен – царство моё, замок мой!..

Половину жизни – юность мою прожил я там, на родине, в родительском доме. Та жизнь уж как бы золотою сказкой представляется. Вторую половину жизни живу здесь, в этом вот домике, с братом моим, ангелом моим, благословенным спутником. И, Господи, мой Господи, Всеблагой, Всемогущий! Как жили мы с брателком вместе, всю эту жизнь неразлучно, так приведи нам, Многомилостивый, из сего света отойти вместе неразлучно!.. Глубиною мудрости человеколюбно всё строишь ты, Господи, и на пользу всем подаваешь!

Самый большой и важный, самый многозначущий период жизни прошёл в этом доме. И вино молодости терпкое и мутное я здесь пил. И вот отрезвился, годы под гору пошли, дряхлеют <...>.

9 сентября. Среда

Итак, вот, вчера праздник проходил: думали с брателком: пусто душе, но Бог глубиною мудрости человеколюбно всё строит и на пользу подавает...

Был парадный приём англиканского епископа. Почему-то (точно я в первый раз стоял с народом) оценил, уважение унёс в сердце к народу. Не было праздного любопытства у собравшихся в таком количестве, было большое внимание. Гость вёл обращение на английском языке. И кстати или нет, в народе заблажил какой-то юрод, захныкал, заплакал.

Потом гость в облачении шествовал в свой автомобиль. Рогатая тиара, фелонь, кисейный стихарь. Наши старухи совались под благословенье. Площадка перед храмом была забита толпою... Солнце, многолюдство, праздничность, не без торжественности.

В это время в толпе появился высокий старец с большой седой брадою и белыми кудрявыми власами из-под скуфьи. К старцу стали подходить под благословение. Стали называть: архиепископ Лука Красноярский. Тоська потащил меня благословиться. Господь внушил моему дорогому брателку за его детское чистое сердце! Уже приняв благословение, я узнал, что это тот знаменитый епископ, хирург, доктор медицины, даже профессор,

который был на Севере, который затем переведён был в Среднюю Азию (с ним уехала В. М. Вальнева)... и уж не хотелось отходить от такого, воистину великого человека. А он, теснимый толпою, благословлял и благословлял, хотя, очевидно, уж с трудом стоял. Но благословлял так внимательно, так неспешно.

Мы с брателком всё старались встать поближе к стару-святителю. С волнением душевным я вспоминал то, что знал о жизни сего святителя-исповедника, поистине врача душ столь же пречудного, как и врача телес... И вот ещё что светло и радостно вошло в моё сознание и, думаю, навсегда. Святитель был одет в обыкновенный штатский костюм. Глухая тёмно-синяя тужурка и такие же брюки навыпуск. Только скуфеечка на серебряных кудрях говорила о духовном сане. До сих пор мне казалось, что духовенство, бросив рясы, потеряло некое свидетельство о важности и чести их сана. Я с младенчества привык уважать рясу: важную, длинную одежду, широкие воскрылья рукавов... Ряса делала этих людей такими особенными, в них было нечто необщее... Сняв рясы, сбрив бороды (это уж стыдно!!!), духовенство, казалось мне, смешалось с толпою, стали будничными, стали как все... Но, в действительности, делала ли ряса священника, монаха?.. Конечно, нет. Тут меня и многих других привлекло<?> большое внимание обращать на внешность. Конечно, иерей поведением – жизнью своей ничем от мирян, влачащихся в злобах дня и грехах, не отличающийся, утрачивал известную честь или обаяние, бегая в кургузом пиджачке. Длинные одежды важны, «честны».

Но человек глубокой духовности <нрзб.>, или вот, владыка Лука, трогательно близок к нам в простой, «нашей», одежде. Благодатность, святость такого старца, ничем от нас по одежде не отличающегося, входит в наш быт. Уже-де пышные рясы, величественные головные уборы не отделяют нас в быту от наших епископов. Бывало, святителя видишь в храме, на кафедре в саккосе, митре... Потом он садился в карету... Звон, топот рысаков. Теперь он зачастую пешком идёт домой, его можно проводить, с ним поговорить...

Я любил и люблю и чувствую обаяние векового богатого, пышного, величавого, приукрашенного быта прежних архиерейских домов.

Там удерживалась драгоценная старинная бытовая праздничность, нарядность, обрядность, ежедневная, некая именинность быта, уклада. Помню архангельскую ёлку Михея. Пасха, куличи, расписные яйца, «тюлевые» бабы, цветы. И в гостях сам владыка. Румяное, весёлое лицо, волны кудрявых волос, белая брада, кудри на чёрном фоне клобука. На владыке <...> светло-сиреневая муаровая ряса. Казалось, он облачён был в блещущее сиреневыми потоками и ручьями море. Так великолепны были эти подобные крыльям рукава, завёрнутые по локоть и кажущие

шелка иных цветов, как и подолы этого сиреневого великолепного одеяния, перламутровые блещущие журчания чётки, сияние жемчужной панагии.

Какой это был праздник! Какая радость для глаз, какое счастье для художника! Сектанты всегда брюзжали, гнусили и шипели по поводу пышной красочности, праздничной нарядности быта архиереев...

Но тут вековечная вражда будней и праздника. Можно иметь тысячи в кармане и скаредно влачить уныло серую беспросветную жизнь. Можно с грошами в кармане всякий день иметь как праздник, как именины. Старинный уклад и быт напоены были праздничностью, «именинностью», торжественностью. Бывало, иной ткал узор своей жизни из дорогих шёлковых нитей, другой из льняных. И сей узор льняной уставностью мог быть лучше шёлкового. А главное, и шёлковое оное кружево, и кружево льняное клались на золотую парчу годичного круга церковного. Церковная всепразднственность напоевала бытовую домашнюю обиходность.

...Не имею я философского языка, ниже мышления стройного философского... Почему-то фразу Мережковского вспомнил – «наша религиозность уже не бытовая, но мистическая». Что-то я худо вникаю в эту фразу. Во всяком случае, вера Христова выше всякого быта. Она над временем, над народами, выше быта, традиций, устоев.

Епископ в сановном облачении, монах в мантии чёрной, плиссированной, в клобуке, – это так особливо, небуднично, торжественно, многочестно. Но, вот, поглядите хотя б на чудных, любезных картинах Нестерова, тонких, глубоких. Иноки в простых кафтанцах, в лапотках... Холщовые подряснички, порыжелые скуфеечки, как связано это с Божественной красотою обнимающей этих святых природы – красотой берёзок, вербочек, сосенок, тихих вод... Новоначальные монахи страшно обожают зачастую поскорее облачиться в полную «форму» («добра дела желают»!). Старцы высокого преуспеяния, у них уже на другое мысль обращена. Они живут сокровенной внутренней жизнью. Невидимым плотскому оку тайнам сердца внимают совершенные иноки.

Ино я равно люблю и благоговею, например, перед изображением старца Амвросия Оптинского, в соборной ли он мантии и высоком клобуке предстоит или в суровом кафтанце, в чулочках больной снят на карточке... В картине Нестерова «Явление отроку Варфоломею» величаво свят схимонах, лика которого и не видно в кукуле. Свята и крестьянская одежда и непокрытая головка отрока. Лишь бы в церкви... Лишь бы с церковью.

11 сентября. Пятница

Вчера со вставания глянул в окно: О! Солнышко! Как солнцем озарённая стоит купа дерев, что напротив. Ан, нет: пасмурен день. Это золото

осени так наряжает листву. Самая сейчас пора: «...в багрец и золото одетые леса». С полдня хляби небесные разверзлись, дождь пал до ночи. А в ночь ударила буря, аж оконца тряслись. Зачали бухать ворота, рвало с кровель на слюнях прилепленное железо. Не то ворота чьи-то, не то стропила с листами железа катались по переулку, выло и свистело до рассвета. «...А нынче, посмотри в окно: под голубыми небесами, великолепными холмами блестя на солнце» лежит золотой лист. Обнажённа, полунага является взору заветная моя купа дерев. Сквозь видятся дома заугольные, а весело и этак. Нет у Бога скуки ни в какую пору. Поэт понимал: «унылая пора очей очарованье». Но и унылости нет; самая «печаль» осени величава, исполнена многосодержательности, я бы сказал, больше, чем лето. Снабдевает поэта, философа, художника.

В зодчестве я люблю не приукрашенность здания резьбой, росписью, но архитектурные линии.

Вот и в природе у дерева старого люб мне рисунок могучего ствола, расположение сучьев, узор ветвей. И дымка нежная зелени весенней прекрасна, и эти сентябрьские редко, со вкусом брошенные то тут, то там украшения из багреца и золота. А вот летняя заматерелая бесчисленная листва, она уж не столько будит мысль и чувство. В этом я всегда на Фета, например, досадую: весну Фет любит только уже благоцветущую, цветами и пышной листвой одетую, с соловьями, розами. Таянье снегов в марте и утренний хрустящий нам, идущим к преждеосвященной постом <ледок>, а на этом поэт мало останавливается. Пугает его зима, осень с дождями только уныние наводит.

13 сентября. Воскресенье;
14 сентября. Понедельник

Дату выставил вчера, а писать стал «Пушкин». Братец с Михайлушком уехали копать картошку, я обед готовил, овёс молол; на «первое» картошку варил, чистил, тушил «на второе». Мыла нет, и согреть воду убыточно, дак и башку крахмалистой картошной водой мыл. Голь на выдумки... К вечеру устал, как собака. И светы мои приползли с мешками.

...Со сна, первые-то мгновения, как откроешь свои «вещие зеницы», гораздо тошны мне эти пятна, зрение застящие. С первого мановения шёлковых ресниц, как сны-то золотые (ох! отлетят), демоны отчаяния и уныния «окрадывают сокровища духа». (Я всё цитирую тропарь Иову библейскому (тропарь такой «программный»), пишу лёжа, со вставания, в неловкой позе, и ежеминутно немеют пальцы...) Да, разрушается «столп» моего телесе, и, увы, безоружна душа супротив желающих украсть «сокровища духа»... Простым резоном тщусь себя поддерживать: тебе полсотни годов, тебя стариком уж нет-нет да и назовут. Ведь уж и пора пришла

хворать естественная. У тебя зрение в глазах потребляется, у другого лёгкие, у третьего почки, желудком ин умирает, сердце останавливается... Все кругом умирают постепенно.

...Надо доживать, а главное, подумай о бесчисленно, люто погибших и в сии, тебе пишущу, минуты <на зморках> гибнущих юных... Се ли твоя немощь так страшна. Масштабы, без коих никому нельзя жить, ты, старче, не позаботился приобрести. Ежели нет в душе опор мира Христова и Христовой радости (добывай их!), то здравое рассуждение надо иметь. Встречные, которым ты завидуешь, сколько горя несут, может быть, горшего твоего.

...Паки тропарь Иову. ...Да, многи богатства, помогающие жить, были у «мира сего». И первое – вера Христова. Но не могла душа слабая мира сего противиться врагу, и обокрал враг сокровища духа. Мир сей здраво не мыслит, утерял способность здраво подходить к своим болезням. Подход у мира сего истерический, психопатологический... Все истерики, – в деревнях и городах, есть «психи». Всё заболочено, и мироощущение, и самочувствие. Потеряны берега каменистые («камень веры»). ...Из глубин адовых, из челюстей отчаяния воззвах к Тебе, Господи... Трудно мне к своей-то печали ум прикладывать!

Вопль мой к Тебе да придёт... Найди меня, яко погибшую драхму. Копейка прозеленелая, под ногами я у мира сего валяюсь. Это бы ещё ничего, копейка бы прежняя, царская, она медная. А я, пожалуй, серебро дырявое, кастрюльное.

Сбродил в храм Божий. Там что-то рано сегодня управились. Но не напрасно сбродил. Много народу осталось: иные поют из молебна! Самообслуживанье, иные тихо кучками по несколько человек (и много таких кучек) тихо беседуют. Я разговорился с каким-то уже седеющим человеком. Поговорили как незнакомые, перекинулись мыслями вообще, коснулись церковных дел и т. п. И, удивительно, светлое чувство от незнакомца живёт во мне и сейчас, спустя несколько часов. Подсознательно душа моя вобрала обаяние того человека. Как бы голубь светлый от него перелетел на меня. А в полумраке храма и лица-то его не разглядел, да и не рассматривал: задумчиво опущенная голова, тихий взгляд, спокойная речь, неширокая борода, густые волосы, худощав... Но сколько обаяния в манере беседы! Он и говорил-то мало, и какая культура душевная в этой скромности, доверчивости... Вот, проповедует с амвона сановный иерарх, и – ничего не унесёшь в сердце. По обязанности, по профессии-де проповедует иерей или, там, иерарх. А тут тихая краткая беседа с таким же, как я, «мирянином», и какое светлое, благодарное ощущение на весь день...

15 сентября. Среда

Осень серая. Туск на травах, серебряная долина. Чёрная, молчащая река. Торжественно, как в храме, когда совершается таинство и молчит вся-

кая плоть человека. Тишина, подобная неизъяснимой музыке. День, и дивно это безлюдие и безмолвие. Только что трижды прозвучал вопль: оглашении, изыдите, и мир сей изгнан отсюда. Ни души на горах, обставших долину священной реки, ни по брегам ея святым.

Бреду с мешками, груз гнетёт долу, тронь, – я так и клюну. Загорбок и шею свело, как понурая свинья ковыляю. Пот бежит по загривку... Не опоздать бы на поезд. Скрипит нога, скрипит липовая. Очки лезут с носа. Подслепые глазишки худо разглядывают.

Но что мне глаза, что мне ноги. Торжественно стало и преславно вокруг меня. И ничто уж меня не оторвёт от славы и мира, ум преимущаго, которые накрыли меня. Уж ничто мне не мешает, – ни поезда, ни люди. Брателко, бредучи с грузом втрое тяжким, ещё что-то насоветывает, а уж около меня как бы гремит чу́дная музыка. Торжеством исполнилась долина, преславно ожила река. Всё стало настоящее. Уж не дольнее, топтаное, будничное, а преображённое, истинное всё вкруг меня.

Никакая широководная река не грозна, не всепета таково, как и сейчас стала Пажа... Нельзя остановиться мне и оглядеться, но знаю, что в час славы сего места прохожу. Не надо и глаз, тут ум видит, и славнее. Не надо и жить тут. (Живя на Митиной горе, что греха было!)

...А надобно, чтобы хоть временно приотворялись сердечные очи. (А главное, надо стяжать их, не терять их...) ...Ты, падаль, не ждёшь, а оные вещие зеницы и отворятся.

Я так мерекаю: во всем мире только братишка да Бог меня жалеют, убогого. Чтобы в конечное отчаяние я не упал, Зиждитель мой, Любовь моя, всея твари Украситель, нет-нет да и покажет мне потихоньку какое всё воистину-то вкруг нас, плеву-то, которая от мира сего скрывает сущее вещей, сдёрнет: «Гляди-ко, гляди, говорит, небого, как оно есть-то!.. Как мати игрушкой меня потешит золотой, неизживаемою... Я, – говорит Господь, – её, золотую, покамест приберу, покамест она тебе не к рукам, а ужотка ты её возьмёшь...

...Да, мы видим – яичко-то простое, а оно золотое.

13 октября

Мне солнечная погода даром. Пасмурно я люблю; не знаешь – день ли, вечер ли... Всё такое особенное делается без теней. В этом есть «волшебность», неведомое нам нечто есть во всём. Идёшь по улице – дома, люди, всё такое обыкновенное, но всё это сопровождает нечто незнаемое нами. У всего, что мы видим хоть бы на улице, есть два лица. У всего, на что смотрят телесные наши гляделки, есть оборотная сторона... (Вот, бывают минуты, наитие какое-то на меня, и я как бы готов ухватить, понять, узнать нечто страшно важное, какую-то незнаемую тайну... Вот как бы какая-то пелена

готова упасть с глаз, и важнейшая подоплёка существования нашего будет открыта.) Люблю вот купу старых дерев перед моим оконцем за дорогой. Ещё, вот, место на <нрзб.> против Харитоньевского переулка заветное у меня. Весной, ещё не стаявшему снегу, к вечеру славное было (слава, другая сторона вещей, также деревья, скажем, но более значительные они же есть ещё. И пребывают тут же, в плоти этих, вот, дерев, но как бы это и не одно и то же). «Та» сторона видимых вещей соприкасается и, может, и спребывает с великостью... Мне кажется, что какая-то густейшая пелена некогда спадёт у меня с мысленного ока, и светлое познание озарит мозг, а сейчас мысль чувствует какие-то просветы, но ещё не видит их, и как птица бьётся о стекла матовые...

...Пока чистил картошку, стемнело, а ощущение близости узнания чего-то меня охватывает разве при дневном свете, когда я, скажем, деревья, землю, облака вижу. А при электричестве, вот, разве вспоминаешь ощущения «видения» и «ведения». (Шлёпая на бумагу эти термины высочайшей науки, где я «ни в зуб толкнуть», я закрываю себе постепенное опытное уяснение... веденье то убегает от малограмотного, неразумно-наивного, как гимназист, студент, «сыплющий терминами избранной науки»...)

Это странное и сладкое состояние близости открытия какой-то тайны существования существ и вещей (и вещей!!) я, пока лишь днём, видя деревья, землю, дожди, горы, камни (снега вешние!), одним словом, «природу» видя, видя оком физическим, ощущаю новое, это уловляю я внешним чувством, зрением... Надо идти где-то, и вдруг тихо плева с мысли снимется, и то, на что просто так смотрел, видишь (не видишь, а знаешь) не «просто таким», а... пребывающим ещё и иначе. ...Особенно близко я был к понятию, к узнанью чего-то, вот тогда в предвесенние дни постом Великим, на бульварчике. Говорю «близок», потому что помню ощущение счастья особенно сильное.

Здесь подходишь к сути познаний «человеческих» и познаниям Божественным. Не область ли это Софии, не она ли тут, но сие оставляю, о Софии. Как только начну употреблять термины богословские, всё себе закрою. Вскочить на вершины гор нельзя. Есть восход туда. Безопытно комбинировать и компилировать богословские термины, умствовать о сокровенном, высоком, таинственном, не пройдя чего-то жизнью, «философствовать», например, о «мире идей», прихватывая богословские термины, нельзя. Оперировать этой терминологией (ипостась, богочеловечество, троичность...) мне, например, для выяснения моих ощущений, прикладывать словеса Платона, и святых отцов, и учителей, цитировать их, всё равно как если бы я приготовил полотно 1000 x 1000 метров величиной и украл краску Рафаэлей, Рембрандтов и воображал бы, что я их красками напишу картину – откровение. Нет, понаблюдай природу сам. Дойди своим опытом. Ищи, люби, мучайся... Это надёжнее, прямее к цели... Очистить надо мысль, работу мысли.

19 октября

Ох... возьму перо, но седые туманы зрения наплывают на выспренные облака мысли. Тошно станет... не до письма.

На 17 октября выпал первый снег... Неужели это на сей земле было и во мне было это ликованье о первом снеге... Конечно, давно было, в детстве. Но как памятны человеку впечатления детства! Но и сейчас по дорогам смесили ногами, а по заборам, крышам сутки лежали снежки белые, лопушистые. Любо... что-то прежнее шевелится в душе. А се меня брателко развеселил. Кашлял ночь-ту, не мог. А как веселился по-детски весь день о первом-то снеге. Опять я увидел весёлого, одного надежд моего брателка. За чаем, за обедом что у нас воспоминаний было по поводу первого-то снега. Рамы без стёкол, дров нет... Не беда-де!

Вчера начисто стаяло. Одна грязь. К вечеру по графитному небу так важно, тяжело нарисованы дома. Нет дождя, а всё влажное... Я почему-то вспомнил весну, глядя на одноэтажное крыло, бывало, тютчевского дома, что к Армянскому переулку... На Страстной шёл, уж по просухе кабыть! А верхушки поточных труб там фигурчатые, кабыть ангелки с вазами. И чудно было – голубое небо, сухие крыши, а ангелки льют да льют на панели воду... Откуда? (Очевидно, лёд прятался в старых жёлобах.)

Сегодня сыро, а не льют ангелки тех вод... Весной она в ручьи веселяся собирается, вода-то, а осенью, как ситом, везде садится сырость.

Почто Богородицу нарицаем мгла? Светло видит, боголепно гласит Дмитрие Ростовский в слове на Покров. Речет Дева: – Аз яко мгла покрых землю! (Покровом тоя укриваимося, землю покров аки мгла укривае.) Но, о наияснейшая! Почто худой вещи, мгле подобляешься? Нет ли Тебе Солнца, луны, звёзд в уподобление? Не тебе ли пророк вопиет: «Кто сия восходящая яко утро?.. А мгла какую имать красоту?». И речет Наисветлейшая, речет Заря, являющая нашо сонечко Христа: «Аз есмь Мгла. Мгла егда на землю падет и покроет ю, тогда вси зверы од ловцов целы бывают, никто тех зверев ловити возможе...».

Се тайна есть, почто Пресвята Богородица нарицается мглою: яко от ловящих крыет нас... Люди мы, в един чин ставимо себе со скотами и зверьми.

И таковых нас зверов постигают различные ловцы... Но дерзаем – имеем бо Мглу, покрывающую нас (Четья-Минея).

Вот иногда, подобно этим зверям, мне и ладна мгла осени. Спрячет меня от всяких глаз, никому до меня дела нету.

21 октября

Болезнь любого органа человеческого тела, высшего или низшаго, наружного, внутреннего при здоровом, т. е. естественном, нормальном состоянии духа может совсем не мешать человеку жить. Дух и тело – две разные вещи. В немощном теле как часто мы видали дух сильный...

Художники, писатели, учёные, у большинства в известном возрасте начинается какая-нибудь болезнь неизлечимая. С болезнью тела, с увяданием тела заболевает в большинстве случаев, увядает и творческий дух. Человек становится мрачен, угрюм, безрадостен. Душка у нас маленькая, «в щенках заморена», во всём она зависит от тела. Сдало тело, сдаёт и душа.

Болезнь духа стала общим свойством. Болезнь наша становится средоточием нашей мысли. Мы прислушиваемся к нашей болезни, проверяем её, ежеминутно к ней возвращаемся. Ты только было развеселился, отвлёкся, и вдруг болезнь твоя напомнила тебе о себе, намёком каким, и уж весь ты погас, весь ты опал, весь ты никуда не гож. Заплакал бы, легче бы стало, а се и сердце охолодало.

С приближением старости вообще падает тонус жизненный; старики приохочиваются к крепким чаю, к кофею. За табак принимаются смала. (Плоть наша расхлябывается смолода, вместе с нею расхлябан дух, отсюда тоническое – табак.) «Вино веселит сердце человека». Никотин, кокаин, морфий... И в том болезнь века, что мы думали, что дух и тело – одно, что подчинена душа телу всячески.

18 ноября. Среда

Славлю Бога, се голова худая, так ино и сует, а светло сегодня в темнице убогой души моей. Всё радуюсь (забытое чувство!) о святителе Филарете. Как не свят?! Свят и пресвят. О, в какой беспросветной гнетущей унылости, в каком плачевном прискорбии, в каком лишении света влачил я дни, давно уж... А сегодня с утра умилился и похвалил опять Бога. С утра как очнулся да помянул, что канун сегодня памяти святой его, «согрелося сердце моё во мне». Мёртвую мою душу воскресил святитель.

...Я как камень бесплодный безжизненный, как булыжник лежал глух и нём ко всякому свету и радости. Уж мне казалось, ни единой искорки радости о Господе не осталось под пеплом душевного хлада... Ан нет, благодатная сила святителя Филарета, живущего вечную жизнь, пронизала тяжкую броню несчастного, отчаянного, безумного, скаредного, хульного, самоубойного нашего прозябания... Сквозь толщу склепа, в коем сидим мы, пробился сегодня луч оттуда, где не темнеют неба своды, не проходит лазурная тишина.

Адом стала земля, и какова же благодать святителя, если сидящему во тьме и сени смертной убогому человеченку радостно стало на целый день, едва позвал он святителя, помянув святую память его.

Я как булыжник истёртый, истоптанный, один из тьмочисленных булыжников градской мостовой. И вот в середине онаго булыжника заговорила, запереливалась струйка живой воды. Тревога безысходная о будущем, болезнь как бы отошли, посторонились, стушевались перед «силой и угодьем» дня, посвящённого личности столь великой, столь живой.

Мне всегда казалось, что не то чудо, что руки-ноги (зубная скорбь!) исцеляются святыми, ниже какова благодать дана. Мне кажется: вот чудо, что убитая скорбями, отчаявшаяся, злобою злобного мира озлобленная, потерявшая веру во всё и во вся, невсклонно втоптанная болезнью в яму отчаяния душа человеческая, возроптавшая на Бога и проклявшая людей, вдруг встрепенётся радостно, ещё не видя радости, вдруг умилится, дивясь на своё умиление, и прославит Бога.

19 ноября. Четверг

Сегодня святая-та память Филаретова; а я «как ледышка» в проруби болтаюсь, уж что только ни полощется в грязной проруби дня мира сего! И всякая тряпка меня заденет. А мне бы не ледышкой в грязной, холодной, мутной проруби дневных злоб болтаться хотелось, а в живой воде мира Божьего, благоухающего сегодня именем Филаретовым, растаять хотелось... Недугует тело, немотствует и душа, как безмолвник стоишь, ни в тих, ни в сих. Шататься по лакейским мира сего гнушаюсь, водворитися в возлюбленных селениях мира Божьего, – одежды не имам. Закоптилась грязью одежонка...

22 декабря

Ежели брателко твой днями убивается где-то по гололедицам, падая то под охапкой дров, то под грузом гнилой картошки, а ты будешь считать галок, взирая на небесные нюансы, воображая, что постигаешь, «еже вещей истина», то зле прельщаешься. Думаешь, вот к яслям подходишь... – ни близко! Думаешь, ангелов слышишь. – Бог тебя от прямого твоего долга и службы отводит. Прежде помоги брату, тогда и шарь глазами по небу. Тогда не укроется от тебя звезда Вифлеемская. Тогда уж иди за ней. То уж будет твоё.

Послезавтра Сочельник. Всё дни детства с брателком вспоминаем. Сени у них были тёплые, что зал, в Звенигородском их доме. Ёлка в потолок, подносы с орехами, с пряниками, с виноградом и яблоками. И долгие ранние годы детские в Богословском переулке как любит брателко мой вспоминать...

И я почему-то в первых вижу: утро, в окна светло глядит зимний белый день (два года с заколоченными-то окнами я живу, дак светло-ет дом вспоминается). Я, маленький, пробужаюсь, и мама поёт – «Прикатилось Рожество».

Прикатилось Рожество
К господину под окно:
– Вставай, господин!
Со кровати тёсовой,

Со перины пуховой!
Дам тебе (забыл слово)
Маслица чечульку,
Свертову (сверх того?) козульку! –

напевает (множество она праздничных старинных, вечно юных, припевок знала) и гостинцы предпраздничные даёт, – белые мягкие бараночки.

Это, может, ещё в доме на Садковской улице было, ещё в 90-х годах. Но гуще, богаче праздничные, ароматные, насыщенные, упоительные предстают уму и сердцу дни Рождества, когда мы перешли уже на Кирочную.

Жизнь на Кирочной в старом доме, о сколь мило, сколь сладко, сколь всежеланно вспоминается... Нет, не вспоминается, а живая, явная предстаёт умному взору, и снова я там живу; слышу запахи все, руками беру, хожу там, чувствую чувствами тех лет... Морозные синие дни... Сад возле дома закуржевел и заиндевел, что в кружевах. Мама с рынка приедет, из саней выносят снеди праздничные (это всё в кануны ещё), окорока телячьи, мешки с чем-то...

Вот и ёлку привезут. В Сочельник в зало поставят. Она густая, до потолка. Всё заполнит благоухание хвои. В маленьких горенках наших всё блестит – полы, мебель, ризы икон.

И ёлка наполняла залу ароматом, пышная, будто лес благоуханный пришёл в гости.

Козули великое дело были об Рождестве. Пряничники (а были и мастера козульники, работавшие только козули и только в это время года) начинали печь козули за два месяца до Рождества. Пекли из белой муки, с патокой. Напекали горы, сохраняя в кладовых. В декабре начинали расписывать козули нарядными сахарами. Булочные, кондитерские, мелочные лавки заполнялись козулями. На рынке в дни предпразднеств были козульные ряды, козульный торг. То-то красота. Пряничный олень чуть не в аршин. По золотисто-коричневому тесту пятна сусального золота. Золотые рога и белосахарный убор «рокайль», красотою этой восхитился бы Ватто и Буше. В кондитерских козули были фасонистые, чтоб и барышне можно на туалет поставить...

А как я любил, когда в маленькой лавчонке с покосившейся дверью, где зимами при свете одной керосиновой лампушки торговала старуха сельдями, как я любил, когда, как первая ласточка, появлялась за рамой подслепого оконца (витрина!) Рождественская козулька – копеечный олешек...

У нас дома рыночных козуль не ели, избалованы были обилием и искусством матерей, тётушек и бабушек. В продажных козулях, по тем временам, мы не находили достаточно сдобы, масел и духов.

Козули мы любили как украшение. Кроме других разных подарков дарились детям козули. Даже женихи невестам дарили козули, дорогие, искусной работы. А ребята в праздник, кто в гости, кто из гостей, встречаясь на перекрёстках, хвастались друг перед другом козулями. У иного «оленя» уж рога отъедены, а у «девки» – ноги.

Мы дома ели пряники домашнего печенья, а козули лежали на скатертях, у образов, на ёлке. Они сладко пахли. За зиму сахар осыпался, если хранить...

У нас, говорю, как и во многих старожитных домах старого Города, пекли паточные пряники. За неделю до праздников готовили тесто. В крупчатку лили первосортную патоку и топлёное русское масло. Месили в больших глиняных горшках. Густого теста заготовляли пуда по два. Его хранили в горшках же завязанными, на холоду. Пекли сколько когда надо, ино и про запас. Раскатывали толщиной с пол-пальца и жестяными формочками вырезали сердечки, звёзды, кружки величиною в кружок стакана и ставили в печь. И тесто, и пряники хранились долго.

Задолго до праздников у ребят начинались спевки – это славильщики. Кроме тропаря «Рождество твое» и кондака «Дева днесь» пели стихи, поздравления. Утром в первый день, ещё спишь, ходили ведь и к заутрене, а у крыльца уж скрипит снег под ногами – кучки христославов. Ребятишки маленькие заходили с чёрного крыльца, подростков допускали с парадного: «Дозвольте Христа сославить». – «Заходите»! Пройдут в залу, сняв шапки, впереди станет старший со звездою, склеенной из деревянных планок, приукрашенной золотою и цветною бумагою (у иных искусников звезда тихо кружилась на древке, блистая), и по тропарю с кондаком поют:

Воссияли дни златые.
Днесь рассыпался туман,
Преблаженная Мария
Родила днесь Бога нам!

Силы ангельски слетали
Светлым облаком с небес,
«Слава в вышних Богу» пели –
Мир на землю нам принес.

Три царя из стран далёких
Дар рождённому несут.
И звезда с небес высоких
Указует к Богу путь.

Звезда прянет от Востока
На рождённого Пророка.
Днесь родился нам Спаситель –
Всему миру Искупитель!

Пойте Ему, прославляйте
Его! Всем господам,
Господиновым женам
Многия лета!

Радость сердце наполняет,
Все печали уж прошли,
Вся вселенна поздравляет,
Бог явился на земли.

Пойте Ему, прославляйте Его!

В сочельник Город кипел предпразднично, радостно. Над нашей Немецкой слободой празднично пели колокола кирки... В немецких домах зажигались ёлки. Утрени начинались в три часа. Синяя ночь в звёздах, бархатный густой соборный благовест царствует в торжественной тишине ночи... Рождественская ночь! Обширные своды нижней церкви нашего собора... Поют столповым напевом. Любил я в соборе икону Рождества. Очаровательное произведение XVIII века в духе Мурильо, но ярче, наряднее.

Вернёшься домой до зорь. Мама не спит, топятся печи, горят лампады, сияют образа, везде белое, тюль, салфетки. К Рождеству, помню, кухню нашу большую, уютную, многолюдную, украшали новыми лубочными картинками. Помню, Наталья Петровна, старшая над прислугой, сокрушается, что Благословляющая рука (картины были большей частью религиозного содержания) «написаны малаксой». И я, смала приверженный к старому обряду, искусно кистью изменяю троесложное благословение на двоеперстное... А из печи вынимают пироги, белые шанежки со пшеном, кулебячки со свежей сельдью, пирожки с мясом. А в зале на ненаряженном ещё столе батарея вин, стопы вынимаемых в дни торжеств синих веджвудских тарелок...

От первого дня праздника, включая Новый год, устраиваются ёлки и вечера. Костюмы для вечеров с масками начинали готовить задолго. Крёстная моя, портниха из первых в городе, обладала художественным вкусом, могла соорудить костюм по любой картинке. Комоды и сундуки её были набиты остатками материй, спорками, старинной моды платьями, роброны, фижмы... Она и наряжала меня и двух моих сестриц. Перед

Германской войной сшила мне по картине Мурильо шёлковую сутану на белой атласной подкладке с широким кукулем, с белой шёлковой же верёвкой-опояской. Сшила и шапочку. А в 1913 году сделан мне был по Билибину костюм боярина. За вальс, который я танцевал в костюме монаха в немецком клубе, я получил приз. Приз получил и за боярский костюм; у сестёр помню костюмы домино, рыбачки, чаще они рядились в старинные штофники, парчовые повязки, парчовые полушубки при батистовых рукавах. Это традиционные наши наряды, ещё девичьи мамины.

Святочные вечера... В передних комнатах домов, где бывали – зало и гостина, – огонь. Гости. Подъезжают сани с масками.

– Масок пускают?..

– Заходите!.. – Маски танцуют, их угощают чаем, конфетами. Зажигают ёлку.

Опять звонок:

– Не угодно ли «Царя Максимилиана» представить?

– Пожалуйте!..

У царя Максимилиана бумажно-картонная корона. Мундир с серебряной лентой через плечо. В руке скипетр, оклеенный золотой бумагой, – фигурная ножка от кресел.

В первостатейные дома пускали по билетам. Помню шикарные вечера у Бальквиц, Линдес. Маски попроще бегали и пешком по Городу. В деревнях часов с девяти утра уже видишь чудное зрелище: здоровенные девки, задирая подолы, хватая встречных парней, с «хухканьем и свистом» несутся по деревне...

– Вот дак девки, – с ужасом говорите вы...

– Не девки это, – смеётся ваш путник. – Это парни титки наложили за сарафаны...

Но о сем до зде – народные святочные обычаи описываны многажды от иных...

Писамши, с дороги я свернул.

P.S. А славили не только группы славильщиков молодёжи. Славили приходящие поздравить старые почтенные люди. Пел, славил Рождество, браво вытянувшись перед образом, старый морской офицер, ещё помнящий славу военного порта. Детским голосом пела какая-нибудь бабушкина ещё подруга, лет восьмидесяти пяти, не своими голосами «славили» мы с сестрицей, придя поздравить крёстного, бабушку.

На вечерах о святках множество можно было увидеть старинных женских нарядов, чаще всего древнерусских фасонов, но бывали и моды XVIII века. А древние повязки, штофники, шугаи оставили носить недавно. А по окрестным деревням ещё в Германскую войну, например, венчались девицы в древнем парчовом, штофном наряде. И на святках, надев «материн» наряд, девицы вели себя очень церемонно.

27 декабря

Святки – нарочитое время рассказов о таинственном, о Божественном, о старине.

Памятливая старуха тут на голос былину заведёт. Маменька мастерица была сказывать, умела и слушать. («Что услышу, то и моё».) При случае и в будни что-нибудь вспомнит, как жемчуг, у неё слово катилося из уст. Прислуга, кухарка, кучер забудут про дела... Мама ничего не скажет.

Но уж в праздники прислуга была как гости. А делала мать больше, чем прислуга. Кучер был и за дворника. Женская прислуга: двое – мыли, стирали, помогали хозяйке.

Прислуга живала до 20–30 лет. И о сем до зде.

<Декабрь>

Бывавшее вернулось... То же ощущаю, чем жил 35–40 лет назад. Кабы колесо жизни дало обратный ход...

Те же синеющие ранние сумерки. Дни, приукрашенные ветвями нарядных рождественских ёлок. Вот в эти же часы иду я по улицам северного города, иду домой.

А град осенён и напоён праздником. Так готовились, так ждали – гость и пришёл.

В маленьких комнатках всё наряжено, так и стоит: скатерти, салфетки, лампады, козули на подзеркальных ломберных столах.

В передних комнатах лампы не зажжены, наряд ёлки сверкает волшебно при свете лампад. Ёлочные бусы на тёмной зелени как созвездия, стеклянные фигурчатые шары льют изнутри зелёные, красные лучи.

Пройдёшь в залу, зажжёшь на ёлке свечу – засверкают украшения. При этом свете переглядываешь подаренные книги.

Сказки мы любили, сказки нам и дарили. «Золотую библиотеку», Гриммов, а смала нарядные книжки с лакированными картинками, с цветными шрифтами...

Всегда, с юных лет, в праздник Рождества сладко ждала моя душа чего-то. Было то утро жизни. И пришёл день, и наступает вечер, и прискорбно мне и горько, что не храню я счастья.

Но Слава Богу за всё.

5 перп.

уехала. Вот [illegible] ей и на [illegible] проводы

так было [illegible] что нам сказали [illegible]

а может [illegible] за всех, она спросила.

Мы с Федор нам обидно что [illegible] ей не ходи.

Но в нашем городе сразу все [illegible] известно

[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]

[illegible], а вечером [illegible] над [illegible] Федор

[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] в [illegible]. а [illegible] [illegible] до [illegible]

[illegible], а в [illegible] [illegible] сейчас [illegible] [illegible].

Федор [illegible] до [illegible], [illegible], не [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] в [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

а [illegible] уехала, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] на [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] в [illegible], [illegible] [illegible], лучше [illegible].

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] не [illegible]. [illegible] в [illegible] [illegible], [illegible] [illegible],

[illegible]. [illegible] с [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

с [illegible] [illegible].

— не [illegible] [illegible].

1944

10 января

...О речениях псалтыри. Они как бы не связны, иное не внятны, отрывисты, вдохновенны, поэтичны, замкнуты для внешнего ока. Но имеющие удел духа (например, старец Феофан Соловецкий) вопияли: читай псалтырь, одну псалтырь!..

В службе оной Субботе Великой гимны Божественному мертвецу чередуются с псаломскими стихами, в коих повторяются всё время речения «оправданий твоих незабых, оправданиими твоими поучухся». «Сведения твоя вожделех, сведения твоя взысках», «судьбы твоя возжелах», «судьбы твоя возлюбих», «оправданий твоих возжадах»... Сокровенны сии речи, в сих контекстах, в сию неизреченную и таинственную нощь на Великую Субботу. Сокровенны и многознаменательны словеса сии у гроба Жизнедавца. Словеса сии вся тварь рыдая речет своему Единому Возлюбленному. Что здесь значат обозначения – «закон твой», «сведения твоя», «оправдания твоя», «заповеди твоя». Отнюдь не кодексы правил, не статьи законов, не таблицы заповедей...

11 января. Понедельник

Безбожный прогресс, мертвенная цивилизация, напрасные науки, душегубное изобретательство с их внешней эффективностью, наружным блеском притупили и убили в человеке, в роде человеческом высшия способности, способности духа...

В кромешных буднях, в плаче и скрежете зубов человек все мысли сосредоточил только на том, чтоб не подохнуть с голоду и холоду. Вся цель существования – урвать где лишние 100 грамм...

А улучивши эту вожделенную мечту, вырвав хоть на один месяц какую-нибудь «литеру», как мы счастливы, как превозносим благодетельную <...>. И наоборот, впав почему-либо в немилость перед «вяжущими» и «разрешающими» (а это всегда 100% сволочь и воры) и получив вместо сик А, сик Б, о как мы бываем убиты, в какую отчаянность впадаем...

...Так живя, умилённо заглядывая в свиные глазки всякой сволочи, от которой зависит дать тебе лишних 200–150 грамм (а это голодному так много!) и не дать, так живя три года и более, видя вокруг себя сплошь ... как тут о горнем будешь мыслить, как самому-то переключиться, где силы взять, силу духа чтоб «Это» всё принимать как пост...

Я давно себе эту задачу ставлю, на бумаге её решаю, забываю, что ответ получил уже верный и опять обдумывать то же самое, иногда задом наперёд, начинаю... Есть пословица: держи живот в голоде, голову в холоде (ноги в тепле, – за отсутствием обуви отложим сие последнее). Живот в голоде есть, положим, что голова в холоде. Сие ... ум на небесные вперенный.

13 января. Среда

Не знаю, почто вчера прелюд сей начал... Чем на врага идти, дак лучше ведь поиронизировать, над своим положением, да и пущай враг-от опять на твоей спине работает – ездит. Ты шути над ним зло и остро, а сам стой стулом под его задницей.

«Не тако, дядюшка, не тако!» – вопияла Морозова, споря с Ртищевым, сторонником Никона. – Не тако, дядюшка, и я себе седмижды семьдесят раз на дню должен сказать... Как бы то ни было.

***

Новое лето как бы, думаю, с новой тетрадки начать, но не искусственно ли таковое расселение? Жизнь ведь та же, мысли те же... Божье что-нибудь сдумать-то охота. Нельзя жить совсем без радости. А вправе ли я на себя радость-ту натаскивать? Чем тянемся... Конфетешки, ежели удастся выграбастать по пайку, то и продадим, или жиры. Паёк-то не выдают. За две рубахи семь кило картофеля дали. В ночи брателко-то долго не спит, дума думу побивает. Я всё с головной болью очнусь. Брателко порошков даст, горчичник на затылок, чаю крепкого. Я и ползаю опять из угла в угол. А он, может – не может, уйдёт... Как он трудится! И как я хочу ему в помощь быть! Валеночки у него на ножишках – одни заплаты. Без подошв. Вечером прибежит в худых душах, а ещё Мишку в Таганке надо проведать. Жалеет его. Я куда сброжу, простужусь, лежу – ходите вокруг меня. Неделю «болею», братец по докторам, по аптекам (две аптеки на Москву) гоняет до ночи в дождь и в мороз... Хвораю я с чувством, с толком, с расстановкой. Того ради не любит меня братец одного отпускать куда-ле... Изноет весь: как я улицу перейду, как на трамвай сяду, как бы кто меня не сронил, да как бы кто не раздавил... Ночь-ту сидит, мне рубашонки зашивает. Я и дома рваный не хожу, заплаточки и те выглажены. А уж о нём некому подумать. Тонок что былиночка, худ что щепиночка, бледен до прозрачности. Как приляжет на минутку и встать не может, тик у него нервный сделался. Но на его худеньких плечах все заботы, у него на плечах я – неразвезимая гнилая колода. Врождённое чувство долга и ответственности какую-то дивную силу даёт хрупкому, точно фарфоровому, существу моего бедного братишечки. И вот там, где я, как навозная куча, расползаюсь во все стороны, он

как хрустальная рюмочка звенит на морозе. Истинно, брателко ты мой, хрустальная ты чаша милосердия...

***

Встал рано, напрял мало.

Главные две дымокурки в коридоре враз затопили, дак уж нам, соседям чуть что не окнами пришлось на улицу выбрасываться... Из коридора набьётся дым во все комнатёнки. Ждём, когда его вытянет сенями на улицу. Тогда из комнатёнок дым в тот же коридор выпущаем. Что было тепла запасено, накурено да надышано, всё уйдёт. Но надо не пропустить момент замуроваться снова. Ибо начнут топить других две старушки. Оглянешься, а уж опять вкруг тебя полотенцами дым, как на картине Мясоедова «Самосожжение». Но люди говорят: «У вас хоть дымком-то пахнет...». Где центральное отопление, там и эту зиму в шубах сидят. Сестрёнка на Самотёке коченеет. Брателко на Пречистенку ходил вчера занять до четверга (без гроша сидим)... А ещё морозов не было. Сестрёнка говорит: «Слава Бо́гу, зима-та сиротская...».

Хотелось сон записать. Редко я хорошие сны вижу. Будто сидим в большой кухне (кабыть на родине это). Окно полое, – летний день. И по улице идёт высокая пожилая женщина, одетая по-домашнему для обрядни. Повязана платочком, тёмное длинное платье, подпоясана фартуком. Худощавое, смугловатое, но румяное лицо. И необыкновенно прекрасные глаза, окружённые тёмными кругами. Глаза выразительные, в глубь себя смотрящие. Я всё утро помнил впечатление этих глаз и вспоминал речи Исаака Сирина о мучениках, упившихся вином божественным, чашею Христовою... «Кто она?» – спрашиваю я. «Как же вы не знаете, это наша Дунюшка...» Отозвались о женщине так, как говорят о блаженных, юродивых, святых. А я (во сне) ощутил какую-то радость, что-де вот с этой женщиной мне надо побеседовать. И я будто знаю, что она пошла к вечерне в собор (больше-де нет церквей). И опять будто недоумеваю: в церковь идучи, она бы не так по-домашнему была одета... А сам будто, скорёхонько забежав домой (дом наш в Архангельске), поспешаю к вечерне, чтоб видеть эту женщину, святую, с прекрасным, на нём несколько резких морщин, лицом, загорелым, с очами, не видящими суеты вокруг. Поспешая к вечерне, помню, будто погода, как после первой грозы, парит ещё, и листики берёзовые нежные... Да! Ещё полупроснувшись, под сладким впечатленьем сна я уже знал, что вечерня, к которой шла та, прекрасная, была на день Святого Духа. Берёзки, помню, благоухали...

Со мною не раз бывало такое: в городе ли, в старом проулке, в деревне ли, застигнет тебя, обнимет некое сочетание света и теней, неба и камня,

дождя и утра, перекрёстка и тумана... и вдруг раскроются в тебе какие-то тайновидящие глаза. (Или это разум вдруг обострится?) И одним умом думаешь – когда-то в детстве-юности шёл ты, и видел ты схожее расположение дороги, света, тени, времени и места. А разум твой раскрывает тебе большее, то есть то, что сейчас с тобою происходит, отнюдь не воспоминание, но что бывшее тогда и происходящее сейчас соединилось в одно настоящее. И, всегда в таких случаях, чтоб «вспомнить», когда я это видел, мне надобно шагнуть *вперёд* (отнюдь не назад).

«Шедший сзади был впереди меня».

В такие минуты ясности и истинности сознания я не успевал обычно охватить и сформулировать того, что в такой отчётливости и несомненности уяснилось мне.

В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной. Отходил труд калечных ног, не нужны были подслепые глазишки и очки, не нужен стариковский костыль.

Потом опять тянулись дни и месяцы обычного житья-бытья. Но уж это мне ясно и видно, что в «те минуты» я отнюдь не выходил из себя, но *приходил в себя*. Это были минуты сознания и знания. И я отчётливо видел (понимал), что многолетнее моё житьё-бытьё проходит как бы в комнате без окон. И я не сознаю этого. Может, и окна есть, но мне они ни к чему, вроде украшения. И вот окно отворилось-распахнулось, и я узнаю, что есть иной мир, иное сознанье, иное бытие, настоящее.

20 января. Среда

Как дятел я долблю, что-де токмо сам ты можешь «выработать» радость, мир сладкий (увы, – редко меня посещающий). Но вот, с утра и с одра подымаясь и прибираясь с рухлядью-то всею, всё о весне некоей радость меня касается – мостки умом гляжу, омытые дождями вешними и снегами. (Это навсегда у меня в памяти деревянные, тёсовые мостки-тротуары, такие чистые по дождям остались.) Весны душа хочет, всё какой-то радости ждёт. Как хорошо, что утлая, немотствующая плоть, хоть редко, хоть в неделю раз даёт место неплотскому, а потому широкому, ширшему небес какому-то радованью.

Не умственно, не философично, не отвлечённо оное пребывание, предначатие онаго блаженного пребывания. Радость царства небесного это не какие-то мировые пространства. (Говорят, есть картина: «Через минуту после смерти» – летит куда-то душа. А вдали уж еле виден земной шар...)

Нет! Не то, не за миллионы километров блаженный оный мир, загробный, светлый, радостный, но близко. Наша радость вечная близка. Святые, сподобляющиеся благодатных утешений, не уносятся ведь за Марсы

и Венеры, но здесь видят природу преображённою. Святые эту же природу видят, землю, воды, леса, но видят не таковыми это всё, каковыми видит падший человек, а омытыми благодатным дождём Утешителя, жизни Подателя. О, какая тайна радостная и пресветлая вокруг нас. Вот тут, только руку протянуть. Эта вот ликующая, как гроза, как океан радости, тайна вокруг нас.

Дождь. Всё омыто: плиты, камни, деревья, и познание, догадка прорывается радостью, как это солнце и лазурь сквозь плевы облак.

Дождь шумит на дворе. В дому Давидовом шум и гром... Странное видение. Сошёл дух на ангелов, и они узнали, как зарница в ночь вдруг осветит всё окрест, увидишь деревья, листы. Они тут были, но ты не видел в темноте. Так вот тебе идущу, сидящу вдруг как «завеса раздрах», и глянет в очи твоего ума радость: глянут близко, приничиво лики вечнующие сего неба, сей земли, сих деревьев. Плева-та, плотно это всё закрывающая, вдруг разредится. В просветы эти и увидишь. И хочешь прянуть в это открывшееся, ухватиться за это ликующее прекрасное ведение и виденье...

Но тебе, плотскому, нельзя пребывать в этом. В «этом» ты будешь жить, расставшись с телом. Или же достигнув некоторых духовных мер: сие открыто было святым ещё в сей жизни.

...Деревья эти (и не эти), Земля эта (и не эта), холмы, воды эти (но и не эти), цветочки, травы, полынь, берёзка эта (и не эта) – это и есть «место светло, место прекрасно, отнедуже избежé...».

И это всё во мне. В существе моего вечного ума, вечного сознания моего, т. е. души моей. Во мне оно, необъятное царство Божие. Я ширший небес, чему образ дала Едина Всепетая. И я, как Богородица, родить должен Бога. Родить нового Адама – это открыть очи ума и сердца и увидеть, что Бог есть, что всё в Нем. Тут тайна великая. Я, значит, должен дальше звёзд распространиться, во мне ведь царство Божие, т. е. пречудный мир Божий. Всё в утробе моей, всё во мне делается. И грозы сии благодатные, и небесная лазурь, и дожди омывающие...

Физические органы зрения, эти вот мозговые полушария слепы и тупы, и если не понудят себя на благодарный и благодатный труд, не увидят, не узнают о Боге. Отсюда, вот, распространение безбожия.

Надо изнутри себя взорвать некие ключи, надо, чтоб внутри тебя началось извержение Везувия. Внутри себя делай глубокую шахту, чтоб огонь вырвался и твой ум и сердце разжёг, через себя, в себе, своим подвигом найдёшь ты Бога, поймёшь, что всё в Нём. Увидишь и как это всё в Нём. Стяжав Бога, восхитив Царство небесное в душу, оставишь, как детские игрушки, и все твои теперешние недоумения относительно «данных современной науки» и утверждений религии.

Скажут: – Бог до тебя был и потом будет. Он тебя создаёт, а не ты Его. Бог существует, сознаёт ли Его тварь или не сознаёт. Он-де до тварей был и после них будет. Еретики и безбожники суесловят: «Человек создал Бога по образу Своему и подобию. Бог-де существует в твоём воображении»... Эту блевню опровергать нечего. Здесь солнце хулит слепой, говоря, что оно чёрное. Здесь безносый сифилитик ругает розу благоуханную за отсутствие запаха. Здесь глухой ругает певца за то, что певец лишь губами шевелит, не издавая звука.

Прочитывая антирелигиозную литературу, всё время дивишься, как это слепые дерзают толковать о цветах, о живописи, глухие рассуждают о пении и музыке и поют сами. Вся антирелигиозная литература – это трупы гундосят о жизни. Все гробы истощил Жизнодавец Воскресший, а сей смердящий гроб – безбожие – сатана припрятал себе под задницу. Всем сущим во гробах Христос живот даровал, только сущие в гробе безбожники, что черви, мёртвость безбожия глодать остаются. Весь ад озарися блистанием божества, только атеисты, что клопы, в щель от свету того залезли.

– Нету Бога, – в дыре той сидя, пищат лишённые. И о сем до зде.

Бывает так, что самоучки-кустари, дойдя своим умом, устрояют из дерева наивные механизмы, в то время как инженерная наука уже давно решила этот вопрос и пользуется такими машинами... Нужно ли каждому на личном опыте доходить до богопознания? Ведь вопросы личного богопознания разработаны в учении церкви, и надо только вопросить учителей.

Конечно, имей я опытного старца, мне не надо было б бродить вокруг да около бесчисленными тропинками, окольными дорогами идя к тому, к чему существует прямая, углаженная дорога.

Да. Но, может быть, глубина мудрости Божией и судила мне, человеку мира сего сомнящемуся, слабому в вере, обтолочь своими боками путь к богопознанию, к богосознанию, а не то, чтоб я получил оное бесценное сокровище готовым.

Вопрос о внутреннем богопознании, о том, чтоб самому найти Бога, чрезвычайно важным и насущным делается в наши дни. Род людской, «массы» отторгнуты врагом рода человеческого от Отчаго дома. Интеллигенция, городские «массы», а ныне и крестьянство (молодёжь особенно) лишены влияния церкви, ушли из быта исконного, забыли праздники. Церковь уж не навевает им вечного своего аромата. Молодёжь в семье, в быте у старших не находит уже праздников Божьих. Ибо старики быстро вымирают. Молодёжь не знает, например, что «сегодня Пасха». Придя в дом, где висят ещё иконы, они равнодушно относятся к этому, не интересуются святою книгою. Они не в этом уж росли. А между тем, среди этих молодых и пожилых много есть (а дальше будет ещё больше) таких,

у которых горит в душе искра Божия. Они видят, что «современность», «материализм» кладёт голодному в руку камень вместо хлеба и ядовитую змею. Таких людей не удовлетворяют скучные «песни земли». Имеющие ухо, чтоб слышать, начинают ловить в природе звуки небес. Может начаться естественное богопознание, которое Господу помогающему приводит в церковь Христову...

Огорчился я, выйдя. Сразу будничный вид улица приобрела. А было: тёмные громады домов смотрят в мерцающее звёздами небо или в клубящееся облаками, а эти слепые пузыри...

Люблю свет, иже от Света Вечного излиянный по небу, – Солнце, месяц, звёзды, зори утренние... Там свет от полноты, от любви, от ядр живоначальных излиянный, а электричество – пустоцвет, дрочильное цивилизации не порожденье, а изможденье – мёртвые пузыри, бельма слепые застят в ночи свет Божьего неба.

21 января

Люблю писания протопопа Аввакума – удивительное, яркое проявление русского духа. И какая-то нерусская сила характера. ...Расколоучитель. ...Мне кажется – в каких-то судьбах своих, в каких-то планах справедливости – Вечный нелицеприятный Судия призрит пламенеющее любовью ко Христу сердце Аввакума. И не пошлёт страдальца за старую веру в ад.

Мне кажется, что все веры, преемлющие древлецерковные догматы, предания и уставы, как то: восточная православная церковь, армянская, абиссинская (а в недрах русской церкви – староверие), затем церковь римско-католическая, – пусть эти церкви пока не общаются, разъединены на земле, Небесная Правда, Вечный Судия зрит и видит сердца праведников и той, и другой, и третьей церкви. Но я родился в православной церкви, и довлеет мне, и любо мне в ней пребывать.

Итак, трещины, разъединяющие <разъедающие?> православие и староверие, православие и католичество, не идут насквозь до преисподних земли, но где-то, и не так уж глубоко, исчезают. Где-то, и не так уж глубоко, христианство едино.

22 января. Пятница

Это, вот, великая проблема, не только здоровья нашего, но и вообще нашего существования: пост, глаголю, в мире Божьем, посты церковные и голодовка в мире сем.

Пост Христов не разрушает здоровья, но укрепляет. Иноки-постники, пустынники, не евшие ничего, кроме хлеба да овощей, да и то раз в день, еле-еле, жили, как правило, 80–100 лет. Иные, не вкушавшие ничего целыми неделями, лишь в воскресенье и субботу разрешавшие сухарь с водою (Великий

пост), хоть и изнемогали порою, но здоровья и долголетия не меняли. Да и вся-та Русь наша давно ли ещё не только в Великий, но и в Рождественский, в Петров посты не ела не только мяса, молока, яиц, масла, но и постное-то масло лишь во вторник, четверг, субботу да воскресенье вкушала. А силы никто не менял... Работали обычно. Скажут, что в другое время навёрстывали.

Это, положим, так. Ну, а пустынники, сонмы этих постников древних и новых, действительно одним сухариком да чашкой водички жившие круглый год и доживавшие, как правило, до 100 лет.

И теперь возьмём нас: чуть не доели и – выпали из сил. А продолжительное недоедание непременно вызывает болезнь и «гибель» (теперь говорят не «умер», а «погиб»), <... нрзб.> болеет цингой и т. п. Люди повсеместно еле бродят, опухли <... нрзб.>. Люди мрачны, темны лицом, озлоблены, постящиеся светлы лицом, мирны, радостны. Измождены, но здоровы и долгоденственны.

Дело, очевидно, в духовном устроении человека. Как не вспомнишь из патерика: «В скудный год на иноческой трапезе поданы были ржаные сухари с водой. И вот авва видит, что одни едят мёд, другие это самое крошево, а третьи – навоз... Между тем, еда одна – хлеб да вода. И было авве открыто, что вкушающие скудную сию пищу, радуясь и благодаря, в самом деле вкушают сладость медвяную, а навоз едят негодующие и ругающие убогую пищу».

Очевидно, что духовное перерождение человека перерождает и физический его организм. Очевидно, благодатное состояние человека может поддерживать и содержать плотский состав.

Скажут: вегетарианство не новость и этим даже лечат. Лев Толстой не ел мяса, рыбы... Я говорю не о том, чтоб мясной стол заменить обильным овощным и молочным. Говорю о посте по уставам, посте сверхуставном. (Монахи, евшие хлеб и воду два-три раза в неделю, и то чуть-чуть.)

Эти постники – иноки, какой они сияли радостью, как благодать Христова сквозила и тайно светила в их обликах, во всём существе этих подвижников, неустанно молящихся и трудящихся.

Скажут:

– Постники эти и сидели в затворах на всём готовом да молились. А нам надо работать...

– Сидевших в келье затворников было очень мало. Престарелые схимники никогда не сидели без работы. Даже лежащие вязали пояса. Работал весь монастырь: даже иеромонахи, не занятые в храмах, столярничали, слесарничали, плотничали, ткали, шили, сапожничали, послушание на полях-огородах, в поварне, хлебне, в кузницах и т. д. и т. п. Весь монастырь работал с утра до вечера. И – постились жестоко-сурово. И – были здоровы и долголетны.

А мы чуть не доели и – гибнем. Почему? Подымем-ка этот вопрос, всяк до себя. И решим его с помощью Божией. Очень уж дело-то насущно нужное, важное при всяких обстоятельствах и обстановке. А к чему такое изможение тела, к чему поведёт таков телесный труд? – спросят. – К радости, – отвечу.

Подвиги сии: пощение, стояние на молитвах, всенощное, труд с молитвой, хранение уст, сердца, ума, внимание к себе приводят к тому, что человек в самой тяжкой житейской обстановке остаётся мирным, радостным, счастливым. Но и среди «спасающих душу», есть, говорят отцы, три разряда людей. Одни постятся из страха, чтоб избежать вечной муки, – это рабы. Другие постятся, высчитывают поклоны, умножают правила ради наград обещанных, – это наёмники. А есть, что подвизаются, постятся, молятся, трудятся из единой Любви ко Христосу, к Господу Жизнедавцу, Искупителю. Подвизаются, радуясь о Троице Живоначальной, радуясь о Духе Утешителе, – это постники дети, любимые дети Бога.

Благословен сей пост – радостное говение твари из любви к Творцу, всея твари Украсителю.

А вечером брателко пришёл, видит, я поблёк, погонил на улицу: для того и голова кружится, что неделями воздуха не видишь... В два пальто ватных меня закуфетал, заплясал, шапка, рукавицы, клюка. Выпроводил. А снег мокрый идёт, порошит.

Отцы говорят в патерике: сиди в келии, и та научит тебя всему. Ино не в меру-то такой балаболке, как я. Мой опыт таков: броди возле кельи – небо над тобой, тучи или звёзды. Снежок белый, галица переклинется на деревах. На ночь глядя тихо в переулке, безлюдно. Небо серое, как карандашами нарисованное, тени домов. И белые, белые скатерти. «Госпожа Метелица» постлала в переулках. Лестно по белому-то ходить, всё бы шёл. Отвыкли от белого да чистого дома-ти. Простыни-наволоки, портки-рубахи всё не белое, а седое, а ольховой да осиновой золой мыто, дак и коричневато. А пол-от затоптан, а потолок-от от дыму: что в кузнице. Ходишь белыми-те скатертями, мысли оживают. Хорошо на ветре-то приходиться. Днём пестрота всякая в глаза лезет, а к ночи умная тишина, что умная молитва. Да, хорошо бродить возле кельи. В зиму по снежку, в лето по дождичку. Да, не понимаю я путешественников, тех, что «обкатывают» вокруг света в 80 дней. Эти люди пока на воде, они скользят, очевидно, по поверхности, ибо, чтоб углубиться, надо время, надо пожить... Я говорю о туристах-верхоглядах, а не об учёных, скажем, Пржевальских. Да он и не катал вкруг вселенной. Я говорю не о тех, кто пешком обходил страну. Апостолы «обтекли вселенную», идут богомольцы в Киев, в Иерусалим. Здесь глубина. Здесь цель, заставляющая человека самоуглубиться.

Переулочком-то своим ходя, люблю я думать. Как бы я хотел жить в деревеньке или в лесу, на опушке. Там и в день-то тишина благолепная.

23 января. Суббота

Дымом сегодня со вставанья на улицу выгонило. Брателко там дым коробом выносит, а я гуляю, – у меня голова слабая... На дворе так и льёт. По обтаявшим тротуарам меж асфальта плиты старые, золотистые, здравствуй мне сказывают. С осени их не видал. Что ночесь белая скатерть была настлана, а та снята, а покрыты улки мокрым тюлем – узорчатыми дорогами. Инде на белом снегу что картина расплылась, экие всё акварельные пятна. Рано сейгод залюбил я эти картины. Предвесенья жду. Поста Великого. Не глаголю: весны благоцветущей и светлого Христова Воскресения. К тем ещё я не готов. И в сем теле сидя, буду ли когда к Пасхе той готов?

А вчера забыл записать сон. Будень сразу его замутил...

Омытый, ранневесенний день, будто и странно весело на душе. Не прост день сегодня, думаю... А почему-то надо что-то рассказывать ждущим людям. И у меня в руках книга древняя рукописная, с изображениями. Я раздваиваю книгу, и на большом листе алыми, и голубыми, и изумрудными красками изображён Вход Господень в Иерусалим, а над «Входом» золотистыми литерами писана стихира: «Преже шести дней Пасхи...» И вдруг я ахнул. Завтра «Неделя цветоносная» – Вербное Воскресенье. И не готов я к празднику, и странно мне и радостно, а надоде нечто людям сказать. Я и запел эту стихиру «на подобен». И кабыть поючи сладко: «Преже шести дней Пасхи», и разбудился. И как сейчас вижу: страница пожелтелой бумаги или хартии – пергамента. И «Вход Господень» – Спас на жребяти – повернул главу к провожающим. И вверху листа текст – «Преже шести дней Пасхи».

24 января. Воскресенье

23-го была память валаамского игумена Дамаскина. Завтра память оптинского старца иеросхимонаха Анатолия. Завтра и великого Григория Богослова. Светлый месяц со звёздами.

Завтра в Замоскворечье на Зацепе в Пупышах праздник «Утоли моя печали». Какой букет прекрасных пренебесных цветов...

Римский папа ежегодно жалует достойнейшего сына их церкви золотою ризой.

К золотой ризе применю Великого Григория. И чудные цветы Севера – Дамаскин, Анатолий.

Неможно надивиться: как ни испытывай, не найдёшь в мире Божьем в году церковном будня. Таково бе и в XV веке, и в XIX. В церковном саду

куда ни шагни, куда ни протяни руку – всё цветы, цветок цветка чуднее. И ежели на земле, в сем венце искать будешь, в XIX столетии, о, как много новых чудных звёзд на церковном небе воссияло. О. игумен Дамаскин почил о Господе в 1881 году 23 января. Оптинский старец Анатолий отошёл к Богу в 1894 году. Назвал их цветами. Игумен Дамаскин истинный был богатырь святорусский, могучий дуб. Портрет его Иордан гравировал. Какой богатырь! Широколицый, широкобородый, широкоплечий старчище-поморище... Жизнь Дамаскина, типичная, благословенная жизнь русского монаха, крестьянского сына, в юности ощутившаго благодатный свет в сердце, оставившего отца и мать, прошедшего в избранной им обители послушания конюха, сапожника, хлебопека ...наконец, игумена знаменитого. А подвизался он на Валааме 62 года. В игуменстве был хозяин-строитель, радел святому монастырю. О. Анатолия помню портрет. Светлые, светлые глаза, взор детской какой-то непорочности. Схима на плечах, не шитый письменами кукуль на главе, а обыкновенный клобук чёрный.

Этот инок был преемником о. Амвросия, нёс послушание скитоначальника, к нему, как к старцу и духовнику, относились многие сотни людей (шамординские сестры, оптинцы, миряне), но и неся сей крест за послушание, о. Анатолий паче всего жил внутренней своей жизнью, был творцом умной молитвы, паче всего возлюбил безмолвие...

Преже всего враг направляет свои разжжённые стрелы на взыскующих Бога. Если человек, взыскуя (часто вернее скажем – искушая Бога), продолжает валяться в грехе, в слабостях, во всяком неисправлении, в нерадении, то в нём, как в кривом зеркале, Божье, светлое, правильное может искажаться в смутное, кривославное; мутная большая лужа мутно отражает и солнце, а чистая и капля воды, как бриллиант, блестит. Мой основной грех, гнетущий меня долу, наводящий тоску на сердце, это нерадение преступное, небрежение бесоставное, каинова беззаботность о брате, силы и здоровье сложившем на меня, изнемогающем в непосильной борьбе с лютой жизнью. Он бьётся за кусок хлеба, а я на баснях жизнь провожу, не стыдяся Христовых очей во взорах светлого моего брателка, светлого душою и телом, сияющих. За паразитическую, дармоедную жизнь играет мною сатана, искажая во зло, в угнетенье, в страхование то доброе, что в кредит доверяет мне Бог милующий.

25 января. Понедельник

Память Великого Григория Богослова. Поэтами вдохновенными были оные великие мудрецы-философы.

Юностью, весною благоцветущею оные времена церкви назову.

Умы церковные, учители и отцы наши, как весенняя гроза были, как дожди благодатные, «как бы резвяся и играя», «грохотали» «в небе голубом».

Всё у них было от радости, от вдохновения, от полноты. То была юность премудрейшая. Вдохновенно и радостно чистым умом проникали они, отцы и учители церкви, в тайны тайн.

В тайны Божества, в тайны жизни, в тайны мира. А то, что мудростью и наукою величают наши времена, есть склероз старческий, извращение дряхлое, гниение. Или же – пыль, плесень, ржавчина. Безрадостны, тщетны, безжизненны умствования последних времён. Радостная, как вешняя гроза, вселенская мудрость София, как дождь благодатный, животворила умы оных учителей – любомудрецов-поэтов, отцов наших. И как же скаредны, мертвенны, тленны умствования и учения авторитетного мира сего. Они эти – моль в одежде, червь в плоде. Гробы они, прах, тлен, пыль.

Бог попустил зло на земле. И эти ненавистники вечной радости, ненавистники света, жизни и Воскресения ненавидят вечную живоначальную мудрость Божию, которая есть солнце мира. Гнилыми гробовыми досками учений своих тщатся гробополагатели-богоненавистники заколотить оную ликующую вечноюнеющую лазурь Господня неба. Мраком ада и смерти тщатся они затянуть горнюю лазурь вечной весны Христовой. И вот умы чад века сего затянуло хмарой мёртвых Учений. Уж все согласны опуститься, всем охота лечь в сон безбожия, опуститься, уснуть легко. Измотан, измят, измучен род человеческий. Куда там: горé имеим сердца. Куда там: почесть «высшего звания». Повалиться, уставши, в оный автобус смерти – вези куда хошь. Измучил, истоптал, измял сатана людей. Но не перестаёт плевать, и дышать, и коптить, где завидит, каков проблеск вечной лазури. А она есть, эта вечная лазурь! Не думайте, что неба не стало. Унылая эта плева, эта болотно-туманная дымовая завеса, что застит вечно ликующее небо Господне, только ленью и слабостью нашей держится. Мрак от твоей дремоты. Стряхни ты с себя этот сон скаредный, поищи утра Божьего, сравни самоубийственность и мрак безбожных учений с тем, чему учит, чем живёт церковь, и поймёшь, где жизнь и что такое жизнь... Хоть мрака-то оного возгнушаешься, хоть утра-то полюбишь ждать. Я вот сам во мраке ещё брожу, но как я утра-то Господня хочу. Петухи-те поют – утро возвещают.

Василий, Григорий, Иоанн Хризостом. Три пренебесных, златоперых трёхгласных петела поют, утро в нашей ночи возвещают. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» – «Ей, – говорит, – гряду скоро. Аминь». Воскресни, Боже, суди земли.

Вот придёт жених – Пасха, а я опять не готов. Я-то и худо радуюсь в Пасху, что во мне Христос не воскрес. Того ради во мне не воскрес, что не сраспинаюсь Ему, Свету. Ещё отреченья своего не оплакивал. Надо, изшед вон из мира, плакати горько. Всё за «утешеньем» гонюсь дурацким умом. А плач бы – моё-то дело. То уж бы моё, то надёжно. Плачу, может, не позавидовал бы враг-от. А то ведь как видит, что я по утешенье поехал, сразу меня с катушек долой.

Вдохновенный полёт ума, крылья души, глубины сердца, златые уста поэта церковь считает неотъемлемыми свойствами богослова-мудреца. Церковь ценит в учителях-отцах божественное изящество их философии, красоты их жизни, их личности, их труда, добро́ту их творчества. Церковь поёт Григорию: пастушеская свирель богословия твоего победила риторов трубы. Ты изыскал глубины духа. Красо́ты (добро́ты) вещания свойственны тебе...

...Ты одеждою православия, свыше истканного, украсил церковь. Нося эту одежду, церковь зовёт тебя с нами, детьми твоими: радуйся, отче, богословия ум крайнейший.

Либо тупость и безразличие, либо врождённая порочность мышления (таков мир сей во зле самохотно лежащий) заставляет человека принимать безбожные самоубийственные концепции мироздания. Матерьялистическая чистая наука труп препарирует, по трупу трактует о жизни. О «науках» социальных, общественных говорить нечего. «Массовая» эта «наука» для младшего возраста. Оставим ими интересоваться клубным кружкам.

Но и чистая наука... преподносит мёртвую рыбью кость. Остовы, схемы... Нет, биология, ты нам сделай живую рыбу, вдохни жизнь в мёртвые кости... Ты ещё не дошла до этого... Ну, преуспевай. А мы Живодавца ведаем. Се сияющее, вечное море вселенской жизни. Там играет наша золотая рыбка.

Бог-творец по-гречески называется Θεός – поэт Творца неба и земли, поэт Урана и Геи. Так что нечто божественное предполагается и в земном человеческом, истинно поэтическом творчестве.

Истины догматов веры, учения о таинствах не могут быть преподнесены в школе как формулы, скажем, физики-химии. Гербарий ведь не всё сказывает о цветке. Надо, чтоб учение о Боге, о церкви, о таинствах повевало благоуханием цветов, благодатным дождём, вешнею лазурью неба.

Богословствующая мысль воплощалась древле в божественно-поэтическом слове. Вот, например, учение о Сыне Божьем (Символ веры):

– Он от Отца как «Свет от Света».

1 февраля. Понедельник

На дворе сыро, вся зима такова. Переулки в снегах, а по улицам слило. Вчера на рассказ брателко водил, оттуда один я плыл.

К весне, похоже. Ино, слава Богу, ведь февраль. Сейгод нетерпеливо что-то считаю я дни к весне... «Им овладело беспокойство...»

Все ждут, – вот война кончится, голодовка кончится, здоровье воротится... Как галки за окном кричат, воробыши чирикнут, я всё ловлю ухом – это-де к весне. Люблю голоса Божьей твари. Велика ли моя «священная роща» – десяток дерев против окна-та – дома кругом, а галочки-чернички да воробьи всё ночуют. Засветло прилетят, и – разговору! Долго угнездиться

не могут. Вот птице наплевать, что гараж близко, а я брезгую этими машинами. Унылые мёртвые жабы, чучела жабьи на катушках. И ездит-то на них сволочь, а я не о том строчу, о чём хочу.

Сегодня предпразднество Сретения. Ничего, что в грязях да туманах земля. Слушай, что церковь поёт сегодня: «Небесный лик небесных ангел приник на землю, видит Перворождённого всея твари Матерью яко младенца несома ко храму. Небесный лик небесных ангел приник на землю, предпразднественную с нами поют песнь, радуясь». Ничего, что дождь да слякоть, приникши, с неба глядят на нас очи ангелов.

2 февраля

Славы Отеческой я удалился безумно.
Во зле расточил благое Отцово наследство.
Отче любимый, ты видишь мои покаянные слёзы.
Отче, не дай мне душой умереть вдалеке от любимой (отчизны).
Вот я стою и стучу в двери родимого дома...
Отче, прости мне побыть у тебя хоть последним слугою.

5 февраля. Пятница

Купно с худою головой немотствует и душа... Дела никакого не затеваю. Брателко весь со мною притулился. Три плахи я весь день колю. Из-за брателка мне на своё здоровье обидно. Сегодня «Взыскание погибших». Завтра родительская суббота. Во всех храмах Москвы эта икона, списки с той Чудной, что милостиво, детским ликом и кротким взором глядела на Божий народ... Господь приниче на землю, на Город сей, есть ли-де ещё кто помнящий Бога. И видит Господь: вси, вси уклонишася, нет верных ни единого...

Но вот, накрыл вечер Москву, и ползут по переулкам люди; что ближе к окраине какой, где есть храм, там больше ползёт людей по переулкам. Низко накренились облака над крышами. Господь приниче над землёю, над грешным и богоотступным городом. Слепые дома, замаскированные страшным маскарадом. Голодный осиротелый люд. Тьму заскорузлых, обледенелых, ухабистых переулков, эту тьму не преодолеют мышиные пузырьки уличного освещения.

А Бог глядит, каково-то освещены сердца человеческие. Печать скорби, Господи, на сердцах. Кто ещё в силах опомниться от уныния, хоть в праздник, идут припасть к Царице Деве Пречистой, к «Взысканию погибших».

Сегодня во всех храмах озарён свечами, сиянием лампад кроткий лик Девы. Как понятно и близко всем это изображение! Пречистая изображена с непокрытою, как у отроковицы, главою. Власы распущены по плечам. Лик совсем детский, задумчив. Задумчиво глядят на всех очи Отроковицы. Руки

Ея сжаты как бы молитвенно, как бы умоляюще. Правою рукою обнят Младенец. Он, стоя ножками на коленях Матери, руками обнимает Ея шею. Икона не древняя. Пречистая Дева изображена не в типе, нам привычном. Но преисполнена Она неисчётным умилением. Икона обложена ризою, что делает её уже совсем не похожей на картину. Пусть не иконописен, но живописен лик «Взыскания погибших». Этот задумчивый лик Божественной Отроковицы вызывает слёзы умиления. Глядишь на Неё, и молитвенное воздыхание родится в груди, и шепчут уста слово молитвы.

6 февраля. Суббота

Ветер сменился. Выяснило. Леденик-северяк дует, с родины. Но февраль-бокогрей своё дело правит. С крыш закапало на солнышке. Наши оконца на Север, дак озябли, а что во двор, там капельки с крыш прядают; сосульки не разглядел, есть ли. По Гагаринскому полз, – старые дома ласково глядят, что солнышко-то боком пригрело в полдень. От стен отсырели плитуары-те. Москва боится холодов-то. Но уж каковы теперь ветры ни дуй, солнышко будет свою силу забирать.

17 февраля. Среда

Первая неделя Поста Великого тянется, а мне всё то неможется, то некогда. Не радуюсь о том, над чем люблю радоваться. Ум долу поник. Уныло живу. С горестным равнодушием гляжу на мир Божий. А мир Божий к славе готовится. Но моё ли то дело – слава Божьего мира, когда по моим неисправностям забота, нужда и недуги брателка с ног валят. Самые заветные вещи продаём... Пойду к вечерне переулочками своими. Зима-та уж сломилась, уж тает днями-то. «Господи Владыко» в церквах читают, старухи бредут к вечерне, галки шумят с воронами, капель с крыш. Так бы, к Мефимону[1]-то идучи, и пить эти настроения. А всё брателково нездоровье да своя немогута; пуще же всего неисправность своя гнетут ум-от. Ослаб я духом, ослаб и телом. Старинщики приходят, последние остаточки выгребают. Где тысяч-то наберёшь, чтобы на рынке что купить?..

Сумеречно в уме, дак как из камеры какой через оконце тюремное на Божий мир, т. е. на природу и на приход в мир Божий великих дней святыя четыредесятницу, я гляжу. Сейчас надо вникать в ум природы, ведь предначатие весны, время заветное и заповедное настаёт. Надо за снегами следить, за капелями, за небом, за галками, за рассветом, за звёздами и за Солнцем, за ветрами. Западные ветры тянули в январе-то. Тепло, нищей (...куме?...) на руку.

В феврале днями яснило с северным ветром. Да уж отошло время морозам. Всё вспомню детскую песенку: «Как февраль ни злися, как ты, март, ни хмурься, – всё весною пахнет». Это птичка села и запела.

---

[1] Мефимон – вечерняя церковная служба в 1-ю неделю Великого поста.

Эти дни снеги выпали глубоки. Бродно к вечерням-то идти. Из закоптелых-то комнатёнок выбравшись, не можешь надивиться пушистой белизне. Это уж последние разы матушка-зима свои лебяжьи покрывала стелет. Занятно так: в Чистый Понедельник наши переулки – дорога крепкая, а на Хитровом потоки откуда-то журчат. У нас снег крепонек, а к Солянке лёд мокрый. И вчера от вечерни брёл, нигде не таяло, а с Дашкова дома капели изо всех труб. Я и к ночи-то выбреду. Всё проверяю, не каплет ли с какой крыши. Ведь ещё рано, ещё шепотком капельки-те говорят. Первая неделя поста всё так. А о Масляной в кой-то день (а дымно да заботно было!) вылез, что крот, на крылечко. И преславно так небо звёздами глянуло в меня. Во дворике-то ничто не мешает на небо глядеть, окна везде занавешены, а слепые уличные мочевые пузыри фосфоресцируют там, за стенами. Я встал под дерево, поднял рыло-то кверху. Сквозь сплетение редких ветвей глядит звёздное небо. И до очевидности кажется, что звёзды – это цветы, как цвет на яблоне, расположенные по сучьям и ветвям. Было звёздно, уж без мороза. Звёзды шевелились, сияя в синей тьме, как цветы лепестками. Как нарядно, как празднично всё Божье.

В Прощёное Воскресенье бежал бульваром на трамвай. Спешил, высуня язык. Крепонько ввечеру прихватило морозцем, и снега были белые. Заря долгая вечерняя стояла над башней Архангела Гавриила, над крышами, над деревьями, такая предвесенняя, золотая и розовая, такая стеклянно-прозрачная, чистая.

25 февраля. Четверток

Мефимон последний день, я не попал, с утра немогута, а там и некогда... Прошла зима. С утра капели-те сквозь сон. Лёд на плитуаре широко размок. Вылезши на двор, подивился: как скоро снега сели. Вдруг. И точно их притрусило пеплом, и с крыш льёт так спешно. Дорожки по двору стали широкие и грязные. Куда делись сугробы, как опухшие веки прикрывавшие окна подвального этажа. Оконца открылись, что глазки, и Алексей успел прорыть от них канавки. Ходи, как хошь. Небо водяного цвета. Тяжёлое, наводнелое. Кричат вороны там и там. Бабёшки с галочьими голосами и ребята с голосами воробьиными круто роют снег с соседнего дома. Слышно, будто, подушки падают.

Сумерки. Туманит. Но радостью беременна эта пора.

2 марта. Среда

Постоянная неисправность жизни, беправильность, неутверждённость жизни ни на чём делают такое житьё-бытьё безвольного, слабого человека тягостным себе и людям. Упускается день за днём бесполезно, для всего упущенными складываются месяцы, наконец, годы. Уж махнёшь рукой на себя и впадаешь в отчаянность.

Слава Богу, зима была милостивая, можно сказать, и окон не вставляли; я прособирался, ан весна подошла. Снег в городе съело дождём да ветром. Сыро, вóдено. Я мало на улице бываю, да и не гляжу. Иное всплачется душа: увидишь из оконца – облака несутся, грают вóроны, ребята шлёпают по лужам... А не до радости... А ведь наступил мой заветный месяц март, идёт Великий пост. «Уныл во мне дух мой. Во мне смятеся сердце моё»...

...К сумеркам, теперь в семь темнеет, вылез-таки на минуту, погоду, холодно ли, тепло ли, проведать. Ветер холодный, сырой, блакитно небо. Уличная мостовая подо льдом, юхнувшие<?> сугробы снега по дворам, всё как бы пеплом посыпано. Кабыть, всю зиму город-то пеплом посыпали, пепел и вытаял серо. Пасмурно при западном ветре. Улица, дома, небо – всё монотонно в цвете, но какой изысканный аристократизм в этой драгоценной одноцветности неба, крыш, мостовой, домов старого переулка... Пасмурный вечер, но уже март. И некий свет, уж не свет ли Григория Паламы, которого прославляли в это воскресенье, напояет мартовские вечерние часы?! Убогая природа города готовится воскреснуть. Ещё туманно, ещё пасмурно, фанерные ставни, рваные крыши, упавшие заборы, тонко на вешних туманах вырисованные сучья дерев порывает холодный ветер. Но «сия скорбь на бесконечную радость». Это снимается ледяная гробовая доска, совлекаются с радости нашей истлевшие саваны. Радость воскреснет, и никто не отымет её от меня.

Чувствую, как я отяжелел, ослаб, опустился, безучастен стал к восприятию радости. Она рядом, и я не могу её взять. Но выйдя в такой пасмурный предвесенний вечер на улицу, я с сладкой болью вспомнил, как в юности трепетно любил я эту пору. И сейчас, как тогда, я ощутил что-то таинственное, почувствовал, что чаша таинственной радости в некую пору, в некие часы, может быть, проливается на мир. Март таинственный, в он же месяц и мир Бог создав, и человека сотвори, в оны же месяцы Гавриил Богородице «Радуйся» возвести, и Христос воскресе.

8 марта. Вторник

То в делах, то в простудах дни поста святого пробегают. Пост Великий уж преполовился. Пост – «жительство ангелов», а я ни близко... Не то горе, что скоромное ем – та печаль, что таинственности, радостности благодатной сих дней предначатия весны, сих дней святого марта, сих дней к Пасхе Таинственной, к преблаженному, премирному и всерадостному дни Воскресения ведущих, сих дней я в стороне влачусь.

Жизни честной не умел себе устроить, дак уж что дивить, что дни в пустоте изнуряются. От лица грядущего Солнца взамен многомесячного ознобления тёплые ветры веют над Землёю. С матери Земли складываются гробные пелены снегов. Им же всея твари Украситель глядит на мать

Землю и говорит: «Она не умерла, но спит». Как Лазарь, земля, природа ещё в гробе, но уже Марфа и Мария послали за Христом. Уже знаемые и сродники собрались в Вифанию поплакать о четверодневном, тоже возликовать о Его воскресении. О воскресении земли глаголю в снятии ледяных саванов, в журчании ручьёв, в игранье овражков, в прилёте жаворонков, в первых цветочках на обтаявших пригорках. Природа совоскресает Христу. Воскресение природы содержит ядро – Воскресение Христово. Воскресение природы – это фон, это рама для Воскресения Христа, это сад, в котором Оно расцветает.

На днях, в недельный день Григория Паламы, очнувшись на рассвете, полез глядеть улицу. ...Рано, безлюдно, чисто, рассветно, сухо, серо-серебряно, благословенно утрени, уж какова-де и природа в городе, булыжная мостовая под окном, забор да десяток лесин за ним. Но несказанно чуден новосвятой утренний свод небес.

И вот эта убогая «природа» – дорога да голые деревья, серый забор, древние жёлтые плиты тротуара, только что выглянувшие из-под ледяной коры, в тишине утреннего рассвета, в таинственности предначатия весны так молитвенно глядят в небо, глядят, не мигая, созерцая тайну. Проснутся, побегут люди, всё станет за окном обыкновенным.

Когда-то всё было райским, блаженным. Потом вниде в мир грех и грехом смерть. Сия земля, деревья сии были в раю. В предутренние часы мне видится: эта истоптанная земля, эти обломанные людьми деревья вспоминают свою красоту и соглядают образы неизреченной славы, аще песнь, и носят язвы по вине человека.

11 марта. Пятница

Чтоб доспеть внутрь себе царство Божие, святые опытно научают нас «быть ниже всей твари». Иноку, признавшемуся, что его мысль всегда у престола Господня, авва сказал: «Это не велико. Будь ниже всея твари...». И безусловно, чем ниже склоняет себя человек во прах, тем надёжнее ему, тем твёрже он, тем неуязвимее, тем лучше вооружён от всяких «ударов судьбы», бедствий, несчастий, лишений. Плавающему в слёзном море каких ещё печалей бояться?

Запинанному последней тварью какая ещё обида чувствительна? А у того, его же ум всегда при престоле Славы (ежели не через помянутое море слёз), он ко престолу-то царскому приехал, у беструдно стяжавшего сию высочайшую степень мир сей выбить может подставки-те высокие, степени-те (ступени), мельком пройдённые, из-под ног. Ежели тебя слово просто обидит, мала печаль повержет, то быстро сдёрнет тебя мир сей с небесе твоего.

В царство Божие, в оную радость неотымаемую не на рысаках, не поездом катятся в мягком вагоне, а надо на всю жизнь башку-то в хомут запихать да в плуг многопудовый впрячься, да на карачках и выползать отря-

женную тебе пашню жизни. Ползай, вспахивай глубже да слезами поливай; ово сорок, ово шестьдесят лет. То уж надёжно, иноче, будет. Всколосится нивка-та! Сладок хлеб Живоначальней Троицы.

...Март идёт.. В среду «жаворонки прилетели». Чаю, где-нибудь проталинки-те ежедень снежком заносит. Инфлюенцией дома сижу, лишь из оконца на «природу»-та погляжу. А чем не природа! В Хотькове, слышь, в валенках ходят. А в городе шибче тает.

«De profundis»[1] комнатки гляжу на дорогу. В полном лике мостовая-то, дороженька предо мной. И весь год она со мной разговаривает. Летом после дождя камни-те, плиты-те умытые, как исцелованные, многоцветные, булыжник, омытый дождём, что многоцветная мозаика. Плиты песчаниковые краше слоновой кости и мрамора. Умная твоя красота так и беседует с красотою старого камня.

Старые камни старого города. Ковыляя старым переулком, видя истёртые ногами поколений древние плиты, камни-ступени, камни-пироги, я люблю посидеть на них, погладить рукой. Ума в них много.

Но я говорю о мостовой, об улице, что глядит и беседует со мною. Как она нарядна, как переменна, как разнообразна, в зиму ли запушённая перинами снежными, уютными, в мороз ли укатанная, скрипящая, голубая, к весне ли, увитая талыми продольными и поперечными полосами.

Гляжу сейчас на дорогу, что под окном. Как много и с какою полнотою она мне рассказывает, что творится на желанных моих холмах, полях, перелесках, окрестных, скажем, града Сергиева... Полоса белого снега, полоса снега талого, воскового, водяная дорожка, в ней отразились ветки дерев...

Дома сижу всё. Но «чую смущённой душой» приход марта там, «в русских далях».

Пишу сие для самоутешения: вишь, велел брателку продать любимые свои эмали. Торг-от состоится или нет, но я перестал тужить. Мудро слово: «Тот монах, кто делает себе во всём принуждение». В сем великом слове программа целительных, благодарных действий.

16 марта. Среда

Завтра Алексея человека Божия – «с гор вода», но на московских горах покуда снег. Ишь, ветер северный премогает мартовскую весну. Свыше недели я недомогал, сегодня вышел на яснину, напустился и до Хитрова. Постоял у Великого канона. «Дни-то какие»... «Мариино стоянье». На субботу запоют: «Поваленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста бесплотный...», и, как звон кадила, будут струиться из алтаря хвалы Богоматери. Хоть и некогда, хоть и сердце

[1] «Из глубины» (лат.).

сдаёт маленько, но сбродить к службам сим, заветным, из-за вечера ясного, долгого, из-за дум, сею порою чудною навыкаемых, рождаемых любо. В церкви теперь не так срастворяется сердце со всеми. Люди отпугнуты друг от друга. Всяк измотан, всяк устал, всяк знает, что рядом с ним стоящий ему не может помочь. Но все пришли в отчаянии – не пошлёт ли Бог в эти службы, любимые с детства, минуту умиления. Да, пришли сюда за хлебом небесным, но неласковы друг к другу, так же, как утром стояли за хлебом картофельным, себе б получить, а другие как хотят... Вымучена, измята душа у всех. «В гости» ходить, видаться и рядом живущие перестали. И в храме стоит «не едино сердце, не едины уста», а, скажем, пятьсот, триста, сто человек... Но о сем до зде. Я, может, грешу, тужа о том, что не имеют пришедшие, скажем, к обедне, единого сердца.

...Я вот, пору года люблю соглядать. Было обтаяло, да опять снеги белые напали, утоптались, подмёрзли. А уж зори долги. Любят многие путешествовать. Я который уж год брожу в церковь всё теми же переулочками. И на одних и тех же местах постою да полюбуюсь и в осень, и в зиму, и особливо в сию пору предначатия весны. Как сегодня, старыми каменными ступенями спустился на дорогу, обернулся, полюбовался... Очевидно, холодный северный ветер (он нередко тянет в марте), смешиваясь с мягким <теплом> уже начинающего пригревать Солнца, дают притуманенность мартовским вечерам, вот таким холодноясным.

...В вечернее небо возносится серо-серебристый силуэт церкви. Старое суковатое высокое дерево молится вместе с храмом безглагольно. Высоко в небе тихо стоит ясный серп месяца...

18 марта. Пятница

Относит от берегов Христовых безвольное, ослабевшее существо моё волнами многомутными века сего. Уж ни за какое кустьё нету сил ухватиться. Уж на брег-от Божий равнодушными, невидящими глазами гляжу – за что уцепиться тамо, не вижу... Дома-то сидя, перещупываю старые иконы да книги... а забота, а нужда, а тревога «как жить, чем жить», – подминает под себя излюбленные мои думы и настроения избранные. По вине совести нечистой свободно окрадывает меня враг... Как-де люди, так и я. В людях-то куда ни придёшь: «Третий месяц комнату не дают», «ребёнок высох и есть нечего», «свет погасили, сырую воду пьём, дров нет». Брателко высох весь, вконец унывает, что должны и отдать нечем. Хлеб, говорит, паёк надо отдать, а то со свету сживут, засрамят перед всеми...

...Я, вот, как бы Распятие любил, хотел «Исповедует Христа, и Того распята». Со Христом, и притом Распятым, лягайте меня все копыта... Знатно, что у кого я взял да не отдал, дак тем обидно. Да ведь нет у меня!

19 марта. Суббота

В лето день со днём схожи, разве в дождь заинтересованность... В зиму беспросветный обыватель со своими буднями и глупостью прячется в коробках и ящиках домов. Летом всё это вываливается на улицу. Не видишь лика природы на пропылённых мостовых.

А сейчас, бредучи переулками, всякой день новое прочитываешь. Переулочки, как бреду к вечерне, сказывают мне, сколько про себя, друга столько о том, что делается сейчас там, в Сергиевых рощах, полях, деревнюшках...

...То было дождями свело, съело снега-ти. Да опять новый напал, сутки за сутками падь была. Чудно так было, в весну грязны снега, а тут белёхонек грудился.

Вчера, в канун Похвалы, ветру Северу преставщу, при солнце водой взялись дороги. К вечеру прихватило инде ледком, дак уж вот хруст по городу мартовский. Я, чтоб носом не клюнуть, всё под ноги гляжу, так уж, что ведомость у меня выписана, пути-те, дороженьки. Сам рисовать не могу, не вижу и человеческого художества, а вот как Творец учнёт перво по снегам, а потом по талым глинам весну красную разрисовывать, это соглядать я хочу-могу. Не столько, может быть, худыми глазишками сквозь очки, сколько убогой моей сердечной радостью к сим вытаивающим градским плитам, к сим возносящимся в поздневечернее небо голым ещё ветвям, к сему высокому тоненькому серпу месяца.

Я сейчас на асфальт не обижусь. Он после снегов вымытый, высохший цвет имеет. Запылиться ему неоткуда. Рядом с тротуаром широкая полоса снега идёт. Две широких каймы снегов так и бегут из переулка в переулок. (Они, гляди-ка, на Страстной ручьями возьмутся.) А серёдка дороги наводопела да уледенела. И хрустит весело так под ногами у тебя, не хошь да с мытого плитуара соступишь кружевною льдинкой хрупнуть. А главные улицы уж к Пасхе вымыты, ни снегу, ни пыли; чисто, любо так. Бывало, мимозы жёлтые, душистые уж давно бы продавали.

«Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода»[1]. Любо, что и весна долга. Ещё долго и в Городе хорошо будет.

Древние камни, старые дома города люблю. Третьего дня стою ввечеру на дворике нашем. И сказка такая виделась. Ещё не ночь, но и не день. Свет не то от месяца, не то от зари, ещё не угаснувшей там, за домами. В небе созвездия уж весенние, и по-ранневесеннему стоит над углом двора серп месяца. И жарко уж в шубе. Но из угла в угол дворика постлана бело нарядная сияющая бело-празднично скатерть непорочного белого снега. Молчащие, что закрытые шкатулки, старинные дома кажутся древними игрушками, расставленными на праздничной скатерти. Стоишь, глядишь, точно тебе кто балладу средневековую сказывает о старом городе, об этих стогодовалых

[1] А.К. Толстой «И.С. Аксакову».

домах под высокими крышами, об этом тоненьком, остром серпе мартовского месяца, что как свеча горит в небе...

Христианство, Восток и Запад, великие культуры христианства... Как всё пренебесно, лазурно, хрустально чисто; как всё прекрасно, трогательно, какая слава, какая честь сподобиться этой культуры... Поэзия, музыка, литература, философия, искусства, живопись, зодчество... Какие высокие вечные образы хранит эта культура, хранит не музейно, но живёт блаженною, вечно живою памятью своих любимых героев...

«Преподобная мати Мария, моли Бога о нас...» В эти дни Церковь приводит нас, берёт за руку и указует жизнь замечательную... Бездна греха и горная вершина святости... Все виды разврата и вот – пятнадцать веков уже Восток и Запад в дни сии преклоняют колена и поют, и величают, и ублажают: «Преподобная мати Мария, моли Бога о нас...».

Служительница греха[1], яко никто же ин, стала ангелом земным, яко и по водам ходити, яко и зверю послужити погребение ея. ...Стала знаменем чистоты, святости, радости о Господе, образом покаяния на все времена. Как разительно, как дивно всё в Житии.

20 марта. Воскресенье

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матерью Землёю
Он вступил в союз навек.

С Олимпийския вершины
Сходит мать Церера вслед,
Похищённой Прозерпины
Дик лежит пред нею свет.

Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там,
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях.

---

[1] Речь идёт о Св. Марии Египетской.

И куда печальным оком
Там Церера ни глядит –
В унижении глубоком
Человека всюду зрит.

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матерью Землёю
Он вступил в союз навек[1].

...«И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время всюду за чёртом, но я всё-таки Твой сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть»[2].

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;

Травку выманила к свету,
В солнцы хаос развила
И в пространствах, звездочёту
Неподвластных, разлила.

У груди благой природы
Всё, что дышит, радость пьёт,
Все созданья, все народы
За собой она влечёт;

Нам друзей дала в несчастьи
Гроздий сок, венки харит,
Насекомым – сладострастье.
Ангел – Богу предстоит[3].

До зде «Карамазов» ..Дивное дело – природа! «У груди благой природы всё, что дышит, радость пьёт...» Мать Земля, Мать Пресвятая Богородица,

---

1 В.А. Жуковский «Элевзинский праздник».
2 Цитата из «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского.
3 Ф.И. Тютчев «Песнь Радости».

мать, нас родившая... «Душу Божьего творенья радость вечная поит», – эта радость вечная. «Троица Живоначальная. Отец, Сын и Дух святой».

22 марта. Вторник

Весна-та не торопится. Говорят, «в Благовещенье птица гнезда не вьёт». Где вить – дороги падями перемело, трамваи не идут, снег блестит, холодно, воды будет много, а братишка башмаки с ног снял да на Трубу понёс. Я взвыл, книг наладил. Ино книги кому ещё навалишь, а есть надо сегодня. Да ещё чадышко забегало простуженное и голодное. Характерец у него дико вспыльчив, одолели с «шуточками» приятели там, очей-то, никак, медный лоб смычок разбил. Брателко ещё малость тем утешается, что этот месяц паёк раньше выдадут. Ещё, слава Богу, что детища нашего глазенапы и печальные, и весёлые, хоть в неделю раз, а дома видим. А тамо, на войне, сколько, о сколько этих вот ещё детских глазишек ежедневно, ежечасно навеки закроется. О, детища наши, детища!..

В оконце гляжу, два стеколышка только раскутаны. Было на улице всё снегами занесено, лишь тропы протоптаны. Ино я четвёртый день на дворе не бывал. Может, вылезешь из берлоги своей и учуешь март-от, Благовещенье-то предвесеннее. Числа такие, что в два дня у́топель может сотвориться.

Болезнь, беспомощность, нужда – голод и холод, тревога и отчаянность о брателькином нездоровье, и сестрёнка забыта вконец братцем единоутробным. И Мишка вправе по́соби ждать. И равнодушие прежних друзей, займодавцы за глотку берут, и вправе они. На себя надо негодовать (только с пользой!), что хватать не сумел научиться. Не сегодня стало видать, какое время лешачье. Мне всё о. Павел говорил: «Надо и для себя, надо и для внешних». А я не поспеваю в два-ти пути ходить. Убог. Время своё я распорядить не умел никогда. Хватаясь и дорожа минутами, когда светлое, «Божье» душу убогую мою озарит, я упускал, может быть, часы «нужной» работы. Кипу бумаги исписал уж, а надобно ли это кому... Надо! Пусть ведомо будет, что как ни старался сатана зассать остатнюю искорку радости Господней на сей земле, это ему не удалось. «И свет во тьме светит и тьма его не объят».

Ино пору безнадёжность, беспросветность одолят душу; паду на сундучишко, на котором сплю, и башку свою несчастную пальтишком накрою. И вот начну, заставлю себя, зачитаю тихонько нараспев, как в пасхальную литургию чтут по стихам: «В начале бе слово, и слово бе в Боге, и Бог бе слово. В нём была жизнь. И жизнь была свет человеком».

Высоко, выше звёзд уносят словеса сии, Евангелие сие. Уж коль величественно, коль прекрасно и высоко ночное звёздное небо, но сие вечное, пренебесное Евангелие, еже чтётся в Христову ночь, сии дивные слова о Слове предвечном так на крыльях орлих и понесут.

Жизнь бьёт так (теперь не говорят «жизнь», но житуха), что я давно с копыльев слетел, на коленках ползаю в прямом и переносном смысле. Но вопиет Павел, радуяся: «О имени Иисусе Христово всяко колено да поклонится». Пущай тебя житуха с ног сбила, ты тем воспользуйся – да жизнь настоящую начни. На коленках тебе будет надёжнее: пустотным мертвящим сквозняком века сего не так повевать будет.

23 марта

...Радость навеки, еже Христос воскресе. Аще Христос не воскрес – тщетна жизнь наша. А жизнь не тщетна. Тому залог «святое недовольство» души, томление её, искания, то, что скучными в конце концов оказываются «песни земли».

Напиши, человече, у себя на сердце, коронуйся, как царскою диадемой, этим вот ирмосом Пасхального канона, еже «Воскресения день, просветимся людие. Пасха, Господня Пасха! От смерти к жизни и от земли на небо привёл Христос нас, поющих гимны победные». И этими поне двумя тропарями упивайся, как вином. Хотя б всей жизни подвигом «очистим чувства» и тогда, несомненно, узрим Христа, блистающа неприступным светом воскресения.

Что значат страдания, болезни и нужда, хоть бы и пожизненные, ежели через это, поне при конце живота, в грядущую Христову ночь ясно услышишь ты Христа, рекуща ти: «Радуйся!». И обрадуешься навеки, победную поюще: «Христос воскресе из мертвых...». Паки тропарь: «Да радуется земля, да празднует мир... Христос бо восста, веселие вечное! Христос воскресе из мертвых! Ныне всё исполнилось света: небо, и земля, и преисподняя! Да празднует убо вся тварь восстание Христово, в нём же утверждаемся!».

В нём же утверждаемся. Тина, болото век сей. А ты утверждайся на камне, на Христе, нащупывай его ногами, не теряй, помни, что иного утверждения нет. Осенью, в ночи, в туманах, в непогодушку, река-та бурлива да в дождях широка, а паром всё ходит, направляет людей сквозь бурю-непогоду. В потемках-тех нащупывают люди канат, да держатся за него, и тянутся к тому берегу. Этот канат – Христос, а паром с людьми – род человеческий, переплывающий многобурную, многомятежную реку жития сего.

Утеряли люди Бога, утеряли и радость. И поискать, спохватиться некогда. Утеряли Бога, утеряли и разум. Ум века сего – скотский ум. То, что человечество забывает Бога, есть явление несомненно склеротическое, дряхлость, маразм, собачья старость. Не сегодня «мудрость» (с позволения сказать!) века сего начала вырабатывать одуряющие свои газы. Уж чем только они вечную лазурь небесную ни тщатся застить, каких газов зловонных ни вырабатывают, какими тучами ни пыжатся зори вечные заслонить...

Небо «мира Божьего» (и небо внутреннее наше) как досками заколочено, жёлтою дымною завесою заволочено. Но глядите: какие лучи сквозь этих туч пробиваются. Христос – вечное солнце. Уж сколько на базаре шуму, гаму, свисту, писку. А собачка ни пинков не чует, ни гаму, ни хаю не слышит, одно знает – хозяйка-кормилица не потеряет. Хозяин чуть свистнет – умная, верная собачка уж сыщет. Так и нам надо на базар века сего поплёвывать.

Стоптали тебя в грязь, унизили, ты скажи себе: я это со Христом сопогребаюсь. В болезнях ты изнемог, люди из тебя без правды слёзы выжимают, пой с Дамаскиным: сраспинахся Тебе, Христе, совосстаю днесь, воскресну Тебе. Многи скорби праведным полезны, а уж грешному скорбь, что золото, которым радость навеки купить можно.

23 марта. Среда

«Днесь всемирной радости начатки предпразднественное воспеть повелевают»... Радость обрадованную Гавриил принесе. Все теперь дни пошли – радости начатки. В пятницу Благовещение, суббота Лазарева, утреня с вербочками. Воскресенье – цветоносное, вербное и затем день дня больше, сладостнее – дни Страстной седмицы. Надо «упраздниться» от каторжной «житухи», уволиться в лазурную «жизнь» сих благодатных дней. Житуха не «подпущает» к празднику. Мы стоим да ждём праздника-то, что толпа трамвая после работы... Вот бросились на него, чтоб увёз домой. А не тут-то было: житуха – хоп тебя по затылку, хоп – за шиворот – пожалте в милицию!.. Так и сидишь вместо праздника.

...Послезавтра Благовещение. «Благовествуй, земле, радость великою; хвалите небеса Божью славу». А я настолько отупел, что вот никак приникнуть к царственности этой не могу. Праздник Благовещения. Какая слава нисходит на землю, каким царственным венцом благословлена, коронована наша Мать-Земля. Житуха сипит (у неё давно нет носа, она потому и благоухания не чует).

...Но что я так негодую: – пресмыкающиеся всегда были. Скажем, в дни лазурной раннеутренней Эллады, которая всё видела и знала вкруг себя живым и божественным, разве тогда не было лягушек, мышей, вшей, блох, не было проказы, чумы... Правда, увы, чума и проказа, крыса и вошь и числились тогда как таковые... Но очнёмся от этих угаров, выскочим из промозглых, каторжных казарм на волю. Вырвемся из мерзости запустения – в свободу, в полноту, скинем позор, облечёмся в славу, сбросим окаянный хомут горя-злосчастья, не захотим больше валяться в гробе вонючем скаредного безбожия. Полно сидеть в этом нужнике. Погляди: благословенна Земля, Мать-Земля, лазурно Божье Небо. Белые горницы Назарета. ...Сребро-белые крылья Архангела – свист крил голубиный...

Мария преблагословенная, радуйся, Благодатная, радуйся, обрадованная. Это небо земле говорит: радуйся! Господь с тобою. Благовествуй, Земля, радость велию, и небеса вместе с землёю хвалят Божию славу... «Днесь всемирной радости начало...» – поёт церковь.

Убогие мы, немощные, сбитые с ног безносой неотвязной нашей... сапатой щегомохой <бесорожей?> житухой, валяемся мы где попало, как попало, но вспомним, что дана нам слава, вернёмся к славе чад Божиих. Слышишь благовестие радости всемирной! Житуха дней наших – это лишь сон мрачный, это болезнь: стряхни сон-то, и ночь прошла! Утро Господне в мире, и Архангел благовествует земле радость великую. Гляди-ко, в славе, в сиянии земля-та наша. Пусть житуха-та гнусит ещё своё. Ей в сем веке на волю это дано, допущена эта гниль и позор. Но возьмёмся мы за свою славу. Архангельский глас вопиет ти, чистая, радуйся, Благодатная.

25 марта. Пятница

Святое Благовещение... Праздник-от подойдёт, а меня непременно в эти дни дела, недосуг, забота житейская пристигнет. На Божьем-то берегу златая лилия, еже ангел сегодня из рая изнесе, на берегу мира Божьего вербочки распустились к завтраму.

Тщусь я ухватиться за райский-то цвет, за вербочки весенние, а злоба-та дня, а своя-та неисправность, в остервенение меня приводящая, так и отхватывают от светлого-то мира, так и уносят паки в тину да в ил гнилого сего моря, вернее, рощи, в трясины житейские. Разоряясь на свою неисправность, как пёс бешеный, брателка грызу, на него свои вины накладываю. Он сегодня Богу всплакался, что ведь день велик, Благовещение... И так мне самому на себя дико стало, что хочу одно, делаю наоборот; и жизнью своей я страшно хулю имя Божье. Как праздник, так ссора. А потом горе возьмёт да сердце зажмёт. Берусь я, кошка бессилая, эту тысящепудовую и горящую свещу – Бога в жизни своей несть. И дела сего не делаю, и от дела не бегаю, и Богу от меня грех, а людям – смех, а близким, любимым – смерть... И давно я сам себе опротивел. Тщусь идти одной ногой по одной дороге, другой – в другую сторону. Далеко ли так уйдёшь?!

26 марта. Суббота Лазарева

Еле душа в теле полз через Город-от из управления. Всё пешком бульварами, трамвай не ходил. Скользко, водёно, колёса-ти провертываются. Хватил марта своего... А были с брателком и чаю не пивши, – току не было. Ино дома холодной воды с сахарином выпили, хлебца поели. Брателко, может-не может, снова убежал, я поохал, что нет сегодня сил ко всенощной сбродить, да опять и утешился. Долгая заря в оконце глядит. От больших падей вод много, туманисто небо, но просвечивает солнце, пригревает, но

и ветер нордвест просвистывает. Я в гору лез от Трубы, опостен Рожественного монастыря, скользко; ветер, в спину дуючи, только и пособил. Как я рад, что хоть в этот час вечерни в канун Вербного Воскресенья, любимых праздников, душа-та оттаяла, опомнилось, может, хоть на мал час убогое сердце. Ведь целый год этих дней ждёшь, Вербной субботы, Страстной недели, Пасхи, Пасхи Христовой!

Печурку стал топить, дровишка шипят, дыму – хоть потолком полезай, лишь оконце видать и заря золотится. Брателко верхушку добыл... Нет краше, нет сокровища милее, нет заветнее, как Вербные эти суббота и воскресенье, златые врата страстной седмицы. Сокровище наше, наследство наше благодатное, благоуханное, вновь и вновь приходящее в мир, как только заговорят потоки, зажурчат ручьи, повеют ветры. Радость наша, оживающая в нас, животворящая радость. И едино для нас, нераздельно, слитно для нас радование.

27 марта. Вербное воскресенье

...Удручённость от бездеятельности, от бесполезности гнетёт долу, вяжет крылья души, укорачивает дыханье. А так бы хотелось полной грудью испить животворного воздуха наставших святых и великих дней. Житуха-та забила, заморила, изничтожила слабого человека. Малодушен, робок, боязлив.

28 марта. Понедельник Великий

Утром не встал к Прежеосвященной, а се и брателка кашель бил: постыдился его, к свету уснувшего, беспокоить, и своя башка простужена, глухо слушает благочестия святые. Только устав святый дни сии велит проводить в посте, молитве, в сердечном умилении. А я, что собачка, мясца выдали, мясо ем.

...Вечерами на улице зори долгие, уж электропузыри сопливые блазнят, что бельма, а заря Божья всё ещё стоит, ясная, чистая в просвете улиц, домов. А внизу продольно полосами назнаменались гряда белых снегов да полоса чёрных вод; инде непроходимо. Народ-от подойдёт да назад воротятся; то лёд, то вода, то снег. Наше дворишко непробродимо.

...О великости дней сказывает и природа, и службы церковные. Всё зовёт к сердечному умилению. А я унылый тщусь любоваться со стороны. «Дух праздности, уныния...» А кондак дня поёт, зовёт: «...Посечения смоковницы убойся, данный тебе талант трудолюбно делай; бодрствуй и зови. Да не пребудем вне чертога Христова».

Я всё тужу об умилениях да о радованьях. «Ах, Исаак, ах, Ефрем Сирин...» А каково, а что Исакова Сирина первое слово? – «Начало премудрости страх Господень», и «провидя день суда, рыдал еси горько Ефреме!» (тропарь). Грозное и страшное – распятие Христово за мир грешный: таинство

спасения. Страх Божий – надёжное дело. Страха надо просить, радованью-то бесы и люди позавидуют да отымут. На страх-от никто не обздорится. То уж твоё.

Сбродил к вечерней службе, а днём Мишка забегал. Недомогает простудно, но весел, слава Богу. Рад, как вырвется. И хвалится: сегодня в рукавицах жарко. А у нас в подвале, в камню не скоро солнечное-то тепло скажется. Братец ушёл проведывать: нет ли выдачи. Я пополз в церковь. У нас так: брат – где убойно, тяжело да трудно, я – где приятно и возвышенно. Он с больными ногами идёт стоять в дикую давку, в тесноту, в ругань, убивается из-за 250 грамм у прилавков, мокрый затем мёрзнет у трамвайных остановок и часто бредёт через всю Москву домой пеш. Придёт, падёт, говорить не может, сердцем заходится. Кашляет в ночи... Отдых душевный брат предоставил мне. Я тихошенько побреду в Храм Божий. Мне всё приготовлено, принесено, сварено, подано попить и покушать... Брателко мой, свет мой, хранитель мой Ангел, жизнь моя и дыханье. Сердце милующее, сердце великодушное, сердце жалостливое и любящее. Я и живу, брателко мой, только по тебе и тобою. Без тебя валялся бы я давно не жив. По милости братней я вижу мир Божий и свет белый.

Народишко по улицам бегут, бегут: кусок-то стало непосильно урвать. А я вот могу ещё гулять да «пробужденье природы» наблюдать, собирать настроения Страстной недели. Брателко мой, «что воздам ти, яже воздаде ми». «Искренний» мой, поёт о таковых Давид Царь. Как сам Зиждитель отдал себя в жертву за грехи мира, а, як овча на заклане ведея, послушив быв до смерти, смерти же крестной, таково ж вот видится мне великодушное, реку любви и милости источающее, во образ Зиждителя своего, сердце брата моего, «искреннего» моего.

Сегодня погода веселит. Я устаю идти до церкви обычно. А сегодня уж очень много по пути примечательного. Солнышко пригревало, блестело ясно, ярко: досель по холодам туманилось. Переулки иные непробродимы. Тротуар в воде, обок его тянется непрерывная гряда снега в виде белоснежных Альп. Серёдка дороги опять вода с снегом. Много снегов-то, бабушки-дворники не в силах убрать их во дворы-те... Ручьёв нет ещё, остановят воду снега да льды. Иное покаты переулки, а вода стоит в снежных корытцах. Ужо солнце растопит снега, только слушай, что ручьёв да потоков заговорит «на семи твоих холмах». А сейчасная музыка, хрупанье подмёрзшего снега и ледка, а в дни на солнце летит с крыш вода на обтаявшие камни – точно тысячи маленьких ладоней без устали (как дети) рукоплещут. А где вода падает в лунки, сделанные на льду, там бульканье и люльканье... А люди, все наморща лбы, бегут, спешат, сердятся, ежели тропка в воду завела. Одним ребятам ещё весело. По углам, где вытаяло да обветрило, верёвочками своими вертят: того гляди, по очкам съездят... Любимый мой переулок

Подкопаевский: белые сугробы снега, растаявшая, в чёрных водах, в бусых льдах дорога, долгий деревянный забор, за ним чудесные старые деревья, на бледном небе и дальше – любимый мною купол «Норчия», так я называю купол Ивановского монастыря. Старый московский закоулок и нежное виденье Ренессанса. (И почему я взял это «Норчия» из Новелл[1]. Купол собора Ивановского монастыря, очевидно, долженствовал походить на «Петра в Риме»). У моего «короля» Николы Подкопаевского обтаяли подошвы. Листы колонн, стены внизу смолят, не то сажей мажут здесь... Он брошенный, король-от; в грязных льдах долго у него пяты-те зябнут. А в храме народу средне: некогда, трудно придти, время урвать. В главном приделе холодновато, «Се Жених грядет», «Чертог Твой вижду...». В куполе церкви в западное оконце всю службу солнышко глядело, точно золото сияло в полумраке.

...Десять часов вечера. Брателко ушёл пополудни, не поевши. Видно, 300 грамм дают, ждёт там.

А с зельными сокращениями правятся службы-те. Очевидно, засветло надо управиться, ибо трудно храм «маскировать». Да и поп небось один. Ветх Иван-от. Да и певцам, хоть и на два клироса, поди-тка не под силу... В типике Синазари да толковые евангелия указаны. Сего нигде в мирских церквах не читают. Здесь даже кафизмы выпускают сплошь. Наго утреня-та ведётся. Стихиру одну споют... На подобны не умеет петь, не знают, не хотят. Гастролирующие «хоры» «нотное» что-нибудь изображают. Упадок пения.

29 марта. Вторник Страстной Седмицы

Вылез на улицу днём. И – шум! Льёт, каплет, шумит, шелестит. С углов кабыть из леек льёт на голову. Уклониться никак – тут снег, тут вода. От «труб водосточных» давно одни воспоминания остались, то в виде одиноко и чудом висящего полена высоко над головами, то нечто в виде ржавого сапога у подошвы дома. Но и из этих останков неким чудом превесело брызжет, булькает, пылит и в шапку, и за воротник.

При дожде шум однообразный, а тут целый симфонический оркестр, но странный, так непривычно покрывающий уличные шумы.

Вкруг меня с низенького крыльца с остатков балкона матерни слёзы капают тихо кротко. С развороченных дурой-Эльзой соседних крыш будто тысяча мальчишек дует. Здесь же по углам кабыть сидят ихние матери и неисходно льют с высот воду из вёдер. Узенькая лазея опостен нашего дома с надворья – это клавиатура пианино. Капель булькает и ухает в ледяные лунки и дробно бьёт о камень. Где-то рядом в завалившееся меж домами железо капели бьют, как в барабан. В этом оркестре немаловажны звон-

[1] Возм. «Новеллы» Ф. Саккетти.

кие ритмические удары железных лопаток о лёд: несколько бабушек, старичишек да ребятишек – дворники – бьются над водами, снегами, льдинками. И шум над городом, кабыть дожди. Солнце перекрывает светлыми облаками, проглядывает бледная ещё голубизна. Так нежно по-весеннему видятся тонкие веточки дерев на поле блакитном.

А штукатурка с домовых углов сверху донизу, вижу, смыта, должно, не первый год. Стоки-те водные так и моют, так и полощут, так и окатывают. Любо или нет сизым-те кирпичам. Этим, видно, и вымыло у нас угол с подошвы крылечной. Кирпичи валяются в локоть – древние.

С утра печь-дымокурку растопляючи, в плакучее окошечко на улицу взираючи, вздыхал я: то-то в Хотькове теперь с гор потоки. Ещё-де «в полях белеет снег, а воды уж весной шумят»... И вот, стоя у ворот, на перекресток-от переулочка глядя, ах! Гул – то ли не весна пришла, то ли не радость! Небесная голубель меж облак. Снега у обтаявших заборов блестят на остатках. Дороги слило наличными водами, что острова в море, снеговые гряды по дорогам. И этот шум, шум многих вод, что струят, каплют с многих крыш, высоких, низеньких, сплошь расстановкой, откуда переливы, переборы этого весёлого шума, подобного многим дождям.

Заповедные мои деревца напротив, что в зиму стояли как бы графитом нанесённые на лист писчей бумаги, теперь как-то широко глядят в блакитное небо, общая Матерь-Земля оживёт скоро с Христом Воскресшим.

...Тамо, по холмам Сергиева, Хотькова, Городка, на Святой-то неделе побегут ручьи, заговорят потоки. Тамо оживают теперь рощи, перелески... Вербочки распушились по оврагам, у потоков сплошной воды... Но и здесь, в Городе, как старые-те камни зачнут вытаивать, как любо.

...А в церквице, куда я брожу, в главном приделе отмыто на стене «Благовещение». Низенький плешивый иерей, кадя храм, благоговейно так кадит и сию стену.

30 марта. Среда Великая

На рассвете брателко в очередь побежал. Я в 7 часов побрёл к Преосвященным. С утра дул холодный Вест. Было облачно, перво и не таяло, лывы ледком стянуло. Ребятишки, спеша в училище, нарочито бежали по колеям, подёрнутым тонким, что кружево, ледком, рассыпавшимся весёлыми звоночками. Забавно: взрослые, идучи, подсознательно выискивают, где посуше, поудобнее, ребята выбирают, где вода; вереницей лепятся-торопятся по кучам рыхлых снегов. Часу до 9-го воробыши чивкают по карнизам домов; как солнце разогреет, птахи куда-то улетят. А холодное, с ветром, облачное утро, лывы воды мне удивительно Север, родину напомянули.

...Я похаял вчера: «Спешат-де, служа». Нет, с утра не торопятся. И стихиры, и паремии. И чтения тетроевангельские долгие, и хоть за пять человек

уж не слышно старенького о. Иоанна, всё же голос его красив, дикция хороша. Прискорбно, что с понятием «дикция» абсолютно незнакомы читающие псалмы. Взяв одну носовую ноту, набрав воздуху, словно собираясь нырнуть, искусно изображают затем кипение воды на плите. На каком языке, что читают, не разберёт никто. И пение плохое. Я сужу, а ведь, должно быть, некому петь. Нет у людей ни времени, ни сил. Люди все пожилые. Как я ждал любимого моего «Да исправится». Трио пели хорошо, но «хор» повторял «Да исправится» испорченным, искажённым мотивом, к досаде молящихся. Я вот так шатаюсь бездельно, гоняюсь за «настроениями» со стороны и теряю остатки своего.

31 марта. Четверток Великий

Немощно слабому, опасливому человеку, такому, как я, охватить растленным умом дивное, вечное, животворное величие сих дней. Унынием привычно отягощаемая душа не в силах и в сии божественные дни расправить крыльев и «царствия вне затворяется». Тайная вечеря, омовение ног, 12 Евангелий, плащаница. Бог, Распятый Бог, во гроб положенный. Пять язв святейших; токи крови пречистой. Чтобы с Женихом-то пировать и радоваться в Пасху, надо с Ним сейчас сраспинаться и спогребаться. Душа наша распахана и разборонена печалями и скорбями. Отдадим поле сердца нашего, поле мысли, сознания нашего под Христов посев. Когда цветёт липа, всюду носятся медоносные семена. Вечнующая сила всемирных, космических событий, таинственно совершающихся во всемогущие сии дни, – Четверток Великий, Великий Пяток, и Суббота Великая как дивное, благодатное семя, несутся, излучаются сейчас в мире. Всё существо наше духовное и телесное должно воспринимать эту жизнь, это семя истинной, вечнующей жизни. Как дождь благодатный, плодотворный таинственно сейчас орошают мир капли животворящей крови. Подставь душу под этот таинственный дождь... Жених приходит в мир. Эти блаженные страстные дни, и жизнь-душа должна быть приуготована, как невеста. Тогда совершится Пасха – брак души человеческой и Воскресшего Бога. Очи душевные, очи нашего сердца, мысленное око наше должно раскрыться, внутреннее зрение наше должно просветлеть, утончиться, прославиться. И тогда ты увидишь Воскресшего, проходящего «этою талою землёю, журчащими водами, сквозящими рощами», увидишь Воскрешение в это таинственное, тихое, блаженное время предначатия весны. Он ходит невидимо по русской земле, поколь поют в церквах: «Христос Воскресе из мертвых». Тебе, человече, выплакавшему в скорбях очи телесные, да дарует Господь око духовное; многими скорбями душа смеётся, очи мысленные откроются, очи мысленные откроются широко и светло. Око внутреннее прозревает, поскольку мы подвигнемся «очистить чувствия». Тогда «сердце чисто

созиждет Бог», и ты узриши неприступным светом Христа блистающим, услышишь блаженный Его глас: «Вниди в радость Господа своего».

1 апреля. Великий Пяток

Облачно, сырой ветер. Снег разошёлся водою. Лёд, ещё медленные потоки, лужи... Серо, однотонно, северно как-то – однотонная музыкальность, очарованье, своеобразную настроенность даёт такая погода. Холодная ранняя весна остро и сладко приводит на память родной город у моря, милое детство. Но настоящая моя жизнь – эти годы и дни, которые живу вместе с братом, дорогим моим другом. Эта жизнь и есть моя настоящая жизнь. Она больше, ответственнее, серьёзнее, глубже тех беззаботных лет «золотого детства». За эту жизнь, за эти годы дам ответ Богу, а там, на Родине, были игрушки. И глубокая ошибка ахать о милом прошлом и как нечто случайное провёртывать кое-как настоящее. Эти-де годы, скажем, от 25 до 50, не жизнь, а просто так. Жизнь-де будет впереди, вот столь же приятная и беззаботная, как в детстве и юности. Это ошибка большая и, может быть, роковая.

Смолоду всё было легко да приятно делать. И всё оказалось непрочным. Теперь трудно, с принуждением, да, авось, надёжно.

Пишу, а в ушах всё стоит любимейшее сладостное пение, два часа назад слышанное: «Како погребу тя, Боже мой, коснуся Пречистому Твоему телу, или кими пеленами Тебя повию». Как запели «Тебе одеющегося», внутри церкви заперезванивали в колокольцы, что сделало сильное впечатление на народ: стихли вопли удушаемых в проходах. Раздался плач, как ветер проносился в церкви вздох, тысячи рук творили крестное знамение.

4 апреля. Понедельник Светлой Седмицы

Христос Воскресе! По опыту прошлогоднему уж и не совались к Хитровой <? > заутрене о полночь. Во вторую смену идти рассудили. Да и уборку до последнего дни довели. Да и с молотьём ржи на кофейной мельнице канительно, да и, в чаду пёкши лепёшки, братец убился. Я его не будил, в четыре утра угрёб на Хитров. Уж заря была, по конец улиц холодный туман. Сухо, ручьи, вода, точно полотенца настланы. В храм-таки забился. Поднесло меня народом к распятию, тут зачалился и стоял литургию. Не у образа Воскресения, а при ноге Распятого у места я был. То уж моё, распятие-то. Светлы мне пять язв Христовых. И тут белые цветы, и тут Христос Воскрес. Вот он пред очами моими ещё не снят с креста, но се вчера было. Сегодня он воскресе из мертвых, сегодня Пасха. Печаль навыкла глодать мне сердце, но сия скорбь на бесконечную радость. Иисусе прелюбимый, Иисусе прекрасный, Иисусе пресветлый, Иисусе пречудесный, вижу Тебя распинанного за грехи мира, но уже всё покрыла

радость Воскресения Твоего. Уж, кажись, отбило печалями всё живое в душе, всякую искру радости угасила прискорбная судьба, беды да печали сбили с ног, но гремит кругом победная песнь: Христос Воскресе, Пасха Господня, Пасха, о Пасха, избавление скорби. И рвётся сердце навстречу радости, от смерти к жизни. Ныне вся исполненная света, даже преисподняя. Кресту Твоему поклоняются, Христе, и святое Воскресение Твое славлю. Голгофой прииде радость всему миру. Из гроба воссияла радость. Пасха таинственная: распятие – залог воскресения. Вчера сраспинахся Тебе, Христе, вчера Тебе спогребохся, совосстаю днесь, воскреси Тебе. Поставь меня перед Ним, блистающим, неприступным светом Воскресения, дак я, как стража, с ног слечу. Я вот эдакого вижу Его на кресте, руце распростершего, собирающа вся языки, дак думаю, и меня Он в охапку возьмёт, скажет: «Куда тебя денешь...» и «радуйся» шепнёт. Свете мой, Христе. Надежда моя, Иисусе!

Я «тяжко сердце имею». Ещё в Пяток Великий как я свирепел на брателка, как пёс лаял. О праздниках играет мною лукавый. Как пёс на блевотину, опять да опять я на ярость свою возвращаюсь. Гоняюсь за «настроениями». Горе тем, кто «настроение» моё сорвёт. Не слышу, знать не желаю Христова повеления жить «друг другу покоряющися и друг другу ноги умывающи». Того ради смятенно и пустынно как-то брёл к службе Пасхальной. Угрюмое утро-то, казалось, как бы стороною. Знал, что воистину сия спасительная нощь и светозарная, «но не услышал Иуда, раб и льстец». И чудно было бы мне, Каину, ликовать. Купить надо радость-ту воскресения крутоделкой да скороспелкой. Я навык умиление хватать, ино хватанным с чужих трапез не наживёшь долго. Надо своё добыть. Господь не зря моё житьё, что солью, печалями солит. То уж не прокиснет.

Но стоит поскорбеть; не доро́га эта цена за «веселие вечное». После обедни народ, в особенности старухи все, взглядывались в солнце восходящее. Церковь-та на горке и восход виден. Женщины, стоя кучками, из-под ручки глядели на солнышко и дивились, как оно «играет». Народ возвращался переулочками, идут задумчиво, многие с освящёнными куличами. Идут, многие поют, у них в ушах ещё радостные те напевы, Христова ночь...

Сбродил к вечерне на Хитров. Уж нету снегов, лывы одне да корка чёрного льда. По дворам-то ещё прячется грязный снег, зимы остатки, ручьи с холмов. У Найдёновского дома гулко шумит вода. Где нету льда, там земля раскисла. А чай, грязно по деревням. В Москве ребята одолевают, со своими верёвочками скачут. У обеден, у вечерен много народу. Любит Русь службы пасхальные, стихиры везде всенародно поют. А канон, хоть бы взять Петра и Павла, «двое с бабкой», спеша и съедая слова и стихи, унылым говорком «сбывают с рук». Придираюсь к певчим – очевидно, у меня-то в душе ничто не поёт.

5 апреля. Вторник Светлой Недели

Тонкая нежная акварель прозрачно-серого неба. Свет без теней. Нежный шёлк облаков скрывает от тебя, полдень ли там или вечерние зори. Кажется, ничего не может быть прекрасней тонкого рисунка древесных ветвей, нанесённых тою же рукой. И серый жемчуг неба, и веточки. И старая, умытая, обсушенная вешними ветрами ограда глядятся в серое зеркало воды. Ещё вчера тут был сугроб снега. Вдоль дороги спешит ручеёк, и его тихое бормотанье слышнее и больше будничного шарканья многих рваных калош. Сладкая грусть берёт сердце: полететь бы, как та ворона, встать бы на Митиной горе, там, в милом, милом Хотькове... Венец таинственной весенней тишины почиёт над моими холмами, рощами, разливными вешними водами. Пажа моя разлилась и светит, как небо, простершее тончайшую, сияющую пелену весенних облаков над радонежскою страной.

Светлая седмица. Отверзты Царские двери. Утром и вечером звучит Пасхальный канон. Радость о Господе осеняет мир. Взяться бы там, под радонежским небом, встать у белых берёзок, с розовой вербочкой в руке, вслушаться бы в столь тихую, но немолчную, в тихую, но гласящую паче струн и органа музыку потоков и ручьёв, явно бы услышала душа здесь оное светлое: «Христос воскресе из мертвых». Безглагольное Сергиево небо над Радонежскою страною, сладко и явно сказывает оно всякую тайну душе умученной, отвергнутой «миром сим», осатанелым.

9 апреля. Суббота Светлой Седмицы

На подоконнике своём писать уселся – весна пришла, знать. Дождь идёт, лёд сгонит. А то апрель-то холодный зачинался. Уж и по-архангельски пора бы весне быть. И там в апреле, что к солнышку, окна выставляли.

11 апреля. Понедельник

Ездил рассказывать землякам. Окраина Москвы, но каким воздухом пахнуло чистым, свежим. В городе, видно, гниль жилья, сырость кирпичных громад глушат чистоту воздуха.

Да... Бог лесу не сравнял, не то что людей. Любопытно мне существо этого, например, равнодушия к церкви у такой вот пожилой уже интеллигенции (40 – 60 лет). ...Сказки-побаски, бытовые рассказики, анекдотики – эти побрякушки слушают. А о хлебе небесном, о чаше жизни, об этом, чай, скажут: «Послушаем тебя в другой раз». А ведь апостол велит: «Не дети бывайте умом».

12 апреля. Вторник Фомин

Купно с недомоганием тела ношу в охапке, не под силу, обалденье трудное, умномыслительное. Снега сошли, лёд растаял. Воскресе Христос, и коли

ты с Магдалиною в саду не был, спеши Фомою вложить перст в жизнеподательные рёбра. Но моя десница не любопытствует. Ум долу поник. Господь-то порадел сделать из меня человека, а я-то в скоты лезу, не радею о почестях высшего звания. Я как лужа под окном. Вот, небо отразила, через минуту прохожий в неё ступил, она грязная.

Апрельского тепла ещё нет. Ветер сушит землю, камень. Обсох булыжник, асфальт; ещё всё умытое такое. По дворам есть снег кучами, что тюль рваный. Небо нежное, тонко-графитно-серебристое. Инде как бы протёртое. Так жемчужисто золотится. А ветер качает ветви, ещё голые, но уже живые. Нет гуляющих на бульварах. Вот господин, охая, присел на бульварную скамью. Как два чемодана, висят у него спереди и сзади два сосновых чурбана. Вот не то дамы, не то бабы, обутые в какие-то мешки с сеном, прут мокрую слегу. Это публика с вокзала. Встречные, поперечные – все в засаленных стёганках. Ребята рваные.

...Так мне хочется за город, чтобы много было апрельского неба, нежно-лазурного или вот такого серо-жемчужного. Чтобы увидеть, как тихо лежит обтаявшая, тихо лежит под вешними ветрами Мать-Земля, чтобы видеть, как стоит проснувшийся лес, глядящий в небо, набирающий почки. Кабы мне попасть сейчас за город, где разлились вешние воды и глядят в них деревья, где журчат ещё ручьи, но просыхают под вешними ветрами дороги, где с утра до вечера можно соглядать ненаглядную нежную красоту весеннего неба, где птицы вьют гнёзда... Я бы, у меня ожила бы душа, я верю.

Ничему-то не рад, а хочется радости. Брателко мой всё недомогает, а всё меня ободряет. Сбродит до магазина: «Нет, ещё ничего не объявлено». Придёт и щей-то пустых хлебнуть не может, еле говорит шёпотом.

13 апреля. Среда Фомина

Неможно надивиться свежести, утренней благоуханности, как бы детской правдивости, безыскусственности и простоте евангельского рассказа о воскресении. Тут всё из первых уст, всё на лету – только что перехваченная народная весть...

...о явлении Воскресшаго мироносицам Марии, то довлеет нам предисловие Феофилакта к тетраевангелию...

Мертвенная цивилизация, «прогресс» (без Бога это регресс к скотству), лженауки – всё это плотной стеной отгородило от человека истинную жизнь, истинное счастье, заслонило от человека истинное счастье, славу, радость... «Аки стену возградила неправда». Человек порывается всё же искать Бога. Но чёрною мертвенною водою окропила лженаука разум современного человека. Сложным, мудрёным, трудным кажется ему: «Христос воскресе из мертвых». Дак вот, открой Евангелие хоть от Иоанна. И сразу весною пахнёт на тебя. Будто аромат подснежников или ландышей,

первых цветиков вдохнёшь в себя. Велико всё и просто: в первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, ещё в сущей тьме, и видит камень отвален от гроба, и бежит обратно, и говорит Петру и другому ученику, которого любил Иисус: «Взяли Господа из гроба, и не знаю, где положили Его». Тотчас Пётр и другой ученик побежали ко гробу. Они побежали оба вместе, но Иоанн бежал скорее и доступил ко гробу первый. Приникнув, он видит пелены лежащия, но во гроб войти не посмел. А Пётр, прибежавши, вошёл во гроб и видит одни пелены лежащия и плат, который был на главе Иисуса, не с пеленами лежит, но особо свит на другом месте. Тогда вошёл и другой ученик и увидел, и уверовал...

...А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, проникла во гроб. И видит двух ангелов, в белых ризах сидящих, единого у главы и другого у ног, идеже бе лежало тело Иисусово. И они говорят ей: женщина, что ты плачешь? Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его».

Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала Учителя. А Он говорит ей: «Женщина, что плачешь, кого ищешь?» Она же, думая, что это садовник, говорит: «Господин, если это ты взял Его, скажи, где ты положил Его, и я возьму Его...». Тогда Иисус говорит ей: «Мария!». Она же, воспрянув, возопила: «Раввуни!». (От Иоанна, глава 20, стихи 1 – 16).

Не часто Евангелие в руки-те возьмёшь. А взявши, всё уж у Иоанна любезные-те зачала беседы великой, вечной на Тайной вечери погляжу... Дорогое, заветное это, любимое.

14 апреля. Четверток

Свет Солнца такой белый блистал в окна. Апрельское тепло ещё не спустилось с небес. Необыкновенная ясность вечера. Рано обозначился над темнеющими крышами тонкий, прозрачный серп месяца. Линии строений цветастые <?> и утихомирятся. С сумерками крыши, карнизы чётко, красиво обрисуются на прозрачном бледном золоте зари. Переулки начнёт кутать мрак... Серп месяца всё острей, разительней, нежней, единственней. Вправо от него глянула звезда. Тихо. Где-то далеко кричат ещё, играя, дети.

N.N. горестно высказывает: «Знаю, что христианство есть самое высокое, самое совершенное. Но... проповедано оно уже две тысячи лет, а люди остаются злыми и злоба усиливается, народы, называвшие себя христианами, вели жестокие войны... Вероятно, христианство не подействовало на человечество, не изменило людей...».

Здесь виден внешний взгляд на христианство – взгляд наблюдателя. Известны давно крылатые слова: «Христианство не удалось». «Обеден много служили, а жизнь лучше не стала».

Мой милый N.N. глубоко скорбит, не видя действия учения Христова над человечеством. Но N.N. – чадо церкви.

Вспоминаются здесь люди из интеллигенции. Они сохраняют какой-то хроникёрский, газетно-корреспондентский интерес к церкви. Это наблюдатели, иногда «сочувствующие». Прикидывают количество молящихся, следят за выражениями лиц, всё подмечают, набираются впечатлений, потом делятся впечатлениями, делают безапелляционные выводы, благоприятные или роковые для церкви.

Вопрос о том, действовало ли учение Христа на государства, народности, политику, международные отношения, – вопрос обширный чрезвычайно...

Мне кажется, во всяком случае, христианство нельзя рассматривать в аспекте историческом. Оно не есть лекарство, однажды, некогда прописанное роду человеческому или отдельным нациям и... подействовавшее или неподействовавшее.

...На учении церкви создалась прекрасная христианская культура. Христианство соборно, вселенско.

...Мне лично уже некогда, недосуг заниматься сими вопросами. Для меня убогого, слабого, больного нет другого спасения, нет иного прибежища, кроме Христа. Меня спросят: «Разве тебе неважно, христиане ли вот эти тысяча человек?..». Для меня это важно. Но прежде, нежели я их примусь обращать в Христову веру, для меня настоит другой вопрос, важнейший: самому со Христом соединиться, самому стать удом тела Христова – Церкви, самому быть виноградиной на лозе Божественной – Христе.

«Общественно-просветительная и нравственная роль христианства в историческом аспекте» – тема важная, обширная и, несомненно, разработанная. Не будет меня с эту тему. Я, как помыслю о христианстве, то и знаю, что оно есть жизнь, дыхание сегодняшнего дня, что без Христова утешения подохнешь в один день, как рыба без воды. Христианство не «общественные науки». Это – хлеб насущный. Без этого голодная смерть.

Законы человеческие могут быть предложены, предписаны той или другой нации, тому или другому государству. Жизнь и суть Христова учения в том, что оно обращается к сердцу, к тайному тайных сердца всякого человека.

15 апреля. Пятница

Уж в каком же мрачно-унылом состоянии духа, но и тела выползешь ввечеру из подвала своего потемнённого. А глянешь в высокое, тончайшею пеленою нежнейшего серого оттенка потянутое небо, как бы жемчужного тона кисеёю волнисто убранное, озришься на этот просиянный на землю свет прозрачных апрельских сумерок – и пошевелится в отупевшем сознании какого-то удивления о красоте неба и земли.

В безлюдном углу бульвара обтаявшая, просыхающая земля. Серо-золотистая отава-трава прошлогодняя. Деревья прозрачными метёлочками, тоненькими, гибкими веточками тянутся к небу вечернему. Нечто празднич-

но-прекрасное, некая сладкая грусть в тихости ранневесенней. Эту благостную тихость не может одолеть будничность лязгающего инде трамвая, не могут нарушить повседневные подворотни, мимо коих ступаю обратно.

Воспоминание о рае; и вновь, и вновь виденье рая для меня – эта вот тишина земли апрельской.

Расточились снега, отшумели ручьи. Весна – утро для Земли-Матери. Глинистая, овеваемая ветрами Земля глядится в тихость небес и беседует шорохом безлиственных ещё дерев, шелестом пролетающих в ночи ветерков.

– Благослови, отче, – говорит Земля. И, незримо благословляемая, учнёт наряжаться на пир брачный, в благоуханную прозрачность первой зелени.

17 апреля. Воскресенье

С запада веет хладень. Изредка подносит лёгкие капельки дождя. Свод неба над Городом окинут прозрачно-льняной пеленой. При солнце в резких тенях и бликах улиц всё как бы как-то беспричинно веселится, иное и невпопад. Но когда в полдень небеса отуманятся безмерной ровности пеленою, всегда кажется, что небо и земля задумались. Эта задумчивость родит тишину. Эта задумчивость природы родит тихость в сердце человеческом.

Спешат куда-то человеки, лают машины: ведь день, ведь дела, ведь – Город!.. Но эта новая песнь Земли, эти глины... эти певучия уносящиеся в тихость неба веточки, вся эта тихогласная апрельская песнь без слов – эта всеблаженная музыка больше и слышнее улично-жилищных лязгов, визгов, хрястов.

У природы лик всегда живой... Любая веточка, любой цветочек всегда живы и чудесны. Сколько годов я гляжу зимою и летом, ночью и днём на купу деревьев, что против моего оконца. Всегда они живы, всегда скажут что-то.

В деревьях, в цветах – чудо вечноюнеющей жизни. Деревья напоминают нам об утерянном рае. Сад был рай. Как любят люди, когда в углу асфальтового двора, на дне двора-колодца вырастет хотя бы чахлое деревцо.

Издалека заботливо везут полевые цветочки в свои комнаты-коробки. В свободный день с трудом выберутся за город, отыщут под забором квадратный аршин травки – то и дача...

18 апреля. Понедельник

Карнизы потемнённых зданий, оттенённые сумраком углы – неплохая рама для картины ночного неба. Дождался такого, моего, особливо желанного весеннего неба. Нежнейшее кружевное шитьё. Шёлковый тончайший тюль, ровно истканный бледно-золотыми цветами. Сквозь это несказанно нарядное кружево сквозит синий бархат ночи. Сквозит плывущая там по жемчужно-облачным волнам сияющая ладья молодого месяца. Через всю ночь гонится он за утреннею звездой...

20 апреля. Среда

Всё хворает мой брателко. Сбродил до магазина, нет ли выдачи, и приуныл, мой свет. Я в таких грустях бродил вокруг дома-то. Облачно, ветрено. Падал вечерний суморок. То и хорошо, думалось, то и ладно. Уж как сумрачность эта созвучна моей унынности. Тем-то я и люблю тихо-ненастливые дни. В резво-весёлую погоду ты особо ходишь, отъединённо.

«Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» Это в мои дни начинает природа тихомолчную беседушку. Природа задумчиво-грустная чашу успокоительную же и лекарственную мне подаёт дружелюбно. Тихостный полусвет-полусумрак реял по земле...

Сумерки тихие с ночью – матерь мне и матерь звериная, покровительница. Такого веселья нет, ино. Дружня рука на плече...

На бульварах пусто: публика не любит такого времени: надоело зябнуть, неуютно, поздно, проносится ветер то́роками – порывами. Нахохлившись, пробежит прохожий... На соседней скамье одиноко сидит дама. Завидев мужскую фигуру, дама воркует: «Вар-вар-вар...» – из фильма «Мушкетёры». Приуныв, дама долго закуривает, кляня спички. Перхая, обдав дымом махорки, она бредёт, шаркая ботами. Голые опухшие коленки, детская юбочка... Везде горе, у всех. И конца ему не видится. И я дома братика оставил унылаго. Житуха вокруг самая бедственная, никому друг до друга дела нет. Никто не пособит, никто не поможет... Приуныв, одумался: ведь апрель, весна ведь. И коснулась сердца радость моя вечная. Огляделся: тихо-светло так... и уж не городской бульвар, а «насадил Бог сад, еже есть рай». Дорожки видятся чистыя, как бы речным песком усыпанныя. Нежно и тонко нарисованные весенние деревца тихими рядами. Как бы внове вижу это воздеяние гибких тоненьких веточек. Человек-от живёт, мятётся: день так, и век так: сгибайся, падай, подымайся. А эти божьи деревца и во дни среди шума особо стоят, суетою неслиянно, светлы и тихостны, умильные дети Матери-Земли. Одно ведают – тихость неба, благость света, животворную силу весны.

20 апреля. Среда

Угасив огни, управившись спать, а брателко уже почивал, уж ночь пришла ко утру глубоку, но ещё (в) сущей тьме, пало мне на ум: что там на дворе. Раскутал стёколко, и – как вечно любимая невеста, глянула апрельская ночь, весна ночная. В куполе неба над Городом ещё ночь, но побледнели уже края небосвода, а северная страна небес вся брезжит нежно-изумрудной прозрачностью. Переулок ещё спит. Его домы, углы, крыши блазнят как слепая стена, но крышечки её уже чётко выписаны в мерцании зелёно-золотом, предутреннем. Переулочек безмолвен, но не пуст. Сказывает мне

таинственное. По взгляду, по виду мы давно понимаем друг друга. На рассвете переулок, вернее, перекрёсток наш кажется особливо выметенным, прибранным. Точно «кто-то» сейчас пройдёт или прошёл только-что... Мосточки так ровно белеют, а дорога светло углажена.

(Учуяв, что я бодрствую и, несомненно, что-нибудь ем, вылезла из своего будуара – комодного ящика – кошка Уляшка. Уронила с печурки Толькин башмак. Толька закашлял.)

Снова развешиваю уголок оконца: сине-зелёная озарённость небес прозрачна несказанно. Весь северо-восток точно иконостас нерукотворный...

Ещё домы человеческие спят сплошною стеною. Но – как прекрасны, живы деревья!

Негасимые, немеркнущие весенние зори Севера, которыми от лет младенчества любовался я всегда сквозь узор стройных берёз, стоявших перед домом родительским, навсегда запечатлелись в сердце как нечто прекраснейшее. И теперь, и всегда было сладко мне видеть утренний рассвет. И диво мне, что и здесь, у второй родины, в городе брата моего любимейшего, что и теперь, на пороге старости, живу я опять оконцами на Север, опять в стогодовалом доме, опять сквозь узор деревьев сияют мне весенние зори утром и вечером. Там, далеко на родине, в юности, в трепетные часы рассвета ждал, и ждал, и мечтал я сладко о дружбе, о любви.

И вот молодость прошла. Много ли годов впереди?.. А позади много. И слава тебе, Богу, благодетелю моему, за всё, что мне послал. Добро мне скорбь и печаль настоящего житья. О, каким бы я себя считал счастливым, ежели бы пособил мне Бог устроить жизнь брателку моему... В болезнях влачу жизнь. И это от мира сего. Это плотское, малое. Это должно стать безразличным, это недостатки телесные... Как бы тяжело ни приходилось телу, сладко и благодарственно поёт душа, радостно и трепетно сознаёт ум присутствие Бога через любовь милующую брата моего. Дивно мне и сладко видеть не в книгах, а на себе милость Божью всеблагую. Изнемогает подчас тело, не носят меня хромые ноги, но идёт со мною брателко, и крепко держат меня его рученьки, и чудится, знаю я, что это сам Христос идёт со мною. Худо видят убогие глаза, худо разглядываю людей, но светло, но явно вижу зрак Христов в очах благословенного спутника жизни моей, брата и друга моего.

***

– Это Я, – говорит Господь. – это Я!..

О неведомом счастии (о какой-то радости), о неведомой радости без слов молилось сердце в дни юности, там, у светлого моря, когда, забывая о сне, глядел я в жемчужные, таинственные зори белых северных ночей.

***

Теперь я понимаю, что природа жива. И ежели людская, денная, пылесосная, суетливая житуха обезличивает, обезразличивает природу в городе, то в оный наречённый, предутренний час глядите, как живут своею таинственною, не видимою «невооружённым глазом», жизнью эти деревья. Они – лицо вечной живоначальной матери Природы. Кругом «жилдома́» №, №, №... набитые людьми, – кто их знает... Но меж домов благолепно возрастила Мать-Земля эту кущу дерев. И шепчутся они с небом, и живут они целою, правою жизнью с Природою, матерью всех. Эта целая, правая жизнь, жизнь здравая, долгоденствующая. Положена и человеку жизнь с природой, с весною и осенью, с небом и солнцем, с ветрами и дождями. Надо жить, чтобы в полночь слышать пение петуха, а на рассвете мык коровушки, чтобы у ворот лаял пёс, чтобы слышать, как осенью барабанит в крышу дождь и шумит в трубе ветер, а по весне поют птицы...

Бродя по городу, я всё остановлюсь да полюбуюсь, сломана ограда, дак и поглажу дерево. Дома-те люди сложили, кто их знает... А деревья эти чудно вызваны к жизни из семечка Мать-Земля питает их животворными соками...

О, какая чудная, несравненная картина глядит на меня из рамы убогого подвального оконца! В свете зари, как на золоте иконы, написана эта малая купа дерев.

В тишине рассвета, в тихости утра внятна и радостна мне разгадка таинственной жизни природы. Живы и прекрасны эти веточки, как сияние, расходятся они от сучьев. А сучья воздеты к небу. И деревья тихостью, в благом молчании склоняются друг к другу, глядя в зарю. И ещё лучезарней глядит заря сквозь очертания стволов, сквозь узор ветвей. Не спят, живут деревья, глядят в занимающиеся зори утра. «Живы они и свет вечный видят».

23 апреля. Суббота

Егорьев день. Коровушек, овец на волю выгоняют вербочкой... Меня бы, скотину застоявшуюся в нечищеном хлеву ума моего, меня бы, клячу сорокапегую, в сию зиму безбожия скаредно сердце ознобившую, выгонял бы Господь на пажити весны своей вечно юной, жизнедательной. Скотина-та я очень уж чахлая. На тело бы плевать, но... купно с телесным дряхлованием и душа изубожилась недобре. Вижу рассыпающийся «столп моего тела», невозбранно выносит оттуда враг всякое богатство духа – «обретает бо душу невооружённу».

Запустил, забросил я ежедневное житейское попечение о хлебе насущном, всё опрокинул на брателка. А и он вконец изнемог, телом и духом...

Я не бегаю от дела мне привычного, приятного, лёгкого. Но свирепа борьба за жизнь. Всяк за себя. А я бы рад уж башку-то влепить куда-ле, только бы Тольке пособить. Слаб мой дух...

Будто собака, потерявшая хозяина, тучусь я невпопад под ногами мира сего. И никому нет дела до меня, а иной и пнёт. Я долго гарчу из-под лавки, а укусить не смею. Из знаемых-то никто самоохотно куска не бросит, всё надо выскулить да вырвать. Я сейчас как чеховская Каштанка, к клоуну попал. Только чеховско-ет клоун кормил собачонку досыта...

А вдруг да позовёт, найдёт да позовёт меня истинный мой Хозяин. Найди ты меня, мой добрый, вечный Хозяин! Приди в цирк, где на задних лапках я хожу, приди да и позови...

26 апреля. Вторник

День светел; широко открыв глаза, глядит. Ровный, светлый туск неба; как тусклое зеркало, отблёскивает мокрый булыжник, асфальт, плитняк. Дождь не стучит в оконце, но мокро шлёпают калоши, раскрыты зонты.

...А надо сказать, что благополучные, так сказать, спортивно-здоровые люди, в большинстве случаев равнодушны, не замечают, не ценят да и не подозревают великого значения, несказанной значимости красот природы. Обыватель не подозревает, что природа – это книга богооткровенная... Здоровые не ценят... Это не значит, конечно, что всякой человек, заполучив острое или хроническое заболевание, начнёт переживать отражение облаков в луже. Сказываю о тех, кто может вместить, кому дано.

Незавидна доля умываться заместо воды слезами, но дивно то, что как дождевые потоки уносят пыль и грязь с мостовой, так слёзы (столь болезненные!) очищают очи мысленные, омывают зрение сердечное, прозрачными творят очи ума.

Таким образом, человек становится счастливым через свои несчастия. Видит прекрасное и великое там, где большинство не видит ничего, обретает богатство в том, мимо чего мир сей пробегает пуст и нищ...

Бреду бульваром. Безлюдно. Пасмурный вечер... Как благородна эта однотонность картины. Ежели б я мог рисовать!.. Водицей разбавил сепию, провёл дорожки и, чуть посмуглее, набавив к сепии охрицы и индиго, залил клинья прошлогодней отавы. Это земля. А от бисеринки туши разлил бы это жемчужистое небо. И это небо, и эту землю соединяла бы у меня лента уходящих дерев. Ближние деревья – липы, их сучья видятся контрастно, а дальше идут тополя, восковым становится оттенок их, а дальнейшие блазнят, как паутинки.

Скажут: где, в чём красота ненастья? – а разве не прекрасны серые шёлковые одежды, притом шитые жемчугом?

27 апреля. Среда

За день-то изорвётся сердце...

Вечера попроведать уж на поздней заре вышел. Всё хвалю поля небесные, блакитные. Тихость облачная, исполняющая землю, успокаивает тебя. Боль проходит. Ты учиняешься на дальнейшее способье. Но тихая, прозрачная заря поздневечерняя, успокаивая боль души, умиротворяя скорбь сердца, она подаёт сладкую надежду, она зовёт и манит... Тихая, песненная вечерняя заря!.. Тихомирное, кроткое сияние долго, долго стоит над Городом. Глядят в него люди, и тише становится болезнь и печаль, и воздыхание. Этот свет «пришедшу на запад солнцу» рождает сладкую надежду на грядущие радости, надежду на некое блаженное утро. С этим утром соприкоснётся там угаснувшая здесь эта прощальная заря.

Люблю я соглядать зори утра. Сердце трепещет здесь, предузнавая некую тайну воскресения. Заря вечерняя – не образ ли это блаженного успения о Христе, успения о надежде радостного утра...

10 мая. Вторник

...Пора моей весны пришла. Не подумай, что «вспомнила бабка свой девишник». О временах года баю. Природа украсилась зеленью. Деревья пышно завесились листвою. Не видать неба сквозь веточки. Зелень ещё нежная, чудесная. Май наступил. Все поэты эту весну воспели. Соловей, черёмуха; тут уж я бессилен, идите к Фету. Пышный пир для детей своих Мать-Земля готовит: растите, множьтесь, наполняйте Землю...

На днях, ожидая трамвая на бульваре, ещё издали услышал сладкую такую и тихую музыку... Наконец начал проходить оркестр, за ним взвод за взводом – молодёжь в военной форме. Стройно шли под марш, такой сладко-весенний. У них были спокойные молодые лица... Все одеты по-походному. И подумалось: вот мы, старые, как цепляемся за житуху, как разоряемся, расстраиваемся, что не наелись, мёрзнем, зиму ещё одну доживём ли и т. д. и т. п. А эти, молодые, прекрасные, спокойные, сильные, ещё и жизни не знавшие, идут и не жалеют, как бы отстраняют, покорные, кубок жизни. Отводят от себя кубок жизни царственным таким, великодушным жестом. А мы, старичонки, тесня, давя друг друга, друг у друга отымая, лезем к кубку тоя жизни беззубыми дёснами, цепляемся, имаемся за него. (К слову, в башку пришло: вишь, англичане поношенных брюк, пиджаков, пальтов насобирали да нам послали. Дак у нас не то что рвань вроде меня, а... <нрзб.> заявлений наподавали. Не на себя, а на родителей просят.)

Ряды за рядами... Молодые, полные жизни, сил.

Темноглазый флейтист оркестра, промаршировавший мимо и окинувший публику серьёзным взглядом, а пальцы его быстро бегали по флейте, он до того похож показался на милого нашего Мишку, что, вслед за старухой,

прошептавшей: «Милые сыночки, как мне вас жалко!» – и я сморщился по-стариковски и, будто от ветра, утёр слезу. Всегда у меня сознанье вины перед братиком, но и перед Мишуком. Никогда не выскажет, а всегда точно упрёк в беспомощном взгляде больших ребячьих глазищ. Я-то рос до 25 годов у маменьки за пазушкой. А у этого юностные-те годы ничем не украшены, не помилованы. Не за горами то время: встанет в семейные оглобли, наденет хомут труда и заботы пожизненной, а покамест юн, попраздничнее жизнь тому-же Мишуку обязан я сделать. И тошно, и горько мне – обо всём.

Люблю рассветы паче дня.

Люблю кануны праздника больше, чем праздники...

Люблю предначатие весны, нежели цветущую пору ея. Никаковы полности божьего свету нету в моём сердце. Разве пробрезжит временем некоторое предвестие утренних лазорей... Всяко наг, всяко скуден и беден, всяко новоявлен, того дня утро-то и явится моё. Мои весны зачала, но не рассвет. С утрами, с рассветами, с канунами единочувствует бедная, обнажённая душа моя. А ещё о роскоши дня, о пышности лета: не станет меня с это...

Я заблуждающийся, протыкающий, недоумевающий, незнающий, несведущий, слепотствующий, из кривого и безумного своего опыта делаю самовольные выводы. Я, например, никак не жду над собою чудес физических исцелений. Я не верю, что у меня может появиться ампутированная нога. Медленно, но неуклонно гаснет зрение, не перестанет отмирать зрительный нерв. Материя должна умирать. У одного раньше, у другого позже. С точки зрения «мира сего», я из тех людей, каких называют «несчастными». Без ног, без глаз. Еле брожу, еле вижу. Профессор Маргулис как-то похлопал меня по плечу и, всегда холодный, равнодушный, участливо взглянул:

– Не много ли для одного человека?

Но я думаю: как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных, особливо в последние смертоносные годы. Для кого, как не для нашего времени, сказано Тютчевым: «Слёзы людские, о слёзы людские! Льётесь вы ранней и поздней порой, льётесь безвестныя, льётесь незримыя, неистощимыя, неисчислимыя, льётесь, как льются струи дождевые в осень глухую порою ночной».

...Так мало счастливчиков, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей. С плачущими, алчущими, изгнанными, скорбящими, тружающимися и обременёнными куда почётнее шествовать путь жития своего, нежели попрыгивать со счастливчиками. «Счастье» этих немногих на бедствии премногих стяпано-сляпано воровски-грабительно. «Поплачем здесь, да тамо воспоём, поскорбим здесь, да тамо возрадуемся».

И вот я не понимаю... Люди – рабы страстей и хвалящиеся своими страстями, плотоугодные, злые, обидчики, насильники, угнетатели, скупые,

жадные, сластолюбцы, ненавистники, люди глупые и тупые, клеветники, наушники, обжирающиеся (а вокруг голод), пышно одетые (а кругом бродят нагие), такие вот «деятели» с одной стороны, а с другой стороны «массы» слабые, ленивые, характеры ничтожные, а в-третьих – всякой средней руки обыватель, им же числа нет, – вот все они (мы) ходим в церковь, служим молебны перед иконами, просим у икон чудес, исцелений, требуем от икон активности, а наша активность ограничивается тем, что пришли в храм да купили свечу...

Чудо есть, и Богу вольно человека чудом найти. Богу нигде не загорожено... Да мне-от надо раденье приложить. Вот, скажем, я иду путём и получаю известие, что за этими лесными болотами живёт любимый мой друг, которого я давно ищу и который меня ищет. Неужели я не буду всяко трафиться за эти болота?! Неужели я буду сидеть да ждать, разве хватит у меня терпенья сидеть в бездействии: он-де сам меня найдёт. Нет! Ползком и бродом, днём и ночью примусь я попадать в город, где друг-от меня ждёт. Я к тому сказываю, что чуда-то не надо дожидаться спамши да лежамши...

В человеке заложено семя тли. Человек самохотно взрастил в себе это тление и ныне услаждается им. Ныне человек ослеп умом. Не видит Бога ни в чём, не чувствует сердцем...

24 июня

Поэзия, в широком смысле глубоко и верно отображающая красоту природы, не может быть не любима человеком, религиозно настроенным. Бог открыт в творении Его, в природе, «в мире поэта». Филарет это «видит сердцем» и учит, что здесь одно из величайших назначений жизни.

Познавать Его в творении,
Видеть сердцем, духом чтить...
Вот в чём жизни назначенье,
Вот что значит: в Боге жить.

(Три четверостишия – экспромт м(итрополита) Филарета, на стихи Пушкина:

– Дар мгновенный, дар случайный;
Жизнь, зачем ты нам дана...)

Надо сказать, что немногочисленные стихи м. Филарета слабее его удивительной прозы, и он считал стихи свои шуткой. Впрочем, переведённые м. Филаретом отрывки гексаметров Св. Григория Нисского, V век, изобличают в поэте-переводчике вкус изысканный. И о сем до зде.

...Поэзия светская может быть в каких-то планах молитвой. Но молитва уставная, чиновная, песнь церковная нередко даёт нам ключ к таинствам, скажем, красот природы.

Вот акафист Иисусу Сладчайшему поёт: «Иисусе, всея твари Украсителю». Вот мы и увидели, узнали художника, творца картины, приведшей нас в такой восторг. И весь этот акафист не есть ли «похвальная» Сыну Божию, всея твари Украсителю, Иисусу Пречудному, который есть ангелов удивление. Хвалы Художнику предивному, претихому, пресладостному. «Иисусе, красото пресветлая! – гремит песнь 3-го икоса, – ... Иисусе, сердца моего веселие».

Икос шестой вспоминает, как дети ветвями украшали дорогу Зиждителю своему, шедшему на страдания.

...Иисусе, одеждо веселия, одей мя тленнаго, Иисусе, покрове радости, покрой мя, недостойного. Иисусе, источниче разума, напой мя жаждущего.

Творец небу и земли, – поэт Урана и Геи, как значится по тексту греческому Символа веры, всё сотворил Сыном. Во Христе скончаваются все наши желания. Христос наше счастье, воскресенье, жизнь, мир, радость. Во Христе цели стремлений наших.

27 июня. Понедельник

Понудил себя при выходе солнышка вылезть на крылечко. Царственность природы ощутил, но и своё убожество. «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Велика мудрость сей пословицы. Бывало, в молодые годы каким подъёмом дух отзывался на высокие утренние часы Божьего дня. А теперь хоть знаю, вижу, что «входит Царь славы», что прозвучало заутре, как вчера (то же и во веки!), – «со страхом Божьим и верою приступите», хоть и знаю, что «душу Божьего творения радость вечная поит», а нельзя мне чашей той причаститься. Так грязен, что самому на себя противно. Людям врать-то устал, не то что Богу.

В дневниках своих я «всё высокое да всё прекрасное» восписую. Люди, которые меня знали, на взгляд и на ощупь, опосле, ежели прочтут, ухмыльнутся: знали, мол, Фоку и сзади, и сбоку. Репутация моя известная. Я верчусь, что корабельный бот... Я бы на гробовой доске своей надписал: «Устал врать-то, дак прилёг отдохнуть». Людям мне не годится в глаза смотреть, но Христу Свету я смогу в очи поглядеть. Он один беду мою, и немощь мою, и скорбь мою знает и видит.

«Знаем мы его», – ухмыляясь или сурово, или презрительно, поджимая губы, сказывают люди про меня. «Знаю я его», – отзовётся обо мне и Владыка мой. И от этих слов я и дышу ещё на сем свете.

Да, вышел на крылечко и к сердцу так принял:

– Заря счастье куёт.

Намедни с брателком в пять утра к поезду спешили. И я, бежамши, всё ахал да дивился: а утро-то так и тыкало в зубы радостною, богатою своей чашею. С малых лет я знаю это про утра-те. Над всеми утрами наяву и сейчас как бы живу, когда к ранним обедням ходил там, в родном Городе... Тишина, лазурь, <1 нрзб.> по зелёным нашим улицам, блеск обильных вод и благовест, и я в шёлковой рубахе... Именинные свои дни особой ради празднественности своей в собор я бывало гряду. Будто ангел меня нёс... И ещё утра волшебные, тихие на реке Лае помню. Описать словом не можно... Не один год жил я на Лае. Из окон домичка нашего всё один и тот же вид: река под окнами, лодочка у пристани, изгиб полноводной реки, луга на той стороне, кайма лесов.

Но бывали утра, мы собирались с отцом на охоту. Он укладывает парус, вёсла, я гляжу диво, которое творится вокруг. Серебристый прозрачный туман над водами. Небо глядит в зеркало. Вероятно, отсюда и чувство волшебности, и будто летишь с чайками: небо опрокинулось в зеркале вод.

У меня есть фотография Оптиной. Снято отражение обители в реке. И я никак не пойму, которое монастырь, которое отражение. В море, на Гандвике у нас тоже сладкое заветное волшебство. В тихие июньски сияния ночи корабль идёт в перламутровом тихом свете. Край моря сходится с небом. И вкруг одно жемчужное небо. «На воде покойне, тамо воспита мя». Здесь нету тех вод. Но... – «везде Господь». Прекрасно сегодня подёрнутое легчайшею пеленою сребро-сизых облак небо. Такая задумчивость в недвижности прекрасных берёз. Одни птицы посвистывают.

Солнца с утра не было видно, но облака на востоке над деревьями так торжественно-тихо сияли. А тишина была исполнена славы. Я не слышал, но я знал, что «имеяй уши слышати», услышал бы литургию ангелов. Я долго стоял на крылечке – это были минуты счастия. Торжественно стоят деревья, прекрасный рисунок ветвей запечатлён на фоне серебряного неба... Сейчас бы услышать песнопения литургии. Я и запел тихонько: «Придите, поклонимся и припадём ко Христу, спаси нас, Сыне Божий», а потом «Верую»... И как бы о. Зосима служит, а я пою. И он приглашает: «Горе имеим сердца!».

Иногда мне кажется: дом-от радостный Хозяина моего Единственного, прирождённого, дом-от Божий заперт, окна и двери. А на дворе непогода. И я суюсь, тычусь в дом-от, бегаю вокруг, коли-то пустят?!

А то будто муха я, жужжу, бьюсь, лезу в дом-от, от зимы сего жития в тепло дома Божьего. Как собачка скулю о доме-то много уж лет. Я, чаю, многим надоел. А у которых кусок выманю, лихом ли, добром ли, тем уж я – ни на глаза!

Всё про утро токую, как тетерев: одно да одно... А я не один, Давид Царь раньше всех, раньше пастуха до третьих петухов поднялся да поёт: «Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой».

Он, свет псалмопевец, прадедко Христов, рано вставал, до зорь запоёт, правнука-то своего предвечнаго предчувствует, радуется, говорит Ему: «Утренюет дух мой ко храму святому Твоему. Се тьма и рано». – А царские гусли уж звенят: царь Давид воскладает своя вещая персты на живые струны. Они же сами князем славу рокотаху, старому Ярославу, вещему Мстиславу, сиречь Ветхому вельми Отцу, и Христу, отмстившему сатане за человека. Славна та месть была!

Псалтырь утренние-те часы добре хвалит: «Инже образом, – говорит, – желает олень на источнике водные, так желает душа моя к Тебе, Боже!».

Любы вселенские эти молитвы. Весь мир христианский поёт Псалтырь.

...Восходит день, и просит человек: «Слуху моему дай радость и веселие!». И Бог ему говорит: «Сердце чисто созижди».

Радость устам, радость спасения просит человек, хочет, чтобы устами хвалу Богу возвещать. Заблудился ныне человек, сошёл с пути единственного, ведущего к счастию. Осуетилось, избезумилось человечество. Забыли Бога, забыли молитву, не стало ни спокоя, ни радости, ни мира. И жить стало незачем.

Впустую проходит день. Даром тянется жизнь. Заели мир сей скаредные будни. Засыпан мозг-от радио пылью. Современный человек, что палка, воткнутая в асфальт. И навинчаны на тупую башку кнопки, и суждено человечку жалкому денно-нощно принимать мутные отхожие «волны». Разве останется что от человека? Где тут быть разуму? Страшен сей сон духовный, но жив Господь!

Памятью о Боге велит церковь начинать день. Перед образом дома некогда, дак хоть на улице к востоку погляди. Не велики да споры утренние молитвы: «От сна восстав, песнь приношу ти, Спасе: Не дай мне уснуть во греховной смерти. Ты, распныйся, воссияй мне день безгрешен... Избави меня, Господи, от злобы мира и введи в Царство Твоё вечное.

...И даруй нам, бодренным сердцем и трезвенной мыслью нынешнего жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня Иисуса Христа, чтобы нам оказаться готовыми войти в радость Христову и в славу Его. Тамо празднующих Глас непрестанный и неизреченная сладость зрящих Христова лица красоту. Ты еси Господи – истинный свет. И Тя поёт вся тварь».

29 июня

«Как Феб, Аполлон в колеснице, шествует над берёзами знойное Солнце». «Ищи избранных слов союза, взлети со мной на Геликон» (Сумароков).

...Кто-нибудь взаболь подумает про меня: «Ишь, коль душа-то выспренна: чуть что, и исчезнет, утопая в сиянии голубого дня!..» Не верьте! Не будь то: весь я, по шею, в болоте слабостей, в тине дармоедной житухи. Сижу на лоне природы и расписываю небесный плафон. Жарко стало, душно, и я в беседочку убрался. А брателка уехал в Москву в четыре утра. У пиджачонка с локтишка отъехала заплата, зашивать некогда, и пришлось пялить на себя пальтище драповое. А люди-те голые сегодня преют. День что баня. Изнеможет брателко-то!

...Надвое у меня ум-от раскалывается. Отложить надо эти небесных-то лазурей описания. Надо «деньги делать», как все делают. Знакомые-то, друзья-то давненько во мне разочаровались: ни наград, ни орденов у меня. 50 лет, а... не взыскан-с!..

«Если есть талант, его надо реализовывать!»

Я считаю, что я перед брателком на сто рядов виноват, отнимаясь болезнями, копейку не добываю. Ободрались, обносились, задолжали, опродались наокруг, а... я – будто не моё и дело.

...Но вот я знаю, что через всю жизнь меня носили некие крылья творческой радости. Но плотские всякие пристрастия бесплодными делали порывы творческие мои... Драгоценнейшими, заветнейшими жизни моей минутами является состояние, когда как бы очи сердечные, очи умные приоткрываются, мысль становится прозрачною. Вижу преобразившимся всё: вечнующим, прославленным. Такою видел долину Пажи в прошлом годе, носячи картошку на станцию. Истинствующими и вечнующими видел в 42 году в предначатии весны деревья, снега, ручьи на Чистых прудах. Не раз Святым постом, пред Пасхою, сердце сказывало уму, что слава опускается на город.

6 августа. Суббота

С ночи как начал дождь чего-то шептать, так и шелестит однообразно, и день не может силу взять. Брателко при рассвете в Москву управился. Я, убравшись, «праздничаю». Чаяли по-вчерашнему вёдро сегодня, а лес кругом, не вижу вечерних зорь, не толкую, каков день придёт. Праздник сегодня светел, а нас, людишек века сего, что котят в канаве сатана топит. Не можем выбраться на Божьи берега. Праздник настоит, сияя, светлое Господне Преображение, а ум отяжелел, что кирпич, не забросишь его на Фавор-от. Ненастье лес накрывает, ни бабочки не порхают, ни кузнечики, одни лягуши шлёпают в мокрой траве. Я, как жаба, на Гору ту за Петром, Иаковом, Иоанном шлёпаю. Ну, много ли жаба ускачет?! Уступами Фавор-от, ступенями. Век свой жаба пыхтела да пыхтела, а и подошвы у Горы-то одолеть не могла. Так в тине, в канаве житухиной и сижу. Глазишками бы последить, как те вздымаются выше да выше, но слепы глазишка-те.

Всяк день житухин, как собачья блевотина, снова да снова. Что вчера съела, то сегодня скинула. Одно да одно. Мотается народишко, пайка съедена давно, со свекольного боту в брюхе урчит. Картохи сейчас худые. Осень подходит. О дровишках страх. Тряпьё остатнее продано. Войне конца не видим. Обутёнка сносилась, одежонка с плеч свалилась, зима опять боязкая идёт. А ведь праздник: Христово Преображение.

12 августа. Пятница

Старовер Трофим говаривал, бывало:

– Быват, заживёшь, что и помолиться со вставанием негде, и некак, и некогда будет. Дак на улицу выйдя, по пути хоть на восток посмотри, то велико добро...

День-от настанет, житуха-та пресмыкающая, не дни ведь, а будни. Дак какое добро с утра «на восток-от поглядеть»...

Собирать надо такие минуты. Оно хоть лоскуточки все разноцветные, а ведь и одеяло, глядишь, выйдет. Нарядны бабушкины всецветные эти одеяла. Житуха-та знобит, а ты такое одеяло сошей, тебе и тепло будет. Ещё и внучата тебя, дедко, или тебя, бабка, помянут... Кабы мне из моих настроений сошить одеяло-то. Али лоскут худ? Вернее: ворох-то лоскутья велик, а воедино сошить силы-времени нет. Вот хоть эти записки мои. Собрать да перечесть бы... Не будет ли одеялишка?

15 августа. Понедельник

Нежно шелестят, звучат, прядут звук так шелковисто-нежно скрипки кузнечиков. С утра-та всё хотела душа прославить Успение Божия Матери, а с дровами пробился, с печью. День тих стоял, светло-облачен; дубы, берёзы, точно опустив ресницы, слушают исходное пение, тайну дня. И в тысячу прялочек прядут цикады. Может, то не работа, а в гусельки они играют, день славят...

И вот добро и светло жить. Ведь есть в мире, оставлено нам, положено такое прекрасное, такое живоносное, такое сияющее...

С весны аж до Петрова дня была вода у нас здесь в прудочке. Своя была вода для грядок. С полулета усохла – что Бог с неба дождя пошлёт. С молоду бил родничок радости в сердце моём, своя была радость. Под старость не выжмешь ничего. Со стороны кто польёт, то и рад... Чего ни хватись, того нету. «Внимай себе», а в себе-то джаз кунявит нечто меланхолическое. Иссяк прудок радости моей: мал был. Я как лягуша ползаю по суху, прощу у Зиждителя: создавый мя, дак и помилуй мя!

Богат дождь-от сходит на верные сердца. Как сойдёт, так человек все беды забудет. Надо добиться, брате, в широтах жить, где-ка эти дожди сходят.

16 августа. Вторник

...Ночи-те худо спятся, в 4 часа светает. За окном лес стеною, всё погляжу, обозначились ли на светлеющем небе верхушки дубов. А в комнате печка из потёмок вылезет. Брателко худо спит, всё желудком неможет, к утру забудется, а уж вставай, надевай котомку да бежи. Я изныл над ним. Всё: ах, да руками мах, а на том не переедешь. Рад бы я жизнь за него отдать, как он для меня остаточки здоровья и сил ежечасно убивает, но время идёт, а я ни с места. Брателко мой делом всю свою жизнь исполняет повеление: «Друг друга тяготы ноете и тако исполните Закон Христов». Моя вера без дела, потому и мёртвою является для всех, кто меня знает. Имя Божие не светится во мне...

Давно ли я, приехав в лес-от сюда, дивился прозябающей молодой травке, нежным листочкам орешника, нежной зелени дубов и берёз... И вот на днях ветер был, и летел, летел жёлтый лист. Разноцветиться начинают леса. Сей год, говорят, рано листопад зачался... Сегодня в ночь и туман опускался, прозрачен, но осенью пахнуло. А в ночах я всё звёздному сиянию дивлюсь. Величавы стоят тени дерев. И по вершинам, и над вершинами что свечи мерцают в храме Господнем, толь славно и пречудно. Похоже ещё, как дома, смала, бывало, войдешь в тёмное зало и чудишься мерцанию звёздному сквозь узор тюлевых гардин...

23 августа. Вторник

Ночи прохладны, на заре холодно. А с вечера мочило. В шесть часов небось всхожее-то взойдёт. Низко, красно по земле меж дерев светит. Птиц уже не слыхать. А я, недоспав, видно, в горестном равнодушии ползаю. Брателко всё неможет. Гадаем до зимы здесь прожить, но, знатно, не по силам будет Толе при дождях да грязях. Дровишек наготовили, но как-то в Москву перетянем?.. А о братишковом нездоровье так беспокойно, и через этот ров не могу перескочить на тот берег, берег мира душевного. Всё слышу: «Каин, где брат твой Авель?» Вот потому у меня и мира, и умиления, и молитвы нету. Скулю к Нему докучно как собака, а у Бога одно ко мне: «Каин, где брат твой?..». Вот у меня сердце-то всё и стонет, вот я всё и трясусь.

Вот я твёрдо, ясно и несомненно знаю, что моё дело жизненное... А оказался я с теми, кто дьяволу нанялся свины рожцы возделывать и плевелы в умы братии моих всевать. И хоть самый ленивый я в них, однако «лай не лай, а хвостом виляй»! Горе человеку надвое мыслящу и грешнику в два пути ходящу! Ведь мир душе тот может стяжать, кто «ум не разделён имеет». Ною об этом как нищий, всем надокучил... А дармоеды нигде не надобны. Ещё не таково телесное моё убожество, чтоб сложа руки сидеть! А я братишке, слабенькому, всей тушей на руки присел.

Навряд ли может статься, но ежели бы хоть часть какую писаний моих прежалостных прочёл кто, имеющий дар рассуждения, то – отче или мати, сотвори молитву о убогой душе моей, о душе «глаголавшего и не делавшего».

Кто-нибудь подосадует: всё одно да одно пишет, жуёт свою жвачку, отрыгнёт да опять жуёт. Верно! Это потому, что внутренне-ет мой человек младенчествует. Недоносок он, не ходит, не говорит, не смыслит. Исприбился я с ним, только перепеленаю, он опять обосрался...

Вчера, ужинавши, простёр к брателку слово о том, что дуб шелестит не как берёза, а шум сухой травы опять же иная музыка.

А брателко: «Ох, объявили дрова-то по прошлогодним талонам. Какие хитрые! Где искать талоны эти? А новых до января дадут... Объявлено. Чем топить? Осень пришла...». Я и разинул пасть: не о том-де сокрушаешься, не о хлебе-де едином... О многом-де печёшься. И к чёрту я его, и к матери, и извод бы-де тебя, дохлого, взял, жить-де мешаешь... Он пал на койку-ту, лицо ручонками закрыл. Я на крыльцо вылетел, ещё деру поганую свою глотку... В четыре утра он встал, к поезду.

Я всё Север хвалю – тем торгую. Но Север – родина, дом, – те годы там – лишь заставицей расписною, золотой были к книге жизни. А жизнь-та вся с брателком прожита. Чувство беспредельного уважения, преклонения и благодарности, с чувством самой рыдательной любви, неутолимой жалости, денно-нощной тревоги о его здоровье – вот что меня и держит и укрепляет, но и разоряет, но и ломит за моё неустройство, за мою неисправность.

24 августа. Среда

Брателко и сегодня укатил в Москву. Ночь-ту я караулю: не утренний ли свет? Нет, всё ещё месяц светит. Берёзы-те что бумажные! А и встали: не часы ли, думаем, вперёд убежали: долго темно. Нет, в пять пастух затрубил, и к шести быстро рассвело. Утро прекрасное, кабы не головная боль. Брателко, умываючись, вопит со двора:

– Скорее на улицу иди!

С запада высокий месяц светит, а с востока утренняя лазорь. Свет так пречудно меняется. И долго так свет зари утренней с ночным светом месяца, как Иаков с Богом, боролись. Восхожее солнце красными лучами стелет низко меж деревьев, по сухим осенним травам сквозь тоненький туманец, а месяц всё над лесом стоит, бледный, одинокий. Один остался без ночи. Люди проснулись, а невнятный ночной сон забыл потеряться. И сон и явь, и сияние зари, и лунный свет встретились. При первых красных лучах дым от костра золотой в лес пойдёт, а приподымется солнце, и дым будет голубой... Низкое-то солнце берёзы окрасит, и оне что свечи пасхальныя. Утро

было мудро, птицам на разлёт, добрым молодцам на расход... Петухи редко так пропевают. Птичка тоненько булькает. А я, добрый молодец, пирамидончиком обожравшись и чаю крепкого надувшись, сердечныя капли потом буду пить. А брателко никакого чаю не дождётся: «Что мне твой чай», корочку либо картофелину схватит «с солькой» и убежит. А я бачерничать сяду, вздыхать...

20 сентября

С тех пор, как я «писать пишу, а читать в лавочку ношу», уже не под силу мне стало всякое чтиво беллетристическое и научное. Выбор чтения «сузился». Т. е. перестал я хватать с полу всякий окурок...

14 октября. Четверг

Во вторник братец срядился в Хотьков, насчёт картошки. И ждал я его непременно в тот же вечер. И не приехал ни к вечеру, ни к ночи, ни утром, ни днём... Так у нас на веку не бывало, и я перепугался до полусмерти. Ночь-ту отгоревал, на рассвете выполз к воротам: тошно дома сидеть. Да так до сутеменок, уцепясь за калитку, и мёр, ждамши. Домик-от наш на перекрёстке, я так и ел слепыми-ти гляделками переулки, тот, да другой, да третий...

...Домой забежу, взвою, полотенце в рот запихав, чтоб соседи не слышали, да опять метаться к воротам. Случись что в Хотькове, думаю, дали бы знать... Знать, под машину попал... или по дороге сгрибчили <ограбили?>... И уж суморок падает... Заодевался бежать на вокзал... А он и стучит в оконце... Час я не мог успокоиться. Сграбился за брателкины ножонки... опять свет видел, дыханье, жизнь воротилась, ужас, отчаянье откатилось. Выпутался я, что брателко потерялся. Почернел весь. Лишь минутами Бога-ти помнил, зволлю сквозь зубы: Господи-де, поспеши же, Господи, помощи же! А Бог-от и не без милости.

На дворе сухо. Снег не был. И дождя мало. А я уж (глупый я!) сыздали высматривать начал... Рожество! А что? Три царя из стран далёких вышли небось. Ведь не на самолёте летят. А вернее всего, что по санному пути они выедут... Так на Руси. Вот ещё что рождественскую песенку во мне заводит – старый немецкий журнал, святочный номер. И картинка – Сон Иосифа – чудесная, в стиле Джотто, фреска. И стихи, такие детские, такие простые, ласковые, домашние, уютные... И вот спустился вечер. В тихом хлеву Мария баюкает: спи, дитятко, спи. Пастухи сказали, что Ты Koenigsknabe, а я – Gottesmagd. Они много говорили и пели...

Наши рождественские песнопения превыспренне догматствуют и богословствуют. Наши рождественские песни «еже от века утаенное и мудрецам неведомое таинство восписуют. Преже век от Отца роженного

нетленно Сына, и в последняя от Девы воплощенного...» У нас древлия пророчества приводятся.

Конечно, есть у нас и стихи народные, христославные – колядки. Это домашнее, семейственное, детское Рожество, столь пышно расцветающее, столь всеобдержно охватывающее старую Европу (и Америку). Это Рожество очаровывает душу. Наша душа хочет коснуться столь сильного аромата их праздника.

Да, рано я запел о Рожестве, раньше петухов. Но три царя, чай, уж ладят сани в дальний путь и поглядывают на небо – не покажется ли звезда. Сегодня четырнадцатое, а через пять недель «Христос рождается» запоют.

11 ноября

Отцова память. Нас, детей, оставил невеликих. Помню светлое бородатое лицо, ясные серые глаза с острым взглядом. Полгода ходил в море, полгода – на берегу. Мне, маленькому, рисовал он корабли, пароходы, море в непогоду. Великое дело нежность и ласка отцова. Вот и я уж старик, а лучи оттуда всё светят, всё греют...

6 декабря

Никодим, впоследствии игумен Сийского монастыря, тонкий любитель искусства и писатель «по вопросам искусства» «чернец Никодим» давно дожидается монографии.

Древнерусская культура... из многих разнообразных и своеобразных, но одинаково прекрасных элементов она состоит. Новейшая, массовая стандарт-цивилизация... Тачает она массовые стандарт-болвашки <болванки?>. Всё тут «массовое производство»: всё безлично, всё тупо и плоско. «От моря и до моря» один штамп.

К Тебе возведох очи мои, живущему на небеси...

Всё рыжебородаго, златобородаго, солнцевласаго дума-та хочет величать... Сергия, говорю, Радонежскаго. Он всяко люб. Позднейшие иконники худеньким старичком пишут с седенькой бородкой. На кушнарёвских хромолитографиях, большими оне тиражами шли, Сергие-то вконец больным, измождалым смотрит. На древних иконах, пущай оне измождали, а как дубы святые-те. А у новейших «богомазов» все как старички больничные. Конечно, у Нестерова Сергий хорош, духовен, хотя тоже сухонькой старичок. А в картине Русского Музея в Петербурге «Сергий Радонежский» он и похож.

– Да ты разве видел его – «похож»?

И видал, и люди видали; свидетельства есть, каков бяше преподобный образом телесным. Брада была большая, густая, златорусая. Власы главные густо же обрамляли высокое чело. При честных, святых и благоуханных

костях преподобнаго (кои свидетельствуют, что он был велик ростом), видел я и власы его, как бы пясть золота, или златоцветнаго шёлка.

На древних монетах малоазийских сохранился лик Зевса. Тип Фидиева олимпийскаго Зевса. Вот каков был, на кого похож, судя по древним иконам, Сергий Радонежский. Но не тщедушный старичок. И постническая изможденность Сергиева была величава.

Он ходил пешком по Руси. А дорога от Маковца до Боровицкого холма, до Кремля Московскаго, исхожена его стопами многократно. Как солнце, ходил он от Троицы по Ярославской нашей дороге к Москве. Тут всё Его помнить должно, Ангела Русского...

В 39-м, в 40-м году, как жил я в Хотькове, всё мне там дышало и говорило о нём, «первом игрушечнике». И что узнавал, то я списывал. Много радости наснисывал карандашиком...

Кости Сергиевы пресвятые я видеть сподобился и руку целовать. Эти кости – основание твоё, Русь Святая. Всяк должен одеть в себе сии живоносныя кости плотью и кровью. Сии праведные, благословенные кости, подобные свещам яраго воску, подобныя корням всесвятого некоего древа, и есть корни твои живоносные, о Русский народ, о Земля русская!

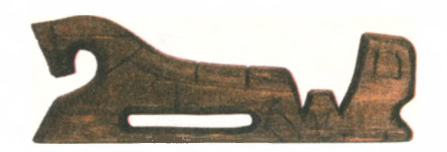
...Я – нижайший, всё в худых душах, вернее, в худом теле. Печку еле истоплю. Ничё не сплю. Лежу, сам себе в уме какой ни-то рассказ рассказываю. Людям-то некогда меня слушать, а мне им рассказывать негде. И я сам себя веселю. От печальных мыслей себя увожу.

очень [illegible] тесно

молоды годы [illegible] с [illegible]

Дети Ивана Поетичного

1928 г.



1945

1 января

...Познал мир Василий Великий. И воистину дивно, и живо, и тайны радостной исполнено всё вокруг нас. Слушал: Христос учил воды освятити. «Днесь водам освящается естество».

Как сладко и светло стало жить, зная-ведая, что природа вокруг нас также живёт таинственно.

Но не любит природы тот, ни во что не проникнет, ничего не уведает тот, кто жизнь любит проводить «по морям, по волнам, нонче здесь, а завтра там».

Чтобы очнуться от мертвенного отношения к природе, чтобы воскреснуть о ней, надобно поставить «келью под елью». Понятие «пантеизм» должно быть осознано, освещено, озарено по догматам, по истинам веры Христовой...

Завтра Преподобному Серафиму Саровскому. Возьми веточку того леса, где жил преподобный. «Обоняй ладан Саровских Сосен». Разве не о Боге вездесущем, всё исполняющем, шепчут прозрачные струи лесной речки Саровки? «Радость моя», – называл Божью тварь Серафим.

...Вот он, ангел земной, в лапотках, с батожком, бредёт сосновым бором, собирая бруснику, чернику... Святый знает, что он в храме. Подвигом всей жизни человек Божий привёл себя в это сознание. Святый отрёс мутный, мертвящий сон мира сего, воскрес со Христом и сам истинно живой, всё узрел живым.

5 января. Пятница

Навечерие Святых Богоявлений. «Часть моя на земле живых» (псалом). «Земля живых» – сад. И праздники Господни – деревья благосеннолиственные, благословеннoплодные. Не успели налюбоваться, накрасоваться под сению древа Рождества, а уж зовут из Вифлеема на Иордан. Тут древо процвете яблоки живодательные. Тут воды живы протекли.

«Земля живых»... Древо древа краше. И всё богатство наше неиждиваемое: неистощаемые сокровища, сколько их ни держи. А се ты их и не знаешь.

...Праздник Святых Богоявлений, праздник Просвещения...

...Приникал ты к существу сих? Размышлял о сем и угоден Празднику? Близко не бывал... Тема велика и живописна: «Водам освящается естество». Воды... Живы оне.

Тема: Явился еси днесь вселенней, и Свет Твой, Господи, знаменася на нас... В Преображение к Свету приникаем и в Крещение о Свете сердце поёт. Ещё тема: «Троица явилась вкупе днесь». Ино не мне, таракану запечному, рассуждать о сем. Я всё что-нибудь для себя выхватываю из песен-то. Люблю, как Христа Светом называют.

«Явился еси днесь вселенней, и Свет Твой, Господи, знаменася на нас... Христосе. Свете истинный, просвети лице Твое на ны».

...Свете тихий... Нет тебя люблє, нет тебя краше, свете святый.

К человеку обращается религия, а человек-от великой воз тащит хламу и мусору – изобретений прогресса цивилизации. Ненужно вредными, гиблыми изобретениями порабощён, захламощён мозг человека. Вырожденческое изобретательство убийственно поражает человечество столь напрасно, жалко-скаредно ухищряющегося в изобретательствах. Надо бросать этот сумасшедший дом.

8 января. Понедельник

...Горе сердцу надвое мыслящу!.. Попажа в церковь трудна, в трамвае мёрзнуть ехать, в церквах нетоплено, а я и дома в шапке сижу. На липовой моей ноге, на берёзовой клюке уж сползал бы, с грехом пополам, на Хитров к Петру и Павлу. Но вопят там певчие (сытые) неистово. Уж лучше б бабы голосили...

В сердце человеческом да в природе Бог-от. Моё сердце у нужды в руке зажато. И никто не вызволит, не пособит мне. Какую же радость себе или людям выжму я от такого сердца?! Граблюсь я за природу. Но как лягушка из канавы, как таракан из щели взглядываю я на природу. Иное обрадуюсь о ней, дак после оскомина – будто украл что. То неба украл кусок, то серп апрельского месяца на стеклянном небе, то аромат весенней земли, то галочий крик ввечеру. Это ничьё, это Богово. А и не моё. Это всё дано справным людям. Всем дано, одному не дано – я баню не топил, дров не носил.

В сумерки всё поспешаю выползти на улицу. Будто устюжский мастер на старом серебре навёл этот изящный тонкий и густой рисунок деревьев. Белые крыши, белый переулок, серый туск домов...

Даже у Тютчева живы и живут в нас, и вечны, и могущественны лишь тема смысла существования, тема Бога, темы философские, также несравненные типические описания природы, картин природы. А темы политические уже отошли. Не трогают нас, сколько бы пафоса ни влагал сюда поэт...

Глубокая и чистая искренность человеческая поражает нас в Тютчеве, в его поэзии и влечёт нас к нему. Это был человек-философ-поэт с миросозерцанием цельным и законченным.

Поэт был человеком светским и семейным. Была привязанность и «на стороне». Но печать великости душевной у Тютчева и к дальним, и к ближним.

Человек великого и острого ума, великого сердца, Тютчев был религиозен. Поэтому и ныне все взыскующие Бога не могут не приникать к поэту, творчество которого запечатлено касаниями к миру горнему. Мы не можем не любить философа, достойно и вправе «горняя мудрствовавшего». Взыскуя Бога, Тютчев далеко не всегда праздничен, просветлён; не часто он славит и хвалит. Когда тоска хватает и жмёт многоскорбное сердце поэта, когда сердцем овладевают отчаяние, одиночество, пустота, поэт как бы не находит Бога и в небе, и в природе...

Кого из «верующих» шокируют «срывы» Тютчева, тот ещё более соблазнится и смутится несказанной искренностью Евангелия. Например, отношением учеников к воскресению Христа.

10 января. Среда

Январь месяц... Мороз скрипит. Оконце моё что шубой одето белой. Сквозь узор ледяной ясень брезжит крепкая. Деревья закуржавели. Народишко бежит, утуляя лицо в воротник. Как там воюют дети наши? Михайлушко забежит в шинелишке – согреться не может. А се и нам, старикам, согреться негде...

12 января. Пятница

Брателко по хлеб бегал – ножонки откоченели. Слёзы выжимает мороз-от. Тоненькой братишко-то, бледненькой – ни кровиночки, мёрзнет. А дома ни картошины, сегодня в рот нечего положить – надо на рынок, пол-литра на картошку сменить. И взмолился братишко-то:

– Матерь Божья, святитель Николае, замёрзну я на рынке!..

А из сеней и лезет солдатёнко: «За водку картошки-морковки не надо ли?» Мы и радёхоньки. Брателко ликует:

– Бог-де не убог, и Никола милостив!

Хоть несколько дней от морозу поотсидеться. На рынке в холод-от жмутся, трясутся, скачут с ноги на ногу. На рынке картошка 14 р. Нам по 6 р. обошлась.

Как брателко сядет, понуря свою кудрявую голосу: как-де перевернуться, где взять? – он пригорюнится, и я распадусь... А управит он хоть картошки, хоть на три дня, и я, как глупенькой, развеселюсь. Мы и тянемся так уже не первый год. Братец тянет воз-от. А я такой, я по-реченному: скоморох голос на гудке настроит, а житья своего не устроит. И другое писанье: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Я вот стою, разиня рот: что музыку, слушаю тонкие, такие игрушечные галочьи голоса, как

они в прозрачной румяности зимнего вечернего неба стадом летают. А у людей, мимо бегущих, целеустремлённость дела да комбинации у всех. Тот меня толкнёт, другой обругает: стоит дедко, ворон считает. Они правы.

16 января. Вторник

С субботы метель метёт. Приятно вздумать: город стал мягкий, белый, нарядный. Часа в три ночи нароком выскочил я на улку. Ни огонька. Серебристо-белый свет от напавших везде – крыши, карнизы, заборы, деревья, дороги – снегов белых, пушистых. Будто и не ночь, а день, только не наш будничный, а день в сказке, полудень-полуночь в некотором царстве. Молча падают снега, всё молчит, ждёт продолженья сказки. Сказочная свадьба снежного царевича неслышно должна проехать этими уготованными к празднику лебяжьми переулками. Как люди-те уснут, снега устелют дороги, чисто, неслышно припадёт – тут сказка и свершится.

Ходил сейчас проведывал чашу мою небесную. Моя чаша, и небо в ней моё. Мне дадеся. И как она разнолика! Сейчас исполняет чашу облак снежен...

Ненаглядна переменчивая, живая красота неба. Чаша моя – абрис неба над московским двориком в виде чаши...

19 января. Пятница

Помню, отец, бывало, сказывал: «На Новой-де Земле на Офонасьев день в полдень светло явится, на часок светильник погасят зимовщики». Здесь, слава Богу, порядком дня прибыло. Скоро 5 часов, а в нашем подпольице ещё можно писать. Только из-за дыму дня не видишь, во всех комнатёнках затопимши, на четвереньках жильцы ходят, ребят на улицу выставят. Заросли трубы сажей. С морозов картошка вздорожала: 18–20 р.

«Ярослав[1] мутен сон видел», а я сегодня сон светел видел, дорогого наставника детства, учителя светлаго о. Зосиму. Будто он вошёл уже в класс, и ученики стихли. А я по-за двери бегаю, извинительную фразу придумываю своему опозданию... Смущённо подхожу к кафедре, но о. Зосима встречает меня весёлым и радостным лицом. Бледный, худощавый, серьёзный лик дышит радостью. Уста, очи сияют улыбкой. Восторженно возликовав о таком расположении учителя, я хочу поклониться ему в ноги. Он удерживает меня, и я целую наперсный его крест и затем ланиту... На о. Зосиме серая нанковая риза, в какой он обычно ходил на уроки.

Я проснулся, уже светало, в комнатёнке холодно, тяжело кашлял бразелко, видя, что я сижу, спросил пирамидон. Я скорей начал напяливать на себя свои лохмотья. Но радость какая-то светилась ещё на сердце...

[1] Святослав (цитата из «Слова о полку Игореве»).

28 января. Воскресенье

Церковь – земля хлебородимая, плодородная. Если томится твоя душа в сем житии, желанием чудным полна, знай, – только Церковь утолит чудную оную тоску. Нету зимы в Церкви, но всегда лето благословенноплодное. Вот январь месяц круга церковного, бытия годичного. Точно нивами идёшь золотыми, спеющими. Се поля Васильевы вседовольные, се Григорьевы хлеба вечнующие, се Иоанновы красуются нивы сладкие словес золотых. Январь месяц, а в Церкви живя, что лугами ароматоносными ходишь. Тамо цветы Антония Великого, а тамо – Феодосия, здесь Ефрема Сирина луга благоуханные, а вот цветы Евфимьевы... Макария Египтянина. И философ Нисский, брат Васильев, и юный кущник Иоанн, и божественные Кирилл с Афанасием. Столпы Церкви и доброта ея.

В сем соборе зимне-январском, но жаркого паче солнца и паче огня и угля будни скаредные испепеляющем, и от Святой Руси видим крины благие и вечные. Серафим Саровский, Феодосий Тотемский, Павел Обнорский, святитель Филипп. Ефрем Сирин: нилоструйные источники слёзные. Час предвидя суда, рыдал еси горько Ефреме, поёт Церковь. И нас к плачу зовёт Ефрем. Но выплаканные с Ефремом слёзы всю муть житейскую унесут. Ефремовы слёзы в нас золото чистое отмоют. Ах, сладкая радость на дне слёз, с Сириным оным выплаканных. Ведь Ефремовой речью молимся мы, сладкие оные сказывая словеса: «Господи, Владыко жизни моей! Дух праздности...» Ты и ныне молися о нас, звезда всемирная, превысочайшая.

1 февраля. Четверг

Многоболезненное, нужное, расслабленное житьё-бытьё привлачило меня к убежденью, что если ещё возможен в горестном моём положении мир душевный и даже «радость неотымаемая», то только сам я, подняв себя за волосы, могу затащить себя на эту прекрутую и претрудную гору. Видя, например, в тропарях святых, что постоянно и благодарно величаются от нас святые как целители и врачи, как податели неисчётных благодеяний душе и телу, я думаю горестно: «Этот квас не про нас...».

2 февраля. Пятница

От полноты чувств, от избытка сердца надо праздник-от прославить, светлым собором похвалить. А я, как лягуша в тине утопая, квакну дважды, уныло да через силу... На что-то пыжится, убогая.

Некогда вся жизнь была преукрашена, нарядна и обрядна. Весь быт дышал поэзией и искусством, волшебство и сказка проникали в ежедневный быт. Такова была Древняя Русь. Таков был у нас ещё и XVIII век. Сквозняк стандартной, механической, мертвящей цивилизации в XX веке

выдул, выветрил, вызнобил из быта нарядный уклад, старинные красоты, аромат вековой домовитости, красоту традиций. Ныне все всё растеряли. Голые сидят на пусте месте: всё равно чем от ветра загородиться, всё равно каким лоскутом тело прикрыть. Кучами живут, как на вокзале жел.-дор. узла. Все кучей в любом доме.

Какой тут обряд, старинная праздничность от дедов преданная... «Едим чужое, носим краденое». Из быта выветрилась всякая старая обрядность.

Между тем в церкви остаётся старинная сложная уставная обрядность: обстановка храма, многосложное чинопоследование богослужений. Входы, выходы, выносы, иконостасы, врата, завесы, огни, кадила, возглашения, древнеславянский язык, облачения священнослужителей.

Некогда древнерусский, скажем, человек, приходя в церковь, лишь переключался из одной красочно обрядливой обстановки в другую, более высокого стиля, из доморощенной цветистости отеческой избы в преукрашенность древнерусского храма.

Наш опустошённый быт совершенно утратил связь с чинами и обрядами церкви. У пожилых людей церковные службы, праздники ещё связаны с милыми и дорогими воспоминаниями, скажем, детства. Но, вот, молодёжи нашей церковные службы чужды и непонятны. Правда, многим нравится церковное пение (атавизм). Но многие ли идут глубже?.. Но это экскурс в сторону от темы.

...Ведь и для нас, стариков, литургия... совершается где-то там, далеко... Если храм закрыт или далёк, мы годами можем не быть у обедни.

Нельзя ли как-то литургию внести в наш быт? Освятить его... Ведь литургия вечна; литургия на все времена. Она вне стилей, вне эпохи. В «Серебряном голубе» у Белого изображены какие-то сектанты, причащающиеся французской булкой. Тут есть драгоценное: проникновение таинства в жизнь, в быт. Бывали случаи, что таинство совершалось при произнесении священных формул и неосвящёнными людьми (дети).

Конечно, нельзя играть в таинство.

«Простые сердца», конечно, не смущаясь, вносят и в обстановку храма ужасающее обывательское безвкусие. Иная чтимая икона имеет вид галантерейного киоска: электрические лампионы, замаскированные тюлевыми бордюрчиками, банты из стружек и т. п. Но – «чем богаты»... Главное: церковь и храм должны быть связаны с жизнью. На это бьют сектанты, собираясь в простой комнате за простым столом, покрытым белой скатертью.

4 февраля. Суббота

Одно было, когда исторически-книжно осведомлён о какой-либо местности, хотя бы и славной и преименитой. Представление о крае, городе, обители живёт в голове отвлечённо. Вот не мало читал я о Владимиро-

Суздальской Руси. Карамзин, Ключевский, художественные описания памятников, фотографии. Знаком с художниками, побывавшими там.

Но, вот, работает у нас каменщик владимирский, печник. Его деревня меж городом Владимиром и Боголюбовым на р<еке> Нерли. Каменщик любит рассказывать о своей родине. Там его дом, семья. Он рвётся туда.

И вот, под его рассказы открылись для меня дали в ту сторону, расступились горизонты... дивная церковь на Нерли, Боголюбов, собор во Владимире – уж не фотографии.

10 февраля. Пятница

Февраля серёдка, а мороз прижал. В соседи за водой надо... А я чаял оттепелей. Но свету стало много.

13 февраля. Понеделок

Мишуткину печурку сняв, добрый человек галанку на шведку нам переделал. Хоть на дрова шведка-та охоча, да краса чисто и тепло хранится. Не знаю, за что полюбил нас добрый человек. Работа тысячу стоит, а он только смеётся да рукой отмахивается. Не на словах жизнь проводит, а делом людям пособляет: «Калоши у вас на меня глядят: туды-ди, тамо-ди, пойду бензину добуду, залью калоши-ти. – Пол у вас глиной я заляпал, завтра прибегу вымою... – Сетки на меня глядят из углов, да-ко я сниму...». Из худой кастрюли сделал нам «печку» – варит и жарит, знай лучинки подкладывай. Мало кто пострадал столько, сколько этот владимирский мужичок, каменщик, не по годам начавший болеть, а какую он сохранил ясность духа, мир душевный, беспредельное благожелательство к людям. Творя добро, такие люди других подвигают на добро. Вот крайность заставила нас продать пайковую крупу. А должник не несёт денег. А у нас – стужа, да нужа, да нет ей хуже. Брателко и бежит к должнику. А у того нетоплено и неготовлено. Зарабатывал электроплитками, теперь оне не идут. И болен лежит должник-от... Братец мне и говорит: «Вот каменщик какое нам добро сделал, мы ли не потерпим на Кузьме-то. Давай снесём ему дровец...».

Вчера было воскресение мытаря и фарисея. Замечательно поёт на сей день Церковь: «Фарисеева убежим высокоглаголания и мытареве научимся высоте глагол смиренных». Это мне на долгом моём носу зарубить надобно. Люблю слышать «дальней лозы прозябанье и горних ангелов полёт». А по моей мере насколько мне полезнее было бы научиться из глубины сердечной износить сие мытарево: «Боже, милостив буди мне грешному». Великим умом и опытом отцы-те беседуют: «Ежели видишь подвижника юного, новоначального, уже возносящегося на небо, то ухвати его за пятку»... Подвижнику иноку не полезно парить мыслию в превысочайшем, а о такой худой грязи, как я, что сказать...

Я вот месяцами не разговариваю, не вижусь со многими старыми знакомцами по дому за их равнодушие к вере, к Церкви. Они голодают... А что же, им, голодным, за радость, что я знаю, когда какой праздник? Ведь я им и ста грамм хлеба не подал за двадцать-то лет... Вечный мне укор слово Христово: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего иже на небесех»...[1]

14 февраля. Вторник

Святый Григорий рек: ежели ты не ожидаешь себе ничего трудного, когда думаешь приступить к философии, то начало твоё вовсе не философское, и я порицаю таких мечтателей. Если эта философия только ещё ожидается, а не пришла на деле, то человеку бывает приятно. Если же она пришла к тебе, то или терпи, страдая, или... будешь обманываться в ожидании (из Патерика).

Это значит, что ежели, скажем, инок стяжал какую-то меру, в чём-то преуспел, то он начинает терпеть свои страдания, нужду, скорбь, болезнь – радуяся... Но отнюдь это не значит, что вот взял на себя человек иго Христово, положил руку на рало, пошёл за Христом и воцарилось у него материальное благополучие и стал он физически здоров.

Сесветное богатство – не защита от скорбей, печалей, только богатство во Христе. Только в Боге богатеющий совершенно безопасен и избавлен от тоски, отчаяния (П<а>т<ерик>). Скорбь его дивно претворяется в радость.

Преходят дни, недели. Всякой день вижу в святцах имена мучеников, преподобных. Церковь сохранила, списала жития их пречудныя, повелела нам читать эти жития на всякой день. То велика сокровищница. А я вот не приобрёл за всю жизнь житий, не позаботился припасти себе оные ежедневные пречудные светила.

В Четьих Минеях предложены человечеству изображения жизней, характеров, чувств, поступков прекраснейших, единственнейших, несравнимых. Что было лучшего в человечестве, то изображено в Житиях, дано сие нам на все времена. И более высокого прекрасного не будет. Но мы не желаем всяк день любоваться сими драгоценностями. Мы предпочитаем ковыряться в мусоре – современное чтиво.

16 февраля. Четверг

После морозов, столь поздних и болезненных для М<оскв>ы, снежок пал сутки, а сегодня что, думаю, за шум на дворе, а это с крыш каплет, где на полдень стена. А брателко сколько оживился, что весною пахнуло, друга столько обеспокоился: башмаки зашить, неможно мастера нажить. С водой бьёмся, кругом по домам водопроводные трубы замёрзли и лопнули. Снегом много ли намоешься! Руки, как башмаки. Мы ещё хоть потапливаем, а люди

[1] См. Мф. 5:16.

в когти дуют, сидят. Уж как я завидую пронырливым, ловким людям: они не допустят свои семьи до голода и нищеты, как я близких попущаю.

17 февраля. Пятница

Я себя повадил: я уж на том коне еду, что весны да Пасхи жду. Приятным люблю заниматься, верхоглядствую. Надо жить, чтобы всякой день в чести держать, с пользою, а я перескакиваю, не укрепляюсь ни на чём, не запасаю, не сею, а жатвы жду. «Близорок, – через шаньгу за пирог». На баснях время провожу. Оттого наг-то и хожу. И опять думается, – вот А. Толстой помер, как жил, какие миллионы оставил. А что взял с собою, кроме трупа? Впрочем, я не знал, что это за человек был, может и помогал кому.

Брателко разогорчился вчера: у «власть имущих» по союзу талон дровяной на 1/2 метра спросил. А писалка из Бердичева отказала: «Какую ми имеем от него пользу?». Братец себя приругал: 40–50 р<ублей> талон-от на рынке стоит, а литфондовский кагал в грязи вываляет и в душу наплюёт за ордер на тряпичные туфли, на носовой платок. На меня брателко-то потужил: «Последняя де грязь пархатая пяту на нас подымать смеет...» – «Братец, – говорю, – иное и полем идёшь, видишь кучу, не раздумывая, переступишь. Куч-то много... Плюй да переступай. Да всё дальше».

Вот моё преуспеянье каково: от всякой вши без души. NN негодует: «Почему вы о лимите не хлопочете? Всякое ничтожество имеет лимит!». ...Просил, не дали... Растужусь иное, из-за семьи-то, хоть и невелика она... Противно: житуха-та лягает копытом (лимиты, литеры, и т. д. и т. п.)... Потом раздумался. Услышу, как издали поёт кто-то: горе-де имеем сердца! Мне и стыдно станет. Охота припадёт из низости-то подняться душою. Зачитаю изусть Евангелие пасхальное: «Въ начале бе Слово... В томъ жизнь бе и жизнь бе светъ человекамъ. И светъ во тьме ложится и тьма его не объять...». Масштабы-те мои и станут на своё место. Мусор соберётся под порог, перестанет застить большой угол, где Лику Христову подобает быть.

...В ночи всё снежок падал, с утра сегодня так светлооблачно. И тает. Капель с крыш. А переулочки все беленькие, трои сутки перепадывают снежки белы. В ночи всё выскочу на улку: бело, тихо, сказочно в тишине. Того летом не бывает. Летом грязь глядит с земли. А в зиме белой, тихой, по облакам, по небесьям ведь ходим. С неба снеги-те.

В лете снимутся с города белые скатерти и опять замызганные уличёнки да пыльные площади. В зиму чисто дышать, в лете...

18 февраля. Суббота

Было время, шатаючись, на красивые лица зарился. Бывало... встретишь человека, и как стрела отравленная падёт в душу. Слава Богу: теперь иная красота и иначе запечатлевается.

...Мне иногда кажется, что я одинаково люблю и лесную дорожку, и каменную сказку какого-нибудь ненарушенного с XVII века московского переулка. Ивановский переулок – нечаянная и новая радость. Площадка перед Ивановским монастырём хаотична: Мамай воевал. Прямо – какой-то эллинг меж двух башен псевдорусского «gotique». Слева на горе – обезглавленная церковь... Вправо уклон к Солянке. Влево опостен монастыря вьётся тоже под гору переулочек... Сразу я попал в тридевятое государство. Слева, ежели идти вниз, старинные невысокие дома, узкие оконца...

Точно тут никто и не живёт: ни души не встретил. Только много ворон сорвалось молча с долгого деревянного забора. Вправо тянется, опускаясь тяжёлыми уступами вниз, монастырская стена. Безлюдье. Тишина. Белый переулок. Золотисто-серые каменные уступы с горы. И прекрасное, лёгкое, облачное небо... В каком я городе? В каком я веке? Узенькие лебяжки по уступам карниза. Снежно-лебяжные опушки придают тяжёлому серо-золотистому камню нежность, праздничную нарядность. Старый город жив, древняя матерь М<оскв>а. Вот она где. Я думал – нет ея. Старые камни, белая уличка, серо-жемчужное небо. Тишина... девица. Не умерла, но спит.

20 февраля. Понедельник

Чётки бывают драгоценные, перламутровые, хризолитные; зерно – другого краше. Звенья переменяются молитвенно. Таковы дни Божии. На чётках одно зерно крупнее и по нём рядовые. Применю к воскресению и седмице. Особливо проникновенно начинает молиться Церковь, дойдя по дням-чёткам до недели мытаря, до воскресения блудного сына... Зима кротеет, подходит пост – «жительство ангелов». Наступает март, – блистающий ещё по Северной Руси снегами, но и гремящий уже ручьями. А до Великого поста – три воскресения предначинательных. В Церкви всё строится красотою и в красоте. Чудною песнею, умилённою в слове и в музыке, одето воскресение блудного... «Объятия Отча отверзи ми потшися». Её поют на пострижении. Как будто дни предначатия весны, дни тихих ночных капелей, дни тихой русской весны с проталинками, на которые прилетят жаворонки <2 нрзб.), постригают в чин ангельский, умилительными песнопениями располагает Церковь сердце человеческое к приятию подвига постнического, Триодь Постная, чаша светлой печали о Господе.

...Безумно удалился мир сей от славы дома Отчего. Во зло расточает силу творческую род человеческий. Отравою помрачён ум человека ныне и очумев, отупев, бредёт за врагом, за губителем, за убийцами своими... Так болен мозг мира сего, так слаб и растлен, что как бы и не может быть вместилищем истинного разума. Но жив Господь! Иисусе, быстрота умная. Иисусе, память предвечная. Иисусе, светлость душевная. Иисусе, мудрость священная.

21 февраля. Вторник

Братец вчера во втором часу ночи домой прилетел, уж часы ночной ходьбы вышли. А иные, слышь, в подворотнях до 5 утра крылись с чеками. В пять брателко убежал по выдачу: «соль, спички, жиры, кондит<ерские> товары». А я Ивановским переулком шаркнул к Петру и Павлу. Но уже стоял белый день. Слишком светло для сказки. Сильно белёсый свет снега, сильно белёсое небо. Шёл мимо монастыря. Точно фото сегодня. А тогда была картина, полная тихого вдумчивого настроения... Сегодня февральский зимний день – и всё. Ультра-белёсая оптика. Бывает, пойду пеш в церковь, дак запечатлеется, зерном похода явится не служба церковная, а дорога. Сегодня дорога была скорлупой, а зерном, пожалуй, обедня. Хотя на клиросе вместо хора притужно кричал дьячок да нежно аукала какая-то женщина... Но молитвенные огоньки лампад, тихие истовые возглашения старенького иерея. А убежал, не поспел звонко и чистоголосый дьякон возгласить: «Оглашенные, изыдите!». Думаю: братишко придёт, а чайник не готов. Да и башка замёрзла.

О Тютчеве.

Я, вот, люблю примечать состояния природы, тона неба... Тут великая тонкость потребна. Для обывателя: – небо и небо. Зима и зима... Но поэт видит многое разнообразие. И я вижу, да определения у меня единообразные – тихий, тихостный; умиленный, радостный... Да опять снова.

У Тютчева удивительна тонкость, разнообразие, многообразие его определений и на картинах природы, и в том, какими словами он отмечает нюансы своих душевных, столь богатых переживаний. Поэт не лезет в словарь старинных словесных красот. Его краски и рисунок индивидуальны. Это акварели или тончайший мастерский рисунок карандашом.

...Цветущее блаженство мая...

Вяло свод небесный
на землю тощую глядит...

...И торопливо, молчаливо
Ложится по долине тень...

25 февраля. Суббота

Любовь к природе – начало многого добра. Ежели книга природы – любимое твоё чтение, ты на благодарном пути. Приникая к красотам природы, увидишь тайну. Красивые «виды» природы заставляют подумать о Художнике, равно как и благоуханье малого цветочка. Пределы человеческой изобретательности – мертвенные машины. Но в том, что

создано Богом: дерево, цветок, – жизнь непостижимая, недомыслимая. От Бога хлеб; человек изобрёл суррогаты. Труд человеческий – добро, но психозы изобретательности в разных отраслях промышленности привели к страшному злу. Цивилизация пожирает самоё себя. Богоубийственная и человекоубийственная цивилизация отрывает людей от груди матери-природы, вместо материнского «млека и мёда» отравляет людей, их тело и душу всякими ядами и... бросает опустошённых и несчастных, бездомных.

Сейчас, живя посреди бедствий неисчислимых, посреди смертей многих, люди стали осатанелыми эгоистами. Рядом в квартире может умирать с голоду человек, и никто не зайдёт, не сунет корку хлеба, не даст полена дров. Ненавидят получающего, скажем, лимит, а лимитчик ненавидит и презирает каких-нибудь «иждивенцев». Добившись «лимита», превращает свой дом в крепость: кабы кто чего не попросил. ...Живя «посреди смертей многих», посреди бед несказанных, люди не только не опомнились, не раздумались, не устрашились, не сокрушились сердцем – нет: преклонение перед успехами всеобщее и полное, кака бы мразь ни достигла успеха и какие бы средства для успеха ни были этой мразью употреблены. Успевших превозносят все. Неуспевших все презирают. Понятия: это – добро, а это – зло, это – смрад, а это – благоухание, это – свет, а это – тьма – потеряны, потоптаны. «Надо жить – вон как люди живут», квартиру получили, лимит получили... И вот свалка, «абонемент есть», дак когтями, зубами исступлённо начинают войну за лимит. Его не дают... «На заре, когда спящих разбудит петух, ты увидишь лежащих девять мёртвых старух. Все в крови, с нами сила Господня»[1].

Это в мартовскую «выдачу» в нашем магазине драка была до 3-го часа ночи. Администрация выгоняла публику, а милиция сторожила добычу...

– И от всего этого я теперь избавлена, – говорит NN, – раньше я как зверь была целую неделю, как начиналась «выдача». Теперь муж получил орден, и мы имеем право получать паёк через стол заказов. Наш день 19 число... Без драки... В этом месяце крупы даже не заменили картошкой, 2 кило получила... 7 коробок мясо-рыбо-консервы, гусалин, маргусалин по 200 гр., соемасло – 250 гр. Кило джутовых конфет... (или кунжутовых).

Эта дама обладает железным здоровьем. У неё муж с пайком... А масса интеллигентная кунжутные конфеты получит – да на рынок, продать поштучно. (Если милиция не арестует.) Это называется «оборот». На «оборот» купят картошки. «Выдачу» («сладкое», «жиры») большинство продаёт для картошки. Так и колотятся. А у кого нет «абонементов», те... тем и хлопот меньше... День за днём... Ужо война кончится, будет лучше... С какого же боку к этой вот основной массе населения приступиться, как напомнить изму-

[1] А.К. Толстой «Волки».

ченным физическим голодом людям, что «не о хлебе едином жив будет человек». Проповедовать вправе лишь те, кто нищий свой паёк «иждивенческий» делит с голодными. Я не делюсь ни с кем. Моё дело молчать.

Многие из этих намученных, намятых людей ожесточились, обиделись на Бога. – Молись, не молись, а жизнь своим чередом. Многие ещё ходят в церковь. Кино удовлетворяет духовные запросы не старше 20 лет. Но и стоя в церкви, измученные житухой люди раздражённо «реагируют» на всякий... толчок. Нет мира в душе... Сидят старухи вдоль стен. Одна говорит: «Уж лучше помереть...» – «С какой стати туда забираться раньше времени?» – вслух зашумела её соседка. «Помер, спокоен теперь. Хорошо ему», – говорит женщина, глядя на усопшего, принесённого для отпевания. Стоявшая у гроба старуха громко забранилась: «Как так хорошо? Ему бы жить надо! Дети остались маленькие».

В давке кричат друг другу: «Сволочь, блядь, кот, котиха». Стоят зачастую злые, и всё же стоят. «Злобою злобного мира озлобленные». Очевидно, знают, где врач. Боль врача ищет.

Наверное, есть в <нрзб.> и энтузиасты. Есть и масса – простые сердцем «святые пристани». Есть и разбирающиеся в церковных вопросах глубоко. Эти по поводу <нрзб.> думают: «Ладно, что хотя эти есть. А Бог даст и лучшие будут».

Но я опять произвожу учёт верующих, дегустирую иерархии, ставлю диагнозы, назначаю лечение. А ведь это всё не моё дело, не моё призвание. «Пусть ведают большие, у кого бороды пошире». (Хотя им больше нравятся эспаньолки.)

– Что тебе, ты по Мне гряди, – говорит всея твари Украситель. Пойду и увижу Его в ...весенних, клейких листочках, в первых подснежниках, в вербочках, в шуме вешних вод. В весеннем воскресении природы.

Один древний мудрец пришёл за пущим умом в Афины. На портике храма прочёл: «γνῶθι σεαυτόν» «познай самого себя». Ту же минуту мудрец пошёл домой:

– Этого совета хватит мне на всю жизнь.

Святые отцы христианства учат: «Внимай себе». «Восходите, братия, восходите», – зовёт Лествичник.

Подвиг надо понести. Возьми крест свой, говорит, и по Мне гряди. И не на стороне высматривай подвиг-от. Господь дал тебе иго благое и бремя лёгкое. Неси его благодарно и усердно, до кровей личностных. Благодарное это дело! Живучи в подвиге сем, страдалестен я (а мне надо страдальчествовать до конца).

Очень уж светло, и помянутую книгу природы буду читать. Се Царство Божие на земле. Знаю, что неся крест болезни безропотно, получу и радость о сем.

26 февраля. Воскресенье Мясопустное

Иночествующим присоветовано избегать всего, что наводит искушения и соблазны. Я любил бы жизнь созерцательную, где ни то в тихом скиту. Но приходится жизнь трясти в житухином трамвае. Брателко спиной своей заслоняет меня от толчков и тычков, принимая трамвайную мятку на себя, чтоб я мог сидеть и любоваться в окошечко. Но и сидя за спиною братишки, я болезненно и горько переживаю его труд и болезнь ради меня. И это у меня как ночная зубная боль.

А и истинные иноки, есть же где-нибудь и сейчас такие, могут ли они на сем свете в наши дни искать упокоения?

Тоскливое смятение о моей неисправности, о брателковом нездоровии и нужде, что накат морской всякой день на душу новый камень положит. И много того каменья, и плотно лежат они. Авва Антоний говорит: «Сам ты себя не помилуешь, дак и Бог тебя не помилует, и я не умолю». А как может Каин сам себя помиловать? – Авеля не убивать. И Каин добрее меня был, один раз брата убил. А я всякой день не по силам брателку воз накладываю. И сам на том возу с погонялкой сижу.

Живя «в миру», сталкиваешься с людьми мнений враждебных в основном, в главном. Спорить б<ольшей> ч<астью> бесполезно и утомительно К тому же безбожие <1 нрзб.> свыше, и воинствует. Приходят старые интеллигенты, они были атеистами ещё в гимназии, ещё с первых забастовок. Эти неодобрительно глядят на иконы в углу... Приходит молодёжь. Для них иконы – музей. Они «понимают», что старикам трудно расстаться с какими-то мифами.

Тут моё мнение такое: я в ваш духовный мир не вмешиваюсь. Не навязываю вам и своего. Мало ли о чём можно поговорить. Напр<имер>, об искусстве. И вот, где только соберётся интеллигенция литературная, музыкальная, художническая, научная, артистическая, сейчас же обычное: читали последнюю книжку Когана? Пьесу Шкловера смотрели? Но сразу же везде и всегда разговор идёт о том, сколько этот Рабинович получил и кто намечен в лауреаты. Говорят, жадно глотая слюну, ругая, истерически завидуют: почему не я?

Обносившееся, изголодавшееся «общество» – старая интеллигенция давно бросила «всё высокое, всё прекрасное». Перестала презирать и фыркать на всю эту «папину» шпану и на тех, кто перед нею лакействует. Завидуют откровенно и жадно. Всё, чему поклонялись, «за два десятка лет снесено в антиквариат» к Голованову. Как звуки небес звучит слово «лимит». А о лауреате что говорить: не всем же мечтать о царских коронах... Но есть счастливцы...

Ты, скажу, судишь? А сам не взял бы? – ещё как взял бы. Как бы мне радостно было близких моих, любимых одеть, обуть, накормить, полечить...

28 февраля. Вторник

Февраль прошёл. Вот дак «бокогрей». Только бы уши не отморозить. Я-то дома, а братцу досталось. В ночи вызвездит, а днём я не бывал на улице. Эту ползимы с картошкой живём. Брателко говорит:

– Ты в шутку моё слово не поворачивай. Тогда пришёл край, не мог я встать, на базар идти, взмолился я с воплем крепким к Николе скорому помощнику, и уж который месяц вдоволь у нас картошки.

– Брателко! Ради твоей веры, ради твоего подвига гора подвинуться может!

– А помнишь тот там год... Чернело у меня в глазах, ходил я, держась за стены. Началося у меня белокровие. Тогда на Страстной обнесла меня дурнота у церкви, упал я на порог храма Божьего. И взмолился я тогда Богу. И смог отстоять 12 Евангелий. И стало мне лучше да лучше. Разве не чудо? Разве можно забыть, не видеть здесь милости Божьей?

– Брателко, – я отвечаю, – сосчитана у Господа Бога каждая твоя слезинка. Если не на таких, как ты, то на ком явится сила Божия? В твоё чистое сердце, радуяся, глядится Господь. Брателко любимый, буди над тобою Божия милость пресвятая.

Хрупкий, болезненный, падая под непосильным бременем, везёт брателко из года в год, изо дня в день воз труда, забот, хлопот дома и извне. Отдыхом считает он для себя домашнюю-то порядню. А я сгуляю в храм-от Божий, приду, как зверь, сердитый на людей и на себя. И братишко из сил выпадет, картошку чистивши, да на тёрке тручи, да лепешки пекши... И дивлюсь я свету лица Христова, который знаменается во взгляде брата.

Недавно у парикмахерской поглядел я в уличное зеркало. Глазки-гляделки у меня беспокойные, не то заячьи, не то медвежьи, рожа как рукомойник. Зеркало души неказистое.

23 февраля память была старца Назария игумена Валаамского (скончался в 1809 году на своём пострижении в Сарове). Старообрядцы, сектанты, затем и все неверующие корят Церковь, что она-де омирщилась, оказёнилась за XVIII–XIX века. Но какие дивные, какие великие старцы были в Церкви в том же «французском» XVIII веке. Живая вода Православия открывалась и наполняла мир христианский чрез таких учителей иночества, как Паисий Величковский, Назарий Валаамский и другие. Ведь во второй половине XVIII века взошла и сия пресветлейшая звезда неба церковного – Серафим Саровский. Упомянул я Назария, п<отому> ч<то> меня поразили слова одного из его писем: «Не знаю как Вы, – пишет он к одной монахине, – а я себя так чувствую, что перед всеми я должен и всем виноват». Дивные речи, вложенные Достоевским в уста брата старца Зосимы, отсюда взяты... Сладкие гроздья благословеннoплодных лоз иночества XVIII, но и XIX века.

Скороспешно начинал тогда сеять тлетворные плевелы свои враг в пшеницу Господню. Но преизобиловала и благодать. Свет Сарова. Паисий и многочисленные благодатные его ученики. Старцы оптинские...

Болезни неисцельные, нужда телесная естественно рождают во мне скорбь и неизбывную печаль. Слабая воля, слабый характер, житьишко моё опустившееся и распущенное делают то, что обязательная в жизни человеческой скорбь притупляет во мне зрение внутреннее и слух внутренний. А эти тайные, но важнейшие слух и зрение соглядают и слышат истинную реальность, единую на потребу, но не видимую «веком сим» и «миром сим».

Скорби и печали, как распущенные, невпряжённые, необузданные лошади, бродят как попало, а не возделывают в сердце ниву, посев пшеницы Господней. Скорби и печали, как стрелы ночного стрелка, не бесов, а ангелов поражают в сердце моём. Скорбь и печаль, как таран, метко и отчётливо должны бить в крепость лукавого, которую успевает он возградить в душе слабой. А у меня таран скорбей и болезней дробит в душе не вражье, а Божье. Сверло скорбей, не умею я его на гнилой зуб направить, чтоб причину боли вычистить и зуб здрав сохранить. Боюсь я зубы гнилые свои лечить.

Уж как бы светло было, как бы любо, ежели б дивные очи сердца раскрылись и слух-от отверзся к яви, миру сокрытой.

Месяца марта в 1-й день. Среда

В. Соловьёв, отходя сего света, сказал: «Трудна-де работа Господня». А про Соловьёва неложно сказал один католический епископ, что «...душа его... vere sanctai est»[1]. Соловьёв таланта не сокрыл, но паче умножил.

Ежели человеку столь окрылённому, к тому же не нуждающемуся в куске хлеба, трудно было взыскивать Град Божий, что же сказать о какой-нибудь жабе убогой, в яме под доскою сидящей, подслепым оком в оконную дыру взирающей и о свете превысшем всех светлостей сипло, но неустанно поющей... Может потому жаба-та и поёт о свете, что под тротуаром, впотьмах пребывает. Жила бы в бельэтаже, небось, курвяга, спутала бы, что есть свет истинный просвещающий и что есть фукалка с ближней электростанции.

«Грешник, сидя во тьме и сени смертной, виде свет велик». Знаю, что есть свет. Знаю, что будет паводок милости Божьей, водополье придёт. Хлынет дождём Утешитель и уготованные Ему на земле водоёмы исполнит безмерно. Хлынет благодатная радость. Тогда только подставляй рот, глотай-знай, не залейся...

Ей, вернись. Жаба, сидящая под тротуаром, уж чует благодатный ливень. Миру сему не под нужду и ни к чему, а жаба убогая и престрашная,

---

[1] Воистину свята (лат.).

прячася под камень, чтоб не растоптали, хотя-нехотя высмотрела, изучила и где свет, и поняла, в чём счастье. И уж не так чтобы очень тужит о горьком своём убожестве.

Забралась жаба нищая под камень, а тепериче росчухала ртастая, что камень сей небрегоша зиждущий, но приходит время, и уж кладут его во главу угла. И молит жаба: помяни мя Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. Потерпех тя, Господи! Потерпе душа моя, по Тебе.

Брателко мечтал: сегодня никуда не пойду. А по воду надо. Плитка перегорела, к монтёру надо. Из 10 жильцов трое не хотят чинить водопровод, и их крепко уговаривать надо. Водопроводчика принимать, развлекать и крепко веселить, чтоб не плюнули, надо. Я этого ничего не умею и не люблю. Должен уметь и любить это всё братец. Он и шубёнку с утра до вечера не скинет. Вечером он отдыхает: готовит обед на завтра... Минька прибежал простуженный. Жалко мне его; где его прежняя весёлость... За день я и в окно не сглянул. Ввечеру выскочил за ворота. Небо глянуло звёздами. Стою в двери городовин, а чаша моя вводит меня во двери Господни. Сияет звёздами тёмно-синее небо. Церковь Славы Божией. Храм премудрости Божией, озарённый лампадами ближними, дальними. Что там город, «уличное освещение»... Всё стерялось в торжественности звёздной первой весенней ночи. Зиждитель величается и хвалится, кажет величие своё и тем зовёт нас. Не прячется от нас Творец, нет, – отверзает широко двери нерукотворённого прекрасного храма и зовёт нас. Небо всё сияет звёздами. Торжественный мир, молчание, еже над миром звучит больше всякой музыки.

Эта торжественная красота надмирная, зовущая нас, говорящая нам, обнимающая нас, увлекающая ум и сердце, и есть «объятия Отчи», простёртые над миром, готовые обнять человека. Коль прекрасен дом Отчий. Ночь в звёздах, поле в цветах – всё это дом Отца нашего, сею красотою напоминает Благой Отец наш о себе, сею красотою зовёт нас.

«В небесах торжественно и чудно». И в сей же день первого весеннего месяца спустилось на землю тепло. Капель ударила с крыш сейгод в самую Евдокию. Весна пришла! Сразу пожаловала. И эта песня капели в ночи, душу ласкающая, и «звёзды частые риз Божиих»[1] так дивно надмевали душу. Март пришёл, в он же месяц и мир сей Бог сотвори, а Гавриил Благовещение Деве принесёт – «благовествуй земля радость велию, хвалите небеса Божию славу».

2-го марта. Четверг

Улицы слило сегодня. <2 нрзб.> Старухи в булочной толковали, что сегодня грачи прилетают. И как-де на 40 мучеников жаворонков пекли, так

[1] См. Пс. 117:22.

сегодня пекли грачей. Иван Акимыч каменщик толковал сегодня, что птицу грех изобидеть.

– У нас тамо-ди к Боголюбову поле с соседом и на меже ряд пречудных старых вязов. И тут грачиных гнёзд неисчислимо. Из веков грач эти вязы избрал... И враг попутал, срубили мы с соседом эти вязы, разорили грачиные домы. И Господь меня за это наказал, за обиду Его творению. В-первых был и мой дом разорён.

(...Скотина видит невидимое человеку. Овцы вдруг во двор не идут. Станут в воротах, глядят на кого-то... Манишь их кусками – не идут. Но могут наладить знающие люди.)

Возле домов нельзя ходить: с крыш льёт. Небеса облачные, дали наводопели – туманисты.

Сегодня маме память – умерший день. В месяце марте она родилась, в марте именинница, в марте и сего света отошла. И смерть светла о Господе. Свет умный, свет сердечный не отымал Господь.

3 марта. Пятница

И стёганку, и колпак с башки в комнате скинул. На улицах по льду мокро, скользко. Воробыши, чего они скачут, назёму не вытаяло ведь? Днём облачно. В ночи сегодня опять исповедали небеса Славу Божию. Ветер тянул; по двору со всех крыш переговаривались капели, а под углами дома, изливаясь в ледяные самодельные мисочки, вода как в дудочки играла. И небесное паникадило, горящее всеми огнями. Тамо у Господа всегда праздник: всегда полиелей.

В день-от сную из угла в угол по домашности, да с людьми. А на сердце-то расположено: вот город-от утихнет, перестанет пучиться электрогляделками, тогда вылезу на волю слушать мартовскую ночь. Тихий говор капелей в ночи, будто читают книгу таинственную. Часа в 2 ночи украстись из дому, притулиться где ле, чтоб и небо-то видно, и капель-ту мартовскую слышно. Тут откроется сердечное тайное око, еже постигати тайну. Тайну эту ум человеческий постичь не может, только сердце сладко чувствует радость тайны. Дивные птицы райские поют в ночи, Сирин и Алконост. Всяк человек, во плоти живя, не может слышати гласа ея. «Аще кому услышать случится, таковый от жития сего отлучится. Но не яко там он умирает, но вослед ея пад, душу предавает».

В таинственные предвесенние ночи очищаемое скорбями сердце широко отвергает очи и слух. Тогда касается великой тайны вечной жизни – радости вечной. Это чувство непонимаемое, непостигаемое, неопределяемое сознанием, рассудком и есть касание миров иных, касание бессмертия.

5 марта. Воскресенье Прощёное

В зиму, в Рожество снега нарядно и как надо глядят с крыш, с карнизов, с заборов, с древесных сучьев, с дорог; снега лежат по дворам.

А перед масляной отойдут зимние наряды. Заведутся, волю возьмут вольные ветры из других углов, неморозные. С небес опустится март, и снега жахнут. А они не умирают. Им весело разбегаться водами: капелями, ручьями, потёками. Вот слышу, они с крыш спешат: без числа маленькие ручки в ладошки плещут.

К вечерням подморозило, прояснило... Как бы сам стоит Зиждитель на Запад солнцу. В левой руке, долу опущенной, догорает вечерняя заря. Десница горе простёрта над домами, и в ней светло сияет месяц молодой. Меж дальнею зарёю и горним месяцем, как запона у ризы Господней, светит звезда... Вот Зиждитель накрыл зорю ризою, а месяц остался сиять в небе, и в синем смеркшем небе уж много звёзд глядит.

6 марта. Понедельник

Вчера володимерец наш добрый, посидев, прощался: «Простите меня Христа ради, в чём досадил, не управил...». По поклоне целовались. Уж очень светло это. Очищается прощею святой муть житухина. Из ила и тины на живую судоходную струю вековечные уставы выводят. Русь крещёная, ты ещё жива! Простой, не книжный мужичок блюдёт святый обычай, которым искони быт России освящался и озарялся.

Как бы мне хотелось в деревне март-от, апрель перебыть, чтобы во дни и в ночи таинственные перемены в природе соглядать. Как снега опадут, как воды из-под снегов побежат, как потоки с гор зашумят, ручейки залепечут, спеша в овраги. Овраги заиграют светлошумно. Я в городе что музыку капели с крыш расслушиваю. А на Руси в просторах её, в тишине ночной что за музыка сладкая, – вешние воды, что за тишина почиёт. Разве грачи, вьюшие гнёзда, да, как холмы повытают, – жаворонки нарушат тихость святых постов – четыредесятницу.

Клубы учёных, художников, (писателей) «календарный план» на неделю посылают. «Новые стихи, доклады, новые фильмы...» И се (писатели) ходят поучаться, внимают всякому дурачью и жулью в клубах. А на Руси, между тем, настал Великий пост. Как обогащены, как утворены, как насыщены эти дни в быту... С Алексия ч<еловека> Б<ожия> 17 марта везде ручьи, говор вод, везде музыка эта откроется. Птица почнёт вить гнёзда. По деревням скворешники изладят. Под аккомпанемент великих вод благолепно идут «дни печальные Великого поста». Протяжные напевы, молитвы, исполненные неисчётным умилением. Сегодня в понедельник и по четверг четыре дня поёт церковь Канон Великий. Дивны сии напевы: «Помощник

и покровитель»[1]. Искони Русь плакала умилённо, внимая дивным проникновенным и животворным песням великого сего канона. Песни Великого поста, дивные речи святых запечатлевались в сердцах и умах народа в течение тысячи лет. Вот на каких дрождях из сырого теста человеческого, из хаоса дохристианского, догосударственного выходила и русская дежа. Вот на каких углях, вот в какой печи испёкся русский хлеб, «Хлеб сладок Святые Троицы».

А уж без «Христос Воскресе» наш народ труп разложившийся.

В тот же понедельник к Мефимону побрёл, чуть назад не вернулся. Я в одну, липова нога в другу сторону. Больно да и скользко: нет сил. У Ивановского монастыря с горки едва сполз. Средняя часть Ивановского переулка – какая находка для художника. Как прост рисунок этого «исторического» пейзажа! Как изыскано проста линия уходящей вниз стены! Молчащая стена, за нею одиноко высящийся ренессансно стройно-серый купол собора и так много русского, облачного неба над всем. Странно: переулок всегда пустынен. ...Ещё не стемнело, когда я вышел от Петра-Павла. Всегда, остановяся, любуюсь этой церковкой. Она так чудесно и умело подана зодчим. В тесном заугольи, в переулочке строитель сумел преподнести своё создание так, что не налюбуешься.

...Сегодня, спускаясь к воротам, глянул на запад. И вдруг сердце сладко и дивно поразилось: я очень давно, в детстве, видел этот пейзаж: оледенелый скат с холма, обтаявшие и вновь присыпанные снегом сугробы, стройная ампирная колоколенка, увенчанная московской луковкой, странно белеющая на фоне свинцовой тучи. Подолок тучи как бы вышит нежнейшими розами – отсвет вечерней зари. Оттуда с запада тянет быстрый холодный ветер. В пейзаже какая-то унынность, редкая красота, что-то очень северное, непонятно поразившее меня. Тождество с чем-то давним дивит меня. Тот же был холодный ветер, и те же розы неба, таков же оледенелый холм и здание.

7 марта. Вторник

Ум интеллигенции зачастую по родителям направлен в сторону нецерковную. Помню ученические свои годы 1905–1914 – среди учащихся не принято было высказывать симпатии к церкви. Молодёжь как бы стыдилась говорить о Христе... Впрочем, веяние Пасхи, Рождества – праздников, которыми жил весь народ в царское время, эти веяния отпечатлевались на всех слоях общества. Лишь сквозняк воинствующего безбожия выдул теплоту Христову у многих и многих. «Тяжкий млат, дробя стекло», выковал ли в ком «булат»?..

Да что там интеллигенция: у большинства теперь то, что добро, то, что к славе, то, что на пользу, то, что радость доспевает, то, чем только

[1] Великий Канон Андрея Критского.

и живёт душа человеческая, то, что смысл даёт неизбежным в жизни скорбям и болезням, тем как раз небрегут люди, к тому и равнодушны. Да и про себя скажу, возраст ли, печаль ли виною? Отупело слушаю ирмос в церкви, то голова озябла, то места не приберу, то досада, что поют и читают худо, то заботы на уме. Тех ради слабостей уж и не можешь силу-ту великую и животворную божественных глаголов вместить: засорён ум до отказа пылью ничтожною всяких новостей политических, литературных, бытом жалким. «Жить надо красиво и удобно», – проповедует знакомый художник, старый интеллигент. А кто не сможет урвать себе комфорт и удобства квартирные, пайки, лимиты, те мыльте себе верёвку. Удавная петля – единственный исход для больных, гласят эти люди.

Отупел и я, ослаб и я, опустился и я, но знаю, что не это жизнь, не здесь русло жизни, не здесь свет. Хотя сюда и загнано стадо человеческое и мятётся тут, но вся эта широкая арена – лишь тупик духовный, гнилая заводь в стороне от реки жизни, загон, каземат, волчья яма, куда, ослепший духовными очами, забрёл род человеческий.

Истомлённый, еле живой, как на каторге выгостившийся, выгребаюсь я из сей всеобщей душной, растленной казармы и – «Ныне обнищавшее моё сердце не презри Спасе! Отеческие Славы Твоея удалился безумно! В злых расточил, еже ми предал еси богатство. Согреших пред Тобой, объятия Отча отверзти ми потщися»[1].

...Всемирная смерть: техническая лжекультура, проще сказать, растленная житуха манит тебя, человек, что собачку кусочком, лженаукой, выхолощенным искусством, всякой самоубийственной техникой. И ты скачешь перед житухой задом и передом, глаз не сводишь с кусочка того, мнится тебе – он сладок. И забыл ты, человек, где дом Отчий, заблудяся, не видишь, где зло и где добро, где гибель, где спасение.

Чутьё твоё, собаченька, враг-от спортил. Куси, куси его! Чужой, чужой он. Хвати его, чтоб помнил, да дуй в подворотню дома Отчего! Истинно-от хозяин не даст в обиду...

Тропари Великого Канона, помню я, бывало, чтёт иерей в тон певаемым ирмосам, чтёт с некиим умилённым роспевом. Получалась музыкальная цельность. Сего на Мефимонах у Петра и Павла не было вполне.

...Удивительное всё-таки было: Андрей Критянин, поэт эллинистической эпохи... VI век. И вот в середине XX века, в России, толпа народа в большинстве случаев простого, народа рабочего, мастерового в течение двух предвесенних дней жизни теснятся, часами стоят, внимая чтению поэмы критского философа-поэта. И так слушает Русь эти поэмы из года в год уже тысячу лет. И внялась в них, напечатлела на сердце, вывела отсюда свои идеалы.

[1] Неделя о блудном сыне. Песнопения Триоди Постной.

В наши дни упадка художественно-словесной культуры, в дни одичания языка любопытно видеть толпы простых, плохо одетых женщин, тщащихся понять, во всяком случае не пропустить ни одного слова, ни одного стиха и строфы. А ведь у Андрея Критского так много аллегорий античного порядка. Много и, хотя и самого высокого порядка, но... риторики. Это там, где поэт, напр<имер>, призывает душу обозреть деяния библейских героев, деяния добрые и злые, и резюмирует: вот этому праведнику ты, душе, не подражала, а этому злодею поревновала.

И это частность. Неисчётного умиления исполнен канон. Слёзы покаяния, слёзы восторга, слёзы любви, гнев праведный и орлиный полёт молитвы – всё выкристаллизова<лось> в алмазе слова. Эту красоту художественного слова и глубину содержания и оценил русский народ.

(Во владимирских, в суздальских деревнях в чистый понедельник масленицу смывали. Молодые ребята пойдут по домам, где есть девицы, ухватят барышню и снегом ей лицо – ну мыть! Визгу, смеху – котора прячется, не даётся, той и под подол снегу набьют.)

7 марта. Вторник. 1-я седмица

Боль врача ищет. Потому и копится в храмы народ, в частности, к слушанию Канона Великого, что на все времена указано здесь, что добро и что зло, где свет и где тьма, что болезнь и что здоровье. Богоносный, богопросвещённый поэт раскрывает человеку его душу, объясняет человеку, откуда его несчастье и в чём. Как великий хирург и врач, рассекает поэт-философ-учитель жизни вековечные раны души человеческой. И исцеляет дивною божественною цельбою. И как современен Андрей Критский! И чем дальше будет уродовать людей цивилизация, тем поэт из Крита будет нужнее и нужнее. Ныне человека превратили в винтик машины, в удобрение для сомнительного счастья грядущих родов. Человек стал пылью самой будничной. И «с воплем крепким и со слезами» зовёт Андрей, как бы с нами в XX веке живя и с нами валяяся в прахе будней и злыдней: «Ты, Творче мой, создал меня, чтоб я унаследовал престол Славы, престол Царства, а я валяюсь на гноище. Ты уготовил мне царственные ризы, а я тащу на себе нищенское, смрадное рубище...».

8 марта. Среда

– Не говеете, дак что же каждый-то день в церковь ходить?

– Вчера на этих, как их, нефимонах были, дак сегодня-то что же? Ведь всё одно и то же, одно и то же в церкви-та...

Это отношение, восприятие служб церковных не ново. Таких «православных» было много. Они знали, что, например, принято, надо «говеть» в Великий пост. Что поётся, что читается за службами, это сих говельщиков

не касалось. Они считали себя обязанными отстаивать добросовестно долгие службы, а уж вникать там во что-то: «Мы в монахи не собираемся... Этому не обучались...».

Бывает положительное в этом русском «отстаиваньи» долгих служб, особливо монастырских. Стоят часами, преют, томятся на кафизмах... И это подвиг! Придут домой просветлённые: «Бог милости послал!.. Уж как жарко было!.. Куда там перекреститься, вздохнуть некак было. Уж так харашо... Слава Богу... "Теснота у праздника"...».

Эти любители праздничных служб, где-нибудь «у праздника», есть та же «Святая Русь». Начал я говорить о тех, кои ходили в церковь раз в году к заутрене, бывали у знакомых на панихидах (потому и не выносят ладана). В наши дни эти «крещёные» без остатка забыли даже настроения заутрени, тем более надо куда-то далеко ездить... У этих житуха выдула всё сквознячком своим.

И ещё говорят: «В церковь зайдёшь: всё одно и то же, одно и то же. Всё те же «паки-паки» да «Господи помилуй» 40 р<аз>».

...Мне кажется: эти люди так же не могут любить природу. Они чувствуют смену зимы только потому, что летом не надо тратить дров. Перемены в весне, переход к осени этим людям ни к чему. А уж о том, чтобы примечать, когда цветут какие деревья, как луга и поля сменяют цветами, какие птички когда поют, какие облака бывают в октябре и какое небо в апреле, это всё равнодушные, пустые, будничные до дна люди презирают, эти пустяки для них не существуют. Не существует для них поэзия, ясно что и в церкви, хотя со стороны внешней, для них «всегда одно и то же». Кроме насморка ничего эти люди не находят ни в марте, ни в апреле.

– Что ж хорошего в марте и апреле? Деревья абсолютно голые. Под ногами сырость...

...Я вот вчера шёл от Мефимона и всё дивился вечерней прозрачности неба и тому, сколь высоко, в самом зените купола небесного стоит серп молодого месяца.

Над самым верхом церковным первомесяц-от сиял. Дак и над всем городом. Остановлюсь нос утереть (у службы голова назябла) и всё на Божий месяц мартовский дивлюся. Я может за тем к «мефимону» хожу.

9 марта

Вот и мучеников светла и прелюбезная четыредесятница. Всё думалось в зиму-ту: придут 40 мучеников, то и весна пойдёт. Миша вчера говорит: «На лыжах гоняли, я высматривал проталинки, куда жаворонку сесть. Не видать проталинки весенней».

...Брателка на рассвете кашель опять одолевает, с мокрыми ногами день-от бродит. Сегодня и я руку с одра своего не могу за пирамидоном

протянуть. Лбом прижмусь к стенке каменной, холодит, дак и легче. И охать, и рёхать совестно. Братишко долго кашлял, пускай де уснёт часок. Но он и во сне слышит: чуть я квокну, скрипну своим сундуком, печальник мой сопеть перестанет, спящий расслушивает... Ежели я равномерно дышу, брат продолжает спать. Но сразу почувствует, если я хоть и молча сижу в моём углу, а не лежу. Шепотком (чтоб на всякий случай не разбудить) спросит – ...спишь?

...Брателко, я говорю, не тужи ты о моих напастях. Про прежних людей сказано, что есть жизнь человеческая: 70 лет или 80, а дальше труд и болезнь. В наши дни заместо 70–80 лет поставим 40–50, а дальше труд и болезнь. Каковы веки, таковы и человеки. Наокруг молодёжь войною перенята, перетоптана, без ног, без рук. Иные, опять, с чахотками, с язвами, с пороками сердечными. А то, вон, с почками, те, и не старые, а склероз общий... Брателко, много ли здоровых-то? Все в болезнях, в печалях, в воздыханиях... Брателко, свет мой, не тужи. Кто в наши дни весел скачет, того Бог забыл.

Будем соглядать ныне Христа, Бога нашего, и того распятого.

Сегодня лужа за окном светит, небо в ней отразилось. Вчера, бредучи от навечерни, гадал – к теплу ли, к холоду туск на город опустился. С утра-то, ещё окна не раскутаны и башка тошнотно скована, а любо сознаньем уловлять грай вороний и крик галичий и чириканье воробьев.

Снега опустилися, скоро побегут ручьи. В эти дни плачет над миром и над человеком отче Андрее, пастырю Критский. Плачет, как Мария и Марфа над Лазарем.

И дождь и снег заледенелые-те «седмь холмов» моют сегодня. Туман. Скажи: ноябрь... Нет уж: тепло холода борет, а не холод на тепло одолевает. Что годов сорок назад учил стишки, всё уж вспомнишь: птичка-та... села и запела: как ты март ни хмурься, всё весною пахнет.

У службы, как неграмотный, ухом ловлю слова-те Канона Великого. Нет дома книг... Годы те и беды те мучат, да уму учат. Уж не «настроения» великопостные художнически ловишь (сие на песке здание), а диагноз болезни своей от врача пречудного и авторитетнейшего приемлешь, купно с сим и несомненный, и вернейший, и благодатный способ исцеления. Ниц лежит великий отец наш, певец канона, ниц лежит, повергся к ногам Иисусовым и рыдает, и молит о всех людях и о каждом человеке. И нас зовёт, в наши убогие уста свои дивные, умилительные речи влагает.

Помню я, – красоты слога и стиля в сем произведении средневековой византийской литературы я искал. Теперь, слушая, знал, эта книга, – лоция для всех нас, житейским морем плывущих. Канон Великий – лечебник, богоносным врачём душ и телес составленный, и умилительный, высокой поэзии исполненный. Се есть врачевство Иисусово.

«Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостеся»[1]. Сораспнёмся Христу, сопогребёмся Христу и со Христом воскреснем. Тогда «слёзы людские неутолимые, неисчислимые, льющиеся как дожди осенние», – ненастные, тогда горькие, полынные сии ручьи слёз претворятся в реки умиления, падающие в безбрежное море радости о Христе Господе.

...Зеницы ока сердечного, глаголет врач, слезами покаяния омой и увидишь свет вечный. «Господи, я драхма погибшая, найди во мне образ Свой»

...Поёт хор слепых. Канон поют стройно. Тропарь «Душе моя» поют сильно.

Лик слепых поёт за народ. Предстательствует за нас. Моленье их, обездоленных, доxоже к Богу.

10 марта. Пятница

Бог всё исполняет. Пребывание Его, везде сущего и вся исполняющего, подобно благоуханию цветка, растворённому в воздухе... Одни ищут сего благоухания и наслаждаются им. Другие сего благоухания не слышат. (По свидетельству мед<ицинской> статистики, количество людей, лишённых обоняния, велико.)

Не слышат благоухания и негодуют на обоняющих запах любимого цветка. Ведь запах невидим, неосязаем. Значит его нет для безносых. Наша сифилизация лишила носа многих.

11 марта. Суббота

Не только в деловых отношениях, с посторонними, но и у себя в семьях живут люди как кошки с собаками. На стороне-то ещё сдерживаются, а уж дома... Голодно, холодно, босо, наго у всех... Сердце-то кипит на сытых, на ловких, на тех, что к пирогу-то присоседился, сердце рвётся в куски, а раздраженье на близких вымещается. Зинка, Маруська с работы придут и ну ребят дуть. У интеллигентов-педагогов (набрано у каждого по 10–13 часов в день) ежевечерние истерики у него и у неё. Одиночки-интеллигенты нашего дома, уже старые, много лет дружившие, еле кланяются, годами не бывают друг у друга. Я как-то шутками говорю одному:

– Пушкин, человек светский, воспитания светскаго, человек молодой, своим разумом нащупал корни древа жизни, ветви и листья которого зачахли, перестали видеться в образованном обществе, но корни, по существу бессмертные, живы и действенны были в народной вере...

– Пушкин???

– Да. Он знал, где аптека помогающая, единственно пользующая в осложнённых и многотрудных отношениях людей меж собою. Пушкин в чудных стихах изложил молитву, во все времена «священник

[1] См. Ин. 11:1–45.

повторяет во дни печальные великого поста». Это: «Господи, Владыко жизни моей...».

– Мало ли каким настроениям мог поддаваться поэт...

– Нет. Это не было минутным настроением. В сложном мироощущении Пушкина чувство религиозное было как подземный, сокрытый, но живой ключ... Так вот, в помянутой молитве Ефрема Сирина есть слова: «Ей, Господи, Царю, даждь ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего...».

– О, Боже! Начали за здравие, кончили за упокой. Начали Пушкиным, кончили нянькой Агафьей. Неужели вам не скучно и всерьёз вы повторяете все эти допотопные истины, всю эту прописную наивную мораль... Вот у жены брат, молокосос. У мальчишки скверный характер. Приходит из команды. История с комсоставом, издевательства товарищей. Настроения свои и раздражения на всех и вся тащит домой. Дерзит, грубит... Что ж, поощрять, допускать некорректное отношение?.. Или, вот, – дражайший тесть... Приходит с ночёвкой, мешает работать, от него пахнет лекарствами, ночью он кашляет, на всё обижается, лезет с советами, берёт в долг и не отдаёт... Жена его жалеет – он де приходит со своим хлебом... 300 грамм!.. Или соседи по квартире. Лимит у них 3 гектауатта. А жгут плитку! Накрывали их два раза. «У меня дети. Вы сами жжёте день и ночь». – «У меня, говорю, лимит научного работника, тридцать гектауатт...» – Знаю, что жжёт плитку и эта спекулянтка из третьего номера... А счётчик общий! Штраф платим все, и я, и я с моим лимитом! В прошлом году погасили за пережог всех. Соседи воруют у меня дрова. Что же; я буду «зрети моя прегрешения», а вы садитесь мне на шею?..

– Вот вы говорите, у брата жены трудный характер... Посторонние его не щадят. Вы, как известно, воспитывали его с детства. Думается, жалеете его. Кроме вас, кто ещё пожалеет с его характером. Не в казармах же... Если казарма не может примирять в себе «дух терпения и любви», то всяк человек в своём сердце может...

– Оставьте! Старо, скучно, пахнет семинарскими щами и старушечьими шамками. Нужна воспитанность, корректность и джентельменство!..

– Прежде брюзжащее равнодушие к «прописным истинам» церковным ползало каракатицей в тине и иле заводей житейского моря. Там же, где прятался, караулил своё время и страшный спрут-осьминог богоненавистничества, и убожество духовное ныне получило все права гражданства. Воинствующее безбожие люто гонит тьму. Равнодушие к вере ни в тих ни в сих. «Двух станов не боец, а только гость случайный»[1]. Равнодушного, холодного к вере и Церкви человека может шокировать богохульство. Холодные к Церкви люди иногда коллекционируют, например, иконы.

[1] Начальные строчки стихотворения А.К. Толстого (1858).

Живущие вне Церкви и веры люди могут быть честны, что называется «порядочны» в житейских отношениях. «Долг» может заставить их терпеть бедных родственников, помогать бедному соседу. Моя знакомая пожилая девица, бывшая бестужевка, работала ряд лет сестрою милосердия. При полном религиозном нигилизме (стиль 60-х годов) она душевно мягкий человек. Её назначили к умирающим. Она внушала, что никакой будущей жизни нет.

– Вам сейчас больно, страшно, вы жалеете, товарищ, детей, жену, мать. Это всё моментально оборвётся. Вы перестанете страдать и т. п. Эта особа баюкала умирающих.

Эта сестра милосердия самоотверженно могла сидеть у одра больных, которые ей нравились, внимали ей. Но грубости она не терпела. Прощала, но сторонилась.

Иногда видишь такого человека, улыбающегося на вопросы веры, но филантропа, и думаешь: сердце-то у тебя родилось в христианстве. А мозг-от подбирал крупицы, падающие от скаредной шамовки безбожников. Не вина, дак беда твоя тут.

Часто тут беда, а не вина. Как убедишь человека без носа, что луг, по которому мы идём, благоухает. Человек, лишённый юмора, с недоумением смотрит на смеющихся по поводу анекдота. Лишённый поэтического чувства никогда не поймёт, для чего нужен Пушкин, Тютчев, любой лирик. Так и в рассуждении о Боге.

12 марта. Воскресенье

Материализм квалифицировался на вскрытии трупа. А живое материализму неподсудно. Откуда в организме жизнь, что такое жизнь – матерьялизм тут слеп и глух. Поелику матерьялист есть шарлатан, наглец и жулик, он говорит: я всё знаю, я до всего дойду. Но ты ему не верь, токмо плюй на него. Он это любит. То ему и омовенье. Весь мир продушил, безбожник, мёртвый пёс!

А наша часть на земле живых. Нам, еже к Богу прилепитися, благо есть. Не то жизнь и не тут жизнь, где в буднях ковыряются человекообразные (пущай их много!). Истинная жизнь празднична, светла, радостна. Истинная жизнь, для которой и рождён человек, лишь в аспекте Святой Троицы. На древе жизни вселенском благосеннолиственном нашу Мать Сыру Землю «прогресс и цивилизация» века сего превращают в пустой орех. В пустом-де пространстве механически вертится. Всё мироздание гробокопатели гробной крышкой прижимают. Всё-де машина, механизм. А кто механик? Не было-де начала; материя вечна. Объясни, что такое вечность? Не объяснишь, провонялая душа, растленный ум.

И о сих до зде. Догнивайте, проклятые! Аз же возвеселюся о Боге Живе. Часть моя на земле живых. Радость моя и пение моё Господь.

Сегодня весна пришла разливная. За один день снега по дворам, по улицам водою по льду взялись. Я со двора не ходил, а из окна вода, и в дверь вода в подвалишко наше бежит.

Заря в оконце моё по-вешнему золотом прозрачным долго глядела. В ночи хвалится Господи небесною красою. Месяц и звёзды меж кудрявых облак. А тепло. И с крыш вода льёт. Только бы радоваться светлому марту, приходу весны. До Благовещения осталось 12 дён... Вся-та вера христианская есть благовещение миру. Весть благая.

13 марта. Понедельник

В сердце-то своём веру не часом сбудишь. Как печь, полну золы, сырыми дровами не скоро взбудишь. И Бога «внутрь себя» не скоро узришь. Очи мысленные, очи сердечные доспеть – подвиг велик. А ты природу люби. С этого зачни. (Ин путь велик: человека жалей, любить зачни человека.)

Ежели у тебя измятого да замученного сейчас для людей-то как бы и сил нет, ты приникни к природе. В ней Бог разлит. Природой и внешнее, телесное наше око может любоваться. Природа велико лекарство на скорби. Вино и елей на раны... Вот опять братишечка моего прибило к постели простудой. Я перед рассветом проснусь, он по долгом кашле дух переводит. Я пореву малость, башку заокутав. Он уснёт, я подлезу к окну. Рассвет... Небо водяного цвета отразилось в простёртой к моему окну подошедшей луже. И забор, что напротив, и деревья в воду глядят... Тихо, безлюдно. Небу, водам, деревьям и мне никто не мешает меж себя поговорить. Небо с водами, земля с деревьями, рассвет – они все в тихости великой и положат мне на сердце тайное слово.

Сунусь в ночи к оконцу, а мне, нищему, оттуда рубль бесценный в руку.

14 марта. Вторник

Адов везувий, пепел мертвящий, всё поедающий, всё иссушающий, давно уж извергает на жизнь человеческую. Из сознания, ума, из сердца человеческого пепел мёртвый, всякое живое воздыханье, всякую живую взыскующую Бога мысль, всякое горнее стремление, всякое искание вечной красоты – всё истинно живое, живоначальное, – всё это иссушает в людях мёртвая, растленная, инфернальная по существу житуха века сего. В первую очередь съедает эта проклятая засуха живое стремление у молодёжи. Молодёжь ведь наиболее беззащитна. Сердце раскрыто, ум неопытен. Универсальная натодельная пыль из года в год осаждается на молодых умах. И ничего в результате, кроме кино, молодые не знают. Всё острижено под гребёнку, всё посыпано мертвящим ипритом безбожия, равнодушия к вопросам самым важным, самым нужным. Эта масса не имеет данных, чтоб в будущем и при благоприятных обстоятельствах обратиться к религии. Конечно: «Дух дышит, где хочет». Сердце человеческое будет искать Бога и правду, но уж не будет того, как было, – рус-

ские все православные, французы – католики. Среди русских будет много православных, но не вся нация. Многие будут безразличны к вере.

(Я вижу Бога в природе... Думаю – тужу – но мне нужна среда. Книги – живые люди.)

Для кого же работает или должна работать и нужна ли работа в области религиозной мысли?

Мир сей во зле давно лежит. Избрал сие самовольно и самоохотно. Отсюда и власть над миром сим и веком сим похабной, скаредной, ничтожной, сырой, будничной, мёртвой житухи. Житуха и впредь будет давать человеку камень вместо хлеба, змею вместо рыбы. Но значит ли это, что чистый хлеб пшеничный должен потребиться на земле <?>.

Свет во тьме будет светить, тьма не угасит его. Окаменил враг сердца людей. Господь и из камня изведёт чад Церкви. Пусть будет два да три – Христос посреде нас. Где велико стадо – то антихристово. Руды вороха, злато крупицами, но что дороже? Пускай будет верных малое стадо. Они соль земли, они свет миру![1] И сила Божия одолеет зло мира сего.

15 марта. Среда 2-й седмицы В<еликого> поста

На дворе-то солнце, ручьи, воробьи шумят. А мрачность какая-то на сердце, думаешь: то не моё. И причина всё одна у меня: нужда во всём, бедность, а я плохой работник. Требуется, чтоб я мусор, труху, сор вырабатывал, ерзац всякой да суррогат поставлял. А у меня ведь годы далёко, здоровье на убыли. Ответ дам... Тошно мне чепуху-ту от младости до старости людям сказывать. Напротивело мне, что ярмарочному деду паясничать.

Людям нужен хлеб, а я картонажами, хлопушками торгую... Сказки да побаски... Докуда оне?! Невесело зубоскалить. «Шутить и век шутить. Как вас на это станет?..»

Говорят: всё чего-то выдумывает сидит... Думушка моя соборная о том, что «едино есть на потребу». Природа чистая напоена, исполнена пребыванием Бога, разлитого во всём. Поэтому «На груди благой природы всё, что дышит, радость пьёт»[2]. Святые, отрешившись от удовольствия и плотских радостей, убежав веселия мира сего, обрели эту единственную, надёжную, неотымаемую, неиждиваемую радость. Святые видели природу зрением прояснившимся, зрением чистым. Отсюда церковное «радуйтеся», с которым мы всегда обращаемся к святым.

Старец Амвросий Оптинский, ещё будучи малышом, слышал, что ручей журчит, явно выпевая: «Хвалите Бога, любите Бога!». Преподобному Серафиму сосны Сарова шумели: «радуйся». И старец Серафим с тем же словом обращался к людям: «Радуйтеся!».

---

[1] См. Мф. 5:13–14.
[2] Ф.И. Тютчев «Песнь Радости».

Дивная жизнь живёт в мире. «Воскресе Христос, и жизнь живёт во всём мире». Век сей, глядя, не видит этой жизни.

Вот где хочу я учинить моё сердце. Хочу «очистить чувствия и узреть Христа и "радуйся" от него услышать...».

Надо общаться с единомысленными. «Брат от брата помогает, яко град твёрд». «А одному и у каши не споро». И в теперешней моей ничтожности нельзя мне тужить о будущем человечества. Не растеряй того, что есть в твоей нищей суме.

16 марта. Четверг

Алексей – с гор вода. Истинно сегодня и с гор, и с крыш так и моет город-от. Вчера ночью на вешние грязи снег пал. Пречудно так всю ночь до свету лежал, как праздничная скатерть. В остатный раз горницу белым зима убрала. Утре тротуары смокли, стемнели; а там и дорогу омыло.

А я наслушался сегодня вешних-то вод... пошёл к вечерне и к Ивановскому монастырю. Бегут с горы три ручья. Переливный, весёлый, светлый шум. Слышишь в шуме вешнего потока как бы дальние рукоплескания и бесчисленные детские голоса... льёт с крыш на асфальты – это шумовой оркестр. А ручьи с гор – это симфония, богатая мелодикой.

Ночной-то снег туманами взялся над городом. К вечеру дождём стал садиться. А любо так, сходил хоть к величанью. Будто для святого светлого потрудился. Лик прекрасный Божьего человека будто нёс с собой. Из любимых этот день у меня. Всё родину вспомню. Сиянье солнца, белизна снегов, сосули с крыш, бриллиантовые капели в день; тает в полдни. Дни станут долгие...

Дороги навозом возьмутся.

17 марта, пяток. 18 марта, суббота

С утра-то и вчера, и сегодня немогута-лихота долу клонит. В зиму «к снегу». Теперь, знать, к дождю. Свои-то глазишка не глядели бы на свет. Да братишко кашлем извёлся... А кто и забежит, – все с печалью. Р. накоротки приступают, долг требуют старый. Забыла А. Д., как «часто езжала, подолгу гостила», без подарков не отпускали. Старая хлеб-соль забывается. И о сем до зде.

Март-от месяц я всё помню, кабыть со снегом, солнца блеск во дни, облака барашками. Сей год он облачен, туманист, с дождём. А зима была не порато снежна.

Вчера, поди-ко, и единого поклона празднику, Алексею человеку Божию, не положил. И о том печаль брала за сердце. К ночи выскочил на улицу. Уж нигде снежинки не белеет. Грязь, да лёд, да вода. Небо облачное

еле блазнит. Весна пришла. Сердце, полное печали, из комнатёнки на улицу-ту вынесешь: Сыне-де Божий, поговори-ко ты со мною, печаль мою Тебе возвещу. Свете мой Христе, надежда моя Иисусе! Перед миром сим я как обезьяна в бубенчиках приплясываю, а к Твоим бы ногам охота припасть! О, Владыко тихий, Владыко кроткий, незаходимое сияние Отчее! Красота Пресветлая, милосте бесконечная...

19 марта. Воскресенье

Чуть где пообсохли мостки, всюду ребята углём и мелом исчертили. Пустынен был Ивановский переулок, сегодня на пригреве ребят, что воробьёв.

Над старою стеною и крышами монастыря сегодня небо с сильно притёртыми облаками. Думаешь: дождями тёплыми беременно небо.

В раме берёзовых веток ненаглядный уголок старого города. Веточки на берёзках уж с «огурчиками». У вечерни и у акафиста Страстям любо я постоял сегодня.

21 марта. Вторник

Вест силён, вчера с дождём. Так и сгоняет и лёд, и снег. Сказывали, что в Хотькове уж в феврале водные те жилы посинели, март-от деревней ходят со станции: негде долиной... Как бы я поглядел Пажу мою... «Гонимы вешними лучами».

...А тут я в наследье Соломониды Ивановны несколько достославных книг получил, вкупе и свои четьи за март-май. Обретох радуйся.

23 марта. Четверг

Подходит день благоуханный, день света, день радостный. Букет белых лилий и роз готовит небо земле. И по земле уж слышится небесное лилейное благоуханье, и земля уж знает и ждёт... Сегодня ещё говеет Архангел, не смея ступить за порог... Говеет Дева, опустив очи в книгу пророчеств... Говеет и вселенная... Но тихостью объята земля. Но уж слышен шелест архангеловых крил. Уж готово разверзтися небо... Свет хлынет оттуда. Благовест радости великой пронесётся по земле, восхвалят небеса Божию славу.

...Благовещение сходит на землю... Как будто в закоптелую, душную, заколоченную комнату врывается струя вешнего воздуха и вносится целый сноп благоухающих цветов. Благовещение – будто в казармах века сего вземлится низкий, чёрный, давяший потолок, и мир сей, по будням затасканный, видит лазурное весеннее небо, слышит пение птиц. Благовещение: отёкшее водяничное лицо своё мир сей, грешный, несчастный, подымает к небу, слушает забытые слова: «Радуйся,

Обрадованная, радуйся, Благодатная...». Свирель ли то пастуха доносится с просыхающих полей, или гусли ангелов. Днесь небо являет земле вечную тайну.

Праздник Благовещения... Всё здесь трепет, всё весна, всё радость и предначатие радости... Умолкает лязг, визг, грохот мира сего, превращенного житухою, змеёю подколодною, в гараж... Не слышим бензинной вони, мнящейся разлиться в масштабах планетарных. Днесь весна благоухает, чёрный гараж превратился в горницу уготованную. Поля подступили к ней, бескрайние. Беспределен купол Храма нерукотворённого. И мир сей – Церковь Господня. И вечную тайну благовествует Земле Архангел.

24 марта. Пятница

Праздник вечен. И чины богослужебные уставлены на веки – пение, чтение, изъясняющие силу и угодье праздника. Но у каждого человека, допустим, что и у каждой эпохи, свой вкус, свои способности, свой стиль. И празднуя святый день, подклоняя голову под венец Дня праздничного, своё может любить в нём тот или другой народ, тот или другой человек. Сквозняками выдуло из нас силу и способность чувствовать день Господень. Но ещё остался нежный аромат, осталась любовь, например, к Благовещению. Мы понимаем, что не праздник побледнел, не праздник умалился, а мы ослабли сердцем и умом, мы – вылиняли, упали, обескрылели. (А. Критский умиляется о Троице – проста-де.) Светлая гора праздника всё та же, это у нас украл враг наш лучшие и нужнейшие силы наши: непосильна нам гора-та, высока порато.

Благовещение... Сколько волей, другастолько неволей вылили мы из сосуда жизни нашей драгоценное миро праздника. Но аромат мира не утратился, осталось нежное благоухание. А давно ли великим грехом было задеть работу в этот день: «Птица-де гнезда не вьёт». «На волю птичку выпускали при светлом празднике весны».

...Выйдешь в поле сегодня: голубое небо, ветер весенний гонит воды. Вешними водами, что глядит Земля в Небо. «Благовествуй, земле, радость велию; хвалите небеса Божию славу»... Мы и сами не сознаём, что нам здесь так любо и так сладко. Вешние ли проталины, шумящие ли воды, вербные ли барашки, грач ли что, ведь сегодня Благовещение. И кому поёт сердце: «Радуйся, Обрадованная, Господь с Тобою...» – Марии благодатной или земле обрадованной?

...Всяка, говорю, эпоха и человек своё любит, своё выбирает в празднике. (Прав ли он или не прав?..)

Я сегодня улучил часок; в четье-минее (издание конца XVIII века, Киевской печати) чёл «Слово на Благовещение». Не в том дело, что печать слепая и глаза слепые, а в том дело, что первое основное «Слово» оборудо-

вано весьма тяжело и громоздко. Всякая деталь оговорена ссылкой на такого-то и такого-то историка. Дамаскин и другие творцы канонов, стихир не боялись поэтического предания, легенд. В богослужении, в каноне эта поэзия легенд о празднике благоухает, как цветы, сияет, как жемчужная риза праздничной иконы...

Поэты – Дамаскин, Иосиф, вдохновлённые темою своей поэмы, в творческом своём порыве охапками хватают цветы поэтических преданий, хранящихся не в Писании, а в устах верующих. И этим цветом украшают песнь святую, не оглядываясь опасливо по сторонам. Тут же историко-географические справки. (Помню в Слове на праздник Введения целый архитектурный трактат о храме Иерусалимском...) Совсем научный трактат лютеранского богослова (с их скрупулёзной тщательностью в источниках-справочниках). Компиляторы – авторы этой редакции «Слова» – как бы боятся брать на себя поэтическую образность, которою так богаты древние торжественники (Беседа Саваофа с Гавриилом. Пространная беседа Марии и Гавриила). И вот компилятор ссылается на Кедрина[1]<?>, Вальсамона[2], Амвросия[3] и т. д. Учёность «редактора» XVIII века бывает наивной, очаровательной.

Иной характер, цельный и живой, носит второе слово Киевских четьминей о Благовещении. Слово Златоустого. Первая страница, эти бесконечные повторения. «...Послан бысть Гавриил»... истинная музыка. Это рокот античной кифары с одним и тем же начальным переливом струн: «В месяц шестый послан бысть Гавриил...».

Нам, любящим лёгкие настроения, трудны сейчас чисто античные, вернее, антично-библейские образы, представления, беседы, как например (в слове Первом, цитирующем древнего учителя Церкви), Гавриил, смущённый поручением возвестить Деве рождение, говорит Саваофу: «Конечно, Ты всемогущ и можешь иссохшие уды оживить и увядшую трость восставить...» В этом же Слове повторяется о сердце Девы, пламенеющем любовью к Саваофу. Говорится, что в час благовестия и зачатия Дева ощущала неизреченную сладость не плотскую, но духовную... Здесь говорится о великом, чудном и прекрасном. Это не схолии, не аллегории. Но отвыкли мы, увядшие, опавшие, ничтожные, от мощных красот и святыя Библии, и античного мифа. Не в силах мы взять их силу чудотворную и животворную.

Вечен праздник. Своею мыслью, своею умною песнью может чтить его всяк народ и всяка душа. И особо может чтить Благовещение душа Руси Святой в эти ранние весенние дни, когда «ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят». Когда тишина стоит на полях и песня вод многих не нарушает её...

Радуйся, Благодатная, с Тобою Господь.

[1] Кедрин, Григорий – византийский историк XI века.
[2] Вальсамон, Феодор – византийский канонист, патриарх Антиохийский (ум. в 1199 г.).
[3] Амвросий Медиоланский – миланский епископ и проповедник. Один из четырёх великих латинских учителей церкви.

25 марта. Суббота

Оказывается, картины времён года сменяются быстро. Даже зима; это только по инерции мнится, что долго и единообразно она тянется. Много ли я в памяти и в эмоциях пейзажей зимних, натодельных, зиму венчающих, особливых успел ухватить?! Помню, мимо Ивановского монастыря шёл, зимке снежной, старорусской дивился. Малыми днями позже картина являла туман, мокрые льды. А к Мефимону шёл, ручьи шумели. А на 3-й неделе поста обсохли горки-те.

Вчера ко всеношной шедши, чисто весенней, трепетно нежной голубизне неба дивился. Над старыми глыбами Ивановского монастыря тонко и певуче возносилась твердь, голубая в легковейных облачках. Ни в церковь, ни из церкви нельзя было пробиться. Царственным таким напевом пета была стихира «Совет предвечный». Те же певчие умилительно и «Архангельский глас» пели. Остальные стихиры свадебной скороговоркой бойко смотали бабёшки на левом клиросе. Хор слепых крикливо (иногда кажется – они и глухи!), спешно (с каноном здесь не церемонятся) сбывал с рук ирмосы. Тропарей же читали – один или два. А канон чудный: «Да поет Тебе, Владычице, движа свирель духовную, праотец Твой...».

В ночи пасмурно, но светлость марта долго сквозит чрез облака. В ночи же нежданно, видно, праздника ради, устелила город тонко-белая скатерть. В позднюю обедню скатерть осталась лишь по дворам, а с улиц взялась. Небо явилось многооблачно и пестросветло. Плывут по чистой лазури: плат дымчат да плат сиз. Плат серебрян да плат золотой. Стоя в углу церковного двора, разорялся о контрастной живописности светлооблачного неба. Белокаменная церковь необычайно живописно компоновалась с небесным сильным фоном. Тени и света неба и здания были одинаково сильны. Я побежал скорей глядеть Ивановский монастырь. Какая радость художнику! Воздух чист: ни пыли, ни дыма. Отмытый, что мозаика, булыжник мостовых и плитняк тротуаров, что слоновая кость. И громоздкий ансамбль монастыря, тронутый с юга золотыми бликами, а с севера беспрестанно подчёркиваемый перебегающими тенями, придающими такую объёмность пейзажу. Эта призрачная объёмность чрезвычайно живописна в сильном фоне облак, то мутных, то сияющих.

30 марта. Четверг

Ох, как я вчера понял и на своём носу зарубил словеса: «Дух любоначалия и празднословия не даждь ми!». Пригласили выступить на 10(!)-летии организации («учёной») и... не выпустили, затем что «заслуженные» песочницы заняли время... Ну, хамство обычное. Негодую не на эту научно-лакейскую шпану, не на всю эту убогую мразь; горюю о самом себе: что я могу так негодовать, возмущаться, рваться в куски за опозоренье моё перед знакомыми. Как доходит до дела, до столкновения с «людьми», так и вижу я себя таким же, как и вся

эта ничтожная дрянь, – профессора, досенты и т. п. Перечислял председатель доклады за десять лет. Какого мусора гора: не то что празднословие, а пустословие и суесловие. Какая между всякими убогими «научными» организациями чехарда, кто кого перескочит. И в этом во всём варятся, всплывают, садятся на дно... убогое «любоначалие»... Я в гневе на сих оскорбителей моей чести выскочил на улицу... А ночь-та весенняя тихая, звёзды что свечи... Бежавши до трамвая, обдумывал: вот так-то завтра обругаю, выпою... Но, глядя на звёзды, зачитал: «В начале бе Слово...» до конца. И стыдно стало: на кого я горячусь, кто меня оскорбил: насекомые. Уйти от клопиного гнезда и – нет их для тебя...

Окол себя-то всё у меня в беспорядке, куда что рассовано, не помню. Всяким делом волочу долго. Делаю мешкотно. Неисправности мои копятся в большие неприятности, переходят в бедственности. Этот воз везёт брателко, а я иногда толкаю сзади, нередко сам на воз-от присаживаюсь отдохнуть.

Надоел сегодня братишку, расписывая (раз по десять одно и то же) вчерашние надо мною козни. В поздновечернюю зорю срядил он меня на улицу. Напялил шубёнку, на неё пальто, запоясал, нашёл рукавицы и шапку (всегда это в местах необыкновенных у нас завалится) и выпроводил на двор.

...Я долго под углом стою; небо-то светлое не положит ли слово благое в душу... Двор-от обтаял весь; глина. Уж не спорит белизна снега с небом. Одно небо светит. И так обыденкой-то всякой себя ухлопаю, что ничего уж нет на уме-то. Как рыба разеваю рот. Уж всё равно мне, что Лествичника сегодня. Уж не под силу это. Облак лентою стоит над двором... Вот, думаю, облачко это протянулося за город над лесами. Там тихо, сошли снега, воды там, около домов дворы, амбары, сараи, гумна... Теперь насквозь деревню видно. Торчат избушки на голом месте, одна по одной. Ни дворов, ни гумён, ни амбарушек. Было сто мужиков. Сто мужиков с сыновьями в поле выедут... Теперь восемь баб – 100 коней, конь коня лучше...

23 апреля

С детства любим, и по воспоминаньям целой жизни ждёшь, чтоб вот и в этом году Воскресения день как цветок распустился. Как лилию бы ангел с неба снёс... Сей наречённый и святой день. В юности человек всякой день и всякой час впечатлителен, чувства живы, воображение ярко и восприимчиво. Молодость как ручей бежит, на всё отзываясь весёлою волной. Пожилой человек что заводь, подёрнутая тиной. Немал надобен ветер, чтоб застойная-та вода всколыхнулась.

В четыре утра ко второй смене пошёл на утреню... Там и тут, расходясь по переулкам, шлёпают люди, от заутрени одни, ко второй утрени другие. Женщины несут куличи в белых салфетках. Здесь, над этими облезшими кирпичными громадами, необычной казалась светлость и тихость апрельского утра.

Служба в боковом приделе. Главный храм тих, народ со свечами, царские врата отверзты. В пустом от людей алтаре ангелы совершают безмолвную службу. Жёлтое сиянье поручных свечей озаряет белые пасхальные венки у икон.

Пасха Христова! Такое безбрежное море счастья, что стяжи только «сердце чистое», «очисти чувствия», и утонешь ты в этом океане благодати, счастья, радости.

Как будто ведь и людишки всё те же: с заботами, с болезнями, с делишками. Но, нет...

Чудо настаёт: в мире, в небе, и земле, и в преисподней. Радость таинственная, как реки весенние полноводные, льётся в наши сердца, радость Воскресения Христова, светит сегодня тёмным нашим душам Пасха священная, Пасха таинственная...

Как это можно жить без этого «пира веры», как это можно отказаться от такого «богатства благодати». Кто захочет оставаться в мире тьмы, когда рядом всё исполнилось света, когда рядом царство света, мир ликования, сокровищница радости.

Но почто при свете Воскресения я ещё оглядываюсь во мрак, в царстве радости вспоминаю кромешную тьму безбожия.

Ныне все исполненные света, небо и земля празднуют Воскресение Христово!

Приникни к вере Христовой, войди в церковь Христову, очистим чувства и увидим, что природа и вся тварь не мертвы, не бездушны, не механизмы. И земля, и лес, и воды, и древеса, и травы, и цветы, и птицы, и зверь знают о Воскресении, и радуются, и живут о Христе воскресшем!

...На дворе вижу братца и Мишу. Подняв лица, слушают...

– Я думал: день свят, а люди спят. А они глядят кого-то?!

Журавли, журавли летят... И я услышал как бы тихий струнный звон. Журавли пролетали в небесных полях, высоко над Городом... И Мишка так восторженно:

Снова птицы летят издалёка
К берегам, расторгающим лёд,
Солнце тёплое ходит высоко
И душистого ландыша ждёт.

Так со стихами Фета домой зашли, за стол сели. Братец сюрпризом чашку маслин припас. Белую булку и сладкое в ночь съели, разговляясь, и теперь услаждались чёрным хлебом с солью и маслом подсолнечным. И до кофею мы трое любители. Не красна изба явилась пирогами, а углами красна. Намытые полы улыбались, натёртая деревянным маслом грузная

дедова мебель сияла. Тут ещё «открывается первая рама, и в комнату шум ворвался»[1]... От ветерка запозванивали фарфоровые расписанные яйца на голубых лентах у образов. Среди стола кувшин с вербами. Барашки опадают, и на веточках будто ангелки сидят с бледно-зелёными крылышками... Чёрный хлеб, чёрный кофей, а получился настоящий «simposion».

Я хвалился светлой праздничностью утра. И любо же было слышать, как Миша под прозу моих речей подкладывал поэзию Тютчева, как парчу под редиво:

И в нашей жизни повседневной
Бывают радужные сны,
В край незнакомый, в мир волшебный,
И чуждый нам, и задушевный
Мы ими вдруг увлечены.

Мы видим: с голубого своду
Нездешним светом веет нам,
Другую видим мы природу,
И без заката, без восходу
Другое солнце светит там.

<Апрель?>

...Наука века сего с важною миною говорит: у меня всё на опыте и точности. Но удивительное дело: сколь скаредны, убоги и жалки у них сии опыты и точности. Мёртвое дело!..

Что мне в том, что пересчитала, перебрала ты, «наука», все мои жилы?! Для жизни мне нужна радость. Без неё не перенести мне неизбежных скорбей, бед, болезней. А радость эту ты, «наука», выдёргиваешь из-под моих ног, что мост ломаешь через яму. Без радости человеку незачем таскать своё тело. Что мне в теле моём, болеющем, имеющем разложиться? Мне важен дух, поддерживающий, окрыляющий тяжесть тела. Чувства мои должны питаться только радостью...

...Брату говорю: пока сумерки да небо видать, сплаваю переулком. А и опоздал, выскочили электробельма, скрало небо. Я дал задний ход во двор. Но по случаю тёплого вечера отворены все окна примыкающего к нашему двору пятиэтажного дома... Тряся одеялом за окно, какая-то Роза кому-то апеллирует:

– А всё-таки Эренбург есть Эренбург! Что?..

Из окна другого этажа несётся как бы предсмертная икота: певица изображает алябьевского «Соловья»... Да, пришла весна, там лето... Всё, что боялось зимы, пряталось в своих ящиках, вылезло на улицу. Зима без

[1] А.Н. Майков «Весна!». Точнее – «Выставляется первая рама...».

разговоров затыкала рты... Осень всех заставит убраться по своим конурам. Зима одна царствует, белая, звёздная, чистая. А лето – оно бессильно в городе. С апреля погано станет: вонюче, оруче, пыльно.

Стою в закоулке двора, где только стены без окон темнеют да неба тихого полоса. Занакрапывал украдкою дождь. А мне стало весело. Да что же я тужу! Разве я прикован?.. Да сядь на трамвай, и вывезет в тихость весеннюю. Велик ли город-от по сравнению с просторами светлыми, где не затоптана, не скована, не заплёвана Мать Сыра Земля. Много лесов, много полей чистых, тихих. Велики просторы Руси родимой. А се и в городе есть тихий час рассвета, весною особливо прекрасный.

А потом, а главное: «се грядёт час и ныне есть», что в себе самом возрастёт, откроется, расширится Храм-от светлый. Ты сам будешь храм, ино куда пришёл, там и служба Божия, там и тишина... Не одолит лязг трамвайный... Самоед, лопарь везде у себя дома. Куда прибежали олешки, там он и расставил свою вежу, и огонь развёл, и постели<л> – как век тут жил. Сердце своё сотвори велико, широко, в нём и будешь жить. Телешко твоё низенькое, а сердце твоё сотворится широко, велико. У тебя пазуха-та что царский дворец будет. В нём ходи да ходи...

<Апрель?>

Не посетовал на город в это утро. Свежесть ранняя, дышать резво. В Ивановском переулочке особливо хорошо. Подойду да постою, полюбуюсь. Великие облака, что с ночи стояли, на мелкие роились. Барашками небо взялось, что ангелочками. И лазурь меж облак чиста несказанно, Переулочек омытый, камешек к камешку, плитняк чист. Тоненькие веточки ещё безлистые на фоне весеннего неба... И воробьи на монастырской стене: «Чив-чив, чив-чив!..».

Откуда поэт-художник? Что это такое? О чём истинный поэт нам толкует? Тот поэт, кто не почивает на житухе обывательской сытой ли, голодной ли. Мысль поэта имеет «криле позлащение голубини». И любо поэту, когда мысль его в каковом-либо месте, в каковой беседе с единомысленным человеком может привитать...

...В незакатной белой ночи Севера любо «криле-те голубини» расправить, чуда слетать. Там моё радование... Не пуста Россия-та! Люби, храни сердцем и мыслию места-те святые Святой Руси. И не сомневайся, что оне и есть на своём месте...

Тепло и светло на душе, и жить самому легче, и Бога преславишь, как отрясши сон житухин, доброю и здравою мыслью очувствуешь, уразумеешь радостно, какой сегодня день-от...

Соломонидушка, бывало, скажет:

– Ты всё дома, как печь. Печи никуда не надо...
– Я, Ивановна, умом летаю, где мне любо. Везде на оконце посижу...

«Разумом молчи, разумом глаголи». Правило основное в быту и премудрое. Живя в разуме, сам себя бережёшь и ближнего. Береги ближнего, войди и в разум сего святоотеческого слова: «Кто себя видит, в брате не видит». Ежели б мог я себя по-настоящему, каков я есть красавец, увидеть, дак ужаснулся б я. Брат-от ангелом бы показался. А ежели и бросил отругиваться, опомняся, захлопнул пасть-ту свою окаянную, дак без злобы язык-от прикуси...

Лукавой ведь может подсунуть тебе сознание: «Вот-де МНЕ что приходится выносить! Вот-де что Я терплю!..». Ложно сказано: «Не видал я праведника оставленнаго...». Вот эта собственная бешенина и застит нам глаза, не даёт понять, что не мы терпим, не я терплю, а от меня, и только от меня терпят.

Тепла всё ещё нет. Сухо. Ввечеру сквозь мреющий в небе туманец сквозит молодой месяц. Город, улица, люди живут чем? Война б скорее кончилась, пых бы перевести. Живут страхом: нова б не началась... Живут тем: к пайку б что добавить, безразлично какими средствами – блат основное. Добыть дровишек, ужулить электр. ток, ухватить паёк, достать картошки, перелицовать лохмотья, добыть что-нибудь на ноги... Плюс ко всему из строя выходят водопроводные трубы, валятся дымоходы. На этом фоне всевозможны слухи, ожидания, предположения о конце войны, о союзниках, о японцах... что-де будет дальше и т. п. Люди выжаты, измотаны, измочалены. На уме одно: как бы живым вообще остаться. Эта бедственная житуха заботит, трясёт, мучает людей...

Уж не воротится эта чудная в году пора – начало апреля. Уж сухо в городе, но ещё нет пыли. Ещё голы деревья и сквозит меж ветвей блещущая лазурь, а вечерами высоко, в зените неба стоит маленький серп молодого месяца. Утрами хрустит ещё ледок в колеях уличных перекрёстков...

Один из мудрецов века сего (Д. Бедный) изрёк однажды, что все талантливые люди – поэты, художники, музыканты – непременно имеют большой вкус к плотскому любострастию. Сей опыт дебелой плоти противоположен иному опыту. Опыт иного сознания и самопознания, опыт иного ведения предлагает: оставим плоти сладострастие, возрастим души дарования. Чтобы расцвели творческие (единые на потребу!) силы, надо, как одежду грязную, как раз чувственность-ту и сбросить. Пусть человек отдаст долг плоти сладострастию в молодые свои годы, пусть отдаст долг матери

Природе. Этот хмель пройти должен, разум должен очиститься. До сорока годов пущай хмель-от одолевает, после сорока протрезвится. Очисть ум-от, мысль-ту от хмельных грёз. А то и тело уж старое, слабое будет, а привыкшая к молодым сластям мысль и воображенье всё ещё позорно будут нудить к жалкому разврату немощное тело. Не позорь возраста. Пусть молодость там, в «долине роз», в чашечках своих цветков копошится. Пусть молодость и воображает, что вокруг пола всё в мире вращается. Им дальше... и видеть не должно. А уж зрелому-то разуму иные горизонты открываются. Что у юного красота, то у старого срамота.

Трудно бывает человеку перейти малость и низменность телесных похотей, понять, осознать и вовремя им их место указать. Поэзия, музыка, живопись, скульптура как раз внушают, что в плотском сладострастии, главная сущность бытия. Отсюда неудовлетворённость, разочарованность, мрачность, пессимизм пожилых людей.

Бывало, как важно держал себя старик, как значительно было его лицо. Недаром вечная книга заповедует: «Перед лицем седого восстани и почти лице старче». Старость стала презренной, уж если не в силах ты молодым казаться, дак тебя и на свалку.

Но эта торжествующая дикость и примитивизм не стоят внимания...

Итак, иным венком, чем юность, должна венчать себя зрелость человеческая. Очистивший сердце от мути сладострастия, а через это стяжавший себе и ума светлость, с улыбкой глядит на утехи молодости. Просветлённый ум знает, что всё это надобно – и красование юности, и утехи брачные, знает это разум и благословляет, но соглядает и простирается к тайнам и глубинам иным.

Из оконца виден день, блещущий облаками. Вчера дождили они, сегодня гонит их резвый ветер, что стаю птиц. Ребятишки играют на солнышке. А я... будто и не мой день-от, не моя весна... Око мысленное сырым телом обременённое, что из каземата и на праздник глядит. Не моё-де...

Все эти годы страшные, весь груз непосильный житья-бытья доблестно влачил на себе брателко мой. А в эту, 4-ю зиму припадать стал духом, и здоровьишка негде уже взять... Обтрепались, обносились. Война кончилась, будет ли какая ослаба. Газетёшку-ту нюхают, да трут, да копают: выжать-то надёжу какую поскорее тщатся.

Я так уж себя и считаю юродом, бездельником: не у чего-де живу, ветры ловлю, за тенью бегаю. Сверстники-те – председатель, при академии, с орденом, дачу и машину имеет; мимо проедет, грязью оконце моё обдаст, не увижу я ни облачка, ни соседнего забора. Что же, неужели в самом деле смолоду-то надо было не лазури небесные соглядать, а что собаке-ищейке носом в землю практически обеспечивающие дорожки

вынюхивать?.. Бежать по следу такого хозяина, у которого кока с соком запасена... Конечно, у ... <нрзб.> верный нюх, знают, где жареным пахнет. Давно у тех окон сидят, хвостом виляют. И много их. Тёплая компания. Овсянку с мясом им дают. Сахару на нос положат, скажут: «Пиль!» Они фокусы умеют показывать... Нам так не уметь.

Ложью век пройдёшь, да назад не воротишься. Умирать все будем. Тошно будет при смертном-то часе. Для чего-де жил? Исполнил ли то, что тебе задано было в жизни? О чём сердце смолоду горело, к чему живая душа твоя рвалась, то куда ты дел? Вот что при конце-то жизни совесть спросит.

Это, конечно, к Леоновым не относится. Их сознанье совестью сроду не было обременено...

Весна идёт, на сердце всё прискорбно, неустройно житьишко-то. На мели сижу. Никто с мели не сдёрнет. Нужда братко держит, не вывернешься. Горе-злосчастие – свет из очей теряется, долу меня гнёт. Извне веселье – весна идёт, а внутри меня нету радости. Знаю, что она должна быть во мне, сердце моё – ларец, и положена была в него радость, да ключ теперь теряю часто, не знаю, куда засуну, память худая.

Голодуха, скудость во всём, лохмотья всех наокруг одолели. На сытых и одетых глядят жадно, завистливо. И всеобщий, всеодержимый, единственный у всех идеал и смысл существования: урвать и мне своё от жизни. 10% сыты, пьяны, и нос в табаке. 50% воруют напропалую. 40% из кожи лезут, колотятся-бьются, не хотят подыхать. В деревне идеал: огородишко... ещё козу купить... Мечта и тема разговоров: пара башмаков, хоть одна на всю семью. Событие: получить брюки, рубахи, платьишко бумажные... Жить надо, как вор на ярмарке вертеться. Под лежач камень вода не подойдёт. На дом к тебе никто за твоим товаром не придёт. Не расхожий у тебя товар-то. На любителя...

8 июля

Всё мне-ка град Устюг Великий на ум приходит. Кабыть я в нём бывал. Думается, что в теле мне там не бывать, а по исходе душа, небось, слетает тамо на Двину мою тихославную... Кабыть ночь светлая, июньская. Взор умный летит над лесами, конца им нету... Реки вьются, отражая светлое северное небо... И вот стоит дивный город: одни храмы Божьи белые. Древний, таинственный град, Устюг Великий. Родина отеческая... Устюг Великий, Соль Вычегодская: что сказку вспоминал отец мой и тётка. В юности уехали они с родины к Белому морю в град Архангела Михаила.

Древний, пречудный город, весь в славе былого, весь в чудесах.

...Север мой! Родина моя светлая... Песенные реки...

В храмах родимого города Архангелова везде были древние иконы, чудные лики, таинственно прекрасные, пренебесные. От младенчества полюбил я, и навык я видеть в церкви древние иконы. Смала запечатлелась вечно живая красота икон в сердце. И любил я её всю жизнь.

И вот приходит старость и болезнь. Чаще и чаще мысль сердечная и око умное радетельно летит туда, на милую родину. Как бы снова обхожу храмы родимые, в которых молился, куда любил ходить. Всё вижу: будто Двина развеличилась и град Архангельский... Вечерня... В тридцати храмах, что стоят от верхнего конца города к морю, белея, отражаясь в водах, во всех храмах ударят к вечерне...

31 июля. Понедельник

День-то маялся с головой. К ночи вылез на воздух, сел под ясень. Любо так... Повеет ветерком... Гам городской утихает. Бельма оконные одно за другим, этаж за этажом гаснут, спят. А то пялятся не видя... Спокойнее да спокойнее думать. Людские домища завели свои бельма на сон, но отверзаются очи небесные. Поднял лицо-то, а сквозь ветви уж давно, видно, глядит звёздочка... Свет небесный любовно и тихо, и благостно коснулся мозга, головы, чувств утомлённых, притуплённых.

...Звёздный свет, звёзды вечные, прекрасные. Вот эту звёздочку младенческим оком я видел, и ныне, в старости мне пришедши, она же милосердо светит моему уже потухающему взору. Пусть радио гавкает... Это всё пройдёт, это всё истребится. Небось, не всё заклеила житуха. Под скамеечкой окурки да пыль, но налетит ветерок, зашумит в темноте ясень, подымешь лицо – и глянет в душу звёздочка. Точно глазок детский, милый, и он вечности око. Милосердый звёздный взор подаёт мир душе, утишает ум. И сторонятся на те минуты и груз годов, и болезни, и гнетущие заботы.

3 августа. Четверг

Вся тревога о нездоровьи, беспокойство о будущем, всё, что «дух гнетёт и в сердце ноет», – то всё власть смертного и тленного над человеком. Тело сие, плоть сию тленную нашу апостол Павел «хижиною» называет, хибаркою убогою, гнетущею прозябающий, ютящийся в ней дух. Заместо сей жалкой, тесной лачуги Бог готовит человеку жилище царственное...[1] Оттого-то мы и стенаем (ныне), желая одеться небесным нашим жилищем... Но мы, говорит Павел, не хотим, нам непосильным кажется сбросить с себя гнилые и тесные стены этой хижины, хотя и стенаем под ея бременем (Павел)... Итак, страдаем от смерти, но пребываем в смерти. А надо, чтобы «смертное сие» (больное, тяжёлое, водяничное, гниющее) поглощено было жизнью. Водворяясь в теле, подчиняясь этому грузу, мы отстраняем и устраняем себя от Господа (от радости о Господе).

[1] См. 2 Кор. 5:1–4.

«...Выйти из тела и водвориться у Господа»[1] – это святые стяжали, ещё будучи «в теле»... И потому были бодры духом и всегда радостны.

«Живи и до вечера и до веку». Павел-Христовы Уста всяко своё слово сколько коринфянам пишет, друга столько нам, человекам сих последних времён... «А Христос и умер за всех, чтобы живущие не для себя уже жили, но для умершаго за них и Воскресшаго». Павловы уста – Христовы уста. Вечно юно, вечно животворно слово Христово и апостольское... Естественный, плотский, страстный, телесный человек всегда ветх, утл, дряхл, независимо от возраста.

Августа 6-го. Воскресение

Высоко где-то, недосягаемо до меня праздник-от... Неприступен Фавор-то гора... А я в пропастях преисподних кишу... Как помянешь, что сегодня показан нам <?> «Свет присносущный», что являл Он сегодня лик Свой «яко солнце» и были одежды Его «белы яко снег», как вспомянешь, что, бывало, от родимого города плыли корабли на праздник престольный в Соловки, как сдумаешь, что это за праздник, каков он был для тебя, и как увидишь, что ты праздника улишился и тьма тебя духовная и физическая обошла и накрыла, дак резнёт тебя, что льдина, краем по сознанию и по сердцу, ахнет скорбно сердце, да и опять отчаянное окостенение. Уж только скорбь и боль просвет-то праздничный в сознаньи вызывает... Преображение.

...Ежели б пожить силою и угодьем, существом этого события, как раз из бездны, из тьмы отчаяния, из мрака окружающей житухи меня вызволяющего и подымающего.

Если б кто поддержал сознание моё, мысль мою, моё мироощущение, поднёс бы кто ко уступу Фаворскому повыше да подержал бы на руках там лишнюю минуту... Помню, как моя мать своего крестника, тяжело болевшего, в кануны праздников, когда везде перед иконами сияли лампады, ходит из комнаты в комнату, поёт «Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа» и подносит дитя к божнице. И ребёнок переставал плакать, в глазках его отражалось сияние лампад. И он тихонько припевал: «Аллилуйя, аллилуйя...».

Не равняю себя с чистым ребёнком. «Обыде мя бездна греховная». Уже «яко глух и нём не отверзаю уст моих. Мнози восстали на мя, мнози глаголют душе моей».

– Бросьте, товарищ, ваши бредни! Неужели не видите, что весь мир расстался уже с подобными иллюзиями...

...Я вчера особливо духом-то упал, аж до тупого нечувствия... Восемнадцать часов подряд глаз не отворял, лежал, только простанывал... Голова болела... Брателко что подаст, супу ли, чаю ли, всё вон тут же... Только в сознаньи временем мелькало: «Как смерть-то хороша... Боли

[1] См. 2 Кор 5:8.

этой дикой, ум отымающей, не будет...». А братец сам еле бродит. Наприбавок у него грипп. И всегда он в отчаянье впадает, как я эдак, падалью, заваляюсь... Через силу я выполз к воротам на ночь-то... Люди бегут, молодёжь, смеются. Я на тротуаре сижу, люди думают, пьян. Жутко было: ничего вспомнить не могу, ни о чём связно подумать... А сегодня, вот, пишу, и поел. День сегодня хоть без дождя, а тёмнооблачен: еле видно строки у окна. А я люблю облака Божьи.

...Лик Христов, свет Фавора... Люди утеряли Христа, живя посреди смертей многих. Президент Америки молитвенно заявляет, что у них наконец закончились благопоспешно многолетние работы учёных по изобретению атомной бомбы. Бомба проверена. Убито за один взрыв двести пятьдесят тысяч человек... «Сила, справедливость, мир и в человецех благоволение теперь в наших руках», – заявляет г<осподин> президент...

«...И бысть, егда моляшеся, видение лица Его ино...» И у рабов Христовых, когда молились, лица просиявали... Приникни к житиям святых, т. е. настоящих людей: в каких бы бедах, нуждах, скорбях, болезнях они ни жили, ежели жила и действовала в них молитва, внутреннее их состояние отражалось на внешности их. Молитва... Ежели б даровал Бог молитву... Даже и Господу надобно было «помолитися». Взыде на гору помолитися. И егда моляшеся, просияло Лице Его и одеяние Его бело блистаяся...

Нету этого счастья больше, как умилённая радость о Господе. И не просил бы я у Бога ни здоровья, ни от нужды избавления, кабы свет Христов в сердце воссиял... И никакого ещё света не имея, только понаслышке о нём зная, люблю паче всех молитву: «Христе, Свете истинный, просвещая и освещая всякого человека... да знаменается на нас свет лица Твоего, яко да в нём ходяше узрим Свет неприступный Твоея Славы...». И сие: «Просвети Лице Твое на ны и помилуй ны».

Непроглядна, темна житуха-та... Ходите, говорит, в свете, пока ещё свет имате... ещё мало время с вами есмь... Господи, с нами ли ещё Ты? «Христос, где ты, Христос, сияющий лучами», – восклицал и Надсон... Канун предпразднества Преображения, и я, что таракан запечный, вылез к ночи на двор-от, встал под угол свой: мило-ет лик, чаша моя небесная не молвит ли де... Сквозь тонкий облак, инде звёздочка промигнёт... Под открытым-то небом хорошо вздохнуть... И пало на ум: Господи-де, когда телесным оком уж не буду видеть неба, сведи Ты мне в сердце свет Твой звёздный. В душе бы тогда ожило небо-то и свет его...

Кроме древних пречудных ликов, я в детстве, помню, любил картину (из современных художников) в «Родине» «Приидите ко Мне...». Христос стоит в белом одеянии. Образ простой, но близок он был детскому пониманию... Вот таков и видится Христос-Свет. Милость бесконечная, красота пресветлая, любовь неизречённая.

9 августа. Среда;
11 августа. Пятница

Через нужду, через болезнь, через тревогу я гляжу в природу. Сей год безвыездно в городе живя, увижу где ле какой-нибудь «русский весенний или, там, зимний пейзаж» и уж достаточно мне этого намёка: вижу своё... И дали русские, и небо облачное. Открыточки в руках, трёхцветки немудрые, даже безымянные. «Ранняя весна», «Последний снег», «Тает»... И я уж там стою, хожу. Мне только палец подай, я за руку сам возьмусь. И вот, нестеровский пейзаж... Тут художник сам преславно, как надо – поёт. Мне там любо; я, знай, слушаю да благодарю. И есть пейзажисты тоже, изобразители тишины русской «серенькой» природы. Они не устрояют, не подчёркивают сих чудных, как видение, берёзок, рябинок, вербочек, что так любы у Нестерова. Но у сих «реалистов» ты себя, иное, свободнее чувствуешь. Такой реалист, просто отобразивший то, что было перед глазами, сам отстраняется, а тебе говорит: «Заходи да живи»... Серенькое русское небо, даль, дождик прошёл... Что мне художник...

После полдня дождь да дождь... Тёплый летний дождь в городе – сущая красота и удовольствие. (Я даве помянул, что сквозь-де нужду любуюсь природой, а се брателко босой, да и я... тут и люби дождь-от...) Как в бане, тепловата вода льётся на тебя. Любо и как бы тонешь, так и уносит сердце... Так и ливень тёплый. Переулок, старокаменные дома, отшлифованные ступени, старые плиты... И всё это моет тёплая чистая вода. Моет и ручьями, в ёлочку бежит, расплываясь по булыжнику. Я и асфальт люблю в дождь. Асфальт не врёт, показывает, что дождь идёт. Асфальт любит дождь. Ну и плитняк старых тротуаров обожает мыться. И травка рада. (Это лето ей на засуху не приходится обидеться.) Только кирпич в дождь не очень зарен – мрачнеет. И доски мокрые не красны. Бывало, с настоящей льняной олифой крашен дом-от деревянный, дак ему что дождь-то, дом виду не терял. Теперь на ссяке та же охра, дак подтёки в ненастье и по заборам, и по простенкам... Ещё стёкла у домов любят дождь. Булыжник любит. И я люблю... Богат дождь.

Это я по сироп ходил в палатку, пока брателко, еле душа в теле, придя с рынка, уснул. Сейчас он перемерял кружкой... Баба обдула меня, заместо полутора налила один литр сулемы этой красной. А я разинул рот на облака. Мне и ни к чему. А ссадила с меня 9 р.

Со второй половины лета (я и не уловил дней и чисел) ласточки не свистят по утрам и вечерам. Видно, птенцов подростили да улетели. И воробьёв не слышно. Хлеб, небось, где ле клюют.

Всё серое в дождь – камень-от. А какая благородная гамма красок! Этот туск серебряный стоит... И дышать легко... Кабы пальто дождевое,

да сапоги добрые – я бы всё бродил по переулкам в дождь... Мимо окна дети, ребята да женщины босиком пробегают, берегут обувь-ту.

В коммерч<еских> магазинах посбавили по сотне. И на руках хлеб – 25 р., картофель – 9 р. За окном темнеет. Фонарёшки инде проблескивают.

14 августа. Понедельник

Когда зима-та окротеет, как манят, как надёжат предвесенние праздники и пост, – мартовское, апрельское... Не держат в том подъёме осенние (по-северному, по-нашему) или предосенние праздники – Преображение, Успение. Но неладный это признак твоей меры духовной, ежели Пасха и Рождество вспыхивают для тебя неким фейерверком, а другие праздники «не дают подъёма». Бог, всея твари украситель, Он вседоволен, всеблаженен. «У Отца светов несть пременения или преложения осенение»...

По родине милой, по Северу помню августовские золотые праздники. Преображение, Успение... Золотые скирды сжатого хлеба, снопы, жниво, обилие ягод красных, золотых, синих... Золото листьев... А в Московской Руси – «Спас медовый», «Спас яблочный».

Богословская сторона сих великих праздников изъяснена Церковью. Но сила и угодье праздников веры нашей скрыты, кроме писаний и предания, скрыты ещё дивно, изобильно мощно в природе. Праздники наши: и Пасха, и Рождество, и Троица, и Преображение, и Успение – отнюдь не суть воспоминания. Они живут и совершаются сколько в нас самих («Царство Божие внутрь вас»), столько в природе. Мы знаем, что природу живят соки Троицы Живоначальной...

Христос есть лоза истинная. Соком гроздей от сей лозы живёт всё живое во вселенной.

Древнегреческий Дионис, сок гроздей его были прообразом Христа и таинства евхаристии. Отношение к природе в религии древней Эллады, где природа являлась живою и как бы мыслящею, глубоко присуще и вере Христовой. Я уж инде сказывал: древние почитали деревья живыми, но исследуй писания: жития святых, патерики, – живёт купно со святыми природа; живёт о Господе... Когда в молитве творила поклон Святая Дева, с нею преклонялися в саду и деревья. А дружба святых со зверьми, с птичками, – это повсюду и всегда и обще вековечному в религиях. Оживотворение природы у древних не неправильно, но по-детски сказочно изложено. «Баснями» и сказками в то время и для тех людей только и нужными приукрашена и призагружена эта религия. Христианская мысль очистить должна истинное в этой древней живой религии греков. Вера Христова не иудейская вера. Нет!

Поскольку христианство есть истина, и не только совершённая и сказанная, но и совершаемая, нам надо выявить истинное в мифологии этой

детской и светлой веры. В канонах праздничных, например, взяты прообразы только библейские, мы должны видеть и выявить живое и светлое в древних мифах греков. Нам близко и светло многое из того, что древние знали о деревьях цветах, ручьях, реках. Ведь и у нас обожествлено древо, древо крестное... «Радуйся, пречестное древо»... а у нас воспет «кипарис и кедр, и сосна», которые составили крест.

Мы не приносим жертв дриадам и наядам, не молимся берёзке. Мы видим и знаем светлее, полнее и больше. Мы ведаем и соглядаем жизнь Троицы Живоначальной во всём и, конечно, богоносность эту и это веселие, эту радость о Боге ощущаем во всей твари, – травах, деревьях, птицах, животных. Ощущаем особливо сильно и явно по весне, когда воскресает Христос и сорок дней ходит по Земле. Благоухание трав, дерев – всё это царство Троицы Живоначальной, всё от Воскресения Единаго Безгрешнаго.

Несомненно: почитание природы живою и мыслящею у древних было прообразом нашей веры в то, что природа «радуется о Господе». В эллинской религии больше «ветхозаветного» груза, отпадающего по благовестии евангельском, но как в библейской древней вере, так и в эллинской древней вере есть благодатное и живое. Почитание деревьев и трав как чего-то живого и богозданного и с Богом живущего, – в этом гораздо более христианства и церковности, нежели в понимании христианства и Евангелия лишь как некоего морально-педагогического учения. Сектанты (напр<имер> толстовцы) считают православие – казённым. Но уж если что казёнщина и мертвенная схоластика, то это их выхолощенные регулы и наставления о «поведении Духовного христианина» (к сектантам отнесу и кальвинистов, и «методистов»). И какая полнота и царственная радость жизни с природою у Серафима Саровского: «Радость моя»... Да что сравнивать дивную песнь гения с зубрёжкой тупицы, Церковь – с «какой-нибудь» штундой, церковные песенные каноны – с куплетами «Армии спасения». Но и сих не хочу ругать, поскольку кто «взыскует Бога», а это единственно важное.

– Значит, – скажут мне, – святые мученики ошибались, гнушаясь языческих капищ, значит, им можно было туда войти и «чему-то поклониться».

Нет, не нужно, не под нужду было очищенному, светлому, озарённому уму натаскивать на себя эти школьные басни о множестве олимпийцев... Юпитеры, Венеры, Аполлоны. Всё это было уже бутафорией, аллегорией... Нечего было делать мученикам в этом скопище статуй... Да ведь и нам нечего делать в современной жидовской синогоге. Что мы, молиться можем там? «У всех-де един Бог?»... Конечно, Единый видит сердца всех людей, всех народов. Он и судит. А я травинка, выросшая на Руси. Я вот так верую... По отцам моим.

Древние византийские богословы, песнописцы берут образы библейские, древние отцы-иноки в Египте, скажем, цитируют только пророков да

Псалтирь. Но этим они нисколько не запрещают нам поискать нечто доброе, нетлеющее в наследии наших эллинских «праотцев».

А восстановлять Элладу и её Олимп никак не приходится. Сказано: «Взыщите Бога». Он там, где содержится «радость навеки». Сегодня Предпразднество Успения Богородицы. И о «смерти» этой вот что велит Церковь: «Людие, предиграйте! Плещите руками; сегодня все соберитесь особенно радостно. Восклицайте светло, с веселием, потому что Матерь Божия готова перейти в горняя...». (Тропарь предпразднеству ••• <14> авг.) И контакион: «...днесь вселенная умно с веселием зовёт: "Радуйся Дево, христианом похвало"»...

16 августа. Среда

Спас Нерукотворный. В лесах, чай, «мелькает жёлтый лист»... Хотя сей год дождливо было лето, не вылиняла, не истощилась солнцем зелень-та. В засушливо лето к Успенью оденутся леса «в багрец и золото».

Святая Русь поёт сегодня Пречистому Спасову образу... «Радости всё исполнивый Спасе, пришедый спасти мир...» А «мир сей и век сей» вылупил сейчас несмысленные свои бельма на атомную бомбу... Слышь-ка, озёра в пар превращаются, почва на составные части разлагается и испепеляется. Штучка в 1/2 кило сожгла всё вокруг на сто километров и расплавила вглубь на 100 м. Вместо первого японск<ого> города осталась воронка, а Нагасаки, слышь-ка, окутан «зелёным дымом». Но дело в том, что в стране самого «богомола» Трумена раздались протесты учёных насчёт дикой свирепости применения таких вразумлений к врагу. А главное, учёные встревожены: жизнь «расщеплённого» атома, по-видимому, продолжается и м<ожет> б<ыть> crescendo[1]. Имеются тревожные голоса видных учёных, во главе с Томсоном, президентом (что ли) физической и матем<атической> Академии в Лондоне, что столь слепо и опрометчиво разбуженная атомная энергия может разрушить-де земной шар, пробуравив земную кору.

...Аспид, слышь-ка, убивает сам себя, безумствуя в ярости. Так и «прогресс-цивилизация». «Прогресс и цивилизация» века сего уж явно своё сатанинское начало выказали. Уж не прикрыта ничем сатанинская рожа, но слепое несмысленное стадо не способно мыслить и видеть... Мир во зле лежит. И лежит невсклонно. Осатанев, избрав главою себе Антихриста, возгордяся убогою гордостью, до конца избезумяся... Но «свет во тьме светится и тьма его не объят». Всяка живая душа, не ослепшая среди общей слепоты, чувствует что «жив Господь, жива душа моя»... Бесы одолели век сей. Век сей поклонился смерти и аду; несчастные человеки мира сего несмысленно глядят на то, как «наука» готовит им атомные бомбы, «прогресс» принёс им смерть, но несмысленное стадо лижет задницу этому

[1] Нарастая (ит.).

«прогрессу», посылает детей учиться в школах этой смерти. Безумие страшное и преступное... Но: «жив Господь, жива душа моя»... В подвалах, в ямах, в лесах, в болотах, в пустынях – везде живёт Свет Христов. Везде есть люди, имущие «разум Христов», люди, знающие, где свет и в чём свет в сем универсальном мраке... Страшен сон, но милостив Бог... В твоём, в моём сердце живёт этот свет. Чёрный туман окутывает мозг масс... Но... тихо сияет лампада пред ликом Христовым... Пречистому Твоему образу поклоняемся, Христе... Здесь спасение мозга рода человеческого от «работы врагу». Радости все исполнивый, Спасе. Самоубийственная и человекоубийственная цивилизация окутала мозг рода человеческого. Ночь окутала сердца. Веселье у людей века сего лишь наркотическое. Но светло и призывно в этой ночи звучит молитва: «Христе, Свете истинный, просвещающий и освещающий всякого человека... Да знаменается на нас свет Лица Твоего...». Посреде поклонников смерти и зла будем ходить, нося в сердце свет лика Христова, моляся: «Да знаменается на нас свет лица Твоего». Кругом подклонилось под антихристову печать и прияло печать зверя, гордяся. Но: «Христос воскрес». Впотьмах, как звезда, сияет лампада негасимая пред ликом Христовым Нерукотворным. Сердце наше пусть будет свечечкой воскояровой лику вечной красоты, лику Нерукотворному Христа Жизнодавца. Он красота единая и сила непобедимая Свет Христов во тьме светит.

...Люди, живя в тени смертной, да видят свет велик... Радуйся о лике Христовом, о том, что у нас есть Христос. И паки реку: радуйся, люби природу, она книга Божия. Читай её. Так люди, вооружася последними наипоследнейшими достижениями науки, истребляют друг друга – война техническая... Ты не можешь их остановить... Ты обессилел телом и душою так, что и слово-то твоё не услышано будет не то что «веком сим», но и близкими твоими, избитыми «борьбою за жизнь». А ты не разоряйся, не падай духом. Выдь-ка в поле... Ведь не деньги платить за эту вот тропочку глиняную, за эти ромашки, что кланяются тебе при ветерке. Погляди в небо тихое: вон облачко над дальней горкой дождит... Всё то лик Христов Нерукотворенный.

Сегодня совершается гефсиманский чин погребения Богоматери... «Мати Божия, Богородица». Велико здесь таинство, великое знание и смысл. Велика сила и угодье почитания Богородицы. Матерь Божия и Мать Сыра Земля. Радование великое в прикосновении и проникновении, в размышлении о сем. Радостное знанье здесь подаст любовь к природе, даже если ты живёшь в городе, и только букетик цветов, веточка стоит у тебя на столе...

Зарюсь, иное, что крепкая-де, стержневая-де по всему миру система – римский католицизм. Но тайному-то тайных, мысли-то, уму-то сердечному,

душе русской, Бога взыскующей, заветному-то твоему даёт ли что принадлежность к этой «системе»? Моё упование заветное, сердечное, умиление моё едино с природою русскою. Пойду по полям... Рожь золотая, васильки, синие колокольчики... И пою: «О Тебе радуется, Обрадованная, всякая тварь...». Не ложно сказано: «Не ищи Рима, ни Иерусалима, ни больших собраний. А где два да три, тут и Я».

Как о Троице Живоначальной может только нечто постигать ум человеческий и, нечто постигая и догадываясь, радоваться, ибо здесь высота, неудобовосходимая человеческими помыслами, так и о Богородице поём: «Радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскима очима».

21 августа. Понеделок

Осень, чаешь, без дождей. А мокро-то пуще. Вчера, никак, второй раз за лето гром гремел. Днём град выпал, кусками летело. А к ночи полило; через всю ночь да и сейчас без поману валит дождь-от. Брателко по выдачу на свету убрёл. Горе в дождь без обутки да без сменной одежды. Но и в ведреный день мне-ка «горе». В доме напротив бушмены или готтентоты дикий громкоговоритель уставили себе. Но галдит, ухает и лает нам в окна. А в дождь всё же глуше: окна и у тех дикарей, и у нас закрыты. Песня дождя всё же лучше. Долго пасмурь-та утренняя стояла... Аж сквозь рамы слышна эта помойная яма звуков. Сказано: «От дурака хоть полу отрежь, да уйди». Так бы, кажется, действительно всё бросил да убежал... А электричество, а водопровод, а лавка? ... Как тут уйдёшь в пустыню... Я давно не живал летом в городе (какой город!?), дак отвык, плохо себе представлял, во что превратил свои стойла-дома тупоголовый обыватель. Окна настежь у всех, и почти у всех зевают эти страшные чёрные пасти... Ухают, лают, гундосят что ни есть громче да похабнее... Позавидуешь крепости нервов и ушей двуногих скотов, которым что громче, что дичее и ужаснее, то и любо... Из машины лезет бабья задница: юбчонка выше колен, одутлая старая мурлетка наштукатурена, крашеная шерсть на башке завита: генеральша... Она говорит спутнику: «Эта мая акно. У мене радева такая...».

...Ненавидеть – себе дороже стоит. Бежать надо от сих человекообразных... Куриные мозги, обезьянья переимчивость, собачья хватка... И о сих до зде...

С полудня дождь перестал, но холодно, ветер северный – сушит всё же. Брателко обед готовит, я взял любимую свою книжицу «Соловецкий патерик». Почитал об основателе Голгофо-Распятского скита иеромонахе Иове... Опять ожили острова святые... Любя, знаю и вижу природу родимого края. Воочию передо мною картины нежной природы Белого моря. И природа эта оживлена дивною жизнью святых. Святые основатели обителей не насиловали, не уродовали природу, а жили одним ритмом с нею; любили природу. Пустыня становилась садом чудным. Суров климат, и жизнь

сурова и проста... Иов был житель столицы, сослан на Соловки для пострижения, заподозренный Петром в сношениях с Григорьем Талицким. Иов прожил на Соловках двадцать лет. Он полюбил эти светлые острова, леса, прозрачные озёра, даль безбрежного моря, открывающуюся из окон церкви, поставленной высоко на горе «Ольгоф». Иов, будучи скитоначальником, не спал в эти хрустальные сияющие ночи Севера, видя в них как бы прообраз вечного «невечернего» дня. Вот Иов «ронит» лес, ставит часовню, кельи... Поручая скит ученику, Иов любит ходить по тихим озёрам, гостит у отшельников. Всё живо, всё любимо для него на сем «суровом» острове, который стал для него, «ссыльного», дражайшею родиной.

Современные культуртрегеры насилуют природу, во что бы то ни стало уродуют её. На Севере обилие ягод, овощей; преизобилие рыбы... Этого взять не умеют современные пришельцы... Печатают в газетках, что в тундре удалось вывести... помесь яблока с капустой. Случают «колмогорскую корову» со «швейцарским оленем»... Хвастают, что почту самолёты возят (!), а известное – кораблестроительство и мореходство – уничтожено дотла. И о сих до зде. Тяжко мне от публицистики. Скажут: отошло время преподобных пустынников, вон в дебрях Африки-де и то везде всё нивелируют (и давно!) американ-культура... Да, плоды этой культуры – «атомные бомбы» и т. п. Но «страшен сон, да милостив Бог». «Территория земного шара» вся может быть испепелена этой «культурой», небо, видимое нами, всё застят самолёты, но «Бог в сердцах человеческих пребывает паче херувимского престола». Разве иночеству нужен непременно окружённый стенами монастырь? Нет, внутрь себя можно построить монастырь и в нём жить. Это вернее.

22 августа. Вторник

Норд-вест над Москвою тянет – холодно, будто и октябрь. Видать, прошло лето. Я его и не видал. А, неважно... Всё тщуся приникнуть опять, воротиться к родине милой, к истинному сердцу Севера моего. Всё гляжу в любимую с детства «зелёную книжицу» – «Патерик Соловецкой». Семи, слышь-ка, годов очаровался я литографированными картинками этой прекрасной книжки и с увлечением срисовывал и «Вид Анзерской пустыни», и «гору Ольгоф». Ажно и сейчас расцвеченные эти картиночки умиляют меня и согревают сердце. Текст иногда кажется мне схематичным; хотелось бы больших подробностей. Но, возможно, их и не было под рукою составителя. Стараясь быть понятным современному любителю духовного чтения, составитель не сохраняет наречия старинных материалов, довлеет сейчас нам и этот добротный и спокойный язык духовных писателей первой половины прошлого столетия. В «Патерике» нет ни перечня источников, ни авторов, ни... Изданье не «учёное», а монашеское. Что составитель-редактор был, наверное, монах, инок опытный, видно по отсутствию

ляпсусов в местах, трактующих о внутренней духовной жизни. О сих вещах составитель, яко истинный монах, и не распространяется.

Я бывал на Соловках в летние солнечные жемчужно-прозрачные ночи. Эти «белые» соловецкие ночи исполнены были такого света тихого и святыя славы, что и у ребёнка, у меня, поворачивалось тогда сердце восторгом. Всё там, на священных островах, было необыкновенно: денно-нощная песня морского прибоя, тихие перезвоны колоколов, далеко плывущие над морскими далями. Бывало, в море плывём стороною от Святого острова, но и за двадцать вёрст донесёт ветер зов соловецкого колокола, и творит помор умилённо знамение крестное: «Преподобные Отцы Зосимо, Савватие и Германе, молите Бога о нас! Сотворите поветерь пособную!»...

О, книжица светлая, как тебя возьму, так и слышу крики чаек соловецких, соглядаю невечерний свет соловецких ночей...

А на московской улице и сегодня с полдня опять дождь по холоду. Я и рамы обе притворил. Оно любяе так-то, тише... Вонмём патерику: «Слышь-ка, докуль не было скитов, но токмо основная обитель, любители безмолвия скрывались по дебрям "в горах-расселинах"».

Я и дивлюся: не диво «в пропастях» (не дивно...?) Афона да Палестины укрываться, а как же наготствовать зимою на Полярном кругу, в 40° градусов лютого мороза? Бревенчатые келицы, знатно, с печами, но, знатно, и в «яминах» печурки были. Ведь девять месяцев зима-та наша... Теперь вот скудостью пищи я скучаю. Как паёк доедим, так и ослабеем... А жившие в дебрях соловецких отшельники и рыбу не ловили, но овые десятки лет питались какою-то травой (не тура ли?), мочивши её в корытце, овые же употребляли единственно белый олений мох, толкучи мох с брусникою. Иов Анзерский никогда не ел молока, ни рыбы (м<ожет> б<ыть>, несколько дней в году масло постное?). И прожил 85 лет, до смерти сам рубя дрова, нося воду, трудяся на огороде. Еда Иовля была: репа, гриб, ягода, изредка хлеб ячменный. Современная медицина пичкает нас «питаньем» да «жирами», без них-де смерть. Малороссияне ели всегда «сало с салом», подмосковный крестьянин без «свининки» не мог косить. И всё это в рамах теперешней психики правильно. Жраньём, только жраньём приучил поддерживать свои силы человек современный. Но в каких-то планах бытия человека, на неких ступенях духовного его совершенствования наступает некий перелом, и человек, питаясь мхом и ягодой на Севере или мочёными зёрнами ячменя (горстка в день), жил до ста лет, бьючися с мотыгою под палящим солнцем Египта, срубая неохватные деревья в комариных болотах Севера... Да, мы ещё не знаем своего организма, что ему нужно для его здоровья... Богоносная и великая Египтяныня три рисинки взяла ли, токмо краем перстов коснувшеся до кутьи, предложенной старцем Зосимою. И то ей было за обед. Несчастное наше тело, изуродовано оно, развращено,

поругано, до того доведено, что и мясо, и сало, и сладости-сахары сил не дают «загубленному» телу нашему. Уж падаем на вино, на табак... Далее кокаины да морфин. ...Так мстит человеку развращённое, испохабленное, несчастное тело, здоровье телесное. И о сем до зде. Живущим и работающим сатане и сало с салом не на радость. Вон «миллионер» А. Т. за столом, винами и ветчинами заставленным, сидел, а питали миллионера сего через афедрон. А что куры да вина в глазах, то для выделения сока желудочного. А вот люди иной категории от ягоды и корки ячменного хлеба силу берут. Ажно я не люблю обличать... Самому-то мне всякой бы день белый хлеб да чай с сахаром... ещё полетать охота над святыми-то островами.

...«Бегая славы человеческой, удаляется Елеазар на Анзерский остров, удалённый от Соловецкого проливом морским за четыре версты. В те времена остров сей был необитаем. Редко, редко приставали сюда беломорские суда и лодьи монастырских промышленников, занимавшиеся звериною ловлею и добычею рыб. Среди острова возвышается чрезвычайно крутая гора, называемая ныне Голгофою. С вершины её в ясный летний день открывается величественный вид на необъятное пространство морских вод, на остров Жижгин и Муксалму, на немалую часть острова Соловецкого. Весь Анзерский остров, с его холмами, покрытыми густым сосновым бором и лесом белых берёз, с его озёрами, подобными округлым зеркалам, находится как бы под ногами. Елеазар, пленённый местоположением, поселился около озера, называемого "Круглым". Первым делом пустыннолюбцу было водрузить вытесанный им самим из сосны крест, близ которого устроил себе и убогую хижину. Жизнь в соседстве одних только птиц морских была для него, недавнего пришельца из многолюдных селений, весьма тяжела...»

...Анатоль Франс, яко гурман, любит в своих книгах цитировать подобную прозу. Но гурман Анатоль Франс сопровождает это гнилою отрыжкою. У составителей наших патериков всегда живой, светлый, веселящий сердце дух. В молодости, эстетствуя, я любил почитать А. Франса. А потом определился для меня в сих эстетных писаниях непонятный ещё мне тошнотный душок... Кстати, попал я на дачу. В углу сада прелестный был уголок: тень листвы, цветы. Но лежал душок невнятный. Оказалось: мёртвый пёс...

У составителя-«списателя» «Соловецкого патерика» всё чисто, светло, доброчестно в простоте и бесхитростности. Добротен воздух-от, дышать легко.

24 августа. Четверг

Болезнь ли, годы ли, житуха ли, – тускнеет в сознании всякое благое, радостное восприятие. Сегодня Петру митрополиту память, вчера сбродил к Петру-Павлу. Уставные по кругу годишнему службы кое-как провёртывают,

как принуд<ительный> ассортимент. А собирают публику на «акафисты». И вчера Петру ни стихир, канон кое-как, – две-три песни, одни ирмосы с парою тропарей, и скок-поскок вспыхнуло электричество в витрине «Боголюбивой»... Акафист Богоматери – святое дело, но: одно дело делай, другого не порть! Вот кругом говорят, гомозятся насчёт 800-летия М<оскв>ы... Через год юбилей этот – Петра-то Московского, первосвятителя московского и первооснователя – в день его памяти своевременно помянуть, людям о нём порассказать. Хотя б канон ему в его городе вразумительно вычесть. А не выдуманными чинами утеснять службу. Акафисты доступнее пониманию старух, но памяти великих наших отцов не дóлжно смазывать...

...Между нами и оною Русью древнею, святою возградися стена, паче же ров зияет и ширится. Уже и камни святынь древних сознанию недоступны, но и зренью... Но, как брёл Ивановским переулком, старым, узеньким, пустынным, и спускались сумерки, ненастливый ветерок шелестел сухою травою. И небо виделось всё то же, что и при Петре. Небо, оно самое было, Петрово.

...Люблю слушать шестопсалмы. В строфах тех всегда, что тебе в данную минуту надобно, найдёшь. И от последнего-то отчаяния вопль Давыдов так ко времени и к месту всегда придётся.

Кардиолог, скажем, мира сего установит, в чём твоё нездоровье, скажет твою болезнь, порошки пропишет, микстуру. Группу тебе дадут инвалидную...

У Господа Жизнодавца, у живых, у сынов света не так. На них, на «бедных Макаров шишки пуще всего валятся». Они, бедные, Давыдовыми устами и вопят Богу: «слякохся (скорчился) изнемогох, уж не плачу, а «рыкаю» от скорби ...аду жизнь приблизилась, дыханье исчезло... сердце смятеся ...от всех я брошен; доколе будешь воротить Лице Свое от меня? Над мёртвым надо мной хочешь, видно, чудеса творить... В земле забвения кто будет разгадывать чудеса те... Уж до последнего отчаяния видно, что доведён человек, с Богом-то эдак судится, к Богу кричит... И, вот эти речи иные великие речи покрывают. Величайшие словеса веры, надеяния и любви к Богу. В шестопсалмии сын с отцом бранится. Сын-от обидится, высчитывает, кидает обиды отцу... А отец молчит: наревится-де, наругается, бедной, вспомнит и добро отцово. (Бог ведь и бьёт нас, дак всё одно, что гладит. А Сатана и гладит, дак льстит в смерть...)

И, действительно, откатится у блудного-то сына обида, опомнится, кинется к отцу-то: «Батюшка, прости!..». И обнимутся, и заплачут оба... Шестопсалмие – вопль двух любящих. Тварь наскакивает на Создавшего, вопит на него: «До чего де меня довёл...». И тут же, подряд с бранью, унимается и воркует... Это: отец-от в объятия схватил поскорее горькое своё

детище, в «объятия Отча». И одночасно дитя-то у сердца Всеблагого согрелось и уж хвалит... Хорошо, любо у такого-то тятеньки в охапке пребыть! Сей наш, мой и твой родитель-тятенька, иже прибежище бысть нам в род и род. Мы его роду-фамилии. А фамилия Отцу-то: Вечный, Всеблагий, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный, Всеблаженный. Хвалим тя, благословим тя, славословим тя, благодарим тя за славу Твою, за сияние Твое, за слово Отчее... Ты, Отец Вседержитель, не сниде на землю, но послал сияние Твое. Свет Твой тихий с нами до скончания века. Ты, Отец, сына Единородного не пожалел, агнца Божьего, вземлющего грех мира. Отец наших Боже, благословен еси!

Закоптела за всю-то жизнь душонка моя убогая. О стену ослоняся, стою в церкви. Видно, глаголы-те шестопсалмия и коснутся сердечного-то слуха внутреннего. Душу в нас Зиждитель вложил, как иконостас златый. И мы его закоптим, замызгаем: не видно станет в нём ликов святых. И вот отроком я, как и все крещёные, стаивал у служб Божиих у обедни, у утрени, с незаконченной ещё к светлому восприятию мыслию сердечною. И касалися слухов сердечных эти словеса шестопсалмия. Из слова в слово служба Божия всё одна и та же, не остарела (как бы случайные певцы-чтецы ни мяли её).

Теперь, стоящу мне в церкви. ...И голубь Божий крылом смахивает сажу с души, с очей и слуха сердечного. И сколько смахнёт, столько чую, проглянет золото на душевном-то иконостасе. И радостно нет-нет да дрогнет сердце... Есть радость-та, только отгородился я дымною завесою.

25 августа. Пятница

За окном даве здоровенных двое детин резвились-боролись. Что битюги подковами-те по мостовой. Силушка: «За руку хвать – рука прочь»...

26 августа. Суббота

...Возьмёшь перо да и оторвёшься опять, с делом ли, с бездельем ли... Я к тому вчера начал, что вот ною всё, тужу, что-де ослаб, осел, отяжелел (может, это и есть остарел?), но в молодости никогда стремленье мысли-желанья не было столь собранно, определённо и осознанно, как теперь. Сознанье молодости в плену собственной силы хмеля буйного. Молодость телесным, кровяным хмелем одержима. Молодость сама у себя в плену. Ведь и подвиги, героизм всякий, молодому возрасту свойственный, как правило, происходит от этого буйственного задора. После, думается, сорока лет очищается ум-от. К старости дифференцируется добра-та мысль-цель жизни. Уж теперь я без оглядки бы «от мира-то» отрёкся. А в молодости целая баржа со страстями-сластями привязана была к пароходишку моему. Теперь, мнится, отвязалась баржа-та. Хоть износился-изъездился пароход-от, а легче ему...

Могла бы машина-та поработать, кабы управил Господь путь к спасённой пристани вожделенной. А не так бы мыкать горе ни в тих, ни в сих. Неправда, что-де молодость на крыльях. Нет, она связана, она в себя смотрит. А как в разум-от придёт человек (если придёт в разум), дух-от уж не обдержит кровь-та. Уж не красуется, не пленяется о теле своём человек. И ежеле вложено Зиждителем в человека «желание чудно», то, как пройдёт власть плоти, желанью-то чудному и может без оной тягости внимать человек. Я вот тепериче которое сижу, а которое лежу, и телешко моё, это вот костьё, мышцы меня, сознанье моё не борет: что мне в падали этой... Я, чуть головой обмогнусь, лечу крылато, скороспешно ово на Севере на родину милую, ово на Радонеж. Соглядаю, как Савватий с Германом в карбас, плыть на Соловки, садятся, иду по Троицкой дороге: странники проходят: вон золотобородый, не «он» ли? Не сам ли игумен Радонежский? Высший смысл и истинный, насущный и животворящий разум соглядать в вещах и явлениях любо мне. Как на сегодня принесёт брателко кусок хлеба, я опять и за своё.

Я по общественному-то положению у житухи-то под лавкой валяюсь, а вернее, под порог забит. Да и перед Богом-то лучшего не стою...

Хвалюся, что умом праздным летаю, «за морем грады строю». Но насколько мысль не чиста, судить о себе могу по калейдоскопу сновидений: незнанье уроков (через 30 лет отрыгается!), лестницы, обрывы-пропасти, противные мертвяки...

О снах начал, потому что редко, но дивный вижу сон. Сияющее светом светлооблачное утро. Берега тихих прозрачных вод. Сегодня шёл берегами высокими. Меж зелёных холмов всё время блистала тихая серебряная гладь реки. В юности, в детстве поражала меня несказанная красота утренних небес и глядящихся в воды тихие, зеркальные... Эти сны: тихие воды, светлые... Так непохожи на обычные мои сны, что думается, не приоткрывает ли Жизнодавец по благости своей убогому созданью край завесы некой, скрывающей иной мир. «Место светло, воды покойны»... поёт о сих иных мирах Церковь.

27 <августа>. Воскресенье

...Богословского образования вот я не получил... Путаю безбожно всякую терминологию. Бывало, не думамши-то просто всё казалось, многое и разное словом «душа» объединял. Теперь вот, соглядая в себя и извне, болея телом и духом, вижу, что вопросами жизни и смерти, «быть или не быть» стали эти термины книг церковных: душа, дух, сердце, мысль сердечная, очи сердечные, очи мысленные... Что тут орган и что функция? У афонитов исихастов, я чаю, условлена и давно установлена и уточнена священная номенклатура душевной и духовной анатомии человека. Но едина ли на христианском Востоке эта «филология», общ ли словарь?

Забираясь годами, болея, я чувствую, сознаю, что дряхлеющий физический организм мой – кости, мышцы, внутренние всякие органы – это одно, а то, что животворит весь этот тяжелеющий груз, – совсем другое; нечто совсем иной природы... Ежели у меня живот заболит, или сердце, или почки, врач мне даст какое полагается леченье. А вот тоску душевную, или духовную, или сердечную лечить где я найду врача? А не леча духовной или душевной болезни, всуе буду я лечить тело. Дух один помогает оздравить тело.

Павел апостол, святые отцы в писаниях своих божественное горение ума словом изложили. Киреевский[1] говорит, что-де кому как не оным великим (имярек) и глаголати «О Святой Троице»... Они в этой стране были...

Чётко, и точно, и верно, и навсегда, и для всех разглядели и знают святые отцы и меня, отчего я умираю, болею и что меня оживит. Ведь и телесный врач на «душевное» состояние больного смотрит. И медицина века сего и мира сего признала, вынуждена была признать, что стремленье больного поправиться – великая помощь леченью. Матрёну нашу, помню, врач спрашивал: «Ты хочешь жить?» – «Нет». – «Ну, дак и лечить нечего»...

...Так вот, как же мне не интересоваться, не иметься за эту терминологию молитв, предписанных мне Церковью... Церковь спрашивает меня, больного: «Ты хочешь жить?» – «Хочу...» – «Дак вот, внимай всем сердцем твоим, всею душею твоею, всею мыслью твоей»... И кладёт мне в уста песни часов или утрени или велит всё на свете забыть, внимая литургии... Изо дня в день, из года в год, из века в век врач наш, Церковь, велит нам питаться молитвою... При этом всяку молитву (келейную, соборную) велит начинать молитвой же, чтоб Жизнодавец ум хотящего молиться, сознанье просветил, слухи ума открыл. (А то, ведь, читаешь часовник ли, начало говоришь, и сам себя слушаешь, быдто се котелок где кипит.)

Тело живится душою. А душа – «Святым Духом всяка душа живится». Святого Духа, Жизни подателя молитвою в душу заманивать навыкни. Как пшеничку-ту, живое то зёрнышко, а не опилки, не сор будешь подсыпать, было-ет голубок повадится к тебе в душу прилетать... И ежели твоя голубятня приглянется, Он, свет, там и останется...

«Матрёна, хочешь жить?» – «Не знаю...» – «Ну, будем тебя лечить». Чтоб вылечиться, надо, чтобы ты захотела жить. Чтобы хотеть жить, вот тебе «наговоры» против тоски сердечной и злого уныния. Наговоры эти добрые лекари роду человеческому нашептали: Василий Великий, Ефрем и иные опытные врачи... Златоуст Иван курс литургии тебе пропишет... И в графе «способ употребления» Церковь припишет (рецепт этот всё время повторять надо) – Dtd[2] – Дар молчания к святой литургии.

---

[1] Киреевский И.В. – русский религиозный философ (1806–1856).
[2] Dentur talles dozis (лат.) – Дайте такие дозы /текст из рецептов/.

...Это монаха-то помнишь из «Отечника»: закутав очи и уши в кукуль, спешил к литургии и по «с миром изыдем»[1] – бегом бежал в келью. Не расплескать бы «чуда литургии»...

...Мне не надо многих песен, знаю песенку одну... Вот, велено человеку и не однажды в день, скажем, «помилуй мя, Боже» псалом читать... Вот хошь моё убогое дело: часто не могу, дак на боку-то лежа, то ли не добро псалом сей стих за стихом, что леденцы малиновые, конфетку за конфеткой обсасывать. И не убывает, неиждиваем сей гостинец Христов... Бог-от, как вод чистых потоки, падает на тело, на душу, и вопит, радуяся о великой милости, вопит, веселяся, человек: «Омый мя от беззаконий... Омыешь мя и паче снега убелюся... Безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя исопом и очищуся... Слуху моему даси радость и веселие... Сердце чисто созижди во мне, Боже... Воздаждь ми радость спасения Твоего... Возрадуется язык мой правде Твоей...». И это начало всякой молитве: «Господи, устне мои отверзеши и уста мои возвестят хвалу Твою... Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Вот в сих последниях стихах о сокрушённом духе и сердце, можно сказать, полностью указана причина тоски твоей, указано и чем эту тоску выжить... «Да созиждутся стены Иерусалимские...». Нас не касаются мечты сионистов. Мы тут молим, небось, чтоб стены внутренней нашей горницы пособил нам создать Господь.

Дождь идёт рано и поздно весь август. Хлеба так и легли во многих местах неубраны. Дождливое лето переходит в осень. От осени ли ведрия ждать... «Иван Постной»[2] на дворе. У нас на родине совсем осень. Остатки листа небось ветр-от сносит. Я вчера в сутеменки Чистыми прудами брёл... Низкие облака, ряды дерев еле блазнят на тусклом небе... Редко человек пробежит, согнувшись... Осенний сон начал окутывать деревья. Хорошо было идти бульваром. Пустынно.

29 августа. Вторник

Разве что нездоровье задержит или непогода, то ведь я всегда почти могу к службе на праздник попасть... Я и не ценю... А люди, занятые работой, семьёй, расстояньем, как они ценят, что дорвались до соборной-то службы, до архиерейской. А мне, бездельнику, вольно хоть ежедневно. Я и устану, и рассеюсь, меня и продует, у меня и голова заболит... Нынче праздник велик, уж, думаю, лишенье будет велико упустить. Как не с Предотечей, проповедником покаяния, дак с кем и пожить. И это главное в празднике – взыскать, ощутить, увидеть, озариться силою и угодьем празднуемого события; ощутить таинственную его жизнь в природе и в нас. А выводить из Евангельского

[1] «С миром изыдем» – возглас священника, напутствующего христиан, готовящихся выйти из храма по окончании литургии.
[2] Иван Постной – день усекновения главы Иоанна Предтечи (29 авг./11 сент.).

рассказа об усекновении главы Предтечевой только назидание о вреде блуда и пьянства – будет мало.

В Елохове бывает много народу. Бывает много благочестивых зевак. Их нельзя смешивать с любителями архиерейских служб и ценителями пения. Зеваки (очень часто мужчины) стоят и тараторят всю службу... И кто служит, и откуда приехал, и надолго ли, и чей дьякон, и что платят хору... и как было прежде... – всё доложит страдающий недержанием речи богомол... Ежели его сосед не слушает, болтун начинает громко подпевать клиросам... Эти типы пришли к службе развлекаться. Они разглядывают публику; встречают, провожают, оборачиваются, огрызаются бойко, но и бойко ответят на вопрос, укажут, где «Скорбящая», где «Нечаянная», где «Иван Воин» или «Троеручица». Эти типы любят, когда в церковь заходит молодёжь или военные. Они становятся около, воздыхают, возводят очи горе, истово, надо или не надо, крестятся, бахваляся и выставляяся людям на смех, а Богу на грех. Старухи часто, выйдя из церкви, ещё с мостовой оборотятся и начнут намаливаться, что мельница, для показу: нате, мол, глядите, есть ещё верующие, есть ещё порох в пороховницах... Сегодня в трамвае «верующая» из Елохова утеснила какую-то больную, истеричку. Та истеричка завопила, «верующая» «подняла перчатку». Истеричка: «Чёрт вас носит»... «Богомолка»: «Накажет, накажет тебя Господь, отымет твоё здоровье, несчастная будешь». Завизжала и больная: «И пусть, пусть меня чёрт возьмет»... Эта больная, призывая на себя чёрта, ни разу не похулила Бога. А у неё на Бога очевидна великая обида... И глубоко я жалел именно её, яростно накликающую на себя: «Да, да! Пусть мене чёрт поможет! Может быть, хоть он поможет»...

...Написал и думаю: резюме сему – благодарю Тебя, Боже, что я не таков, как эти люди...

...Это уж и глупый бы мне сказал: лучше тебе и в церкви бы не быть, чем судить. Но и ещё сужу: о. Колчицкий проповеди говорит языком стенгазеток. Пожилой человек, «проповедник» – поинтересовался бы языком тех же стихир, поистине украшающих вечерню и утреню. Глубоко содержательны тропарь и кондак «Усекновения».

3 сентября. Воскресенье

Старики бахвалили – бабье лето будет солнечно... Постояло ведрие два дня, да опять дождь без поману.

7 сентября. Четверг

Двадцатое по-новому, а ещё ничего не давали... Братец чуть свет ушёл в магазин. Долги стали ночи. В пять рассвет-от.

Вчера память была оптинскому Старцу Макарию (чаду Леонидову, отцу Амбросиеву, другу Киреевских). И всё думалось, как прошлое оживает и озаряется подобными «памятями».

О святых нельзя сказать, что они «были». Они есть, они живут и сейчас и будут жить истинно живую жизнь. Сей мир, сей век по сравнению с оным живым веком оказывается «притворным, привременным». Род человеческий, как лес. Но этот лес был древле садом. Идут века, поколения сменяют поколения, разрастается, ширится и сад сей. Но участки сего сада, приращённые в «новые времена» истории, являются захломощёнными, полными иссохших и согнивающих деревьев, замусоренными мелким безжизненным кустарником. Были нежизненные деревья и ветки и во времена и века прошлые. Но всё, не творящее плода Божьего, живого, благоуханного, подлежало и подлежит уничтожению. Но живо на все времена всякое древо, питавшееся «соками Троицы Живоначальныя».

Оглядываясь в прошлое, скажем, столетие, мы видим многие его достижения, его «прогресс» слинявшими, утерявшими весь свой блеск, модные новинки XIX века видим покрытыми гробною плесенью и гнилью.

Но «смерть не всё возьмет, только своё возьмет», – говорит мудрая пословица. В замусоренном саду «века сего» дивные есть участки, дивные зеленеющие и благоухающие вечною весною деревья и цветы. Жив сад Божий, святая Русь жива! Сад Сергиев – Радонеж. И сад, скажем, Оптиной пустыни – нет для них дряхлости. Они вечная весна... То, что и в прошлом столетии жаждало сосать от болотной сырости, скажем, «вольтерьянства», то сгнило, иссохло. То, что питалось жизнеподательными родниками, скажем, филокалии – живыми водами «Любления красоты», то жило и живёт. Память старца Макария... Макарий ученик Леонида. Леонид ученик Афанасия. Афанасий ученик самого Паисия Величковского... А сей ученик Нила Сорского, и Сирина Исаака, и Лествичника... Сад жизни, вечная весна. Я, когда шёл к этому саду, не помню, где-то у свалки в пыли остатки челюсти видел – два зуба... Не Вольтерова ли это «знаменитая» улыбка?!

Не думай, что «вечность» – это какие-то там межпланетные пространства, где «аж дух захватывает»... Есть английская благочестивая книга: «Надгробные размышления». Автора, даму, водит (не помню, кто её водит, или носит её...) по «вечности загробной...». Даются астрономические цифры. Даму эту (за гробом) ставят то на Сатурн, то на Марс... Бездны кругом, кометы... Ясно, что дама ухает от ужаса, небось визжит... Чему дивить! Я через Хотьковский мост железнодорожный идти боялся, ладно, что Стёпка, что сзади карабкался, всё меня надоумливал: «Читай, парень, молитву... Молитву твори...». Я и перешёл хотьковское оное мытарство безбедно...

Дак вот. Не такая, деточка, вечность-та – не кометы, и не стратосферы, и не марсы. Не в телескоп вечность изучают и разглядывают... А где она, и что она – тому святые учат. Они были в той «стране»... В себе надо глубоко, глубоко глядеть. В себя надо войти. И Бога в себе велено искать. Первая-то

азбука: Что есть Бог и что Его обитель? В сердцах человеческих пребывает, паче херувимского престола. А там, Бог даст, поймёшь, как это Он и на небеси. И где это «на небеси», узнаешь, радуяся.

Рубаха, вот, на тебе близка, а Бог ещё ближе. Дак то и знай, что и Макарий-то старец не в межпланетных пространствах, а за Калугой на Жиздре-реке сидит, живую грамоту тебе пишет...

О, великое добро, великое богатство моё эти старцы. Кабыть, напасены у меня шёлку, или каковой драгоценнейшей и тончайшей пряжи клубки. И тку я для зимы века сего одежу тёплую себе.

Святитель Филарет М<итрополит> М<осковский> в прекраснейшем слове своём на освящение церкви преподобного Михея просит показать и первый «малый деревянный храм» Св. Троицы, но и входит туда и слышит треск лучины, светящей чтению и пению. Просит: «Отворите мне дверь тесной келий»... но уже стоит там рыдая, сам лобызает порог келий Сергия, порог, «истёртый ногами святых». Проповедник «видит» и Сергия, плотничающего и получающего за работу плесневелый хлеб. «Слышит» молчание Исаакиево... «Всё это здесь, – восклицает святитель, – только закрыто временем или заключено в сих величественных зданиях, подобно сокровищу в ковчеге... Сокровище это неистощимо, непохитимо; можно брать потребное без ущерба для сокровища».

Святитель Филарет уносится мысленным взором в XIV век. Мы перенесёмся, ради памяти оптинского старца, хоть бы в XIX век... Почитаем из путешествия инока Парфения о приходе его в Оптину, о свиданьи с о. Леонидом... В низкой кельи меж елей сидит схимник, плетёт поясок, беседует с пришедшим народом, который стоит на коленях, затаив дыхание, боясь проронить слово уже отходящего ко Господу великого старца... И это та же святая Русь, что и приходила в Радонеж. XIV и XIX века сошлись... Всё, что в Боге, то вечно юнеет, вечно живо... И вечно с тобою, если ты взыщешь. Ежели ты «ум не раздвоен имея, паче жизни (века сего) в Граде быть восхощешь...».

9 сентября. Суббота

Мы таковы: что не при нас было, чего мы своими бельмами слепыми не видели, дак того будто и не было... А необходимо нам приникать слухом и оком сердечным и к верному церковному свидетельству. Сегодня память святителю Феодосию Углицкому, обретение мощей, которое было в 1896 году. Я перечитывал хронику торжеств. Пять дней и пять ночей совершалось над градом Черниговом чудо: несметно собралась святая Русь – богомольцы обложили город как бы лагерем. Их было до ста тысяч... Деннонощное пение, ночь уступала сиянию свеч. Пение и перезвоны колоколов усугубляли молитвенную тишину ночей. Ночами река отражала сияние свеч, богомольцы собирались на берегах, читали житие святого

новоявленного. От гроба святителя совершались исцеления; всякой час молва разносила весть о новых и новых чудотворениях. Вера Христова снова и снова являла свою силу и свет – ночи обретения святых мощей были подобны пасхальной ночи. Во Христе нет смерти. Гроб, вынутый из земли, где пролежал двести лет, являл воскресение. И Русь святая вновь и вновь ликовала: Где ты, смерте жало? Где ты, аде победа?[1] Воскресе Христос, и жизнь живёт во всём мире! Воскресе Христос, и живы мёртвые, почивающие о Господе. Радость о Господе горела в знаменательные дни сентября 1896 года. Радовался русский народ, наши отцы, и заповедали, как верные свидетели, радоваться нам...

Всё лето сейгод просидел я в кирпиче у оконной дыры. Но ведь знал я, что стоит сесть в вагон и можно очутиться в поле, где веет благоуханный ветерок, плывут облака... Таково ж знаю, несумняся, что есть радость у живущих во дворех Дому Бога нашего. Ежели самому мне застит житуха худые мои глазишки и сам я ослаб, дак знаю, что где ни-то, может, в соседнем доме, эк же в подвале или на 7-м этаже есть раб Божий, не спящий духом, как я, а бодрствующий. И он мне скажет: гляди, слушай... Жив Господь! Жива душа твоя... Есть у Господа радость.

10 сентября. Воскресение

Два принципа жизни давным-давно определились в роде человеческом. Один принцип: хватать и рвать со стороны, извне всё, что глаза завидущие завидят. Нахватывать благ материальных всё больше, больше, больше... Отсюда изобретательство – техницизм, прогресс индустриальный, всякая механическая богоубийственная и человекоубойная цивилизация – «сифилизация». Человек и целое общество человеческое свирепеет, сатанеет. «Се грядет час и ныне есть...» Понятие добра и зла исчезло; самое понятие любви, братства людей, правды, милосердия истребилось из сознания человека и народов. Заветы Христовы попраны и похоронены. Осатанев, освирепев, люди истребляют друг друга. Как поступает индивидуальный человек века сего, «рвач», так поступают и целые общества современных людей «рвачей». Мало ли, много ли имеет человек века сего, он, сколько сил у него есть, нахватать, накопить, приобрести, урвать со всех сторон тщится.

Сильный со многих дерёт, слабый с ещё более беспомощного, чем он. Директор склада ворует грузовиком, больная старуха тащит чужую тряпку или блюдце из соседней комнаты. Жизнь превратилась в скаредную, осатанелую житуху, и нет, нет уже другого подхода к существованию, нет другого осознания жизни.

Слов нет, что нужно, чтоб дети, семья, родные были сыты, одеты, обуты. А всё это для многого множества людей стало беспредельно трудно, неи-

[1] См. Ос. 13:14.

моверных усилий требует. И день и ночь голова-то занята: как бы не подохнуть... Зима пришла, а все босые... Надо, надо биться, чтоб тряпку или кусок урвать для семьи-то... Так большинство и бьётся, пока с ног не слетит...

Но не должен быть сдан в архив другой принцип, другое начало жизни (а не житухи) – ищите прежде Царствия Божия... (Взыскать Бога – это не значит бросить семью голодать: ежели у тебя дети, старики больные, докорми детей до возраста, воспитай, ежели старики, допокой их, докорми – вот твоё спасение. Каин ты будешь, ежели прах мира от ног отрясёшь и будешь в пустыне душу спасать, а «в мире» оставишь беспомощных тех, кому обязан помогать.) И о сем до зде...

Я говорю о начале, о принципе жизни, которое «не вси вмешают, но им же дано есть». Здесь по мере своего совершенствования человек не сгребает под себя, оттребается от вещей, от имения, от богатств. По мере духовного совершенствования сознанье человека проясняется, житухина хроническая плесень исчезает, копоть, покрывающая орган мысли, как дым уносится. Дымное сознанье наше становится «разумом» Божиим. Потому Церковь-та всё и молится: очисти да очисти... Очистить сердце, очи сердечные, очи мысленные необходимо для нашего счастья, для того, чтобы сошли в душу мир и радость, при которых всяка болезнь и нужда не страшны.

Программа и тезисы благодатной этой науки самосовершенствования и преуспеяния изложены в учениях святых. Их всем нам предлагает Церковь Христова. Человек, пойдя по этому пути благому, в свете разума, ясно видит, в какую яму невылазную, в какое болото повергает людей несытая, мёртвая хватка, личное преизлишнее обогащение того или иного члена общества, когда все завидуют сильному, рвачу, стараются от него не отстать, давят друг друга...

...Человек века сего, удачливый ли, неудачливый ли, спокою не ищет. Ежели он много нахватал, дак знает, что и зависти самой лютой в окружающих породил, и все окружающие в ложке воды его такого ловкаго утопить рады. И с опаской, с опаской он хватает. Ему и ночь не спится. Посмотри-ка на счастливчика сего света, как у него – чуть что – глазки-то забе́гают опасливо. Во время чумы-то пировать, ох, многодельно и заботливо!..

А что мне около мёртвых псов стоять, вонь пропащую слушать да про падаль сказывать?! Знатно, что в нужнике, окроме дерьма, нет ничего...

11 сентября. Понедельник

Сегодня валаамским преподобным Сергию и Герману праздник. Как бы золотую ризу накладывает на житейский день праздник, память святая. Особенно любо мне, когда с Севера родимого, от светлых озёр и дремучих лесов в заповеданные дни года идёт и светит, будни наши озаряя и согревая, преподобный оный и блаженный свет... Сергий и Герман Валаамские,

основавшие обитель Преображения на озере Нево, в первые века христианства русского, благодатно жили и в века последующие. Каким огнём сиял свет иночества на Валааме, доказывает век XIX...

Нонешние времена из правил вышли. Ещё Златоустый сказал, что можно спастись и в городах...

Теперь «дом отдыха», «дача»... А бывало, чем красно было лето в моём родном городе... Город стоял на водах – порт, близ моря. Мало кто ездил «на дачу», но семья хоть раз в лето собиралась «на богомолье» – к Соловецким, к Антонию Сийскому, к Ивану и Логгину Яреньским, к Вассиану и Ионе Пертоминским... Особенная жизнь, особенная природа, особенный быт, не наши интересы и разговоры, не наш уклад, жизнь, не боящаяся смерти, и смерть, как праздник. Жили в монастырях люди, умершие для радостей мира, но как тускнели и умалялись радости мира перед святым иноческим житьем. На Соловках у многих из наших горожан были родственники монахи... и уже как бы в чине ангела почитали мы, например, материна двоюродного брата монаха Иустиниана.

Омытыми, новыми возвращались мы из обители. И привезённые из обители образки, картинки, ложки, посуда, книги, просфоры – так это потом любо было...

Кто-нибудь подмигнёт мне и скажет: «Знаем мы монахов – абие-бабие», «игумен вокруг гумен» и т. д. И я отвечу: «Всякой находит, что ищет, всякой видел в монастыре то, что он способен был видеть, что ему было дано видеть. Всяк видел то, что хотел. И жемчужну кучу разрывая, ухитрялись "навозное" зерно иные любители находить».

19 сентября. Вторник

Липы мои, что через дорогу, за оконцем, поредели; ветер гонит жёлтый лист. Точно и не было густолиственной купы. Неба стало много видать, чему я рад. Вчера к сумеркам брёл Ивановским, Подкопаевским переулочками. Подойду да постою. Гляжу, не нагляжусь: старая стена уступами вниз, одинокий купол и высоко, высоко в тихом небе реденькие облачка. Тихость коснётся души и ума. И так властна эта тихость неба. Больше она толчков и пинков, властнее шипа, свиста и машинного лаянья...

20 сентября. Среда

Говорят, война кончилась... Нет, мир сей, век сей, житуха наша – война нескончаема. О мире сем древле сказано: «Человек человеку волк». Воюют люди друг на друга люто и неустанно. Схватились в своей «борьбе за жизнь», и разве мёртвые отвалятся один от другого. Каждому надо урвать своё. Одни бьются и колотятся для того, чтоб ухватить корку хлеба для ребёнка или покрыть хоть тряпицей какой трясущегося зимою брата, воюют, плача

и проклиная, чтоб ухватить ломоть да снести его в тюрьму, больницу сыну, мужу, отцу... А эти вот сражаются остервенело, чтоб удесятерить запасы вин, хрусталя, пополнить коллекции всяких редкостей и драгоценностей...

Полезнее вспомнить: «Если, обличая кого, придёшь в раздражение, то свою только страсть утолишь...».

Трудновато человеку поднять себя за волосы. Трудно исполнить: «Отойдём да поглядим, хорошо ли мы сидим». Надо исполнить! «Да отвержется человек себя». Из самого себя надо выскочить. Надо за дурной сон вменить себе всё, что в мире сем видишь, надо заставить себя проснуться, очнуться...

21 сентября. Четверг

Дни сухие, солнечные. Свежий ветерок. Вечером так жёлто-призрачно. Вечерняя заря глядит мне во всё оконце. Деревья напротив скоро последний лист уронят, а мне любо от этой прозрачности. Того для и люблю я деревья весной до пышного листа, до «соловьёв» (с Фетом мои вкусы не сойдутся), и осенью, и в самый листопад. А «пышное природы увяданье», вообще всякая «пышность», и даже летняя, – «с это меня не станет». Какая картина прославленного мастера заменит мне моё оконце. Из старинной, не менявшейся со времён Павла I рамы глядится ко мне и в низенький покойчик то зима, то лето. Как я люблю, когда белая скатерть застелет перекрёсток, на который глядит наш дом! А весной – что зеркала, протянутся лужицы талого снега. Вот сейчас по бледно-зелёной гаснущей заре взялись розовые облака: завтра будет ветрено.

23 сентября. Суббота

...Часто употребляют фразу: «Доброе старое время» Но и в «доброе старое время» во всех ли людях светился свет?..

Обращая мысленный взор в прошлое, а я, например, люблю глядеть в девятнадцатый век, ибо там все мои корни и всё заветное моё, я люблю соглядать там «жизнь живую», то, что не умрёт, люблю знакомиться, и знать, и жить с людьми, кои были современниками дедов моих...

К такому «прошлому», вечно живому, я люблю приникать, думая о своей родине.

23 сентября

Свет мой Филарет, митрополит Московский, пущай тужит на Соловецкого историка, игумена Досифея, что в своей «Истории Соловецкого монастыря» Досифей «святых канонизирует» самочинно. Филарету на его посту «в оба» надо было смотреть. С Филарета спрашивали и истязали все, дальние и ближние, друзья и враги. А моё дело телячье, и спрос не велик.

Я высмотрю да излюблю там-то и там-то инока – молчальника благоговейного. Соберу писанное о нём и беседую с ним.

Вчера писал, думавши, о Соловецком иноке Иерониме. Сей Иероним оставил книгу: ежедневно записывал мысли свои. Не издана она, навряд ли ныне сохранилась, но несколько страничек напечатано в «Патерике Соловецком».

Иероним переписывался и был знаком с виднейшими деятелями церковными. Стилем его писем восхищался архимандрит Фотий. Иеронима ценил митрополит Санкт-Петербургский Гавриил. Но за свой памфлет против масонства, очевидно, при Павле или Александре I, Иероним был заключён в Петропавловскую крепость.

В уединении каземата начало давать свои благодатные плоды павшее ещё в молодости на добрую почву святое учение о внутренней молитве. Когда Иерониму было объявлено о переводе на Соловки, так сказать на «вольное поселение», инок плакал, целуя стены каземата: «Я не найду нигде лучшего места для безмолвия и спасения»... Свет молитвы Иисусовой горел в сердце Соловецкого иеросхимника Иеронима. Он был учителем и старцем многих. На Соловках Иероним провёл долгие годы старости. Почил 82 лет в 1847 году в уединённом Анзерском скиту.

* * *

Мир сей бешено гонится за деньгами. Мир сей давно остервенел, обезумел: цивилизация, прогресс... Мир, оставив Бога, то есть жизнь, свет, истину, занялся и физическим самоубийством. Целая страна убивает сама себя.

...Одни воюют, другие торгуют, третьи умирают.

Один смысл жизни: денег, денег, денег! С деньгами всё можно!

Против этой истины ни старик, ни дитя не спорят, никто не сомневается. Малые глядят на больших, бедные – на богатых, слабые – на сильных, больные – на здоровых, неудачливые – на ловкачей. Алчность и зависть снедают ум и сердце у ясных. Это единственный смысл жизни. Все вожделеют нахапать как можно больше. Слабому негде, неоткуда хапать, дак он у такого же убогого хоть верёвку, хоть платок носовой, хоть вилку со стола, хоть веник из сеней. И веник в коммерческом 150 р. стоит!

...До Бога ли тут! До света ли им: опомниться некогда... Где, в каких концах земли, какие народы принятую от отцов веру хранят?

Поскольку она, вера, добро – и магометанская вера, и буддизм, и иудейство. Добро творили всяк, родитель ли учитель, в каком бы народе ни было. Внедряющий корень отеческой веры в сердце дитяти.

Мир сей видя, что люди не могут жить без «веры», каких только учений не навыдумывал. И стращая, и прельщая...

Просвети, обнови, очисти, Господи, ум и сердца людей, чтоб поняли люди, что сидят в яме, в трясине и америкэн-капитализм всё то же отхожее место.

Чтобы отвлечь мир от истинного счастья, ненавистник рода человеческого выкатил из преисподних ада оный мыльный пузырь. И вот за этой

пустотою материалистического комфорта гонятся все. Но и достигнув богатства, несыто хотят больше, отсюда грызня...

Достигли денег, жаждут власти...

Лютее и страшнее бушует море взаимной злобы и ненависти...

«Но свет во тьме светит, и тьме его не объять!»

28 сентября

Видя страдания, болезни, несчастья – эти неизбежные спутники человеческой жизни, лучшие умы приникали к этим «вопросам». И возникали великие университеты для изучения человека и человечества. И в этих университетах и академиях преподавали великие психологи, «профессора», великие знатоки души человеческой...

Современная наука бессильна перед моими болезнями, моим горем. Та «наука наук» брала меня на руки и отымала моё горе, скорбь... Та наука была родная, породившая меня к жизни, питавшая меня живоносным млеком, любящая меня мать.

Люди, род человеческий, всегда чувствовали, что безбожный прогресс и безбожная наука счастья не дают. В дни отцов наших деловые люди помнили Бога, помнили и о душе, знали, что «все умирать будем». Купечество любило и ценило иноков, видело в них свет. «Мы-то грешные, дак хоть порадуемся на праведных».

И щедрая рука «деловых людей» помогала, облегчала жизнь взыскующим Бога. И эта щедрая рука «деловых» людей старой России считала их, «Божьих людей», своими благодетелями.

В нашем доме жила старуха-староверка. Она молилась в посты подолгу. Ей говорили: «Дурочка, на что время убивает, вязала бы – деньги зарабатывала!».

Помню на родине один бывший студент вычислил, сколько «человеко-часов» тратится впустую в России из-за того, что население проводит много времени у церковных служб.

«Работать надо! Работать! – визжал этот передовой человек... – Делать деньги, делать деньги!..»

Этот амéрикен-идеал затмил умы всего мира.

2 октября. Понедельник

...Один добрый человек, умный, учёный, образцовый семьянин, два сына у него было – надежда и утешенье родительское, этот человек в беседе говорил: «Монашеское умиление и просветлённость... хм... что же в этом, какой смысл?.. Человек живёт для детей. Смысл жизни и счастье человека в детях. У меня растут дети – вот моё умиленье и просветлённость, моя радость. Семья, дети – вот стержень и мудрость жизни. Я гляжу на моих сыновей, и я – царь! Я Бог! В детях моих основа моего жизненного тонуса, моего творчества...».

Это было пять лет назад. Оба его сына убиты на войне. Недавно я встретил этого учёного. Его и жену. Она в свои 50 лет кажется девяностолетней старухой. Он прям, продолжает говорить о своей науке, но временем забывается, молчит, уставясь в одну точку. Идёт по улице – лицо каменное. Инженеры-сослуживцы с уважением говорят: «Какой стоицизм, но какая пустота в глазах. Он стал мёртвый».

3 октября. Вторник

Скажут: «Что уж ты всё древних-те людей хвалишь, чем они такие отменитые?». Да! Древность и, скажем, Средневековье – это была юность, молодость человеческой душевно-сердечной, умно-мыслительной восприимчивости и впечатлительности. Древний человек несравненно был богат чувствами, воображением, памятью. Ныне одряхлел мудрец. Мало радуют ныне «специалиста» его знания. Будто кляча с возом...

13 октября. Пятница

До осязательности живо, как бы наяву, предстаёт мысленному взору то, чем сладостно жил в годы отрочества там, на Севере, на родине милой. Места по Лае-реке временем вспоминаются каким-то садом Божиим. Река Лая, таинственная в тихости сияющих летних ночей. Протяжные крики ночных птиц, всплески рыб... Тишина ночи, сияние неба, подобные зеркалам озера в белых мхах, плачевные флейты гагар... Или днём: лесная тропинка, бор-корабельщина, меж колонн, благоухающих смолою паче фимиама, цепь озёр, отражающих нестерпимое сияние неба. Некошеные пожнилуга, цветы, каких московские и не видали. На лугах, на полянах малинник: ягод некому брать, а я боялся змей, пока не скосят траву...

14 октября. Суббота

Круглое тундряное озеро (чарус) с плачущими гагарами лежит в версте от Лайского дока, где мы жили. Мимо озера к деревне Рикасиха идут и едут берегом Белаго моря (Летним) в посад Нёноксу. Четырнадцати годов я живал в Нёноксе. Посад отгорожен от моря дюнами; с колоколен видать воздымающуюся над горизонтом высокопротяжённую стену чёрно-синих вод. А шум и как бы некий свист моря слышен в домах днём и ночью, при ветре и без ветра.

Вкруг Нёноксы ячменные поля, пожни-луга с синими цветами, холмы, покрытые белыми оленьими мхами, и всюду-всюду так нарядно, как бы в садах, рядами и кругами богонасаженный черёмушник, рябинник, малинник, смородинник. Из ягодника вылетит нарядная тетёра и сядет поблизости. Зайцев тех летом не трогал никто.

Уж ягод и брать некуда: корзина полна морошки, туес полон малины, а всё идёшь: места открываются одно другого таинственнее по красоте.

Круглая сухая поляна белаго мха, по белому моху синие крупные цветы – колокольчики, незабудки и великолепный папоротник в пояс человеку. Поляну окружает стена розовой ольхи и рябины. Пройдёшь эту стену (под ногами несметно черники), и уж в глазах золотится полоска жита (ячмень), в жите поёт птица симануха. И тут же непременно речка в белых песках, непременно журчит по камешкам. Речка прячется в папоротнике, в ягоднике или, отражая высокое жемчужное небо, изогнётся меж сребро-мшистых холмов «высокой тундры». Сколько звёзд на небе, столько в архангельском крае озёр. И речки наши серебряные текут меж озёр и через озёра. И с этих озёр, куда бы ты ни зашёл с ранней весны (с постов Великих) до поздней осени, крики птицы водяной слышатся днём и ночью. Слаще мне скрипки и свирели эти ночные крики птиц, музыка родины милой... Лебеди, когда летят, трубят как в серебряные трубы. А гагары плачут: куа-уа! куа-уа! куа-уа!

Далеко от посада не уходил, всё в глазах держал высокие шатры древних нёнокских церквей. Иногда в тишине белой ночи поплывут звуки заунывнаго колокола: кто-нибудь в лесах, во мхах заблудился из ягодников. На колокол выйдет.

«И страна моя Белая Индия преисполнена тайн и чудес», – поёт о Севере поэт Клюев. Удивительное, странное и сладостное состояние овладевало мною иногда, среди этой природы, в этой несказанной тишине. И любил я ходить один, а не с ребятами-сверстниками. Какая-то сказка виделась воочию. В те годы, сначала на Лае-реке, потом в Нёноксе, выходя из возраста детства, впервые вглядывался я в окружающий меня мир Божий. И самыми сильными, самыми разительными были непосредственные впечатления северной природы.

Нёнокса было место удивительное, там ещё царствовал XVII век, в зодчестве, в женских нарядах, в быту. Художник, любитель старины, эстет зашёлся бы от восторга. Красота старины северной пленила меня навсегда годов с шестнадцати (Николо-Корельский монастырь). Но красоты природы могущественно, таинственно и сладко начали пленять мою душу с девяти годов.

В р<еку> Лаю впадает лесная речка Шоля. Отец брал меня, малого, туда на охоту. Мы вставали на заре, я трепетал от счастья: Шоля, покрытая белыми кувшинками, стада чирков – мелких уточек – всё это было для меня путешествие в сказку. Всюду воды, всюду на вёслах или с парусом. Воды северных рек прозрачны. О, как я любил соглядать подводные эти страны. Помываемые глубокими течениями леса водорослей, похожих на косы русалок... Серебряные рыбы меж зелёных кос, раковины. О, как любо было, купаясь, нырнуть в яхонтовый этот мир да оглядеться там на мгновение.

Воды всегда шепчутся с берегом, а в карбасе с парусом встречь волнам – то-то у вод разговору с карбасом остроносым. И в Городе у пристаней,

бывало, где много деревянных судов, суда поскрипывают, вода поплёскивает: то-то молчаливая беседушка.

Я ни зверя, ни птицу не стрелял, я смала в белые ночи рыбку любил сидеть удить. Ладно, ежели на уху свежей достану, а я за этим не гонился. Озеро или Лая-река в июльскую ночь как зеркало. Всплески рыб, крики птиц, тихое сияние неба, сияние вод. Сидишь на плотике и боишься комара сгонить, чтоб не упустить какой ноты чудной симфонии северной ночи...

4 ноября. Суббота

Гребу утре в важнецкое учреждение, а «начальники», на приём к которым гребу, без шапок летят на улицу, в машину садят ММ. А этот ММ в молодости в дружбе мне клялся, гостил у меня. А теперь навряд узнает. Надысь, впрочем, два пальца подал: «Ну что, старик?..».

Пришёл домой, разгоревался я на нужду свою неизбывную. Плакать мне над собою али смеяться?!

6 ноября. Понедельник

Человек уносит с собой на тот свет только духовную свою сущность, только моральную свою цену, только нравственную свою стоимость.

Всё страшнее и страшнее становится жизнь рода человеческого. Уже не знают, знать не хотят, что добро и что зло, что смрад и что благоухание, что свет и что тьма. Правда, любовь, красота, честь, милость, прощенье, мир Христов, радость, вера – всё потоптано, забыто. Счёта нет истинным негодяям, преступникам, мерзавцам. Но несть числа и «ни добрым, ни злым». Они сознательно зла не делают, да и добра от них никому нет. Человек века сего нередко от младости до старости гоняется за личными страстями, увлекается науками-искусствами. Около такого человека компания подобных ему. И все ловят жалкие, мишурные блёстки скоротлимых ценностей, «мышиное золото» века сего. «Учёный», «писатель», «художник», «артист», иной какой «деятель» празднуют юбилей за юбилеем: 50 лет деятельности, 80 лет со дня рождения. Всерьёз-невсерьёз шумиха, суетня человеческая около всех этих «делов», а вопросы «правды вечной», а вопросы «смысла жизни», добра и красоты, завет «взыщите Бога» – где всё это?

6 ноября

Порхаем, как мотыльки по цветочкам, да цветочки-те бумажные, мишурные. Моль их разъела...

И вот в свете живых вечных ценностей поглядишь на мишуру пыльную, послушаешь болтовню ничтожную, пустую людей века сего, дак... унеси Бог ноги!

Глядишь на иного «юбиляра»: 50 лет болтал он устно и письменно. Сотни молодёжи внимали и внимают чистосердечно сей болтовне, воображая, что вся эта трепотня нечто нужное и важное...

И думается: чего ты, почтенный болтун, стóишь перед Отцом вечной правды?

Всю эту мишуру, весь этот мусор, всю эту ложь оставит человек здесь, всё это сгниёт вместе с телом... У века сего те люди и живы, и интересны, которые утром поглощают газету, вечером закусывают собранными за день анекдотами и новостями.

Такая личность, такая жизнь лишь окурок оставляет для великой жизни. Только пар, только чад остаётся для вечного существования.

Что душа припасла, то и на тот свет понесла.

И сколько «ярких» личностей, перенесённых «туда», где не на лица судят человека, окажутся такими окурками, обгорелыми спичками, пустыми хлопушками.

Человек был создан Богом по образу и подобию Бога.

Человек обладал в силу своей божественности великими возможностями, способностями, свойствами. В те времена великими свойствами обладало человеческое слово. Слово, износимое человеком из уст, почиталось как бы неким живым организмом. [Остатки сей веры – вера в заговоры.]

Речи Платоновы, Сократовы, затем Василия Великого почитались сами в себе чудодейственными.

Честь говорившим-учившим, но слава и внимающим-слушающим.

Дивно семя сеемое, но дивна и земля воспринимающая.

9 ноября. Четверг

Дни короткие, по-нашему, по-северному, зима уж... Снег нападает да стает. Вчера лужи, сегодня выморозило: сухо без снегу. Туск небесный быстро смеркнется, а всё, где увижу меж домы деревья, особливо старые, ветвистые – и не могу досыта наглядеться, усладиться рисунком сучьев и ветвей, так чудно вырисованных на туске небесном. Кабы мне прежние глаза, только бы я и рисовал, только бы и отводил бархатистую черноту ствола, пальцем бы вывел могучий изгиб... Потом сучья, и это ненаглядное, нарядное плетение веточек. Сумерки спускаются быстро, и нежныя кисти веточек, как шёлковыя нити на атласе, соединяются с небом. Чувствую неслучайность древесных изгибов и извитий. Дерево слушается солнца, ветров, дождей, соображается с широтою усадьбы...

14 ноября. Вторник

Конец месяца (сегодня 27-е)[1], дак на мели сидим. Братишко ломает голову, я покорно-тих: делайте со мной что хотите...

[1] По новому стилю.

Всё применяю к себе горестные слова нашей деревенской хозяйки: «Что уж, какая у меня душа красивая, а лицо, как куричья жопа». Моё б дело какую ни есть работу хватать, где палец протянут, там за всю руку хвататься, а я с прохладцей. А люди – отскочи на пядень, они отскочат на сажень. Не знаю я, что у людей на душе, на сердце: бегут ли, с кошёлками, топчутся ли на трамвайных остановках или у булочных, продавая паёк... Диапазон моих знакомств узок, но нет-нет да и получу приглашение на «вернисаж», на «творческий вечер», «выставку». Среди «голи и моли», которой надо же где-то забыться от очередей, от холода, от нужды, от грязи домашней, разглагольствует полдесятка «взысканных».

В пятом часу уж темнеет. Брёл бульваром. Высь небесная ещё прозрачна, хотя и облачна, а за домами низкое небо дымно-свинцово...

10 декабря. Воскресенье

В Николин день звенел морозец; вчера и сегодня сыро, лужи стоят. Брателко неделю хворал, я не у него, около себя разорялся, пропадал. Тут поманило заработком, выколотил я малую толику, планы плановал: вот-де заживём!.. Но и опять захирело. «В людях много милости (много??), а вдвое лихости».

Опять то же: «Садка день не зовут на почестен пир, другой не зовут на почестен пир...». Ну, ин ладно, ты, Садко, ежели не о деньгах, дак возьмись опять за свой промысел: о Боге возвеселись!

Давно я оттёрт от «пирога-то». Удачливее меня много лизоблюдов. Видно, они зазевались: «Позвали Садка на пир» (у чёрного крыльца постоял!). А я и о парадной прихожей возмечтал...

14 декабря. Среда

...В родном городе, в музее, было множество изумительных моделей старинных церквей, домов... Была нарядная утварь в виде зверей, птиц. И я, ещё подростком, наглядевшись, налюбовавшись, точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя дома резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музее. Сказка, волшебство творчества заражает, вдохновляет, подвизает художника к творчеству.

Тихий зимний день, белый дворик, серо-фаянсовое небо, бесшумно кружащиеся белые пчёлы; время точно остановилось... Творческое счастье охватывает тебя. Вот она, сказка о заколдованном Городе... Святые вечера, святые дни. Далече будни. Ныне время наряду и час красоте... Как бы матери голос слышу, поющий северную старину-былину:

Королевичи из Кракова
сели на добрых комоней...

А пушистые хлопья кружатся над Городом и неслышно ложатся в снег.

Да, святые вечера над родимым Городом: гавань в снегах, корабли, спящие в белой тишине... Над деревянным городом, над старинными бревенчатыми хоромами, над башнями «Каменного города» так же вот без конца кружатся белые мухи. И падают, и падают. И уже всё покрыто белой, чистой праздничной скатертью. Святые вечера. «Во святых-то вечерах виноградники стучат...» «Виноградие» – северная коляда. Сколько сказок сказывалось, сколько былин пелось в старых северных домах о Святках. Об Рождестве сказка стояла на дворе: хрустально-синие, прозрачно-стеклянные полдни с деревьями в жемчужном кружеве инея. И ночи в звёздах, в северных сияниях... А по уютным многокомнатным домам тепло, «как сам Бог живёт». Тут-то бабки и дедки сыплют внукам старинное словесное золото... И в первый день Рождества мужчины-мореходы ходили по домам с серебряными трубами, славили Христа... Бородатые почтенные мужи. А для «святочных вечеров» женщины вынимали из сундуков и парчу, и жемчуга нарядов XVII века, фижмы и робы елисаветинских мод и фасонов.

Но что вспоминать детство?! Сказке нигде не загорожено. Вот она прилетела с Севера сюда и заворожила...

27 декабря

Дух дышит, где хочет... Не только каноническая поэзия Церкви и не только, скажем, народные «духовные стихи», но и у многих поэтов-лириков, если взять век XIX, можем мы расслушать музыку живую, божественную. И не только там, где лепно выражено религиозное чувство, поименован и Бог. Но и там, говорю, там, где поэт, истинный поэт, даёт картину природы, воспевает, например, пробужденье весны...

Таких стихотворений немало. Не говоря уж о светлой мудрости Тютчева, у такого трубадура земной любви, как Фет, в стихотворениях о весне ясно и радостно видеть, что вот так бывает в природе, в деревне Великим постом в марте, а вот такие облака, такие воды на Страстной и в Пасху...

А вот поэт описывает зимний пейзаж из окна... Ясно видишь, что у него за спиною в комнате ёлка, её аромат... А на крыльце стучат. Христославы, небось.

Прочитывая «Когда волнуется желтеющая нива», будто сам ты полем идёшь, лазурь неба над тобою.

Чудную антологию из таких вещей можно собрать.

Я бы издал книгу – песнопения Великого поста: «Да исправится молитва моя»...

Канон Пасхи переложил бы, как подснежничками, как вербочками, светлою лирикой описаний ранневесенней русской природы. И в тексте,

наряду со священным изображением страстей, поместил бы репродукции с таких картин, как «Грачи прилетели». Ведь в жизни всё это вместе...

Поэт и музыкант-композитор, сам того не сознавая, может создать произведение, могущее быть прекрасным аккомпанементом религиозному чувству и настроению.

Реформатские или лютеранские псалмы могут оставить меня равнодушным. И, наоборот, под весеннюю песенку Грига или «Полуденный пейзаж» Моцарта я всем сердцем восхвалю «всея твари Украсителя», Того,

Кого хвалить в своём глаголе
не перестанет никогда
ни каждая былинка в поле,
ни в небе каждая звезда.

Пейзаж без единой человеческой фигуры может вызвать молитвенное чувство... Сладкою музыкой оказываются в душе пейзажи нашего светлого Нестерова.

...В поезде, на платформе, бывало, увидишь скромную женскую фигуру в тёмном простом платье, в платочке. Женщина молчит...

Но светлый лик её, взгляд её заставляет вспомнить сладко, что Бог создал человека по образу и подобию Своему, вложил в него душу живую.

27 декабря. Среда

Есть совсем «простые сердца»; потребностей, кроме как попить, поесть да поспать, нет никаких. Эти «простые сердца» даже кино не интересуются: ведь там ничего не дают. Есть опять сорт голов пустых, но которым требуется чем ни то заполнять эту врождённую пустоту. Поверхностная щекотка нервов в местах общественного пользования вроде всезаполняющего кино их удовлетворяет. Публика поцивилизованнее, интеллигенты – этим нужен театр, лекция о научной сенсации и т. п. Эта интеллигенция всерьёз, но без разбору интересуется литературой, поэзией. Какой бы хлам ни выбросил рынок, эта «культурная публика» живёт этими «новинками». У всех у них пустыя сердца, пустыя умы. Но они чем-то непременно должны заполняться, заполняться извне – книжонкой, газетой, киношкой, папиросой... Иначе – невыносимая, нестерпимая пустота, скука, тоска...

Есть люди тонкой психической организации, они любят музыку. Они знатоки и ценители её... Но где-нибудь в лесу, в хижине они не могут долго пробыть. Нужны внешние возбудители.

А между тем у человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя сила, собственное богатство. Человек должен светить из себя.

В человеке, в самом себе должна рождаться естественно, могуче и светло музыка. И когда ты, человече, остаёшься один, ты можешь услаждаться скрипками и арфами, своими мыслями и чувствами. Великая внутренняя содержательность, внутреннее солнце, звёздное небо, дивная музыка внутри себя заставляла инока бежать в пустыню, в лесную дебрь, на необитаемый остров. И всё вокруг для такого отшельника было царственно-радостным, всё было для него насыщено содержанием, благодаря богатству внутреннему. Творческая содержательность внутри себя может быть свойственна, скажем, и талантливому поэту, и учёному века сего и мира сего, но творческий порыв современного поэта не выше «потолка», доступного аэроплану, а «глубина» исследований современного учёного зачастую инфернальна.

Я упомянул пустынников. Но и везде молитва, дар молитвы есть дивное проявление внутренней содержательности. В нашем доме, здесь, жила порвавшая с семьёй из-за «старой веры» поморянка Соломонида Ивановна. Она любила быть одна в своём сыром тёмном чулане под лестницей... Молилась по уставам, по правилам, с лестовкой. Молилась по праздникам одна, ночи напролёт. Как светло её лицо, какие радостные струились слёзы: «Весь Ты, Спасе мой, радость! Нет Тебя, Господи, краше!..».

Это не значит, что ежели внутри тебя поёт птица райская, ты непременно должен особиться. Ты, скажем, арфа, а он скрипка, а у третьего виолончель, а тот вон труба сладкогласная: ежели бы вы сошлись, не составится ли чудный симфонический оркестр?! Таковы бывали обители.

еще трите (то оказались (!.) он нас вымала-
вал в озерах.

~~И [illegible]~~

Христос Воскресе? Утро Христова Воскресенья

[illegible] С восходом солнышка,
побежали: ~~к старту~~ в

Думаю нет ли подобной стран у Петроград

И сейчас еще лазурь ~~утро~~ утра воскресенья

Христова, необыкновенная. лазурь неба и

сияние земных утренних весенних облаков

~~[illegible]~~ радость неба и утра, и сейчас там

печать на сердце... Светло, но рано и

~~[illegible]~~ грустно и пусто по праздничному все

улицы. Никого нет: ~~[illegible]~~ буду только: Христос Воскресе

~~[illegible]~~ Воскресения день: ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ Еще тихие утра вечерних из за

темных громад домов золото солнца. весен[illegible]

в утро пасхальный и .. пасхальные образы
облака

Воздух полон праздничной святой радости

обливают ~~Дышишь~~ эти чистые святые, дышишь

этой лазурной радостью утра Христова

Воскресения. И дивно тебе сознавать

что это день показания на царство.

празднует мір ~~весь~~ невидимый, Христос

со всеми, весел вечно

Несказанная, бездонная лазурь неба

~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ по

сіяет ~~[illegible]~~

~~зем~~ весеннего [illegible], облачившейся

земли в праздничн[illegible] одежды царской.

веселый, играющій утренній ветер

все ~~[illegible]~~ [illegible] поет, все гласит: Хр

Хр̃то Воскресе! И, слава Христе, сила

твоей: уж я, на что убогой, немощ-

ной, слабой человечишко, а всё дрожно

1946

6 января. Суббота

Слушал Реквием Моцарта. Чрезвычайно сильное впечатление. Произведение барочного стиля и в то же время выше стилей и эпох. Солисты слабы. Понимают ли они латынь? Во всяком случае, религиозного воодушевления нет. Но музыка потрясает. И эта священная латынь сама по себе ходатайствует к Великому Судии, хотя бы и произносима была неумелыми, может быть, и равнодушными устами.

Реквием исполняется концертно. Это как бы ожерелье из драгоценных камней различной формы. Они не скреплены для слушателя священнодействованиями богослужения. И всё же впечатление единое и мощное... Точно грохот разбиваемого вдребезги мира слышится. Слышатся вопли рода человеческого, припадающего к Грозному Судии. «Когда поставятся престолы, и книги разогнутся, и Судия возсядет...» – поёт церковь восточная. Восток ниц повергается, моля «неосужденно предстати усопшему к страшному престолу Господа Славы». Восток умилённо и сладостно, и тихо поёт над новопреставленным: «Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего...». Скорбь и радость в дивной этой песне Востока, певаемой над мёртвым. Когда её поют, ниц лежат близкие, родные отошедшего, и печаль облегчается токами слёзными.

Латинская месса Моцарта (глупый конферанс возвещает, что эта вещь «выходит из узких пределов культовой музыки») требует милосердия, мольбы с угрозами, молит, потрясая кулаками. Наша панихида, как тихая заря золотая, уносящая преставившегося к свету невечернему. Здесь моление бурею подымается к небу... О, какая сила, какое дерзание в заупокойной службе у Моцарта! Эта музыка конгениальна псаломским воплям Давида, который столь же грозно судится с Богом. Но ведь и Вечный говорит: «Придите и стяжемся!..». И Запад стяжается с Богом в этой музыке над бездыханным безгласным трупом: «Не дал ты ему поцарствовать на Земле, так дай ему небесное царство!». Но Восток, видя светлое лицо отошедшего брата, поёт о чудных краях, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания...

В капелле, расписанной Микель Анджело, где фигуры грозных ангелов клубятся как облака, где Судия так неумолим, как уместен моцартовский Реквием.

12 января. Пятница

Реквием Моцарта... Ряд солистов временем маловыразительны, не волнуют, хотя и старательны, как приходской хор, разучивший сложную вещь и заботящийся лишь о том, чтоб не спутаться. Но музыка, орган и оркестр великолепно передают всемирную трагедию Страшного Суда. Мощно звучит и хор с органом, со смычковыми инструментами.

Страшный Суд... Какому гению под силу такая тема? Только древнему церковному пению. Но наяву и то, что и творчество индивидуальное, творчество гения, такого, как Моцарт, может так же мощно брать за сердце и исторгать слёзы.

14 января. Воскресенье

Смала был я любитель рисовать, красить. На то и учился, падая по цветам древнерусского стиля. Любителем навек остался. Потом былинами и сказками стал управлять. На том коне и еду. Но не интересна мне автобиография эта. Никак! Главное: чем душу питаю. Зрение утекает, как из утлой посудины вода. Прислушиваюсь к музыке. За целые века много тут дива положено. «Светская» европейская музыка. Не только оперетки, но и большинство опер... Верди, Бизе в XIX столетии... Но и Рахманиновы, но и Скрябины, думается мне (я ещё не вникал сюда), не для меня. Но говорить об операх и судить... не своим я тут товаром торгую. Я вот на сем свете несказанно, невыразимо люблю природу. У Римского-Корсакова в музыке есть картины природы. Есть у Глазунова, скажем, «Четыре времени года». Вот сюда мне хочется внимательно приникнуть. В такую «светскую» музыку. Ведь я люблю и народные песни «весенния», и стихотворения о весне, осени, зиме, положенные на музыку.

В молодости я мало думал о том, что восприятие природы у художника, у композитора может быть непосредственным и живым. Интересуясь древней церковной музыкой, я мало думал, что природа, вечно юная, хвалит Создателя, и композитор, любящий природу и отображающий её, так же, как и тонкий живописец-пейзажист, сам хвалит Творца. И мне, если я мало и отчасти уже касаюсь рисунка, мне можно и должно искать своё желание и в музыке...

В музыке русских композиторов надо мне подслушать, нет ли там мною любимого – тонко-тусклого, сребро-прозрачного неба, голых весенних веточек и этого: «Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...»[1]. Рахманиновская музыка на эти стихи мне не нравится. Светлой грусти весенней нет в этой музыке.

15 января. Понедельник

Не забуду одного дня. Мы жили в деревне. Был сияющий, солнечный ветреный день. Я сидел на широкой поляне под дубом, древним, раскиди-

[1] Ф.И. Тютчев «Весенние воды».

стым. Свежий ветер правил по небу ряды злато-белых облаков. Как корабли, они плыли от норда к полдню, как корабли, блещущие парусами, кидая на поля бегущие тени. Ветер свистел, веселяся в вершине дуба, но нижние сучья с вырезными листами были недвижны, казалось – сам златокузнец Челлини вычеканил их из бронзы, вычеканил и вызолотил.

В руках у меня был Платонов «Федр», я читал о вещем священном дубе близ Афин. Под сень дуба в полдень приходил Сократ, и в этот час нисходило на мудреца божественное исступление...

В этот сияющий день, в этот час бегущих облаков, когда эолова арфа ветра пела в бронзовых ветвях прекрасного дуба, когда сердце и ум трепетали, радостно внимая вечно юным и вещим глаголам древнего мудреца, я сладко ощутил, узнал и увидел: вот здесь, вот это и есть невыразимая слабыми моими словами – «слава Отцу и Сыну и Святому Духу»!

«Приди Лице, бегущее от человеческаго постижения», – вопиют к Духу уста светлого мудреца наших дней. «Дух дышит, где хощет». Не знаешь, когда и куда Он приходит...

Сегодня опять слушал Моцарта. Симфония «Юпитер». Музыка величественная и веселящая сердце. Музыка растёт в душе, «как сокол ширяся на ветрах». Величество нарастает. Сердце веселится, как птаха малая, взмывая над облаки, в лазурь. Дух-от захватывает, не может птаха навеселиться...

И Моцарт, и, к примеру, Штраус оба были людьми светскими, оба выступали в салонах. Моцарт любил оперу и был блестящим оперным композитором, как, например, Верди, Гуно, Бизе. Но, слушая Штрауса, представляешь себе венские роскошные гостиные, великолепные танцзалы. А Моцарт выше своего времени, он парит выше европейских столиц. Не прикладываю музыку Моцарта к русской природе... Но инде соединяется с этой светлой музыкой сердце...

На концертах серьёзной музыки видишь много людей, пришедших в концертный зал не потому, что «все будут», не для встреч и развлечений, но чтоб послушать любимые произведения. Многие из этих людей вне религиозных переживаний, не думали о Боге. Переживания, связанные с музыкой и вызванные ею, являются здесь эквивалентом молитвы. У людей же, взыскующих Бога, здесь я разумею и церковных людей, музыка приводит, подвизает к молитве. Во всяком случае, независимо даже от намерений композитора может вызвать настроения и чувства религиозные.

18 января

Прекрасным, могущественным ангелом музыки кажется мне Моцарт в иных его песнопениях Реквиема... Как сильно, как дерзновенно!.. Иногда не в силах душа следовать взмаху могучих крыльев...

Страшный суд, последний день предстает уму и сердцу, внимающему этой удивительной музыке. Рушатся города, и вопит от ужаса род человеческий. Гремят трубы архангелов...

Когда возгремит последняя труба, и огненные подымутся реки, и восплачет человеческий род, тогда моли о нас, моли о нас, Пречистая!.. Поёт восток. Так же поёт и Запад. Вопли и громы сменяются как бы ангельскими хорами. И опять трубы и кимвалы, и органы. Тоже столь же исступлённые, как и мольбы, хвалы Всемогущему...

Реквием Моцарта... Это какое-то... сотворение мира. Сгусток драгоценностей, слиток золота.

Так много переживаний, больших, сильных... Впечатления налетают... Не успеваешь пережить, перечувствовать. Могучая, величественная божественная слава мессы заставляет тесниться сердце, могущество музыки вызывает слёзы... Так сильны впечатления от музыки, от слов...

Восхищаешься, плачешь, остаёшься неудовлетворённым... Можно сто раз слушать этот Реквием, и всегда будешь не сыт. Всё будет казаться, что не разобрался... Вопли, громы, трубы, сменяющиеся тихой, умилённой паузой. И снова буря Херувимской гремящей хвалы... И вот опять вопль конца мира...

Моцарт создал нечто конгениально древнему столповому пению. В разных планах, даже полярные в формах, в приёмах изобразительности, по силе впечатлеваемости эти две разные музыкальные стихии потрясают одинаково. И в нашем древнем знаменном пении как бы рокот моря, трубы архангелов – впечатления одинаково сильны... Но после Реквиема уходишь неудовлетворённый. Титанические куски музыки остались не пережитыми... Хочу слушать ещё и ещё.

24 января. Среда

Морозов боимся: одежонка плоха, да и такое мокро – горе: калошики забыли, когда и были. Снег с дождём. Я выплыву из крыльца в лужу, ну и домой. А брателко в матерчатых башмачонках в снег и в воду... Светик мой, доброхот.

Через два дня неделя мытаря и фарисея. Заслышим уже недалёкую поступь поста, издали донесётся бряцание постного кадила. Ещё масленица не была, но в церковных службах уже слышим фимиам «святых постов», как дальний зов постного колокола, звучит песня «покаяния отверзи ми двери»...

В своё время писал работу, принята была, но не пошла в ход, не опубликована была, и время и обстановка затеряли её. И я махнул рукой; не в подъём мне эту работу протаскивать самому. А о том, чтоб кто могущий помочь с мели дело это сдёрнул, смешно и думать: есть у меня горький опыт. Сегодня узнал я, что некто таковую ж работу представил, но несравненно в виде гораздо более слабом и худшем, по сравнении с моим трудом.

И этот конкурент мой, как имеющий сильные связи, схватил большие деньги.

Что же мы-то с брателком колотимся, а всё нищие... Как же ещё до сильных-то людей добиваться, лизать их или за пятки по-собачьи хватать?

Побродил по улице: снег, слякоть... Всё немо. И я взял, открыл от Иоанна, словеса Христовы к ученикам после тайной вечери. Он говорит Петру: «Душу ли свою за меня положишь? Петух трижды не пропоёт, как ты отвержешься меня...». И сразу пало на сердце: Сыне Божий, ведь это *мне* он говорит!

17 февраля. Суббота

Бог да добрые люди пособляют на ноги встать. Только ноги-ти охудали порато. Завелася толкотня с деловыми людьми. Вижу рвачей, привыкших брать помногу, брать спокойно, важно и бессовестно. Они сумели так наладить жизнь, что к ним тысячи сами текут в карман. Сколько достоинства в их лицах, сколько подобострастия со стороны окружающих!.. Опять вижу хапуг, которые хватают с визгом и руганью. Эти тысячи-то свои тоже схватят, но достаётся им не без беготни, не без хлопотни. Около тех и тех кормятся «люди молодшие», не сумевшие стяжать имени и лавров, людишки вроде меня.

Это я об артистах глаголю...

15 марта. Четверг

В один вечер слушал и Реквием Моцарта, и «поэму на смерть сына» одного поэта «из ведущих». Вот – два полюса. Тут о смерти, и там о смерти. Тут мировоззрение, и там нечто вроде. Здесь скорбь как орёл возносится, скорбные очи орлиные соглядают солнце, и миры, и века. Скорбь веры, рыдая об усопшем, поёт хвалу Вечному. Господь даде <?>, Господь Отче, – буди имя Господне благословенно вовеки! У христианина скорбь плывёт на крилех орлиных выше неба и выше времён и веков. Рыдая, хвалит Вечнаго. Рыдая над усопшим в «надгробном рыдании», поёт верующим ликующее: «Где твоё, смерть, жало?!».

А у сего «гада века сего» рёв звериный, унылый, страшный. Точно в ящике забитый бьётся человек. Материт убивших сына: «сволочи», «убью!..». «Ваши сыновья блядуны, безносые, воры, жулики... Мой любил кино, радио, спорт, уважал девушек!..» Какой жалкий тупик. Жалкий Реквием сыну[1].

31 марта. Суббота

Ходили, я и брателко, с вербочкой. Еле залезли, едва и вылезли. Толпу поносит, как в поле траву. Где уж тут свечку зажечь: лба не перекрестишь.

[1] Возм. имеется в виду поэма П.Г. Антокольского «Сын» (1943).

Из-за гомона и криков не слышен и многоусугублённый партес клиросных артистов. Как бы то хотелось знаменного, столпового пения. Ведь никого не удивишь концертными ариозами.

Вербочки сегодня повсюду: на улицах, в трамваях. Уж на что одеревянела душа, а умильно видеть прекраснейшие всяких цветов, нежные, как жемчужины, барашки вербные... Вечно юнеющие дни и настроения. Как в детстве, так и теперь, в преддверии старости, опять настали эти дни желанные, заветные.

Вечно живёт и вечно цветёт живоначальное существо праздника. Так же, как в дни впечатлительной юности, должна бы душа моя чувствами и воображением и теперь отзываться на благовест праздника. Но грех, слабая жизнь состарили с телом и душу. И вот существо, долженствующее быть вечно юным, стареет, становится нечувственным – «грешное тело и душу съело».

Обижусь на давку в церкви, а того в толк не возьму: «последняя Русь здесь», как говорил замечательный русский человек Аввакум протопоп. Охают, пыхтят, исходят потом, ругаются, а ведь стоят часами. В этих теснотах праздничных брателко всё уж в охапке меня держит. Он сам как былинка, а кабы не он, в заутреню позапрошлого года я бы околел. Брателко троих выволок обмерших... отдышались...

Поэт, ныне умерший, говаривал: «Не увидишь лика человеческого, всё рыла».

Я видел: три женщины, друг друга как бы поддерживая, идут ко всенощной. Все три в чёрном. Две-то ведут третью. Она еле переступает. У всех трёх спокойные, я бы сказал, прекрасные лица. В руках вербочки и свечки.

Есть ещё лики человеческие!

1 апреля. Воскресенье. Цветоносное

«Красота спасает жизнь», – говорит Достоевский. Чаще всего здесь под именем «красоты» разумеют искусства: музыку, поэзию, живопись. Ныне меньше всего занимаются философией своего искусства сами профессионалы – музыканты, поэты, художники. Тут, у профессионалов, деньги и честолюбие – единственный двигатель творчества. Халтуры во всём 99%.

Бескорыстно, «для души», любят «искусство» потребители. На концертах «серьёзной» музыки я чаще всего ценю публику больше, чем «рвачей»-исполнителей.

Не поспел на ноги встать, удачливый (и талантливый) пианист, скрипач, актёр, а уж он об одном только думает: как бы коллег своих перегнать, за один вечер в пяти местах гонорар сорвать.

Меня не интересуют эти «жрецы искусства», честолюбивые и всегда алчные. Меня интересуют люди, «живущие» музыкой, поэзией, посетители концертов, почитатели поэтов...

Жизнь наша, жизнь большинства – «юдоль плачевная». «Несть человек, иже жив будет и не узрит смерти»[1]. А пока жив – болезни, потери близких, старость, всякие несчастья и неизбывные скорби. <...>

Конечно, в час скорби ты не пойдёшь ни в кино, ни на Дунаевского и т(ому) п(одобный) сор. Но сердцу и душе, скорбящим смертельно, что дадут и красоты Штрауса, Верди, Бизе?.. Ты выберешь, конечно, что-нибудь подходящее к настроению у Чайковского, у Рахманинова, у Глинки. Ну, они заставят тебя слезу пролить. А дальше что? Ведь вот и в крематории «музыка играет» вещи классические, подходящие к моменту, «когда мёртвого садят в печь». Но не сожигающие ли, не испепеляющие ли душу слёзы вызывает эта музыка?

«Массы», простодушный обыватель музыку ассоциирует с развлечением, соберутся повеселиться – тут и гармошка, и джаз. Музыка и кино – лишь бы «рассеяться».

Вопрос о музыке как о чём-то большом и нужном для жизни духа не ставится не только среди «простых масс», но и среди рядовой интеллигенции...

У народа была своя исконная музыка, пронизывающая быт, делающая его праздничным и как бы благословляющим. Были у народа поэзия и музыка, в которых человек рождался и умирал. Семью, род эта бытовая музыка удовлетворяла. Эстетическая ценность этой музыки, безусловно, велика. Возвышенно настроенные умы и сердца эта поэзия, бытовая, не удовлетворяла. Этим душам орлиного полёта подавала руку поэзия и музыка вселенская, надмирная, поэзия и музыка вечная.

В дедовский наш быт с его неповторимой красотой нам уж не влезть. «Не воротится вода, яже уплынула, ниже жизнь наша, яже преминула». Но над этим, столь любезным сердцу нашему бытом вечно пребывало зиждительное Творчество, вечно пребывала Мысль и Мудрость. Над всем и во всём пребывал и всё наполнял Поэт Неба и Земли. От него гармония миров и музыка. Музыка в тех масштабах, в каких её понимали и принимали древние – эллины, египтяне и сменившая сень закона на свет благодати Церковь Христианская.

Не поскорбим, что исконная красота старинного быта с его укладом вызноблена, выветрена сквозняками века сего. Вековой песенный уклад дедовской жизни был как бы дитятею. Он должен был вырасти «в мужа совершенна», т. е. облечься во Христа. Все народы имели свою национальную красоту. Век сей – «прогресс и цивилизация» яростно устремились на отцовские уклады жизни. Но народы успели стяжать себе щит и оружие – христианство. Оно выше быта и национального уклада.

Философия, музыка, поэзия и пребывающие в Боге являются вечно действующим таинством, вечно совершающимся.

---

[1] Святитель Илия Минятий «Слово о смерти в первую неделю поста».

2 апреля. Великий Страстной Понедельник

Бог – творец, Бог – художник, Бог – поэт. Поэзия, философия, музыка, театр, пляска нисходили древле на людей от Творца-Зиждителя, который есть начало истинного творческого вдохновения. Так было в библейской Иудее, в Египте и в Элладе. Пророк и царь Давид, «скакаше играя». Исполнение трагедий у эллинов было богослужением. Христианская литургия есть трагедийное действо о Боге страдающем и воскресающем. Литургия не есть воспоминание о страданиях Христа Иисуса. Таинство великое страданий Искупителя совершается всякий раз, потому-то верные всякий раз за литургией и вкушают «истинное тело Бога и пьют истинную Его кровь»[1].

Век сей и мир сей, оторвавшись от Начальника, от истока Жизни, от Бога, отломившись от «лозы истинной», век сей и мир сей унесли с собой только шелуху, только красивую скорлупу празднственного пафоса жизни.

Творческий гений человека имеет божественное начало. Пафосом божественности, пафосом религиозного творчества пронизаны и одержимы были некогда не только поэзия, музыка, философия, но и медицина, и история, астрономия...

И слагатель песен, и драматург, и философ, и врач, и художник одинаково отдавали себя в служение Божеству. И труд их, имея начало в Источнике Жизни, в Боге, был на великую пользу людям.

Бог Аполлон и музы – «богини свободных наук» – для христианина лишь аллегории. Но здесь глубокая истина, глубокое проникновение, высокое знание истоков творчества, светлая озарённость разума древних людей.

В Элладе, в Египте театр был храмом. Музыка, поэзия дивно и всепразднственно сознавали свою божественность; участвовать в трагедиях-мистериях, петь, играть, плясать в музыкальных действованиях значило соприкасаться с божественными началами.

Живыми и свободными были «искусства и науки» древних, п<отому> древним дано было величайшее веденье: всё окружающее – небо, звёзды, земля, реки, деревья, – всё живо и имеет разум.

Древние предузнали закон мироздания и творения (и творчества). Но все эти предозарения древнего гения покрыло благодатное солнце – Христова вера.

Провидения тайн древними чрезвычайно туманились «кровью, похотью плотскою, похотью мужескою». Творческая радость древних, даваемая им прозревать великое, отуманена была буйным хмелем ещё незрелой молодости.

Очень многие мифы Эллады являются пророчественным прозрением или прообразом истин христианства. Все эти сказания о том или другом

---

[1] См. Мф. 26:26–27.

цветке, дереве, реке не являются красивой поэтической сказкой. В этих «сказочках» о цветах, птицах, ручьях – важное и глубокое проникновение в суть вещей.

3 апреля. Страстной Вторник

Холодной норд с ночи стал торкаться в ветхие наши оконца. Земляк мой – северный ветер – первому мне весть подаст, с первым со мной здороваться прилетит. Чтобы-де не забывал родину. Где забыть?! В дни Страстной недели особливо и животворно возвращаюсь к юности. Сильно и всеобдержно переживались там, на родине, светлые, благодатные дни.

Таинство Страстей Христовых неизречённо, но неизменно совершается в эти великие дни. Детство и юность, когда душа ещё не ослаблена грешной жизнью, остро и непосредственно касались невидимых потоков таинства страданий и Воскресения. И это приобщение чуду осолило всю последующую жизнь. В дни юности, на Пасхи, я как бы действительно надевал «одежды брачные», а потом пошли годы... Волей или неволей я «ум растлил, тело осквернил, душу погубил». Полсотни лет прожил... Как проспавшийся пьяница, одурело осматриваюсь: борода и ус в блевотине...

Чтобы таинство, силу и угодье наступивших жизнеподательных дней ощутить и быть живоносному всемирно совершающемуся таинству причастником, надо умыться слезами умиления, покаяния. А вот грех-то, жизнь-та, проведённая как попало, в слабостях, в праздностях, в унынии, в празднословии, лютые оставляет последствия... Грешное тело и душу съело. Опали крылья у души, у мысли, у впечатлительности. Так вот и «в смерть» можно уснуть. И «враг» посмеётся над всеми «упованиями».

Но и без меня – сплю ли я, сознаю я или нет, готов я принять или нет животворную тайну дней – тайна страданий и Воскресения совершается. Ныне вся тварь говейно созерцает умными очами «Грядущего на вольную страсть». Скоро вся тварь спостраждет страсти Зиждителя. «И каждая былинка в поле, в небе каждая звезда». Что же бы человеку-то, посреде тайны и под тайной живущему, не опомниться, не очнуться для своей же радости?! Весна, хоть каков ни будь лёд, весна сломает его, растопит. Растаяв, льдина войдёт в состав вешних вод, зашумит, запоёт, побежит рекою. Ужели в душе моей, в сознанье моём «вечная мерзлота» установилась? Ужель и весна Христова недейственна здесь? Когда-то воспрянет душа моя и явит дело, а не будет растекаться в словесном балаболе?!

Господь говорит устами Златоуста: «Отдал ты дьяволу юность и силы, дак ныне хоть трясущиеся твои кости мне отдай!».

И недаром поёт Давид: «Возрадовашася кости мои!».

«Не дети бывайте умом»[1], – велит Павел. Павел – весь пафос, весь радование, весь любовь, весь огонь, весь ум Христов. А вот не Христов ум и глупствует по-детски там, где надо нарочитость детскую оставить. В шестьдесят лет иметь ум шестилетнего младенца – достоинство ли? А вот Гёте и иже с ним, ревностные (не по разуму) поклонники античности, негодуют на христианство за то, что «тень креста пала на античную солнечность», за то, что «отлетел милый рой богов родимых и теперь царит один Незримый, одному Распятому хвала...».

Гёте, капризничая, как дитя, не хотел видеть, что младенчествовать, веселяся над игрушечным «роем богов родимых», нельзя было без конца роду человеческому. Я говорю об эллинах, об их «рое богов». Но и у нас, русских, как и у народов романских, германских, был свой «рой богов родимых»: русалки-наяды, лешие-сатиры и т<ому> п<одобное>. Но примитивна была наша мифология. Не долетала до заоблачных высот Платонова мировоззрения. Но платонизм был вершиною, с которой видна была уже лазурь христианского неба.

Но и высокая философия (языческая), как и языческая народная религия, не могли бы уже бороться с тем роковым и неизбежным положением, что «мир во зле лежит». Человек, которому Зиждитель дал свободную волю, избирал – чем дальше, тем чаще – зло. Зло усиливалось соответственно тому, как усовершалось о Христе добро.

Если бы не пришёл Христос, никакой свет давно уже не светил бы, давно уже всё было бы объято тьмою «мира сего».

Жизнь на земле должна была усложниться, льды печали, несчастья, скорби должны были возрасти, умножиться. Наивная детская религия с «роем богов родимых» – что могла бы пользовать в дни века сего, как и чем отирала бы она море слёз, тоску и скорбь человека, стонущего посреди «прогресса и цивилизации», когда «науки» занялись изображением смертей?..

Только «вземляй грех мира», только принявший на себя волею все наши скорби, только Тот, который открыл миру, что «Бог есть любовь», только Он, простирающий нам руки с язвами крестными и взывающий: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас», только Он, единый безгрешный, Владыка кроткий, Владыка тихий, может уврачевать безутешную скорбь рода человеческого.

Вчера упомянул я интеллигенцию, людей, не лишённых в той или другой мере духовных потребностей. Они считают, что потребности духа современный человек может удовлетворять в музыке, в художественной литературе (проза, поэзия), в научной работе и т. п. Но масштабы, но горизонты наук и искусств, равно как и философских учений, приемлемых

[1] См. 1 Кор. 14:20.

современным человеком, ограничены узкими рамками «мира сего», глухого к блаженству Евангелия о победе Христа над смертью.

И эта «серьёзная» музыка и поэзия, которую только и приемлют «серьёзные» люди века сего, не более как «рой богов родимых», который беспомощен в вопросах смысла жизни, в вопросах смерти и бессмертия, в вопросах о смысле страданий.

Оставим учёных, изобретателей смертей, и не ко всякому произведению будем предъявлять непосильные вопросы. О, род человеческий: у воды стоишь, а пить просишь. Заблудились люди, забыли вечную правду Евангелия, откуда протекли реки живой воды. «Пьющий воду сию не имать вжаждатися вовеки»[1].

5 апреля. Великий Четверг

Поэты, художники, люди, отдающиеся музыке, философы... им свойственно вдохновение, «муки творчества». Эти люди ощущают счастье. Их можно сравнить, но и нельзя сравнить с людьми, совершающими таинства церковные, и с людьми – участниками таинств веры. Нельзя сравнить п<отому>, ч<то> у поэтов и «певцов» века сего всё «похоть плоти и похоть очей», всё у них житейское, всё у них лишь поднятые на ходули будни. Всё у них матрацы на пружинах, надутые воздухом шары; всё у них самолёты на нефтяном горючем. Чудо творчества века сего – вещь малая, очень отвлечённая, относительная, вещь частная. Поэзия, философия, музыка, свободные художества, науки – всё, чем мнят «творцы» века сего украсить, возвысить, осмыслить, объяснить, облегчить жизнь, – всё это не может претендовать и не претендует на то, чтобы быть или стать всемогущею силою, всеобдержным чудом, чудом, которое властно над жизнью и над смертью.

Мне скажут: почему ты жизнь в церкви, религию сравниваешь, применяешь к поэзии, к творчеству художника? Ведь религия занимается «добрыми делами», делами любви, служением человеку и т. п., не верно ли применить «церковность» к общественно полезной деятельности?

Я отвечу: конечно, никто и ничто не в силах так, как Церковь, отереть всяку слезу от лица земли. Общественно полезными учреждениями являются и кассы взаимопомощи, и дома призрения, и приюты.

Понятие «Церковь и Вера» бесконечно более великое. «Вера и Церковь» – это вечность, это светлое познание начал и концов жизни. В Церкви нет смерти. Ибо «Воскресый из мертвых» дарует жизнь сущим во гробах. В Церкви не жалкая, будничная, маленькая «общественность», но безграничная, вневременная соборность, в которой пребывают живые и мёртвые. Церковь – собор всей твари. Пребывание в Церкви – это есть несомненное знание, что я никогда не умру, что живы все мои

[1] См. Ин. 4:13–14.

преждеотшедшие отцы и братья, что я встречусь с ними в будущей жизни. Быть во Христе и в Церкви – это ощущать и видеть, что вся природа жива, что всякая былинка, всякий жаворонок веселит, всякая вербочка у вешняго потока живы и хвалят творца. Одно из проявлений веры – молитва, которая места не ищет. Вот «выхожу один я на дорогу, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, звезда с звездою говорит...». Это ощущать – уже есть молитва. Далее у поэта уже падают крылья, он по-земляному страшится сна могилы. Но у этого же поэта есть высокозначительные строфы в стихотворении «Ангел»: «И долго на свете томилась она (душа), желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли»[1].

Отличие людей века сего от людей, взыскующих Бога, и состоит в том, что у первых нет «желания чудного», хотя бы они из кожи вылезли, бегая по заседаниям. Пыль взбиваемая, пузыри на воде – их труды, скучны их песни и не заменят никогда «звуков небес».

Итак, лучшим представителям поэзии и философии века сего свойственно бывает «желание чудное». Но как быстро у них опадают крылья и сразу они сворачивают куда-то вбок. Лермонтов и боится могилы, и не хватает у него сил воспеть с Церковью: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав... А ведь Лермонтову, как и Пушкину, свойственны были высокие полёты духа. Теперешним «курам» никогда так, как этим, не подняться.

Но как сродни нам эти поэты, орлы в клетке, в оковах понятий и учениях плотских, земных... Чаще, чем кто-либо, стояли они у «вод жизни», а пить просили у века сего. Но к ним относятся словеса: «Дела приемлю, и намерение целую, и спех умедлившего люблю».

И так беспомощно и безответно творческое дело и учение века сего. Кому-то оно берётся помочь, а для всех оно не пользует... Ведь на «площади» мира сколько толпы: воеводы, бояре, монахи, попы, мужики, старики и старухи[2], и дети, и больные, и неграмотные и... всех не перечтёшь.

И всесильная, всемогущая, соборная, вселенская, существующая и на земле и над звёздами Церковь не отвлечённо, а конкретно, вот сегодня, в Великий Четверг, подаёт всему миру, всему роду человеческому чашу и хлеб – источника бессмертного вкусить. Учёным отвлечённо известно, что звёзды так далеко, что свет от них идёт тысячи лет... Всё это для личности – для меня, калеки, для тебя, скорбного, – не тепло, не холодно. Так же как и «науке» до тебя нет никакого дела. Церковь влагает в уста хлеб небесный и даёт пить чашу жизни. И мы, грамотные и неграмотные, старые и малые, становились причастны абсолютному ведению. Я причастник сегодня, участвовал в Тайной

---

[1] М.Ю. Лермонтов «Ангел».

[2] См. поэму А. К. Толстого «Поток богатырь» (1871): «И на улице, сколько там было толпы, / Воеводы, бояре, монахи, попы, / Мужики, старики и старухи – / Все пред ним повалились на брюхи».

Вечере «и уже знаю всё». Знаю самое важное, знаю, о чём «звезда с звездою говорит» и какую беседу ведёт пустыня с Богом. Залог жизни вечной принял я сегодня не слухом, а устами ощутил на языке и в гортани. А вечная жизнь – абсолютные ведения и правильные ведения всего, яже в небесах, и яже на земле, и яже в безднах... Творец всего видимого и невидимого во мне, чрез него открываются внутренние очи, право видеть вселенную.

6 апреля. Великий Пяток

Поздний вечер, а за домами стоит ещё тихая заря. По переулкам в весенних лужах отражается золото неба и деревья. Тишина ранней весны над городом. Она могущественнее городского шума.

Днём над грузными, унылыми домами небо столь хрустально-чистое, лазурь бледно-голубая, в лёгких, как кисея, барашках... Стоишь, забудешь, что твой трамвай подошёл... Какая тишина блаженная там, за городом. Тишина полей, ещё не просохших... Грачи прилетели.

Днём был у плащаницы. Церковь набита людьми, нельзя и свечечки зажечь. Над головами тихо движется плащаница. Дребезжа, клямкают колокольцы на клиросе. Век бы душа моя слушала напев «Тебе, одеявшегося светом яко ризою». Напев торжественный и печальный, мелодия сладкая и прекрасная. То как бы мать тихо и нежно напевает над уснувшим ребёнком, боясь его разбудить, то как бы весь род человеческий, видя своё спасение, возносит хвалу «смертию смерть поправшему».

Уж как одолевают болезни, печали, вздыханья, но сквозь всю тяготу стремится мысль к Единому любимому. Вечная наша любовь, Христе Иисусе, Свете мира!.. Я живу, мучаюсь, но вот Творец и Зиждитель мой распят на кресте, терны впились в Его чело. Вот Он лежит передо мною во гробе, и я целую язвы Его пречистых ног.

Свете мой, Господи мой, ради меня претерпел Ты оплевание, и заушение, и распятие, и лежишь во гробе. Помоги мне с Тобою воскреснуть!

7 апреля. Великая Суббота

Сия суббота есть преблагословенная, в ню же Христос уснув...

Ещё спит во гробе Христос... Пеленою облаков, будто завесою, подёрнуто небо. Тянет вест. По мокрым дорогам идут и идут люди поклониться живоносному гробу; целуют священные язвы... В сиянии свеч, в благоухании цветов ещё лежит пречистое тело «волею страдавшего за род человеческий». Ещё «молчит всякая плоть человека и стоит со страхом и трепетом»; спит во гробе Начальник жизни. Но скоро, скоро всё исполнится света: небо, и земля, и преисподняя. Воссияет свет, паче грозы и молний; свет Воскресения Христова облистает мир. И услышим вечно желанное, вечно любимое: Христос воскресе из мертвых... Вера Христова, сокровище

и счастье наше! От дней младенчества и до старости нет вести радостнее, нет песни прекраснее, нету словес более дивных, как «Христос воскресе из мертвых». Помню завещанье материнское: «Сие слово непрестанно припевай, дитя, душе своей...». Ребята на улице окликают меня «дедушкой». Но как у дитяти ликовало моё сердце о радости Воскресения, так и теперь у старика сладко оно трепещет – Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!.. И с этой радостью умру, и знаю, что в вечность перейдёт эта радость, радость Пасхи.

Светозарная ночь наступает, светоносного дня провозвестница...

11 апреля. Среда

Звенит где-то сладкогласная весенняя свирель: «Днесь всяка тварь веселится и радуется...». Журчат ручьи, разлилися реки, и глядится в воды тихое небо – Христос воскресе!..

Так же, как вот не вынесешь ног, не урвёшься из этого кирпича, из-под этого булыжника, так и расслабленную душонку свою, худенькую мысль нет сил послать, как сокола, чтоб уловили голубицу-воскресение.

Радость Воскресения, голубица, криле имуща златые, летает во вселенской широте, во всемирной высоте, и мне-ка нечем её зачалить. Ни поймать, ни рядом полетать. Мысли моей, желанья сердечного полёт – не больше воробьиного: с дороги да на крышу. Скачу на одной ноге по навозной колее: чик-чирик – праздник!.. А машина наехала и – нету меня!

Говорят: собором и лукавого поборем. А вот и у службы церковной мнится мне не собор, а толпа. Крестятся, как и я, поют то же, что и я. Рядом стоим, теснимся, а не единым сердцем, не едиными усты... Будто в трамвае стоим; толкни кого – сразу заругается. Возлюбим друг друга да единомыслием исповедуем Воскресшего. А мы всяк по себе. Поют о радости сейчас. Всякое слово пасхальной службы – свет и радость. А в людях нету радости соборной. Пришли на собор – значит, хотят радости Воскресенья, а открыто ли сердце во еже: «друг друга обымем»?

К чаше в Великий Четверг лезут, толкаются, шипят...

Видно, я впрямь старею, всё брюзжу. Не вижу хорошего, только неладное на сердце садится. Одно на уме-то: выйти бы в поле, в леса. Здесь в церковь-ту попадаешь: во все стороны от машин озираешься, через рельсы скачешь, в трамвае жмут; опять ждёшь «транспорта». В Великий Четверг еле я под автомобиль не попал, ушибся, братишку напугал.

Мне б хотелось где-ле меж Хотьковом и Троицей тихонечко брести. Михайлушко сказывал: речки там разлились, тишина стоит, только потоки инде светло шумят. Радонежские холмы в золотистой прошлогодней травке-отаве, тоненькие беленькие берёзки, тихое небо... Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...

Около пенька зелёные блестящие кустышки брусники. В овраге, в кружащейся воде красные веточки вербы. И не наглядишься досыта на небо, сияющее жемчужными облаками и тишиною своей паче всех человеческих гимнов глаголющее: «Христос воскресе из мертвых!» А в толпе городской человек сирота. Там, над холмами и долами радонежской земли, в благодатные дни Светлой недели может твоё сердце коснуться Руси святой и как птичку вешнюю уловить радость Воскресения Христова.

Говорят: счастье в нас, а не вокруг нас. Да. Но бывает – задохнётся радость твоя в городском-то гаме и лязге, в пустотном балаболе. Ведь Пасха, а все, все только пыль взбивают словом и делом. Живого слова нет ни у кого. Всё балаболит мертвечину... Церковь Живого Бога – в прекрасной «пустыни», где живут берёзки, где золотится вербочка, где тихое небо сказывает сердцу радость неизглаголанную.

12 и 13 апреля. Четверг. Пятница Светлой недели

Неиссчётным светом исполнен пасхальный канон. Что есть тот свет? О Пасхе и ночь является светозарна и светоносна. Что Христовой ночи светлее? Ночь Христова Воскресения светлее солнца. В каноне поётся: «Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, и преисподняя». Таков же поток света льёт Пасха Христова во внутреннего человека, в наш разум, в наши мысли, в наше сердце, в наше сознанье, в мироощущенье наше. Но повседенный, пожизненный грех, слабая жизнь, праздность, уныние наращивают коросту на душе человека, крылатый разум превращается в будничный убого-практический рассудок, сердце ничего не умеет, кроме как «сердиться», чувства копошатся или в будничной пыли, или в чувственной грязи: похоть или воспоминания «о любви» – праздник наших чувств. На иное мы не «реагируем». От такого ничтожного прозябания, когда в молодости бываем мы рабами похотей, а в старости недугуем от сребролюбия, когда и копить-то уж нет сил, а развратничать не можем, от такого преступного отношения нашего к великому дару Божьему – жизни – мы сами себя порабощаем смерти.

Мы настолько ослабли духом, что уж не в силах осознать, что смерть побеждена, что человек предназначен к иному пребыванию. Очи наши одряхлели и не видят, что «ныне вся исполнишася света». Мы, как несмысленные свиньи, ушли из царства, побрели искать, где погрязнее. Не наше дело стало, что слава Воскресения воссияла на Церкви. Стали мы как гнус подпольный, и холодны мы к понятию «Единa Святая Соборная и Апостольская Церковь». А ведь мы должны быть, мы предназначены быть не куриным гнездом, не свиным стадом, а собором христиан. Сегодня Церковь торжествующая, вечная в эту Христову ночь возводит окрест очи свои орлиные и сочетает чад своих, собравшихся от Запада, и Севера, и Юга, и Востока. А мы где? Не у помойных ли ям?!

Ради чего же мы от счастья, к которому предназначены, от подлинной, истинной Жизни, от Света немеркнущего, от радостной Славы, от благодатного своего величия, от мира душевного, неизречённого, от могучего бескрайнего ведения и познания, которые даёт Христос Воскресший, отворачиваемся?

Разве мы ценим, разве мы уважаем людей века сего, достигших почестей и благ материальных? Нет! Мы знаем, какими средствами они добились своего положения. Думаем ли мы, что эти дельцы, урвавшие для себя комфорт и роскошь, живут в радости? Нет. Сейчас у них главная началась тревога и страх: болезни свои лечить и смерть неизбежную оттянуть. У иного из них «почки», у другого «печень», у всех – «сердце», склероз, желудок... Притом все они трясутся за своё положение.

Итак, мы, несомненно, знаем и понимаем, что «счастье», за которым гонится век сей, обманное, мишурное, жалкое, а очень часто и поганое, преступное, построенное на костях многих несчастных.

Что же я в гнилой рот мертвецам гляжу, а к живому, жизнеподательному, животворящему слову глух?! Плюнуть только в рот-то поганый да бежать стремглав, а я стою, жду: не будет ли-де пользы каковы от мёртвого пса?..

Скажут: Павла эфиопяне не слушали, а ты кто?

Павел – солнце. А я лягуша из лужи века сего, глаз на Павла выпучила и хвалю его, и любо мне. И от меня это солнце не загорожено. Пасха ныне, Пасха Господня, Пасха! Днесь всяка тварь веселится и радуется! Слышь-ка, Церковь Вселенская поёт: «Утреннюю, утреннюю глубоку...». Ещё ночь, ещё храпит век сей, а уж несут миро жёны богомудрые... Воспряну и я, побежу поклониться Живому Богу! Будто се труп века сего так меня придушил, что я и выгрестись из-под него не могу?! Нет, довольно я тебя навозил на себе, падаль ты стопудовая; бремени лёгкого, ига благого я захотел!..

Я крещён: не диво мне крылья расправить да порхнуть туда, где смерти празднуют умерщвление, адово разрушение, иного жития, вечного, начало...

Века сего житуха – быдль распреподлое, хомут вековой, пустая яма, собачья конура, рабство убогое, биржа вшивая. А что пользы мертвеца, семью смертями умершего, ругать. Послушаем, что живой-то век поёт: «Приступим свещеноснии, исходящу Христу из гроба яко жениху и спразднуем любопраздненственными чинми Пасху Божию спасительную».

Только вслушайся, только приникни слухом-то внутренним – паче грома вечное благовестив услышишь, торжественный оный зов учуешь: «Да празднует убо вся тварь!..». Вся тварь празднует Пасху Таинственную, мы ли мёртвыми останемся с бездушными машинными выделками?!

Плюю я, житуха, на твой камень неплодный! У Христа Воскресшего трапеза исполнена. Все, говорит, насладитеся пира веры, все примете богатство благодати! Пойду пить пиво новое, чудесное. Люб Христов

хмель! Сирин Исаак, аки бы не в себе, песнославя, гремит о сем пренебесном новом пиве: вкусили-де его апостолы и победили Христу Вселенную, упилися мученики и, как на брак, пошли на страдания. Знали они, что кто со Христом распинался, тот со Христом воскреснет.

Пускай меня, ленивого, адовы узы содержат. Христос сошёл в преисподнюю земли и сокрушил узы вечные, содержащие нас, связанных. Теперь уж на волю мне дано адовы те узы скинуть. Царь Славы Христос разрушил ад, от цепей адовых одни вороха пыли ржавой остались. В этой ржавчине я и роюсь. А вселенная поёт: «Придите нового винограда рождения, божественного веселия... Царствия Христова приобщимся!..».

Ей, – наскучила, надокучила соловеюшку клеточка житухина. Махну-ка крылом да полечу и почию тамо, где «праздников праздник и торжество есть торжеств»!

15 апреля. Фомино Воскресенье

Термин «богоискательство» – народен он, вышел от сектантов или придуман интеллигентами-богоискателями?

Я смолоду не раздумывал над вопросом: есть Бог или нет? Бытовое православие было стихией. О вере особенно не рассуждали. Наступил пост, посильно постились, а потом радовались празднику. И праздники, понятие святых, церковные службы, поклоненье святым местам: обители, мощи, чудотворные иконы – всё это озаряло и просветляло, украшало жизнь. Быт земной просвечивал небом. Я не рассуждал, есть ли Бог. Лет с семнадцати меня страстно занимала мысль: которая вера права? Старая, дониконовская, или «новая», в которой я крещён? И много лет сердце моё склонялось в сторону староверия. Жил я в северном городе, где народ вообще уважает старину... Много лет страсть к древней иконописи и к древнему церковному пению, любовь к старому обряду были моей жизнью. Слабохарактерность (это ли?..) помешала мне перейти к старообрядцам.

Прошли годы... Род человеческий по всей земле стал терять Бога. Встаёт вопрос не о том, кто прав, католики ли, восточные ли наши, реформисты ли, а вообще вопрос о том, как под напором атеизма воинствующего уяснить себе и людям, что потерять Бога – лишенье роковое, ведущее к страшным последствиям для души человеческой.

Годы мои, беды да печали и меня с ног скачали. Я стал понимать, что такое – «взыщите Бога».

А для многих, многих вопросы о Боге, о смысле жизни, о смысле страданий стали «устаревшими», отвлечёнными. Эпоха-та трясёт людей, как лихорадкой, всё вызнобила, выдула. Прокормить семью, вырастить ребят, «заиметь» копейку на чёрный день – это стало так сложно, что ни у кого на всякие «вопросы» и времени нет.

Когда вопросы о Боге, бессмертии случайно коснутся современного человека, то эти вопросы для него заведомо решены современной наукой. Есть ли теперь люди или среда, где бы, как бывало, стали страстно спорить о Боге?.. Налётом холодного пепла покрыт «этот вопрос» и «эти вопросы».

А нет ли горящей искорки в этой золе?.. Есть! Ты, современный человек, равнодушен к «вопросам религии». Тебя даже раздражают «эти темы». Ведь наукой всё доказано!

А тепло ли тебе или холодно, что «наукой» всё доказано? И что это «всё»?! Как ты ни строй каменное лицо, а люди вкруг тебя и везде по лицу Земли воют от скорби, от болезней, от лютой неправды, от равнодушия всех ко всем. Беги, хватай, рви, борись, грызись. Чуть ты ослаб, тебя стопчут, и нет тебе, слабому, милости... «Наука, прогресс, цивилизация» – эта «тройка удалая» безразлична к добру и злу. «Наука» – это идол бездушный и немой. Ты уповаешь на «науку», ты козыряешь её достижениями. Ты настолько обалдел, что уж не сознаёшь, что пока что самыми показательными делами современной «научной» мысли явилась страшная военная техника, от которой, пожалуй, и древний Ад, и Смерть содрогнулись.

Итак, если тебе не двадцать лет, если ты не кормишься от этих кровавых, палаческих, душегубных «наук», если ты кое-что выстрадал в жизни, ты не будешь уповать ни на технику, ни на физику, ни на химию. Ты скажешь: эти науки можно повернуть на пользу, например, сельского хозяйства. Ты скажешь: сейчас атомная бомба разрушает «грады и страны», а, может быть, когда-нибудь учёные одним выстрелом вспашут десять га земли... Вот видишь, насколько слепо, глухо, немо, бездушно это чудовище: сейчас она в одну секунду стёрла в кровавую жижу целый город, а завтра – какая радость! – завтра или через сто лет эта кровомесилка изготовит клумбочку под цветочки.

Ты скажешь: ну ладно, есть наука астрономия, например. Она не убивает никого. Друже! Что мы будем перечислять предметы и дисциплины всех институтов и университетов! Когда горе тебя возьмёт да сердце зажмёт, не помогут тебе ни телескопы, ни микроскопы. Ты опять скажешь: медицина помогает во многих серьёзных случаях... Медицина нужное, необходимое и доброе дело. Но и микстура, и порошки, и капли – всё до поры до времени в общем и целом. Врач телесный тогда в состоянии помочь своим искусством, когда дух наш бодр. Посмотри, как повально все подпали под душевные и нервные болезни. Стар и мал, и не только голодные и раздетые, а и сытые-одетые «невесть с чего» поголовно болеют нервно-психически.

Речено издревле: «Бог поругаем не бывает»[1]. Богохульник ругается только над самим собою, разрушает и губит только свою жизнь, свою душу, свою личность, также жизнь и душу людей, его окружающих. А Бог ведь

[1] См. Гал. 6:7.

есть Дух Вездесущий, всё Исполняющий, не имеющий ни места, существующий вне времени, Существо вечное. Бог, для которого Земля лишь одна из звёздочек (правда, на этой звёздочке Богом дышит и о Нём живёт каждая былинка), не может быть поруган комаром болотным. Комару нельзя надругаться над лесом, комар только сам может комариную душку выронить.

Бог поруган не бывает. Отвергнув Бога, человек подрубил корни своей души, засыпал песком родники живой воды, питавшие его разум, его сознанье, его чувства, всю его жизнь. Оторвавшись от Бога, душа оказалась опустошённой.

И вот у человека не стало внутренней жизни. Душа современного человека не томится «желаньем чудным». Это живая смерть. Это живые мертвецы. Но, может быть, под этим мертвенным холодным пеплом есть живая искра?

Тютчев, который весь был «желанье чудное», говорит: «Растленье душ и пустота, что гложет ум и в сердце ноет, – Кто их излечит, кто прикроет? Ты, риза чистая Христа!».

Есть в мире Добро – Бог, и есть Зло. В душу, в сердце, в мозг, оставшиеся без Бога, непременно входит зло. «Кто не со Христом, тот против Христа».

Зло – дьявол пустил род человеческий в погоню за материальными благами, за земными почестями. Страшная эта бесовская погоня родит войны... Земля залита кровью... И...

Слёзы людские, о слёзы людские,
Льётесь вы ранней и поздней порой...
Неистощимые, неисчислимые...

Бездушный, немой идол «науки и прогресса» не отрёт этих слёз!..

В Пасху, в Христову ночь, когда ещё горят в куполе неба звёзды, но уже золотится восток зарёю светлого Воскресенья, в этот час на всех языках мира возглашается вечное и радостное благовестив всему миру: «Всё чрез Христа начало быть, и без него ничто же бысть, еже бысть. Во Христе жизнь, и эта жизнь есть свет миру и человеку. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его...»

Христос есть жизнь вечная, вечное спасение, вечный путь и вечная истина.

Начальник Зла, злое начало в мире – дьявол, источник и вдохновитель материалистических учений, приманивает людей тем, что вот христианство не сумело, а антихристианство поровну распределит меж людьми блага земные.

Дьявол скрывает от наивной своей паствы то, что зло гнездится в сердце человека, зло пущено в мир, «мир во зле лежит», лежит издревле. Как ты ни распределяй, злое сердце неизбежно и непременно будет насильничать, обижать, грабить или красть у слабого.

Злобное осатанение мира сего началось давно. Давно мир сей самовольно и самохотно лёг во зло. Но так же, как велено миру лежать во зле, человеку и людям велено спастись. Творец и Зиждитель, давший человеку свободную волю, взял на себя грех мира и основал на Земле, в царстве Зла, царство Добра, царство Любви и Света – Церковь Свою. Отселе «свет во тьме светит, и тьме его не объять...».

Материалистические учения оперируют массами, классами... Там всё массово, классово, механистично. Вместе с тем, неизбежную, неисходную, неминучую для каждого человека скорбь, печаль, смертную тоску, страх смерти предоставляется переживать всякому, как он хочет.

Как стадно ни навыкнет жить человек, личная его жизнь останется на первом месте естественно. Упавшего в скорбь душевную человека в когтях смертной тоски век сей бросает биться головой о стену.

Основа и сущность христианства в том, что оно зарождает, воспитывает и ростит в человеке жизнь внутреннюю, сокровенную. Вера Христова и обращается к этой внутренней сокровенной жизни.

16 апреля. Понедельник

Удивительны эти евангельские рассказы у Иоанна, у Луки о явлениях воскресшего из мёртвых Господа. Всё исполнено воздуха и какого-то утреннего ветра, утренней свежести.

Только что перед этим были ночи страданий... Вот Господь в грозную ночь молится в Гефсиманском саду и падает о землю, и пот кровавый струится с Его чела.

А уж сквозь деревья видно дымное пламя факелов, Иуда ведёт солдат. И опять ночь: Иисуса водят с допроса на допрос, от одного жидовского начальника к другому... Ночь на кресте, бред одного разбойника и светлая молитва другого...

Эти ночи кончились светоносною ночью Воскресения.

Господь явился мироносицам и Магдалине «зело рано», «утру глубоку», а потом наступает эта дивная лазурь, этот свежий ветр, этот воздух морского берега, чёрных вершин – эти рассказы о явлениях Христа по воскресении... Путь в Эммаус, явление на море Тивериадском...

Белые пески, плеск волн, утренний ветер. Галические рыбаки-апостолы тянут мокрую сеть... Начало брезжить утро, вот рыбаки видят, что на берегу стоит некто Светлый и ветер треплет воскрилия Его одежды. Доносится с берега и голос Незнакомца, повелевающий закинуть сеть ещё раз. Тогда Иоанн, самый юный из рыбаков, узнал Учителя и закричал: «Это Господь!». И Пётр не стал ждать, пока остальные доправят к берегу тяжёлый кораблец. Где ждать! Сердце-то Петрово петухом запело, только не тем петухом, что на дворе у Каифы. В чём мать родила в море Пётр-от бросил-

ся, плавью берега достал да и пал к ногам Любимого-то... А на бережку костёр, дымок белый стелется.

Опять в Эммаус двое идут и Третий с ними, Неузнанный. А кругом-то утро Воскресения. Над широкою долиной купол небесный, лазурь бездонная, жаворонки звенят... И сердца горят восторгом у двоих-то, Третьего слушаючи, а не могут Его узнать. И язвы гвоздиные небось видят на пречистых руках и ногах, а – «удержаны иги»...

О, вечная юность, вечное возрождение, вечная благодатная сила, вечное светлое могущество, вечное существование и пребывание евангельских событий! Евангельские события, явленья, словеса и благостные дела Сына Божия – это весна, вечно благоухающая, это цветы неувядаемые, непрестанно льющие свой аромат, это звёзды, непрестанно сияющие, солнце немеркнущее, обновляющее душу твою, и мою, и всего рода человеческого.

Евангельские события, вот хотя бы эти светлые и простые рассказы о явлениях Христа по воскресении, из слова в слово, из буквы в букву они имеются записанными и на пергаментах по-гречески, римски, словенски, и на бумаге. Вот Четвероевангелие десятого века, а вот двенадцатого. У меня в руках Тетроевангелие времён Михаила Фёдоровича. Но не в письменах, не в строках и буквах, не в дате написания или издания дело. Евангелие живо и живёт вне буквы, вне записи и книги. Всякое слово и деяние, запечатлённое евангелистами, настолько чудодейственно и благодатно, что и помимо того, что Евангелие собрано в книгу, оно несказанным, неизреченным, неизъяснимым образом и делом живёт во вселенной... Вот так же, как весенний ветр носится над землёю, так же оно струит юное, живое благоуханье, как эти весенние, только что распустившиеся листички берёз, душистых тополей.

Утром открою оконце, и в мой подвал глянет вечное светлое небо. Открою и страницу Евангелия, отсюда в дряхлеющую, убогую мою душу начнёт струиться весна вечной жизни...

17 апреля. Вторник

Праздник сегодня у родимого Белого моря: преподобного Зосимы Соловецкого.

Родина моя!.. Ещё и реки не распленились от ледяных оков, а уж веют горные ветры, шумят, падают ручьи. По заберегам у рек плавает гагара и чайка, и гусь прилетел, и серая утица. Ещё плавают вкруг Святого Соловца тороса ледяные, но праздник восходит сегодня над островом, над его берегами и тихими озёрами – как светлая весна.

Мир сей лежит во зле, но в веке Христовом звучит пасхальная песнь: «Днесь весна благоухает и новая тварь ликует...».

Мирские люди и раньше простодушно думали, что уйти от мира, постричься – это облечь и тело и сознанье в какой-то безрадостный траур. Мир никогда не понимал, что истинные иноки оставляли мир от избытка радости духовной.

Есть и такие христианские учения, которые толкуют, что монашество – это-де себялюбие. Надо-де оставаться в миру, чтобы помогать людям. Надо-де жить как все, завести жену, родить детей. Надо-де, живя своим домком, проповедовать Слово Божье. Будет у тебя... хозяюшка в дому, что оладушек в меду, и тогда толкуй на полном ходу о Христе, о Голгофе.

Время показало, что мир сей самохотно и самосильно будет затыкать свои уши для благовестия Христова, что мир сей непременно отворотит нос от благоухания Христова.

Живали Христовы благовестники в мире. Указывали и показывали миру и обагрённую божественною кровью Голгофу, и сияющий пренебесным светом Фавор. Мир предпочёл свалочные горы сесветного мусора.

Истинный инок принимал на себя тяжкий труд – выбраться из-под многоэтажных куч мирского мусора и уходил на Голгофу, на Фавор. И тем из мирян, у которых не угасла в сердце искра света Христова, он был виднее и приметнее.

Помню, я ещё подростком был, богатый рыбопромышленник Окладников тужил в разговоре с моим отцом:

– Поехал на Варзугу по сёмгу. Приворотил к Соловецким, на Анзеры, на часок, да и прогостил там неделю. Каждодневно ходил к старцу в пустыньку. Избёнко об одном оконце, на пню, что на курьей ножке. Гряда репы. На себе крашеная ряска, вот и всё именье. Я говорю: «Не велико твоё богатство, отче!..». – «Больше твоего», – отвечает. Посадил меня на порог избёночки своей: «Гляди!». Гляжу: тишина спустилася. Ночь светлая, белая. Келья на горке, леса по увалам вниз сбегают, а наокруг, сколько глазом достать, морская гладь сияет. Вдалеке монастырь над водами белеет. И над всем, над всем несказанный свет небесный. И тишина, разве чайка крикнет, гагара сплачет, комар запоёт... «Отче, – говорю, – у вас целый день богомольцы толклись. Вам отдохнуть надо». Он смеётся: «Изо сна не шубу шить. Зимой высплюсь. Миряне-то свои дела распутывать сюда ко мне приносят: у того с женой неладно; та детей жалеет; этого по службе обошли. Придут: "Отче, расчавкай с нами, как нам быть? Тебе с горы виднее". Я сам и с женой живал, и в чинах бывал, полсотни годов в такой ли суматохе вертелся. По убогому своему опыту, по совести потолкуешь с мирянами-то... Хлебца подадут, я ребятам отдам: зимою трудники, ребята молодые, из монастыря прибежат дров поколоть».

Месяц дома не был. Приезжаю: запутались без меня: жена и старшие дети с сердцем с таким встречают, приказчики с недоуменьем – привыкли, чтобы я воз-от вёз, впереди бежал... Доверенный в банке акции вовремя не продал –

убыток большой, старший сын с певичкой гуляет, выманил у матери деньги и глаз домой не кажет; на Мурмане трески пятьсот пудов сквасили: судёнко с солью непогоды задержали. К дочке, дурёхе, актёришко подскакивает: невесть кто и откуда. Вот и скачи во все стороны, и рвись на куски. Что мне, что костюм на мне аглицкий да к столу ренское подают. Кругом пустые люди, и я с ними один пляс пляшу. Нету мира душевного, нету радости! Вспомню старца-то анзерского и всплачу: «Ох, отче, отче, насколько ты богаче, насколько счастливее меня!». Ох, как я понял слово-то Христово: «Что есть пользы человеку, аще и мир весь приобрящет, душу же свою отщетит!».

Преподобный первоначальник соловецкий, «Единого Бога возлюбивый, Единому Богу ведомый», пожил на Соловецком острове. «Он был как звон великопостный, как ладана лазурный дым...» Преемник Савватия Зосима, основатель общежития, стал как бы маткою пчелиной в медоносном пчелином улее. К Зосиме собралось «монахов множество».

В детстве, приплывая в обитель Зосимы и Савватия, любил я и дивился настенным изображениям из жизни преподобных... Видение Зосиме прекрасной церкви. На месте видения он поставил величественный храм Преображения... Вот чудо о просфоре, обронённой купцами; первая литургия, совершённая Зосимой, когда лицо его просияло, как лицо ангела... Вот Зосима в Новгороде зрит виденье ужасное о боярах, впоследствии казнённых московским князем. Преподобный, отходя сего света, прощается с припадающими к нему и плачущими братьями... Корабль с мощами святого Савватия, встреченный игуменом Зосимой...

У себя дома я старался зарисовать соловецкую живопись по памяти.

Более новою стенописью, но по-своему очаровательною и глубоко содержательною, соловецкие монахи украсили и прекрасную свою церковь в нашем городе – церковь Соловецкого подворья.

18 апреля. Среда

Когда «открыта» была новгородская икона, отошли в сторону музейно-ювелирные представления о древнерусской живописи, существовавшие в России, скажем, до выставки древнерусского искусства в 1913 году.

До тех пор почему-то с представлениями о древнерусском искусстве связывались или «фотографии Барщевского» (чеканка, орнамент), или... «боярский стиль» (картины Шварца, Маковского и др.). Васнецов, Нестеров, «Абрамцево» подвели к новгородской иконе. И вот точно завеса упала с глаз: увидели и удивились. Увидели искусство как бы другой планеты. Искусство светлое, широкое, «простое». Но как бы искусство иного мира, даже иного народа. Четыре столетия, отделяющие нас от XIV–XV веков, веков расцвета русской культуры, чрезвычайно изменили характер художественных восприятий народа.

Я шёл в это утро. За целый день того не переживешь. А было еще утро. ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

утрени утрени [illegible]

и все мои реки прошлые: иду за тобой: Сей нареченный и святый день"

Праздники прежние и [illegible]

О чем:

А вечером [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Говорили: позд... нее время, это уж не то... Но и эта утреня уже при восходе солнца и литургия за ним, уже в сияньи утреннего дня, как было пресветло, как прекрасно. Народу много, - ни празднеств, ни перепр- авить, но уж свиньи и вшей не много.

~~[illegible]~~ Я утреней и обедней ~~[illegible]~~ Михайлову [illegible] по три очереди по

милостей Храма Его. В VI ч. в 4 утра и в 7 утра. По чину придглов.

...Как хорошо: где ничто в малом приделе сту-
чат, а ~~народ во всех приделах~~ [а в «настоящем» храме] царские
двери отверсты, ~~во всех~~ и [как] таинственно
и торжественно безмолвие [главного] алтаря!
~~Сияние светильни престола~~ Престол сечет
свечами, горит лампадами и ~~какой~~
~~предстоящий~~ не смыкается предстоящих
пламя, что зори. Силы небесные невидимо
служат. Недаром русские люди
мечтают умереть в Пасху. Говорят,
что и райские двери в эти дни отверсты
для всех.

~~Двери~~ ~~А окна, на дворе стоят~~ [встречают,–]

Но не о древнерусской живописи собрался я сейчас говорить.

Новое, великое и чрезвычайно своеобразное искусство, «не городское» – ведь одна из граней жизни той замечательной эпохи, столь отгороженной от нас. О той эпохе или эпохах мыслим мы или схемами и хронологиями учебников истории, или приходят на ум, если мы хотим представить живых людей, исторические романы XIX века: Загоскин, Соловьёв, Мордовцев. Также оперы: «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», «Чародейка», «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Снегурочка»...

Историческая беллетристика и «исторические оперы» XIX века могут быть сами по себе хороши, изобличая таланты авторов, но историческая беллетристика – это почти сплошная фальшь. Так же, как и картины Маковского...

Но я ушёл в сторону. Все они, и романисты-писатели, и живописцы, включая Васнецова и Сурикова, и музыканты, включая Мусоргского, Бородина и Римского-Корсакова, показывают нам XIX век, с середины которого началось «возрождение национального русского искусства» и в живописи, и в архитектуре, и в музыке (только не в литературе), все они показывают только своё представленье о жизни и людях Древней Руси. И в этом их право.

Может быть, здесь в чём-то мы видим Русь XVII века, даже XVI. Но подлинного лика удивительных эпох Новгорода, Радонежа, Андрея Рублёва здесь нет.

Теперь, после «раскрытия» икон, мы видим, какою была живопись, столь связанная с жизнью и бытом, столь почитаемое искусство.

Мы говорим: «Вот оне какие, эти жизненные святыни наших предков. Какая она странная, и непонятная, и прекрасная – душа наших праотцев, отобразившая себя в этих картинах на доске. Как всё это, говорим мы, не похоже на привычные наши представления о Древней Руси...».

Итак, мы видим икону, то, что было прижато у сердца древнерусского человека. Но в такой же яви, в такой же непосредственности и подлинности, столь же осязаемо и ощутимо мы не видим, как жил с этою иконою человек XIV–XV веков. Лик иконы выдвинулся из глубины веков, а люди и дела, с которыми икона жила, остались в туманной дали «преждебывших времён».

Жития русских святых, исторические документы, документы юридические, также эпистолярная литература Древней Руси – вот что, при умении видеть и слышать, может оказаться крыльями, которые перенесут тебя в ту эпоху и поставят тебя на ту землю, на те дороги, по которым ходит интересующая тебя жизнь и люди. В особенности важны жития как произведения фабульные, связные. Они дают картину яркую и подлинную. К великому сожалению, до нас лишь в немногих случаях дошли первые редакции житий, представлявшие собою непосредственные записи с уст самовидцев и очевидцев.

Литературные вкусы XVII века, любовь к «краснословию» и «плетению словес» подвергла переработке драгоценные подлинники житий. И всё же наша любовь и внимательность увидит там живых людей и живые дела.

Историк Ключевский, как никто, сумел увидеть и умел показать живую эту жизнь. Север родимый на уме у меня.

И я слежу сейчас, к примеру, намеренья и дела таких представителей русской культуры XV века, как Савватий, Зосима и Герман Соловецкие.

Вот Герман. Он был спутником обоих деятелей северной Фиваиды – и Савватия, и Зосимы.

Герман был строгий инок, оставивший «вся красная мира сего», покинувший род и племя и отошедший в пустыню на «бреги студёного Моря-Акияна». И вместе с тем это был характер чрезвычайно деятельный и практический. Всецело, сердцем и душою прилепившись к духовным своим вождям – сначала к Савватию, затем к Зосиме, – прилепившись к ним и вдохновляемый ими, Герман как бы расцветил ум жизни практической, хозяйственной. Савватий, с которым Герман прожил на острове шесть лет, Савватий – весь молитва, весь песнь ко Господу, весь фимиам благоуханный – не замечает, что ряска его обветшала, что двери пропускают мороз, а топорёнко худое, гвоздей нету, лопата, чем гряды копать, треснула, иглы приломались, нечем зашиться... А Герман не может терпеть, чтоб «отец» жил необихожен. И Германа не держат ни бури, ни ветры. На чём попало он преодолевает морские просторы, спеша за гвоздями, за пилою, за пряжей для сетей, за холстом для рубах. Пустынны были брега Белого моря в те времена, быт редких рыбацких селений напоминал каменный век. Трудно было достать что-нибудь. Герман задержался. Савватий оставался на острове один. Ему было явлено отшествие от сего света. Тогда и Савватий оставляет остров ради причащения Христовых тайн.

По кончине своего друга и отца Герман опять живёт в Сороцкой губе. Приходит онежанин Зосима, который устрояет на Соловках монастырь.

Герман разделяет с игуменом хозяйственное управление обителью. Будучи в старости маститой, Герман не тяготится съездить в Поморье по делам. Уже при конце жизни, пренебрегая «ветхостью телесного состава», Герман взялся съездить в столицу – Великий Новгород. Там управил все обительские нужды, но на обратном пути светлая душа старца оставила измождённое подвигами и годами тело.

Преподобный Герман был неграмотен, но памятен. Благоговея к памяти святого первоначальника Соловецкого, Герман заставлял грамотных иноков записывать всё, что он слышал от Савватия и чему, живя с Савватием, был самовидец.

Интересна личность новгородского купца Иоанна, упоминаемого и в житии Савватия, и в житии Зосимы. Этот «Иоанн Новгородец», плывши

Белым морем, вынужден был непогодою пристать в Сороцкую губу, где в пустынной часовенке, только что приплывший с острова и дивным образом сподобившийся причастия тайн Христовых, преподобный Савватий торжественно готовился предать душу Господу. Предсмертная беседа великого подвижника, его святолепный вид, его блаженная кончина и погребенье, которому послужил Иван Новгородец, навек с замечательной силой запечатлелись в душе этого деятельного, талантливого и умного человека.

Когда на Соловках основался монастырь, Иван указывает прибывшему в Новгород Зосиме нужных людей и сам ходит со старцем.

Иван встречается с кирилловскими иноками, в обители которых Савватий начал свои подвиги. Кирилло-белозерские монахи с Иваном вместе пишут Зосиме своё известное послание, где всячески наказывают и советуют перевезти в новопостроенную обитель сокровище бесценное – мощи первоначальника.

В одном из плаваний Ивана по морю осенью, – а с кораблём Ивана плыл и корабль его брата Фёдора, – святой Савватий дивным образом спас их от морской погибели. Чудо это записано и засвидетельствовано новгородскими моряками.

Здесь упомяну замечательный момент непосредственно из истории художественной культуры. Иван Новгородец, в семье которого возник как бы культ великого старца Савватия, заказал «первому мастеру Новагорода» портрет – икону Савватия. Он сам сидел, диктуя художнику, каков был рост, каков стан согбенный, какова брада и ус, каковы очи, и чело, и уста и нос, и живость, и ветлость[1], и умилённая улыбка преподобного. «Светлы зело уста Савватиевы бяху, а очи миром небесным сияху. И голос вельми тих, но словеса паче светлых громов напечатлевшиеся на сердце мне», – так вспоминал Иван.

Икона Савватия была любимою святыней в доме и приходской церкви Ивана.

Точный список с неё Иван послал Зосиме на Соловки, когда мощи Савватиевы были туда привезены.

И новгородская икона-портрет Савватия-первоначальника Соловецкого стала святынею и Соловецкого монастыря. С неё пошли списки по всему Поморью.

Все подлинники иконописные указывают на свитке, который держит Савватий Соловецкий в руке, писать: «Чадо Иоанне, пребуди здесь до утра и узриши благие Божие». Эти самые слова Иван слышал от старца, приказавшего ему ночевать на берегу и ждать утра.

Конечно, Иван Новгородец, для себя, для своего дома написавший первую икону Савватия как личного своего покровителя, приказал и надписание на свитке сделать лично к нему, Ивану, относящееся.

[1] Ветлость – приветливость, обходительность ласковость (архаич., диалектн.).

Но это надписание так и осталось на все времена. И память доброго и благочестивого новгородца навек связана со священною памятью великих соловецких угодников – Савватия, Зосимы и Германа.

22 апреля. Воскресенье

Егорьев день, а деревья боятся зелень показать. Не дождь, так холод. Старухи тужат: всё лето будет и сей год ненастливо... может, и надвое бабушка сказала.

Вчера в ночи вылез я на улицу. Оконные бельма везде погасли, только небо глядит таинственно и светло. И стала убогая душа похвалять Сына Божия... Отщепенцы церковные толкуют, что Бог только внутри нас. Заблудились, милые. То несомненно, что ежели внутри себя Бога не стяжаешь, внутрь себя хотя искорку царства небесного не доспеешь, то и вне Бога не восчувствуешь. Бога надо всякому взыскать, без этого ни счастья, ни жизни нет. Без Бога мы мертвецы ходячие. И первое: ты Его в сердце своё потрудися заполучи. Многоскорбен этот путь, но благодарен. Глиниста, неродима душевная целина у нас. Ничего не растёт. Скорбями многолетними она вспахивается, печалями боронуется, слезами засевается... Зато очи сердечные откроются. Внутренний человек, зрячий и с тонким слухом, в тебе проснётся. Всё равно как прежде огонь добывали: бревно о бревно тёрли, трудяся до тех пор, пока искра не вспыхнет, огонёк не родится. Таково и нам надо трудиться, чтоб искорку живого огня вытереть внутрь себе. Тогда откроются очи, чтоб видеть Троицу Живоначальную в небесах и Его, Света нашего, Господа прелюбимого, сидящего одесную Отца.

В большом-то городе, в вавилоне асфальтовом, где люди многоэтажно кишат в непробудной суете, как трудно и на малую минуту «упраздниться» и почувствовать, что «есть Бог».

Весь день проведя в «молвах многих», как дорога и благословенна минута, когда вот этак, с глазу на глаз с небом тихим ночным какое-то благодатное веяние незримого света горнего ощутишь. И тут Его славишь, сердечным своим желаньем к Нему припадает мысль, ко Господу моему прелюбимому. Не ведаю как, а знаю, что Он пребывает на небе и Он близ меня. О непостижимое Слово Отчее, Христе Иисусе! Ты, Господи Вседержителю и Творче мой! Ты Един безначален и бесконечен там, над звёздами. И Ты столь близок мне, что никому другому так не понять, и не услышать, и не увидеть меня, убогого, как Ты меня видишь и слышишь. К человеку самому близкому не припадёшь во всякую минуту хотя б потому, чтоб его не растревожить. А к Твоим ногам, Сила непобедимая и милость бесконечная, всегда можно припасть и «теплоту любимую» восчувствовать.

«Вы не рабы, вы други мои»[1], – говорит Сын Божий ученикам. Я не ученик, я прах под ногами рабов Божьих. Но и такую мусорину, как я, Он видит и знает. И меня, мусорину, Он в друзья зовёт. Дак уж каково же любо и дивно мне Друга такого иметь! Такого Друга помышляя, ум крылья ростит и в горние миры возносится. От этого земные скорби малыми и терпимыми кажутся. Чудно и светло Ему, Другу и Благодателю, беседовать. Какая с Ним беседа? А вот пою: «Ты Собезначальное Слово Отцу и Духови! Ты Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертен сый, смертию смерть поправый, Един сый Святыя Троицы, споклонямый Отцу и Духу! Слава Тебе, Христе Боже, мучеников радование! Ты привещаешь всякого человека, просвети Лице Твое на мне. Ты был прежде век, Ты искони был в Боге. В Тебе жизнь, и эта жизнь – свет человекам. И свет Христов во тьме светит, и тьма Его не объяла... Ты Царь Славы, Христос, Ты Отца присносущный Сын Его; Ты ко избавлению приими человека, не возгнушайся и меня, грешнаго. Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь, утверждение моё и прибежище моё!..».

Вот этак из-под дому-то, из-под угла домового соглядаешь небо таинственное, и слушает оно тебя. И спешишь ты те слова найти, которые бы вполне и до дна сердечное твоё желанье, молитву твою выразили. И вот тут любы, и сильны, и желанны, и упоительны словеса священных догматствований о Сыне Божием. Потому что догматы о Сыне Божием напечатлела для нас всемогущая, пламенная любовь и пресветлое озарение божественных отцов Церкви. Словеса, изречённые о Сыне и Слове Божием святыми отцами и учителями, всесовершенны, вечны, прекрасны. И догматические песни о Христе – радостнейшая поэзия для души.

24 апреля. Вторник

Ночью, стоя под липою, люблю глядеть сквозь её ветви на небо. Сквозь ветви небо кажется особенно близким и пасхальным. Летом дерево нарядится в пышные веники листвы.

А сейчас так чудно на облачном небе нарисован узор ветвей. И тонкий рисунок кружевного плетения весь унизан и преукрашен крошечными крылышками младенцев-листочков.

Вчера слышал музыкальную эту «поэму» о Рафаэле, которого кардинал клянёт за привязанность к Форнарине, даже сзывает народ, чтоб все видели, что натурою для пославленных мадонн служит художнику земная краса. Народ сбежался, кардинал отдёргивает завесу с картины, только что оконченной... Музыка, рисующая негодованье кардинала, шум толпы прерываются... пауза... И начинает звучать возвышенный гимн Царице ангелов, Таинственной Розе, Единой чистой и благословенной... Где там земные

[1] См. Ин. 15:15.

черты Форнарины... Божественная, исполненная царственного величия, но и кротости неизреченной, глядит на толпу, преклонившую колена перед великим созданием Рафаэлева гения. Восторженно молится чудному Лику Богоматери и сам кардинал. В музыке и словесном сопровождении этой «поэмы» много оперно-итальянской ариозности, довольно слащавых и шаблонных эпитетов... «блаженство любви», всяких ахатей, но всё же... хорошо! Нужная вещь и многополезная для проповеди христианской культуры. Великолепное христианское искусство Запада – живопись, зодчество, церковная музыка – воистину вечны, бессмертны, прекрасны. Это проповедь живая и могущественная.

Иконы, почитанье икон, поклоненье иконам... Век я любил, чтобы лики святых были в комнате, никогда не прятал их, век теплю лампаду... Не так давно, придя от обедни, на что-то разгорячась, произнёс перед брателком тираду... Что-де мне иконы! Доски и краски. Я сам их не одну сотню написал! Я-де Бога чту, а не иконы... Обедню-де, литургию божественную, когда-де ангелы трепещут, и херувимы лица закрывают, и жертва тайная дароносится... а в эти страшные минуты бабы кучами лазают по церкви, толкаются к иконам со свечками, лижут-де иконы, стоя задом к алтарю... Священник возглашает: «Твоя от твоих...». Хоры поют: «Тебе поем...» А бабы гудят: «Какому там... мою свечу поставили?! Я велела Ипатию, зубному целителю». Старухи-де в обедню зевают, спят и оживают только тогда, когда заводится молебен... Ивану Воину... об обретении украденных вещей... Какому-де образу молиться от какой болезни – знают, а насчёт великих действований литургии хоть кол на голове теши! Редко кто колена преклонит в момент пресуществления, а в целом толпа... не смыслит... и не спросят, и не поинтересуются!

Брателка меня выслушал и, помолчав, тихо сказал: «Иконы ругаешь... А я всегда готов приникнуть к Лику Богоматери, кроткому, скорбному».

Братец у меня тоже запальчиво любит поговорить... И я подивился тону его слов – тихому, задумчивому.

Лик Матери Божьей на наших русских заветных старых иконах – скорбный, милостивый, в сердце наше смотрит. Как же святой заповедный этот лик не любить...

25 апреля. Среда

Когда в Европе началось столь справедливое и полезное увлечение художниками раннего Ренессанса, Рафаэля многие похулили: от него-де пошла болонщина, барокко и т. д. Для нас, восточных, правду сказать, далеко не все его мадонны что-нибудь говорят уму и сердцу. Хотя, например, «Мадонна в креслах», круглое «тондо» перешла даже в народную нашу иконопись под именем «Трёх радостей». Картину эту копировали ростовские

финифтяники (XVIII–XIX веков). И всё-таки это прекрасная дама с довольно холодным лицом. Но лик Сикстинской Богоматери (Дрезден) божественен. И несомненно, что великому художнику были откровения; конечно, душа Рафаэля касалась мира горнего.

Полна тишины и молитвы икона-картина эрмитажная. Богоматерь как бы в мафории. Она держит молитвенник, в который смотрит младенец. Вдали весенний пейзаж...

С конца XVIII века русский человек навык молиться иконам западного пошиба. Но насколько сильнее радеет наше сердце к древлепреданной, родимой, завещанной от святых отец иконописи греческой и древлерусской! Прекрасный, скорбный, непостижимый лик Владимирской Богоматери – искони запечатлела этот лик Русь Святая в своём сердце, в сокровенных тайниках души народной. В лике Владимирской иконы русский народ искони видел идеал лика Богородичного.

«О пречудная Царица, Богородица!..» – ликует песнь-тропарь, сложенная в похвалу именно этому лику. Сколько высокопоэтических сказаний, чудес, легенд сопровождает почти тысячелетнее пребывание на Руси этой заповедной нашей святыни. Былинный запев «Высота, высота поднебесная! Глубина, глубина, океан-море!» просится на уста, когда встанешь пред Владимирскою иконою и взглянешь в Ея лик.

И тут дрогнет сердце и вострепещет благоговейным восторгом: «Перед этим самым ликом изначал своего бытия молилась и плакала Русь моя...».

Высокое выраженье скорби в иконах Богоматери навсегда полюбил русский человек. И в бесконечных пространствах России, в деревнюшках, затерянных среди дремучих лесов, всегда увидим мы умилённый и скорбный лик «Заступницы Усердной».

Русская народная молитвенная мысль чтит Богоматерь как «в скорбях и печалях утешение». В любимых и заученных народом песнопениях богородичных непременно встречаем: «Молений наших не презри в скорбях», «пред пречистым Твоим образом со слезами...», «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды...», «Призри благосердием, всепетая Богородице, исцели души моёя болезнь», «Душу мою помилуй, Благая!..», «Притецем, людие, к тихому сему пристанищу...», «Моление тёплое...». Наконец, название одной из любимейших икон: «Всех скорбящих Радость».

Идея «Богоматери Умиления» и «Богоматери Скорбящей» слилась в русских иконах воедино.

Древнейшая византийская иконопись изображала Богоматерь в царственном величии (мозаики), сидящею на троне, стоящею с возденными руками – «Нерушимая стена». В течение многих веков и западное искусство, находясь под обаянием греко-восточной культуры, следовало типу византийских икон. Итальянская живопись раньше других стран Европы

начала придавать изображениям Святой Девы земную «человечность». Что дальше, то больше западную религиозную живопись в изображении Богоматери занимает тема матери и дитяти. Здесь зачастую нет не только догматичности греческих икон, но нет зачастую и ничего возвышенного, никакой глубины. Тут просто миловидная дама с пухлым ребёнком. Сзади помещается пожилой супруг (Иосиф).

Мадонны Мурильо, мадонны Болонской и т. п. школ – это салонные картины. «Святая Русь» не могла молиться этим приятно-сладким картинам.

«Костёл поляки устроили при дворе царя Бориса, – горько взывал из темницы патриарх Ермоген, – не могу аз слышать латинского пения!» Латинская музыка претила русскому святителю. Также чужда была религиозному чувству Руси Святой и западная религиозная живопись.

Древняя византийская иконопись отличалась торжественностью, монументальностью. Но вот перед нами станковые иконы XI–XIII веков. Уже здесь мы видим тип богородичной иконы «Умиления». Ошибочно утверждали исследователи, что Италия из учениц Византии превратилась быстро в её учительницу, что Италия внушила грекам и Руси нежность и лиричность типа греческой Девы. Византия самостоятельно переживала свой Ренессанс в XI–XIII веках.

Как бы то ни было, «умилённость» ранней итальянской иконописи к XVI веку перестала отличаться от типов светской живописи.

Тема умиления существует и в западной живописи, но это деталь Страстей Христовых.

Западные, изображая Святую Деву с младенцем, изображали семейное счастье. Тем более тут всегда присутствует и Иосиф. У нас обручник на иконах Богоматери не изображается. А Она, Царица Небесная, глядит с иконы, как бы провидя страшные грядущие судьбы рода человеческого. И Отрок, припадая к лику Матери, как бы стремится утешить Её.

«Когда на земле дети мать обижают, на небесах Матерь Божия горько плачет», – говорит русский народ.

28 апреля. Суббота

Два дни ненастье с дождём, вчера и со снегом. Холодный вест-запад. Сегодня к вечерням опять отемнало.

Однако бульвары, палисаднички городские приоделись в тонко-прозрачное нежно-зелёное кружевцо.

Дождь с ветром, ползёт трамвай бульварами. А в окна на фоне серых домов, как нежно-шёлковая кисея, – весенние деревья. Потом всё закроется махавками листьев, а теперь не налюбуешься досыта изящным рисунком сучьев и веточек, приубравшихся в нежную прозрачность весенней зелени, как невеста под венец.

Есть книги для юношества: «Чудеса природы». Изображены огнедышащие вулканы, Ниагары, пропасти, баобабы, фундуклеи, карликовые деревья, одним словом – что чуднее. А истинное чудо природы, на что надо учить детей любоваться, – это благоуханная нежность «клейких листочков», вербных барашков, сначала серебряных, потом золотых. Надо, чтоб дети почувствовали красоту белой весенней берёзки, как невеста, украшенной серёжками.

Вечно меняющееся весеннее небо нашей Руси, никогда не устанешь на него любоваться. Канун Степанова дня Пермского (на 26 апреля) в полночь сквозь узорную раму ветвей глядел я картину, живую красоту которой не подменит кисть художника.

Узорно, как бывает только весною, серебрились облака. Лёгкий узор открывал два глубоких синих просвета: с юга и с запада. В южное окно строго и молитвенно, как одинокая свеча в храме, теплилась яркая звезда. В окно с запада сиял серп месяца.

То ли не чудо этот «блакитный» терем во всё небо! И два узорных окна в голубую бездну. И два света небесных: звезда и месяц, поставленных на этих окнах светить Земле. Древнерусские художники ведали и запечатлели для нас такое небо.

Угловатая линия зданий сливается в темноте с площадью. В прозрачном вечернем небе над чёрным одиноко и задумчиво возносится старая башня Архангела. Долго не гаснет тихость апрельского вечернего неба. Но под домами, назойливые, мелькают суетливые электрические огоньки. Как мыши, блестя глазками, шмыгают вдоль бульвара машины. А подымешь лицо: над верхушками весенних лип, над городом – тихая заря, а с востока, где небо смерклось к ночи, стоит месяц...

30 апреля. Понедельник

«Помянух Бога и возвеселихся». Помянул Ангела Святой Руси – и посветлело на душе. Вспомянул Сергия Радонежского – и обрадовался.

3 мая. Четверг

Отщепенцы, гордясь и надмеваясь, называют себя «духовными христианами». Церковная вера, видите ли, не духовна. Эх, не форси, сектант, в пустом-то кабаке, без денег-та! Немножко поучись да подрасти, приникни к жизни церковной, к истории Церкви. Отцы и учители вселенские не духовны? Сергий Радонежский не духовен? Нил Сорский не духовен? Серафим Саровский не духовен?! Ино пусть сектантские щенки лают: ветер их глупую лаю носит.

И что есть та духовность? Поразительное дело! Все отходившие от Церкви люди не понимали искусства. Им чуждо чувство красоты.

Лютер, Кальвин, всякие реформаторы, наши сектанты довольствовались кодексом прописных моралей, а в сущности были заядлыми рационалистами. Отрицая историческую церковность, они отрубали сук от Лозы Истинной, на котором сидели. Недаром католические апологеты говорят, что из-за спины Лютера выглядывает антихристова физиономия Штрауса[1].

Церковь вся – в поэзии и красоте.

Помянул Сергия Радонежского и возрадовался. Отщепенцы долбят, как дятлы: «Нравственное совершенствование». А кто достиг совершенства внутреннего, духовного, как не светочи иночества?!

Камень веры Христовой многогранен, и одна из сияющих граней его – поэзия прошлого. Но это прошлое вечно юно и вечно живёт в Церкви.

Светлый Радонеж преподобного Сергия вечно юн и вечно благоуханен.

5 мая. Суббота

Как меня вчера печаль прижала... Охал да рёхал, бредучи улицей... Лезешь меж домы; этажи, этажи над головой, этажи мельзят огоньками. В прудах этажи опрокинулись, будто и конца им нет. Публика шаркает по асфальту, толкутся у кино. Визжит радио с крыш, со столбов, из квартир. Никому ни до кого и ничему ни до чего дела нет. Мышья суетливая беготня, бессмысленный спех... Всяк всякому чуж-чуженин.

Мельзящий городской муравейник пуще давит на скорбное сердце человеческое. И поглядел я над домы и увидел небо. Меж облак тихо светит звезда. Там вечнующее спокойствие, там тихость, вечно пребывающая.

Невнятно мысль начнёт беседу с миром небесным, с неизглаголанною, но многоречивою тихостью неба. Скажете: ты опять со своей мистикой!.. Никак! Тишина, красноречивое безмолвие неба, благодатность весны – всемогущая сила Матери-Земли.

Как молитву, чуть опомнился, в скорби-то припеваю я уму своему:

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матерью Землёю
Он вступил в союз навек
... ...
У груди благой природы
Всё, что дышит, радость пьёт...

[1] Штраус Давид Фридрих (1808–1874) – немецкий философ-младогегельянец. В книге «Жизнь Иисуса, критически переработанная» (1835–1836) отрицал достоверность Евангелий и Божественность Иисуса Христа.

6 мая. Воскресенье

Церковь – исполнение – полнота и ширь всякого добра и всей красоты. По отношению к личности человека здесь и «уставы» о ежедневном его поведении, о постах, поклонах, о днях и часах работы и о праздниках, уставы, особые для инока, особые для мирян. Здесь и законы внутреннего, духовного преуспеяния («Лествица»). Но и здесь же, в Церкви, предписано знать и любить добро и красоту, содеянную святыми «во дни отцов наших». Преблагословенный отец наш Сергий, говоря языком хронологии, «жил» в XIV веке. Но в разуме Господнем, но в Боге, но в Церкви Сергий жив и радость его вечно исполняется.

Блаженное искусство Святой Руси чудно помогает нам (и не достигшим каковы-либо меры преуспеянья духовного) жить с Сергием и радоваться о нём по нашей малой мере. Посети радонежскую землю. Ты увидишь холмы, то покрытые лесом, то пашнями. Узенькие реки отражают серебристо-облачное небо... Если ты любишь Сергия, любишь Святую Сергиеву Русь, мысленное око твоё радостно увидит и его: с деревянным ведёрышком он подымается в гору, серебряные капли падают на сухую глину. Вот он поднялся на взлобье холма, поставил тяжёлое ведро на землю и глядит в долину: леса без конца, синяя даль сливается с небом. Сергий тонок и изящен станом, но плечист. Лицо его постнически бледно, но лик ангела едва ли может быть столь же прекрасен...

Сейчас игумен любуется лесною прекрасною пустынею, что бескрайно простёрлась у его ног. Но сердце Сергиево непрестанно молится, и от непрестанного действия сердечной молитвы эта непостижимая вдохновенность лика, этот серафический божественный пламень в очах в час литургии: «Сергий причащается огнем».

Весенние грозы трепещут временем в светлом лике игумена радонежского. Когда игумен совершает литургию, он бывает весь как серафим пламенеющий. Игумену радонежскому в час литургии всегда сослужат ангелы... Это видели, знали и засвидетельствовали ученики святого.

Но богомольцы простые, но дети чаще видели простое, благостное, умилённое лицо игумена... С ласковой улыбкой благословлял он ребёнка и давал ему деревянную птичку-игрушку.

Разум, волю, и власть, и грозу видели в лике игумена, власть и грозу слышали в Сергиевом обличительном слове князья, готовые изменить общему русскому делу в борьбе с татарами.

Из нескольких избушечек состояла обитель Сергиева при жизни его. В посконной сермяге ходил игумен, а праздничная иерейская его фелонь-риза была из деревенской крашенины. Ходил в лаптях, лучина, дымя и треща, светила в церквице, которую сам же Сергий и срубил. Но великие князья и бояре, военачальники падали ниц, в землю кланялись

«нищему игумену нищей обители». Таково было сияние святости, всепобеждающая нравственная сила, духовная красота, нравственная чистота, таково было блистание разума в слове и совете Сергия. Уклоняясь от всяких почестей в убогой своей дремучей пустыньке, Сергий был (и остался на все века) совестью Руси. Такова была моральная сила, нравственное величие, обаяние личности радонежского пустынника, что пред ним склонялись и праведного его гнева боялись земные владыки, воины-князья.

Когда орлиные очи сего Ангела-Хранителя России закрылись на земле, когда он стал небесным заступником народа русского, могущество Сергиева имени засияло ещё ярче. «Как печать положу тебя на сердце своём»[1], – сказала Русь своему возлюбленному отцу.

Сергий Радонежский... Что благоуханнее, что светлее, что краше?! Сергий Радонежский – наша весна, вечно юнеющая, благодатное утро Руси Святой, наше возрождение, наша радость неотымаемая! Блаженное имя Сергиево, как весенний цветок, распускается в сердце, озаряет ум, окрыляет мысль. Сергий преподобный – заря русская, звезда утренняя. Имя Сергиево – освящение ума, радость мысли, сияние памяти, веселье духовное. Радуйся, Сергие, сияние русское, радуйся, обрадованный!

23 мая. Среда

Людям повелено: взыщите Бога! То есть нам повелено радеть и хотеть жизни истинной, обещан мир в душу и неотымаемый ещё на сем свете. Бог дивно живёт во святых, и святые дивно живут в Боге.

Всё, что от Бога, то есть от жизни, от света, от разума, вечно пребывает и существует, вечно юнеет. Святые «в Боге почивают». Про святых Божиих, как и про Бога, нельзя сказать, что они были. Они есть. Здесь нельзя сказать, что «они были, да прошли».

Заголовком-заставицей старинных святцев обыкновенно были слова: «Яко же небо украшено звездами, тако сия книга святых именами». Святых много. Но вот почему-то зачастую особливо примечаем мы для себя такие-то и такие звёздочки. Так избираем мы в любовь себе тех или иных святых. Это или святой, имя которого ты носишь, или преподобный, почивающий в обители, близкой месту, где ты родился и жил долго, и т. д.

Есть святые, которые любы и дороги многим... Так всей Руси Святой люб Сергий Радонежский. Дорог как дальним и ближним этот Ангел-Хранитель России. Добро приникнуть светлой мыслью, живым умом, горящим сердцем к поре и времени, в которое жил Ангел Радонежский, Хранитель всея Руси. Ныне он гражданин Иерусалима Небесного, и нет для него эпох и веков. Но любо нам ближе приникнуть к любимому, дорого

[1] См. Песнь Песней 8.6.

нам знать о нём всё и знать сколь возможно больше. Если сердце наше горит усердием и любовью ко святому, то исчезнет завеса веков, и мы, возжелавшие увидеть, как игумен радонежский ронит лес на строенье обители, как он шьёт обутку на братию и как спешит по московской дороге на зов друга своего Алексия-митрополита, как Сергий призывает Русь на бой с татарами и как мирит враждующих князей... Всё это мы увидим несомненно и реально. Таинственно и непостижимо, но совершенно реально станут ноги наши на земле Радонежа, на холме Маковца. Твои уши услышат стук топора в дремучей дебри. Ты пойдёшь по тропиночке и сквозь дерева увидишь белеющие срубы избушечек-келий...

Вон и сам Великий пилит сосновое бревно с Исаакием... Перестала звенеть пила. Преподобные отирают холщовым рукавом пот с чела...

Ты стоишь и не чуешь, что тебя кусают комары... Смолой и земляникой пахнет тёмный бор, благоухает духмян-трава... А ты плачешь от радости: не мигаючи соглядаешь ты солнце русское – Сергия, созерцаешь ты зорю утреннюю, росодательную.

28 мая. Понедельник

Вчера, в Троицын день, были с брателком у Троицы-Сергия.

Снова сияют лампады над пресвятым гробом Великого Отца земли Русской и нескончаемым потоком идут, и припадают, и целуют люди пречестные мощи богоносного Сергия. Слава Господу и великому Его чудотворцу Сергию Божественному, что сподобились мы все дожить до этого счастья, до сладчайших и радостнейших этих минут!

На утренние поезда попасть было невозможно. Уготовали мы к преподобному уж после обедни, когда масса народная схлынула.

Впрочем, множество народа в ожидании всенощной (на Духов день) шли прикладываться к мощам в Успенский собор Лавры.

До всенощной и мы с брателком пошли отдохнуть и перекусить к Троицкому собору, где было тихо и безлюдно.

Стеклянная прозрачность вечереющего неба... Казалось, что только здесь, у Сергия Радонежского, лазурь неба предвечернего может быть такою чистою и прекрасною. В тишине слышался только свист ласточек да молитвенный шелест вековых деревьев. И как молитва, как слава Святой Живоначальной Троицы, возносился очам белокаменный пречудный храм, созданный преподобным учеником в память Отца своего...

Пришедшу солнцу на запад, небо над Лаврою стало совсем золотым. Чудная церковь Святыя Троицы в сиянии зари казалась совсем пренебесною, как бы возносимою ангелами в беспредельную высь. (О, чудо зодчества Святой Руси!)

Великолепная лаврская кампанилла заиграла перечасье и прозвенела шесть часов... И поплыли, запели, понеслись удар за ударом – звон ко всенощной, к молитве благостной.

«И звон смиряющий всем в душу просится, окрест сзывающий, в полях разносится...» И уж тут я поревел всласть...

Ни мыслию того было смыслити, ни думою сдумати, что даст мне Бог слышать звон церковный и стоять у церковной службы в Лавре преподобного Сергия, припадать к Сергееву гробу, окружённому сиянием свеч и молящимся народом...

Слаще таких минут ничего не живёт на земле.

30 мая. Среда

Лето. Дни красные, жаркие. Брателко и упылится, и умается, а мне, в подвале сидючи, что тужить?

А что к Троице с брателком сплавали, как сон вспоминается. Будто давно было, словно в дальней, нездешней какой стране побывали. Особливо это вот: сияющее тихим светом небо, шелест листьев и вся, как молитвенный зов, церковь пречудна Святыя Троицы... И сноп свечей, и огоньки лампад над гробом преподобного.

Величествен Успенский собор Лавры. Обширен, как бы и не по нынешнему времени.

Тьмо-зелёные купы старых деревьев живописно виднеются на белых исполинских стенах грозновского собора[1].

Зодчество Троице-Сергиевой Лавры, её богатырские стены, башни, храмы, колокольня – вся эта сказка-былина зодчества так величественно-прекрасна, что не замечаешь и не помнишь окружающей сказку Лавры серости, убожества, одичалости, оголтелости... В самой Лавре красота и величие её зодчества царит над житухиным хулиганством. Не видишь ни гор мусора, ни ям, ни всякой замызганности, запакощённости...

15 июня. Пятница

Я не ждал, не гадал, а братишечко мой управил мне летнее пребыванье за городом, вблизи леса, в хорошем доме. В глазах вся красота небесная. Рядом лес-«заповедник». Войдёшь, как в церковь: тихо, листва шелестит, в светлом сумраке птицы посвистывают... Думаешь: во сне видится. И комната светом налита до самой ночи. Я давно отвык в таком сияньи жить. «Не к роже кокошник»...

Печаль неизбывная на сердце. Никак я не вправе «благорастворением воздухов» услаждаться. Братишечко мой здоровьем добре хрупок, и неисходно у меня в сердце слеза дрожит. Не о том, дак о другом прискорбно.

[1] Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры строился с 1559 года на вклад царя Ивана Грозного.

Он побежит в город-то: «У тебя цветнее лицо стало, я рад. Ты поешь без меня. Ты в лес-то сходи...». А сам как травинка, колосинка – тонок да трепетен.

Причитать-то я мастер, только делом пособить меня нету.

С брателком вычитали мы ряд исследований: Милле, Диль, Айналов, Покрышкин и др. – об искусстве Сергиевой эпохи на Руси, о византийском Ренессансе XIV века. Всё вот думалось: XIV век... дремучая, лесная Русь... А на самом деле – какая культура расцветала по Европе восточной и западной! Готика, ранний, благоуханный Ренессанс, Джотто, эпоха Палеологов, Феофан Грек, Рублёв. Не примитивы, а блестящие вершины, завершения прекрасного Константинопольского тысячелетнего искусства. Чудные цветы христианского искусства Малой Азии, Балканских стран, перенесённые на Русь в эпоху Сергия Радонежского...

Эпоху преподобного Сергия можно мыслить только в аспекте золотых, блистательных зорь античности и эллинизма.

Ясно и известно, что простотою несказанного сиял быт Руси XIV века. Но на северных реках, в дни моего детства ещё сравнительно мало затронутых машинной цивилизацией, я навидался этой «простоты» и «первобытности». Поистине изысканна и антично-прекрасна была «простота» предметов обихода и быта. Особенно поражала эта «античность» по верхнему и среднему течению р<еки> Пинеги. Срубы домов, громоздящиеся над водами, утварь, промысловые доспехи, одежда, обрядность ежедневного обихода, ритм жизни, украшенный, как жемчугом, древнерусским образно-поэтическим словом, словом творчески чудесным не только в песне, былине и сказке, но и в живой, обиходной речи.

Резьба и расцветка в древнем архангельском доме применялась очень скупо и редко. Здесь поражала красота архитектурных пропорций. Богатырские косяки дверей и окон, пороги, лавки, пропорции углов, всё это золотое царство дерева, голубизна еловых полов, розоватость лиственничных стен... Часами хотелось сидеть в этой сказке...

В ходу была самодельная деревянная посуда – ступы в средний рост человека, ендовы, братины, солоницы в виде птиц и коней, также самодельные чашки, ложки, ковши... Всё поражало изяществом форм. Бывала и оловянная, медная посуда. Всё поражало изяществом линий, изгибов, скромным аристократизмом украшений.

Одежда была домотканого: полотна и сукна. Но льняные полотна были тонки и изящны, как шёлк. Посредством деревянных вырезных досок крестьяне умели наносить узор на полотно, и набойки эти оставляли чарующее впечатление драгоценных восточных аксамитов и «хрущатой камки».

Краски добывали сами из земли: охра, мумия, белая глина; или же растительные: из ольхи, осины, из коры других пород.

«Бедность» древних храмов была такова, что и медь, и олово были роскошью. Подсвечники и все сосуды, включая святой потир-чашу, всё было из дерева. Кадильница глиняная, фелони и стихари из полотна, но льняная фелонь сияет краше шёлка, складки ея приведут в восторг Фидия, оплечье, набитое вручную, богаче «рыта бархата». Древние иерейские литургийные пояса, свисающие кистями до полу, выпрядены из кручёного неокрашенного льна. Но сама Византия подивилась бы изяществу этих посконных пряжек и кистей. А венцы для брачующихся – из берёсты. На простом ободке расцветает ряд как бы «королевских лилий». Аристократизм формы этих венцов совершенно удивителен.

Так что вот изящество, красота, аристократизм, тонкий вкус, культура предметов обихода, быта не зависят от материала.

И когда я помышляю о скудости и бедности первоначальной Сергиевой обители, я в то же время знаю, что этот деревянно-посконный обиход, с точки зрения нас, художников декоративного искусства, этот обиход Руси XIV века был высокохудожественным, прекрасным, преисполнен высокой художественной культуры.

20 июня. Среда

Прочитывал антологию греко-римскую. В сущности – эротические стихи Овидия, Лукиана, Марциала, Пентадия, Лукреция и др. Звенящая, как бронза, латынь. Язык – музыка.

Тот, чей отец был поток, любовался розами мальчик. И потоки любил тот, чей отец был поток.

Видит себя самого, отца увидеть мечтая, в ясном, зеркальном ручье видит себя самого.

Тот, кто дриадой любим, над этой любовью сияет, и т. д.

Нарцисс, Гиацинт – все эти исполненные ароматом и свежестью весны мифы Эллады, оживляющие, обожествляющие природу, как обаятельны эти вечно юные сказки, вернее, это миросозерцание.

Эллин видел природу живою, разумною, обожествлённою, и это великое и насущнейшее знание во многом искупляет и покрывает зачастую чувственно-мутное «эллинское баснословие», позднейшую греко-римскую нагромождённость мифологии.

27 июня. Среда

После жары неделю дул норд-вест; было холодно, но дождь перепадал редко. Последнее время опять солнечная летняя погода. Картофель поправил, но хлеба по многим местам сгорели. Год, слышь-ка, будет неурожайным.

Мне только бы радоваться: в хорошем доме, среди хороших людей поживаю. Посиживаю во спокое на вышке, что в ласточкином гнезде.

И столько неба наокруг, то лазурного, то облачного, не наглядишься, не налюбуешься. Да заболела сестрёнка. Чахнет в больнице. Душа ноет, ведь сестра – единственно кровный последний человек, что на земле остался. Я не заботился о ней. А мы вместе выросли, там, на родимом Севере.

Как мне отдыхать, когда и брателко мой крестовой, по милости того, что я, как печь, из избы ни шагу, и он до краю дожил, исхлопотался, избегался, ему пых некогда перевести. Он и в город бегом, и из города бегом, и дома, как волчок... Надо копейку добыть, и купить, и приготовить. Мне и тарелки не даст вымыть. В лес погулять да на небо поглядеть – только и есть моего дела. Брателко к ночи домой прибежит, евши, не евши, падёт на постелю, я ему и рассказываю про птичек (у нас на балконе ласточки живут) да про облака, и он вздохнет: «Как хорошо... а у больницы сегодня (где у нас сестра лежит) инвалиды костылями дрались, а у булочной бабы сумками дрались...».

3 июля. Вторник

Больше месяца была засуха-та, потом с дождями зажили. Теперь дён пять ежедневно дождь, да и с грозою. С утра, с четырёх часов, солнышко в беленькой дачной нашей комнатке. Не могу нарадоваться утренней ранней поре, всхожему красному солнышку. На балкон двери полы, и что сияния по стенам и на полу. А по обеде облаками небо возьмётся. Точно перламутр самосиянный.

Воды здесь нету, речки никакой, отражающей небо. Вода – благодать. Но небо – лазурное ли, облачное ли, вёдреное ли, дождевое ли, – оно покоем покрывает сердечную печаль и воздыханье.

Вот не было дождя недель с шесть – и пылью взялись поля, гряды. А стали перепадывать дожди, и не узнать – как всё позеленело, от леса дух идёт приятный, лёгкий. Душонка моя вся попылена, нету в сердце молитвы. Как бы это под тучу, под облак росодательный встать, чтобы Христос Жизнодавец одождил на тебя дождичком Своим благодатным. Даждь дождь земле жаждущей, Спасе!

23 июля. Понедельник

С утра дождило, за полдень дует сырой ветер. Ровно-облачное небо, любимое, пасмурное глядит в большие окна дачного дома; над рощею за картофельным полем кричат вороны. Брателко уехал в город (выдача в магазине, рынок, аптека...). Мне нездоровится... На столе цветочки и керосиновая лампа с абажуром, каких я не видал лет сорок... Взял томик Чехова и нашёл рассказ удивительного проникновения, разительной действенности, удивительной тонкости... Сюжет удивительного этого чеховского рассказа несложен: холодный, ветреный вечер Страстной пятницы. Лужи подёрнулись морозными иглами: не похоже, что послезавтра Пасха.

Студент Иван Великопольский, возвращаясь с тяги, греется в поле у костра и рассказывает караульщикам евангельские события сегодняшней ночи... Протягивая к огню озябшие руки, студент говорит, что точно так же девятнадцать веков назад грелся у костра Пётр. Пустынное поле, одинокий огонь... Взволнованная речь юноши, слёзы баб-караульщиц...

Потом студент опять одиноко шёл домой. Был близок холодный рассвет, на горизонте резкой полосой глянула заря. Ветер морозил пальцы, но в душу юноши пахнула неизъяснимая радость.

«Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошёл дальше. Наступили потёмки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима. И не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, то, очевидно, то, о чём он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. "Прошлое, – думал он, – связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого". И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню, а вдали узкою полосою светилась холодная, багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле... И невыразимо сладкое ожидание счастия, неведомого, таинственного счастья, овладело им мало-помалу...»

Сколько есть «пасхальных» рассказов с настроением: «вербочки», «12 Евангелий», «заутреня пасхальная», «куличи», «звон»... Но Чехов без этих, пусть заветных и обаятельных, аксессуаров Страстной и Светлой недели, глубоко правдиво, как бы оголённо и даже безотрадно показал русскую раннюю весну, мартовскую или апрельскую холодную ночь с замёрзшими лужами... Но радость, как острие ножа, разверзает завесу скорби, и завеса распахивается от верхнего края до нижнего. И радость томит душу человека в такие именно русские предвесенние рассветы...

Март, половина апреля... Заморозки либо слякоть. В церкви поют «Днесь висит на древе...» <...> На рассвете бредёшь в церковь «на

погребенье», и ветер дует тебе в загорбок, но предначатие радости несёшь в душе...

Страшно важно, что писатель, замечательный и тонкий художник Чехов без специфики церковных служб, но, наоборот, в обстановке как бы самой неприкаянной: голые поля, болота, замёрзшие лужи, мгла ненастная, люди, греющиеся у пустынного костра, – в этой «неприкаянной» безгрешной обстановке ощутил и явил сияние, и красоту, и чудо ночи, в которую сама природа таинственно «погребает Христа».

24 июля. Вторник

События евангельские – это недра, вечно рождающие, это лоно, вечно источающее жизнь. Цветёт липа, благоухая, и разносятся семена ея на крылышках без конца, бескрайно. Где-то упадут, непременно дадут росток в доброй земле.

Что Евангелие живёт в сердцах человеческих – это одно, лично для меня; опыт моей жизни, несомненно, показал, что для того, чтобы понять, как это и где это «Бог пребывает на небе; там-де и царство небесное, там и души праведных», чтоб понять это, надо Бога в сердце своё сначала заполучить. Или, что одно и то же, надо царство небесное внутрь себя стяжать. Тогда всё будет ясно. Особливые очи внутренние у человека явятся: сознание-мироощущение новое родится.

Я сначала был близорук, но вот прописали мне очки. И как дивился и далям открывшимся, и рисунку веточек-листичков.

Но куда светлее не эти очки стеклянные, а очи хрустальные внутреннему твоему человеку доспеть.

Тот, «чрез Которого всё начало быть», Радетель нашего счастья, велит эти «очи чистые» непременно стяжать. «Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Ещё здесь Бога узрим. Потому – оная Пасха вечная, то есть жизнь будущего века столь широко полноводна, что и пост Великий земного бытия нашего затягивает.

Это я упомянул о том, что Евангелие и радость, чрез него приходящая, живут в сердцах человеческих.

Но в особом и таинственном смысле «Евангелие проповедано всей твари». Так что семена оного благоуханного дерева, разносимые «ветром весенним», воспринимаются не только человеком, но и природою. Бог – это ум, и мысль, и память. На этом уме изначальном, как на дрожжах, в своё время взбродило и поднялось всё – планеты и наша Земля. Бог в Матери Сырой Земле, как дрожжи в тесте. Вся плодородность Земли – от этой силы Творца. Ветры, дожди, росы – всё это живая жизнь Земли с Богом.

«В начале» Мать Земля поручена была человеку, как сад садовнику.

Мы видим, что человек стал жить не помнящим родства. Человек избрал зло. «Мир во зле лежит». И Земля (здесь я хочу сказать – Природа)

люто скорбит о Человеке. Человек забыл, что Земля-Природа – его Мать. Человек стал жить жизнью обособленного, оторванного.

Но Земля и Природа, попираемые «блудным сыном», независимо от умонастроения сына помнят и знают Бога. И человек, приникнув к Природе, войдя в неё, полюбив её, прислушавшись, скажем, в дни Страстной седмицы пред рассветом, увидит, что природа сопостраждет Христу, с ним сопогребается и с ним совоскресает.

25 июля. Среда

Я пишу, ведь не учу и я не выдумываю. Заношу в тетрадку то, что становится для меня ясным, что в моих мыслях высветляется для меня. Вынашивая «свою веру», сам с собою об одном и том же и беседую.

Всё «зады» твержу, чтоб вперёд-то надёжнее ногу поставить...

Носячи в сердце неизбывную скорбь, не могу я не взыскивать Бога. То я уж несомненно знаю, что Бог, только Он мне поможет.

Давным-давно не встречаю я сильных по Боге людей... За горькою своею немощью редко бываю у служб церковных.

Хромому да подслепому, всякой шаг мне затруднителен. Вот и сижу я у оконца в Городе ли, в деревне ли, справив малую порядню домашнюю (пол вымести, самовар согреть), сижу и гляжу я на небо. Меняется оно ежеминутно – туча накатится, облака пройдут грядою с просветами. Вижу я лик неба выразительным, многоглаголивым. В зиму ли, в осень ли, весною ли особенно выразительна и беседлива блакитная пелена небесная. В тайной, безглагольной беседушке моей с «сереньким» небом самые высокие и сладкие заверения и залоги о Боге я получил...

Лик Земли человек может испохабить и измертвить (в какой-то степени). Но до лика небесного человеку не доплюнуть. Погляжу на землю: там, где в прошлом годе был лес или поле с цветами, там сей год казарменные корпуса химзавода... А подыму лицо вверх, и небо, всё тот же любимый лик ответно и мне поглядит в мои мысленный очи. И то знаю: какова эта ненаглядная, серо-жемчужная таинственная пелена бывала тысячу лет назад, такова эта переливная жемчужность и сейчас. Каковым это небо соглядал Сергий Радонежский, таковым лик заветный, блакитный вижу и я, нищий.

То мне по уму, то мне любо с облачным-то небом, что, урвавшись на минуту «от дел», выставишь рожу свою несчастную в небо-то, оно кряду и положит тебе на сердце слово тайное и заветное, надобное, будто рука протянется нежным мановеньем. Я и дождливое, ненастливое небо люблю, когда и лес-от дальний туманцем потянут, и вороны мокрые сидят на изгороди. Очень уж с тихим ненастным днём мне душевно и понятно. По городским улицам люблю в дождь: точно я с приятелем хожу.

26 июля. Четверг

Чехов иногда серенький-то день тихостный близко так подведёт к сердцу, к мысли заветной. Сегодня тихостью светло-облачною прежеланно земля покрыта, тихость осеняет и дальние домишки, и ближний лес, и поля, и дороги.

Во всю стену окно-то у меня, и во всё окно небесной-ёт лик ко мне глядит, во дни и в нощи...

С утра прозрачную пелену облак перебирает тонкий свет. Временем блакитность пренебесная утончится до трепетности. Но, знатно, в ближнем лесу сидит и пишет свою светлосиятельную картину «всея твари Украситель». Он нагляделся на злато-серебряную тонкость, и ему понравилось сейчас напрясть во всё небо шёлковые кудели... Художник посылает эту свою живописность шёлково-графитную с севера на полдень, а восток за мысом злато-прозрачен, и удивительно прекрасен рисунок сосен, их вершин, ветвей и стволов на златозарном, необычном для полдня, свете неба.

В июльской солнопечный полдень <1 нрзб.> всё является хилого цвета. Но когда в куполе небесном мешается и ходит шёлковая блакитность, а края-уторы<?> чаши небесной сияют, как пояс золотой, то и цвет земли, отражающей облачность, становится жемчужно-серым. Огороды, поля, рощи, деревнюшка – всё как будто нарисовано тонким, изящным карандашом. И чем ближе к сияющему золотом горизонту, тем контрастнее, выразительнее, изысканнее и графичнее высокая, так сказать, художественность «лика земли».

В городе ли, где соглядаю я из наземного оконца, здесь ли, за городом, где небо передо мною в полном лике, – везде оно мне, как икона. И особливо здесь, где широта неба ничем не заслонена, любо мне шептать молитву и беседовать «седящему одесную Отца». Воля, ширь и свет неба – то ли не икона.

9 августа

В том несчастье моё, что, вот, болеет брателко, и сразу я духом падаю. Сразу точно подрежет мне перья-крылья.

И не в силах я злую печаль развевать доброю мыслью.

Что есть добрая мысль? Да вот хоть бы легендарную надпись «Перстня Соломонова» вспомнить: «Это пройдёт». В радости Соломон взглядывал на это надписание и – не возносился. Но и в лютой тоске слово от разума, «это пройдёт», за великий разумный совет царь принимал.

Вот и с брателком, сколько мы напастей пережили и – проносил Бог... И ещё ведь сказано: «Ни радость вечна, ни печаль бесконечна».

Горе мне с моим характером слабым, малодушным. Я сразу весь опыт жизни своей теряю и, сложив крылья, падаю в море уныния. А можно бы

и должно на берегу сидеть и здраво глядеть, пережидать непогоду. Мало ли их бывало, непогод-то...

16 августа. Четверг

Видно, осень заводится. Бухает ветер, облачно весь день. Скрипят окна-двери: напоминает родину с ея морскими ветрами. Отемнало, ударил мелкий дождь.

Облачная небесная высь! Меж туч совсем по-весеннему сияло нежное золото высоких, дальних облаков. И думалось сладко.

А праздник ведь! Сегодня поют погребение Богоматери. И таинственные реки праздественные, тихие и благодатные струи реют над землёю, касаются человеческих путей, жилищ... Но утратил человек чудные органы восприятия таинственного. «Всё прошло, пропали силы, притупился взгляд». Человек истаскался, износился в буднях. Человек ослаб, ему нечем взять, нечем воспринять нисходящих от горнего мира и так близко, вот тут реющих струй живоносной радости...

Я всё не могу наглядеться: снимок с одной из ранних икон Рафаэля. Тихие дали, вечереющее небо. Богоматерь в тёмном матронате молитвенно склонила главу. В молитвенник глядит и Младенец. Кроткий лик Непорочной светится на вечереющем небе. Молитвенный мир; мир, всяк ум превосходящий, дивно-дивно запечатлён в этом чудном изображении. Когда в вечереющем небе затеплится первая звёздочка, я вспоминаю эту божественную картину.

Почитание Пресвятой Девы, Богоматери... Вот до каких высот досягали крылья человеческого разума! Вот каким познанием озарялся ум человека! Вот этих-то крыльев наш ум и лишился. Вот и не можем мы, лишённые, дотянуться до потоков радости, реющих от нас «рукой подать».

18 августа

Мы затаскались в буднях житейских, обросли корою и стали непричастны потокам радости, мы отгородились от райских рек, от сих дождей благодатных, которые, несмотря ни на что, нисходят на землю. Эти таинственные реки воспринимает «бессловесная» тварь – природа. О высшей мере жили этой радостью святые... Нам, падшим и лежащим, надо стать новыми, чтоб стяжать это неизрекомое нашими грешными устами счастье...

Тайна светлая вокруг нас, но скрыта, замкнута она для нас, душ ослепших...

20 августа. Понедельник

С утра, при тусклом солнце, зажундели мухи: подумаешь – лето. А по обеде опять затянуло дождичком.

Жизнь с природою – телу здравие и душе веселие. Однодумно надо жить с нею и поступать. Надобно знать и переживать, дождь ли идёт, ветер ли,

непогодушка – ты слушай, люби. Первый снег напал, ты празднуй, как дети-те об этом празднуют. Хиреет творчески человек, изолировавший себя от жизни природы, от времён года городским комфортом. Надо чувствовать, надо любить, надо переживать времена года.

Смотри-ко, как вместе небо с землёю. Как земля живёт и дышит, как зависит от неба. Я говорю здесь о дождях, о снеге, о ветрах... Лес, поля, вот эти кустышки, травы, глинистые дороги с глубокими колеями, с дождевыми лужами, стаи галок, ворон, то прилетающие, то опять исчезающие куда-то, – как всё это связано с временем года, с состоянием погоды...

27 августа. Понедельник

Уж таково-то душевно и душевно насытил я сей год своё сердце «небесьем» осенним, величавым, среброоблачным. Осень подошла величавая. Вечерами, по залесью, туманисты дали. Застегнувшись да шапчонку нахлупив, посиживаю на улице, поглядываю. Что же я так рад приходу осени? Или она мне по нраву, или я ей по душе?

По горизонту то ли облака земли касаются, то ли Мать Сыра Земля туманы возносит... Обвечерело, суморок опустился, в перелеске галки на сон гнездятся, ещё тараторят. Не наговорились за день-то... А се и писать не видно. Далеко на огородах костёр замигал...

Я трепетно обожаю предначатие весны. Но весна для меня – «невеста неневестная». Душа моя молится таинственной поре – времени марта – «месяца Поста, и Благовещенья, и апреля, месяца Пасхи».

Осень приемлется в иных переживаниях и настроениях. Когда поля сжаты и побурели, леса оголены, дороги блестят лужами, ветер гонит по небу серые облака, утро туманно, а ночью стучит в окно дробный дождь, – кому желанна эта пора? А мне она люба и желанна. Потому что никто её у меня не отымет, никто не станет оспаривать. Я сватаюсь на осени, и она идёт за меня. Венчаться, венчаться надобно человеку с природою, с временем года и жить вкупе и влюбе.

Роскошь фетовской весны, май, соловьи, ахи и вздохи под черёмухой душистой – этому я не пайщик. Не станет меня с это. Ну и «золотая осень», олеографичная: на неё все зарятся. Я люблю рисунок мокрых сучьев и веток на фоне серого неба «осени поздней».

31 августа

Вишь, как сказано:

Тёмен смысл словес божественных,
мужику ли разгадать!
Но от звуков их торжественных
веет в сердце благодать...

Я что-то пренебрегал русским переводом Евангелия. Мне всё казалось, что это для младшего возраста разжёвано.

Обновленцы на своих «обеднях» затевали читать Евангелия по-русски. Это звучало школьно-учебно. К слову скажу, что и «молитвенники», набранные гражданским шрифтом, оставляют унылое чувство: очевидно, что «верующая масса» так ленива и нелюбопытна, что и пальцем не пошевелит навыкнуть в церковную печать.

Здесь нельзя не поставить в пример староверов. Самые начертания церковных букв они почитают священными. В глухих беломорских деревнях, где был под старость обычай уходить в «старую веру», бабы и мужики «с места в карьер» принимались за «патриаршия» книги. Так называются книги московской печати первой половины XVII века.

Книги эти воспроизводят манускрипты предшествующих веков. Кроме слов особливых, что и в синодальных изданиях XVIII, XIX веков, пишется под титлами, в «патриарших» книгах и многие расхожие слова даются сокращённо, «со взмётами»: по-старославянски...

И люди привыкают по пословице: «кому к чему охота, к тому и смысл». А ведь транскрипция наших церковно-славянских изданий, скажем, XIX века, куда проще и доступнее.

Но шрифты – это экскурс в сторону. Ясно, что при богослужении мы не можем слышать иного наречия, кроме освещённого тысячелетием. Ведь «от звуков их торжественных веет в сердце благодать».

Но возможны моменты, когда стиль, цитаты, формулы церковнославянского наречия восприимутся нашим слухом как орнаментальные красоты, когда лишь слух наш будет привычно наслаждаться благовестом «словенских» глаголов, доносящихся из алтаря, а вечно живая, вечно юная, единая на потребу живоносная сущность Христовых словес как бы отступит на второй план...

Вот на этот случай, вот в таком рассужденье хорошо дома прочитывать «Русское Евангелие». Невнятный для тёмного нашего мозга стих Евангелия, будучи рассмотрен нами и по-славянски, и по-русски, может ярче, сильнее просиять-впечатлеться в нашем разуме.

Ведь о любимом со всех сторон слухи собираешь.

1 сентября. Суббота

Семён-день – летопроводец. К полдню солнышко подтеплило, а чуть ветер – и холодит. В ночи, к рассвету, всё же дождь перепадает. Грязей ещё нету, мы и отдуваемся, не торопимся в город.

Голова опять худа и дурна. А и сквозь худость краем зрения не могу не поглядеть, нельзя не похвалить тихости осенней, небесной. Как же оно пресветло, как же оно радостно, осеннее «серенькое» русское небо! Вот

у кого был бы дом или палата, крытая перламутровым куполом. И светлая радужность этой кровли всё бы время менялась. Уж как бы любовался хозяин, купно и все приходящие, таковым чудом! Ты скажешь: в сказках есть наврано тех чудес. Нет, не наврано, не мною затеяно. Воочию всякой день и всякой час гляжу... эту красоту...

Сейчас над лесом продольно собрались облака-те, лёгкими рядами, нежною позолотою проложены. Любуясь, душу-мысли свои омываешь. Коль оно любо, коль желанно гляденье это, коль несытно, коль доброзрачно!

Высота поднебесная, широкая даль так и льётся в душу, что купелью душа-то чистится. Свободно да вольно ей. Дыхание долгое, глубокое. А в городу, в кирпичах да в людях зажат, разве вздохнёшь вольно да свободно!

***

Блуд, как его поэты ни называйте, как его художники ни преподносите, блуд, жадность эротическая, разнузданность чувственная есть, во-первых, рабство и слабость, во-вторых, дело растленное и самоубийственное...

Знал людей талантливых, одарённых, ярко чувствовавших всякую красоту. Как дети в дорогих игрушках, как гурман в изысканных явствах разбирались, рылись, лакомились, хвастались и величались они и «Русью Святою», и «сладостью церковных книг», и «отроками», и «ладаном», и «Николы», и «в совокупленьи... корчится с отроком бес...».

Ежели божественный Павел вопил, что «дадеся в плоть мою аггел сатанин», то он, великая душа, позорил этим себя, унижал своё сознание. Видя над собою, против своих подвигов милость Божию, преклонял свою выю долу «ниже всей твари».

А вот наши «певцы и художники» данного им в плоть «ангела сатаны» несут или несли как знамя, несут, красуясь и любуясь собою.

Конечно, всеобъемлющая душа наших поэтов шире и поместительней «всего этого». Поэт всюду ищет лишь того, что ему приятно и нравится. Безмятежно он «играет неиграемым». Православие, староверие, хлыстовство и... надо всем «пламенный дуб у Федота в ночи, на печи...».

Но самоубийственно услаждение плотское, ежели оно культивируется как «искусство для искусства».

Хмель пройдёт, и горько проснувшемуся пьянице видеть «свою бороду и ус в блевотине», как говорит Аввакум.

Чувственная страсть, цель которой наслажденье, как друг неверный и корыстный непременно выдаст и предаст человека на позор тоски и разочарования.

Не хулю плотской любви. Упоение ею красит и венчает молодость. Страстность любовная свойственна молодости, как раз её аромат.

Но сия вся «пета бяху»[1]. Кто же не знает, что молодость прекрасна и любовь упоительна?

Горе в том, что прекрасностям этим не видится границ. То, что благословенно и благоуханно в своё время и на своём месте, превращается в разврат. Уж у плоти-то и силёнок не хватает, а распутное воображение без конца напущает её на упражнения, которые тем жальчее и напраснее, чем старше человек.

Эти мои, вероятно, прописные рассуждения вызваны ярким впечатлением: на днях была у нас в гостях молодая чета, муж и жена, принесли с собой и младенца, сына-первенца. В обоих неизъяснимый трепет весны, и утра, и вместе с тем зной и расцвет... Нам, поэтам, есть над чем тут распустить слюни и распалить наше болотистое и расслабленное воображение...

Что же юная пара, которую мы исступлённо призываем «заголиться и обнажиться» ради всеобщего любования, что же юные Адам и Ева не слушают нас?! Она только что покормила грудью трёхмесячного сына. Чадышко спит... Свет чистоты, сияние непорочности, блаженный великий мир в личике столь малого детища, в трогательно сложенных ручонках. Оно только что гукало, чмокало соской, махало крылышками. И вдруг оно успокоилось. Вечная святость младенчества опочила на нём...

Муж и жена, юные, нежно обнявшись, склонились над своим сыном, и тихий свет чистоты и мира непорочного, озаряющий дитя, отразился и дивно сиял на лицах его родителей.

И по моему лицу, лицу старой сморщенной обезьяны, прокатилась умилённая слеза; и не то где-то в небе, не то в моём убогом сердце пел кто-то слова апостольские:

– Брак чист, ложе нескверно... Тайна сия велика есть...

5 сентября. Среда

Погодка стала строптивиться. На дню-то и дождь не раз пробрызнет, и ветер со всех румбов, и солнышком с краю поманит. Облаки все уж по сезону: с тёмной подкладкой. Холодное сей год «бабье лето»...

Отвык давно от этого ощущения счастья. Душа, точно беспокойная, бесприютная, безнадёжная птица нашла родимое гнездо. Есть ли большее счастье, как улучить, обрести это единство, тождество своего душевнаго устроения с душевным состоянием природы? Не сады, не парки, не луга, не нивы... Заунывная равнина. Ухабистые глиняные дороги. Изрытые и брошенные поля. Молчаливо, согнясь под мешком картофеля, опираясь на лопату, пробредёт человек – и нет никого. Над молчащею равниною низко склонилось облачное небо. Быстро опускается вечер. Редкие корявые сосны вдоль дороги теряются вершинами в сумеречном небе. Печаль

[1] «Пета бяху» – «старая песня».

убогих полей, пустынность дорог, одиночество этой равнины... О, любимая моя царица-бедность.

Говорят, душа не хочет расстаться с телом, тогда начинают петь и играть гусли. И душа птицею устремляется на этот зов.

Я увидел, узнал, нашёл себя бесконечно своим этой заунывной осенней заре, бесприютности этих вечерних полей и дорог. Душа находила своё, она летала, как птица; сладко ей было пребогатое молчание заунывных далей, безглагольных дорог. Никакая музыка не бывала столь вожделенной, никакая песня столь родимой, ничто не звало душу столь властно. Давно не слышал я столь родимого голоса и зова, каким позвал меня этот осенний пустынный вечер.

На западе низко над землёю всё время сияла широкая, как река, лента зари. Её немеркнущее золото было как обещание, как победа. И радость единства убогой души с бедною природою венчалась венцом надежды на счастье таинственное.

17 сентября. Понедельник

В Богородицыно Рождество перебралися опять в городское своё пребыванье. А се я и не тужу. Оконца ладим чинить. «Уж небо осенью дышало. Уж реже солнышко блистало. Короче становился день...»[1]

Дня два сухо. Ветер гоняет по переулку жёлтые листья. Брёл переулком, а листы, сухо шелестя, летели с лип и берёз; шурша, бегут по дороге. Серые дома, серые мостовые в строгом, ровном свете дня.

23 сентября. Воскресенье

Близятся зори Сергиева дня. В тихости великой сердечной надобно расслушивать, встречать сладкую музыку преподобнической славы. Надобно, чтобы твоё сердце, о человече убогий, пело славу Преподобному, а ты бы внимал себе, радуясь. Ведь «царство Божие внутри вас есть». Но подслепа нищая моя душа: худо разглядывает зори своего счастья, туг я на ухо: недослышу жизнеподательнаго рокота радонежских гуслей.

Душа моя, сознание моё что захламощённая кладовка. Ежели и бывало что доброе, надобно выискивать, рыться во всяком соре и мусоре. Вся моя «вера» построена на песке. Во мне одна только любовь к «светлым настроениям» и погоня за этой настроенностью. Мне непременно нужна соответствующая «обстановка». И горе тем, кто срывает «светлую» мою настроенность. Пропадай всё, а я выколочу, выполю и вымещу вам за то, что сдёрнули меня с любимого конька.

Безусловное и позорное отсутствие «дел веры» способствовало тому, что жизнь моя, существование моё, поведение моё закопились «делишка-

---

[1] А.С. Пушкин «Евгений Онегин», гл. IV.

ми» мусорными, грязными, жалкими. Камня я не подмостил под себя. Вот и порывают душевное моё состояние всяческие ветры. Стоит дохнуть противному ветру, и все мои настроения облетают, как одуванчик. Опять остаётся голый стебелёк.

Будучи такою «мимозой», я и гоняюсь за тихостью природы. Я гоняюсь за покоем. Потому, как сказано, он и бежит от меня. Всякое отсутствие сильного характера и воли, при наличии беспутной самочинности, привели меня к такому жалостному устройству.

24 сентября. Понедельник

...Ведаю, что «внутри нас царство», что счастье это, радость сия в нас. Но великое сокровище это подвигом великим добывается. А я, губы распустя и расшеперя лапы, век свой проболтал. Эта дума есть богатство схватить, а только бы без труда.

28 сентября. Пятница

Настал и прошёл день преподобного Сергия и день Савватия Соловецкого. А я молол на житухиной мельнице. Мелева было много, а помолу нет. Празднична работа впрок не идёт.

С вечернею зарёю кануна праздник-от придёт. И самый день до вечера праздник стоит. Можно бы уму и сердцу «упраздниться» на мал час... Можно бы ухватиться за край ризы не Сергиевой, дак Савватиевой. Но подсунет лукавый спешку «деловую» именно на эти дни. И ум-от уж не златую праздничную нить, а пропылённую паутину из угла на своё веретено сучит.

Умишко-то о «делах» тревожится, как мячик под прохожими ногами, катается мысль, и устанешь ты этот мячик к месту прибирать... Знаешь, что праздник и свет сегодня, и сердце-то спросится робко: «Припасть бы к преподобническим ногам, очень-де лик-от светел у святого...». Но недолго прядётся светлая златошёлковая нить. Боязливо обрывает её унылое веретено сознания. Снова и снова наматывает свой привычный, будничный шпагат.

Северное серебряное небо. Ряды за рядами волны с белыми гребнями. На лодье плывёт преподобный Савватий. Морское поветерье шумит в снастях. Святой стоит на корабельном носу, глядит в безбрежную даль, в даль веков. Ветер играет воскрылием мантии.

«...чтим святую память твою.» Уж нету времени, годов, дат живших, умерших поколений... Всё то же небо, и те же волны, те же белые пески, тот же ветер дует сегодня, что и век назад. Вечность вечно юнеет. И сегодня, сегодня ходко бежит корабль преподобнаго Савватия по морю Соловецкому...

Осень чудесная стоит. Опавший лист у оград, у заборов. Уж мало его на деревьях. Не застит света тихаго вечерней зари купа дерев, что против моего окна... В шесть часов уже не видно писать и у окна.

Дни сухие, солнечные, с холодком: редкий год так об эту пору. Сегодня вечер ясный, с праздничною вечернею зарёю.

...Не могу забыть: вчера, на ветру, в сумерки, на людном перекрёстке стоит плохо одетый, нестарый человек и продаёт букет – пучок опавших листьев, каких много под ногами... Видно, нечего больше продавать. Но никто не глядит на эти «цветы». Может, он и не ел сегодня, этот человек.

29 сентября. Суббота

А сегодня по обеде вот как дунул север да со снегом (на мал час снег-от и в первый раз), дак без дела и не усидишь на улице. О, как бы я любил в деревне и зиму, и весну встречать. Однодумно, единосмысленно с природою пожить.

В вечерню над домами, над крышами надходили с холодным северным ветром снежныя тучи. Падал снег с мокром. Но на западе всё время блестела сильным опаловым холодным светом низкая заря. Заря блестела низко меж чернеющих домов, отражалась в лужах. Забелели крыши...

До вечера я бродил, дышал настроением осени в этих старых переулках. Везде вставлены окна, подоконники проложены ватой. Приземистые дома, спешат люди...

Я как-то... уж не любуюсь, не наблюдаю «осенний» пейзаж, а сам себя чувствую частью такого пейзажа.

28 октября. Воскресенье

Китеж, светлый град упования твоего, глубоко утопи в заветных тайниках души. Подальше положишь, поближе возьмёшь. А не делай из своего упования, из своей «веры» лавки. Тогда уж, хочешь не хочешь, будешь сидеть да торговать. Будешь сидеть, как на ярмарке. Притом из тысячи, может, одному надобен твой товар. Остальные будут тебя тягать, что непоказанным товаром торгуешь, иные вразумят тебя, что давно вылинял или выдохся твой товар.

Кто Христа на базар ходил продавал? Только Искариот. Упованье наше Христос. Кто его взыскует, не по базарам тот ходит.

Вера – невидимый град Китеж, озеро Светлояр, тайная тайных нашего сердца. Пусть подземный сей родник питает твою сердечную мысль. Не делай упования твоего фонтаном на площади.

29 октября. Понедельник

У тебя полёт орла, а у меня воронин. Ты поёшь соловьём, а я грязной воробей из-под худой застрехи. Ты лев, а я заяц.

Ознобно ветр прижал к земле травы и цветы. Зиме время быти. Напрасно вы, цветики, головки подымаете. Не время красоваться, не время величаться наружной пышностью.

От многих времён какое множество заведено было наружного, показного. И всё облетело, как маков цвет. Только те не обнищали, только те до последней духовной срамоты не обнажились, у кого в сердечной скрыне собрано-запасено было истинное, некрадомое богатство. «Не ищи ни Рима, ни Иерусалима, ни больших собраний...» Всею мыслию своею приникни к тем, походи, хоть умом-то, вслед тех, которые во все времена держались надёжнейшаго и вернаго понятия о жизни... То есть, что эта жизнь есть внутренняя, сокровенная.

31 октября. Среда

Вопросы собственнаго миросозерцания, собственнаго умозрения ныне редко перед кем встают. Не время философствовать. Впрочем, вопросы любомудрия, темы умозрительныя казались оторванными от практической жизни уже сто лет назад. Норвежца Стеффенса, учёного и философа, жившего в эпоху блестящаго расцвета философских школ в Германии (Стеффенс был современник Шеллинга, Фихте, поэта Гёте и др. замечательных философов, поэтов, учёных), Стеффенса уже тогда беспокоила оторванность и разобщённость философии с «жизнью».

Образованность уже тогда порвала с религией. Религия перестала быть умозрением всех. Философия Канта, Шеллинга, Гегеля заняла у «образованных» место религии. А затем, с середины XIX века, эта достаточно отвлечённая философия уступила место учениям гражданственным, социальным.

Кант вперял умное око в «звёздное небо над нами и в нравственный закон внутри нас».

Величавое спокойствие (довольно безотрадное) внушает нам Спиноза.

Шеллинг... он как сокол, весь в природе, купаясь в воздухе, носится за добычей. Шеллинг так увлекал молодёжь с её сколько пылкими, столько неясными идеалами.

Но, очевидно, жизнь усложнялась. Соответственно настроенные умы занялись вопросами богатства – торговли, рынков. Если Стеффенс и его друзья, любители философии и поэзии, учась в университетах Гамбурга, Киля, задыхались от атмосферы купли-продажи, при всяком удобном случае убегали в горы, в леса и поля, уходили в море, то появились мыслители, теории которых более соответствовали новейшим временам.

Но что же?! Звёздное небо над нами; желание чудное, томящее душу: мир и радость, которую даёт нам общение с природой... Эти вопросы никого уже не занимают? Затем такие темы, как вопросы о смысле жизни человеческой, смысл неизбежных страданий и смерти; также вопросы любви, героизма, самопожертвования, свойственные душе человека и ещё не истребившиеся. Эти свойства, откуда оне?!

Сознание единства человека с природою, с Матерью Сырой Землёй – дело живоносное, спасающее, оздоровляющее ум-сознанье и тело, физическое и духовное существо человека.

Удивительно благодарное и жизнетворное дело приникнуть к учителям-мыслителям, стоявшим на этом верном пути, искавшим и обретшим эту воду живую.

Но почему Стеффенс? – меня привлекает это имя, потому что он был уроженец Северной Норвегии, довольно пишет об её природе и людях.

Между тем эта страна сходна природою с моею родиной. А быт её, описанный в Стеффенсовой автобиографии, живо напоминает мне обстановку и людей, среди которых я родился и вырос. Хотя нас разделяет целый век, хотя мыслитель этот родился в стране протестантизма...

5 ноября. Понедельник

Киреевский привёл только молодые годы Стеффенсовой автобиографии. Но и на том спасибо русскому любомудру. А читаешь с сердечным весельем. Только чудно мне, как Стеффенс, восторженный взыскатель Бога и веры, с не меньшим энтузиазмом делает модные тогда опыты над электричеством, тратит остатки средств на устройство вольтова столба, гальванизирует лягушек...

10 ноября. Суббота

На Михайлин день с вечерен полетела над Городом метель-поносуха. Несло с кровель, завивало на перекрёстках; белые сувои снега поперёк устилали переулки, выходы дворов. Наш дворишко заметало до полуокон. Потом два дня была морозная ясень, в ночи звёздно, снег скрипел по-морозному. То уж зима настала, что и дивить: во вторник заговенье на пост Христова Рождества.

В нашем дворике четыре кряжистых дерева. Лоза, та с первыми ознобными ветрами лист растеряла. Дуб в углу до полуоктября шабарчал мертвенно-сухим убором. Ветер налетал, в сердцах, сильнее да смелее. Дубовый лист, как вереница кладбищенских старух, ездил по голому двору из угла в угол. С каким-то могильным и сиротливым шорохом. Всякой вечер махнёт с переулка через забор северный ветер, а листы-шкелеты того и ждут. Выстроясь, что похоронная процессия, поползут к северу, как живые, заворотят за угол к воротам. Тут остановятся. Сквозняк их догонит да поддаст, листья-старухи и выфурнут в переулок. Тут порядок растеряют, которая куда побежит...

Нейгауз играл Шопена. Ряд вещей пленительных и по исполнению. Музыка интимная и меланхолическая. Так хорошо; так ко времени; так

отдыхает, в себя приходит душа под этот переливный ручей звуков, под ласковый перебор этих струн, под это лирическое и медлительно-прелестное веретено, прядущее музыку интимную, трогательную.

...Вспоминались, вставали в памяти сердца мечты юности, несбывшаяся, может быть, первая любовь: много их было у меня, первых-то любовей.

А я вот как оглянусь да увижу свои юношеские мечты и жизнь «юношескую» – и всё оно передо мною, как книга в расстил, лежит. И ничего-то единого, цельного, высокого не правил <привил?>я в своей молодости. Как «проснулись чувства» в 15, в 17 лет, так и пошло десятка на два годов: «Чего-то нет, чего-то жаль; куда-то сердце мчится вдаль». Страстные порывы к «прекрасному», к искусству, отчасти к поэзии, а более всего ухлопал, убил, погубил время и годы на увлечения более, увы, платонические. И над всем мечтательность, мечтательность безоглядная...

16 ноября <?>

Родину бы хотелось повидать, там бы уж недолгие мои годы дожить... В Двинской губе ещё в детстве пало мне на сердце одно место: как от Города плыть к Лае-реке, и после Чёрного леса (Цигломина) будет высокий наволок. И на горе деревня Глинник. Ряд старинных северных изб тянется по гребню величественно-сурового глинистого берега. Под горою белые пески, карбаса. И беспредельное царство свинцовых двинских волн. Немерная водная ширь! Здесь всегда качнёт, трепанёт – в карбасе ли плывёшь, на пароходе ли.

Я мальчиком бывал в гостях на Глиннике. Из какого оконца ни взглянешь, всегда точно крылья развернутся за плечами, будто сам ты летишь над седыми волнами, вместе с морскими птицами вон к тем дальним, еле видным островам.

Помню осенний вечер на Глиннике. Бесконечные ряды чёрно-свинцовых валов с гребнями, пламенеющими в последних лучах заката. Грозным, немигающим оком глядит из-под сизых туч последняя заря. Красота грозная и плачевная и восторгом охватывающая душу.

24 ноября

Меняющийся лик небес имеет для меня силу великую, притягательную. Однолично с небом (и даже больше!) поразил меня взгляд младенца.

Взрослые беседовали у лампы. Грудной ребёнок, мальчик, тихо лежал поодаль, в тени. Мы думали, он давно спит. Я подошёл к кроватке. В полумраке увидел широко открытые глазки. Мальчик как бы внимал чему-то для меня непостижимому, но для него близкому и сродному. Я опустился на колени, шепча нежные слова, дивясь чудной сосредоточенности милого личика... Он стал глядеть на меня, как бы вопрошая о чём-то. Чувство

какого-то смятения, но и восторга поднималось в моей душе. Мы глядели друг другу в глаза. Он, только что «пришедший в мир», ещё весь чистота и непорочность. И я, уже собравший на себя всю грязь и весь тлен земли.

Он лежал маленький, спелёнатый, но важность гостя из таинственной страны почивала на нём...

Только глядя в звёздное небо, давно когда-то, ощутил я подобное чувство...

30 ноября. Пятница

Вся неделя с морозами. Давеча слышу – поют под рояль: «Под душистою веткой сирени» Чайковского (по сезону!). Это всё чары комнатные. А выскочил на улицу (стекло ребята разбили, дак поорать)... Чистота опустилась на Город, морозная праздничность, непорочность, празднственность холода, наступившего на грязь, на тлен, на смрад Города...

24 декабря. Понедельник

Сочельник Рождественский. Дни святые, время чудное, часы прекраснейшие. У нас намыты полы, благоухает ёлочка, в оконца глядит несказанная белизна, тускло-серебряное небо сыплет снег; летают, гоняются друг за дружкой снежинки.

Ночью вышел на улицу. Белая земля, белые кровли домов. Рождественская ночь. Загадочно-таинственно темнеющая пелена неба над белою молчащею землёю... Сердечное око человека видит большее, и тоньше слухи сердца. Небо, вмещаемое нашим сердцем, шире видимого глазами и преславнее. Глядя внутрь себя, внимай себе...

Осенью тысяча во-
семь-сот шестидесят
пятого года [illegible]

[illegible]

1947

7 января. Понедельник

С тихою важностью идёт снег. Небо как бы склонилось над землёю и убирает, и уготовляет её в белые одежды. Из старинного коротенького оконца точно рождественская картинка глядится: белая, белая пелена дорог, белые шапки на столбах ограды. Серебряно-тусклое небо, на нём как бы карандашом нанесён изящный рисунок ветвей и сучьев, протянувшихся над оградою, тоже накрытою белыми шапками и воротниками... Серо-каменный дом поотдаль. И серебряное небо ткёт и ткёт тончайшую шёлковую кисею, преиспещрённую узором белых пчёл. Невидимые руки неустанно ткут завесу в белых пчёлах, и тихо опустится она на город...

Знаю любителей пейзажной живописи. В центре вонючего города, в утробе кирпичнаго небоскреба, в кабинете развешаны произведения пейзажистов. В папках рисунки, офорты... При мёртвом свете электричества хозяин смакует тонкость передачи зимних или весенних настроений...

Я люблю быть сам участником пейзажа. Вот стою и соглядаю «зимний вечер». Я сам стою в белых, как лебяжий пух, снегах. Снежные пчёлы, что как нарядная сеть, неслышно опускаются на сугробы, эти пчёлы садятся и мне на лицо, на плечи.

Дохнул ветерок. Может, он с Севера, с дальних полей... Всё живо, этот пейзаж растворён и неразлучен с музыкой, он услаждает и слух: звонко-хрустально кричат галки, каркают вороны, усаживаясь на ночлег. Свистят крылья, шелестят ветки. Галочьими голосами зовут друг друга пробегающие ребятишки:

– Харитошка, Харитошка!

Зренье, слух, осязанье, обонянье...

9 января

...В стужах, в знобких ветрах Севера, берёза, шиповник ли растут, простираяся по земле, укрываяся мохом... но где, когда пригреет солнышко, берёзка серьги свои наденет, листочки распустит; а шиповник благоухает цветами. Таково и религиозное сознанье русского человека.

Помню, старовер Трофим укорял Фёдора, молодого человека: «Спасаться ты побежал в "пустыню", а у родителей за недоимки корову со двора повели!».

...Все, все, и в первую очередь интеллигенция, особенно к старости, люди одинокие, скудные, больше всего боятся беспокойства. Они предпочтут одинокую камеру, но только не то, чтобы в их комнате смеялись и плакали дети. Знаю дом: в комнатах по многу лет живут учёные дамы, пенсионерки. Комнаты-одиночки. Век не топлено, не готовлено. Выйдут – дверь на замок, и войдут – дверь на ключ...

5 марта. Вторник

Вчера Аким сказывает: «Две скворешницы сделал, надо поскорея в деревню свезти. В эту субботу жаворонков надо ждать...».

Воспоминаньями, притом далёкими, думы о весне родимого Севера.

Уже я вижу, например, холмы Хотькова, ручьи-потоки вокруг Сергиева града. Хорошо и здесь по деревням-то. В полях, на огородах снег, а у избушек завалинки, крылечки приобсохнут. За углом ветер, лёд, а на припёке старики щурятся, кошка на подоконнике греется...

Эх, мысли-то тщусь посылать в тихость деревенских дорог, а самому сдвинуться с места, хоть часок посидеть, поглядеть, как сосульки мартовские с деревенской крыши свисли, – задница тяжела. Думы-то соколом, а жопа-то кошелем. Да и думы-то мои не соколы, а кисельная выжимка. «Всё прошло, пропали силы, притупился взгляд». Только и осталось, что плачет душа по радости неотымаемой. И начал я стареть и всяко ослабевать, не заготовив снасти, чтобы неотымаемую-ту радость уловить и удержать.

Желанье-стремленье будто и есть, а воля-характер слабые. На корабле духовного существа моего матросы – пьяницы, штурман карты-планы потерял; капитан знает, куда плыть, да команда его ничем зовёт, сколько он ни горячись. А се – и капитан-от рукой махнул, – как хотите!

7 марта. Четверг

Пасмурно – тают инде снега. По улицам сегодня воды нет, а уж конец зиме. Народишко посередь дороги лепится – везде снег с крыш роют. В Хотькове, сказывают, только на станции вода, тает. А так – многоснежно. От Митинской горы, слышь-ка, к Паже в прорубь щель меж сугробы рыта. «Говорю о новостях природы, – пишет молодой В. Дроздов[1], – когда новости людские не заслуживают слов».

23 марта. Суббота

...И без того ум-от худ, тревога заботная на двое, на четверо его раскуделивает: апрель перебьёмся, а май месяц... никаких получек не предвидится. Вот эта гнетущая тревога, этот страх перед завтрашним днём пригнетают

[1] Митрополит Филарет, в миру В. Дроздов.

силу ума, делают сердце пугливым. Сердце просит радости, как голодный – хлеба, просит и безнадёжно, безответно умолкает...

Вот для чего я эту печаль пищу? Для кого? Легче мне, что я это всё выложил? Помру – печку растопит моими тетрадками какая-нибудь Нюра или Муся.

14 апреля. Воскресенье

Сегодня память, умерший день отцу моему. Преставился в 1905 году, в Великий Четверг, в два часа пополудни. Утром сряжался к обедне, к причастию. В доме с рассвета шла предпраздничная порядня. В четверг мать пекла куличи. Вижу её в слезах и в хлопотах с тестом: «Отец у нас особенный сегодня – захожу к нему в спальню, а он: "Христос воскрес! Что вы не готовы? У меня на заре три священника были. Пели Пасху. Христос воскресе!" – И руки протягивает христосаться...»

Я подивился и, не зайдя к отцу, поспешил к обедне в гимназическую церковь. Потом прошёл в собор на «омовение ног». Домой пришёл часу во втором пополудни. И слышу из отцовой спальни пение пасхального тропаря. Я почему-то заплакал и вошёл к нему в горницу. Он лежит такой праздничный, борода и волосы учёсаны, и весело мне говорит: «Поздравляю тебя с принятием Святой Тайны!» Я заплакал, обнял его. А он: «Погляди-ко, сынок, который час?» Я прошёл в кухню. Там уж вынимают куличи, опрокидывая их на подушки. Я загляделся минуту, меня чем-то заняли, потом говорю: «Ах, мама, папа-то спрашивал – который час». Мама сама побежала к нему. Минутку спустя слышим стук в стену: отцова горница была смежена с кухней. Я подбежал: мать, обнимая отца за плечи и припав лицом к его голове, плачет над ним, называя по имени. А он уже кончился. В Страстную Субботу отца схоронили на Кузнечевском кладбище, мы остались невелики годами.

Родитель мой был старинного роду. Прадеды наши помянуты во многих документах Устюга Великого и Соли Вычегодской. Родился в селе Серегове Яренского уезда в 1850 году. В 1865 году, по смерти моего деда, бабушка оставила родину навсегда и уехала в город к морю. У моря началась трудовая отцова жизнь. Почти всю жизнь он плавал на Мурманских пароходах. А матери моей предки (и дед мой по матери) век служили в Адмиралтействе, при корабельных верфях.

Род матери моей покоится на Кузнечевском кладбище (а частью на Соломбальском). Здесь же и отцова мать, бабушка Мария, и отцова сестра Павла.

Я сегодня помянул род свой... День с утра такой северный, какой на родине милой бывал, когда реки тронутся. Во второй половине апреля, бывало, пойдёт лёд в море.

Как бы я туда слетал, походил бы по родимым берегам, ветрами бы подышал, детство и юность желанную помянул. Как беспечально там жизнь проходила...

Детство, юность, молодость – всё у меня с родимым городом северным связано, всё там положено. И всё озарено светом невечереющим. Годы золотые, юные – заботы, тревоги о куске хлеба на завтра я там не ведал. Делал то, что любо было... «Что пройдёт, то будет мило».

Но разве мало милого было в здешних местах, во вторую половину моей жизни, столь несхожую с бытом Севера родимого? Как сравню, думы там были невеликие, хмель молодой одолевал, печали молодые, несмысленные. Мать, разумная, терпеливая, дом, житьё-бытьё вела и правила, а я с сестрами одну заботу знали – учиться. Вишь, потому ещё жизнь-та в те поры красна и светла вспоминается, что сил душевных и телесных много было.

А теперь всё – ох да ох... Не живём, а колотимся, как навага о лёд.

А погода сегодня малу-помалу хмурилась, да и дожжинушка зачал сеяться. Заблестела мокрая мостовая. Неуедно живу, да улёжно. А хозяинушко мой с рынку пришёл, еле ноженьки приволок, выпал весь. Картошки в кошёлочке принёс. Люто голодна весна-та. Мы с четверга Светлой недели на одном постном супе, на пустых щах сидим. Худо дышит семеюшка моя. Я бы так не тужил – на них глядя, горестно. Добытку нет. А дороговь люта. Хлеба-та не хватает, делим его на четвертушечки. Я вот курить стал при старости лет. Ещё чаем отнимаюсь. Чай души моей отрада. Даром что без сахару. Не завлекательно об этом писать.

19 апреля. Пятница

От юности моей увлекался я «святою стариной» родимого Севера. Любовь к родной старине, к быту, к стилю, к древнему искусству, к древней культуре Руси и родного края, сказочная красивость и высокая поэтичность этой культуры – вот что меня захватывало всего и всецело увлекало.

Но прожив жизнь, когда уж «всяко меня бито, и о печку бито, только печкой не бито», вижу, что, «как ладья ни рыщет, а у якоря будет» – деваться некуда: приходится посмотреть, подумать и взяться за то, чего в молодости-то отмахивался.

...Ребёнку простительно... постлать на пол картину Рафаэля и, ежели не досмотрят, топтать и рвать её. Дитяти простительно вылить за окно ведро, скажем, розового масла, забросить в реку слиток золота, сжечь, играя, в печке денежных бумаг на миллионы рублей и т. д. и т. п. Но ежели так будет поступать взрослый, все скажут, что это умалишённый, что это идиот, что тут нужны срочные меры. Не собираюсь и судить эстетов, коллекционеров, которые «неиграемым играют». Когда на моей улице пожар, я не побежу в соседнюю улицу читать лекцию о противопожарной охране.

Когда мне прописано лекарство, я не буду заставлять соседа пить его насильственно; ежели я угорел в чадной комнате, а другие, обладающие более крепкими лбами, сидят как ни в чём не бывало, я должен выскочить на свежий воздух...

Сегодня такой «серенький», такой северный день, жемчужно-облачный. Северная весна. Небось там, у северного моего моря, реки распленились от льдов, а берега по взгорьям обсохли. Ветер сегодня весенне-свежий, с родимых моих берегов прилетает. И я Фиваиду русскую вспомнил: небесного Зосимы Соловецкого память только что была. Художественная культура XV века: живопись, зодчество, поэзия, быт... «в ней всё поэзия, всё диво»[1]. Но человече безумный, устрашись ступать ногою на хлеб насущный. Любуясь прекрасною оболочкою, не забудь главного, важнейшего. То, что одухотворяло и живило прекрасные формы иночествующего быта «Северной Фиваиды», является и нашей жизнью, и нашим дыханием. То, что было «единым на потребу» для Святой Руси, есть и нам «едино на потребу».

...«И ты, – говорит святой писатель Древней Руси, – не можешь быть солнцем, будь звездою, не можешь быть большою, будь малою, только на том же Святой Руси небе почивай».

3 июня. Понедельник

Что-то уж очень бойко зачал я духом-то падать. Никакой во мне укрепы, никакой основы не стало. Чуть какое нестроение дома, я с ног слетел. Всецело моё душевное устроение от людей, вернее, от человека зависит. А человек-то, близкий и единственный, вконец из сил выбился. «По лошади и воз накладывают», а у брателка не воз, а целый обоз.

Июнь пошёл. Чудные они, июньские негаснущие зори. Сейчас тихий вечер, над крышами посвистывают стрижи. В камне, в городе и то любо...

Сегодня на родине праздник. Июньские сияющие ночи, говор беспредельных вод, острова, белые пески, родимый, ныне недосягаемо далёкий Город, крики чаек... Почему вот теперь печаль угнездилась в сердце? И держит его, не отпуская. Точно свинцовым грузом обложено сердце. И некому разгрузить, никто не пособит. А уж и дышать тяжело.

18 июня

Лично для себя я знаю, что, пока я не построю себя в «целость ума», не выработаю «целости жизни», я останусь в том жалостном положенье, в каком я есть! Не то что «медь звенящая и кимвал бряцающий», а просто глиняный горшок без всякого звука.

Самочинство, самоходный и самовольный «личный опыт» в деле «взыскания Бога» может увести в сектантство. «От внутреннего Царство

---

[1] Правильно: «В ней всё гармония, всё диво...» (А.С. Пушкин).

Небесное приходит», – говорит Христос. Отсюда, например, моё недоуменье по поводу, скажем, старинной русской практики: купец, фабрикант, обманами скопивший капитал, в богатстве и роскоши живший и умерший, какую-то (может быть, солидную) часть капитала оставляет на церковь и этим «спасает» свою душу, то есть наследует Небесное Царство...

Положим, за этого фабриканта будут молиться, но разве не ясно, не отчётливо указано: «Блажени чистые сердцем, блажени плачущие, блажени алчущие и жаждущие правды, блажени гонимые, униженные, оскорблённые... Бога узрят, только эти Царство Божие наследуют...».

Неужто я могу всю жизнь до смерти обижать и грабить, а вот куплю чьи-то молитвы, и моя душа пригодна будет для всякого блаженства. Разве не ясно, что Евангелие лично каждому велит совершенствоваться?

Ещё уже в иных планах вспомнил я некое слово из старорусского цветника: «Один подвижник открыл ученику, что он (старец) выполнил иноческого своего правила вперёд на десять лет...».

«Перевыполнил план». Отсюда вывод: Богу нужно не сердце человеческое, очищенное, омытое, Богу нужны для чего-то поклоны и количество молитвенных фраз. И как будто всё равно, добрый ли, злой ли человек эту продукцию выработал.

Впрочем, я, писавый, судачу мимо дела, забывая весьма веское слово: «Говори то, что лучше молчания».

Говорю о том, что светит уму, что желанно сердцу. А выговаривать суд да кручину – отяготительно для меня. Оскомина падает на душу от сердитости...

28 июня

Эти две-то недели обиваю пороги, приёмов добиваюсь. Высоки пороги-те. Сидишь, сидишь, ждёшь, ждёшь, да с тем и домой бредёшь. Перед крашеной секретаршей стоишь, по имени-отчеству её, сучку такую, величаешь, а она и глядеть и слушать не хочет... Собрался с духом, позвонил именитому человеку, бывшему, так сказать, «другу юности». Дак, трубку-ту держачи, будто я в кипятке сидел. Трёх слов не сумел я ладом оболванить. Каково же мне тошна просительская роль! Главное – знаю, что в глухую каменную стену стучу. Вот этак, собравшись с силами, зачнёшь людские пороги обивать...

7 июля. Воскресенье

Попаду в деревню, и нет у меня сытости глядеть на эту светлооблачную небесность, на эти тропиночки меж дерев, на эти ряды белеющих, как свечечки, берёз... Голуби на серебристой крыше сарая, стайка воробьёв на изгороди. А по сторонам тропинки ромашки. А вдали стена тёмных, важных, неподвижных елей.

Нет сытости слушать и внимать шелесту листвы, шуму ветра, шороху дождя. Музыка тонкая и сладкая, вожделенная, любимейшая! Иной гул хвойнаго бора, совсем иначе шумит берёзовая роща. Вокруг нашего дома темнеют ряды елей и белеют купы берёз. Под ними кусты ягодника и трава-метляк. При ветре они все будто разные инструменты симфонического оркестра. Разные, но звучат согласно и стройно.

А речь и говоря дождя... Уж столько у дождя разговору со старинною крышею нашего домика! Видно, давно знакомы. Сначала редкие капли обмолвятся словом да помолчат. А потом все заговорят, зарассказывают спешно. Тучка-то торопится, деревень-то много надо облететь, каплям дождевым многое надо обсказать: то у них и спешная говóря-та. Ино в ночи долгую повесть дождь-от заведёт. Я лежу да внимаю... Осенний дождь слушать люблю. Он моё мне рассказывает. Мерная говоря дождя, особливо осеннего, спокой в душу приводит.

Дождь-то знает, что я его слушаю, ведает, что я слушать его люблю, и он подолгу со мной свою беседушку ведёт, всё мне обскажет. Моё говорит, моему уму норовит, речи-беседы дождей, радостных вешних, или грозовых летних, или осенних тихомерных – всегда они, эти речи дождевые, уму-разуму и сердцу-хотению желанны и любезны.

8 июля. Понедельник

Новостей человеческих не знаю здесь, в деревне. Одни надо мною новости природы. Вечером вчера сковылял до лесу, он в глазах. До оврага не долез, заподымалась туча, загремело со сторонушки звенигородской. Гроза кругом обошла, и установился дождик обложной. С рассвета и за полдень точно кто гаммы наигрывает однообразныя, то тише, то смелее по кровле моей. Хозяйская бабушка предвещает недели на две ненастье-то. Ветер своё дело управил, натянул дождя и успокоился. С вечера и кузнечики примолкли, сегодня их не слыхать. Только птицы щебечут, синичка посвистывает. Тонкий сырой туманец реет у лесных далей...

С брателком мы этот месяц из воблы суп варим. К обеду и ужину. А между вытями, проголодавшись, той же воблы твёрдые ремешочки жуём.

Чаем я свою душу утешаю, дважды в день завариваю, по-богатому. На сахарок-от поглядывать приходится – тут не по-богатому. Крупа на рынке дороже 20 рублей стакан.

Видишь вот, о чём я, бездельник, пишу. Не приходит в башку слово к полезному!

Хозяйская бабка, старая, но ещё крепкая, осень, и зиму, и весну до просухи, до лета, живёт здесь одиношенька, караулит дом. 25 годов так-то. Тем не тяготится, но веселится. Вот кому я завидую. Хоть глуха, а видит хорошо. Книги заветные перечитывает, в будни шьёт, вяжет, прядёт. «Хлебца мне

дети в воскресенье привезут, а картошка, капустка своя. Одна царствую!» Ещё бы не царство!

О, как бы я хотел да радел так пожить. Соглядать, внимать и следить, как зима на извод пойдёт... март великопостный, апрель пасхальный... С конца февраля оттепели, сосули с крыш, капели ночные. Потом проталины, небо заголубеет, облачки барашками засобираются. От Благовещенья ручьи загремят... Вся-та истинная жизнь, жизнь природы, жизнь единая на потребу, жизнь телу на здравие, сердцу на веселье, уму на радость – всё здесь с человеком. Вот где счастье-то! Вот где настоящее-то!

Конешно, «в чужих руках и кусок больше, и ломоть толще» кажется. Много надобно иметь в себе, в уме-мыслях, в сердце богатства, чтобы одному-то поживать...

9 июля. Вторник

Рисовать любил с детства страстно. Художествам учивался в молодые свои годы. Ничего в этой области своего не сделал, своего ни в графике, ни в акварели не показал, опричь невеликих декоративностей, но любованье «видимым же всем (и невидимым!)» во мне есть. Люблю рисунки и картинки, где тонкостно переданы настроения русской природы, особливо зимней и ранне-весенней. Люблю залы картинных галерей вроде Эрмитажа и Третьяковки, когда там тихо, когда не мешает никто жить с художником. Смотришь любимые картины, рисунки, и радость надмевает твою мысль. Бывало, иду из Третьяковки, точно богатыми подарками кто меня нагрузил. Домой тороплюсь донести. Не знаю, что с таким богатством буду делать.

9 июля <?>

Летом по природе-то что жук, где твоим глазам любо, ползёшь.

А в зиму, в зиму словно по картинной прекрасной галерее трепетно идёшь. Можно любоваться, можно красотою упиваться, можно соглядать, дивяся чуду.

Красочную роскошь летней природы никогда мне не приходило в голову «перенести на полотно». А вот зимою, когда я вижу только белое, серое и чёрное, томительно и сладостно мне взять лист ватмана, карандаши и передать чувство это своё, восхищенье своё несравненным изяществом и тонов, и рисунка. «Белое и чёрное»...

С субботы два дня дул восток. Вчера к вечеру сменился на SW.

С утра была вьюга, навалило снегу. Проулок в деревню занесло.

На крылечко вылезешь – белым-бело. И холм, и дороги, и деревнюшку – всё белым пухом завалило.

Красовото глядеть, как белые пчёлы нарядным белым роем непрестанно, неслышно, будто кружевная ткань, идут и идут.

По тёмному фону срубов это ткущееся кружево смотрел бы неназглядно.

Летом веселит светлошумный дождь, а теперь вот эта неслышная белая красивость.

Эту безглагольность любит слушать душа. Сердце всё о ком-нибудь болит или ждёт боли... А душа рада послушать тихостную музыку белых полей. (106)

10 июля

Царствие Небесное, которое внутри нас, т. е. радость о Господе – это река воды живой.

Сказано: «Один черпает из этой реки большим сосудом, другой средним, а третий малым. Всяк черпает и несёт по своей силе. Но и у тех, и у других, и у третьих всё та же живая вода».

Мыслятся мне как бы три степени восприятия праздника Пасхи. Первая – у святых пустынных отцов, у которых не было куличей, сладких сыров, ни иных яств, но которые, «очистив чувствия», пребывали всецело «в Пасхе Таинственной», созерцали «неприступным светом воскресение Христа блистающее» и ясно слышали от Него Самого вожделенное: «Радуйтеся»...

Святые, стяжавшие «Царство Божье внутрь себя», празднуя Пасху на земле, пребывали уже в предначатии «Пасхи вечной», т. е. ощущали уже «жизнь будущаго века».

Вторая степень празднования Пасхи – это то, что свойственно было многому множеству русских людей: горожан или поселян, живших в стихии бытового русского православия.

С начала Великого поста начинались для них любимые «службы». Недели – «первая», «крестопоклонная», «вербная» и любимейшая «страстная». Вербички, свечечки, говенье, «се жених грядет», «12 Евангелий», «плащаница» – как они этих дней ждали, как любили.

О заутрене Пасхальной – нечего и говорить. Чины служб пасхальных, сладкогласный канон Дамаскинов, стихиры Пасхи знали наизусть. И до самого Воскресенья, чуть досуг случится, спешат к службе попасть, чтобы ещё и ещё раз заветное и дражайшее «Христос воскресе» послушать и спеть... Круг церковный, уставы и чины церкви, посты, праздники, иконы, лампады – всё это было утешением русских людей, украшало быт семейственный.

И не только у мирян. В монастырях русских это бытовое русское восприятие церковности господствовало.

Третья степень празднования Пасхи – она тут же была, так сказать, под крылом у реченной, «второй» степени. Об этой «третей» степени я почти что и сказал. Это – детское, зачастую без раздумий, веселье о празднике...

Чистят ризы у икон, моют, убирают дом, пекут-жарят... нарядные платья к заутрене, христосованье (ведь можно поцеловаться с тем, кто нравится...), звон целую неделю, гости...

В деревнях качели, начинаются на игрищах песни-веснянки, «скачут» на досках, катают яйца. Здесь радость детская...

Свет Воскресения сиял и в этом простодушном народном веселии.

11 июля. Четверг

...И на искусство, вероятно, взгляды мои очень личные. По себе сужу и философствую. Лето сравниваю с молодостью. Не наблюдаю, а беру, хватаю. Там цветы завидел, нюхаю да букет собираю. Вон там ягоды и яблоки – иду под яблоню с коробкой, с карманами. Блестит речка – лезу в воду. Любуяся лесом, беру грибы да ягоды. Луг благоухает травами – хорошо тут полежать. Бескорыстия мало в любовании моём летнею природою. Летом – «что очи завидят, то руки заграбят». Это вот в молодости так...

А любование моё зимнею природою (русскою) сравню я со старостью. Я с горок не катаюсь, коньков сорок лет не видел, лыжи тоже забыл. Я в зиму иду лесом волшебным. Изящество, тонкость, изысканность чёрного цвета, силуэты, линии, контуры стволов, ветвей, веточек. Нежнейшие нюансы белых тонов. И потом «русский лес зимою»... радость накрывает моё стариковское сердце. Сорока роняет снег с тяжёлой еловой лапы, стрекочет мне: «Жив ли сказочник?».

Гляжу меж стволы: тихо, таинственно.

В зиму, ежели так назову старость, я бреду по тропочке, сказочными сорочьими ножками строченной, по чудным узоринам и соглядаю ненасмотренную, глубокую, родимую тайность русской зимы. Устланная белыми, праздничными скатертями земля, по белому полю вышиты чутким узором ёлочки. Вдали чёрная кайма леса. Над всем восковое небо... Как это мысль мою обогащает, как ум мой об этом богатстве веселится.

Я руками тут ничего не хватаю, за пазуху ничего не пихаю, лыж никуда не навостряю. Только глаза мои видят эту праздничную пречистость русских полей, молчащих с тобою, но вместе с тобою внимающих тишине.

Наберу этой радости полные закрома своего ума-разума, и столько этого много у меня, что от сердечного веселья, от полноты этой не могу не поделиться со всеми ближними и дальними. Спорая она, эта радость творческая. По избытку сердца не можно ею не делиться.

Так вот она, старость-та, каковою может быть у человека. Высотою, для молодости неудобовосходимою, и глубиною, молодыми очами неудобозримою.

12 июля. Пятница

От этой радости художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло. Помню: выпал первый снег... Убелил Радонежскую землю, холмы Хотькова... С Митиной горы открывались дали без конца. Точно канун праздника настал. Точно к празднику убралась в бело земля. Как широкое льняное полотно, стлалася долина Пажи, и Пажа, не замёрзшая, вилась посередине серо-шёлковой узором-лентой. А по сторонам серо-кубовой ленты реки, точно вытканные пояски, в два ряда бежали чёрныя стёжки-тропочки... Какое веселие художнику! Где, как не здесь, зацвести творческой радости в народной русской душе!

Мысль моя веселяся летела, привитала и гостила в дальних деревеньках этого заветного края.

Знаменитый Филарет хвалился расписной хотьковской посудой: цветастыми чашками, чайниками, блюдами, фарфоровый и фаянсовый завод Попова был здесь. Поповский фарфор был плоть от плоти здешнего народного искусства. Обилие белых глин и земляных красок породило исконное здешнее художество. Встарь отдельные семьи по деревням лепили и обжигали. Потом завелись заводы: Дунаева в Митине, Попова близ монастыря. В XIX веке Дунаевские куклы – фарфоровые головки для шитых кукол – славились и за границей. Фарфоровые части пресловутых саксонских игрушек были сделаны и расписаны в хотьковских деревнях. Всему миру, можно сказать, известны были хотьковския шитые «мягкие» игрушки, а также всякое художественное вышиванье – вещи и для светского обихода-украшательства, и для церковного. Мастерством игрушки и высокой золотошёлковой вышивкой именит был Хотьковский девичий монастырь. Здесь было искусное гнездо художества женского. Художницы, монахини и белицы, в большинстве местные уроженки, творческой своей радостью питали высокую монастырскую технику.

Столицей игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преданиям, первую деревянную игрушку сделал сам Преподобный Сергий. Он будто бы вырезал («этим самым ножом в ножнице на ремешке») из липы птичек, коньков и дарил «на благословенье» детям.

Исследователи полагают, что здешнее, столь древнее и широкое, славное по всей России искусство деревянной игрушки вышло в XV веке из лаврской резной мастерской, пошла игрушка с лёгкой, мудрой и хитрой руки инока Амвросия. Образцы высокого художества Амвросия – резные кресты, панагии – хранятся в Лавре.

Деревня Богородская посейчас сохранила мастерство резной деревянной игрушки. А вообще сергиевская игрушка, эта истинная радость и для ребёнка и для художника, – сергиевская игрушка была многолика и разнообразна по материалу и по искусству.

Игрушка и всякое художество было народным промыслом, «хлебом» здешнего края, овеянного, осенённого светом Радонежа.

«Не сами, по родителям», – скромно говорят о себе местные художники-кустари. Кругом «эти бедныя селенья, эта скудная природа», из подслепого оконца, из низеньких дверей избушки, где живёт и творит деревенский игрушечник, видны тощия нивы, глиняные, ухабистыя дороги, «серенькое русское небо», а на убогом дощаном столике, на полках и на печке праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, глина, жесть, бумага – всё сияет и горит цветом небесно-голубым, ало-огненным, радуга позавидует яркости злато-соломенных, изумрудно-зелёных, «брусничных», «маковых», «сахарных», «седых», «облакитных», «бирюзистых», «жарких», тонов и цветов.

...Когда я брёл по талой тропинке и сел на пёнышек, а надо мной трепетала осинка ещё неопавшими листьями, и узорным рядком, темнея по белому склону, стояли молоденькия ёлочки, и кисти рябины краснели над серой избушкой, неизъяснимая радость обовладела всем моим духовным существом. Надо было что-то делать, в чём-то излить своё веселье. Тетрадочка и огрызок карандаша были с собою. Я стал записывать... А дома вижу шадровитую столешницу, бесцветные филёнки дверей и шкапов. Дай, думаю, я вас весельем своим развеселю! Зашпаклевал, загрунтовал. А потом два дня расписывал. Выйду на крылечко, послушаю, как кричат галки над гумном, как воздыхает за бревенчатой стенкой Бурёнка. Погляжу, как нарядна чёрноталая дорожка по белому-то скату горы, как изящен серебро-серый рисунок изгороди, как тонко вырисованы ветви дерев на фоне небес, тускло отражающих «первый снег», покрывавший русские поля. Нагляжусь, наслушаюсь и дома на белой отлевкашенной столешнице напишу «Лавру» розово-амарантовым колером и мумией намалюю башни, стены, высокую компанеллу. Потом ультрамариновые купола Грозновского собора и золотою вохрою шапку собора Троицкого. А оконца и воротца чёрными глазками глядят у меня с белых стен. А по краям чёрным же цветом подобающия литеры-пояснения вкратце. И по углам кину букеты роз. Столешница дня в два у печки сохнет. Тогда лаком выкрою. Хлеб-соль есть на таком столе приятно.

Лавру рисую, потому что в ней и, во-первых, во внутренней таинственной её сущности, а во-вторых, во внешнем её облике, народ имеет видимые и осязаемые воплощения своей радости о красоте.

Творцы-художники, создававшие во все века произведения искусства, которые мы видим в Лавре, зодчие, живописцы, а с ними мастера искусств прикладных – резчики, чеканщики, ткачи – нашли здесь удовлетворение своему томлению о красоте. А любитель красоты народ, хлебопашец, мастеровой, который сам непосредственно не занимается «художествами», но любит украшательство, окружённый в Лавре великолепием красоты, которой при этом можно молиться, целовать, и народ, «потребитель»

(как и создатель красот), находит удовлетворение и, так сказать, обладает в Лавре тем, чего неясно желал, о чём томился.

Служитель чистого искусства, «пейзажист», например, увидев то, что я вижу: чёрные деревья, коричную дорогу, тьмо-зелёныя ели на белом фоне перваго снега, так это всё и потщится перенести кистью-красками на полотно. Или возьмёт альбом, зарисует чеканно-кованый изгиб сучка, сплетенье веток, зарисует серебристые слеги изгороди с чёрными галками... Отсюда вот и появился в искусстве чудесный «русский пейзаж». О, как я люблю, какую заветную песню напевает уму и сердцу моему, например, саврасовская «Грачи прилетели»! Я родился на Севере, люблю природу родимого края. Вторую половину бытия переживаю в Средней России. Вопросом духовной жизни и смерти явилось для меня умом и сердцем прилепиться к природе второй моей родины. И вот то заветное, что сладко беседует нам с картины «Грачи прилетели», положил я, как печать, на сердце своё.

Возлюбленная «от младых ногтей» красота русского исконного народного художества, многоликого и прекрасного во всех своих проявлениях. И так, как она проявилась у Сергиевских «игрушечников», и так, как она показала себя, скажем, у созвездия «абрамцевских» художников.

Торжественно-величава, может быть и сурова, красота родимаго Севера. Мне уж чудно теперь на самого себя: хватит ли, станет ли меня с неё. Уж я прилепился сердцем к здешней «Владимиро-Суздальской и Древле-Московской» земле. Уж глубоко запал мне в душу свет Радонежа. Где сокровище всея Руси, тут и моё. Не тут у меня несено, да тут уронено.

После гимназии (на родине) стал я ездить для обучения художествам в Москву. Но оставался страстным поклонником Севера. Приеду на лето домой и запальчиво повторяю, что сколь ни заманчива художественная Москва, но жизнь моя и дыхание принадлежит Северу. И моя мать со светлой улыбкой скажет: «Нет, голубеюшко, ни ты, ни сёстры твои, вы не будете свой век здесь, на родине, доживать...». Точно она знала.

13 июля. Суббота

Сегодня я «в худых душах». Весь день лежу, как пропасть. В доме тихо: я наверху, хозяйка внизу, тоже болеет. А моя комарья душа без хвори замирает: братишко по крайнему делу уехал. Ссуду просим. Не дадут, дак и... всё тут. Всё вот эдак: до краю доживём, отпихнёмся да опять...

Надоело завтрашнего-то дня бояться. Уж не видел я у брателка веселия в глазах. Бывало, он петь, шутить, смеяться любитель был. На гитаре мастер играть. Голос у него светлый да сильный. Ох, как давно не слышал я его звонкого, беззаботного смеха. Ещё по старой памяти запоёт: «Свеча, чуть тлея, догорала, камин, дымяся, угасал...», или «Вечерний звон», или «Гора Афон, гора святая...». Запоёт да и помолкнет. От забот ему истома непомерная.

Тишина в доме...

Приехал братишко. Напилися с ним чаю. Мне к вечеру отлегчило.

«Богомолья» исконные, русские, посещенье прославленных, именитых обителей глубоко входили в быт, в жизнь русских людей. Не забуду, каким праздником, каким надолго взвеселяющим душу событием было для наших северных горожан морское плаванье в Соловецк, пятидневное пребывание в мире живой легенды.

Прекрасное зодчество, древняя живопись, древний покрой облачений, старинное убранство не только храмов и келий, но и гостиниц, а главное, неумолчная песня моря, из волн котораго, точно сказка, точно древняя былина, точно дивное виденье, точно явленный Китеж-град, возносилась древняя обитель. Кроме того, на Соловках сохранилось древнее столповое, знаменное пение – музыка чрезвычайно своеобразная, необыкновенная, удивительная, пение торжественное, величавое и вместе с тем умилительное, манера пения разительно противоположная театрально-оперным красотам, повсюду и давно въевшимся в наше церковное пение.

22 июля. Понедельник

Выехали из деревни на три дня да и вторую неделю я сижу, братишечко бегает с делами. «Голенькой ох, за голеньким Бог», – нас покупной льготой взыскали, мы воспрянули. Лишь и то радостно, что домашние мои возвеселились. Теперь как-то я буду оправдывать данную льготу! ...Неложно сказано: «Бог не попускает искуситися паче еже мощи...». Всегда у меня так в жизни было. И всегда я это забывал. Но, слава Тебе Боже, благодетелю моему. Свете Радонежский, когда-то у светлого твоего гроба, благодаренье принесу Христу!

По Сергиеву дни жара сошла. Стали перепадать дожди с прохладными ветрами. Оно и не тяжко в городе-то. Восемь часов. Опаловое небо глядит прямо в моё оконце, у которого люблю я сидеть в этот тихий час. Звенят над крышами ласточки. Не к вёдру ли? Оно бы не худо.

Чем больше смеркнётся, тем сильнее бледный опал зари за дальними низкими кровлями. А в комнате уж темно. За стенкой примолк и маленький Михайлушко. За день нагулялся. Заместо пушка головушка у него, особливо с затылка, темнеет нежными тонкими волосиками. Умеет целоваться, разинув ротик со весь оборотик, при чём и нос тебе прихватит чувствительно крошечными как жемчужинки зубками. Хотя зубки идут уже бойко.

За ручку ходит бойко, хоть бы и бегать. Сам слезает с кровати, с колен, перелезает всякия преграды, вроде чемодана. Играючи стоит на ножках. Через комнату норовит идти. Шлёпнется мяконько и встанет. Скажешь: «До свиданья, Мишенька!» – на ответ «делает» обеими ручками. Только ещё не говорит. Веку ему сейчас год два месяца.

23 июля

Тонкое обаяние русской природы, нежную радость русской весны, настроение какого-нибудь февральского денька, когда начинаются уже оттепели, первый снег на Покров, одиночество сжатых нив, просёлочных дорог, шелест осеннего дождя, всё, что так исцеляет душевные раны, так мирит с жизнью, – все эти «настроенья» мы почему-то алчно и жадно ищем встретить у художника-живописца и у писателя-поэта.

При этом нас может оставить совершенно равнодушными обширная салонная картина, изображающая природу.

И наоборот, этюд, эскиз, рисунок вдруг скажет нам жданное слово о том, «кого» мы любим. И хочется часто, постоянно этот, скажем, пейзаж видеть. Видеть как собеседника, как друга, который нам такое верное и нужное, взыскуемое нами слово сказал о Любимом, о Желанном, Единственном, но как бы неизъяснимом или Неуловимом.

Заветное, желанное дело соглядать лик природы. Соглядатайством этим обогащаешь разум, собираешь в душу сокровища, которые никто не сможет у тебя отнять.

Напрасно тебе кажется, что ненастливые, с дождичком, осенние дни похожи один на другой. Не воображай, что весною, когда тронутся льды на реках, то холодно-ветреные-облачные дни также схожи.

Ты протри свои спящие-та шары!.. Вот около тебя есть человек, лицо которого любо тебе. Посмотри: на дню-то несчётно раз оно переменится. То задумчивое, то грустное, то приветливое, то хмурое. То милый-то твой человек брови насупил, уста сомкнул – досадует. То опять брови высоко округлил, глаза округлил, улыбка пробежала по губам – весел друг-то твой, но с выжиданием... А всё одно и то же лицо, что и вчера было.

Ты мне скажешь: «Вот ежели любимое-то лицо реветь возьмётся неустанно и днём, и ночью, и целую неделю... Сидит перед тобой любимое лицо и пущает слёзы с утра до ночи. Неделю я на даче сидел, и дожжинушка стояла несменяемая...».

– Применил ты Море-Океан к малому озеру, а то и к пруду, или к лужице. (Не обидься!) Лик природы – Море Великое. Сокровищница неисчислимая, неисчётная, неизъяснимая. Лик природы – красота и богатство беспредельное, безграничное, радость и богатство, всем дарованное и одному тебе принадлежащее.

Ты любишь вечерние закаты – «слети к нам тихий вечер на мирныя поля...». Ты резвишься на зелёной траве, припевая: «Дожидались мы светлого мая. Цветы и деревья цветут. И по небу синему, тая, румяные тучки плывут!..». Люби. Это твоё богатство.

А вот я люблю тихие ненастливые дни летом. Люблю оттепели зимою, когда, знаешь, небо оттушёвано тонко-серым тоном. А земля бела, как

ватман, и по ней чёрные лужи... А пуще всего я знаешь что люблю? – Люблю удивительный и неизъяснимый час рассвета. Люблю караулить рассвет и в городе, и в деревне. И зимою, и осенью.

Великое богатство это – раннеутренние часы. Чем больше их захватишь, тем ты богаче. Бывало, на родине мать, бабки и зимою в четыре часа встанут. На кухне берёзовые дрова весело затрещат. По горницам засияют лампадки. И как я радёхонек, когда вовремя сон отряхну. При лампе что-нибудь рисую... И вот – окна зачнут мало-помалу синеть, небо бледнеть. Синий свет зимнего утра потиху начнёт одолевать золотой свет лампы, восковой свечи...

23 июля. Вторник

...Декабрь – мало дневного света, а богат весельем сердечным. С Николы у старших пост строже – в понедельник, среду, пятницу и рыбу не все едят, и к Рожеству готовиться будут. Пряники наши старобытные выпекать начнут. Крупчатка, топлёное масло, патока, имбирь, кардамон. Столько напекут, что до Масленицы хватит, всякой день с кофеем пьют.

С конца ноября, как запоют «Христос рождается», начинали шить маскарадные наряды к Святкам. Со второго дня праздника начиналось заветное веселье. В дни предпразднества, с 20-го декабря, начинали жарить мяса, печь пироги, кулебяки, шаньги, булки, стрецели. В кануны поспеет и пиво, и «сыр молодой на блюде», сладкий мёд с кардамоном, зелёное пиво с шафраном.

Кухня у нас была обширная и по старой моде «улиминована» лубочными картинами. За год от чада и мух яркие краски пожухнут, и к Рожеству мама накупит новых лубков. Опять, как цветы, зацветут по стенам.

Материны помощницы Наталья-заостровка и поморка Ирина заводили моленье дома по-староверски. У нас полон дом был древних икон. Мы с мамой ходили на Соловецкое подворье. В Сочельник в зале красовалась уже и ёлка, густая, ароматная, кудрявая, до потолка.

Ребячьи артели славильщиков заканчивали последния спевки. Славленье начиналось после ранней обедни, до рассвета.

– Дозвольте Христа сославить.

...Зайдут в зало, занесут звезду, блестящую золотою бумагой. Запоют...

По тропарю, славе и кондаку пели стихи, мотеты века XVIII, «Радость сердце наполняет», «Силы ангельски», «Три царя», «Звезда грянет», «Воссияли дни златые»...

С Николина дня Зимнего (6 декабря) по Крещенье (6 января) – целый месяц приподнятое, радостное, праздничное было настроение. Особливо любо было в четыре, а то и в три утра вставать, заветные рассветы караулить.

Великим постом дни станут долгие. Опять начинается время сладостного ожидания Пасхи и весны. В апреле уж долги вечерния зори, рассвет

рано. Ночныя капели, проталинки, звенящие ручьи, распута по рекам, половодье. Таинственно-прекрасные недели Вербная, Страстная, Светлая, Радоница... Таинственное и прекрасное воскресенье природы. Таянье снегов, вскрытие рек, прилёт птиц, – Великий Пост и Пасха Христова – светлая грусть и радость денно-нощных служб и чинов церковных.

Слитна являлась жизнь природы, составляла единую трепетную и живоначальную гармонию с благодатными и блаженными днями церкви. Мать Сыра Земля готовилась совлечь белые саваны снегов, и церковь дивными чинами и последованиями напевала Земле о близком Воскресении.

Пробужденье Земли и радость церковная, золотыя вербочки и огоньки страстных свечей, рокот вешних потоков и пасхальные напевы, таинственная жизнь Церкви и Природы – всё это единою радостью оживотворяло душу человеческую.

«Настроенье» вот этих месяцев марта и апреля как люблю я найти отображёнными в живописи, в поэзии.

Есть чудесный рисунок Рябушкина «Пасхальная утреня»... Купола старинной церковки теряются ещё в ночном небе, но вдали, за ветлами, брезжит уже заря Христова дня... Как я люблю эту картину Рябушкина! Потому что художник (и какими простыми средствами – карандашом!) уловил заветный для меня предрассветный час Христовой ночи.

Час желанный, незабываемый... Юность... Весна. Воды. Старинный родимый город. Тихий рассвет. Иду от заутрени. Тихость природы, тихая радость в сердце.

Я люблю просматривать «пасхальные номера» прежних иллюстрированных журналов – взрослых, детских. Художники любили изображать «выход от заутрени», «освященье куличей и пасок», праздничный стол, христосованье... Но вот тишину Христовой ночи или настроенье дней Великого поста, когда начинаются оттепели, я чаще нахожу не в натодельных картинках. Здесь опять помяну «Оттепель» Ф. Васильева, «Грачи прилетели» Саврасова, многие рисунки Серова, ряд левитановских. Сочувственен мне «Над вечным покоем».

У любимого моего Нестерова всюду вижу ненаглядную пасхальность – и в пейзаже, и в умилительном жанре его.

...Перечисляю популярные картины и художников русских и ловлю себя на мысли: а сколько у тебя любимых по «настроению» картин из иностранных?

В Эрмитаже есть «Избиение младенцев» Брейгеля. Дело не в сюжете «Избиения», а в пейзаже. Удивительно и широко дана деревенская зима. Как бы «первый снег», тёмные лужи по дорогам, снег на кровлях, голые ивы, низкое тяжёлое пасмурное небо, контрастное белым тонким пеленам снега.

Стильные силуэты людей с древним изяществом выписаны на том же ровном белом фоне.

Вообще люблю уютные голландские «зимы», с тусклыми льдами, белыми берегами талых каналов, старыми домами в белых кровлях.

Есть у меня любимые гравюры. «La drahma perduta», утерянная драхма. Обстановка скудной кухни или пустоватой кладовой. Женщина, согнувшись, освещает сальником пол – ищет драхму. По стене, углу и потолку «движется» громадная чёрная тень... Не картина из русского быта (Перов, Федотов), не домашние фотографии, а вот взгляну на такую картину, как «Потерянная драхма», и вижу себя дома, соглядаю своё детство.

И ещё храню старинную гравюру, переносящую меня домой Голландская хозяйка в кладовой проверяет на свете свечи свежесть яиц... Видно, зимние утра там, дома, в детстве, пали мне на сердце.

И ещё храню картину на сюжет утра, любезный сердцу. Это опять-таки голландская гравюра XVIII века: две служанки, отягощаясь ранним пеньем петуха, сбыли его. Хозяйка, боясь, что служанки проспят, стала их будить раньше пенья петуха. Опять женщина в широкой юбке, со свечой, стропила сеней, тени от свечи, поющий петух, не слезшие ещё с седала куры. В верхнее оконце глядит ещё серп месяца, а в приоткрытую дверь – низкая ещё полоска утренней зари.

Брёвна стропил, тяжёлая дверь, свеча, разгоняющая мрак, поющий петух («и абие петел возгласи»), сундуки, серп месяца на предутреннем небе – подлинная серьёзность, талант художника, сила настоящего искусства и, конечно, какое-то сходство «интерьеров» старой Голландии и родного поморского города заставляет меня в голландских картинках ощущать своё детство.

Русские художники с конца XIX века оставили много рисунков, акварелей на темы пасхально праздничные. Репродуцировались в «Ниве», «Родине», на открытках и т. д. Много тут уютнаго, милаго, но зафиксирована внешняя декоративность: куличики, писанки, зайчики. Полинялые ленточки, обветшалые альбомы, фарфоровые яички, поздравительные открытки, эти материальные остатки, эти пыльныя реликвии, этот музей – дело не великое.

Материальное, вещественное меняется, ветшает, проходит. Глядеть на черепки бабушкиной чашки – одно сожаление: «всё в прошлом». «Милое, невозвратное прошлое».

А по мне то, что в музеях да в сундуках тлеет, и пусть тлеет! Мои воспоминания, мои впечатления детства меня на всю жизнь обогатили.

...Не знаю, хотел ли бы я, чтобы, например, наш дом, там, в родном городе, сохранился со всем убранством комнат, с комодами, креслами, киотами, картинами, скатертями, книжными шкафами, ткаными половиками, на тех же местах, как стояло, лежало, висело всё при дедах, при отце и при мне, ребёнке и подростке...

Эти вещественные останки породили бы во мне грусть, что «никого уже нет». Эти материны вещи связали бы меня. И велик был бы соблазн сделаться хранителем музея:

– Вот это мамочкино платье сшито в 1875 году. Вот это вышитые ею туфли отца. Вот очки тётушки. Вот остатки скатерти, которую я, младенец, залил вином. Вот в медальоне мои волосики, когда мне сравнялся год... И т. д. и т. п.

К счастью, в нашем быту не было прискорбного и жалкого обычая фотографировать усопших сродственников в гробах. Того бы ещё не хватало!

Для меня невелико то сокровище, которое моль ест, шашел точит, червь грызёт. Но подлинно «золотым» назову я своё детство и юность, потому что обогатился на всю жизнь сокровищем, которое моль не съест, которое не линяет, не ветшает. Живая душа содержала наш «старый» быт...

«Святки» не замешиваются уже на пряниках, не изобильствуют бытовым весельем. Но разве Вифлеемская звезда померкла? Разве не вечен свет ея.

Праздники как бы нисходят к нам от горняго мира и раскрываются в нашей душе – в нашем сердце, в разуме. Праздник нисходит и на природу. В Пасху «Всяка тварь веселится и радуется». В Христову ночь «светом исполняется небо, и Земля, и преисподняя»... «Да празднует вся тварь восстание Христово»!..

Рождественская ночь... Разве перестали сиять в небе звёздныя паникадила? Ежели мои «очи потухли и голос упал», то ангелы до скончания века поют в эту ночь:

– «Слава в вышних Богу, и на Земли мир».

А светлое Христово Воскресенье и тогда, в дни юности, не связано было для меня с «целодневным звоном», «визитёрами», поздравительными открытками, гостьбами, нарядами, весельем. Я ощущал предначатие Пасхи в вербочках, глядящихся в протаявшия воды. В мартовском и апрельском небе, когда нежною становится лазурь и облака, будто несчётные стада барашков.

В страстную, в Светлую неделю любил я в тишине слушать говор вод... Бывало, на Светлой неделе река ещё не шевелилась, только ширятся, отражая небо, забереги. В низинах, на мхах ещё снега. Город весь как Венеция глядится в разлившиеся каналы и канавы. Но берега-холмы, на которых стоят церкви, обтаяли. Взлобья набережной обсохли, золотятся бурой прошлогодней травкой «ота́вой».

На взлобье холма древняя церквица, внизу ещё белеет снег, но два, три ручья летят, бьют, вьют, пенят, говорят о весне... Здесь людно будет в навигацию. А пока вон на обсохшей деревянной лестнице, что спускается от церкви к реке, сидят две старухи, отдыхают после обедни, глядя вдаль, тихо поют:

– Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи...

Скажем, это было сорок лет назад. А теперь, скажем, на холмах Хотькова, Сергиева, Городка, Сергиева Посада... в марте и апреле, когда «ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят», разве вербочки, и ручьи, и проталинки, и лазурь весеннего неба, и белые берёзки не те же?..

«Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ...» Пасха вечная, Пасха таинственная, Пасха новая, радость в Господе, вечно юнеющая!

Маленький Михрюшка гостит в Хотькове у бабки и деда. Обулся, слышька, в кожаные башмачки и почти бросил ползать. Со своими нежными песенками, столь внятными его Ангелу-Хранителю, неустанно путешествует наш малюточка вкруг дома, перелезает лесенки, сам отворяет калиточку... Как бы я посмотрел на него... Он так трогательно и младенчески величественно возводит ручёнки, чтоб поймать мяч, поиграть в «ладушки». Будто и очень давно не слушал я заливчатого смеха, не видел милой улыбочки...

29 июля. Понедельник

С 22 дня опять красное лето. В канун Пантелеева дня воротились мы в деревню. Здесь дородно яблонь. Хозяева с дробовками в кустах ночи сидят. А иные зелень сняли. Картошку, ту и днём бесстрашно копают «грибники». Картошка на рынке 12 р. Хлеб, буханочка, 50 р. Грибов нет, изобилия плодов огородных нет. Но благорастворение воздухов. Но благодать... Сквозь листву сияет небесная лазурь. Кузнечики неустанно прядут свою шёлковую музыку под шелест лист деревьев.

Лучше меня на пилу посадите, нежели тащить «гулять» по жаре. Лесок поначалу редкий. Ель, сосна, берёза. Сел под ёлку: нейду больше. Поотдаль ельник и сосняк сплошной стеной видится, и нескончаемые ряды хвойных паникадил чудно красиво рисуются на сияющем золоте выплывающих из-за леса облаков. Налетит ветерок, встрепенутся осины, зашелестят ветви берёзы, потом точно вздохнут тёмные ели. Шум леса становится ровным, единообразным. Потом всё смолкнет, только осина ещё шелестит. Далее и осина уснёт. В ушах лишь нежно-сиплая музыка кузнечиков.

Нет уж... Около дома в тени чудесных старых дерев куда благоприятнее, нежели не вем где шататься с худыми ногами и глазами. Жить в лесу в избушке я бы любил. На одном чтобы месте. Вылез на крылечко и – вся прогулка. А как незнакомые места – меня это досадно рассеивает. Из своей тихой комнатки с сосновыми стенами любо мне следить, как плывут облака, видеть лес, слушать шелест листвы. Только так можно сосредоточиться, обдумывать думу.

Однако сегодня таково жарко – мухам лень летать, не то что мыслям в думы складываться. По дачам, там-сям, ясли. Ребята весь день ревут. Не иначе к дождю: 40 градусов жары. Хоть бы гременуло за лесом. Стужа – не добро, и зной тяжко.

Молодость всё топит в вожделении. Молодость уверена, что любовь-страсть – главное в жизни. Что любовь – во-первых, а всё остальное – во-вторых.

Молодость не знает, не может понимать, что любовная страсть – это частность в жизни, вожделение телесное лишь неизбежный период. В годы расцвета красоты тела человеку надобно, чтобы им любовались, желает и сам любоваться, любить и быть любимым. И это добро, и надобно, и поведено. Как яблоня цветёт и приносит благовонные яблоки, так должна покрасоваться молодость. Немногие призваны к девству. Это не для всех. «Все» пускай открасуются и отлюбуются в свои цветущие годы. А пройдёт этот хмель, протрезвится разум, тогда должно человеку стать целым, честным должно после хмеля юности взойти на высшую степень жизни и поведения. Пусть юность, как пчела, копошится в медвяных чашечках цветов любви. Человеку благословенно пожить в этой долине роз. Но потом следует отрясти с вежд липкий медвяный этот сон и прохватиться, и осмотреться. Открой «вещия свои зеницы». В долине твоей уже вечер. Посмотри, как сияют гор вершины. Они отражают беззакатные зори, они никогда не меркнут. Восходи к ним: увидишь, какие дали будут тебе открываться. Доспей себя в «мужа совершéнна». Оставь детям игрушки-те.

То, что свойственно молодости, что любо и мило у юности, то сожалетельно видеть у пожилого человека, то бесчестье и зазор для старика.

Человеку дотоле свойственно копошиться в цветке любви, доколе не созрел ум. Отдай «долг природе» и подклони свою честнýю главу под венец светлой и радостной мудрости.

У всякого возраста есть своя красота. Не говорю уж, что люди обо мне скажут, а как я сам на себя посмотрю, когда мне за пятьдесят, а гонюсь за утехами двадцатилетних и тридцатилетних. «Что-де за годы – пятьдесят! Я-де ещё в соку и хочу жить». Не жалкое ли моё духовное и морально-нравственное состояние, когда мне семьдесят, а я не желаю поддаться сорокалетним и пятидесятилетним, потому что «человеку столько лет, сколько ему кажется, потому что годы – это условность». «Пятьдесят» и «семьдесят» – дело относительное и безразличное. А в пятьдесят люди женятся. И вообще надо «жить».

...Конечно, всякий понимает, что значит это «жить». Уж весь-то я старый одёр, старая кляча. Бороду скоблю, ино морда как куричья жопа. Плешь блестит, как самовар. Шея, что у журавля. Брюхо посинело, ноги отекли. Задница усохла, уды ослабли. А всё пыжусь, всё силюсь подражать молодому жеребцу!

И этот позор мне за то, что я разум свой растлил. Добрым людям, на меня глядя, смех, а мне смерть. Замер бессмертный мой дух, покалеченный скаредной жизнью.

Так вот мы и до старости молодящимся, легкомысленным умом уже не живём, а влачим жизнь. Мы убеждены, что как скоро минули наши молодые

годы, жизнь покатится под гору. И вот тщимся, усиливаемся как можно дольше в саду-то молодости остаться. Потому что до «старости дожили, а ума не нáжили».

Сознанью молодости свойственно легкомыслие. Разум спеется на следующей степени возраста. А мы и в пекле пятидесяти довольствуемся тем же легкомыслием. Обольщаем и обманываем сами себя, бедные!

Жар молодого цветущего тела, сила юной крови – от всего этого как бы хмелеет мысль-воображенье юноши, невольно уступает и подчиняется этому хмелю. Но эти «страстныя мечты» отнюдь не суть естественное свойство человеческого мозга. Этому положено своё время. Страстный хмель с годами должен пройти. Ум, мысль, воображенье должны снова стать чистыми, ясными, способными к восприятию иного сознания, должны взойти на степень высшаго мироощущения.

Но как часто с человеком бывает такая беда: «страстныя мечты» засядут в мозгу, и полюбит человек ими услаждаться. Страстно-ёт хмель должен налететь да вылететь, налететь да вылететь. И чем старше становится человек, тем реже и реже чад-то этот туманит воображенье. А бывает: страстные-то помыслы прочное гнездо совьют себе в нашем сознаньи. Полынным мёдом обволокут, залепят наше сердце и ум. Здесь уж не молодая кровь и плоть будет смущать ум и воображенье, а воображенье, ставшее распутным, и ум, сделавший себя развратным, начнут впрягать наш телесный состав в несвойственную, ненужную работу. Человеку-то по годам пора хвалиться-радоваться о «почестях высшаго звания», человеку-то в разуме чистом, омытом, светлом пора богатеть и строиться, а человек-от в низинах похоти, как свинья в грязи, роется. По себе скажу: сколько тут моей беды, столько и моей вины.

Ты говоришь:

– Я не виноват. Это у меня наследственное. Родительница моя, окромя троих законных мужей, встречных и поперечных довольствовала. А про отца и деда и говорить скоромно...

– Дак ведь эти самые слова и твои дети, несчастные, про тебя скажут! Отец-де наш был блудня. И мы, худосочные, наследственно выжимаем из себя...

Зачем же мы эту блудную колесницу тянем и детёнышей наших на их погибель заведомо по той же пути везём, худую, бесславную участь им, бедным, готовим?!

У тебя, говоришь, нет детей? Ты свободен блудить делом и словом? Никому, говоришь, твои грехи не прильнут?.. Да ведь кругом дети. И таких же, как ты, слабых родителей. Умилися о ребятишечках-то. Пожалей да научи их. Помоги им наследственное-то преодолеть! Ежели родители у них слабы, да и ты блудня, где же «малые сии» настоящих учителей будут добывать?

N.N. мне говорит:

– Вы забываете мироощущение античной старости. Помните у Анакреона: «Старец пляшет в хороводе, просит жажду утолить!..». Представьте себе античный пир. Венок из роз на седых кудрях. Мудрец, черпающий силы в объятиях юности...

– Брось ты врать-та! Ужели не видишь, как «юность»-та глаза зажмурила и нос зажала, чтобы рачьих осоловелых глаз не видеть и смердячаго дыханья не слышать. Нужда притуга́нила эту «юность» к экой жалобности...

– О людях каких времён вы, друзья, говорите, и так горячо? – возражает Икс. – Люди нашего времени, молодые и пожилые, любят урывками, женятся наскоро. У большинства одна дума: как бы перебиться, прокормить семью. Где тут культивировать страсть?! Если человек мало-мальски сыт, он думает о комфорте или занят всецело своей карьерой. Пожилые люди сплошь честолюбивы и корыстолюбивы. Питают страсть к отличиям и деньгам. Вот два старца Игрек и Зет козыряют друг перед другом научными кирпичами, высиженными в кабинетах, стараются подставить один другому ножку. А вы: «...Старец пляшет в хороводе». Ей-богу, я бы уважать стал академика N., если бы он пустился в пляс, надев венок из роз! Но не могут мёртвыя души плясать в хороводах с венком на челе. Изволите метать перуны на старых развратников. Да знаете ли, что чувственность, сластолюбие, вкус к разврату, изысканное любострастие есть неотъемлемое и неутолимое свойство натур творческих, талантливых, свойство художников и поэтов. Вы зовёте стариков из сада любви к горним вершинам. Но, согласитесь, трудно в преклонном возрасте учиться альпинизму.

Итак, да здравствует старость в садах любви. Да приидут к ней на помощь режим, электролечение, водолечение, патентованныя средства... Впрочем, не отрицаю ваших «горних степеней» или как там? – не случалось об этом читать... Но дело в том, что не только заниматься внутренним совершенствованием, а и в садах любви прохлаждаться теперь и некому, и некогда.

Молод и стар думают лишь о том, как добыть кусок хлеба. Сытый хочет обеспечить себя на завтра. Все хотят «делать деньги».

Деловитость, практицизм, карьеризм – это, и только это владеет умами всех!

Так что и старец, увенчавший свою лысину розами и покоящийся в объятиях курносой Нюрки, которую он зовёт Аспазией и которая вытягивает у него остатний грош, и старец, отрекшийся мира и одиноко созерцающий звёзды в пустыне, – и тот и другой для меня наивные дети, милые чудаки, которые не видят, что жизнь летит мимо них на самолётах, гонит на машинах...

– Друг, голова у тебя на плечах, или пропеллер вертится? Сердце у тебя (разумею под именем «сердца» нервный центр) или двигатель бензинный? Чего ты испугался? Перед чем ты смутился?! Откуда и почему это дикарское преклонение перед техникой?

(Правда, я слыхал разговоры: «Какой там Бог: я всё небо облетал, никого не видал. Как это ангелы «слава в вышних Бог» поют, когда там стратосфера, радиоволны, а дальше межпланетное пространство?» Как я могу в одной руке трубку телефона держать, в другой молитвенник с текстами X века?)

Говоришь:

– Какие там розы и любовныя песни, какие гимны Творцу, когда через Фиваиду не верблюды идут, а лязгают автомобили. Как я устрою у себя на седьмом этаже моленную? Мать Манефа на лифте будет подыматься?.. Я нажал кнопку – свет по всей квартире. Нажал другую – вода в уборной спустилась. Удивляюсь этому.

...В ресторане «Дернье Кри» – «Последний крик» – тарелки перед обедающими бегут по ленте конвейером. Сигнал – пустыя тарелки движутся влево, справа набегают другия, со вторым... Прогресс и цивилизация! Преклоняюсь! ...N.N. привёз из Парижа домашнее кино. «Для курящих». Крошечный экранчик. Голые дамочки, что проделывают!..

– Вот ты договорился, друг, до самой сути. На себя и под себя наговорил. Перед чем ты и все тебе подобные на коленках стоите! Перед «местами общественного пользования»... И усовершенствованный транспорт, и удобный нужник, лифт и электрическая самодрочилка суть вещи весьма служебныя, суть средства, а не цель.

Ты говоришь: жизнь мимо вас на экспрессе мчит, на аэроплане лупит... Ты велишь мне гнать сломя голову за этой, за той, за третьей машинкой. А куда, по какому делу, кем они пущены? Не Астор ли с Морганом войска гоняют на захват чужих земель? Не с огнём ли, бомбами и газом летят зловещия погремушки?.. Маразм, растленье и несомненное извращение воочию видны в изобретательстве «века сего». Понятия о добре, о правде, о любви, о истине, о красоте сданы в архив.

Но жужжит еже и лязгает – правда, одной только половиной – мотор мозгового «научного» аппарата, скаредно и срамно порождая адския машины.

Ты говоришь «прогресс»... Верно: «прогрессивный паралич»! Растленный мозг людей, у которых атрофированы понятия о добре, правде, любви, чести, совести, болезненно плодит вредное, душегубное, смертоносное. А потерявшее разум и смысл человечество, как обезумевшее стадо, как скот, пригоненный на бойню, подклоняет выю под удары самоубийственно.

Они придумали бомбу, и всем приходится заместо труда мирнаго, созидательнаго готовить оборону.

Теперь о «деловитости, практицизме, карьеризме». Если это для того, чтоб доставить необходимое для семьи, для близких, то понятно... Но что значит «необходимое»? Конечно, для семьи необходима квартира хоть бы в две комнаты с «удобствами» – телефоном, ванной и т. п. Необходимо есть досыта, тепло одеться зимою. Чтобы жить прилично, «глава семьи» делячествует. Надо учить детей, кормить их, одевать. Дети подросли, оженились, надо внуков поддержать. Не вылезти главе семьи из этого хомута... Главе семьи, живущей в бельэтаже, необходим автомобиль, жене и дочери необходима Ялта, тёще – Сочи. Всем им необходимы заграничныя костюмы.

Чахоточному слесарю Федьке из подвала необходимо двоих своих дохлых ребят раз в неделю накормить досыта картошкой, раз в месяц отправить в деревню.

Все лезут жить в города. И жизнь в городах стала беспредельно дорога, сложна. Многим не под силу крестьянский труд. А многим, из молодёжи, жизнь в деревне кажется скучной. Предпочитают голодовать в городе, но чтоб каждый день было кино и танцы. Молодёжь привыкла к поверхностному щекоченью нервов посредством кино и, как пьяница без алкоголя, как курящий без табака, морфинист без уколов, не может жить без кино. Молодыя девушки, два дня не побывав в кино, мрачнеют, темнеют, становятся вялы, жалки. А хватили зарядку в кино и... глазки блестят; разговору, впечатлений! Это тоже необходимость, кроме шуток. «В кино не на что сходить»... – объясняет бабка истерику внучки.

Беспросветный скудный быт надоедает, устают от работы. Об умственном и нравственном развитии, об уровне вкусов и культуры говорить не приходится. Радио, орущее под ухом день и ночь, как бы не слышат. Впрочем, выучили «Тёмную ночь» и «Тонкую рябину». Мужская молодёжь, учащиеся, где сойдутся, говорят о «Динамо». Предметы средней школы, лекции – их только бы с рук сбыть. Наука не интересует, литература, искусство не существуют.

Это рядовое явленье. Конечно, тем радостнее встретить исключение.

– Однако мы уклонились от темы. Давайте «закругляться». Значит, «кино, флирт, танцулька» – это и есть сады любви?

– Мне хотелось сказать о натуре человека вне какого-то периода времени. Юность, зрелый возраст, старость имеют типическия черты, вне эпохи и племени.

– Должно ли всех привлекать «к почестям высшаго звания»?

– Надобно, чтобы всякой человек сознавал, что жизнь должна иметь смысл. «Практический ум», «деловитость» – полезныя свойства. Но «карье-

ризм», но «эгоизм», бессовестное делячество, жадность, несытое скопидомство – гнусныя и подлыя свойства.

Поживи для людей, поживут люди для тебя. Всякой человек должен твёрдо сознавать, что вот это я делаю честно, а это – бесчестно; это достойно, а это бессовестно.

– А ежели у человека совести нет? Ежели он Бога не боится и людей не стыдится? Ежели «не страшат его громы небесныя, а людския ему не страшны»?

Как не страшны? Разве нет управы на бессовестных воров, загребал, хапуг, рвачей? Должно так дать им по рукам, таков образец показать, чтоб они задрожали!

– Должно ли воздействовать на человечество путем религиозных учений?

– Думается мне, что религиозность есть свойство подобное таланту. Есть талант художника, есть литературный талант. Мне кажется, свойства одарённости религиознаго человека сродни и сходствуют с настроенностью поэтической. Не все художники, не все поэты... Ежели душа человека томится среди житейских будней, «желаньем чудным полна», ежели «скучны мне фокстроты земли», я прислушаюсь к «звукам небес» – не эти ли, де, звуки утолят моё «желание чудное»?

В течение многих веков каждый народ содержал ту или другую «веру». Были люди с ярким «талантом» религиозности, проникнутые «верой», любящия ея. Были многие, не раздумывавшие о своей вере, «по родителям» ходившия в церковь. Уж так полагалось. Пришли времена: общенародную «веру» стали выдувать различные сквозняки. Люди (может быть, большинство), которым несвойствен этот «поэтический дар», стали жить без Бога, может быть, не чувствуя никакого лишения.

Часто видишь теперь, как в семье, где старшее поколение держится ещё старых привычек, молодёжь уже равнодушна к «вере отцов».

Но случается и так, что в старой интеллигентской семье, где ещё деды покончили со всякими «верованиями», сын, дочь или внук вдруг начинают «искать Бога»... «Дух дышит, где хочет. И не знаешь, откуда приходит...»

– М-да... Начат был разговор резко, как бы с сердцем. А кончился мирно. Или вничью?

– Потому что пуще всего не люблю я кому-либо что-либо навязывать. Такой ли мой фасон, чтобы людей убеждать? Нет во мне целости ума и целости жизни. Помнишь, в «Винограде Российском», в поморских жизнеописаниях: «Акулина новгородская торговка бяше. И благочестия древляго, но жития прохладнаго»... Видячи моё «прохладное» житие, кто уважит моё «древлее благочестие». Ежели я чего ищу, дак про свою потребу. Я не тебя убеждаю, а с тобой рассуждаю. У тебя тоже «тёрто полозом по шее». У тебя свой опыт. Ты свои выводы, может быть, сделал.

1 августа. Четверг

Вчера днём ещё, выпуча глаза, потом обливались. Под вечер ударило дождём, к ночи взялся северный ветер и вперемешку дождёк.

Сегодня о всхожем было ясно, а день облачен. Кабы до вечера дождь-от подождал, брателку дал бы без мокра воротиться. В половине четвёртаго, на заре выстали. Около пяти, небось, солнце-то поднялось. Август... На родине уж осень пойдёт золотая. «Первый Спас» – медовый – сегодня. Новым мёдом разговляются. Мы ещё старого не пробовали.

...О погоде да о природе толковать самое любезное дело. А философствования ни я, ни люди читать не будут. «Ума холодных наблюдений» у меня нет. А «сердца горестные заметы» у всякого, чай, свои.

Уж чьих только объедков худая моя голова, как горшок печной, не переваривала на веку-то. Уж чем только разум-от не замусорен, уж какими только линялыми лентами и бантами ум-от не заплетён, не перепутан... Мысли-те не текут, не бегут прямо и право, не идут стройно, а виляют да криуляют. Не Слово Жизни, а своё измышление котелок-от мой поважен переваривать...

...И вот, случаем, хотя-нехотя приворотил глази́шки-те к Евангелию. И будто заместо толкучки да полями иду. Спеющия нивы без края. Лазурь небесная без предела. Грудь отвыкла вольно дышать, дак теперь не можешь надышаться свободным горним ветром.

...Пётр отвечал Ему: Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но Он отвечал: говорю тебе, Пётр, не пропоёт петух сегодня, как ты трижды отречёшься, что не знаешь Меня.

. . . .

Взявши Иисуса, повели. Пётр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели, вместе сел и Пётр между ними. Одна служанка, увидевши Петра, сидящаго у огня, и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с Ним»... Но Пётр отрёкся от Него, сказав женщине: «Я не знаю Его». Вскоре и другой, видя Петра, сказал: «И ты из них». Пётр опять отвечал: «Нет». Прошло с час времени. Ещё некто настоятельно говорит: «Точно, и этот был с Ним, и этот Галилеянин». И снова Пётр говорит, что не знает Того Человека. И не успел Пётр выговорить слова, запел петух...

Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра... И Пётр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: «Прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня».

И, вышед вон, горько заплакал.

...Скажут: «Начал ты с того, что будто в поле на свободу вышел, а отреченье Петрово приводишь. Ты бы о лилиях полевых, о колосьях восторгнутых прочёл...».

– Видите ли: душе-то обременённой ладно и у места, тут в ночи на дворе Кайафином с Петром у костра сидеть. Сердечныя очи въявь соглядают эту картину. ...Будто не Пётр, а ты отрёкся. Будто ключом тебе замкнутую твою душу отомкнут. И ты, «вышед вон», плачешь горько.

***

Календарь гласит: в августе убудет дня два часа семь минут...

Глазишки сегодня худо взглядывают. А день такой «мой». Светлооблачно, без дождя... Нежная, светлая пасмурность неба, тишина. Видно, к дождю звонко продевают петухи. Слышнее далёкие голоса... Никто у меня этого богатства не отнимает. Я ли не богат?!

Что-то из северной сказки вспоминается: жених с невестой лесом едут. Жених спрашивает: «Что у тебя своё-то есть?» А она кругом глядит, веселяся: «Берёзы мои, рябины мои, тетери мои, ягодки мои!..». Жених и стукнул её: «Говори: берёзы да тетери боговы!».

Уносится мысль на родину и соглядает таинственную душу Севера, поклоняется сокровенному, но вечному свету его.

Там, на родине милой, сейчас глубокая осень. Кратки дни. С северным ветром перепадает снег. Помню низкую, обширную комнату с бревенчатыми стенами. Чисто намыты полы, старинные иконы в большом углу озарены лампадой. Развалистая печь дышит теплом. Все домочадцы слушают житие преподобного Савватия Соловецкого. Северный праздник. Но в эту поздне-осеннюю память святого угодника горожане, за морскими непогодами, не плавали на святый остров Соловец. Там в эту пору «снег, что белый пух, быстро кружится, подымает грудь море синее, и горами лёд ходит по морю». Одни иноческие соборы в монастыре и в скитах оставались «во отоке Окияна-моря» на долгие-долгие месяцы.

Суровый Север... Но как тепла, как согревала душу память родимых северных святых!..

У матери в спальне была древняя икона преподобных Соловецких. Зосима и Савватий возносят над бушующим морем обитель свою. Отец мой, моряк, счастливым почитал год, когда удавалось пристать в корабельном походе к святым островам и помолиться у гроба преподобных.

В осенние непогодливые ночи я, маленький, укладывался спать у матери в комнате. В старом доме водворялась тишина. В комнатах каждые четверть часа били часы своё «перечасье». Мать, помолившись, спит. Я знаю, что крепко молилась она об отце, который ещё не вернулся с Мурмана, хотя уже начались непогоды. «О плавающих, путешествующих отцах и братьях наших помолитеся угодники Божий, Зосима и Савватие!» – шептала мать.

И сколько раз, проснувшись в ночи, всегда я видел святые лики Зосимы и Савватия, озарённые кротким светом лампады, как вечное благословение возносящих над морем святую обитель.

8 октября 1947 г.

Дни стоят ясные, холодные. На ветру в зимней одеже не жарко. Уж и дубы лист доронивают. В липах, что через дорогу, на днях вороны с воробьями что-то делили. Видно, зимние ночлеги вороны-те присматривают.

Сегодня и галки прилетали. Покричали, улетели...

Сердце-то нищее моё; ознобило его несхожими ветрами, да так оно позя́блое и осталось. И ум, озадаченный, отупел. Скорби да нужды одолевают.

Сердце-то бывало ли когда во спокое? И мысль не бывала без тревоги, без страха о завтрашнем дне: как будешь молиться, когда в уме двоится! И медведь в лесу не много бы на́жил, ежели бы рогатина ему день и ночь пре́тила.

А ведь есть, есть мир и тишина! Могут они придти на сердце. И не я унылый, а кто-то малознаемый мною, временем отчаянно зовёт и молит об этом мире.

Вишь, душа-та не хочет спать, и совесть не обманешь. (Чудно мне, что ещё есть она у меня, совесть-та!..)

Истинно, как изумелый брожу в жизни, как слепой: Голос расслушиваю, а Лица не вижу.

Возьмёшь перо, охота бы посветлее что письмом-то положить, но заботы с тревогами гонят светлую думу... Опять снежный облак накатило северными ветрами. В самое оконце моё лепят белые мухи. Не удосужились замазать окна, сидеть близ не можно: дует север.

13 октября 1947 г.

Зима будто и настоящая уже дня три стоит. Вечером, ближе к ночным часам, когда приутих город и по-обезлюдели переулки, вышел «ветра попроведать». И тишина ночи, тихость природы кладёт мир на сердце. Сильнее эта тихость всякой злобы и печали дня. Тишина коснулась печального и удручённого сердца. И опять чует и знает оно – есть радость.

Осеняет сердце предначатие этой радости. Ум ещё в ночи, но сердце знает несомненный рассвет. Мозг в потёмках, но в сердечных глубинах брезжит заря.

18 октября

Истинные учители жизни знали, что здоровье телесное управляется и зависит от силы духа. Подвижники, вкушавшие хлеб да воду, работали и были жизнерадостны нисколько не меньше питавшихся мясом, сладкою и жирною пищей.

Они не отрицали, что «в здоровом теле – здоровый дух». Но здоровье их тела не зависело от жирных обедов.

Мы же, ежели не позавтракаем, не пообедаем, не поужинаем «плотно», не напились кофе, не накурились табаку, то и духом упали, и настроенье мрачное, и белый свет не мил.

Мы называем себя «верующими», но «вера» для нас нечто вроде поэзии, которая

любезна,
приятна, сладостна, полезна,
как летом вкусный лимонад.

В тёплой квартире, закусив и напившись кофейку, приятно взять в руки «любимаго поэта». Ну, а если хлеб съели утром, в обед пустые щи, то нам не надо «любимых поэтов»!

Человечество тяжко болеет от «глада духовнаго». Мы, именующие себя «верующими», тяжко страдаем, страдаем вместе со всеми. Нам достоверно известны врачи, так сказать, опытнейшие профессора, единственнейшие специалисты по болезням, от которых мы страдаем. Они говорят нам: держитесь такой-то диеты, такого-то режима. Вам необходимо такое-то лекарство, такая-то операция, которая вас спасёт. Курс лечения, ввиду застарелости болезни, не лёгок и не скор. Но ведёт к оздоровленью несомненному... И вот мы в уважаемых нами специальных сборниках труды этих знаменитых и уважаемых нами врачей и профессоров читаем, на приём к этим врачам из года в год записываемся, лекции о методах их лечения посещаем и поздравленья ко дню именин им посылаем. Но лечиться у них не лечимся, указаний и требований врачебных не исполняем. Отнимаемся тем, что курс лечения долог, труден и в домашнее время даже невозможен...

Впрочем, в часы и дни, когда болезни наши отлегча́т, мы опять хвалим и рекомендуем «наших» врачей. А когда снова почувствуем себя худо, ругаем наших врачей и в мрачности своей никому их не рекомендуем: «Что-де тому Богу молиться, который не милует»...

Но и телесное здравие являлось у подвижников делом десятым. Как раз обратное клалось в основу светлого душевного устроения. По той мере, как цветёт тело, истощается душа. И по мере истощания тела процветает душа.

30 октября

Худой рассудок, как нищий, бродит по уму, постучится в сердце, спросит у совести и – с пустой сумой идёт домой.

Ох, как горек путь опыта житейского! Давно я взял моду судить да рядить «век сей и мир сей». И вся моя «богословия» не что иное, как пустословие.

Как ни вертись, а к той же хаянной и перехаянной житухе надобно на выучку бежать: кошке в ножки падать.

Судьбы Божьи определили всякому человеку свой крест понести. Честно, радетельно, усердно должен человек всего-всего себя сюда положить.

Вот и мне положено возишко довезти. А я заместо того, чтобы всякой день по силе дело править, заместо того, чтобы всякой день положенное беремя дровишек домой свезти, я, забыв прямую дорогу, волочусь с возом-то.

Поэт, литератор, художник – люди, любящие эстетствовать, философствовать, разглагольствовать. Чу́дную, великую заповедь «Взыщите Бога» перенесли в салоны. Сидя на мягких пуфах, покуривая, побрякивая ложечкой в фарфоровой чашечке, балаболили о Боге, о Христе... Возможно, что и в этих «салонах» бывали люди искренние, последовательные, чувствовали поэтичность народного бытового православия.

Но бывали в народе и истинно, а не на словах «взыскающие Бога». Такие люди настоящие, они подвижнически вынашивали свои думы. Внешние перемены не явились для этих людей катастрофой. Зная, что вне Церкви нет спасения, они знают, что «Церковь не стены, не кровля, но вера и житие».

Человек «взыскающий» чувствует потребность поделиться своими думами с единомышленными людьми. Но где и с кем делиться? Неуверенность в себе велика, и выходит, что «мысль изречённая есть ложь». Чтобы научить, привести кого-нибудь к истинному свету, надобно, чтоб слово твоё, наученье твоё никогда ни в чём не расходилось с твоей жизнью, с твоим поведением.

И свои, и чужие только посмеются над тобой, ежели ты проповедуешь о высоком, о светлом, о любви, о добре, а живешь в слабостях.

Велика заповедь: «Друг друга тяготы носите». Попробуй понести тяготы и тех, кто не знает Бога.

Ведь ты знаешь, что святые учители привлекали и врачевали души человеческие, и умы, и сердца только долготерпением и любовью.

Мудрый, опытный врач душ человеческих старец Амвросий Оптинский, постоянно имея дело с людьми и предубежденными, и глупыми, и капризными, и слабыми, обращался с ними как любящий многотерпеливый отец с родными детьми. И ухаживал за ними нежно, бережливо, как за больными.

***

А я делал всегда лишь то, что мне нравилось и было приятно. И всякие такие отрадные минуты, под впечатлением ли понравившейся книги или встречи с хорошим человеком, были в большой мере прелестью.

Жал, где не сеял. А истинную, надёжную радость жнут только там, где сеяно слезами, где глубоко, глубоко вострым тяжким плугом пахано, где частой, вострой бороной боронено.

Чудное дело! Ведь уж писано-переписано, и указано, и положено, что без благословления и доброе дело зол плод принесёт. Видим и читаем в бесчисленных примерах, что без руководства непременно забредёшь в яму.

Нам необходимо в жизни пить чашу страданий. Только на дне её лежит радость. А погонишься за тем, что легко да приятно, и – останешься с пустой душой.

Может, и я со всеми ко дну пойду, не доплыв берега, но я знаю, знаю, где берег, где тихое пристанище, мне хорошо ведомо, куда надо плыть. А другие ведь и этого не знают.

И я барахтаюсь, и уж пузыри пуская [топят меня лохмотья слабостей, и груз болезней, и бремя застарелых грехов], выставляя ещё руку и рот из пучины, воплю и реву ко всем, рядом со мной барахтающимся и не ведущим, где твёрдый берег: «Вот там, вот в этой стороне, вон где маяк; туда плывите, там живы будете. Близок этот берег, близок маяк, приложите ещё силу, плывите, плывите туда»!

...Может, и утону я в море отчаяния и несчастий сего света, но вы, доплывшие спасительного берега, поминайте мою убогую душу.

6 декабря

И по берегам лазурной Адриатики, и среди знойных скал Малой Азии, по берегам «Понта Евксинского» и в Поморий русского Севера, в ангельских рощах Италии и в седых тундрах Печоры, из-под вечно зелёных пальм христьянской Африки и из-под занесённых снегами дремучих елей Руси Святой – везде и отовсюду глядит благословенный лик «пресвятого и пречуднаго святителя Николая».

Египет, Сирия, Царьград, Афон говорят:

Святитель Николай наш. Он был грек. Он нашего рода и колена. Среди нас жил и творил.

Италия отвечает грекам:

Когда ваши страны разоряли неверные агаряне, мы послали целый флот на выручку святых мощей угодника Божия. Он сам пожелал покоиться на Западе и уже тысячу лет почивает под кровлею церкви латинской.

Ни с кем не спорит Святая Русь. Из века в век глядят её очи на чудный и любимый лик святителя. Из века в век шепчут её уста умилённую молитву: «Радуйся, Николае, наш скорый помощниче!».

В берёзовых лапотках, в образе странника неустанно ты ходишь по русским бескрайним дорогам, заступая слабых, угрожая сильным...

Ты в море плывущих
От смерти спасаешь.
От бед и напастей
Ты свет избавляешь.

Сколько храмов, сколько монастырей поставила Русь во имя святителя Николая. Сколько русских людей носит его святое имя.

Из сотни поморских кораблей семьдесят носили имя «Николай».

Из уст наших северных поморов неисчётно услышишь ты рассказов о явлениях Святителя Николы на плавающих льдинах, на гибнущих кораблях. «Скорый помощник» сидит у руля или, правя веслом, ведёт льдину с погибающими промышленниками к берегу.

29 декабря

Надобно нам в закромах да сусеках сердца и разума пряник поискать. Вот тут-то и опромётывается наружу, что амбар наш душевный пуст. «В закромах ни зерна, ни снопа».

31 декабря

«Век сей» виноватим; сквозняки-де, всё выдули...

Нет! Наши собственные похоти лукавые, наше нераденье, лень, малодушие учинили нас расслабленными, чужеумными.

Всё-то я печаль списываю... Но и это во мне есть, что де впереди лучше будет. Как-нибудь наладимся: опять заживём...

А нет-нет да и вспомню место автобиографии Аввакума Петрова: «Бредут они дни, и месяцы, и годы по ледяным бескрайним пустыням.

Протопопица упадёт и встать не может. И простонет:

– Петрович! Долго ли му́ка сия будет?!

– Марковна, до самыя смерти!..

И она улыбнется:

– Добро́, Петрович, ино́ ещё побредём»...

радостныя вербочки, подснежники, все это

вира

я хотел написать, кажется: — отражает

странную красоту и неуловимость

видения.

[illegible] пят ai . сре [illegible] седм

Хочется мне ..настроение занести

в тетрадь, но дума: то руки не до-

ходят, то отрывать приходится

на полуслове. Так и бросаю не

закончив мысли. Опять и то

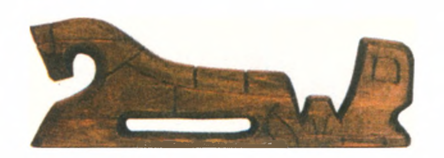
о писаниях моих надо сказать:

— плохо малюю, как в церковной

[illegible] к семи честнее было

бы мне вычитывать [illegible] в [illegible]

Стану, блистаешь с лучшей славой кто
ясн... мрут матер. Иногда мои
сны ли мои вспоминают образы
.... То годы, мои годы... хоть я пов
атрида и Кадма пов оттуда, но св
... боец помнит лишь про Эриннию. ...
Вдов. вот, зачем-то вложил Бог
искорку света своего в меня. И
~~хоть~~ не угасла еще она под пепе
лом и греха. Как мечтают они
что поет душа. Племени души
звуки небес, не могут их заглушить
скучные песни земли (а повторяют
мертвые мысли. [illegible] [illegible])
Хочется писать то рассказ
про свет, про радость. Иисус
поет в пахучие: души все мира все



1948

24 января. Пятница

Афанасьев день прошёл – морозы не были. Зима всё стоит сиротская, то есть по дровишкам не убыточна. С неделю ровно постояло, да и опять третий день дворники мне в оконце мётлами воду брызжут. А се, авось, уже теперь недолго буду я мокрые обутки изучать: надолго ли, нет ли, а влепил я башку свою неудачную на работу. До первого ладимся поплотнее засесть у работы в Митиной деревне.

Для пробы жили там три дня. Уставали, простужались, нервничали: труппа гораздо неопытная, тревожимся за спектакль. Но братишко режиссирует на совесть! Но устал он беспредельно. А надо начинать новую постановку. Я, конечно, своим ремеслом промышляю: мажу декорации. Получаем мы на двоих шестьсот пятьдесят рублей. Долги платить надо... Как хошь, так и рвись.

А в Хотькове праздничная свежесть воздуха, чистая белизна снегов, тишина несказанная!

Наш домик на взлобье круглой белой горы. Доступ к нам с долины Пажи по крутым ступенькам, вырубленным по ледяному скату. Под горой на Паже прорубь. Мимо нашего дома за день только и прохожих, что несколько баб с вёдрами на коромыслах.

<14 марта?>

Баптистка в вагоне так настойчиво и проникновенно совала листок о вреде курения... Спрашивала адрес, приглашала на ихнее собрание... Все-де заблуждаются, все во тьме. До баптизма-де не было христианства, но одно заблуждение и обман...

Баптистское учение соответствует какой-то категории «взыскующих». Оно как раз по плечу «простым сердцам». Вся «вера» их разлинована на узенькие правила морали: веди себя хорошо, не пей, не кури и т. д. Эти добродетели баптистов в быту лезут наружу. Они не такие, как все прочие грешные. На собраниях чувствительные стишки, незатейливые мелодийки. Всё обносочки с лютеранских или реформаторских – барских – плеч.

Что и откуда у них взялось, «простые сердца» баптистов в это не вникают. Всё у них ученически примитивно. Вот это и может привлекать в баптизм «малых сих».

Вот, скажем, молодое существо в теперешнее время... Молодому человеку, выросшему вне привычного русского быта, всё непонятно в церкви. На каком языке читают и поют? Что значат и на что эти действования священнослужителей? А у тех же баптистов всё просто. Вот тебе брошюрка с альбомными стишками. Вон Иван Иванович, закатив глазки, говорит:

– Господи, ты такой же, как я, плотник. Приди в мои объятия.

Баптистам присущ настойчивый зуд пропаганды. Новички, счастливые тем, что попали в избранное стадо, сами рьяно вербуют в секту. Они приходят на квартиру, если учуют благоприятную обстановку, начинают неотступно и неотвязно «спасать». Приходят к больному, предлагают даже свой уход за ним при условии присоединения к секте. Если больной не поддаётся пропаганде, его бросают «среди дороги». Не любовь к людям, не сердце милующее, не жалость к обездоленным, не доброта заставляют баптистов неустанно и неуёмно охотиться за новыми и новыми адептами в свою «веру». Нет, если баптист знает, что ты не перейдёшь к нему, он наступит ногой на тебя, лежащего, больного, и пойдёт «спасать», выискивать покладистых.

Пропаганда, вербовка новых и новых членов, выискивание людей, находящихся «ни у того берега, ни у другого», скрытая или явная неприязнь и нелюбовь к церкви, самомнение и гордость истинно бесовские – вот основные черты баптизма.

Этим баптисты разительно отличаются от русского человека вообще. И от благодатной вековой практики Вселенской Церкви (Восточной). Но не эти величия собрался я рассмотреть... Баптизм или какая рационалистическая секта – их «как ворона на хвосте» невесть откуда занесла. «С ветру» все эти учения. Потому адепты этих учений и навязываются так, потому они и беспокойны, и егозливы, что чуждая они трава на лугах Святой Руси. Не здесь они выросли, сюда наскочили.

Когда христианство пришло в страну восточнославянскую, то пришло на землю девственную, языческую. Христианство принесло высшую культуру духовную, приобщило славян к культуре Византии, следовательно, к культуре Эллады, эллинизма. И это семя веры Христовой, принятой нами от Греции-Византии, дало на Руси дивный плод... Плодом вселенского христианства является и художественная культура Древней Руси – Киевской, Новгородской, Владимиро-Суздальской, Московской...

Что такое православие?

Вечерний звон, наводящий так много дум «о юных днях в краю родном»... Белая церквица среди ржаных полей... Или там, на милой родине моей, шатры древних деревянных церквей, столь схожие с окружающими их елями... И эти дремучие ели и сосны, и деревянное зодчество – они выросли на родной почве.

Март 15 дня. Воскресенье

Послезавтра Алексей «с гор вода», а тепла всё ещё ждём. Дни стояли солнечные, а хотьковские пригорки и на припёке не протаивали. Морозов уж нет, а дороги и тропки белы, не стоптаны. Но на закате в небе не без мягкости жемчужной.

Сегодня дует запад сырой. Пасмурно, инде капель; прокаркивают вороны. Куры во дворе напевно кокочут.

С утра поднесло снежку, белым забелило. А у двора, у скота, чёрная грязь, вытаяло опять крылечко.

16 марта. Понедельник

Сегодня с рассвета взялся, кабыть, NO, тóроками-порывами. По здешним местам он не так хóлоден. Кабы облака не перекрывали солнце, таяло бы. Солнышко выглянет, заблестят снега, начнёт в овраге ти́нькать малиновка. Где-то у дворов стрекочет сорока, с нею разговаривают куры. Пропевает петух.

Я прижмусь к низенькой дверце хлева, в заветерье, жмурюсь на блеск мартовских снегов, слушаю, как свистит в застрехах кровли норд-ост.

Зимою всё думал – придёт март, буду везде расхаживать, по кустам, по оврагам. Думал – вот заживу под боком у Преподобного: рукой-де подать к Нему в гости ходить да ездить. В зиму было холодно разгуливать, а подходит весна... Не придётся ли к разбитому корыту, обратно в городской свой пóдпол лезть.

Братишко выдохся, бьючись над тем, чтобы собрать «любителей». С собаками не загонишь. Люди вялые, равнодушные, усталые, на репетиции не ходят. А директор недоволен руководителями. У братишка руки опустились, а я своих и не прикладывал. Раденья у меня нет.

Как хочется чему-то обрадоваться! В самом себе нет веселья душевнаго, нет радости сердечной, а со стороны никто не несёт. Вот и проходят дни-те бездельно. Бедность пригнетает ум; нету крыл духовных. Сижу, как ворона, уж и каркнуть неохота. Давно я стал камень лежащ, не подóйдет под меня живая вода. А люди того небрегу́т, чтобы меня сдвинуть.

Дух уныния так и клонит меня вниз, дóлу. Дела не веселят, потому что не зачаты у меня дела-те. Жду жатвы, а ещё не сеял.

Не родится света в душе. Спит она, не может воспрянуть. Потому что студными я окалях душу грехми, и блудно иждих моё житие. Где взять крылья душе, когда храм телесный весь осквернён.

Уж не зову Отца, не плачу к Нему: «Объятия Отча отверзти ми потщися!»... Потому что я отеческия славы удалился безумно. В злых расточил, еже ми предал Отец богатство.

Знаю, что есть богатство неиждиваемое, знаю, что есть «объятия Отча», но навык бродяжить, полюбил жить «на дне». Уже не «утренюет дух мой ко храму святому», храм нося телесный весь осквернён. «Покаяния двери» скрипят мне докучно. ...Разве уж сам смысла Податель вразумит сердце моё. ...Ты даждь ми слово, Отчее слово!

Вот когда я говорю, что-де природа жива и радуется о Господе, то в моих устах эта истина является празднословием. Потому что «когда не поп, дак не лезь в ризы». Благовествовать вправе лишь тот, у кого со словом слитна и его жизнь.

Бывало, в молодости, знавал я по силе моей «чудные мгновенья». Это, мнится мне, был залог, зов таинственный. Когда Мария Египетская услышала дивный оный зов, она, «вся отвергше», бежала в пустыню и семнадцать лет Христу сраспиналась, со Христом спогребалась. И – воскресла со Христом.

А я тужу и ною, что вот закрылась, потерялась радость, не чувствую уж, что «природа радуется о Господе».

23 марта

Домой-то приехали. Как у нас хорошо! Тишина какая. Всё своё, всему хозяева. Судит Бог, и Пасху здесь будем встречать... В окошечки старинной горницы нашей столь знакомое небо, деревья, вытаявшая дорога. На дворе ещё кучи снега, лужи. Опять, когда вздумал, можно к службам ходить. Ведь полжизни я здесь пост Великий правлю. Пусть там, в Хотькове, «природа». Всё сказалось непривычным, не своим, незнакомым. И примениться я ни к чему так и не мог. Уж всячески я, усиливаясь пожить «в деревне», надевал на глаза шоры, старался видеть только «талыя тропинки» да грачей... Мелочная, ничтожная «житуха» туземцев сбивала все «настроения». Алчность, жестокость, эгоизм, торгашеская совесть, вражда, сплетня – вот чем живут в «милых» этих «деревенских» домиках.

...Как я не хочу про всё про это думать и писать. В конце концов, прискорбно это.

...Я хотел поглядеть на проталинки, послушать, как шумят весенние воды. Да ведь не будешь при водах-тех жавороночком на веточке сидеть. Надобно где-то по-вседённое житьё-бытьё править – пить, есть, спать, согреваться, работать. Надобен свой угол. А вот с этим-то всегда оказывалось тяжко-непереносно.

Вернувшись домой, в свои стены, к своей печке, сидя за своим столом, понял я, какое это благо – свой собственный угол.

Думается, если я не буду жить в Хотькове, то пройдёт время, и я снова буду мечтать... Очевидно: «Там хорошо, где нас нет».

...Как хорошо дома! Я один весь день. Братишко уехал в Хотьков. Грустно мне... Вечерняя заря глядит в оконце, из которого я гляжу на

неё девятнадцать лет. Мерно тикают часы. За оконцем вода до полудороги. В ней отразилось вечернее небо. Потемнели углы моей горницы. Но светлеют ещё окна бледным золотом. Тихий свет лампады в потемнелом углу... Зосима и Савватий возносят свою обитель. «Свете тихий святыя славы».

Я всегда думал, что городской гам мне «жить» мешает. Пожил в деревне: там «ничтожность туземцев» мне мешает «живу быти». Не я ли сам себе «мешаю»?! Ей, так!

25 марта. Среда

День с ветром, облачный. Солнце помалу проглянет. Большие улицы просохли. В переулках булыжник мокрый, возле троттуаров ручейки. По дворам грязь малопроходимая со льдом.

Стаскался к поздней. Авось, думаю, не протает ли душевный-то лёд?.. Не по годам, пожалуй, равнодушие и эта вялость. Что-то мало сил и душевных, и телесных. Дух уныния, а отсюда дух праздности.

Поют: «Благовествуй, Земля, радость велию!». Я, видно, не Земля, не та Земля, которая начинает протаивать, которая благовествует радость говором ручьёв, пеньем птиц.

Я – куча мусора в углу двора. Пусть весна, пусть хвалят небеса Божию славу. Она, куча, куча и есть. Сказано: сила Божия в немощах совершается. А вот мои немощи далече мя творят от ясности, от радости Господней. Видно, смолоду надо было заготовку великую производить, каким-то образом силы духовные копить, чтобы, как немощи придут, было чем «силу Божию» ухватить. А я жил, как придётся, как попало. Стал под старость решетом дырявым. Как во мне силе Божией удержаться.

Есть художники, есть поэты Божией милостью. И есть диллетанты, самоучки. Последние – в лучшем случае – трогательны, но и маловыносимы. Я в богоискательстве своём вот такой диллетант-самоучка. Что-то слышал, до чего-то сам, своим умом дошёл, и всё-таки «диллетантизм есть любовь к искусству без взаимности».

Ни высшей, ниже средней школы в науке (да, да – науке!) духовного совершенствования я не прошёл. Что-то нравилось, чем-то увлекался, а школы не было. Время пропустил, пришли годы немощей телесных, иссякла и всякая «радость», которая вызывалась исключительно тем, что «младая кровь играла», но отнюдь не была показателем некоей «меры духовной».

26 марта. Четверг

Много лет проводил я пору Великого поста, пору предначатия весны в городе, из года в год бредучи к «ранней» или к вечерне, вылавливая

«настроения» старых переулочков, вытаивающих камней старого города, ручейков, бегущих с какой-нибудь Ивановской горки. Старая церквица на обтаявшем бугре. Ряд старух у ограды, подставивших горбы вешнему солнцу... Уж сколько лет хожу я этими переулками к «мефимонам», «марину стоянию» <?>, к «Вербному воскресенью», к «12 Евангелиям» ...и к заутрене Светлой. И пусть замызганные домишки, а не «радонежския рощи». Эти домишки так ласково, после зимы-то, таращатся подслепыми окнами на солнышко. Обсохшие троттуары, омытые недавними ручьями, таявшими снегами мостовые ещё так чисты. Ещё нет пыли, ещё ютится по дворам, по углам остаток снега. Ещё так ясно, непорочно чисто небо над городом.

...Раным-рано бредёшь с железной клюшкой Подкопаевским переулком к «Предосвященному» <?> в конце марта. Лужицы захвачены утренничном, хрустит шелковисто ледок.

Мы с брателком всё грустим, что только тень прежних предпраздничных «настроений» и приготовлений осталась на нашу долю... А вот как в «деревне» пожили «в одном столе, в одном хлебе» с чужими людьми, тогда и поняли, что ихния «лампадочки», отобранные за долг иконы, ихния залитые «политурой и ханжой» «святки» и «масляницы», и куличи с диким ораньем песен, – всё это не наше, всё нам чужое. Как мы с брателком (ещё в «деревне-то» сидя) взгрустнулись, как поняли, что по-своему и у нас, в «городском» нашем быту, в старинном доме, в низеньких покойниках был по-настоящему светлый и добрый быт и светлые и радостные «настроения». То, что казалось нам в нашем «праздничном» быту слабым и (сравнительно) жиденьким, устоялось, как вино. «Мельзи́ млеко и будет масло».

Сегодня тихая весенняя пасмурность. Как бы перед дождём. На родине моей, на Севере так бывает, когда вскроются, пойдут реки... День такой задумчивый. Но светла эта задумчивость.

Здесь, «в городе», в кривых переулках, в старинном домике, в горенках моих с древними оконцами, полтораста лет глядящими на свет Божий, я корни пустил, и, по силе, зеленею, и помалу цвету.

«Хвали море, на берегу сидя». Хвали «деревенскую» жизнь, сидя в своём углу, глядя на природу из собственных окон. Здесь ты хозяин и собственным мыслям. «Хозяин что ступит, то дело найдёт». «До́ма стены помогают». О, как верно!

В будущем году осенью сравняется 20 лет, как я в этом своём «низу́» живу. Да в этом же доме, этажом выше, прожил я семь лет. Волею и неволею, хотя и нехотя, присвоился я тут.

Сколько здесь живало и сколько сюда прихаживало милых, незабвенных людей!

27 марта. Пятница

«Творца видимым и невидимым».

Век сей и мир сей ниже краем уха слышать хотят о существовании мира невидимаго. Между тем он и в нас, и вокруг нас. Например, Флоренский учил, что слово – это организм, как бы семя. Говорящий оплодотворяет слушающаго. В слушающем слово начинает жить. И это отнюдь не аллегория. Это акт таинственной биологии.

Разум церкви Христовой знает эту тайну. Учение церкви о Втором лице Святыя Троицы открывает беспредельныя глубины сущности слова как Логоса, а соотносительно (дерзну так выразиться) с сим Первым, вечным Словом, по образу Слова-существа божественнаго, живёт и слово, износимое от разума и сердца человека. Конечно, здесь существует великая разница. Бог Слово есть вечное Добро, творческое Благо, Любовь по существу. Человеческое слово есть также чудо, но оно может исходить и от Зла. И тогда оно породит в воспринимающем недоброе бытие.

В Писании читаем: Бог (Отец) словом сотворил мир. «Рече Бог: "Да будет свет" и стал свет». Тайновидцы, святые отцы, изъяснили, что Бог «Сыном создал мир».

Произносящий слово оплодотворяет слушающего. Это происходит через слух.

«Слыши, Дщи, и виждь, и преклони ухо Твое»... Неизречённое воплощение Слова, Сына Отчия произошло через слух Девы Пречистой. Ангел изглаголал повеленное Отцом, и Дева зачала, приняв слухом оное «радуйся». Таинственное «радуйся» было живоносно, могущественно, плодоносно.

Об этом, об этой непостижимой тайне говорит Златоуст в слове на Благовещение.

28 марта. Суббота

Живёшь, думаешь: вот ужо лучше будет... Увы, – всё печальнее становится. Всё под гору. В деревне живя, собирался всякий день весны переживать... Не до весны стало. Вернулись в Город... День-два веселились. Ох, не до весны, когда осень безотрадная в душе... Братишко изнемогает телом, изнемог и духом. Всё ему не мило, ни на что, ни на кого не глядит. Никого не слушает. Сегодня с утра срядился в Хотьково на завод ехать. Поглядит на часы: «Опоздал на поезд»... Опять поглядит: «И на этот опоздал...». Вслух стонет от сердечной тоски. Нет сил, нет... Я уж и добром, и лихом уговариваю. И обниму, и ругаю его исступлённо: «Ты-де работать не можешь, дак зачем меня в доски, в гроб сганиваешь?..». Он слова поперечного не терпит, и я не поддаюсь.

...Господи милостивый! Нет у меня ни света, ни мира в душе.

...Уехал братишко. Я работу разложил... А голову разломило: никакие пирамидоны не помогают... Папироса за папиросой, что смола в горле. А сердечной печали не может папироса-та приглушить.

Сквозь боль, сквозь очумелость, сквозь опустошённость и бессилие, как о чём-то далёком, вспоминаю... Как некий старец стал что-то часто плакать. Он объяснил свои слёзы встревоженным ученикам: «Плачу о том, что скорбей нету...».

Очевидно: высокой духовной меры был этот старец. А такого, как я, всяка скорбь с ног сбивает. И лежу в яме горькаго уныния. Ропщу на Бога, тяжко виню всех и вся. И уже устаю ждать, что придёт кто-то, подаст руку, выведет из гроба скорбнаго.

Насколько нечисто моё сердце и какая кромешная тьма обдержит его, можно судить по тому скаредному остервенению, которое приходит из силы в силу, если брат не признаёт моей правоты, не хочет слушать моих «обличений», не покоряется мне. Брат замолчит, а меня всё ещё трясёт злоба... Уж я знаю, что буду жалеть и каяться о сказанных словах, тем не менее, изрыгаю подлую брань. Наворочу гору скотской ругани, потом, обойдусь, разгорююсь, зажалею. А растревоженный, разорённый мною братишечко долго не может успокоиться, сделается совсем больным...

...Каин я, Каин! И часть моя с Каином. О, какое я скаредное ничтожество в сравнении с брателком моим, который не треплет языком о Боге, а просто доблестно, из последних сил тянет ярмо жизни, без высоких речений кладёт душу «за други своя».

Взял в руки книгу аввы Дорофея. Мне ли читать?! Всяка строка бьёт меня по лицу... Всякая неправильность человека, говорит авва, даже по отношенью к посторонним людям потемняет сердце.

...Аз же брата своего Авеля ежечасно убиваю. Ежечасно сам сатана играет мною и радуется обо мне.

30 марта. Понедельник

«Скажу крепче, сердцу легче». «Выскажусь, дак хоть на сердце не лежит».

Ладно, ежели у «собеседника» сердце лёгкое. А если он тебе скажет: «Ты своё сердце тешишь, а моё гневишь!».

...Мы, теперешние люди, сло́ва не терпим. Мнительные, растревоженные. Чуть что не понравится и – вспорхнём, как бензин. А там и пошло до потоло́ку. Без сердитости ругаться могут только здоровые, ровные, весёлые люди. Теперь таких днём с огнём не отыщешь. Заболели да померли здоровые-те. Остались больные.

Разоряясь на болезнаго моего братишку, лепя слово на слово, заведомо знаю, что буду жалеть. Расстраиваясь на митинских «хозяев», знаю, что лучше, полезнее, достойнее сдержать расходившееся сердце,

удержать язык. Ан, нет, – точно с крутой горы качусь, язвлю и язвлю «неблагодарных»...

А к тому же М. не горестно ли на родителей.

Но, вот, как тут быть: хотьковские «хозяева» и «невестка» к тому же моему братишке смело предъявляли беспардонные претензии в мелочах, которые не могли их касаться, а братишко этим болезненно шокировался.

...Может, я за себя и стерплю. А уж братнюю обиду прощать грехом почитаю смертным.

Знаю, что, например, у аввы Дорофея всё на пользу, всё на спасенье. Всё у него врачевство, всё исцеленье. От всякой болезни душевной врачевание.

Но, как подумаешь, с какого бы конца начать лечиться, так ох! Всё одно, что полон рот больных зубов и все надо лечить, а иные рвать... А всё запушено годами. В зубную больницу ходить далеко... Да зубы что! Роза Марковна и вылечит, и новые вставит. ...А вот совесть мутная, сердце нечистое... Тут легче из керосина розовое масло сделать, дугу распрямить. ...Всякие страсти с сердцем моим, как мука с водой, сболтаны. Попробуй, раздели теперь муку о себе, воду о себе.

15 апреля. Великая Среда

Царствия вне затворённая, уныло плачет душа. Тошно ей в житухином склепе. Украшенного чертога хоть не видит, подслепая, но знает, что он где-то есть. Навыкла скитаться в говённом рубище, но просит брачных одежд, а купить не на что. «Се Жених грядет» – где-то, кого-то зовут... Горегорькая, разнесчастная, нищая душа моя прислушивается: не мне ли стучат? Не меня ли зовут? Нет, не в мою дверь стукнули. Не меня позвали. Некому ко мне прийти. Давно я, душа, на пиру-то не бывала. Отвыкла, ослабла, обносилась, опустела.

«Се стою при дверях и стучу». Господи! Я как тряпка половая, все полы мною вымыты, все пороги обтёрты... Уж сил нет, радости нет побежать, поискать Тебя.

17 мая. Воскресенье

И праздники прошли, и весна пришла... Живу какой-то опустошённый. Ничто меня не веселит. Здоровьем, силами и всем оскудел.

Один дни-деньские сижу в своём подвальце. Братишко таскается на работу. На полсуток уедет... Он расстраивается, что я «не на воздухе». А я нисколько не думаю и не хочу «на дачу»-то. Одна у меня дума: как скудости нашей помочь? Вишь, всё дума, а не дело.

Братишко устаёт до упаду. Это время, мало не всякой день мотался за пятьдесят-то вёрст. За злосчастные гроши-копейки. Не над чем ему порадоваться. На меня-то глядя, только всплачешься. И некому нам печать нашу поведать. Ведь и к знакомцам-то: сегодня ты с печалью да завтра с нуждой...

кто твою унылую рожу рад будет видеть?.. Ну, думаешь, ты никому не надобен, так и тебе никто не нужен.

Седьмой месяц пошёл, как не видел я малютички Мишечки. Через восемь дней ему два года.

Войду в закут, где он жил прошлый год, и печаль меня за сердце возьмёт. Помню, Мишуточке ещё году не было, заглянул я к нему: тёмный у них закутокто. Зима была, еле брезжил свет в оконце. А Мишуточка один сидит в широкой кровати. На нём белый кукулёчек. Поглядел на меня, и личико его всё просветлело радостной улыбкой. Как луч солнца засиял в подвале, – эта несказáнно, неизъяснимо светлая улыбка милаго, ненаглянаго деточки.

...Ползать стал. Скорёшенько, шлёпая ладошками, переправится через порог в нашу комнату. И рученьки протянет: возьми-де...

И картинки, которыя он со стены любил снимать, и коробочки, которыми он играл, всё на месте. А милаго, ненаглядного ребятёночка нет в моих глазах. И не знаю, когда увижу, когда голосок его услышу. И увижу ли?

Гостинчик послать, и то не соберусь с возможностями. Вырастет Михайлушко, не будет меня знать. Никто нему и не расскажет про старика, который так нежно его любил.

Ладно и то, что хоть родители его перестали расходиться да разводиться. Вот уж где горе-то меня хватало и гнуло, когда «развод» да «расход», иных слов всю зиму не было у Мишуткиных родителей. Как «она» без отца своих сыновей вырастить думала? (и думала ли, хоть каким местом?) ...Отец-от молод. Для него ещё женщина-жена всё заслоняет. По молодости лет не знаете ещё, что во вторую половину жизни, особенно к пожилым годам, и, далее, к старости, сыновья-то единственным смыслом жизни явятся. Теперь, негодуя на жену, упустишь сыновей, после страшно скажутся последствия такого поступка. Думается мне, надо перетерпеть характер жены из-за счастья иметь сыновей. Они всю жизнь отцу своему осветят.

О, какая великость для отца, для матери дети. И как безмерно, как несказáнно важно, чтобы дети вынесли из родного гнезда запас света и тепла на всю жизнь!

Всякой отец, всякая мать должны написать на сердце своём безсмертныя слова великаго писателя: «...из дома родительскаго вынес я только драгоценныя воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самаго дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценныя, если только сама душа твоя способна искать драгоценное» («Братья Карамазовы» Достоевского).

19 мая. Вторник

Сглазил я, старый пёс, мирное-то дело, написавши, что, де, перестали молодые наши разводиться. Ещё не устала мучить человека эта

<зачёркнуто>. Коту какому-нибудь готова бросить детей под ногу. И не страшится, и не ужасается осиротить детей, сделать их безотцовщиной. Вот дак <зачёркнуто> досталась бедному Михайлу. Я думал, эта баба просто неуживчива, просто злая, просто глупая и мелочная дурра. Очевидно, она и дрянь по существу.

...Я думал, всё уладилось. Отчи́шко Мишка стал часто ездить к сынишку Мишке и Олёшке. И опять, видим, беднягу чернее ночи. «Паки пляшет Иродиада, паки просит на блюде главу... Михайлову». ...Не хочет видеть <зачёркнуто>, что от Михаила тень одна осталась. Мучает человека несыто, неустанно, неутомимо.

«Пришедшу за запад солнцу, видевший свет вечерний», опять облился я слезами: увижу ли я когда маленькаго мальчу́шечку Мишеньку! ...Отемнели углы комнаты, тихая вечерняя заря глядит в оконце. Высоко в небе свистят стрижи... Свете тихий святыя славы... Что же мне так больно и так трудно? Ведь я уж давно ничего не жду и ни на что не надеюсь.

Давеча Михайло ...с трудом из себя выжал, рассказал, как супруга его опять обремизила, на службу к нему прилетела, негодно слушать что ему отлепортовала. В эту пору ребятёнок чей-то у оконца встал, как есть маленький Мишуточка. Не морщусь сижу, а слёзы бежат. Михайло так растерянно глядит на меня и братец на меня кручинится: «Что ты, как баба, всё около слёз сидишь?!».

Что же это: всяка радость моей жизни в печаль претворяется. Уж не думал я и не чаял, что у Михайла столь горестно семейная жизнь повернётся. Как будет возрастать миленький, маленький дитёночек Мишуточка и этот, ещё двухмесячный Олёшечка?

Ветер сегодня сухой весь день. Липы, через дорогу, шумят молодой листвой. Песок с мостовой летит в окна. Девять пробило. Писать <писато?> не видно. Братец уехал в Измайлово. Может, там что-то поживём.

22 мая. Пятница

Гроза сегодня с ветром-то́роком, с громами, с молоньями, с проливным дожжи́нушкой до вечера гуляла, мыла грязно-ёт город. На неделе все дни были жаркие. Лишь дома сидеть полдела, а братишку досталось до истомы, до изнеможения. Теперь самое светлое время. На родине и ночь не живёт ни единаго часа. Здесь в третьем часу пополуночи зачнёт светать. Братишечко с завода приедет в первом часу ночи. С ужной, с тем да с другим, всё уж до свету не повалимся. В три часа воробыши вовсю чирикают. Ласточки дольше спят. Оне и уснут поздно. Воробьи давно пова́лятся, ласточкам ещё надо на потух зари посвистеть да полетать.

***

Силом меня братец в Измайлово выволок. Как корову на баню тащил. А против города хорошо здесь. День был бессолнечный; облачно без дождя, с летним ветерком. Отдыхаю (не знай, от каких трудов!), сижу в тишине, в спокое, «на воздухе», а братишко уехал на сутки в работу. Ему не надо отдыхать.

Сейчас время к ночи, за переулком играет гармошка, завизжат девки, залают собаки... К ночи приусилился ветер. Звук напоминает родину. Там в летнюю пору чуть припадёт морской ветерок, и рамы уже скрипят. Их наружу, на ремешок подвязывали.

Я любил бы вот так один-то сидеть. Думу думать да списывать... Только думы-те печальные: братишкино нездоровье меня сокрушает. Чуть в Хотьково съездим, кашель усилится.

Кабы эти мои записи были письмами к кому-то... А о себе, для себя... унынность свою, сто раз одно и то же – не для кого, не для чего. Сам для себя больно не занятен, не стоющ, не значущ.

Любовь без дела мертва[1]. Жалею брателка единственного. А что пользы в моём сокрушеньи? Вот горе меня об этом и сушит.

Когда я был помоложе, то внешние явления и предметы, имеющие, так сказать, общий интерес философский, поэтический, идейный, художественный, оказывали на меня сильное впечатление. Я устремлялся к бумаге, к перу, чтобы записать иногда мгновенное переживание, настроение, сделавшее меня счастливым. Бывало, я никогда не записывал «ума холодных наблюдений, ни сердца горестных замет». Я хватал перо, чтобы занести внезапно схватившее меня радостное, счастливое настроение.

6 июня. Суббота

Четыре дня пожили в Измайлове. На день пришли домой да я и заоколевал. Сейчас ничего. Лето сей год стоит благоприятное, в разсуждении произрастанья овощей. В измайловском доме у нас на мансарде света, воздуха много. Но как-то присвоиться не можем. Комната долго была в запустении. Пахнет нежилым. Обломки мебели. В Хотькове я давно не был. Всё на брателка взвалил. Совесть грызёт. Нехорошо.

У Михаила с женой не добро. Враждуют. Он не ездит туда. С горя выпьет, плачет о сыне: «...как вспомню его голосок...».

18 июня. Четверг

Память вовсе никуда не гожа. Не могу вспомнить – в воскресение ли, ли в субботу опять в Измайлово приволоклись. Жду братишка, засветло сулился быть, а уж ночь... И часов не знаю. Сижу как филин. К ночи кома-

[1] «Се Жених грядет в полунощи» – Тропарь, поющийся в первые три дня Страстной седмицы.

ры одолевают. Время всё без дождя. Ветры бухали бедовые. Я сижу как бык в стойле, брателка и вижу не всякий день. Всё в работе, в беготне. Печаль меня съела.

У Михайла с женою так, видно, врозь всё и пойдёт. Человек молодой: не погуливать ли начал? Блядей не искать. Что шаг, то блядь.

Горюшко мне, как я о малюточке Мишуточке вздумаю. Уж, наверно, говорит что-нибудь. Семь месяцев его не видал. Как ножонки его топочут, голосочка его не слыхал. Хоть бы голосок услышать...

Где услышу ребятёнок заплачет, всё умом-то туда, в Жаворонки лечу. Хоть бы около плетня постоять, послушать. Милая моя улыбочка, весёлая усмешечка, ненаглядное дитятко, любименький мальчишечко. На четыре дня, 24 ноября увезли и семь месяцев нету. Увижу ли когда? На отца-то его дивлюсь: как сердце не рвётся сына, детище своё кровное поглядеть. Вишь, с бабой враждует, баба оскорбила. А сын, дитя безпомощное, безответное, знать, на третьем плане. За месяц конфеточку не свёз ребёнку. И знает, что никто не свезёт. Михайло говорит: я несчастен. А и Надежда не в радости с двумя-то ребятами. Что она думает? На что надеется? Как будет двоих детей подымать? Много она с отца судом-то получит?.. О, горе!

...Ночь, тихо, комары поют. Видно, не приедет брателко. Час какой не ведаю. Рассвет забрезжит, значит за полночь, тогда повалюсь.

Весь день я на воздухе, на балконе, а голова всё худая. Уж ни природы, ни облаков не гляжу, не слежу. Недостатки да недохватки замаяли.

Всякая талантливость, при неумении устраивать свои дела, ничего не стоит. О, как бы я хотел брателка от хотьковской-то работы избавить, чтобы не выматывать ему остатки здоровья и сил с этими поездками.

<Август?>

Теперь, вероятно, по привычке, я продолжаю вести «диариус». Но узок круг моих переживаний. И «пою уныло».

...На дворе непроглядный дожжинушка. Осень круто подошла. Ночи холодные, утра с туманами. Слышь-ка, в сентябре сулят снег. Совсем как у нас на родине...

«Счастье не вокруг нас, а в нас», красота не вне нас, а в нас. Внутри тебя не станет творческой радости, так и, скажем, красота природы не поражает душу. Не до того...

А добра и мудра пословица, что-де дома и стены помогают. Невзрачно у нас! Полы прогнили, потолок и стены покоптели, мебелишки нету. Обихаживать некому. А всё своё тут, своё, хоть в этих невеликих аршинах. Сколько тут пережито, передумано. Сколько переговорено... Ино «своя печаль чужой радости дороже».

<Сентябрь?>

У нас на родине уже и август месяц в осень кладут. По здешним местам август – ещё лето. Ино теперь и по-вашему, и по-нашему осень пошла...

Сколько горькой печали, где мы, старики, чаяли видеть молодое счастье, молодую жизнь, так всё исказилось, избезобразилось.

Каким лучезарным, добрым, ласковым светом озарены для меня мои воспоминания об отчем доме, о родной семье, об отце и матери. Эти воспоминания, точно благословенны, на всю жизнь.

..Добро, добро читать книги, которые книги годны-то тебе. Ты тогда себя человеком числишь, когда утверждение какое-то имеешь, когда пишется тебе, когда стоющее хоть помалу накапливается. Иное – стоющие мысли проносятся в голове, но не подвизают руку к писанию. Неохота взять карандаш. Уныло созерцаешь себя в такие дни. Не люблю жить бесполезно. И много дней так-то прошло...

И вот как же ценить надо такую книгу или такие книги, которые не только мысли в голове рождают (воистину, книги эти живые, и живы их словеса, как семя чистое, жизненное, благопотребное), но и руку к писанию подвигают. Настолько насущны, живоначальны, живодательны, настолько сильны, могучи слова этих книг, что даже мой дух, мнилось – невсклонно упавший, давно поникший, заботами, неисправностями, тревогами, страхами, болезнями дух угнетённый, эти книги, то есть мысли, идеи, в них заключённые, будят, подымают, зовут, окрыляют, живят...

И вот ещё мысль мелькнула: а для чего, на какой предмет, для кого пишешь или записываешь, и записываешь такие и всякие свои мысли. Не знаю, для кого. Опытные и высокие, достигшие уже меры <1 нрзб.>, хоть сколько преуспевающие, только улыбнутся этим строчкам... Да ведь и сам я сознаю, что это всё «говор водный», пена, на воде сбиваемая. Все эти мои описания ощущений «радости» суть «восхищение недарованного». Это всё не на деле, не от дел слова. Всё это самообольщение. Потому самообольщение, что при всякой даже тени страха всё, как дым, рассеивается, без остатка. При тени страха готов я от всего отказаться, малодушный, слабый человеченко... Ежели со страху не сотру этих листков, да попадут они настоящему человеку, дак пусть он знает мою (достойную меня) эпитафию: <1 нрзб.>. Это про меня сказано. И о сих до зде.

Но почему же всё-таки, заведомо зная, – думаю, и люди знают, и лучше меня знают ничтожество и бесчестность мою – у многих достойных в долг взял и не отдал (в долгах всяко замарался), я всё-таки пишу и люблю сквозь все гнетущие заботы это веселье в себе. Потому что единственно стоющим (сам-то ничего не стою) считаю это на земле, единственный смысл жизни в этом вижу. Единственную правду, единственный смысл жизни...

...Вот что охота отметить. Когда б ни касались сердца моего словеса сии: Киев, Киево-Печерская лавра, всегда слышу старый стих – «В небе тих вечер-

ний звон, вы откуда собралися, богомольцы, на поклон?..»[1]. Всегда, очевидно, виденная и запечатлевшаяся на сердце (а умом забытая) картина-изображение, каким-нибудь богомольцем занесённая к нам на Север: на фоне вечернего золота... как бы город сказочный: храмы, пещеры, древа... золото, киноварь, охра, зелень... И что-то всегда тётушка моя о своей тётке рассказывала, кто-то «ходил (из семьи) в Киев». И вот думается, чувствуется: отозвалось что-то раннее, золотое в душе, когда весною увидел я в Лит. музее лубочные, столь преукрашенные изображения Киево-Печерской лавры... Я не знаю, как там было в действительности и что там было. Но я знал и хранил в душе и через четыре десятка лет пронёс в душе небесный Град, старый Киев. Не малороссийский, а как бы некий Китеж, недосягаемый, святый. Старый Киев надо мною в беспредельной вышине, где сияют киево-печерские святыя.

12 сент. Воскресенье

Любо уму в этом краю. Житейскую заботу и всяку болезнь преодолевает и покрывает здесь свет душевного любомудрия. На одной чашке душевных весов привычная печаль. Но красота кладёт на другую чашку своё ликование, и легкими становятся твоя печаль и воздыханье.

О чём же ты ликуешь и что твоя радость?

Потому, что прекрасен русский пейзаж. Прекрасен рисунок вот этих ёлок. Мы радуемся прекрасному зодчеству, ваянью, живописи. Шатры этих елей – живое чудное зодчество. И какой музыкальный ритм в этом строе монументальных елей! Чуден рисунок хвойных многоярусных паникадил. А цвет и тона этой нерукотворенной живописи неповторимы рукою человека.

13 сент. Понеделок

Осень стоит хорошая. Неделю дул север; солнечные холодные дни. Сегодня ветер сменился, натягивает тучи.

С перьвых чисел сентября были утренники; иней был, кругом трава заиндевела.

Мы от морозу и убежали сюда к самой Воре. Утром, как отрубит коровий пастырь, все уж на ногах. Подымаемся и мы, непривычные к раннему вставанию. Я отыму у брателка вёдра, иду по воду. Дорога круто бежит вниз. На кустах лист пожух. В тихости попевает оставшая птичка. В низине у речки ещё туманистый ночной холодок. С водой-то в гору вздымаюсь, всё становлюсь да огляжусь. Далеко на пригорках желтеют сжатыя лож, зеленеют полоски ржаной озими, синеет дальний лес. Иной час, иной раз и присвоится к этой светлости и благой свободности не могу. Душа-та повадилась помаленьку взглядывать, несвычно ей во все глаза... Но тихая красота русской природы вдруг посветит уму: и, дивяся сам себе, хвалишь эту светлость.

[1] Строки из стихотворения А.С. Хомякова «Киев» (1839).

14 сентября. Среда

Весь день сырой туман. Дождя нет, а мостовые и тротуары влажны, блестят. Не яснит, так и холода такого нет.

17 сентября. Пятница

В час литургии, когда возносится слава лазурному царству Отца, Сына и Духа, ведь не вспоминаешь ты истории богослужения, а сердцем хвалишь Вечнаго, славишь Его, Единого.

Что такое красота?.. Необъятно пониманье ея. Ум приводит свойства Бога: Дух, Вечный, Благой... Изначальная красота – это красота природы и красота человека, лица человеческаго.

Почему вдруг обрадуется художник, поэт, смотрячи русскую «скудную природу»? Потому что внутренния очи видят то, чего ещё не разумеют гляделки в очках.

19 сентября. Воскресенье

Сейчас гляжу на дальния холмы, на ближния ёлочки. Вещественность их отнюдь не кажется тяжёлой по отношению к «невещественным» небесам. Но эти ёлочки, эти лесистыя холмы, их нежно-чёткий рисунок и есть рама, благодаря которой я не теряюсь в беспредельности моей картины, то есть неба, но утверждаюсь и владею этой картиной.

Таким образом, картинность неба как на подносе подаёт нам земля.

В свою очередь, «красота-живописность» земного пейзажа существует только благодаря небу-свету.

«Земля бе невидима, дондеже сотвори Бог свет».

27 сентября. Воскресенье

Вчера, в канун Савватиева дня первый раз в этом году шёл снег. В Городе белыя мухи мелькали с дождём, таяли на лету. В Хотькове снег лежал весь день до вечера. Сегодня холодно, пасмурно. Оконце моё ещё не замазано. Тянет Север. Вчера топил в первый раз, а давно бы пора. После 20-го сряжаемся в Хотьков, может, и зимовать там будем. Остаточныя силы отымает у братишка ежедневная езда туда.

Оговорил погоду-то: дождик тут как тут, мукосей. С четырёх часов у окна читать-писать не видно.

4 октября. Воскресенье

Дни-то мрачны стали, мраковидны. В полдень разве день-от пошире взглянет. Грязей больших нет, хотя мостовые худо просыхают. Дождей, вишь, с неделю не было. В ночи маленько, украдкой поморосит. С Покрова озябный ветер поднялся.

С деревьев остатние листья падают. К вечеру в воздухе тусклота такая холодная.

О полдни день-то похаял, а в два часа светло стало и читать видно. А холодком от оконца потянуло. Дороги повысушило.

15 октября

Из пятого в десятое проглядел запись этой тетради: всё печаль да уныние. Всё будто про больной зуб, одно и то же. А ведь никому до чужой печали дела нет. Один в мире человек у меня есть, для которого моя печаль есть его печаль. Но прискорбно мне его повседневно и повсечасно печалить. Порадовать бы хотелось. Ему и жаловаться не надобно. Он по морде моей видит, что я всегда в унынии прискорбном.

А и как мне не унывать: глазишки еле свет видят. Хотя... и что уж унывать, – к шестидесяти подвигаюсь. Нагляделся уж на свет-то Божий. Бывало, один я любил посидеть, над книгой подумать. Теперь читать не могу. А думы безотрадные. Кроме брателка, никто не придёт, не разговорит, не уведёт печальных дум.

Пять часов, смеркается. Небо сегодня не столь густо спелёнато. Ветер холодный как будто. Мостовые пообветрели. Галки сегодня перед сумерками пролетают над городом, кричат. Знать, по-за городом холодно стало.

Маленького Михряюшки, знать, мне уж никогда не видать. Как я поеду к чужим людям, когда отцу родному туда не входно. А когда Михряюшка сам будет бегать, или ездить куда захочет, меня уж не будет в живых. Скоро год, как не видел я милого детёничка и уж боль эта стала притупляться. И эта скорбь, очевидно, стала или становится в ряд и в лик с другими печалями моей прискорбной жизни. Радостей у меня нет и забыл, когда были. А печаль знает где я живу. Печали давно ко мне дорогу проторили.

Да я бы не печалился о своей судьбине злосчастной. Тошно мне близкаго человека в печали держать. Сердце-то в кручине, дак башка-та ничего на пользу сдумать не может. Руки за дело не принимаются.

20 октября. Вторник

Теперь всё в пятом часу провожу братишка на работу то в Хотьков, то в Репихово.

Трои сутки уж снег лежит, и не таял: подмораживало. Сегодня дороги стоптаны: каплет. Пять часов уж глубокия сумерки. Облачно. Галки носятся над домами, в сумерках уж не видно их, только слышно, где-то в высоте будто неизсчётное множество фарфоровых чашечек побрякивает одна о другую. ...Вечерния сумерки, белый снег по дворам, у заборов, чёрныя дороги, галочьи вечерние голоса... Хорошо!

В деревне ещё где ездят, в колеях грязно. Но уж братец вчера из Репихова пришёл – калоши чистые. Сейгод рано зима-та. Наверное ещё растает.

Зима... Как будто я этот год и лета не приметил. Всё больше в городе сидел. Подумать: с Пасхи в деревне не был. ...Нет, был весной. Шли с брателком – ромашки, кашки благоухали, птицы пели. Май был. А в Измайлове, – какая там природа.

Вчера узнали, отчишко весть принёс, что Мишечка не слышит на одно ушко. Должно, с той поры, как он корью болел... Эх, воспитатели, бахвалы спесивые! Я-ста, да мы-ста, а ребёнка хуже чем в дикой деревне запустили. Где же замечить, что ребёнок глух, когда с мужем надо воевать, дальних и ближних со свету сживать.

...Голубчик мой маленький, ребятёночек миленький. Светлая улыбочка, весёлая усмешечка. Вербочка пасхальная, веточка весенняя. Теперь несбыточной мечтой кажется его увидеть, голосок его услышать. ...Подумать только, что он рядом жил... Теперь вражда будто стену высóку возградúла, будто ров глубок ископала.

22 октября. Четверг

Вторые сутки дожжúнушка мелкий, как пыль мокрая, и с туманом. День худо глаза-те приотворит, да и смеркнётся. В четыре часа у окна читать не видно. Холодно, слякоть, мостовые отблёскивают. На деревьях уж ни листочка. Холодно, мокредь, дак и галка-воронка во весь день не прокáркнула. Грязúнушка, а братцу хоть плыть, а в деревне на работе быть.

Но сумеречные тона одиноко-задумчиваго, молчащаго с людьми дня прекрасны. Летния общепонятныя красóты олеографичны, лубочны. Летним днём вдосталь налюбуешься. А октябрьский-ноябрьский день недолго на тебя глядит, мал час гостит. Он ничем тебя не подкупает, испытно, взглядом спросит: «Симон Ионин, любишь ли меня паче сих?». Пока ответишь, его уж и нет.

Летний день, он любимец публики, он у всех имеет успех. Летний солнечный день – баловень. Это румяный, завитой, раздушенный красавец, модная картинка. Вся «широкая публика» с ним в сад гулять идёт; все его чмокают, всем он на утеху.

А этот холодный, сосредоточенный в себе, несчастлив в любви. Он сам по себе, он незнакомец. Не ловит улыбок и взглядов. Проходит, опустив глаза – лучше любя не иметь, чем иметь, не любя.

26 октября. Вторник

Сегодня яснит. Днём проглядывало солнце. Холодно. На вечернем, ясно догорающем закате, как на фарфоре, как будто тонкой кистью нари-

сованы деревья, ветви. Осень... «Давно ли» была весна? Проходят дни, годы. Всё те же низенькие оконца и глядящая в них вечерняя заря. Мерное тиканье часов.

...Сколько было намерений, сколько надежд! В жизни я любил украшения. А украшать-то и нечего стало. В землю путь близок, а на небо крыльев нет. Художная душа, я из бумажек лазоревых да золо́теньких крылья-те клеил. На словах жизнь провёл. Баять да приплакивать был горазд. Но «Ерёмины слёзы по чужом пиве льются». Замашки были, а не взмахи. Тянулся к чему-то, устремлялся, а всё сидя на месте. Как баржа с товаром, весь век на мели. Но баржа может ли сама с мели сойти? ...Никакой пароходишко баржу-то не зачалил да с мели не сдёрнул. А уж её песками заметало и товаришко в ней подмок.

17 ноября. Вторник

Больших морозов ещё не было. Холода вперемешку с мокром. Вчера вечером вдруг отте́плило. Сегодня мокрый снег подносит.

Этот месяц живём ничего, хорошо, без нужды. Я играл в платных спектаклях. Приглашает воронежский антрепренёр на восемь разовых. С одеждой только никак не справимся. Без неё эстраднику нечего делать.

В четыре пополудни уж темна́ет. Галки кричат; небось к теплу. День преподобнаго Никона. Как просит душа-то хоть малаго покоя и мира! Пускай подмостки театральные хлопотливый заработок. (Мне пятьдесят пять, а уж, видно, старик!) Но ежели б чаще под ногами подмостки-те чувствовать! Уверенность оне дают. Когда-то были дела, выступал чуть не всякой день. Теперь забывать стали старого паяца. Не в моде стиль Ивана Фёдоровича Горбунова.

В Михайлов день, не бывшу Мишке дома, прилетела «невестка». Пофы́ркала на братца, милостиво подала мне ручку, убежала.

Чувствую я: не видеть мне маленького Михряшечки. Второй год пошёл, как я его не вижу. Отец с матерью разойдутся и, – не по чему встретиться. Может мне и легче не видеть. Я год об этом дитёночке ревел. Людям на смех.

25 ноября. Среда

С Веденьева дни, с субботы, по Александров день Невскаго три дня дожди́ло и снег без остатку сгонило. А в понеделок же, к ночи, одним часом ветер сменился; заморозило, высушило. А снегу нет. Братец на работу бродит по мёрзлым бугиря́м. Всё бегом да бегом. Домой придёт – отдышаться не может. А ему нельзя бегать. Вторую зиму кашляет тяжело. Сколько работа, друга́ столько гуля́нка эта, попа́жа на поезда ночью меня-то вконец удручи́ла. Не по силам ему, не по здоровью, не по годам.

В Александров день с эстрады вя́кал два часа. Публика – художники. На улицу-ту вышел: поно́сит меня. Да... «песни пой, избу крой, а шесть досок паси». Худой стал я. От силы на сотню публики меня хватит, а уж на большой сцене опасаюсь. Боюсь, что с воронежскими гастролями одни разговоры. Антрепренёр речист, да...

По коридору соседский мальчуган бегает. В Михря́юшкиных годах (трёх годов нету!). Всё прислушиваюсь: будто Мишуточка кричит да лепечет. Только этот нелюдимый, сердитый какой-то дитёнок. А тот всё с улыбкой. Так бы и поглядел, так бы и послушал; так бы и прижал к сердцу милаго, маленькаго Завлека́нушку, светлое моё улыска́ньице, радостное усмеха́ньице.

С желанием прочитываю об Отцах четвёртаго века. Бесконечно величавыя образы, несказа́нно трогательные. С волнением следишь это море жизни, столь отдалённой. Чудишься и любишь их, великих, дивных. А отложил книгу и... уж как бы фрески древния соглядал. Прекрасныя, гениальныя, но... о как давно это было! Нет силёнок связать и применить к теперешней жизни.

...Вервие ума кратко, не достаёт глубин тех.

На дворе морозит и ветер.

19 числа память была Филаретова. Я забвеньем утерял, не вспомнил. Беспамятен стал. Так вот и упускаю силу и уго́дье дня. Дни богатые проходят, а я скудаюсь, нищенствую разумом своим.

Но и взять-то от богатства и силы дня уж нечем стало. Опустел, ослаб, опустошился человеченко убогий. Мимо доброт и красот тех бреду. «Пропали силы, притупился взгляд».

6 декабря. Воскресенье

В канун Николина дни первый большой мороз взялся. А снегу ни порошинки. Бесснежье, слышь-ка, широкое повсюду. Бывало, смолоду мы ничем звали мороз-от. Теперь, как зима, так и печаль. А странно здесь: речки сковало, земля как железная, а белости зимней нету.

Я не вижу природы-той: дён с десять за калиткой не бывал, да и на крыльцо не выку́ркиваю. То кашель, то поясница, то ещё незнамо что. Не по годам немогу́та пришла. Без воздуха и голова всякой день болит. Порошками опился.

14 декабря. Понедельник

После Николы поднесло снежку, накрыло инде как бумажкой, да и опять нету. Морозов нет, а холодно. У меня и без морозу сердце вызябло. Неможется. День бежу, да два лежу. С утра болит голова. Днём пошевелюсь с чем ни то: комнату приберёшь, полено разлучи́нишь, и – поле-

жать надо, сил нет. Хуже стогодовалого старика. Братишко надо мной тужит. Я отговариваю: ахал бы дядя, на себя глядя. Он с двумя-то работами до краю добился. Осенью бродил, в грязи тонул. Теперь о голый лёд колотится.

О маленьком Михряюшке год плакал я слезами, мало не всякой день. Теперь перестал. Заговорят о нём, толконёт в сердце печаль... Всяку болезнь, печаль и воздыханье надобно и должно мне за веселье почитать: из болезней сердечных тех ожерелье паять и тем украшаться. То уж надёжное украшенье: никто не отымет.

У жильцов есть маленькие ребятёнки, забавные, а... всё не то, всё не оно, не Мишуточка. Но сотворил рядом со мной маленький Мишуточка. Открыл мне сердце «ключиком таинственным». Бывало, не глядел я на малых, теперь нежность явилась. Милое дитятко: пустошная и скаредная злоба пуще бури-непогодушки отнесла тебя от нас. Воистину, – нет зла против злобы женской! О, злоба женская скаредная, мелочная и подлая!

С воскресенья, 20-го, зачнутся предпразднества. «Просите, говорит, и дадут, ищите и найдёте, стучите и отворят»... Вишь, просил-то я только языком для балаболу. А искал только похотей лукавых. А стучал я как барабан: к старым-то своим годам вижу, что не вера у меня была, не взысканье Бога, а суетня около. Неиграемым играл весь век. «И хочется, и колется, и блудня не велит». Такие, как я, только треплют имя Божье. Хулится оно такими, как я, а не славится. «Талант» этот мне был отпущен, дан. Я им как игрушкой играл. Как погремушкой баловался. Писанья, минеи, чины, службы, посты, праздники... И я, как попрыгунья-стрекоза, вокруг да около: ах, красиво, ах, поэтично, ах, возвышенно!.. «Лето красное всё пела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза...». Старость-та подходит, и вижу, что не на деле, а на баснях век-от проводил. Я сделал для себя игрушкой-забавой то, что есть смысл жизни. И вышло: «отцу-матери бесчестье, роду-племени позор». А уж «зима катит в глаза», то есть нечувствие, уныние, упадок сил душевных и телесных. А к яселькам-тем подползти бы да припасть бы, скоро, уж скоро пастухи-те услышат: «Слава в вышних Богу, и на земле мир». Нежность, говорю, к детям Мишечка во мне ключом таинственным отомкнул.

...Младенец Вифлеемский, Младенец миродержавный, дай к Твоим яслям припасть. Нет иного счастья, иной радости. Убогий вертеп, убогие ясли... Младенец Божественный, Ты с нами. Младенец прелюбимый, свете миру, мир Твой даруй сердцу моему! Свете беззакатный, солнце незаходимое, Младенец предвечный, Дитя пречудное, Дитя вожделенное, к яслям Твоим припадаю, перед Тобой плачу. Дивно безмолвствуя в яслях, Ты слышишь нас.

30 декабря. Среда

«Зимы ждала, ждала природа – снег выпал только в январе»[1]. Сейгод так и получается. Ежели выпадет снег-от. На второй день Рожества постлало тонко-белую скатерть. Через день по городу и ту сгонило. Вчера опять в бумажный лист напало. Подморозило. Ночью я вышел во двор. Месяц высоко стоит. Белый дворик сияет снегом... Почудился я и подивился. Забыл уж об этой чистой красоте. Как будто давно это всё было и отошло невозвратно. Потому я и болею душой и телом, что лишился чистоты, тишины, прозрачности и светлости природы.

Не вижу природы, не дышу ею, утерял ея светлое виденье и знанье. Зачах, выдохся я в камне, в подвале. Не дышу воздухом, не вижу простора.

[1] А.С. Пушкин «Евгений Онегин», гл. V.

19 VII 25

1949

Василия Великаго <1 января?>

Генварь зачался Зимы два месяца осталось. Время к свету пошло. День прибавился на час. Святки проходят, а мне ни тепло, ни холодно: мне что праздник, что будни. Пустота на сердце пала. Вымороченное именье, а не человек стал. «Три клада в сей жизни были мне отрада». Ни единаго не сохранил.

6 января. Среда

Всё не в себе живу. Ни в тех, ни в этих прозябаю. Как хоромина непокрыта, как одёжина без рукава. Ни к чему не гожее моё существование. День за днём – всё мимо меня. Всё без пользы. Светлый разум дней где-то далеко от меня проходит, стороною. Не слышал, как пастушки играли на свирелях, свет не знаменался на моей темноте. О, как богата нищета яслей тех и насколько скаредно моё оскуденье.

Изо дня в день уныло пою. Нищий и тот разнообразит жалобный свой напев, чтобы побольше выпросить, а я заладил в одну дудку. Вот уж надокучил: лучше бы околел, а то всему свету надоел.

Ведь есть люди счастливые, которые и «большой кампан» слышат. А я, лишённый, чую ли деревянную колотовку? Грешное тело и душу съело. Немощно тело, а душа пуще того.

На дворе, кабыть, зима. Морозов не было. Малёхонько, радёхонько снежок перепадает.

Братишко всё в худых душа́х бродит. Я ему худая помога, – из-за того пуще и унываю. Никто к нам не ходит. И доброхотам-то нужда и докуки наши надоели.

Изредка, к ночи, когда приутихнет над городом, вылезу на двор. Белая пелена снега, молчаливыя громады домов, молчащее тусклое небо. Слушаю: где-то прокричат галки. ...Вздохнёшь, запросишь мира какого-то в душу.

Как велик упадок церковнаго пенья! Правый, «праздничный» хор, как правило, исполняет номер за номером пошлейшия, кричащия, безвкусный вещицы. Левый хор – кто в лес, кто по дрова; кто рубль, кто полтора.

13 января. Среда

Второй день притаивает на солнышке. Тихо-безветренно. Погода: будто и март. Снег-от выпал, братишко катанки подшил, а по городу не пройдёшь – водяно по расхожим-то улицам.

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...». Ох, «думы мои, думы мои, лыхо мене з вамы...». Обрадоваться охота чему ни то! Братишку надо бы от упряжки освободить. Не по силам ему!

...Ино, мои-те заработки всегда вилами по воде писаны: вспомнят, ткнут в какой-нито концертишко. А не вспомнят – сиди жди. А здоровьишко худое. Голос короток стал, звонкость потерялась.

Не порато[1] стары мои годы, а радости в душе, в сердце, в сознаньи не стало. Видно, не в кованой скрыне хранилось, а в деревянной чашке штянóй налито было моё «сокровище духовное». Чашица-та обветшала, трещину дала, сила духа утекла.

На дворе смерклось к пяти часам. Месяц назад к четырём смеркалось.

18 января. Понедельник

На дворе мягкая, белая «зимка». Дворик наш белой скатертью устлан. Встану под деревом. Сквозь тонкия веточки небо видится; будто и природа. Снег шёл день до сумерок. Люди всё толкуют – «уж один месяц зимы остался». И я утешаюсь – скоро февраль-«бокогрей». Сживаю да сбываю зиму-ту. Неладно это. Всякое время года надобно принимать как доброго гостя и жить с ним душевно, а не спихивать, не тяготиться: скоро ли, де, ты уйдёшь?! Какое время стоит на дворе, то и следует всякой день проводить благодушно.

Зима сейгод до нищего человека милостива. «Крещенских» морозов не было. Афанасьевских, сегодённых, – тоже. Ударят ли «сретенские»? А там солнышко о полдни станет пригревать. Толкую, что и в зиму надо благодушно поживать, а сам и в «сиротскую» зиму зябну как торокан. Не греет кровь-та! Печь всякой день топлю: дрова волочу, в поддыменьи сижу. Больная голова ни дыму, ни угара не терпит.

Поучаю, что зиму как гостью добрую надо принимать, а сам умишком-то безпýтым в марте, в апреле плаваю. Рассчитал, что «плющиха» в понедельник на II седм. В.П. «жаворонки прилетят» во вторник III седмицы поста; а с «гор вода» в среду на Крестопоклонной. Благовещение в четверг на V-й. 1-е апр. в четверг на вербной Седмице.

Намедни прочитал трогательное, чудесное сказанье об основании Тверскаго Отроча монастыря. ...Когда-то, ещё в детстве, я читал эту прекрасную повесть и забыл. ...Но как тогда, в детстве, так и теперь, к старости, всё то же впечатление золотаго, ранняго утра. Утро моей жизни там, далеко, в светлом Помории, и утро святой Руси. Какое-то единство переживаний и впечатлений. Читая повесть, живу жизнью детства своего. Эта повесть и подобный ей навсегда пленили меня в любовь к красоте

[1] Не порато – не очень (диалектн.).

Древней Руси. Я с детства, с самой ранней юности стал искать эту красоту в красоте родного Севера. Тщился изображать её в рисунке, в красках.

22 января. Пятница

Хвастал я, что и Афанасьевских морозов не было. Ино 20-го, в среду, крепонько хватило, да с ветром, с сивером. Вчера вечером мело. Сегодня утром притаивало. К вечеру запад яснит сквозь розоватую облачную муть: небось, к ветру.

Я, нижайший, всё в худых душах, вернее, в худом теле. Печку еле истоплю. Ночь не сплю. Лежу, сам себе в уме какой-нито рассказ рассказываю. Людям-то некогда меня слушать, а мне им рассказывать негде. И я сам себя веселю. От печальных мыслей себя увожу.

24 января. Воскресенье

По-северному сегодня «полузимница Оксенья». По-здешнему, вроде как с Афанасия сейгод зима-та началась. Через день мороз, не велик, да стоять не велит. Братишко катанки решил зауши́ть. Чает: пимов худых на месяц хватит. А там-де вешние воды.

А я оттепель люблю. В морозную ясень природа как горница без потолка, как жильё непокрыто. Как-то резко и бойко всё и при зимнем холодном солнце, и при летнем полуденном. Тут оговорюсь: на хотьковских холмах в феврале, при солнце неописуема, несказанна блистающая чистота и прозрачность дня. Воздух, белизна, лазурная синева теней!.. Но я люблю тихую, нежную облачность оттепели. С крыши тихонечко каплет. Где-то каркает ворона. Молчат дороги: нет этого резвого скрипу. Задумчиво небо... Инде разлилась тёмная на белом снегу лужа... Какая-то грусть, обещающая несумненное веселье.

Вечером сбродил к службе. Пастырскую свирель Григория не риторов трубы, а докучное и бездарное творчество богомольных барынь середины XIX века побеждает.

О Великом, уме крайнейшем, почти и не слышно. Глубины духа изыскавший где-то «сзади, Христа ради», с нищими на паперти. Всё заменено службою «Утоли моя печали», «...устав не писан». Акафист – многословие не без пустословия.

Как гневался Филарет на такое бездарное «творчество»! Гневался и не знал, что делать с этим мутным диллетантским потоком, засоряющим уставную службу и подавляющим её.

Не хулю праздник «Утоли моя печали». Но ведь Деве Богородице всякой день поют гимны, составленные классическими поэтами Церкви.

Во всяком случае замалчивать, пренебрегать памятью Великого Учителя и Отца доказывает величайшее скудоумие тех, кому сие ведать надлежит.

А здесь местный, бытовой праздник всячески подавил праздник вселенский.

2-й час ночи. Белеет укрытый снегом дворик. Его обстали тёмные, молчащие стены. Одиноко и высоко сияет луна. Прокричит со сна галка. Город примолк. Домá спят. Гаснет последнее окно.

26 января. Вторник

Зиму-ту проводили было. А она, матушка, не собиралась, видно, уходить. Морозец уши добре прихватывает, да с ветром. Ввечеру носил дрова из сарая. Таково-то светел месяц в непостижных, беспредельных высотах небесных. Снег под ногами скрипит. По белизне его моя синяя тень ходит. Дышишь морозной этой чистой ясностью. Стравила, выела, выдула ясность чистая, морозная проулочную, междомную копотность, грязность, дохлость.

...Трое их великих, светлых, вечных собралось в зимнем этом месяце.

29 января. Пятница

Сам себя тешил нарóдишко, что зима прошла, «без рукавиц можно». А она по Афанасьеве дни силу забрала. Сейчас уж сретенские жмут: по улице бежи, ухо да нос держи. Оконца у нас утлыя, из лучинок складены; затянуло морозом, всяким ремóшьем заокутываем. Печка-галанка тепло худо держит, ветхая. А се и дрова экономим.

4 февраля. Четверг

Облачно, с крыш капель. По дворам утоптались тёмныя дорожки. Отмокли тротуары, местами лужи, скользко. Зычно прокаркивают вороны. И в вечерней тишине – капель с крыш.

Михайло ездил к тёще. Оказывается, она почти всю зиму одна-одинёшенька с двумя внучатами. И воду ледяную добывает-носит, и за коровой ходит-убирает, и печь топит, и еду готовит, и моет, и стирает, и с двумя младенцами водится – всё она, всё одна... Я услышал – ужахнулся. Ведь с ребят-то ни днём, ни ночью глаз нельзя спустить! Спит ли когда она? Присядет ли днём-то хоть на пять минут? ...Я Михайле говорю: ты и твоя жена, оба вы должны этой труженице «ноги мыть и эту воду пить».

<...>

14 февраля

...Как-то я уже поминал: старая девица (из «богатых»), как настанет Велик День или Святки, и она в те дни опухнет от слёз. Вишь, юность и детство вспоминает: как-де у них празднично было...

Это мне непонятно. Вот хотя бы моё дело: наследством, по родителех, не судил Бог владеть. Но воспоминания детства для меня богатое наслед-

ство! Неиждиваемое, неотымаемое, непохитимое, неистощимое. «Не говорю с тоской – их нет, но с благодарностью»[1] – оно есть у меня, оно при мне. Золотое детство не воспоминания для меня, а живая реальность. И она веселит меня. В труде весь свой век и весьма небогато жили мои родители. Но жили доброчéстно. И тихое сияние этой благостной доброчестности чу́дным образом светит и мне. Светит и посейчас.

В этом какой-то великий и благостный закон. О, как это должны знать теперешние молодые родители, имеющие детей!

И вот именно поэтому люди любят рассказать-вспомянуть своё детство-молодость. Бабки-деды – внучатам, отцы-матери – детям, бабы-хозяйки – у печки, у плиты – друг дружке.

Бывает, что человек вынес в жизни множество горя и, представьте! – он с годами, рассказывая о бедностях, об утратах своих, уже не жалуется, а хвалится ими! Потому что самый незначительный человек, вынесший много горя, становится значительным, заслуженным.

Старики, когда скорбные случаи их жизни, бедствия, утраты отодвинулись, начинают говорить о них как бы хвалясь. Перенесённые скорби становятся приобретением. Одинаково с радостями.

В течение тридцати лет знаю женщину, теперь уже старуху. К двенадцати годам лишилась родителей и пошла работать «на торф». Вышла замуж: за горького пьяницу, который удавился, оставив её с кучей детей. Сын пропал в уголовной тюрьме. Теперь эта старуха живёт относительно спокойно, нянчит дочкиных детей. За последние годы я не раз слышал её рассказы об её жизни. Старуха эта всегда производила впечатление существа забитого. Но год от году рассказывает она свою жизнь интереснее, художественнее, вдохновеннее. Лет двадцать назад она немногословно-коротко вспоминала о том, как умер её отец: «Пошёл отец-то к утрене, весна была, воды. Он меня, крошку, на руках нёс. А утреню отмолились, на обратном пути (из села в деревню) он присел отдохнуть и умер».

Недавно в кухне опять я слышал от этой старухи рассказ о смерти отца. Все детали выросли, стали знаменательными, провиденциальными. Уже отец ея, стоя у заутрени, чует близкий свой конец и произносит мольбы о грядущей судьбе дочери. В таком плане старуха осмыслила и другие скорбные эпизоды своей жизни. Чувствуется какая-то гордость.

Передавая <«предаваясь?»> печали и бедности своей жизни, человек, конечно, и вздохнёт, и задумается. Зато как любо, как весело пересказывают люди светлые картины своего житья-бытия. Об уюте родительского дома, о доброй воркоту́хе-бабушке, о труженике-отце, о нежно-заботливой матери. Все они давно умерли, и кончина их, в аспекте прошлого, представляется рассказчику закатом тихим и мирным.

[1] В.А. Жуковский «Воспоминание».

О бабушках, о тётушках своих люди рассказывают много забавного, любят описывать, как проводились в семье большие праздники, именины. В том же настроении, веселяся, опишут и случившиеся пожар, покражи.

У всякого человека есть что вспомнить, но у человека бездарного ничего не отпечатлелось. Бездарному всё ни к чему, всё мимо носу прошло.

Самая великая печаль человеку – утрата близких, вековечный уход их. Уходит отец и мать, муж, жена, брат, сестра, дети, друзья верные. Пусто, тошно, несносно обживаться без человека, с которым жил однодумно и советно, который всегда был на глазах, которого ласковые речи всегда были в ушах. Но проходит время, «годы катятся, дни торопятся», пустота заполняется. Глубокий ров скорби, которому, казалось, не было дна, уравнивается жизнью, её неизбежными ежедневными заботами, событиями, новыми огорчениями и радостями. И человек помнит и ощущает только яркость и светлость, интересность и занятность бывшего спутника и участника жизни. Конечно, чем дольше шёл ты по жизненной дороге с близким твоим, тем дольше будет и неутешность твоя. Скорбь об ином утишит тебе только Мать Сыра Земля. Но у большинства людей время залечивает эти раны (старость нередко приносит известное нечувствие).

О, как досадно слышать:

– Всё это было, да прошло. Что прошло, то не существует. Чего не видишь глазами, чего не ощущаешь руками, того нет...

Немысленная речь! Невещественное прочнее осязаемого. Полено хоть сто лет в пазухе носи, полено и есть. А вот матери своей или сестры я годами не видел, без меня обе померли, но любовь и благодарность к ним живы со мною. Всё, что было, то я в себя вобрал, и оно есть. Горестное бывало, но! надобно вразумиться сердцем и принять бедности все как науку, как врачевство, как опыт для остаточных дней и – почувствуешь удовлетворение.

Всё, что ты видел, всё, что ты делал, что переживал, во что вникал, над чем радовался или скорбел, всё это, как некие неиждиваемые дрожди, остаётся в тебе. Ежедневная твоя жизнь должна быть и есть творчество (твои думы, твоя работа, отношения с людьми, разговоры с ними).

Из сказанного вытекает силлогизм, ради которого я и весь этот разговор завёл: мне часто пеняют, и на меня дивят, и меня спрашивают: «Для чего ты в старые книги, в летописи, в сказанья, в жития, в письма прежеотшедших людей, в мемуары, в челобитные, во всякие документы вникаешь? Надобны разве для жизни эти "дела давно минувших дней, преданья старины глубокой"?» И я отвечаю: «Совершенно так же, как веселит и богатит меня жизнь-история моей семьи, отца-матери, бабок-дедов...».

22 февраля. Понедельник чистый

Мы обычно не управляем своими чувствами. Не являемся домостроителями своего душевного состояния. Не разбираем по цене, по стоимости, по весу, по величине разных напастей, которые, как стрелы в примету летят всякой день на всякого человека.

Малодушие, душевная неуравновешенность, слабонервность, свойственные и старым, и молодым, сущее бедствие для всякого возраста. Слабонервного человека одинакого повергает в уныние и реальная, и воображаемая неприятность. С человека молодого тяжёлое настроенье быстро скатывается. «Э, завей горе верёвочкой! Наплевать! Авось, как-нибудь!» Дрожди молодости бродят в молодом существе, не дают опасть тесту.

Но, годов с пятидесяти «закваска», обычно, перестаёт действовать.

Опара опускается. Кровь перестаёт играть. Радость естественная теряется. Жизнерадостность уходит безвозвратно. Малодушному, слабонервному, неуравновешенному человеку (а такие люди всегда и физически болезненны) пожилые его годы сущая беда. Усиливается болезненная мнительность, появляются всякие мании, idée fixe. Молодой человек и реальную неприятность быстро переживёт и отодвинет её с дороги. А пожилой неврастеник и воображаемую беду переживает и пережовывает долго. Тут дело доходит до психоза: неврастения переходит в психастению. Здравый рассудок, здравая логика поддаются действию страхов, выдуманных, нелепых и странных для постороннего нормального человека. Бывает, что психопат сам сочинит, выдумывает какую опасность и, даже сознавая, что это его выдумка, не сразу освобождается от тяжёлого упадочного состояния.

Эти люди большей частью втайне страдают от своих маний, не выказывают на людях эту свою болезнь. Они, временем, сознают, что страхи и тяжёлое душевное состояние их... не совсем основательны. Эти люди не прочь подчас и повеселиться.

Таковы многие и многие из нас в большей или в меньшей степени.

Но поскольку мы способны приходить в здоровое, нормальное психическое состояние, поскольку мы, зачастую, способны сознавать, что страхи наши, возможно, мираж. Поскольку мы рады освободиться от дурного нашего состояния и тяжкого самочувствия, то – давайте, освободимся!

Вот, сознаём же мы, что, например, больной зуб можно удалить, что глупо эту боль терпеть. Вот, понимаем же мы, что хромота не есть нечто присущее человеку. Ведь, сознаем же мы, что мир не таков, каким видит его человек с больным зрением. Почему же как не прокорректировать наших психозов? Это работа благодарная, благопотребная и необходимая.

Оставим толковать о миражах, и высосанных из пальца страхах. Это излечивает время: человек убеждается, что ничего такого не случилось.

Потолкуем о реальных, неизбытных неприятностях, семейных, служебных и т. п., о которых претыкаются все люди. Поговорим о фактах. К одним и тем же фактам есть правильное отношение и есть отношение ложное. Половина, даже три четверти спасения в том, чтобы человек неврастеник-маньяк, психастеник сознавал, что он мыслит ложно, искривлённо, неверно, что «логика» его порочная, дурная, ошибочная.

25 февраля. Четверг

В понедельник Плющиха Овдокея... Зима на извод пришла. Сейгод на зиму обидеться нельзя было, а весна всё любее. Снегу сейгод и по дворам мало. На улицах лёд днём мокрый. Ручьёв больших, верно, не будет: жаль. На солнышке, на пригреве зачали весело чирикать воробьи.

Сбродил к Мефимону. Как хорошо! Пенье «домашнее», но самый канон поистине велик, действительно, предельно полн неиссчётным умилением. «Я драхма, которую Ты когда-то потерял. Найди меня». «Лежу, как Езекия, и плачу. Какой Исайя утешит меня? Ты Сам приди»... И эти светлыя хвалы Египтянке... Встаёт ея прекрасный, чистый, удивительный, любимый образ.

Назад шёл: высоко стоит месяц над домами. Тонкий ледок на лужах хрустит и опускается под ногою.

Остыла, отяжелела былая впечатлительность ко всему тонкому, высокому, прекрасному. Надобны стали внешния побуждения. И сильныя. Купно с телом одряхлел и дух. «Не имам слёзы умилительныя». Но и опять скажу, почему это так: впечатлительность к «высокому» той же кровью питалась, которая возбуждала и низменныя страсти. Всю жизнь я ползал семо и овамо. Сколько на небесную красоту поглядывал, вдвоевтрое земную пошаривал. До обеих лаком был.

Между тем природа, сущность оной горней красоты такова, что она не может смешиваться ни с какою «красотою» сомнительною. Возлюбил её и иди за нею, не шны́ря глазами вправо, влево и назад. И я век свой к той, «единой на потребу» красоте, не шёл, а как рак, задом к ней пятился. Тот там рак не горевал, прибылой воды ждал. А меня какая вода с мели снимет? Я и рак-от не живой, а как кирпич в тине лежу.

Как комар, ною про это, а что же надо сделать?

– А уж это программа всей жизни. Хоть пять годов жить осталось, хоть двадцать пять. В этот благой университет принимают без ограничения возраста. Хотя ты и задом наперёд ходишь от древности, – ничего: садись за парту, берись, поне́, за букварь. Не тужи, что кости трясутся.

Как же на эту дорогу встать? Где этот ум взять?

...Вот вторая неделя постов Пала́мина будет. Его зови: «...Як ум Уму Первому предстояй, к Нему ум наш настави». А через три дня вникни

в жизнь той, которая «правостью умною привязала душу свою в любовь Христову». Которая «тленная, красная и временная забытием претекла».

Вишь, всё про ум говорится. Понятие «душа» вроде как и не ясно нам. Что она такое? Жизнь, дыхание, чувствования? А ум... это будто бы мы понимаем (!). И «Первый ум», то есть подлинный ум, то есть оригинал всякого ума есть Божье Слово. Следственно, мы должны быть копиями живыми. О, как возвеличен человек! Ведь человек же был Палама. А он назван «ум божественный».

Добро войти в стихию, в степень, в русло такого ума. Правильность мышления здесь не даёт результата схоластическаго, сухого. Правильное, логическое мышление, «правость умная» приводит здесь мыслящее существо человека в любовь.

...Ночь. Высок и светел месяц. Скроется в лёгком облаке и снова сияет. Лёд блестит на дворе в свете месяца, лёд, притаявший днём, прихваченный ночным холодом. Ночь вся исполнена каким-то лёгким, как бы растущим светом месяца.

1 марта. Понедельник

Ветер сегодня как солью солит. Холод, ознобным ветром всё высушило. Сегодня «курица из лужицы не напьётся». По старым приметам: холода ещё будут, протяжная, не крутая весна. Братец упахал в Хотьков худо одет. А инфлуэнца ходит. Холодно на дворе, а тускло, ровнóблачно небо-то.

2 марта. Вторник

Прочитываю книгу «Чины колмогорские соборные». Первый завод Афанасьев на Севере... Бывал там, видал места те. Шумящие под ветрами воды, песчаные берега. Древний деревянный городок и поодаль меж старых елей белокаменное Офонасьево зиждительство.

Великого размаха был человек. Под стать Петру-то. Какую художественную нарядность, какую цветистую картинность. Как декоративны, каким восхитительным зрелищем, истинно театральным, были даже эти «большия и малыя провожания» Афанасия из его дома к службам и обратно. Перезвоны, обрядное пенье, узорные аксамиты, разноцветные штофы... И всё это на фоне строгой и прекрасной природы, под жемчужно-восковым небом Севера. Сколько тут было для народа посмотренья-погляденья! Было на что полюбоваться! А ведь не про это, про другое любованье мне поквакать было охота. Ведь то моя родина. Чины колмогорские соборные старинные глазами читаю, а сердечное, а умное-то око видит, как всё это при мне, во дни юности моей было. Чины Великаго поста, Велика дня конца XVII века читаю, чины служб церковных, а по свойству моему вижу обтаявший пригорок у южной стены собора. И мосточки тут вытаяли

и обсохли. Бугор соборной, хоть пообсох с юга, трава ещё бурая, прошлогодняя. Старухи тут сидят, в шубах с долгими рукавами. Из-под шуб видны сарафаны с репейчатыми пуговками. С холма далеко видать: речки ещё не вышли, но уж лёд, инде, посинел. Под Куростровом, где стоит древний ельник, уж вон какие забереги! Попадут ли куростровские к заутрене... А что матигоры, что куростровы, они художники, любители до чинов, до красот, до обрядов, до всяких прекрасностей, интересностей!

Долга предвесенняя и весенняя пора на Севере. Долго великия <вешние?> воды шумят и поют; долго глядится весеннее небо в полыя разливы рек. Долги вечерния, тихостныя апрельския зори. А в три утра светает. В Великий пяток на Погребение, бывало, бежишь: светлооблачно, с моря ветерок, инде полоса снегов, инде воды по улицам. Серёдка реки водой взялась, от ветра рябь идёт. Меж островами лёд стоит. В распуту весеннюю бывает холодно с ветром, когда реки идут, а весело на сердце! Бывает, река ещё стоит, а уж Город утопает в водах. По улицам на плотах ездят и к Страстным службам чужими дворами ходят. Тыны-заборы нарочито разбирают.

Таким образом, читая о XVII столетии, вижу я свою пору и о своей поре веселюсь. Соглядая художественность быта онаго столетия, радуюсь тому богатству впечатлений, переживаний и настроений, которыми так обильно упивалась душа моя там, на родине.

И вот ведь какое чудо! Эти впечатления и переживания отнюдь не воспоминания, отнюдь не прошлое для меня. Что было потом, лишь прибавилось к тому, что было раньше. Скажем: в юности отец-мать подарили мне сто рублей, а я прибавил со временем другия сотни. Ведь первая-та сотня не потерялась!!!

Может быть, я не вспоминаю по частностям тех фактов, которые сладко поражали мою впечатлительность. Очевидно, не факты, а сила радости, рождаемой фактами, неустанно клала свои печати на душе моей. А душа есть вещь непреходящая, нестареющая.

Вот почему веселить может «воспоминание».

Когда, например, запоют «вечную память», мы повадились рёв, хай, скулёж подымать. И тут мы являем, насколько мы малоумны, и безразумны, и полуумны. Потому что в разуме Божием, то есть в разуме вечном, всемогущем, всеведающем и всезнающем, понятия «память» и «жизнь» равнозначуще-равносильны и восполняют одно другое. Кроме того, память составляет половину ума-разума нашего. А о Зиждителе отцы говорят: «Все мы, живущие и отшедшие, живы в разуме Божием». Поэтому: «Помяни, Господи...».

О второй ипостаси Троицы акафист поёт: «Иисусе, память предвечная». День «памяти» какого есть день его жизни с нами, жизни особенно близкой

и соборной. Хотя тебе не заказано воспоминать его, то есть жить с ним, разговаривать с ним, то есть молиться ему всякой день.

И воспоминания личной жизни человека могут быть однородны и равноценны «памяти Бога», и эти наши воспоминания суть дрожди, который квасят всё наше «смешение», и сила их животворна и не умирает.

4 марта. Четверг

На вчерашнее число в ночи снег пал, и вчера весь день сеяло с дождём. И таяло. С крыш текло. Сегодня к вечерней зоре прояснило, а дорогу не везде пройдёшь. Соседний переулок как река в ледоход: снегу разъезженнаго гряды да талая вода продольными лывами. Сейгод с крыш не роют: малоснежна была зима. Сам снег-от сбежит.

Прочитывал эти дни «Чины колмогорские соборные». От 1682 года по 1744 год. Это всё «дневныя», даже «повседённыя» записи, ведённыя в Колмогорах, в Городе, и в деревнях Двинского понизовья. Благодаря большой подробности записей эпоха как живая встаёт перед глазами. Ты видишь эти карбаса, украшенные «клейнодами» Афанасия, Рафаила, Варнавы, видишь паруса с гербами, видишь деревянное зодчество, закладку зданий каменных, в которых ты, спустя двести лет, сам бывал и художество их помнишь не хуже убранства родного дома.

Чрезвычайно ярко отражена духовно-культурная жизнь Севера. При Афанасии Любимове на Колмогорах была живописная мастерская, где не только писали новое, но и поновляли древнее. Афанасий, так же как и современник его знаменитый Никодим Сийский, были страстными любителями искусства живописнаго. Никодим сам был «живописец преизящный» и составил трактат о живописи. Сийская школа живописи (XVI–XVIII вв.) не изучена совсем, по сравнению, например, с новгородской или московской. Манера «сийскаго письма» родственна устюжской.

Год за годом описана жизнь Афанасия: как встречал он Петра I, как плавал с ним на «новоманерных» судах.

Описанье холмогорскаго дома, где жил Афанасий, показывает, каким знатоком и любителем декоративнаго искусства был этот северный деятель.

Афанасий, как и Пётр, любил воду, и можно сказать, вся книга о нём наполнена стуком вёсел, плеском двинских и беломорских волн.

Поэт чувствуется и в авторе «Вседённых записок». Благодаря автору, о чине и имени которого можно только догадываться, сколько видишь, а ещё больше слышишь голоса, музыку эпохи...

Кроме плеска вод, исполнена книга денно-нощными перезвонами колоколов и уставным пением, знаменным-столповым и демественным. «Звон учали за час до свету». «Звон был переменялся в малые колокольцы».

Получена весть о кончине царя Ивана Алексеевича. «Указал владыка к пению благовестить в большой колокол, в один край редко ударить единожды и, в конце звука, дважды и снова, при конце звука, единожды».

«В лето 1702, в ночь на 6-е сентября владыка Афанасий помре скоропостижно». В лиственничной домовине лежал он девять недель, ожидая официального указа из «царствующего града» о погребении. Многолюдные поминальные столованья в третины, девятины, 20-й и 40-й дни, с пением, с заупокойными чашами, по обычаю, справлялись тут же, в присутствии безмолвнаго владыки.

А нравом он был крутенек. Плавал однажды под парусом в Чухчерему «на обновленье». А карбас с соборянами запоздал. В наказанье всем им владыка приказал положить «по сту земных поклонов в шубах».

Как художественна, как торжественна была эта уставленная Афанасием жизнь в зимние великие праздники – Рожество, Крещенье! В ней участвовали не только Колмогоры, но и окрестный именитыя селения: Куростров, Ухостров, Матигоры. Как удивительно преподносит это всё автор «Чинов холмогорских»! Слышишь эти перезвоны в сияющем звёздами северном небе. Видишь эти толпы, шествующие к ночным службам. Слышишь скрип шагов, пенье, славленье.

Великолепный и священный театр учинил этот владыка-художник. Нет никакого сомнения, что только благодаря Афанасию так неожиданно пышно расцвело в XVIII веке холмогорское искусство резьбы по кости.

6 марта

Творчески одарённый человек создаёт около себя и распространяет атмосферу увлекательную и живительную для других. «Подобное влечётся к подобному» (Платон). У какого дела работает мысль человека, там и творчество. Всякая творческая деятельность человека рождает около себя жизнь. Особенно это относится к области искусства. Искусство тогда живёт сильно, когда оно вовлекается в строительство жизни. Та или другая эпоха, строительствуя, имела свои идеалы. На Руси в XV веке стержнем «большого» искусства была церковность. Центром внимания «большого» искусства была только религиозная тематика. Со второй половины XVII века волны общей жизни ушѝрили многоструйную реку русских художеств. И церковное искусство как-то разрумянилось, раскудрявилось, подало руку бытовому народному искусству. Если портретист начала XVII века, пишучи царя Михаила, всячески тщился уподобить живое лицо иконописному лику, то в конце века наоборот: «белостью и румяностью», доведёнными до лубочности, старались добиться «живства». Старообрядцы только себя считают охранителями древней иконописи, забывая, каким яростным гонителем новшеств в живописи был как раз их антагонист Никон.

Но и сторонники Никона, теоретически разделявшие его взгляды на искусство, может быть, незаметно для себя увлеклись «живостью» в искусстве и способствовали этой живости. Таковы были, например, знаменитый деятель Севера, холмогорский архиепископ Афанасий[1] и современник его, страстный любитель искусств и сам художник, сийский архимандрит Никодим[2]. В Списком монастыре была старинная живописная мастерская[3]. Под руководством такого теоретика и практика, как Никодим, была, несомненно, и холмогорская мастерская. И если у себя в обители Никодим поддерживал относительную древность «сийского» стиля, то на Холмогорах, поощряемый широкою, жизнедеятельною натурой Афанасия, вводил в иконопись реальный пейзаж, «младую округлость» фигур, белость и румяность ликов. Впрочем, и Сийская школа давно, ещё до расцвета своего при Никодиме, писала ангелов с обнажёнными по колено ногами, с голыми по локоть руками[4].

В таких случаях исследователи начинают, как дятлы, долбить о влиянии Запада. Любовь Афанасия к художеству объясняют (А. Голубцов) исключительно влиянием Немецкой слободы в г. Архангельске. Жалкое, но типичное объяснение. У торговых дельцов, наезжавших в Россию исключительно для наживы, наши Афанасий и Никодим заразились, видите ли, страстью к искусству.

Нам гораздо интереснее то, что эта страсть Афанасия строить, перестраивать, обновлять, а главное, украшать дала толчок, стимул бытовым народным художникам и ремесленникам. В течение двадцати одного года, буквально день и ночь «без пома́ну», и на Колмогорах, и в Архангельске, и по Двине, и по Пинеге работают «каменные мастера», «плотники добрые», «искусные умельцы по железу», «мастера кузнечного дела», «добрые мастера столярского художества», «изрядные живописцы-малеры»[5]. В великом фаворе у Афанасия были художники – резчики по дереву и, конечно, резчики по кости.

---

[1] Род. в 1640 г., умер в 1702 г. – Примечание Б.В. Шергина.

[2] Жил и работал в Сийском монастыре, недалеко от Холмогор. – Примечание Б.В. Шергина.

[3] Основана преподобным Антонием (ум. в 1569 г.), который сам был «живописцем изящным», «Сийское письмо», то есть стиль, определилось уже к концу XVI века.– Примечание Б.В. Шергина.

[4] У старинщиков, у старообрядцев, любителей издавна существует термин «северные письма». Так называют иконы своеобразного стиля, вывозимые с Севера. Их изводят то от Строгановых с Соли Вычегодской, то из Устюга, то с Вологды... Почему-то совершенно вне внимания осталась и остаётся школа «сийская», существовавшая, во всяком случае, до конца XVIII века. Как ни странно, эта школа раньше других русских школ живописи отразила на себе «барочные» веяния (а может быть, ренессансные?), но преломила их чрезвычайно своеобразно. Несмотря на какое-то веяние Ренессанса или барокко, сийские иконы, например, первой половины XVII века, выглядят архаичнее икон московских той же поры и не похожи на них. Но не похожи они и на новгородские (ни на византийские – большая декоративность). Цикл икон на тему «Апокалипсис» (12 громадных квадратных досок) в церкви Рождества в г. Архангельске. Тона синие, зелёные, чёрные. Мало вохры и киновари. – Примечание Б.В. Шергина.

[5] Эти «ма́леры» расписывают карбаса и струги, паруса и завесы, сани и кареты, потолки и двери, крыльца, галдареи и переходы. – Примечание Б.В. Шергина.

Холмогорская резьба по кости является одним из самых оригинальных, самых изящных народных художеств России. Из всех народных искусств Русского Севера оно стало и широко известным, и наиболее оценённым.

Читающий статьи-исследования об этом искусстве получает впечатление, что оно как бы вдруг, как бы упав с неба, расцветает на Колмогорах с первой половины XVIII века. Прикидывая и примеряя, один из исследователей (а их всего двое) полагает первым организатором холмогорских костяников зятя Ломоносова, Головина. Никто из исследователей народных искусств Севера (правда, эти «исследования» носят очерковый, эскизный, чисто дилетантский характер) не рассмотрел, не оценил столь важной, столь значительной в истории искусств эпохи, какова была эпоха Афанасия и Никодима. Очевидно, не доходили руки или не пришло время...

Между тем «зажи́г» пошёл от Афанасия. Не при нём костерезное художество зачалось на Колмогорах, но он первый из единичных резчиков собрал в «число».

Афанасий и, несомненно, Никодим, собравший колоссальный «свод» русского художества – «Сийский лицевой подлинник» – дали резчикам рисунки-образцы и подробнейшие инструкции.

Эпоха Афанасия была эпохой лютой борьбы с расколом, борьбы страстной и непримиримой. Сам Афанасий первоначально был яростным противником «никоновых новин» и «адамантом древнего благочестия от своих нарицашеся». Но внимательное изучение классиков, так сказать, святоотеческой литературы заставило его усомниться в правоте раскола. «Ежели по букве мы в малом чём и видимся правы, то по духу церкви единой вселенской мы не правы: воюя за меньшое, попираем великое». Афанасий сблизился в Москве с видными деятелями и сторонниками новых веяний – Стефаном Яворским, Симеоном Полоцким, Епифанием Славинецким, с художниками – Симеоном Ушаковым и другими. Поскольку Афанасий был великий знаток «божественных» писаний и страстно интересовался церковными делами, его приобщил к себе патриарх Иоаким.

Проповедь старообрядчества, как известно, особенно живой отклик и сочувствие встретила на Севере. Дальновидный Иоаким учредил в Колмогорах архиепископию и послал туда Афанасия. Староверы твердили, что-де «нонешние архиереи чины и уставы церковные ни во что кладут». Между тем, Афанасий был любителем, несравненным знатоком и ценителем богослужебных уставов, чинов и обрядов. Благодаря Афанасию раскол не стал на Севере явлением массовым.

Северные люди чутки ко всякой красоте, к художеству, к искусству. Ценитель, любитель и знаток «всякой красоты и преизящности», Афанасий в своём строительстве необычайно широко применял народное искусство.

Построенный Афанасием каменный собор в Колмогорах поражает строгим изяществом архитектурных пропорций. Даже дверные навесы, пробои, затворы «кованы с вымыслом». Замки, кованные по рисункам самого Афанасия то в виде коней, то в виде птиц, до сих пор, двести лет спустя, служат своему назначению. Настолько добротна была эта техника.

Афанасию, воспитавшему свой художественный вкус в Москве, странной казалась архитектура северных шатровых церквей. Приехав на освящение церкви Козеруцкой пустыни, владыка зело кручинился: «Откудова вы взяли такое поведение, чтобы городить фряжский турм?»[1].

Афанасий сам стал делать рисунки и чертежи для новостроящихся на Севере храмов, предписывая «освящённое пятиглавие». Надобно сказать, что северные зодчие и плотники зачастую «учинялись архиерейскому указу ослушны и противны».

(Во всяком случае, мысль Афанасия о происхождении северной шатровой архитектуры от готики любопытна.)

Но любовь Афанасия к бытовой «приукрашенности» нашла сочувствие. Из Колмогорской и Сийской мастерских распространялись рисунки-образцы всякого «узоро́чья». Кроме старорусских, здесь видим и мотивы североевропейского барокко и рокайль. В горниле северного народного творчества европейский барокко XVII века и французский рокайль переплавились, стали одним из видов вполне «русского» стиля.

В XVIII веке мода на художественные вещи, сделанные «по маниру огородов Версальских», распространилась всюду. И холмогорские, например, резчики-костяники, к чести их, могли предложить обществу этот «баро́к» и этот «рокайль» уже в чисто русской переработке.

14 марта. Воскресенье

Всю неделю таяло. По дворам, по проулкам вода. У нас и не пробредёшь, кало́шишка заливает. Против окон лужа. В неё глядится небо, чуть пооблачённое. В Хотькове уже грачи прилетели. Братец не приметил, которого числа. Шоссе, слышь-ка, повытаяло. У дороги вода-снежница. А снегу, слышь-ка, ещё много. Пажа, небось, поплывёт.

Бедный «отчишко» был у ребят... Супруга, закусив удила, не разговаривает... Он, приехав, часа два, три с ребятами посидит, полюбуется да погорюет. А та, как сатана, сцепив зубы, ходит. «Меня горе взяло: я сижу, за голову ухватился. Мишутка понял: утешает меня, конфетку, игрушку мне суёт». Мишуточка братишку зовёт: «Алёка каляля́пый» – Алёшка косолапый. Рассказывает про «ко́ку кама́тую» – кошку косматую.

Я велел Михряюшкину ручёнку на бумаге карандашом обрисовывать да мне привезти на любованье, на посмотренье.

[1] Das Turm – башня. – Примечание Б.В. Шергина.

Михайло обоих сыновей ладошечки обвёл. Приехав, стал лишь казать да как зальётся слезами: «Только, де, мне и осталось, что эти ручёнки на бумажке».

...Кабы брести тихонечко деревенской дорогой, меж талыя лужи. В оврагах ещё снег. Под снегом, а инде поверх, ручей гремит. Подойти бы да посидеть у избушки на обсыхающей завалинке. Хозяин скворешник чинит. Петух где-то далеко пропоёт. Тишина. А небо, небо ненаглядное...

Опять думается: «там хорошо, где нас нет». Печали да заботы с собой ведь носишь. Думается: кабы нужды да печали сердечной не было, так и в городе, в кирпиче сидел бы, «ох» не молвил...

<Март>

Сей год малоснежна была зима. Поздно падали снега, не слежались, их круто и сгонило. По городу булыжник везде вытаял. В переулках грязно, по большим улицам уже обсохло.

Из жилья своего низенького вылезаешь, в глазах зарябит: как светло!

Грязь, лужи, а светло. Вишь, небо в лужи-то глядится. И несозвучным этому блеску сам себе кажешься. Как крот подслепый выполз. Бульваром брёл да брёл. Чудное дело: день, а бульварами никто не идёт. Слякотно, вишь. Грязь, вода. Порядочные люди тротуарами сыплют. Я непорядошный, дак грязями грести люблю. Вру, что никого нет: ребятишки тоже не как люди. Им тоже не интересно по сухим тротуарам. Им тоже любее по снежным лужам обутку мочить. Стайка мальчишек видят, что я вроде них кружаю по лужам, остановлюсь да на воробьёв погляжу, тростью в луже поболтаю, веточку понюхаю, – возымели ко мне симпатию: «Дяденька, пойдёмте, вон там за деревом лужа больша-ая! Сидеть можно!» – «В луже?» – «Нет, пенёк есть».

Март ненаглядный, раннее утро года. В марте и вечер беспечален. Ребятам любо, где «почтеннейшей» и всякой иной публики нет, и мне тоже.

Мальчишки, они озорники, да светлые они. Предвзятости, тяжести, а главное, скуки в них, в детях, нет, грузу этого. Злобы, а главное – безразличия к людям в детях нет.

Безлюдье, будто и не в городе. Ясное небо, вечернее. Мокрые дороги, вода. Холодный ветерок. Но это холодок утренний. Весь ты утро, весь ты радость, весь ты любовь моя, заветный, заповедный месяц март.

<Март>

Время к восьми вечера. А всё ещё не погасла заря. Дома уже стоят чёрными силуэтами. Но потемнелая дорога всё ещё блестит лужами, отражающими тихий свет зари.

Был я ещё молод, и так же в это же оконце глядела долгая весенняя заря. И опять вижу узор ветвей на золотистом догорающем небе. Когда-то (а уж не так давно) сладкая радость проникала в моё сердце от этой красоты неба, веток, воды. А теперь я гляжу и знаю, что это радость, – ведь любимый мой месяц март! Но как будто остаётся эта радость там, за оконцем, и не проникает меня.

И, выступая на подмостках, я уже не вхожу в роль. Делаю привычные жесты, привычно понижаю или усиливаю голос. Смешу. Публика хлопает, а мне, увы, безразлично. Ведь что в двадцать пять, то и в пятьдесят пять преподношу. Не чувствую, примелькалось.

Март 19-го, пятница

...Бойко сей год вода сбежала и с крыш, и со дворов. Не успел я наслушаться этого шёпота ночных мартовских капелей. И сосулек ледяных кровель не видел. Конечно, в деревне протяжнее весна. У брателка всё выспрашиваю, как на Хотькове воды, да как ручьи, как грачи, Пажа какова? А до грачей ли ему? В ночи-то с работы к поезду попадает: зги не видно, грязь да вода. Дорогу утеряет, на поезд опоздает, на ветру ждёт...

Уж второй час ночи, братишки нет. Я сижу, жду – он стукнет в оконце. Вот ведь горе: для гнева, для ярости, для раздражительности, для всякой скорби, для страха, для печали – по-прежнему обнажена душа. А к тонкостным впечатлениям, скажем, зимней, весенней природы душа моя стала тупа и косна. И это не потому, что «мартышка к старости слаба глазами стала». То, что для меня детали пейзажа тушуются, не есть минус (в планах живописного восприятия). Не крошечными лукавыми глазишками моими соглядаю я, скажем, вешния воды, вербу у ручья, жаворонка на проталинке. Тут зрительные впечатления не главное. Ты сам участник пейзажа и воспринимаешь его всем существом, всеми чувствами:

а) осязанием, потому что ноги твои разъезжаются вон куда, вон в какие синие дали уходят. (Сюда прибавь-приложи веяние ветра, ощущение сырости воздуха. Озябнешь ты, ноги промочишь, это всё неотъемлемо при живом восприятии.)

б) слухом. Для творческого восприятия природы слух великое дело. Не только поэт, музыкант, артист, но и «живописец» слышит «картину» природы. Слышать и слушать, например, тишину русской весны. Тишину эту акцентирует журчание ручья, шелест ветерка вон в тех кустах, карканье грачей вон на том дальнем холме.

в) обоняньем. Ветерок пахнет, холодок пахнет, сырость пахнет. Это в марте. А в апреле земля будет преть, пахнуть. А когда деревья зачнут распускаться, тут ты и сам знаешь, «чем пахнет». И веточку, и травинку сорвёшь: обоняние и осязание вместе. И всё неразлучно с живым восприятием пейзажа.

Я к тому говорю, что зрение – далеко ещё не всё даже для художника-пейзажиста. «Смотрит» ведь и объектив фотографа. Но что в том? Фотография – это инвентарный список, опись имущества.

Так что вот я не на глаза обижусь, а на то, что другие чувства лживы стали, невстанливы, безучастны.

В чём-то я ещё не разберусь: если красивый изгиб чёрной ветки на фоне белого снега меня уже не трогает (примелькалось, обыграно, облюблено), то «силуэт» нищего ребёнка с протянутой ручонкой «на фоне белого снега» я не могу равнодушно видеть. (Прежде было иначе.) Но это во мне не доброта, не любовь. Любовь деятельна. А я только копеечку дам да вздохну. Таких «добрых», как я, «до Киева не переставить...».

А на дворе в сутеменки выпал снег. Небеса чёрные, земля белая.

***

Из книги «Домовых указов» Афанасия, архиерея колмогорского от 1691 года: «Как бывает нам, преосв. архиепископу, провожанье из соборныя церкви в наши хоромы, и подьяки-робята, и певчие идут чинно, и свечи несут искусно. А как нас в хоромы заведут, и обратно летят стремглав, и у соборной паперти запнутся, падают и свещи ломают. И ты б, ключарь, велел каменщику у паперти, у плит переды скобелью выгладить, чтобы робята не падали. То первое дело».

К сему ключарь рече:

– А второе дело: тем робятам зады ремнём выгладить, чтобы знали да не падали.

«На Велик День соборному протопопу снести нам в поднос пять яиц, а градским попам нести по три яйца крашеные, а дьяконам снести по два яйца» (1683 г., апреля 12 дня).

22 марта. Понедельник

...Чудное дело: вижу куст, дерево в чёрной воде, полоску снега в ложбинке, ступаю по хрупким листочкам льда, по застывшей глине у забора, бреду через лужу, которая развеличилась во весь перекрёсток, вижу нищих у церквицы, откуда доносится великопостное: «Иже в девятый час...». И ты скажешь: «Воспоминания детства как живыя встают передо мной...». В том-то и дело, что не «воспоминания»! Воспоминанье – это дымок от папироски, окурки. А я вот ясно вижу, чувствую, знаю, что радость, которая рождалась во мне тогда, в детстве, эта радость существует.

Ты скажешь: «Понимаю: события твоей жизни являются для тебя звеньями единой цепи...»

Но цепь ведь влачат! Разве ты «влачишь» воспоминания детства? Или уж это чудная «златая цепь». «Красное золото не ржавеет»... И, дивное

дело: бывали ведь и в юности, в отрочестве горести-печали, но в «златой цепи» жизни моей чёрных звеньев нет. Должно быть, с «золотом» слёзы-то сплавились.

Как это ты можешь ощущать и переживать одновременно то, что было с тобою сорок лет назад, и то, чем живёшь ты в данную минуту. Как можно совместить переживания шестнадцатилетнего с шестидесятилетним?

Видишь ли, несколько десятков лет моей жизни – это несколько десятков червонцев, которые все при мне. Существо этих «златниц» таково, что их нельзя растерять. Жизнь свою я назвал «златою цепью». Первое звено её есть моё младенчество, последнее звено есть старость. Концы этой цепи соединяются. Получается вечность.

При этом называю я своё «младенчество» первым звеном, а «старость» последним очень условно. У цепи два крайних звена, два начала, и естественно их соединить.

Разговор сейчас идёт не о вещественном, плотском, осязаемом. Но всё же и тело моё, руки, ноги те же самые, что «были» в четырнадцать лет. Я говорю о «переживаниях» тех или других лет моей жизни, которые явились знаком, знаменьем, залогом. Я отозвался тогда всем моим существом, всеми моими чувствами. От этого родились реальности, стали существовать «вещи», которые нельзя осязать руками, нельзя видеть телесными нашими гляделками, но которые, несомненно, существуют.

Истинная мудрость должна была об этом знать. Истинная философия должна об этом сказать. В каких-то книгах, вероятно, это объяснено, выведено и сформулировано... Человек я зело неграмотный. Языка у меня этого нет, и терминологии надлежащей не знаю. Опытно, для себя, дошёл, а объяснить не умею.

Но я и не собираюсь создавать философской системы. И я говорю отнюдь не о вещах отвлечённых. Ничего абстрактного я не понимаю; этого не существует для меня. Может быть, абстрактными силлогизмами можно доказать и какую-то реальность, но я «не учён, не школен и в грамоте недоволен». Я упомянул о своих «переживаниях», которые являются знаком и залогом и которые есть доказательства несомненной реальности, а отнюдь не воображения.

Кратко приведу то, что в ином месте рассказал подробно. В четырнадцать лет у меня был некий «пир», некий «брак» с дождём. Был полдень, блистало солнце, лил дождь, благоухали цветы, берёзы, тополи, пели птицы. Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в тёплых потоках. Я как бы «восхищен был втай и слышал неизреченные глаголы». Царственно было...

Как будто Утешитель меня всего исполнил.

Это событие «плоть бысть» и существует.

рисуются как на блёклом топазе.
~~Блёклые~~ сияние топаза переходит
в ~~блёклый~~ нежный пурпур, потом в
~~бледнеющую~~ позднoвечерней аквамари-
ны ясного неба. ~~Сказочные~~ ро
~~скошь и красоту~~ ~~На ту~~ Заря
еще не угасла, а уж ночь зажгла
свои лампады. Точно бриллиан-
тами несказанной чистоты
унизан зыбкий перламутр
~~вечерней~~ зари. И все время ди-
вишься, ~~как бы впервые увиден-~~
~~ной~~ стеклянной прозрачности
этой зари, хрустально ~~зеле~~ чистому блеску
этих звезд. ~~Точно впервые~~

Подумаешь. Как бы ещё то
первые удивлению. Красота
творения божьего всегда такова:
Лицо ли прекрасное человеческое, цветок ли
ландышный, ~~звезда ли~~ вечерняя ли
звезда, никогда эта красота не
приедается, а всегда нова.

... Еще ты способен почудиться
звёздному небу. ~~И то ладно~~ Ладно, что
хоть то, что увидишь, может тебя пора-
жать. А уж сам по себе никакой
радости не можешь создать. Праздник
~~святый~~ вечный прошёл и не знаешь ты
опять куда себя деть. Как бы похмелье

Таких восхищений было в моей жизни несколько. Последние в теперешние годы жизни. На Паже, затем у прудов. Я как бы видел суть вещей Я глядел на те же деревья, на ту же землю, на те же воды, которые видел много раз, но в эти (не знаю, часы или минуты) всё становилось «не тем». Глаза как бы переставали глядеть, уступая место иному зрению...

Был сентябрь, конец месяца. С тяжёлой ношей спустились мы с братом в долину Пажи, от Митиной горы к Больничной. Брат пошёл быстрее, чтобы взять билет. Я брёл тихо. День склонялся к вечеру. Безлюдно, безглагольно. Бурая земля, чёрная вода, голые деревья. Я с трудом передвигал ноги. Но вдруг всё начало изменяться передо мною. Преславно стало вокруг. Как бы завесы открылись, раздёрнулись. Всё стало несказанно торжественным. И чёрные воды, и долина пели, пели как громы, сладко и дивно...

24 марта

После полдня стало пасмурно, потянул знобкий ветер с Севера. Кот полез в печурку: не снег ли будет?

Носил дровишки. Хорошо, любезно сердцу на дворе. Строгая такая погода. Красота офорта; свет без теней. Голая земля, лужи. Но не осеннее остывание, а надежда, охота к творчеству, ожидание радости.

Подложив под колени плаху, колю у сарая дровишки. Озяб, дак греюсь. Люблю, когда холод или дождь на улице – население в дома улезет... Колю дрова, а сердцу любее да светлее. Суровость весны, строгость дня, вселенское могущество природы... Это всё как мать меня обняла. Топором-то тюкаю, согнувшись, и оглянуться боюсь: кабы-де из объятий не вывернуться. Передо мною водная лыва, камень, глина, дерево. И ветер, и небо. А завтра Благовещенье. Радость нашёптывает мне: тебе любо потому, что во всей Вселенной так: и над звёздами везде ручьи, и весна, и вытаяли камни, и скоро пойдут реки, и на планетах<?> сейчас грачи вьют гнёзда, и завтра Благовещенье, обещание радости...

Апреля 1-го, четверг

Вчера к ночи вылез на двор братишка ждать: подивился тихости часа. Уж ни снега, ни льдины. Дворы, дороги сохнуть хотят. То уж апрель, заветное утро: ещё «друг наш» спит, но жизнь идёт будить его. Последние пелены снимают с земли живые вешние ветры.

Апрель месяц, заветная пора, заповедное время. Ветры обвевают дороги, обсыхают холмы. «Пойду по тропам, по дорогам, пойду по холмам, по долинам...» Все восхищаются, когда, «шествуя, сыплет цветами весна». Я люблю пору ожидания и время обещания. Люблю эту тихую и прекрасную прелюдию весны.

***

Нынче тихий облачный день, без тепла. Ровный свет, как бы утро. На кухне спрашиваю у молодки: «Что сегодня на дворе-то?» – «Хорошо, – отвечает, – весна! Не ушёл бы с улицы».

С улицы входит молодкина свекровь: «Суровый день. Часу не могла с ребёнком посидеть – застыла».

Завидно мне на молодых. Чем ни-то обвеселятся, так уж надолго. А старый обрадуется чему-нибудь, да и повянет. Молодость ни над чем веселится, а старость хоть знает, над чем надо радоваться, да сил мало радость ту удержать. Молодость веселится над тем, что есть, видит то, что сейчас хорошо. Старость ноет о том, чего нет, видит то, что плохо.

***

...Облачный день, западный ветер. На Севере, должно, идут реки. Стиль дня был северный, была некая важность. Пелена серебристых облаков потянула небо...

21 апреля. Четверг

Слушал «Думки» Дворжака для скрипки, виолончели и фортепьяно. Эта музыка рассказывала о том, о чём моё сердце плачет. «Есть у меня три печали великие». Как будто по слезам плыла скрипка. Тихим и низким звуком ей вторила виолончель... Я пристроился к печали моей о маленьком Мишечке. Играли в той комнатке, где он жил у нас два с половиной года назад. Нежная грусть «Думки» сменялась временем весёлой краткой мелодией. Плачу – это я. А нежное весеннее щебетанье – это он, Мишуточка. Плачу я, старик, о маленьком радостном ребятёночке и не могу утешиться. Мать увозила его от нас поздно осенью. У него ещё не было шубки. В канун отъезда привела Мишеньку с улицы. Стоит у дверей в моём меховом жилете, который достигает ребятёнку до пят, широкий, как стихарь. На голове вязаный платок. Сияющая рожица. Я бросился к нему, и Мишечка, путаясь в подолах, устремился мне навстречу, протянув ручонки. А то, сидит, проснувшись, один посреди широкой кровати. На тёмненьких кудрях белый кукулёк. И мрачная, подвальная комнатёнка как бы вся озарена светом сияющей младенческой улыбки. Светлая улыбочка, весёлая усмешечка, увижу ли я тебя когда? Всякой радости и счастья в жизни прошу я тебе у Начальника жизни.

На деревьях нежная зелень. Но к ночи прохладно. Нет-нет да потянет норд-вест. По-за город уж травка зеленеет.

На днях бреду переулком, а впереди женщина ведёт за руку мальчугана лет трёх. Иду следом за ними, думаю: вот Михряюшка теперь такой же. Ребятёнок оглянулся и, видя мою улыбку, улыбнулся сам. И вот, стал он оглядываться чаще да чаще. И уж не улыбается, а смеётся. Забавно ему и занятно, что какой-то старик, весело улыскаясь, спешит за ними. Женщина куда-то поспешает.

Ребятёнок едва поспевает за нею, быстро-быстро топоча маленькими ножонками. А смех одолел его настолько, что он уже перегибается хохоча. Наш флирт дошёл до сознания мамаши. Она удивлённо оглянулась, остановилась, пропустила меня вперёд.

Опять, на бульваре чуть не сшиб меня с ног кроха-велосипедист. Налетел на меня да и сам упал. Я его хочу подхватить, а он, ещё стоя на четвереньках, поднял ко мне безмятежно сияющую рожицу и говорит: здрасте, дяденька!

25 апреля. Суббота

Вчера письмо-то получил... Будто гора навалилась. Думаешь, смерть легче. Умрёшь – плакать не надо, в тоскливом отчаянии убиваться не надо, умрёшь – бояться не надо, страх за будущее не угнетает. О, как жизнь-та моя проходит... Внешне, на человека не похож и внутрь – вся душóнка убогая изорвалась, измельчалась <?> в напастях.

Сам я виноват: всё делаю не во пору, не во время. «Сама себя раба бьёт, когда худо жнёт».

У братишки сил-то душевных тоже не стало. Поглядит на меня да сплачется. Погляжу, умом-то, на себя: всем я на горе, на печаль, на досаду! В людях дурак – смех, а дома дурак (вроде меня) – смерть! Давно я этот диагноз сам себе поставил, а толку нет.

Обо мне сказана пословица: «Дождь идёт – Фома сено гребёт, дождь перестал – Фома пóд ель встал».

На Севере, в одной деревне, на озёра в урочное время, к Ильиному дню все плывут промышлять. Как соху-борону к пашне, так все лодки к нужной поре приготовят. А был такой Иван, у него всяких дум, всяких интересов, всяких планов много.

– Иван, у тебя лодка-та готова?

– Успею.

Все уплывут на промысел, Иван лодку начнёт делать. Он худо работать не умеет. Лодку сделает добротную, хорошую. Люди с промысла домой плывут. Иван навстречу плывёт:

– Иван, ты время упустил!..

И не нужна уже хорошо сделанная лодка.

Жить-то надо – бежать, бежать, спешить-спешить, хватать-хватать. А не в окно глядеть, раздумывать.

***

Живу в большом неизчётно людном городе. Иду эти городом. Являюсь, куда ли, по делу... Никому нет до тебя дела. Никому не любопытно, что ты за человек. Никто не улыбнётся, никто ни о чём не спросит. Всюду как машины, гляди, чтобы тебя не придавило.

Я как бумажка, смятая, брошенная на троттуар. Сметут метлой, в кучу такого же сору свезут на свалку.

А на дворе весна. Вылезу из подвала своего на двор – солнце. Воробьи чирикают. Канун Егорьева <?> дни вечером гремело, гроза шла западной стороной города. Дума моя, сердечное око летит туда, в Хотьково, на Митинскую горку. Был бы я воробей, так бы и полетел туда, сел на крышу и всё бы, никому не приметный, глядел, как играют, что делают, над чем стараются милые мальчёнки. Веселы ли они? Радуется ли свет мой Мишутичка? Не обидит ли его кто?

Братишко больше не ездит в Хотьков. Кончились там дела. Всё недомогает, голубчик мой. Нет ему от меня ни помоги, ни веселья, ни спокою. А ведь я никому, никому во всём мире не нужен. Только он, печальник мой, обо мне, в болях и скорбях моих обмирает. Весь век наш, всю жизнь мы с ним вместе радуемся, а чаще – вместе плачем.

Некому нас взвеселить, обрадовать, хоть малой радостью.

Откупорили окно. В комнату гам и лязг городской ворвался. Ноги прохожих шаркают по подоконнику. Далеко где-то весна, небо мая.

1 мая. Воскресенье

Холодный апрель-то проходил. Ночами до заморозков, слышь-ка, доходило. А уж яблони зацветали. Недаром и ласточек не слышно было. Они чувствуют, знают. Солнышко всякий день с утра покажется, да и опять облачно. Временем и дождик брызнет. Зелень молоденькая везде. Сговорились насчёт комнаты в деревне, а не тянет меня никуда. Не делаю ничего. Братишко с ногой мается. У меня с утра – голова. Ох, кто бы меня, ленивого, взбыстрил.

26 мая. Четверг

Во вторник приехали в Хотьков. Свёрточки-узелки понемногу перетаскивали. Благоприятной погоды ждали. А первую ночь здесь зябли, лето никак не наладится. Сегодня запад бухает, но дождя нет. У комнатки стена стеклянная: небо в полном лике.

На вчерашний день перед всхожим иней пал по низким местам. Но днём в заветерьи пригревало.

Небесная высь потянута прозрачной пеленой. Над вершинами елей плывут серые облака. Налетит ветер, ёлки зашумят, заскрипят двери, захлопают воротца.

29 мая. Воскресенье

Два дни запад (West) хлопал да хлопал (хотя и солнце пекло вперемешку). Вчера по обеде с грозой дождь. К вечеру землёй нежно пахло и дождём. К ночи холодно стало, туман упал. Братец в Томилово съездил, к рассвету

вернулся, промёрз. А сегодня к полдню обложило дождём: со стороны N.O. (северо-восточной). Так и поливает, так и полощет сплошную оконницу нашей комнаты.

30 мая. Понедельник

Вечереет. Весь день, вперемежку, шёл дождь. На фоне тонкой серебристости неба силуэты ёлок. Точно стена древнего города с островерхими башнями стоит этот древний ельник. Будто эти ели всё время сказывают сказку о прекрасном, древнем и вечноюнеющем. Обновляют и призывают на тебя радость, которою ты всегда жил, которая была светом для ума, весельем для сердца.

31 мая. Вторник

Как вчера дождь нарядился, так и сегодня сеет без пома́ну.

Пять одёжин накифе́тал на себя. Утром на братишку лаял как пёс, что снял не комнату, а коробку худую. Он преогорчился, убежал на работу. А дороги худые, до завода далеко, глины размыло.

А я сижу, чай пью, на ёлочки любуюсь. Только у меня зубы ноют, рыло платком повязал. Такая досадная хламина, не то что людям, а и себе в тягость. Горе братишке со мною. А он не устаёт меня, говна такого, жалеть, век надо мною трясётся да нянчится. Всюду и везде братишечко, друг и благодетель мой меня заменяет. Всё обмирает, чтобы я не устал, не простудился да не досадился. А сам уж давно из последних силёнок выбился.

Время к Петрову, а погода будто к Покрову. Хоть опять увязывайся да в город бежи. Тошно мне и на себя: бесчисленно людей в работах, в должностях, в посылках, в дорогах, в лесах, в реках и морях месяцами без малого укрытия живут и в дождь, и в ветер. А я, на даче сидя, то себе в несчастье поставляю.

5 июня. Воскресенье

Дождались, видно, и лета: «По небу синему, тая, румяные тучки плывут». Назяблись изрядно. Вчера шёл к брателку на завод пустынными полями. Сыроглиняные борозды, по межам – травы. Глины здесь бойко мокнут, круто каменеют, ходьба грубая. А хорошо в тишине той. Жавороночки звенят высоко. Подойду да остановлюсь, похвалю Начальника тишины. Край деревнюшки старинная дорога на Ахтырку обсажена стогодовалыми берёзами. На всякой берёзе птиченька сидит, и все оне, пережидаясь, пропевают коротенькую песенку. По ночам опять петухи поют, пережидая один другого. Ни который не в свою очередь не пропоёт. Когда по ряду дальний пропоёт, тогда опять ближний возгласит. Ночи сейчас светлые, заря не гаснет.

Здесь в доме живут для лета наши знакомые. У них ребятёночек грудной. Смирненько лежит, спелёнатый, как белая куколка. Подойдёшь, глядит на тебя пристально синими глазками. Дитятко милое, новый пришелец на Землю.

13 июня. Понедельник

Прошлая неделя стояла жаркая, а ночи с холодными росами. Вчера и позавчера бухал ветер SW, окна отворим и верёвками свяжем, чтобы не разбило. Вечером потишело, солнце село в стену, переменяясь, стал сеяться дождь. И весь денёчек сегодня то частым ситом, то дробным решетом мочило.

Братец повёл меня в больницу зуб рвать. Я всю дорогу куплеты пел, ругался – очки-де заливает, не вижу, и дорога грубая. Версту прошли с грехом пополам, воротились. Хозяин в обед прибежал – война-де наплывает. Вниз пошёл маленького поглядеть. Лежит в колыбели, смотрит, кто подойдёт, и ручками разводит. Комары ночью его, спелёнатого, наели. Братец тоже ночью всё охлапывался, клял комаров. А мне наплевать! Как они жалостно воют, мне родина вспоминается.

14 июня. Вторник

Под утро ещё моросило. Как солнце пошло высоко, парить стало. Птичка пропоёт, кричат петухи: не опять ли к дождю?

Недавно ещё я любил изъяснять неизъяснимую красоту здешней природы.

Теперь повяла моя одержимость. По-видимому, не родится в душе радость. Эта красота стала мне казаться отвлечённой. Может быть, она рядом со мною, но уже не во мне.

Бывало, любил «встать пораньше да шагнуть подальше»: в городе – к пенью, в деревне – к лесу. Теперь ослаб.

Толкую всё, что природу люблю: пожалуй, из окошка я её люблю. Так уж я, видно, навык: в городе из окна на улицу поглядываю и здесь, в деревне, из окна ворон считаю, птичек слушаю. Ввечеру дай, думаю, к речке спущусь. Сошёл с горки, в низине уж сумеречно, месяц из-за лесу рога кажет. Пала сильная роса. Сырая прохлада. Что-то мне сиротливо стало. Что, дескать, без дела тут ходить. Воды бы взять, дак берег иловат и ведра нету. Веник наломать – башмаки в траве намочишь. Воротился скорее в комнатёнку, братишка ждать.

Мне думается, что я, по бездельной навыкновенности своей, люблю «душевные разговоры», а собеседников нету. Братишко откуда придёт, я всё спрашиваю его – кого видел да что слышно. И этому рад.

21 июня. Вторник

Покамест от крыльца до ворот дойдёшь, два дождя пройдёт и с антрактом. И вчера за сарайчик весь день сбегать не удавалось. Двои сутки туча тучку гонит. Ночь холодная была, ветер мокрый. Я под шубёнкой зазяб. А братишко худенький, а не зябкий. Я куда сряжусь, всё думаю: что бы ещё на себя напялить? А братишко куда торопится (он всегда торопится), думает: что бы с себя лишнее скинуть? Вот, вместе куда бежим, я, одемшись-то и разжарею. И ругаюсь – не мог ты загодя узнать, тепло ли, холодно ли! Я из-за тебя бумазейную рубаху напялил...

– Из-за меня?! Ах ты...

У братишка в театришке жалованье грошовое. А заботы выше сил. Любителей на репетиции палкой надо сгонять. Кто пьян, кто забыл, кто занят, к кому гости пришли. И я, самый бы сейчас сезон, но «рад бы в гости, да никто не зовёт». Братишке я помочь не умею, вот меня что сушит. Уж я куда как не горделив. Мной хоть полы мой да пороги подтирай. Но...

Ветерок перегоняет облака с места на место, проглянуло лазоревое небо и солнце. Я лез с горы к речке сквозь ольшанник и осинник, ломал веник. Держусь за деревцо да гляжу с холма. Даль какая чудная! Долина речки, а вдали опять холмы и поля. Под ногами, на нижних уступах, берёзки и маленькие ёлочки. И в какой всё светлости от блистающих облаков, от нежной лазури неба! Эта красота – неотымаемая. Да вот сила душевная иссякает, чтобы эти тихость и нежность петь и хвалить.

2 июля. Суббота

Недолго постояла хорошая погода. В Петров день с утра пооблачи́лось. Вечером дождь пошёл. В Митине праздник. Гостили с братцем у Михайлушкиных. Ночью домой впотьмах брели, в мокрых глинах. Три дня там по деревне всё столы да пиры. А уж Мишины кожу у себя с зубов сдерут, а двои сутки гуляют. Дальних и ближних за стол тащат. Трезвым не отпустят. Гости и в сенях, и на сеновале ночуют. Утром опять за столы.

А в городе как в аптеке угощают: с мерки да в дырку. Разговоры больше, а хлеб-соль маленькие. Михайлушко пел, играл на гитаре, гармошке, плясах. И не в столь сильном пьянстве, но в большой нервной ажитации. Он всё так (эти последние года два), сегодня – «душа общества», завтра – замкнут и мрачен.

Сказано: «где любят, тут не часто гости». А я охоч ходить «по пирам, по братчинам». «Бывали дни весёлые», и мы с брателком любили у себя принимать... А, не дело болтаю: «Ерёмины слёзы по чужом пиве льются». Квакнул я, что в пиры ходить залюбил. И «не тем красен пир, что трубят трубы, а тем, что люди людям любы». В городе лижут винцо полунапёр-

сточком, жмутся, себе на уме. В деревне – душа нараспашку. Сердце друг другу открывают. Кто мил да люб, тот и друг.

Бывало, мне самому с собой было весело. Как дрожди внутри себя ходили свои думы, веселили и подпевали. Одинёшенек дома, сочиняю да мастерю. Теперь одному уныло оставаться. Лежу, курю. Ничего в уме и в сердце не родится. А в людях, когда есть кто позанятней, я оживаю.

6 июля. Среда

Вчера день был вёдрен и солнечен. Сходили с братцем к празднику. До закатимого там были, устали как, притолкались, притоптались. Но запечатлелась в уме и в сердце светлоликая и светлоглаголивая праздничность. Собрались с раздумьем: не близкой свет туда попадать, ходьба-та страшит меня, и братец топтаться долго не может. А воротились с барышом. Хотя, воротясь, и поругались. Потому что в многолюдстве растерялись, искали друг друга, обратно правились врозь...

Уготовали к поздней, еле забились на паперть. Уж как я тяжёл и слаб, а в час литургии на таком святом месте похвалил и прославил... Изнутрь пашет благоуханье темьяна, извне аромат цветущих лип.

Потом туда пошли, где молчит сладкоглаголивая гусль. Вереницы, толпы стояли, часами ждали, абы коснуться устами святаго гроба. Целовали и мы при пении неседальна.

Условно допущу, что две красоты обладают в мире человеком. Одна – это чувственное влеченье к красоте телесной. Всю жизнь человек может быть в плену страстных мечтаний. Осуществленье страстной мечты не утоляет томленья. Поэзия, живопись, музыка – всё рабски служит этой «красоте». Всё вертится вокруг «любви». Но всё это только «похоть плоти, похоть очей». «Грех сладок, но отрыжка после него всегда горька». В молодые годы упоенье плотской красотою естественно и любо. Но естественный хмель юности ведь проходит. Но вот, когда в свои пожилые и старые годы человек не может протрезвиться, очнуться от страстного похмелья, то картина получается жалкая. Любовное томленье перестаёт быть силой, красотой и весельем. Оно становится слабостью и несчастьем.

В мире сем род человеческий влачит жизнь посреди горя, несчастий, бед, посреди нужды, лишений, болезней и смертей. Всякого раньше или позже ждут потери близких, болезни, старость и смерть. «Мир во зле лежит». Слёзы кругом. Похмельное любленье плоти как воск тает, как чад рассеивается в скорбях и печалях жизни. Кая житейская сладость печали непричастна? Кая ли слава стоит на земле непреложна?

Есть другая красота нетленная, вечная. Есть красота, в сиянии которой тонет всякая скорбная тьма нашего существования. Слышишь ли Иоаннов пасхальный благовест: «И свет во тьме светится и тьма его не объят»...

Сергий Радонежский, Святая Русь, вера христианская. «Свете тихий». Тихий, но всемогущий. Тихий, но тишина эта покрывает и в ничто прелагает визг, лязг и скрежет бедственного нашего житья-бытья.

Сижу у стены церкви чу́дной Троицы Живоначальныя. Стена, как парус прямой, корабельный. Вся живёт. Вот гладь её блещет на солнце, а через минуту точно кто смежит очи – бегут, переменяясь, прозрачный тени облаков. Свет и тень живут, трепещут на белом камне.

Шелестят липы. По всему монастырскому двору сидят богомольцы. Мальчик вслух читает по книжечке завет Преподобного о том, чтобы «свеща не угасла».

В толпе у святаго колодца тихо поют стихиры из службы Преподобному. Он никогда не гонялся за спокоем, он всю жизнь прожил для других. Он был отцом и духовным вождём русского народа. Князья преклонялись перед этим нищим игуменом убогой обители. Татаре движутся с востока, волжские города в смятении. Нижегородские князья «куют крамолу». Туда устремляется Сергий. Грозным прещением, пламенным словом он укоротил раздоры и смуту. Движется орда с юга. Рязанский князь замышляет страшную измену. Как божья гроза налетел Сергий на Рязань, и Русь была спасена. Благородное, рыцарское сердце этого великого русского патриота исполнено было святым гневом и к чужеземным насильникам, и к тем из своих, кто готов уже был мириться с владычеством монголов. Он возгнетал и раздувал пламя национальной свободы, пламя национального сознания на Руси. «Истинный воин», великий и неутомимый борец, он и в предсмертном своём завещании молит и повелевает русским людям: «Смотрите, чтобы свеча не угасла», т. е. дух национального самосознания. Имя Сергиево стало знаменем национальной свободы, и с этим знаменем Русь свергла чужеземное иго. Уже в последния свои минуты, прежде чем смежить для вечного покоя орлиные свои очи, великий отец сказал, как бы обращаясь ко всему народу русскому: «Не скорбите, братья мои! Телом отхожу от вас, но духом буду с вами».

Он стал почитаем как «ангел русской земли». В годины бедствий Русь говорит: «Он жив, он с нами!». Имя Сергиево было победным кличем. В смутное время, когда Москву, «сердце Руси», захватили чужеземцы, Сергий явился Минину и повелел поднять народ на освобождение Москвы. Минин сам поведал народу об этом чудном видении и повелении. Лик Сергиев неотлучно находился в ставке Кутузова.

Ангел грозный и светлый и отец наш тихий и кроткий. Любимый наш и единственный: чем воздать тебе за любовь твою? Как похвалить тебя за то, что ты есть у нас?!

Радость и молитва осеняют у гроба Сергиева. Потому что жив он и знает нас, отец благой и радостный.

Кто-то сказал: «Полюби святаго Сергия, и он тебя полюбит». Как же не любить его?! Он вечная живая любовь Святой Руси. Он весь был любовь, огнём горящая. А любовь вечно пребудет, когда и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знанье истребится.

8 июля. Пятница

В Сергиев день погода была красна. Вчера, пережидая, весь день ходил дождик с грозою. Сегодня вёдрит, а ветрено. Дорожки сушит, не надо глину волочить на башмаках. Облака плывут пышныя, сияющия под солнцем: от облак, от лазури светел день. Налетит резвый ветер, в елях свист: у ёлок свистящий шум. Ели при ветре точно поют. А берёзка, липа, оне шелестят, сказывают тебе.

Это лето здесь так: в кои часы вёдрит, бежи по воду. А будешь пережидать, что, дескать, пусть глины обдует, и без воды насидишься. Бабы – те бегают, а я в грязь боюсь под гору сунуться. Сегодня вздымаюсь с коромыслом, постою да полюбуюсь. Бирюза небес, золото облаков, шум леса, травы, цветы весёлым ветром кланяются тебе. И, бывало, я на коленки паду, вот этак от восторга. А теперь уж нет... Бывало, в тёмных каморках своих (в городе) убираюсь, пол мету. И напахнёт на сердце радость. И не знаю, куда ликованье-то девать. Теперь я деревянный стал.

Сегодня на родине родителя моего праздник, Прокопьев день, Прокопья Устюжского[1]. И устюжане, и вычегодские усольцы в каких бы городах ни жили, все уж праздновали Прокопьев день.

Облака, что белопарусная флотилия, в три вереницы держат от West'a к Ost'y. А три строки налепишь, взглянешь опять в окно, все корабли за лес спустились.

20 июля. Ильин День

«Погода пуще свирепела». Истинно, что погодушка штормовая! Не подумаешь, что Ильин день. Норд-вест садит с дождём... Оконца трясутся, кровля железная гремит... Сору второй день из избы вынести не отважусь.

У Студёного моря, на родине, об Ильине дни таковой непогодушки не живёт.

Так и хвощет, норд-вест-от, с дождём. Точно серчает непогодушка-та: ветер-от налетит, налетит, будто прочь снести хочет избушки-те. Избушка-та не упадёт, дак ветер-от дождём её хвощет спереду и сзаду, и с боков, и с углов.

<Конец июля?>

С Ильина дня всё же сушит. Только наш посёлочек на болотце сидит: всё ещё с крыльца не ступишь. Здесь недавно селиться стали. Пни торчат,

[1] Прав. Прокопий, Христа ради юродивый, Устюжский чудотворец (1303).

дороги нету, только тропочки. В Хотькове про здешних говорят: «В лесу живут». А леса уж нет. Только то тут, то там старые вековые ели. В ветер зашумит, шум дождя да шум деревьев – сладкая музыка. Сначала дальние деревья зашумят, потом ближе. Мало – из оконца ветерок пахнёт, занавески залетают... Бумаги мои полетят со стола...

Малых пичужек здесь редко услышишь. Оне у Вори под горой, в кустах.

Любезных моих ворон, галок и желанных сорок нету. Может, зимою будут. Пуще соловьёв, пуще певчих птичек люблю я сорок, ворон да галок; и грачей – вестников весны.

Сорока – птица из сказки. К избушке подлетит, на изгородь сядет, всего наговорит, да таково спешно да занятно. Любезную птичку-сорочку увидишь и уже знаешь, что сказочно «некоторое царство» тут близко, что никуда оно не девалось.

Славная здесь Земля. Здесь возродилась русская сказка.

Облачное небо, ёлочки, берёзки, болотца и дремучия ели... так и видится «избушка на курьих ножках».

Край деревни, как стена, ряды за рядами стоят старые ели. Всё шумят, всё чего-то сказывают. Дерево к дереву, ровныя, густыя, точно древния башни, – богоделанный город.

***

Уж полдень, а тихость утренняя не сходит с земли. Ходил, проверял своё сокровище... Встарь серебряную казну ковшиками считали.

Вышел к Воре, сел на горе. Искажают люди прекрасную мати-Пустыню... А всё же есть и жива ея тихая русская красота. Построил бы «келью под елью», избушку бы на курьей ножке, да всё и поглядал бы эту даль. Меж лугов и полей проблёскивает чистым серебром, вьётся Воря. Ея долину обогнула цепь высоких холмов. По вершинам их нескончаемой стеной уходит вдаль синий ельник.

23 июля. Суббота

Назавтрие Ильина дни перешли жить в Митино. Я в ту деревню и не ходил больше. Здесь хоть людно, шумно, да веселее. Есть и потеха – маленький Сашка. Такой звонок, щебечет целый день, а говорить горазд. Вчера к ночи бабка оставила его на меня, ушла в гости. Малому сказала, что идёт караулить яблони, ставить капкан на жуликов. Малому напели про них, он говорил со мной шёпотом, лежал, держал меня за палец, шептал:

– Теперь все спят. Какое уж гулянье? Теперь только жулики по огородам лазиют. А баба их караулит. И Зиня караулит (Колькина мать). А баба капкан ставит и мясо туда кладёт. Ты, дядя, не ходи от меня, а то капкан – бац!

Илья дождлив был. Третий день вёдрит. Разговор тот, что не наладится ли лето. Но к вечеру стало обтягивать с прохладою. Впрочем, чуть что и зябну.

Яблоки ещё зелены, а уж ребята таскают. Картошку давненько хоть помалу копают. И красная и чёрная смородина дорогая. Клубника сейгод кисловата за частыми ненастьями.

Братишко чуть о чём ни то опечалится, запасмурнится и я взгрустну. У нас с ним погода одинакова. В печаль легко упасть, развеселиться стало трудно. Всё же в Митине веселее. В домике уютно. Комнатки маленькие, печи большие, в оконцах много цветов. Хоть ребёнок весь день в ушах, а всё же лучше этот жилой дом, нежели пустоватое уныние прежней дачи. Этот Саня забавный и живой. А всё та дума: почто же это так, что желанный Мишечка и Олёшечка не в глазах?! Вот, Михайлушка племянника за́все видит, а родных детей будто и на свете нету.

25 июля. Понедельник

Вторые сутки восток сади́т. Вчера весь день с дождём полоскало, не из избы вон. Ветер то́роками налетал, ажио углы трясло. Будто самая осень, жатвенный месяц, хлеба́ по уезду хороши, а жатьё выжидательное. За ненастливым летом сенокос неславен.

В садике цветы полегли, маки обнесло, будто и не цвели. Яблоки, хоть и зелень крепенькая, а много сорвало. За окном шумит ветер, кланяются кусты и травы. Тусклое небо сулит дождь. Хозяин не ушёл косить, младенец, приятель мой, под дедовым присмотром, не занимает меня разговорами и просьбами сделать голубка, вот я и пишу. А братец отъехал в город, волокита с деньжонками.

26 июля. Вторник

Все на погоду обидятся. Дождь то тихо, то громко припустит. Только в обед на мал час сквозь тонкий облак грело солнышко, ребята и цыплята вылезли на улицу.

Вечерный сумерек рано опускается. День-то дома сидишь. Разговор всё про одно и то же – про удой, да про сено, да про цены, да кто вином опился, да кого где (слышь-ка) раздели да убили.

Только маленький Сашук рассмешит забавными своими рассуждениями. Дед с бабкой куда уйдут, он в кухне суетится, в коровьей лохани чайныя чашки моет, половой тряпкой вытирает, нам казать носит. Полотенца под дождь сушить повесит. Дедушко придёт, скажет «умничек мой». Из печи выгреб сор – искал спичечных коробок «жуков класть», отобрал и принёс лишь с десяток окурков – «на́ кури, ещё табак есть».

27 июля. Среда

После обеденных часов запроглядывало солнышко, ино уж и не надеемся. «Самсон мокрый», говорят, на шесть недель ненастье заводит. (Самсон – 27 июня). А ветер прохладный (ost), в пальти́шках люди бежат.

Братец с актёрами ездил в поездку, вдаль за Троицу. Воротился на рассвете. Натрясло как! Завтра с ним оба мы в Мытищи. Какова-та попа́жа будет. Облака стало слоями слои́ть. Синь проглядывает. Ох, кабы без дождя спутешествовать!

Вот, как регистратор, записываю «входящия да исходящия». А бывало, философствовать любил. Теперь уж ничего такого в уме не родится. Всем оскудел: и телом, и духом. Другой раз возьму Послания Павловы: это уж настоящее. А чтобы к жизни применить. Высока гора! Неподступна! Он что море, Тарсянин-то. А я муха. Пытаюсь вникнуть и сознаю про себя: «Напустилась муха за́ море». Точно издалека, издалека слышу его чудный зов: «Всегда радуйтесь!» А я уж на том и стою, что всегда печалуюсь. В компании с рюмкой в руке или в театришке балабо́лю речисто. А обычно косен и медлен стал мой разум. Да и был ли он когда у меня? Художество любил с детства, рисовать, красить, вырезать, мастерить что-нито – очами оскудел. Желанье есть, а зренье не позволяет. Живое слово люблю, сочинять бы да сказывать. Ино, этот товар не идёт. «Раз в год по праздникам» позовут куда-нибудь побаять, попеть, посказывать. Ино для этих редких и случайных «разов» нет резона сочинять да слово составлять. И сдумал бы что, а для кого? «Уронена стара мода со высокого комода».

29 июля. Пятница

...Поздно вечером шёл полями. Тишина. Сумеречное небо, призрачное как серый перламутр. Нежный и ровный туск опустился на землю, на поля. Но светится ещё запад, белели полевые цветы; светлела глиняная тропа. Казалось, не я иду, а эта белая тропа бежит и зовёт и манит. Тишина то близка, то совсем далеко стрекочет цикада. Ум хвалит эту тихость, сердце хочет петь Начальника тишины.

6 августа. Суббота

Со вчерашняго дни погода с солнышком. По обеде дождик перестал, а всё не та осень, что недоуменье даже наводила. Больше недели мы в Городе сидели. Было так, что два дня, две ночи без поману, без прогляду дожжинушка валил. Здесь речки из берегов ходили. Пажа по своей долинке, как в весну, распространилась. Но вчера тут уж сухой ногой ходили. В деревне охают, что сено будет дорого.

Вчера и сегодня дождевыя облака уж редко протягивались над хотьковскими холмами и кропили при солнце. Вечером сыро. Кузнечики стрекочут помалу. Впрочем, в Митине лугов нет: поля да гряды.

Я поминал, что уж не восхищаюсь природой как преже, до горазда. А всё же, пустой да унылый, выглянешь на улицу или в окно выглянешь: солнышко, небо, воздух, зелень, по долине внизу вьётся Пажа. Посветлеет на уме-то, теплее станет на сердце. Животворна она, природа.

Сегодня явлен Свет присносущный. Да знаменается на нас свет лица Твоего... Гадесовым пламенем моя-то рожа отблескивает, а тужу о свете чудном. И любо то, что вон за теми холмами и лесами «не умер, но спит» тот чудный, кто весь был озарён светом Преображения. Чудный Сергий весь был в оном свете Фаворском. И мы, приходя к великой тихости радонежской, зажигаем и с собой уносим свечечку света невечерняго.

В эти дни всегда вспоминаю родину мою. Умныя свои очи Север возводил к Свету Преображения. Собор Спасо-Преображенский на Валааме, соборный храм Преображения на Соловках. Здесь, на святом острове Белаго моря, все эти дни был праздник. Преображение, 8-го – Зосиме и Савватию. Шум моря, крики чаек, деннонощное пение. Начальник, Савватие, светлотихостный был ученик Кирилла Белозерскаго. А Кирило был ученик Сергиев. Свет от света, цвет благоуханный от цвета.

8 августа. Понедельник

Митинские бабы сейгод ходят жать, пособляют Бобылёвской слободке. Бобылёвские бабы благодарно кланяются в пояс. Но митинские обижаются, что бобыли в обед спят по два часа, мужики посиживают дома, да в окошечко поглядывают, да покуривают. Также, когда митинския жнеи захотели пить, обегали всё Бобылёво в поисках чистого ведёрка.

Впрочем, и митинския насмешили бобылей. За обедом, где за одну чашку сажали по две жнеи, две бабы поругались из-за того, что одна вытаскала всё мясо, в то время как другая занималась разговором.

На ночь маленькому Сашке дед рассказывал сказку о медведе. Малыш переживает положения сказки, не допускает сокращений и перестановки слов. Но положения персонажей комментирует каждый раз по-новому.

Сегодня дед повёл сказку так, будто всё случилось с ним и с Сашиной бабкой. Медведь идёт по митинской улице и поёт: скырлы, скырлы... Вот бабка забралась на печку, закрылась шубой. Я за трубу... Медведь в подвал провалился. Прибежали Егор Иванович, Зина, Костя, Пётр Марков, убили его...

Малыш крайне заинтересован. «Баба, ты из шёрстки мне варежки связала, из медвежьей, да?».

Уже засыпая, ребёнок читает молитвы. «Ангел мой, ляг со мной. Враг сатана, отойди от меня. От окон, от дверей, от постельки моей. Нет тебе места. Есть престол, да и тот Христов». И затем «молитву», которой научен был ещё в прошлом году от знахарки, когда болел лихорадкой. «На море, на Окияне лежит камень Ла́тынь. На том камне сидит святитель Никола с тремя ангелами.

Идут мимо три городовы дочери.

– Куда вы идёте, окаяния?

– В мир идём, кости ломать, тело терять. Кто нас трижды помянет, к тому вовек не пристанем.

– Дедушка, а гуси где?

– В хлеве (пауза).

Малыш опять:

– А Бог спит?

– Он Сашеньку хранит...

12 августа. Пятница

Как в Бобыльское бабы на помочь ходили жать и одна митинская, только вид показав, что пришла, тотчас уехала ко всенощной, к Троице. Там мниху похвасталась, что уж не упустила службы. Тот ей и говорит: «Ты больше бы от Бога получила, ежели бы в поле бедственным людям помогла».

На горах здесь картофель добрая, в низких местах раскисла. Что копнут, то кисель. Дует норд-вест. Вест дождя подносит, а сивер знобит.

22 августа. Понедельник

Ненастливое лето сошлося с осенью. Теперь уж, ежели и выпадет солнечный день, ночи пойдут холодные. По Здвиженьи и заморозки утренние. Дни облачные, солнышку не успеешь обрадоваться и опять пелена тонкооблачная. Дорогам некогда просохнуть. Не дождь, так сито покропит. Птички у домов по кустам посвистывают опять. Это уж к осени.

В городе за окнами громко, да в горнице тихо. Здесь на улице тишина, да в избе временем шумно; ребёнок, взрослые, крик да молва.

Не знаю, какие это птички с белым брюшком в палисаднике под окном порхают? С утра – тинь-тинь-тинь. А на Больничной горе грачи больше не живут. Хозяйка говорит: «Как я любила крик ихний! Закричат, ещё по снегу, в марте, так и знаешь – весна настаёт. Прогнали их, разорять стали гнёзда. А какое от них, от грачей, веселье было на душе. Зима надокучит, надоест, а грачи радость принесут. Бывало, дождаться их, милых птичек, не можешь. Разорили, проклятые, пострели их мать!».

30 августа. Вторник

Так уж, облак и не сходит с неба. Помаленьку солнышко проглядывает. Грязи то больше, то меньше. Во всё лето уж не присесть было на травку. Теперь уж Иван Постный прошёл, осень приступила. Я зяблик, без пальто на улице не сиживал давно.

Братишечко простудился, кашляет опять, как зимою кашлял. Кашель бьёт и перед сном, к ночи и утром. Надокучило ему «дачное» житьё, хотя, ведь, здесь и работа. Он уж как захворает, места прибрать не может. И я заодно унываю.

31 августа. Среда

Маюсь с головой, а лежать тошно.

До вечерен дождило. Лежишь, за оконцем стемнеет, облак накатится и в стену дробно-шелестно заморосит дождь, брёвна не толстые. К вечерним часам два раза гром сгремел. Вечер ясен, а сырость холодная. Картофель роют и по гора. На Митиной Горе картофель хорошая, несмотря на дожди.

***

Катехизис, определяя, что такое вера, даёт Павлов привод: «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». То есть, несомненное известие о том, на что ты уповаешь. А также в вере налицо предстают невидимые вещи.

Свойства истинного художника всецело можно определить этой формулой.

Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или в Багдад.

...Человек-художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь «своему». Всё шире и шире открываются душевныя его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает.

Ежели твоё «упование» есть любовь к красоте Руси, то «эти бедныя селенья, эта скудная природа» радостное «извещение» несут твоему сердцу.

Городок, Здвиженское, Хотьково... И Сергиевские «игрушечные» деревеньки. Глинистые дороги, поля, болотца, ельник... И нескончаемые дороги, изгороди, чахлые поля... и... сорока стрекочет на изгороди... Не о художной ли сказке того первого Игрушечника, который строил (будто сказку сказывал) вон тот былинный городок, что как сон наяву возносится посреди чахлых полей, под «сереньким русским небом»?

Поверхностным и приблизительным кажется мне выражение – «художник, поэт носит с собою свой мир».

Лично я, например, не ношу и не вожу с собою никакого особого мира. Моё упование в красоте Руси. И, живя в этих «бедных селеньях», посреди этой «скудной природы», я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту. Потому что талантливость твоя или моя «есть вещей обличение невидимых».

Он не видит здесь сказки заветной, заповедной. Он говорит: «Может, здесь что и было, да сплыло». Ему надобно «за сказкой» ехать в «Персию», в Шираз или в Багдад.

А у нас с тобою... Вот выпадет первый снег... Белая земля, «серенькое» небо, и – на чёрной слеге у овина защекочет, засказывает сказку сорока-белобока.

Несыто ли хотим слушать Сорокину сказку. О богатом мире русской красоты сорока-то возвещает...

***

В «Хождении», книге XII века, писано: «Несть сыти пьющим живую воду тое реки...» Ясное осеннее утро. «В багрец и золото одетые леса» – это всё «пета бяху». Бывают «роскошные виды». Но разве необходим чан воды тому, кто хочет пить?

Передо мною чистая небесная высь. И на этом свете легко и тонко нарисованы изящные веретёнца ёлочек. Они стоят не часто. Вершины вознесены как свечечки. За ними даль и ширь молчаливых сжатых полей, холмов и лесов. Красок немного, но гамма их сложна. Вид прост, но фотография ничего не даст. Эффектных сочетаний света и тени нет. Впрочем, невысокое солнце освещает ёлочки «с той стороны», и чёрно-серебряные силуэты на фоне прозрачного неба восхитительны.

Можно ли скопировать этот простой русский пейзаж так, чтобы и «невидевшие уверовали»? Живая кисть может. Но не «копируя», а передавая разум этого «радонежского пейзажа».

Выйдешь утром и увидишь красоту этого лика Божьего, т. е. преизящество этих ёлочек, явленных в свете какой-то земной небесности, – увидишь и похвалишь жизнь...

С юных лет пленило меня искусство, которое ограничительно именуют декоративным и спесиво отлучают от «чистого искусства». (Это «декоративное» искусство жило ещё «от праотцев» в нашем поморском быту и потому, кажется, должно бы примелькаться мне. Но «дух дышит, где хочет».)

Ежели грубо определять, и в пейзаже люб мне рисунок, композиция, силуэт, контур. Мазанности в живописи, хотя б она вся была как радуга, я не люблю.

(Как у всякого дилетанта, то есть человека, любящего искусство без взаимности, симпатии мои к видам изобразительного искусства не дифференцированы. Специалист улыбнётся на мои сужденья. Но, скажите мне, такой вид человеческого творчества, как любовь (скажем, любовь мужчины и женщины), требует специалиста? На тех правах и я люблю искусство. А любовь влагает в уста слово. Пущай оно будет косное.)

В технике любого искусства не хочу расплывчатости, смазанности. Но ненаглядно пленительны нюансы неба на Руси. Тихо облачное небо беседует моему уму, всегда нашёптывает о чём-то важном и нужном.

Неуловима переменность светлооблачного русского неба. Оно как бы шито бледными шелками. Тона его цвета плащаницы Древней Руси.

Как же ты, дядя, говоришь, что не любишь смазанности и бесконтурности?.. Русское «серенькое» небо – любимая, самая ненаглядная картина для меня. Но картина эта как бы перестаёт существовать без рамы. «Рама» –

это ширь и абрис далёкого горизонта, это очертания и сила цвета ближних холмов, гребень лесов.

В городе чудесной рамой для любованья небом являются ближния крыши, карнизы, прогалы переулков... Рама для чудных картин небесной живописи – это мать-земля и вся яз <иже?> на ней. Но воды, реки, озёра и моря, а в зиму пелена снегов повторяют нежную красоту неба. В зиму цветом своим небо кажется иногда тяжелее белизны русских равнин, полей.

Любуешься умильными ёлочками, нежно нарисованными на призрачности неба, и являются некия «школьные реминисценции»: Раннее Возрождение, Фьезоле, Беато Анжелико... Но даже если назовёшь нашего блаженного Андрея, простой и нежный пейзаж русской иконы, самый словарь, самая терминология начнёт эстетствовать.

«Мысль изречённая есть ложь».

***

<Начало записи отсутствует> ...бессознательное преклонение перед чудом:

– Откуда пришёл этот гость? Откуда он взялся?

Момент плотского соития вещь малая и служебная в этом чуде пришествия в мир нового человека.

Рождая дитя, отец и мать тем самым славят Вечного Жизнедавца.

Священное таинство, служащее и вызывающее явление на земле нового человека, втоптали в грязь, сделали скверностью. Но «тем море не погано, что псы в него налакали». Недаром речено, что женщина спасёт свою душу рождением детей...

Ночь... Пишу один. Братец уехал в город с ночёвкой. Тьма окутала землю. Призрачными дорогами тянется над болотами туман. Лес будто подошёл к оконцам. Меж вершины елей, как свечи, стоят звёзды. Миры неведомые. Хоры дивные светил. Кто зажёг их? Кто учредил эту бесконечность? Кто учинил это величие? Что и кто там дальше звёзд?.. Тайна, умом непостижимая, но поклоняемая и славимая. Источники жизни на земле оттуда. Потому что Земля частица Вселенной.

Людям некогда глядеть в звёздные миры: «Видели. Ничего нового». Тем же обычаем и о светлости младенческого лица говорят: «Что там... Ничего оно не выражает, потому что ребёнок – ребёнок и есть». Звёзды – звёзды и есть. Ребёнок – ребёнок и есть.

А между тем, нет никакого сомнения, что светлость младенческого облика есть отпечаток светлости иных, неприступных миров.

С годами эта светлость сбежит с лица дитяти. Но пока она сияет в лице дитяти, я несыто хочу глядеть на него, и спрашивать, и угадывать, и дознаваться.

***

Любо и светло находить и видеть заветное, желанное. Под горою, прячась в кустах, вьётся меж цветущих трав, сбегает вниз белоглинистая тропинка. На высоком песчаном обрыве громоздятся ели. Щебечут птицы. А вдали ненаглядный «нестеровский» пейзаж: светло-жёлтые поля на холмах, ёлочки, по горизонту синяя полоса леса. И над всем прозрачно-облачное, тихое небо.

– Добро нам здесь быти, – говорю я брату. – Построить бы избушку под елью...

А на Маковце, всякой раз, как побываешь у него, ещё много видится светлого чуда. Три белых собора – как три белые птицы у моря. Они только что сложили крылья, но опять готовы лететь. В белокаменной «церкви чудной, еже созда ученик над гробом учителя», дивная «золотая легенда» Андрея Рублёва... Здесь поёт «птица Сирин, глас её в нощи зело силён. Кто поблизости ея будет, тот всё в мире сем позабудет». Он, ученик «Святой Троицы», вдохновлял и Андрея Рублёва, и зодчих. В этой песне линий и красок у блаженного Андрея, в этой песне зодчества душа великого Сергия.

Добро сдумана, ладно сделана светлая и радостная живопись над вратами. Линии, краски, очертания фигур, здания – всё нездешнее, на всём свет горняго мира.

Благодатна была земля Маковца. Чудно цвело здесь и искусство века осьмнадцатого. Знаменитая кампанилья, «чертоги»– это всё вошло и в народное искусство, в игрушку.

Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий удивительный синтез русского искусства вообще... Неожиданно с дороги открывается взору эта сказка... Точно виденье возникает перед тобой этот холм, этот явленный Китеж Древней Руси... Стоишь на мосту, глазам не веришь: – Господи, да что же это?! Наяву видится или во сне чудится??

Невольно начнёшь спешить, опережая других, начнёшь торопиться для чего-то. Очевидно, для того, чтобы руками осязать эту «златую легенду», ногами исходить эту сказку, красоте которой очи не верят.

В детстве там, на Севере, слыхал я древнерусские былины. Прозвучали, да и нет их. А эта былина, былина светлого Радонежа, наяву. Боговдохновенная песнь старой Руси стала вещественной... Лазурная музыка Древней Руси облечена здесь в формы. Это одно из великих чудес России...

В народное искусство, даже в игрушку – «радость детей», вошли красоты чудного града.

Русское искусство разных эпох видится на Маковце в некой удивительной гармонии. И не то что видится, принимается сердцем. Великолепно явила себя здесь эпоха Платона... Но душа моя хочет придти, припасть и поклониться тому, что озарено немерцающим светом Сергия... и Андрея Рублёва...

Благодарная эпоха Сергия – XIV век, эпоха учеников его – XV век – это самая сильная, самая обаятельная, самая могучая струя жизни этого чудного Града, который есть сердце Святой Руси.

В призрачной и таинственной сумрачности оной «церкви чудной» мерцают свечи. Там отец наш. Там молчит священная гусль Руси Святой. Но разве молчит эта божественная гусль? Нет, она поёт, и говорит, и зовёт.

В нашей русской природе есть некая великая простота. Эту простоту скудостью назвал поэт. «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» Но душевные очи художника в этой простоте видят неистощимое богатство. Серенькое русское небо, жухлого цвета деревянные деревнюшки, берёзки, осинки, ёлочки, поля, изгороди, просёлочные в лужах дороги... Красками как будто бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина – на первый взгляд она схожа с горошиной. Но вглядись в жемчужину: в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче ли, не краше ли перламутра тонкая пелена облак над холмами Радонежа?

Что проще наших полевых цветочков: ромашка, иван-чай, лютик, незабудка, колокольчик, голубоглазый василёк? Но не в голубизну ли василька, не в синь ли полевого колокольчика божественный Рублёв одел пренебесное своё творение – икону «Святая Троица»?!

Жемчужность и перламутр рублёвских красок – оне русского «серенького» неба...

Скажут: «Но эти краски Рублёв видел у византийцев, у Феофана Грека!» Нет уж, извините! Эту тихую мечтательность, этот пренебесный мир, эту божественную гармонию не только линий и очертаний, но и красок, блаженный Андрей мог найти только в себе и видеть только около себя...

***

Семь часов, восьмой вечера. Отемнало, и дожжинушка ударил. Знай шум стоит, да вода с крыши плещет. Дождь-от с ветром. Ветр-от как нажмёт, и дожжинушка как мётлами по крыше-то шаркнет. Ещё то ладно, что сейчас в деревне близ работы братишкиной живём.

В соседях мальчишечко на третьем году есть – Юра. Волосики как лён. Один вечер мельком я с ним повозился; он где меня ни увидит, всё кричит, радуется:

– Адя! А дядя!

За старшими побежит, бойко частит маленькими ножонками. Подопнётся, упадёт, подпрыгнет, как мячик, засмеётся и опять спешит.

– Адя! Дядя! – Это в окно мне кричит. Возьму его в охапку, подкидываю, тешу, а у самого у меня слёзы ручьём: Мишуточку любимого не могу позабыть. Сегодня год восемь месяцев, как Мишечку не видел...

Дождь пошумел да унялся. Заря в тусклости смерклась, видно, к дождю. Утки в прудке крячут, не к дождю ли? Братец побрёл к завтрашней репетиции игрецов своих подтверждать... А уныло на даче в ненастливые вечера. Писать темно. А письмо моё не стоит того, чтобы свечу жечь.

***

Удивительна светлость младенческого лица! Вспоминаю Мишечку, вижу сейчас вот этого двухлетнего Юрку. Как лицо неба, как солнечный лик смотрит тебе дитя в глаза несмущённо, безмятежно. А ты смущаешься и мятёшься. Во взгляде дитяти неведенье зла и греха. А твоя жизнь – «страницы злобы и порока». Доброго, правого, невиноватого человека эта светлость младенческого лица только радует. А моя кривая совесть не терпит этой светлости, этого сияния младенческой улыбки. Как от солнечного света, морщится худая рожа и текут слёзы.

Тьма не терпит света. Младенец никому не сделал зла и сам зла не помнит. Младенец никого не обидел, ни в чём, ни перед кем не виноват. Потому он весь светел, и титул его блаженный.

Душа младенца белее снега. Как же моей душе не смущаться, когда я сделал её чернее башмаков... «Думы мои, думы мои, лихо мени з вами!..»

***

Как бы хотелось хоть на малое время высвободиться из-под гнёта неотвязных заботных дум. О «завтрашнем» дне забота уж так-то отягощает мысль! Хоть коротенькую бы песенку запеть охота, а не видеть, недоумённо моргая глазишками: чем-де прожить до 20-го...

***

85-летний старичонко перед своим домишком рубит прутики орешника.

– Дедушка, веник хочешь сделать?

– Зачем веник, это дровца на зиму... А у меня старуха в город уехала с молоком. Булочку мне привезёт! – хвастливо прибавляет он.

***

– У меня муж маленько недослышит, а я недовижу. Я и говорю: старик, ты будешь глухой, а я слепая. Я буду тебе сказывать, что про нас дети-то говорят, а ты мне за то рассказывай, что они делают.

***

Девочка лет десяти стояла около меня, читала вслух. Поразила меня нежность очертаний её бледного личика, её чистый голосок.

У её братишки Юрки – свет блаженного неведенья жизни. А у его сестрёнки какая-то недетская и грустная дума. Они беднячки, и этой девочке, очевидно, приходится много переживать... Читает весёлую сказку, а высокий голосок звучит безрадостно...

Почему дети? Почему всякое слово ребёнком закроешь?.. Потому что так же, как любо сердцу слышать пенье птицы, шелест листьев, журчание весеннего ручья, видеть лазурь неба, тени облаков, бегущие по лугам, так же сладко слышать голос ребёнка, глядеть, как он бежит к тебе, протягивает ручонки.

***

Вечером остался один с хозяйскими ребятишками. Тьма глядела в окна. Синела керосиновая лампочка. От большой печи веяло теплом. Когда налетал ветер, в нежилых верхах точно кто-то ходил. Ребята жались ко мне:

– Дяденька, расскажите сказочку. Страшную...

Куда-то отлетели десятки лет, прожитые в городе. Чудно мне было сознавать, что сижу в деревенюшке. Кругом поля, леса. Далеко до города. На конце деревни пролает собака. Ей ответит другая, и опять тишина. Уже поздно: восемь часов. Ни в одной избушке нет огонька.

Годов сорок пять назад точно так же жались мы, и я, и две сестрёнки, к матери.

– Мамушка, запой про кнегиню Юрьевну.

Тоненьким голоском мать поёт старину:

Сине море на волнах стоит,
По седой волне корабль бежит –
Юрий-князь в Орду плывёт.
Дань-калым кораблём везёт...

Тьма глядит в узеньки оконца поморского дома. С моря налетает норд-ост. Скрипит флюгер на мачте, во дворе.

– Ох, деточки! Папа-то у нас в море.

1 сентября. Четверг

Тихий, ненастливый день. С рассвета дождило, в полдня показывалось солнце. И опять затянуло. Лёгкий ветерок. Тихо. В низине Пажи крякчет утка.

Решили ехать в город. Грустно мне, но лирика тихаго ненастья не рентабельна. Может, дело какое навернётся в городе. А сидеть, в окошечко глядеть... Вишь, сегодня день тих и тёпел, то я и зажалел уезжать.

Человек, «рождённый для вдохновенья и звуков сладких», есть сущее горе для его близких. Век свой я просидел у окошечка, созерцая облака, возложив на братишку всякое житейское попечение. Он упадёт без сил, я плачу. Чуть он обмогнётся, и я опять как птичка Божия – «не знаю ни заботы, ни труда».

5 октября. Вторник

Завидую людям-хозяевам, людям практическим и расчётливым. Смала превзошли они науку – добыть, нажить, приобрести. Жизнь мне показала, что одна только эта наука и пригодна, и нужна. Практические люди ступают твёрдо, глядят остро, говорят уверенно, никому не кланяются, советов ни у кого не спрашивают – деньги ума дают. Скупятся они и жадничают с радостью – больше останется. А наш брат скупится и скудается от того, что нет ничего.

Завидные эти люди берутся только за верные, выгодные дела. На авось ничего не делают. Не так наш брат, который за тенью гонится, на вей-ветер надеется.

В результате стыдишься ты своей «жизни в искусстве», и крыть тебе нечем перед запасливыми «умными» людьми. Все твои «науки, искусства, поэзию» умные эти люди ни во что кладут и ничем зовут. Слушают тебя сочувственно, а думают:

– Ты бы, философ, лучше валенки к зиме подшил да локти у пальтишка залатал.

7 октября. Четверг

На скудость-ту обижусь да обижусь. И обида эта мне свет Божий за́стит. Опять зазираю и корю себя за своё усердие к этой святости и красоте природы. С ведёрком в гору вздымаюсь, десять раз остановлюсь, не могу налюбоваться. И борются во мне два ума. Один ум доказывает: красуйся над тем, за что деньги платят. А с этого пустого погляденья сыт не будешь. Другой ум говорит: эти серебряные осинки, это ясное небо, эти холмы-богатыри с еловыми гребнями на затылке, эта молчаливая, но много говорящая река, вся безглагольная, но многопесенная тишина этого места, всё это и есть твоё богатство. Это и есть твоя «радость неотымаемая». На это твоё богатство никто не обзадорится.

8 октября. Пятница

В рассуждении погоды осень сейгод весьма благоприятствует деревенскому жительству. Третий день тянет зюйд-вест. Землю просушило. А, бывало, редкий год к Сергиеву дню, осеннему, в Лавру съездить отваживались.

Достоевский сказал: «Красота спасает мир». Очень широко и общо́ сказано. Не хочешь, да помянешь сказку: «...твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту. Неси благодать, а то ничего не видать!»[1].

---

[1] Шиш Московский.

Ох, голь перекатная! Хоть кол тебе на башке теши, ты своих два ставишь. Опять «красоту» да «светлоту» прибираешь. Краше бы тебе «бедноту» да «наготу» рифмовать.

Я согласен. Рассудок мой таково ж скаредно думает. Но сердце, но разум вопиют своё: «А всё-таки она движется!». Есть, есть красота! Существует сама по себе и не требует причин к своему бытию. Скажут: идеализм. Ну а «любовь», «совесть», «жалость»? Каких ярлыков ни наклеивай, душевные вечные чувства и свойства останутся с человеком. Точно так же, как любовь (не физиологическая) – «дышит где хочет и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Точно так же и красота, рождающая в человеке чувство радости, понуждающая человека к творчеству, существует помимо нашего признания или непризнания. Искусство и поэзия созданы радостью о красоте.

Это я говорю в оправдание того, что, например, за водою на речку можно сбегать за двадцать минут, а я в час не обернусь.

12 ноября. Суббота

С Михайлова дня морозцы; хоть невелики, но сухо. Братец уж не возит на себе хотьковских глин. До Михайлова дня с месяц дни были темнооблачны. С Кузьмы перепадывали мокрые снежки. С ночи раз полежал снежок, а в дни нету. В Хотькове, слышь-ка, бело уж. Братишку ветры просвистывают. Зима, а шубёнки нет. Сколько годов валенок купить не можем. Заплат наплатим да опять старые носить.

27 ноября. Воскресенье

Зима пошла. Морозы невелики. Снегу мало. Недавним дождём даже в Хотькове поля оголило. Я, в кой день печь не истоплю, и дома зябну.

С Веденьёва дни наша комната со всем коридором дён пять воевала. Из-за свету. Вот уж трясли душу! Все по милости старых и вредных идиоток vis-a-vis. Насучили на нас весь коридор. В конце концов весь коридор на них же и опрокинулся. Старушки интеллигентныя, выжившия из ума, страдают маньякальными галлюцинациями, но милые от этого не становятся.

А у нас и новости, и радостные и... не знаю, что будет. Михайло начал ездить к сыновьям. Бывшая его супруга никак три раза была у нас. Жизнь заставила её понять, что без отца ей не вырастить детей.

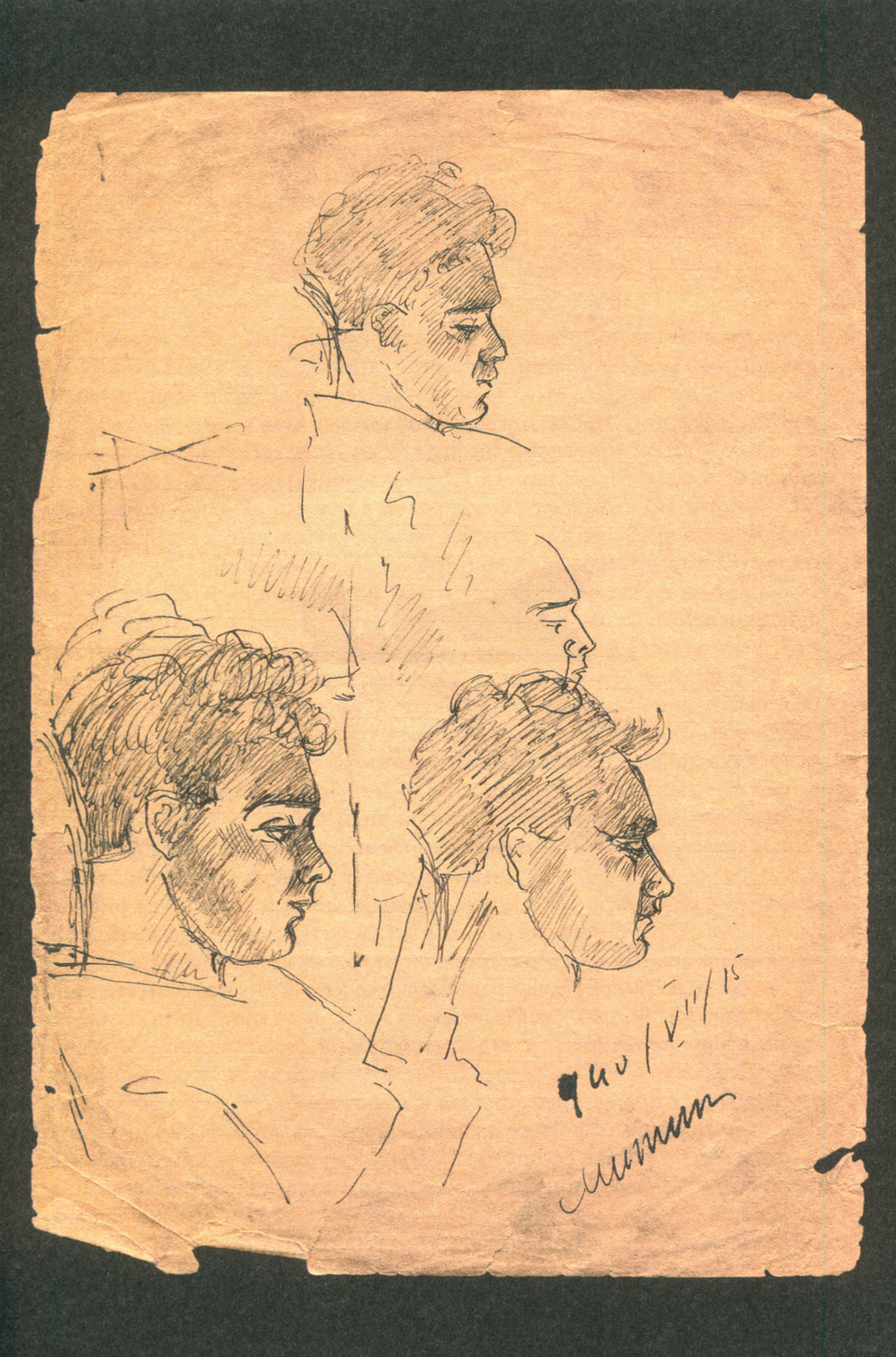
30 ноября. Среда

Кабы не озябныя ветры, погода бы ничего. Братишку в поле просвистало. Да ещё из-за боли в ноге духом упал. И я со вчерашнего дня приуныл: обнадёженный «дамой-патронессой» два месяца сидел над сценической вещицей. Вчера торжественно понёс в контору, указанную дамой, уверен

был в гонораре. А там пожали только плечами. Такой товар не надобен. Ещё в двух местах с братцем были: результат плачевный.

***

...И таково они животворны, таково жизнедательны, что и на утлой тундре (а таково моё душевное и телесное устроение) дают ростки мыслей. Эти мои мысли людям настоящим покажутся и празднословием, и пустословием, а мне надобны эти мои, пусть убогие, слова. Это как бы стержень, остов мой, смысл бытия моего убогого. И если бы не удавалось мне в себе иногда мыслей подслушивать, ощущать, уловлять, которые хоть тень радости настоящей, единой на потребу дают, и уж вовсе бы я мертвецом себя считал... Видишь, что не всё ещё в тебе пепел, не всё тление и пыль. Знать, есть ещё слабая, нищая искорка жизни настоящей Не до дна ты пепел и зола, а ещё уголёк малый божий спрятался где-то в загнётах сердечных.



1953

17 января. Суббота

Давно я забыл сладкие, умирённые и светлые настроения духа, которые понуждали мою руку к перу, чтобы что-то записать, или к карандашу, к кисти, чтобы нечто нарисовать...

...За слабостью зренья я почти ничего не читаю. Читать недосуг: запущена работа срочная. И хотя эта работа должна бы увлекать меня (надо писать и рисовать о любимой родине, о Севере), я уныло думаю о ней и со дня на день откладываю. То, над чем в былое время я радовался бы, о том думаю напряжённо. А заразиться увлечением к искусству, к слову, к рисованью – не с кем. Я не ищу художника-человека, который бы положил духовного хмелю в прокисшее моё умонастроение, да и меня никто ведь искать не будет.

И вот попала мне под руку монография о Михаиле Васильевиче Нестерове. (Не Афанасий ли, не Кирилл ли богомудрые подали мне в руку эту книгу, написанную учителем моим С. Голоушевым?).

Я «от юности моёя» любил Нестерова. И всегда молчаливую и заветную беседу вела моя душа с прекрасными образами Нестеровского творчества. Ведь я и сам зачинался не художником слова (прости Господи!), а художником искусства изобразительного. (Я думаю, постепенно слабеющее зренье подсознательно заставило меня не изображать мои мысли карандашом и кистью, а записывать их. Но мысли мои заветные некому слушать (а близким моим, даже брату, некогда выслушивать).

Кто же бы стал смотреть заповедные мои думы, если б я их запечатлел в рисунке или красках? И откуда бы я взял на это время?

Я и отвык не только рисовать, но и записывать то, что всю жизнь являлось для меня заветным. «Хорони думку в пазушке, не выноси на люди».

Ознобный ветер обморозил яблоновый цвет бедной моей души. Так она и не принесла плода ни в художестве изобразительном, ни в художественном слове, ни в жизни.

А может быть, приближающаяся старость делает то, что меня уже «не сильно нежит красота» (кстати – «не так уж восхищает младость»).

Однако после живого разговора (особенно об искусстве, или поэзии) я оживаю, начинаю делать. Но встречи с людьми, живущими в искусстве, слишком редки.

И вот начал я читать живое слово о творческой жизни художника.

...les hommes revient toujours
a ses premiers amours[1]

И опять мне захотелось делать – рисовать, писать...

Болезнь, печаль, воздыхание, которые, как туман, пали на душу, редеют, как туман, и вижу, что существует и живо то, что я любил. Любовь к искусству я не натаскивал на себя силою. Любовь эта жила во мне и осмысливала мою жизнь.

Искусство, художество, творчество – это реальная сила.

Как религиозный человек душою чувствует пребывание Бога, например, в природе, так человек-художник знает, что «художество» есть реальная сила. Достоевский называет эту силу «красота» и говорит, что «красота спасёт мир».

Когда я начал читать о художнике, которого я всегда любил, я слово о нём начал слушать внутренним слухом.

Читаю я косно, медлительно. Встретив мысль, отвлекающую на мои запросы, или объясняющую мне нечто во мне самом, или оправдывающую меня, мои стремления и искания, я вижу, как летит белый голубок. Утешитель, жизни податель.

<начало не сохранилось> ...давно я не видел. Другой раз сердце так и рвётся – Мишуличку бы поглядеть. Как хочется что-нибудь ему, бесценному мальчишечке и Лёшеньке что-нибудь сделать, чем-то порадовать: и горе берёт, что нечем.

Проклятые эти, вечные недостатки и нехватки: братишко кашляет, неможет всё, сердоболь моя вечная. А завтра пост Великий.

25 февраля. Среда

Эту вот пору года, когда зима на извод идёт, когда днём на солнышке с крыш бежит вода, а старухи, идучи к пению, сторожко обходят отпотные места на дорогах, боятся ещё снять валенки, а и замочить боятся. На улице совсем смеркнётся часов в семь. Пост Великий. О, как я эту пору люблю.

Нужда гнетёт душу... Бывало бы радовался «печали сопротивно», а уж старость приходит: печалюсь радости вопреки.

Братишечко всё хворает. Ко всему ещё инфлуэнция. Михайлушко наш сегодня уж ночевал опять у жены. «Муж с женой на постели мирятся». Ох, дал бы ему Бог «мира семейного». Три недели добрых врозь жили.

Ведь, главное, дети страдают, если отец с матерью во вражде. А что дороже в мире двух птенцов ненаглядных Мишечки и Алексеюшко?!

У братишки опять температура. Как Михаил у нас, мне хоть веселее: есть с кем словом перекинуться, со своим близким, как-никак жизнерадостным человеком. А без Михаила я все свои тревоги в себе жму. Миша с работы при-

[1] Первая любовь не ржавеет (фр.).

дёт и – разговоров! Будто он часть вечных, неусыпающих наших печалей на себя берёт. А тут два старика беспомощных.

Уж никогда, видно, этот камень печали не откатится от моего убогого сердца.

О, какое счастье, у кого есть семья, дети! Кто-нибудь заболеет, все печаль разделят по себе. А мы с братишком, два старика, только горюем да духом падаем, глядя один на другого.

Пишу я всё будто не чернилом, а слезами. «Хотел бы весело хоть раз взглянуть на Божий мир».

Миша старший давно прирос к сердцу. Врос в нашу уже стариковскую жизнь. В доме должна быть молодость. Когда брателко ходит-бродит с делами, и я вроде как бодр. А стоит братишке заболеть влёжку, я уж не человек. И присутствие Михаила мне нужно, как кислород для дыханья.

Конечно, его жизнь с детьми, с его молодой семьёй. Но как же мне тошно, как грустно заходить в его опустелый опять уголок.

Кабы братишко не хворал, я не унывал бы.

Месяца марта, в первый день

Заветные мои, заповедные мои месяцы – март и апрель. Но некогда радоваться и сил уже нет расположить себя, свои мысли на радость. «Некогда», потому что не умею расположить и распределить порядочно свою жизнь. Не умею во пору и вовремя воздавать «Божие Богови, а кесарево кесареви»[1].

День провожу, то валяяся в слабости – голова кружится, тошнота сердечная, – то мечтаю бесплодно, как Манилов. То схвачусь прибираться в квартирёнке своей. Вечером возьмусь за перо. А уж устал не у чего.

Попала в руки книга хорошая: стихотворения Кольцова со статьёй Белинскаго. Кольцов был для меня поэтом из хрестоматии.

В статье Белинскаго много чувства, но всё же Белинский говорит речь о Кольцове, благородно ораторствует... Живого Кольцова надо выискивать.

Я ещё не прочёл суждений Белинскаго о творчестве Кольцова. В литературных суждениях Белинскому «книги в руки». Но в жизнеописании Кольцова много высокого ораторства. Например, о любвях Кольцова, игравших, очевидно, большую роль в жизни Кольцова, Белинский не рассказывает, а громит или самодурство родителей, а в другом случае бичует какую-то вероломную красавицу, в выражениях гневных, но... хотелось бы знать, в чём дело.

Белинский сообщает, что Кольцов умирает, нуждаясь иногда в куске сахара, иногда не имея куска хлеба. Почему?? Кольцов умер в родном доме. Семья его отца многочисленна. Кольцов вёл все дела по торговле. Пусть родная семья Кольцова была чужда ему по духу, но Кольцов умело вёл торговые дела. Почему он умер заброшенным, голодным?

---

[1] См. Мф. 22, 21.

Белинский заинтересовывает жизнью поэта, умершего всего на 34-м году жизни. Хочется узнать об этом милом, талантливом, с сильной душою человеке точнее, конкретнее. Но в многих поворотах, где жизнеописателю надо бы спуститься на землю, войти в дом воронежского прасола, отца поэта, и поглядеть, и подышать воздухом, пускай тлетворным, поглядеть на «изменниц коварных и жестоких», как раз в этих местах Белинский подымается на крылья если не риторики, то... и мы с высоты полёта не в силах разглядеть и понять, что случилось с поэтом.

Белинский не хочет разбираться в грязи и оставляет нас в неведении. Не любя «идеальничания», жизнеописатель сам идеальничает.

Потому досадно на Белинскаго, что это – мыслитель выдающийся.

Но всё же Белинский открывает простор для мыслей читателя. Читая статью Белинскаго, я могу широко мыслить, догадываться, искать, вопрошать...

И эта абстрактность жизнеописания Кольцова, на которую я, может быть близоруко, досадую, куда значительнее, шире и вернее всяких биографических романов о жизни того или другого поэта, писателя, композитора, каковых романов пишут так много и пишут люди, в подмётки не годящиеся Белинскому.

Средний романист собрал бы анекдоты о Кольцове, понюхал бы кой-какой материал о быте провинции первой половины XIX века и «оживил» бы мир и людей, окружавших Кольцова, в духе самого банального романа. Нахватал бы типажей и словечек из драматургии Островского, только получился бы у романиста-биографа... «Труба пониже да дым пожиже».

Широкому читателю это бы было по зубам, но разве это всё можно было бы сравнить с Белинским?

(Я читаю книгу о Кольцове издания 1856 года. С портретом Кольцова. Какое милое русское лицо. Хорошие глаза.)

В книге много стихов Кольцова. Многое не чувствуешь. Многое кажется наивным.

Но как мне любо, как это меня обогащает и оживотворяет, когда «некто» из хрестоматии вдруг становится живым, подходит к тебе, ты чувствуешь его теплоту, его взгляд, слышишь его задушевное, нужное тебе слово.

Кольцов чем-то близок мне. Почему я так мало знал о нём раньше?

Кольцов мне не современник. Но есть что-то общее в творческих путях наших. О Пушкине и Лермонтове я не мог бы употребить это слово – «наших». А о Кольцове – могу. Этот человек может стать моим другом «по мыслям по верным, по думам по крепким». Он из торговой среды, я из мещанской. Он от ранней юности взыскал красоту, и рвался к ней. И я. Он рождён был поэтом, я, неизвестно откуда, с детства пристрастен был к художеству.

Да, вдруг я стал думать об этом человеке... Пока ещё не стихи его, а жизнь его, судьба его заставляет меня подойти к нему, искать его близости, которая кажется мне светлой.

И чувствую, что жизнь Алексея Кольцова мне нужно узнать для своей пользы.

«Но уже звенящий благовеститель полнощь извествует, и пора мне препокоити скоропишущия руки моя».

Т. е. бьёт двенадцать, братишке пора спать, а мне положить <?> перо.

Сегодня Евдокия Плющиха. День солнечный. Течёт. «Кура из лужи напилась» – по примете, лето (или весна?) будет благоприятное.

А завтра матери моей умерший день. Там, у Студёного моря, почивает моя мать. Уж ветры, налетающие с моря, источили древо больших поморских крестов. Чаю, мохом поросла надпись: Преставилась въ вечную жизнь раба Божия Анна «Отъ смерти убо къ жизни».

***

Когда я читаю беллетристику, то устану и ничего не останется в разуме. Там всё чужими зубами пережёвано. Много ли наешь?

А чтение документов, писем – это меня обогащает. Люблю, когда словам тесно, а мыслям просторно.

20 марта. Пятница

Крестопоклонная неделя. В Городе разве по дворам лёд, да лужи, да грязь. По улицам уж сухо. Привелось взглянуть, какова весна и за городом. Снегов уж мало, разве о заборы. А от грязной дороги, вдаль, всюду тянутся лы́вы водныя. И синий лёд. В воды глядятся ещё голые, тонкие ветлы, ивняк, берёзки.

Тряслись с братишком к Мытищам. Любо мне было после городского камня да гула видеть ширь небесную, деревенские домишки, окружённые водою. Всё в какой-то тусклой нежности ненастливого дня.

Весна сейгод ранняя. И грачи, и скворцы, и жаворонки, и водоплавныя птицы прилетели в свои дни, «на Федота», «на Герасима», на «сорок мучеников», «на Дарью».

Давно не видел я милых мальчишек, света моего Мишечку и голубоглазого Алёшеньку. Как они дни днюют и ночи ночуют. Михайлушко, это <?>, редко там<?> бывает. А сказывает: «Оба мои героя мокрые с улицы приходят» – гидрографией увлекаются.

Михаил помирился было с женой, пожил несколько дней, приехал тесть, надутый ещё пуще. Так как дочка унаследовала ум своего папаши, Михаил ушёл от них. Но и из Хотькова, последний раз, Михаил приехал в отчаянии. Не поспел он переступить порог родительского дома, папа ухватил его «за горло» – деньги давай!

Тяжко приходится Мише.

4 апреля. Суббота

Тесный каменный дворок старого города. Высокая серая башня. Она стоит без перспективы: нельзя на неё поглядеть издали. Такие здания любят стоять на берегу или на горке.

...На фоне догорающаго запада зодчество старой башни так изящно. Всегда, когда я вхожу в этот древний каменный дворик, мне кажется, что я пришёл в другой, иной какой-то город.

Сегодня вечером вкруг башни народ со свечками, с вербами. На лицах двойное освещение: свет вечерняго неба, свет бледный и красноватый отблеск свечей. Молятся ли стоящие? Или пришли за воспоминаниями, которыми хотят согреть сердце?

19 апреля. Воскресенье

Сегодня с утра дождь. Ещё засветло перешёлся<?>. Школьники бегут без пальто. А мы ещё окон не выставили, рам не открывали. И топим через день. Ну, это стариковская кровь не греет. Сосед вчера, к ночи, в пиджачке, без шапки, а я в ватном пальто озяб.

Ребятёнки сейгод о праздник не были из деревни. Мишуличка мне поздравление послал, сам написал своею рукою. Вот я какой радости дождался, что любимый мой Мишечка уж пишет мне.

2 мая. Суббота

Впопыхах (после дела-то), в тревогах дни изнуряю. И писанье сдал, и рисованье сдал... Машу кулаками после драки. Дни ведём, едим, пьём, встаём, спать ложимся. А на сердце-то всё тревога и боязнь. ...Нет надежды, что труд мой долгий и кропотливый обсудят люди доброжелательные.

Надоело жить в тревогах, надоело бояться. Надоела бедность.

Идёшь по улице: люди смеются, разговаривают, припевают. А я на той же земле живу, а будто и не человек.

«Хотел бы весело хоть раз взглянуть на Божий мир».

Мир родимой Северной Руси, который чувствовал, о котором думал, – за него и маюсь. Никому он не надобен.

8 мая. Пятница

Весна благоухает где-то... Но и я через дорогу, за забором, вижу нежную призрачную зелень лип. Принесли ветку цветущей черёмухи... Как я всё это любил, как чувствовал! Ведь и в городе весна. Ещё нет пыли.

Но на душе камень печальный. Никто этот камень не снимет.

Вчера нежданно вдруг привела мать Мишечку. Я и радоваться-то уж не могу. Ждал <?>. В смятении в каком-то суетился. ...Мишечка подрос, загорел. Кудряшечки обстрижены, на милом кругленьком личике его

удивительные, «удивлённые» бровки. Он всегда смотрит как-то испытующе, и бровики приподняты как бы недоумённо. Зашёл в комнатку отца (отец в Хотьков уехал).

– Это папины ноты? Папины книги? Музыка папина? А кровать, кто спит?

– Папа и спит тут...

– Зачем он здесь спит?? У них так много кроватей.

– Где?

– Я не знаю. – Замолчал. Восьми лет нету, а уж задачу задали родители.

10 мая. Воскресенье

Не люблю (у себя дома, в украшении или в обстановке комнаты) ничего бесформенного. Раздражают меня окляклые, жиденькие, как попало сунутые в плошку веточки. Это, видите ли, природа. Не выношу я мягких пуфов вместо стульев. Не люблю этого разубранного мещанского одра – «пышной супружеской кровати». Не люблю сору, окурков. Люблю твёрдую форму, ясную и отчётливую.

Так точно и в литературе: у писателя должен выработаться язык, чтоб словам было тесно, а мыслям просторно. Нельзя считать «книгой» это неисчислимое чтиво, эту бесформенную, бесхарактерную, нудную говорильню, безликую, без соли, без дрождей болтушку на воде.

11 мая. Понедельник

Сегодня днём первый раз услышал ласточек. Вечер. Натянул облак. Идет тёплый дождь. Где-то «дождь по листам шелестит». У нас поплёскивает с крыш под окна. И то любо. В городе как узна́ешь, что дождь пошёл? Побегут девчонки, укрываясь куда-нибудь, побегут с весёлым криком. Кряду и мостовая смокнет. Потом и с кровель плю́скать зачнёт.

Хорошо в дождь и в городе. Как-то грустно-обидно, что этим летом в камне городовом придётся сидеть. А где-то благоухание весны, ширь неба, зори, цветы. Пустяковое это во мне чувство. Подумаешь, что старому хрену надо?

Подоплёка этой моей грусти, конечно, в том, что сейгод дела у меня плохи. Два года я сидел, списывал своё знанье северной морской старины. И всё прахом идёт. Писать, рассказывать могу. А устраивать, продвигать работу – на это ума и сил не хватает.

Когда эти два года писал про морскую старину, всё мечтал – кончу писание, начну рисовать. Эти лодьи, кочи, раньшины.

А и писание-то никому не навяжешь. Кому же нужны рисунки мои?!

Бывало, запо́ем для себя рисовал. А теперь уж и стыдно «не делом» заниматься.

Братишку очень убивает состояние наших дел. К тому же здоровьем слаб. Нет сил телесных и душевных. И я разгорююсь, палю папироску за папироской... Ласточки свистят, знать, и это лето в нашем переулке жить будут. А вот галки и вороны уж две или три зимы как не зимовали, не ночевали на деревьях, что через дорогу. Выжил живую природу гам и лязг города.

А се и то, что помойных ям не стало. Питаться негде. Но вορбыши живут зиму и лето. Веселят своим чириканьем.

Мишечку сегодня к ушнику привезли, завтра он обратно с отцом в Хотьков.

И вечна и нежная зелень, и первые цветочки, и удивлённые бровочки Мишутки на милом загорелом личике – всё редко вижу, уж ни на что меня не хватает.

Да, самое главное не записал: (!) на рассвете сквозь сон слышу звуки, сладчайшие всякой музыки. Над городом летели журавли и кричали. Какая флейта, какой хор, какия виолончели могут воспроизвести эту сладчайшую гармонию – пренебесные звуки, серебряный звон, блаженный зов летящих журавлей.

Соловей воспет и прочувствован поэтами и прозаиками. Диапазон соловьиного описания исчерпывающе невелик: если соловей, то неумолимо светит луна и неизбежное лобзание влюблённых.

И ежели тебе не двадцать лет, а за полсотни, то какое твоё дело, что кругом – «шёпот, робкое дыханье, трели соловья»[1].

А журавли – музыка зовущая, а куда – неизъяснимо. Журавлиный крик – в сердце и печаль, и восторг. Заслышишь – весной ли, осенью ли – выбежишь на улицу: где они? А журавли прокричали, позвали и – нет уж их.

17 мая. Воскресенье

«Клин клином вышибают». Таков «клин» в настроении наши устремлён. Не стало А.А.Рязанова <?>. 13.V. У них горе. И мы из колеи выходили. Михаил там был. Жена как льдина с ним. Он как чужой. А могли бы жизнь наладить. Если бы А.Д. управила это дело. От нея зависит многое. Если б и Надежку умудрило горе ея.

Мишутка там. Ему лечат уши. Как хорошо, что у детей эта панацея непонимания смерти. И скаредный пустырь нового кладбища не навёл ребёнка на грустные мысли:

«Здесь хорошо на велосипеде кататься!..»

Из Хотькова никто не был. Очень это сожалетельно.

Дни ясные, солнечные. Держится западный ветер. В оконца несёт холодом. На улице хорошо, а в каменных комнатёнках для меня холодновато.

На днях Миша-отец и Миша-сын сидели у нас за столом. Я подивился их сходству. Оба загорелые, темноволосые. Схож взгляд, брови, плечи, руки.

[1] А.А. Фет.

19 мая. Вторник

На дворе гроза. Вдруг отемнáло. Над городом катится гром. Дождь моёт серый камень города. На что краше!

27 мая. Среда

Заходил человек с родины. Там худо и знал её, сейчас будто родной кто приходил. Говор забытый, милый, родной услышал. Названия улиц. Всё в душе всколыхнулось. Ожил родимый мир. Ожила во мне моя молодость. Вернулась в меня та ушедшая жизнь. Другая была жизнь, другие, не теперешние люди, другой был я.

И вдруг я унёсся в этот мир. Пришёл оттуда человек и стал говорить об этом мире юности моей. И я забытое вспомнил. Ясным, и ярким, и живым стало то, что становилось уже забываемым сном...

...И что-то стало звать меня ещё раз повидать любимую родину. Точно эту женщину послала родина позвать меня. Я вдруг почувствовал, что значит родина. Там отчий дом. Там дорогие могилы, там вековой наш род. Там сияющая пора детства и юности моей.

3 июня. Среда

Всё не налажусь дело какое ни то делать. Ковыляю, прибираюсь, лежу, курю, жду настроения, ан – вечер и ночь.

Мишечка гостил вчера. Ему скучновато в городе. Рвётся в Хотьково.

***

Слышал человека, побывавшего на Севере: Кемь, Онега, Ухта, Вокнаволок... Всё, слышь-ка, однообразно. Климат, слышь-ка, скудный, холодный.

А мне родина моя какой кажется прекрасной. И не сравню с здешними местами. Тихославная Двина, родимая северная речь, прекрасное зодчество... Отцы и праотцы там лежат. А меня отнесло-отлелеяло от родимой стороны. Иное и вздохну «о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом».

Но уже не оторваться мне от здешней, теперешней жизни. Близкое и дорогое моё здесь. Тут всё моё дыхание и сердоболь. Забвенна буди десница моя, пусть иссохнет язык мой, если забуду тебя, родина моя прекрасная.

Но здесь, «на реках вавилонских», и жизнь моя, и дыхание, и всё. Север для меня – туманное и сладкое воспоминание, а жизнь моя здесь.

13 августа. Суббота

Разница культур. Северные люди любят древний стиль в иконописи. Северный крестьянин и мещанин ежели и не гонится за древностью иконы, то всё же требует, чтобы написана она была письмом «горним и пренебесным», считая, что всё святое и поклоняемое может быть

передано исключительно формами, линиями и красками греческих и древнерусских живописных пошибов. В дни молодости моей в домах северных людей – Беломорье, Сев<ерная> Двина, р<ека> Пинега, р<ека> Мезень, Печора – нельзя было встретить икону «новаго», малярно-«академического» стиля. Это, во-первых, потому, что жители Севера тщательно берегли иконы, унаследованные от предков. Во-вторых, приобретая или заказывая новую икону, требовали, чтоб пошиб был «священный», канонический.

«Живописную» (некогда заимствованную с Запада) манеру иконописания северный народ считал профанацией, снижением, недомыслием. Дескать, это будни, это обыденное, сесветное. А «то» искусство передано из мира горняго, от ангелов. По поводу одной картины Нефа поморка сказала:

– Что уж... будто обыкновенная картина... Наснимают барыней, да ты им и молись. Она хоть и скромница, а тельна очень, хлебна... Глазки голубенькие, щёчки румяные, губочки собрала. Нет, уж это не «Высшая небес»...

Люди Севера также любили древнюю манеру церковного пения. Характерность не только мелодий, а самой манеры исполнения столпового, крюкового пения считалась на Севере принятой от ангелов. Наоборот – театрализованное, чувственное, давно уже распространенное в России пение не нравится северным людям. Оперно-концертный стиль церковного пения поморы, двиняне и др. считают недомыслием, оскудением, ложью и ничтожностью. Концерты, распеваемые в церкви, рёв басов, визги сопрано, по мнению северных людей, есть «скраденая ересь». Не о староверах говорю. Это дух общей культуры Севера. Кстати сказать, в таком рассаднике церковной культуры, как Сийский, пение искони употреблялось только и исключительно «столповое», знаменное с его особливой техникой исполнения.

Северный человек, почитая церковь «земным небом», считает, что здесь всё должно быть не такое, как в сем мире. И глаза и ухо должны видеть и слышать «пренебесное», надмирное, высокое. Условно-идеалистическая живопись, особый стиль пения, красота которого столь несродна общераспространённым ныне понятиям и вкусам, – вот что требует душа Северной Руси.

***

Перечитывал «Запечатленного ангела» Лескова. Нельзя довольно надивиться богатству этой повести. Лесков несравненный мастер рассказа-монолога («Полуночники», «Очарованный странник»). Но повесть-монолог «Запечатленный ангел» – вещь совершенная в этом роде. Автор даёт обильные сведения о технике древнерусских художеств (и какою замечательною речью он это преподносит!), рисует очаровательные типы артельных людей, каменщиков: Марка, Мароя, Луку, «отрока» Левонтия, живопис-

ца Савостьяна. Вместе с рассказчиком мы живём в рабочей слободке, ходим в Москву, бредём дремучими лесами Заволжья в поисках прехитрого изографа Савостьяна и обретаем Панву безгневного.

Многообразный этот рассказ настолько целен и целеустремлён, что кажется очень простым, бесконечно хочется слушать этого Марка, от лица которого ведётся речь.

Монолог как литературная форма очень трудная вещь, но настолько оригинальна и трогательна фабула, настолько живы положения, любопытны и ценны сведения об народном искусстве, что без конца готов насыщаться (от) богатой трапезы, учреждённой изумительным мастером слова. Многие пишут в народном вкусе, но в больших дозах угощение это становится пресным и приторным. У Лескова несравненный вкус, Лесков никогда не свернёт на торную дорожку слащавого и банального «русского штиля», которому так легко подражать. Язык «Запечатленного ангела», «Полуночников» и (местами растянутого) «Очарованного странника» навсегда видится нам струёю чистою и живописною посреди мутноватых, линючих и подражательных и зачастую бездарных подражаний народной речи.

***

Не беда, что все мы слабы телом, больны. Беда, что ослабли духом. Не только немощные, но и здоровые телом негодуют на всякое беспокойство в личной жизни. Даже бабушки и дедушки, дяди и тёти крайне тяготятся внуками:

– Не отдохнёшь, не сядешь как следует чайку попить...

Не дадут полежать, кричат, стучат, шумят, просят есть, одень их, раздень, подай то, подай другое, капризничают. С улицы дети приходят в пыли, в грязи, с мокрыми ногами. Что-нибудь разорвут. Надо на них стирать, гладить, зашивать, штопать. Надо купить обутку, одёжу.

Это всё так. Особенно в тесноте городских квартир, комнат. Нянек ведь мало кто может держать (я говорю о среде, в которой живу).

Такова же и психология современных бабушек и тёток, живущих в деревне, хотя там жить просторнее и привольнее...

Но, в общем, иссякло чувство любви и жалости даже к внучатам, к племянникам, не говоря уже о чувстве к неродным детям. Под настроение и чужому ребёнку дадут конфетку, яблочко, посмеются, пошутят с ним, но терпеть шум, возиться с чужим ребёнком никто даром не станет.

Все мы устали, всем нам некогда, всем нам надо работать, все мы хотим спокоя. И далёки и непонятны нам слова об «иге», которое надо взять на себя для того, чтобы обрести покой душе. Если бы в нашей душе жила любовь и жалость, если б мы горевали о том, какая жизнь у них будет, мы

терпели бы беспокойство от них, не тяготились бы усталостью. Мы почувствовали бы, что дети «иго благое и бремя лёгкое»...

Но не найдём спокоя мы, жаждущие устроить жизнь себе к покою.

***

У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края онаго таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И оттого, что начало жизни и конец ея уже близки к слиянию, оттого, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное златое кольцо, так как уже проскакивает искра от концов кольца, оттого я и чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. А когда концы кольца онаго дивного жизни сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойно надо конец-то жизни-кольца, из того же и чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности.

24 ноября

Меняющийся лик небес имеет для меня великую, притягательную силу.

Однолично с небом поразил меня взгляд ребёнка.

...Взрослые беседовали у лампы, шестимесячный мальчуган тихо лежал в колыбели, в полумраке. Все думали, он спит...

Случайно кто-то заметил, что дитя, повернув головку в сторону говорящих, глядит на них широко раскрытыми глазами и как бы внимает.

Глазки как звёзды блестели из тёмного угла. Я подошёл к кровати, дивясь серьёзности милого личика, шептал ласковые слова.

Дитя безмолвно повернулся ко мне... И дивился я, и благоговейное чувство поднималось в душе. Тихий взгляд широко отверзтых младенческих глаз как бы вопрошал меня о чем-то. Он, только что пришедший в мир, ещё носящий на лице сияние ангельской славы, и я, всю грязь земли и тлена собравший на себя...

Он лежал маленький, спелёнатый, но таинственность гостя была в этом небесно-глубоком взгляде.

Только глядя в звёздное небо, давно когда-то, ощущал я подобное чувство. Чувство близости вечности, близости Бога.

И вот сейчас небо глядело на меня так близко.

Ещё век сей не наложил здесь своей печати, и маленькое личико отражает горнюю, прекрасную, чистую торжественность.

Он лежит спелёнатый, подобный Тому Единому, лежавшему в яслях, и таинственный и торжественный мир, родной и сродный, видят его глаза.

Он так недавно проснулся на земле для этой жизни. Он не знает, не понимает ещё здешнего, он вспоминает недавнее своё блаженство под кущами райских садов.

В его ушах ещё звучит пение ангела, несшего его в объятьях для этого мира печали и слёз...

И эта песня ангела останется в «душе молодой», останется без слов, но живая. Земная жизнь истребит в душе и этого человека память о прекрасном Отечестве.

Но останется непонятное ему «желание чудное». И не заменят ему «звуков небес» скучные песни земли.

***

...Горе человеку, живущему по своим волям, плывущему без руля и без ветрил. Горе мне, живущему без правил, без порядка, без чина, без устава. Я сам себе правило, сам себе устав, сам себе порядок. И получается, что живу бесчинно, беспутно, беспорядочно. Всякие ветры меня поревают. И не то, что один день я как бы смирен, а другой день разорён. Нет, в один день, то перемена в ясно, а то и враз дуют на меня ветры со всех румбов.

Люблю в себе состояние, вернее, настроение, мирное, люблю чувствовать, что около веселия духовного хожу, около радости некия. Люблю записать эти настроения... Ведь и болезнь, и думы тяжёлые, безнадёжные как-то рассеиваются, бледнеют, и заживает в тебе человек новый. Какое это радостное состояние!.. Но вот вчера было и до вечера, скажем, состояние мирное. А сегодня я уныл, дряхл душою, сегодня дух мой болен, совсем как вот тело болеет и хочет лежать...

...И уж ничего не помогло, никакие мои «тонические». Ни чай крепкий, ни кофе, ни кофеин, ни пирамидон. Только разняло всего на части, распался весь. А дух, как лежал, сложив бессильно крылья, так и остался лежать. (Хочется добавить – на дне курятника. Ибо я не храм для духа, а курятник.)

Истинно, я – судёнышко разбитое, кверху дном в море носимое, истинно, я – лист от дерева оторванный, под ногами у прохожих валяющийся... Нет у меня правила, нет в жизни порядка, нет ограничений (Значит, нет и свободы), нет закона, некого слушать, некои велеть, некому приказать...

мокрое время, когда ~~одни~~ мшистые

на зыбках небесными птичкам-

-ну, старые ивы тают, надо

орлиная грызня-то иноты, где

духи над безднами влетов и

горизонта-то.. Бытейный страх

не потерять. А у меня курицу

прилёшку. Закидыхаю, влезу

на шерень, оглянусь, да вниз.

~~да на там~~ да опять по те свидаю

с темными углу, тот же собствен-

ный помет.

Чтобы быть мирным, ~~мне~~ надо что-

Братишко мой ~~один~~ любимий, всю
душу свою за меня положивший, не
уставав от плачу.. но, ограблено,
затоптано, замучено, выголоднено,
все пропало. А ~~там~~ где еще пахли,
там присосались крепко [illegible]
[illegible]... опухших, не могущих
~~пройти~~ добрести до своих, [illegible]
водичкой, в [illegible] за хлеб
[illegible], через [illegible] [illegible].
[illegible] б продавцы в [illegible]
у голодных людей отнимают их жалкие
гроши. Раб свой [illegible] за 300 гр. масл.
[illegible] [illegible] [illegible]

1957

12 марта. Понедельник

Дни мои сейчас даром проходят: ни сдумано ничего, ни спишу ничего, ни сработано ничего. Днём – доктора прождёшь. Вечером что ни то отвлекает. Сейчас Мишина комнатка пуста – ни стула, ни занавески. А тоскливо там зайти.

Вчера братец заходил к «бабушке». Вместо спасиба за отношение к внуку – горькие упрёки. В полном недоумении и огорчении братец пришёл домой. Старуха казалась неглупой, а вчера поставила себя невысоко. Ну, как они хотят. Тут многое зависит от Толи.

Я иногда обижусь на Толю. Но сразу встаёт в уме вся многотрудность его жизни, вся тяжёлая обстановка теперешняя. И – не могу на него сердиться. А Толя никогда ни на что не жалуется. Никогда ничего не расскажет.

В прошлом годе я мало-редко записывал что в тетрадку. Сейгод опять появилась эта потенция. Но вялы мысли, стороннему человеку скучно читать.

Ничто уж не «вдохновит». Слаба стала воля к работе. Нанизываю фразы по привычке. Я не скажу, что мне скучно. Я и один не скучаю. Лежу, – всё что-нибудь думаю. Но воображение не держится чего-нибудь одного. Сколько недоделанного писанья! Неотвеченных писем. Не тянет куда-нибудь сходить, – а ведь всю зиму сиднем сидел. И чудно мне, что ребятам, которые к нам заходят, всё охота куда-то бежать. Куда-то лететь. Их ни дождь, ни мороз не держит.

– Я, вот, наблюдаю: множество людей, окрест живущих, обеспеченных, чиновных. Цель и смысл жизни – карьера. Чуть что по линии карьеры сорвалось, и человек лишается смысла жизни. Человеку нечем больше дышать. Состояние нервов и психики разительно действует на физическое здоровье. Здесь телесный состав может поддержать только жизнь духа.

Пепел покрыл душу человека. Но, если под этим пеплом сохранялась бы хоть малая искорка, свет ея мог бы засветиться во тьме. Тьма не объяла бы духа, и тело не разрушилось бы.

Употребляется выражение «погиб» вместо «умер». «Там» ведь – ничто. Только улыбнутся и рукой махнут, если кто напомнит, что есть «тот свет», что существует мир невидимый.

Но я начал говорить о том, что малая искра истинной жизни поддержала бы недугующее тело. Не беру широко и пространно тему жизни духа.

Возьмём хоть одну частность этой жизни, которая может поддержать человека до глубокой старости. Будь милостив к людям. Хоть близких тебе милуй до конца. Рассмотри жизнь человека, который провинился перед тобой. Суди о людях по себе. Разгорячился на ближнего за проступок и сразу же рассуди – а я не поступал так же?

Меня обманул приятель, а я разве не обманывал? С окружающих тебя, с приятелей старых и малых, и с семейных не взыскивай жестоко, не «выводи на чистую воду», никогда не обидь их, не оскорби, не вгони в краску стыда. Ежели кто заплачет из-за тебя, огнём пусть кинет на тебя каждая такая слеза.

С богатыми, счастливыми поступай как хочешь. (Я и не знаюсь с такими.) Но к тем, кто горя и тесноты, и тычков, и пинков, и обид, и скудости навидался, тех милуй, и жалей, и люби. Обид от них не помни.

Будь милосерд, ласков.

«Кто себя видит, в брате не видит».

Вот если будешь милостивым, если будешь иметь сердце милующее, не будут тебя поражать и сокрушать «удары» и «разрывы» сердца. Потому что житейские беды будешь переносить легко и равнодушно.

30 марта. Пятница

Месяц мой любимейший, март проходит. В деревне, скажем, в Хотькове, как я ощущал эту нежную пору предначатия весны. Пора Великого поста – неделя недели нежнее. Погода сейгод в марте была по «тонам живописи» разнообразна. Третьего дня выбрел я на двор: бело, двор перемело из угла в угол; по переулку несло позёмок. А то, вот как сегодня, с утра до вечера нежная однотонная серебристость облачного неба, улиц, домов, дорог, ещё не просохших. Бывали солнечные дни, гомон воробьёв и ребят. И вечерние зори долго-долго глядят в оконца мои. Двадцать восемь вёсен гляжу на долгие мартовские и апрельские вечера. И всегда любы они по-новому.

14 апреля. Суббота

Светлая неделя отошла. Всё было сейгод как следует. Бродил и к страстям, и к выносу, и к заутрени. За семь дён и с гостями, хотя немножко <?> куличей не доели и творогу.

...Что же сегодня с утра тоска схватила и не отпускает? Что худо и тревожно, то и неделю назад было не лучше. Откуда без экстренных причин, или фактов этот мрак вдруг навалится? И кручины этой ни порошками, ни рюмкой, ни табаком не утолишь. Молитва? Сознание, что поют «Христос воскресе», – что-то приёмник мой давно перестал ловить эти волны.

Природа, весна?.. И на это «зрачок не реагирует». Единственно, на что сильно-болезненно отзываюсь, – это на всякую болезненность, на скорбь. Всякую свою и близких мне людей болезнь и печаль я переживаю отчаян-

но. Тут ещё неизбежные расходы, страх перед нуждой матерьяльной. А главное – это убийственное «настроение».

Не могу сам себя обсудить – может быть, болезнь брата и моя болезнь (полгода болит нога, сижу сиднем) настроили меня на этот жуткий минор. Какой бы светлый человек пришёл, да развеселил, да обнадёжил.

А то – терапевт придёт, хирург придёт, кардиолог, невропатолог... Тьпфиу! Придут, как в темницу посадят. Может быть, это старость, которая «ipse morbus». Непонятно мне, что такое старость!

...Принесли из лавки папиросы. Я сую их на полку. Тут давно и праздно валяется малая книжица. Открыл, прочёл: «Придите вы в пустынное место и отдохните немного». Что есть то «пустынное место»? – опустошённые, вроде меня, люди. Только среди них откатится камень от сердца.

26 апреля. Четверг

Вышел, к ночи, на улицу: вот, хоть город, хоть затоптанный дворок, а весна благоухает. Молодые тополя.

30 апреля. Понедельник

Настало сущее лето. Хотя по календарю можно спеть «днесь весна благоухает».

Даже в наш дворик зайдёшь – аромат тополей. Особливо после дождей с грозами. Сегодня ввечеру так гремело и лило.

Матерьяльно сейчас мы живём с тревогой. Занимаем.

От издательств везде всё выбрано. Тревожит лето.

Нога у меня всё же лучше. Могу обуться.

Благоуханно сейчас в деревне, в лесах!.. Мне что-то стало всё равно. Скуден я телом и духом. С горя редко реву, но и никогда уж ничему не радуюсь. Ещё влечет красота, но «видишь – мило, да и́дешь мимо». «Ни сан, ни годы не позволяют».

На родину, на Север уж не тянет. Не бывать там. Мечтал о деятельности там, в родном Городе. Нет уж, всё здесь, корни здесь глубоко пустил. Туда уж меня не пересадить.

2 мая. Среда

После жарких дней, вечером сегодня подул WNW. Я и в драповом, сидя на дворе, зяб.

В понедельник выяснится, будут ли у нас какие ресурсы на лето.

9 мая. Среда

Развращённый ум мешает видеть, что есть стержень и главное в моей жизни и что является побочным.

Отсюда неверное, сбивчивое моё поведение. Шаткость моего поведения (рождённая слабостью характера) может поставить меня перед лицом неизбывного отчаяния.

Для меня, человека расслабленного, хромающего на оба колена, велик труд идти правильно и нести ношу, не роняя её. Но если я не приму этот труд, если не буду править (хотя бы остаток жизненнаго пути) «в мире честно, цело, здраво», для меня начнётся, ещё в мире сем, мука вечная.

19 мая. Суббота

Психология человека пожилого и психология существа юного, очевидно, различны. Редко когда пожилой или старый человек может полностью проникнуться мироощущением юнаго. Ведь для этого надо жить чувствами юнаго. Надо, чтоб тебя волновало то, что волнует и, главное, влечёт его. Посильно переживать, понимать влечения юнаго может только тот, кто увлечён личностью юнаго. Пожилому человеку, оказывается, очень трудно сопереживать с юным пробуждению пола в нём. Если юное существо начинает вести половую жизнь интенсивно, у пожилой особи, эмоционально вникающей в жизнь и поведенье юнаго, появляется сильный протест. Здесь пожилому человеку необходимо подробно вспомнить соответствующие годы своей юности, необходимо вспомнить свои половые переживания в шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет (и ранее). Пусть даже пробуждение пола проявлялось стыдливо, утолялось неопытно, они, эти эмоции, были сильны. И эти твои 16, 17 лет помнятся ярче и дифференцируются эти годы ярче, чем, скажем, последние три десятка твоих лет. Если, например, ты наблюдаешь, что существо, только что переступившее грань от отрочества к юности, жадно ищет половых сношений и проводит их как взрослый, несыто, опытно; если ты вспоминаешь, как ты в этом возрасте был робок, как редко тебе что-то удавалось, то пойми, что обстановка тогда была совсем иная. Возможности у тебя были не те...

Понятия «испорченность», «развращённость» современной молодёжи весьма условны и относительны. Судят так молодёжь люди весьма недалёкие.

21 мая. Понедельник

Любовь, даже неразделённая, – счастье. Потому что она наполняет душу пафосом. И это при всём том, что ты знаешь, что любовь твоя безнадёжна, при всём том, что неразделённая любовь есть страдание. Неразделённая любовь рождает муки ревности. Но пойми, что эта ревность является частью пафоса, который рождён любовью (пусть эту любовь назовёшь ты своей бедой и несчастьем).

Почему же всё-таки и неразделённую любовь я называю счастьем? Потому что этот пафос, это чувство, охватившее тебя, твои мысли, твой ум,

отодвигают на второй, на третий план тоскливые, удручающие каждодневные «болезни, печали, вздохи» – всё то, что угнетало и заполняло унынием бесконечным годы и дни твоей жизни.

26 мая. Суббота

Вечерняя заря ослепительно глядит в подвальное оконце. Оконце открыто настежь на мостовую. Зеленеют омытые дождём деревья. Немолчно (целый день!) чирикают воробьи, кричат ребятишки. И над всем, над всем – зов колокола «Приди ты, немощный. Приди ты, радостный: звонят ко всенощной, к молитве благостной» Завтра Троицын день.

57.Х.1/14[1]. Понедельник <?>

Давно не сиживал «под дубом вековым», на нашем дворике, «где сладкий шёпот моих лесов». Лесов я года два не видел, но краса природы, как солнце в малой капле вод, живёт и в малом нашем садике. Опавшие листья, листья золотые под ногами, на скамьях. Ветер с запада пролетит, зашумят деревца, полетят оставшие листья. Братишечка недомогает, я унываю. И ребятки не веселят.

57.Х.13/26. <?>

Не соглядаю жизнь природы, не вникаю в то, что сейчас «унылая пора, очей очарованье» и через то лишаюсь сил огромных. Впрочем, ежели б, и в глазах была природа, устремлял ли бы я силы на ея очарование?

[1] Эта и следующая дата даны по старому и новому стилю.

Братишко не стонет и поражу — мне подарит лишний хлеба кусочек, лишнюю супа ложку. А я, бедь, дома сижу. Ему надо больше. В этом году в кухне у него заработок, чем [illegible] [illegible] чтобы питались.) А ~~[illegible]~~ с меня немного спросить: мы устали от воен-ний, от звуков сладких и молитв...

I/10 мар. вто III-й седмицы святой

Мне любо вписывать это, вот вторник сейчас ~~т~~ретьей седмицы великого поста. Прискорбно проходит день. Горестно живется

~~А сегодня это~~ И, все-таки, счастие, что

Хоть ты это в отчаяньи, но они [illegible] над тобой, в эти дни великопостные, как мать кладет на лоб, отверзающие глаза... Эти „горизонты", утром света за мачтой. (больного, голодного, усталого). Неукоримые. Он зашел в угол. В голове быстро светлело. Но одно, кротко, ~~пр~~ молитвенно, глядела в окошко угасающая заря. Твое-то сердце отчаянно. А все вечернее, как ты ни узнаешь, все, точно молится за нас Бессмертному, от небесных, свыше Благостному. И стоит, и зовет, и успокаивает этот умилительный свет вечерний.

... Вышел на улицу. За два дня сито

1958

Генваря (*А*). Вторник

Святки идут. Вчера «Васильев вечер» сидели за столом трое: два Анатолия да я. Сейгод зима милостива. Аккурат первых два дня Рождества были морозные.

Теперь опять оттепель. Редко выхожу на улицу. Даже братец чаще выходит за ворота.

Дома «делов» не переделаю. Уснём не раньше третьего час за полночь.

У меня какое-то отсутствие присутствия. Впрочем, когда братец пободрее, то я начинаю что-то планировать. Читать-писать худо вижу. В уме люблю складывать тот, другой рассказ. Рассказывать, впрочем, некому.

12 февраля. Вторник

Пошла первая неделя Великого поста. Снегу сейгод падало много. В Хотькове, слышь-ка, к заводу полем идти дорога прорыта, как труба. А я опять зиму дома кис, как опара без дрожжей. Блины на Масляной дважды пекла нам Настасья Матвеевна.

Миша опять в семейном кругу на Филях. Очень это неладно, недобро, что у мальчиков никто не бывает. Правда, Михаил хворал, с простудой. Чуть не месяц. С работы под руки приводили. Всякой вечер брал озноб и жар.

Братец мой на минуту когда выглянет во двор. Так всё и дышит подвальным воздухом. Тревожится разговорами, что наш древний дом будут ломать. Тесно стало у нас внизу. Целая орда татар заехала в коридор.

23 февраля. Суббота

В иную ночь подморозит, а днём и распустит. В сени днём-то выйдешь, слякоть, как у крыльца с крыши вода хлюпает.

Уже март не за горами: а и две недели поста отошли. Ах, я как это время любил... Брателко всё недомогает, одолевает его одышка А и у меня с ним одно ведь дыхание. Ему трудно, дак и я не человек.

Миша живёт уже больше месяца на Филях. Сноха зайдёт днём, сделает что-нибудь. Уж теперь гнездо у него там. Трудно ему, устаёт, комнатёнка на Филях малая, ребёнок грудной. А всё, – семья, – терпи казак, – не знаю, будешь ли атаманом.

Досада у Миши на меня, что не хлопочу о квартире. А я и за калитку не хожу. Раз в неделю вылезу во двор половик выхлопать. Сейчас вот братец охать перестал, может, дремлет. Я у двери в «предбаннике» сижу, караулю. Перо в руки взял. А то и чернильница неделю сухая. О, как я рад, ежели хоть на час камень от сердца откатится. Человек я распадчивый, слабодушный, разорённый. Знал я, на родине, древнюю уже А.И. Симакову. Спросишь, бывало:

– Каково поживаешь-то?

– А, вот, доживу до краю, отпехнусь да опять живу.

Так и я.

Марта месяца в 1-й день

В кухне утром говорят:

– Сегодня ведь какой-то праздник!?

– Евдокеин день.

Пресветлейший души моей март-месяц настаёт. О, как зову я эту светлость! Как хочу ухватиться за неё! Если уж иссякла в душе способность к радости, то, сграбиться бы обеими руками, хотя за память о радости.

Древняя книга оглашает: «Сей первый в месяцах месяц март. В он же месяц Бог мир сей сотвори, в он же и Архангел Деве радость возвести, в он же и Христос из мертвых воскрес».

...Месяц март – всегда предстаёт умному взору картина ранней юности. Родимый дом (там, на Севере). Слепящий солнцем мартовский день. За окном, в саду, нестерпимо блистающий снег. Снег ещё не начал таять, но видны свисшие с крыши ледяные сосули. Сияньем залита комната. Я с упоением рисую. Какой-то выдуманный пейзаж, или цветы, или птиц... Или, переведённое с лубочной картинки из «Нивы», «Благовещение». Предвкушаю наслаждение, с которым буду раскрашивать одеяние Марии и Ангела. Краски обожал розовые и голубые.

Никаких «художественных изданий» в нашем доме не было тогда. Но какую «творческую» радость доставляли мне, как вдохновляли меня самые убогие (неверное, что «убогие») рисуночки изданий Сытина, Ступина, Тузова.

...Я тогда был настоящий художник!

В зале у нас висели английские старинные гравюры. Тёмные, за тусклыми стёклами, должно быть, эти гравюры казались мне принадлежностью обстановки, вроде зеркал. Должно быть, в детстве и ранней юности меня пленяла в картинке та тема, которую я мог схватить. Поэтому, забравшись на стул, я ел глазами и без конца воспроизводил весьма несложный пейзаж, сделанный «от руки» на циферблате старинных часов. В полуциркуле эскизно-смело несмешанными красками

набросаны были – чёрный ствол дерева с зелёной купой, над ним голубое облако, под деревом синий ручей.

И ещё обожал я срисовывать простые, но удивительно уютные хромолитографии Соловецкого патерика. Я тщился передать нежно нарисованные пейзажи: Ольгоф-гора, Секирная гора.

2 марта. Суббота

Братишечко занемог, вдруг 39,8. Один бегаю, выпуча глаза. Так меня ударило. Сижу или бегаю, воздух глотаю. Он за стенкой стонет. Я за дверью воздышу, вожу боками как кляча. Упала на меня точно стена. Испугался. Вот как, без семьи-то. И Михаил отошёл на Фили. Один я, – побросаюсь, побросаюсь из угол в угол... Не к кому возопить.

8 марта. Пятница

Брателко справляется с пневмонией. Температура стала низкой. От слабости он кислый. У меня опять заболела нога. И нельзя разуться. Что-нибудь принять, подать, принести всё уж я. Но, главное, в лавку за провизией ходят ребяты.

Завтра «40 птиц прилетает»[1], на этой седмице кресты<?>, бывало, пекли. А на дворе что-то не весенние холода, морозы.

15 марта. Пятница

Похвальная неделя. А у нас уж и вербочки стоят на окне. Предначание весны знатно и в городе.

А <в машинописи: «Я»> мало, редко вылезаю на улицу – слепит свет, неуверенность в ходьбе. Весна – сила, а мне ли меряться силами. Спешу в затхлые свои конурки, тут увереннее.

Братец управился с пневмонией, но астма опять одолевает. Я не умею устроить ему покой дома.

Миша с неделю у нас. Нервен. Ложимся к 3-м часам ночи Я дела не делаю, от дела не бегаю.

30 июня

Отошли «в путь всея Земли» творцы-художники. Ходишь по музеям, галереям, соглядаешь прекрасныя картины. С горечью думаешь: таких больше нет и впредь не будет.

Читал живые воспоминания о встречах с художниками Саврасовым, Левитаном, Нестеровым. Всё речи о живой красоте, о людях, которые застали красоту в живых и успели запечатлеть её. Странное было чувство, будто художники, видевшие красоту, унесли её с собой. Будто красота иссякла, будто мир пуст красоты...

---

[1] См. Быт. 2:2.

...Но в тот же день, но в ту же ночь увидел, что красота нежно и торжественно, таинственно и осязаемо живёт среди нас.

Я говорю о красоте, которую видят глаза, которую могут осязать руки. Это красота обнажённого человеческого тела. Я понял, почему живописцы и скульпторы любили изображать красивое тело спящим. «Почил Бог от дел своих»[1].

Я соглядал красоту юности. Ещё много детски нежного было в миловидном лице, в опущенных ресницах, в чистых и нежных очертаниях рта, в дыхании неслышном и благоуханном. Тонкие приподнятые брови точно дивились тому, что только во сне подсказывает отрочеству юность.

Только дети спят так торжественно, воздев руки, величаво раскинув их на подушках: это поза спящего ребёнка, и это жест Вседержителя, творящего небо и землю.

Только Бог, упразднившись от дел, и дитя чистое, невинное, только человек в раю спал вот так, нагой, и не стыдился.

Мы спим, – даже во сне ёжимся да оберегаемся, а тут, понял я, что соглядаю наготу свободную, непричастную тленья.

Красота природы и красота человека всегда кажутся новыми. Сколько бы раз ни увидел красоту тела без тряпок и завязок, всегда мною овладевало чувство неожиданности, чувство удивления.

Пришло в голову сопоставить красоту античных статуй и живую красоту живого человека. Красоты Аполлонов, Бахусов, Ганимедов схоластичны, риторичны. Пусть эти «красоты» совершенны, недаром там всё соразмерено по канонам.

Обаяние красоты, которую я сейчас соглядал, стократно усиливается сочетанием отрочества и юности. Я видел утро знойного дня. Нежные руки и мощные плечи, сильная грудь и отроческие линии живота.

[1] См. Быт. 2:2.

1959

8 марта

Поскорбим мало здесь да тамо возвеселимся. Поплачем мало здесь да тем и обрадуемся.

Живу я, – содержу ум цел и разум здрав, если растеряюсь и распадусь на мал час, опять да опять соберу и построю себя в добром, в правом моём создании.

Сторонние добрые люди, наверно, думают, что житьё-бытьё моё – болезни, печали, воздыхания. Люди не вникают в то, что «своя печаль чужой радости дороже».

Ради скорбей душа спеется. Верно тебе говорит поэт-писатель: горе – добрый пахарь. Если вспахана твоя душа горестью и преогорчением, вырастет добрая пшеница. Сеющий слезами радостью пожнёт.

Слово человеческое – великое дело. Слово – провозвестник ума. Если твоё слово, устное или письменное, изнесено не от глубин твоего горя или не от глубин радости, оно будет малодейственно.

Бумажных книг не читаю. Некогда. Ничего бумажного, чернильного не вмещает моя голова. Житьё-бытьё близких моих, а их у меня много, это я переживаю днём и обдумываю ночью.

Вот моё утешенье, моя отрада: как все-то успокоятся, уснут, лягу и я и начну складывать рассказ или повторять готовый, подходящий к горести или радости дня. Много у меня в памяти «сырых» рассказов. Я люблю их уделывать, речь к речи пригонять.

Кого-нибудь досада возьмёт от моих слов: «Нашёл чем хвастать! Все слабонервные люди слезливы».

11 марта

...Нашёл чем хвастать, слезами! Чувствительные дамы всякий час плачут. Оттого у них и нос красный.

Но, например, великая душа – Пушкин – ничем не схож был со слабонервной дамой, и тем не менее, у него был «дар слёз». Он пишет Филарету Дроздову: «Когда твой голос величавый меня внезапно поражал... Я лил потоки слёз нежданных...». И в другом месте: «Над вымыслом слезами обольюсь». Стесняясь своих слёз, Лев Толстой шутил: «Я старик мягкослёзный...».

4 августа

Извне огляжу мою жизнь, как будто ровная она: полжизни прожил в Архангельске, полжизни здесь. Два жительства только и сменил от рождения до старости. Маску тщусь носить спокойную. А уж как сердце-то рвётся да слезами исходит, то уж моё дело.

Братишечко сядет на постели, взглянет в окно, тихонько скажет: «Абрикосиха прошла. Соболев куда-то идёт. Древние, а ходят. А я уж не могу...».

Меня горе схватит: «Что уж наша участь какая!».

Потом одумаюсь: «Братишечко, не горюй. Другой бы и рад, как мы, дома посидеть, полежать, да некого в лавку или в аптеку послать. Дом напротив – думаешь, мало в нём чахлых, немогущих, сиротливых? А мы живём, не брошены. Смеющихся, болтающих мы видим и слышим, а грустные – они печали своей не выказывают».

Уговариваю родного человека, а сам горюю. В таком преогорченье возьму книгу, ещё отцова письма. Там заложена страничка: «Не добро, вдавшись в печаль, изнемогать. Печаль – моль в одежде, червь в плоде. От печали исходит смерть. Печаль жжёт крепость сердца».

...Куда же деваться-то? Но верно-опытно знаю, что спастись от печали можно только в людях. Доспей себе близких, копи, стяжи, припаси себе людей. Не живи один, пусть с тобой люди живут, которым ты нужен.

5 августа

Когда-то я записывал только то, что рождалось в голове «от веселья сердечного». Я чувствовал в себе творческую радость до пятидесяти лет. Потом она стала утекать, как вода из треснутой чашки.

Поздненько я спохватился, что «вдохновения» ждать извнутри себя дело легкомысленное.

Надёжно только то, что добыто трудом, крепко и верно только то, что достигнуто подвигом.

Годов до тридцати, тридцати пяти я мало писал: расписывал и разрисовывал стены, двери, бумажные листы. Потом был у меня период годов с десять – записывал редкостные мои мысли как попало, на чём попало, на полях газет, на коробках. Записывал ни для кого. Теперь, «годами призаживши, летами призабравши», из самого себя не выжму. О том горюю, что друзья-сверстники, собеседники мои, сотаинники уходят «в путь всея земли». Как цветы вокруг меня увяли, как свечи угасли.

И всё-таки живёт в душе какая-то светлость. Не люблю печального сна, не терплю на себе горестного уныванья.

Говоришь, значит, что радость утерял, будто кошелёк из кармана выронил. Что уж, сказано ведь: на старости две радости – кила да грыжа.

Отовсюду выходит, что расположенье моё удручённое. Однако выработанная привычка – закреплять письмом сердечные мысли – действует во мне.

«Душа моя мрачна», однако мрачность и удручённость свою анализировать – какая мне от этого польза и кому это интересно?

31 августа

Горькую чашу подносит мне жизнь на остатках. Не отказаться, не отбиться, не убежать. Страшно, ужасно, а пей чашу горчее полыни.

Людям горя не кажу. Что спросят, отвечу весело. Пуще всего бодрись перед близкими. Думаю, все уйдут, дам себе волю. Один-то остаюсь вечером. Вот и глянет в оконце «погибающая заря». Вешние и летние зори сияют нежно, ласково. Сейчас глядит заря осенняя. Пронзительна, резка, плачевна.

...Вот закрою дверь за племянником, буду лицо ладонями бить да кричать беззвучно.

Но где и когда вот так же острозрачно и горько-плачевно глядела мне в душу эта осенняя заря?

Это было в молодости, когда я расставался с родимым домом. И там я, ладонь к ладони, бил локтями о стол. Кричал тогда: «Прости, отчий дом! Думал, век буду здесь жить, остаётся век поминать!».

Вышел на пристань. Увидел красоту вечную, превосходящую всякое горе. Было небо, пылающее золотом и розами. Двина катила волны сизые с чернью, а гребни волн отражали огненный закат.

Север мой, родина моя! Живы они, свидетели моей жизни. И не «погибающие зори», а свет вижу вековечный.

Я тем душу питаю и силу беру, что, когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносили мужественно и великодушно, так должен и я.

И вот сейчас, глядя на «погибающую зарю», я не стал кричать и бить руками о стол. Я стал рассказывать стенам и сам себе быль, которая давно живёт в памяти сердца моего.

29 ноября

Великое горе сбило меня с ног. Я уж не валяюсь, не кричу. В тоске смертной я забился в угол.

А, ведь, писано: не добро, братья, вдавшись в печаль, изнемогать. Печаль – моль в одежде, червь в плоде. От печали исходит смерть. Печаль жжёт крепость сердца.

Я чувствую, что стал мал и ничтожен перед величием горя моего. Стал я тупо равнодушен к близким, сердечным людям.

Житьё-бытьё в старом здешнем доме для меня тоска неизбывная, непроглядная. Переезд в новое жильё представляется мне зловещей, бессрочной ссылкой.

пламенным словом он укрощал раздоры и смуту. Двинулась орда с юга. Рязанский князь замышляет страшную измену. Как буря гроза налетел Сергий на Рязань и Русь была спасена. ~~Великий патриот, он~~ Благородные, рыцарские сердце этого великого русского патриота исполнены были святым гневом и к чужеземным насильникам и к тем, кто из своих, кто готов уже был мириться с владычеством монголов. Он вдохновлял и развивал план национальной свободы, план на-

ціональнаго сигнала на
руки. „Истинный воин",
великий и неутомимый борец,
он и в предсмертном своем
завещании могуч и по-
велевает русским людям:
„Смотрите, чтобы свеча не
угасла"! т.е. дух національного
самосознанія. Имя Его стало
знаменем національной святыни
и с этим знаменем русь свергла
чужеземное иго. Уже в по-
следния свои минуты, пре-
жде чем смежить ему
вечным покоем орлиныя свои
очи, великий отец сказал,

СОРОКОУСТ

29 сентября (12-го октября) 1959 г.

Для какого праздника накрыты столы и собрались гости. Не поздравляют, не чокаются. Говорят: царство ему небесное, место светлое, сорок дней моему брателку.

Это мне «40 дней», потому что моя жизнь ушла, моё сердце остановилось. Жизнь моя, дыхание моё, братишечко мой, из милых милый, из любимых любимый оставил меня.

Единственный мой, от дней юности была у нас с тобой одна жизнь, одно сердце, одна дума. В тебе был смысл моего существования. И ты не мог жить без меня. Как же ты мог отойти в иной мир без меня. Как мог ты оставить меня одного?

Единственный мой, брат мой и друг мой, ты сказал мне на последнее прощание: «Я буду вспоминать тебя на том свете, в том мире». Пообещал вспоминать и ушёл «в море далече». Покинул меня на пустынном берегу. Или ты не видишь, как валялся я у тебя в ногах, кричал и убивался, просил взять с собой.

Брат мой, любимый мой, знаю, что болезнями и страданиями купил ты себе жизнь блаженную, вечную знаю, что жив ты, жива душа твоя и свет вечный видит.

А я, в сорок этих дней, валяюсь в ногах твоей постели, обрыдал и оплакал великую, грозную мою вину, мою вину перед тобой: не берёг, не хранил, не заботился я о тебе. Видел, что ты изнемогал в непосильной работе и почивал безмятежно.

Горько мне, люто мне, тошно мне, милый, дорогой мой братишечко. Позднее раскаяние моё. Сам я себе ад на земле заживо приготовил. Ты ласковый, любящий добрый, меня не обвинишь, да совесть моя гложет меня.

В «Его» комнате горит негасимая, здесь мы не курим, не проводим сюда посторонних. Здесь его стол, накрыт новой скатертью, его постель. Это была моя с ним комната, здесь мы с ним жили, дышали одним дыханием, одной мыслью.

Когда я один вхожу в нашу комнату, вижу пустой его стол, его одиноко накрытую постель, острое жало проходит мне душу. Не понимаю, недоумеваю: его здесь нет. Как же я буду жить, чем дышать, чем существовать? Бейся, колотись, молись, зови, – ответа нет.

...Сейчас я осознал, что какой-то мой ум, всё время ждёт его, единственного моего, любимого. Вот, я и ужасаюсь, что его, единственного, всё нет и нет. Проходит семь недель, а его нет и нет. В жизни на два дня не расставались, а сейчас уж сорок пять дней как его нет.

Долго болел он. Но, когда продолжительная и тяжёлая болезнь кончилась, все эти месяцы, недели ощущаю я, как день мгновенный. Как сон краткий, силюсь вспомнить период тревожной суеты с врачами, с лекарствами. Забыл я и мой «уход за больным», и нервничание и тревоги, и моё отупенье.

Всё видится теперь мгновеньем, быстро пролетевшим.

«...Долго Он болел»... Нет, сейчас пришло это «долго», теперь настала эта тяжкая продолжительность, теперь когда тишина учинилась безответная и пустота безгласная.

Каким счастьем была моя жизнь с ним, братом моим и другом моим.

Вот, ненаглядный мой, милый брателко: все уйдут, стану с тобой разговаривать. Гляжу на твою несмятую постельку, на место, где ты сидел, на твой пустой стол. Всё пусто, всё молчит, всё безвидно. Нет тебя, не придёшь ты, жизнь моя, дыханье моё. Сколько бы я тебе рассказал, сколько бы у тебя расспросил. Нет, молчалива моя беседа, безответна. Не идёшь, не спрашиваешь.

Из милых милый, из любимых любимый в тебе был весь мой ум, все мысли и смысл всей жизни моей. Ни одной думы я не сдумал без тебя, ни одного доброго и полезного не сделал без тебя. Ушёл ты, угас ты, солнце моё.

Зима пришла, сердце озябло. Без ума, без смысла, остался я, как трава скошена и стоптана у дороги.

На моих глазах ты собирался в последний путь. Всю жизнь, не разлучно шли и ехали мы с тобой в любую сторону, в любой край.

Что же ты, в этот путь собираясь, у меня не спрашивался и мне не сказывался? Любимый мой, единственный мой, я всё видел и ужасался, а тебе смертной тоски моей не выказывал.

...Последние дни. Мне говорили, предупреждали. А я уж отупел. Думал: когда-нибудь разве может человек понять, осмыслить, что вот завтра кончина мира, конец всему.

Ты, как свечка тоненькая, склонённая, угасал. Угас неслышно. Любимый мой, многие дни ты страдал, но последний твой час был тих и мирен. Склонился на подушку, спокойно подложив руку под щёку. Сказал: «Я усну». Дышал ровно, тихо. И, не уловили мы последнего вздоха, не услышали, как остановилось сердце.

...Был полдень. Светил дня прекрасный лик. Опущенные ресницы, прижатые к сердцу руки.

Брат мой, милый, единственный мой. Что за страшное таинство пришло на нас? Всю жизнь неразлучно шли вместе. Неразлучно были в горестях и в радости. Одна у нас с тобой была душа, одно сердце, одна мысль, едина беседа. Всю жизнь ели мы с одного блюда, всегда за одним столом сидели, одним полотенцем утирались. Взгляд твой был для меня светлее небесной лазури, прикосновенье рук нежнее вешнего солнца.

Мне внушали: приготовься, мужайся, его исход близок.

Я ужасался, но разве я мог понять, что вот пришёл вечер, потом настанет ночь и утра не будет. Братишечко, друг милый, ненаглядный, долгие годы, всю жизнь был ты у меня в глазах и единым мгновением стал ты невидим.

Может быть, я ждал, что издали увижу корабль смерти? Или, я думал, что смерть налетит, как вал морской и накроет нас обоих.

Нет, не уловил я и дуновения ветерка, который угасил тебя, свеча моя неугасимая. Будто крин полевой, будто цвет маков, сию минуту, радовал взор. Я и веяния ветра не ощутил, а он и лепестки благоуханные унёс неведомо куда.

Куда же ты потерялся, милый брателко? В какой путь бежать, догонять тебя? В какую сторону кричать, звать тебя? Бреду без шапки по улице, горе со мной под ручку идёт. Стою у пенья церковного, горе со мной Богу молится.

Брателко мой, любимый мой. Тебе досталась многотрудная жизнь. Всегда спешил на помощь другому человеку, до конца заботился, печалился о людях, о себе не думал, никогда себя не пожалел.

Была «золотая» осень, когда схоронил я в сырой земле смысл и цель моей жизни. Пустынный погост. В углу одинокой ограды одинокая могилка. Безотрадно влачу домашнее житьё-бытьё. Летит тоскливая дума к нему, единственному моему. Точно голос его слышу: «Поминай меня, каплями дождевыми, как стрелами пронизаема».

При ночных часах поглядел в оконце в пустой переулок: белы бело. На зяблую, стылую землю неслышно падает снег.

Слёзно-печальная дума летит туда в пустынный погост. Чистой, белой пеленой накрыло и твою одинокую могилочку, милый мой, любимый мой брателко. Господи, царь милосердный, за что моё царство погибло? За нищее моё немоленье, за тяжкое моё прегрешенье.

На шестой день по Успении Богоматери и ты навеки смежил твои прекрасные глаза. Как дождь пошли дни за днями, милый мой, дорогой мой брателко, двенадцати недель, три месяца горькой разлуки.

Завтра уж праздник Введенья. Зима пошла со снегами, с морозами. Брателко мой, единственный мой, спишь ты там, под белыми снежными покрывалами. Слышишь ли ты, как я здесь, один, зову тебя и плачу по тебе горько, неутешно. Вижу тебя со мною. Вижу твоё ненаглядное лицо. Вижу взор твой ласковый, слышу благоутешное слово.

Единственный мой. Давно ли было: сидим с тобой, ты в синей рубашке, тонкие пальцы твои держат перо. Я диктую тебе. Вместе укладываем рассказ. Бывало, спорю с тобой, обижаю тебя. Я думал, всегда так будет. Я не берёг тебя. И, вот, я увидел, что ты, светильник жизни моей, угасаешь... Брат мой и друг мой, ты всю жизнь был для меня один-единственный, но я был худой тебе оберегатель.

И вот, я увидел, что день жизни твоей приходит к вечеру. Ужаснусь, бывало. Но представить себе, что ты покинешь меня, что ты отойдёшь в иной мир, а я один останусь в земной юдоли плачевной, уразуметь этого я не мог.

Досаждал тебе, утомлял тебя мелкими, ничтожными запоздалыми услугами. Вероятно, подсознательно, я представлял себе, что, не станет тебя, в тот же час окончится и моё убогое существование.

Ты отошёл тише вешней воды. А меня, малодушного, скаредного, нищего святая, блаженная тишина исхода твоего, как гроза ударила.

Ты уснул, точно ангелы тебя убаюкали. А меня, точно худую деревину, ветром повалило, листья осыпались, ветки о землю стегнулись.

Свет мой тихий, свет мой невечерний, брат мой любимый, к Богу отшедший. Теперь я понял, теперь я уразумел, что жизнь наша в этой скорбной юдоли земной была для меня праздник торжественный.

Узким и тернистым путём шёл ты в сей жизни земной. Тернии и шипы ты принимал на себя. Ты великодушно не глядел на безволие и лень мою. Ты падал, изъязвлённый тернами скорбного твоего пути, а мне, жалкому, недостойному предоставлял услаждаться благоуханьем роз.

Друг мой великодушный, ты, по заповеди, взял меня, урода и калеку, на рамо и нёс меня, несносного, всю жизнь.

Я, после времени, горько плачу и тоскую по тебе. Тяжко мне, позабывшему заповедь Христову, – «носите живых». «Но радуйся ты, брат мой милый: на тебе скончалась заповедь величайшая – «больше сея любви никтоже имат, да кто душу свою положит за други своя».

Брате мой милый и господине мой любимый. Дом мой всегда держался тобою. Много лет был ты добытчиком нашим и кормильцем. В войну в голодные годы, благодаря твоему уму-разуму, были мы сыты и одеты. Уже тебя постигла неисцельная болезнь, уже не по силам тебе стало вести дом, держать ответ о приходе и расходе, ты всех нас обдумывал, обо всех заботился, обо всех нас тревожился и печалился. Мы до исхода твоего не подумали снять с тебя бремя забот и печалей.

Только во гробе сложил ты свободно свои многотрудные руки, и спокойно сложил твои орлиные очи. Что мне теперь делать? Бью себя по лицу и зову с воплем крепким и со слезами? – прости, прости, милый брателко!

Милый брателко, родной, единственный! Что е еже о нас бысть таинство? Двое мы с тобой жизнь прожили, как один человек. Одна у нас с тобой была дума, одно сердце, одна жизнь. Были мы с тобой как единое древо густолиственное: листва шумела, цветы цвели, птицы пели. И внезапно, единое наше существо разделилось на две жизни.

В тот день и в тот час не громы ударили, не трубы отрубили; спокойно, тихо, ты сказал мне: «Буду вспоминать тебя в той жизни. Ухожу в иной мир, не плачь, буду молиться за всех вас». Милый мой брателко! Когда я стою у божественной литургии, когда возносится за тебя святая жертва, я знаю, что жив ты, жива душа твоя и свет вечный видит. Знаю, что живёшь ты в горнем мире «отнедюже избеже всяка болезнь, печаль и воздыхание». Знаю, что не забыл ты обещания твоего великого, – молишься за нас и поминаешь нас, оставшихся здесь, в юдоли земной, плачевной.

Милый, милый мой Толюшка! Помню, в унылые наши дни вычитал ты мне слова из святой книги: «Поскорбим мало здесь, да тамо возрадуемся. Поплачем мало здесь, да тамо возвеселимся»... И ещё: «Сеющие слезами, радостию пожнут». Верую, милый мой брателко, что – придёт день воскресения, яко светлое утро. Верую, что как жили мы с тобой неразлучно в сей юдоли земной, горькоплачевной, так неразлучно будем жить и в той жизни, светлой бесконечной.

Милый, дорогой мой брателко! Не слёзы ты мне завещал, но как весенний гром были твои последние в сей юдоли земной, твои слова: «Я буду помнить тебя в той жизни, буду молиться о всех вас».

Долгие дни, милый брателко, не под силу были мне эти заветные твои слова.

Единственный мой, любимейший из любимых! Каково мне было, прощаясь с тобой, обнимать тебя безгласного, бездыханного.

Завтра рождественские кануны. Михайлушко, по бессонной ночи, (оркестр играл «новогоднюю»), устремился на погост «в кузьминки». Я зашумел, что-де ты умучен, утонешь в снегах. Уехал в слезах, без благословения. Вернулся на вечерних сумерках, радостный, светлый. Подаёт мне благоухающие «анютины глазки» (из тех, что мы посадили осенью) – цветики нежные, листочки зелёные, – я разгрёб дорожку, стал смахивать с могилки лишний снег, и – выглянули цветочки, будто вчера их посадили, будто не было морозов и северных ветров. Будто привет прислал дорогой нам Толюшка, утверждая нас в том разуме, что жив он, жива душа его. Михайлушко говорит, что эти нежные цветочки, выглянувшие на рождество

из-под снега, внятно сказали мне, что есть иной мир – «вечная весна там радостно царит».

Брат мой милый, из любимых любимый. Ты ушёл от меня тихо, под шорох дождя, не спросившись, не сказавшись, лёг ты на спокой в малую оградочку. В багрец и золото одевал тебя осенний лист. А теперь укрыл тебя Господь, тонким, снежно-белым одеяльцем.

Христова ночь на 25 декабря

К празднику не припасались. Да и у меня тот ум: какой праздник без брата. К полуночи сижу один: Миша на вечеринке. Малыш спит. Достал карточки Толюшкины: снят ещё до болезни.

...Такой милый, такой светлый. Будто вчера тут сидел, глядел на меня ясным своим взглядом. И, вот уж нет его, нет! При Толюшке во всю жизнь ёлка у нас стояла наряжена, стол накрыт. В который год, если и к заутрене не попадём, раным рано перед образами встанем, Христа славим: «Рожество твое» и «Дева днесь» поём.

...В первый раз в жизни встречаю я Рожество без него, без милого моего брателка.

Не успел я слезами умыться, и слышу как на крыльях летят тихие блаженные звоны. Благовест к рождественской заутрене с Меньшиковой башни.

...Христос рождается – славьте. Христос с небес – встречайте. Христос на земле, – возносится! Где мне, грешному, возноситься. Но, мир какой-то светлый и тишина нисходят мне в душу.

Сейчас снега заподносило и морозы приударили сразу по Михайлове дни. До Введеньева дни, западка: глины, да пески, да облачный туск.

К Николину дню снега пошли, утром рано и вечером поздно.

Вчера, светающу Рожеству Христову, пришли мы с Мишей, к брателку, на могилку «Христа славить». После городо́вой, кирпичной тесноты, после машинного лязга, визга и вони, подивился я простору и белизне Кузьминского погоста, подивился величеству и широте небесного купола. Ровный туск облачного неба над снежно-белой землёй. Точно скатертями чистыми устлан, к празднику, «город живых».

Я не оговорился. Города – это банки-коробки с консервами. Дома́, кишащие людьми, – это жестянки, бутылки, банки, лоханки, насыпанные, до отказу, человечками, – мухами и тараканами... Ежели это жизнь, то и у мышей и у подслепых кротов «жизнь».

А здесь белизна снегов и тишина – «место светлое, место покойное». Только и слышно: чирикнут воробьи, да щебечут красивенькие снегири. Кто приходит плакать и петь на могилках, приносят зерно, кутью – птички и живут на погостах, веселят душу.

Далеко от суеты, от тесноты убрался ты сюда, мой брателко. Только ветер прилетит да прошумит в кустах.

Почивает мой брателко над белым снежным одеяльцем... И мы речи ему: «Слава в вышних Богу и на земле мир».

Поклонились, обняли снежный холмик, поздравили с праздником, облились слезами. От дорогой могилки иду я, мирный и успокоенный.

Не было у меня в жизни друга ближе и дороже его, брата моего ненаглядного. И, вот, он почил о Господе. Как ребёнка в колыбель, передал я его в объятия Матери-Земли. И святее этого места, где почивает брат мой, детище моё, нет уголка на свете. Свята эта могила, отнюдь не в силу воспоминаний. Но потому, что это самое милое тело брата моего, воскреснет из мёртвых бессмертная душа, как птица весною, вернётся в тело нетленное, преславленное.

Вся жизнь прошла вместе, рука об руку.

Вижу тебя, юного, темнокудрого, звонкоголосого, как птица быстролётного. Весь ты был веселье неутомлённое, радость животворная. Деятельна была твоя любовь к человеку, ко всем ближним и дальним. Ты с плачущими плакал и радовался с радостными.

И вижу я теперь, единственный мой, что я и жил дотоле, доколе ты был со мной.

Мы с тобой неразлучно прожили жизнь. Разве я мог помыслить, что останусь от тебя один?

Разве можно усвоить, понять или поверить, если бы мне сказали:

– Завтра не будет дня. Солнце больше не взойдёт. Весна никогда не придёт.

И, вот, идут дни, недели, месяцы. И мне как сон грезится непокойный: его, единственного, нет около меня. Не вижу его, жизнь мою, это или сон тяжкий? Если явь, то чем дышать, и чем жить, и что делать, если жизнь ушла?

Брат мой милый, друг мой верный и единственный! Всю нежность сердца твоего, все богатство и силу души твоей истратил ты на нас, любящих тебя, близких тебе, но слабодушных, неисправных, малых. За что жалел ты меня, бестолкового, беспечного, легкомысленного? За какие достоинства и заслуги охранял и оберегал ты меня? Чем теперь я, худоумный, опустошённый, воздам и чем отплачу тебе, доброму печальнику жизни моей?

Думал я, век будет у меня в глазах синенькая его рубашечка. Думал, всегда будет мне сиять и светить ясный его взгляд. Утром рано и вечером поздно обнимет меня, перекрестит, скажет: «Христос с тобою!».

И вот, спокойно прижата теперь к сердцу его крестовая правая рученька. На вечный спокой смежил взор свой ненаглядный.

Осень тогда была. Лист желтел. Ночи туманные, дожди зачастили. Тогда брателко и ушёл. Весь век за калитку не выйдет, не сказавшись, не спросившись. Тайно собрался. Мы не углядели, не укараулили. Недолго прощался. Только, сказал на догадку: «Я буду вспоминать тебя в ином мире».

Милый ты мой братишечко! Всю жизнь, во все дороги дальние и ближние я бежал вслед тебя. Весь век держался я за твою верную и крепкую руку. Единственный мой, как же мне понять и как рассудить, что ты мою руку выпустил, оставил меня середа дороги и ушёл, не оглянулся.

Как собачка, хозяина потеряв, я во все дороги и тропы совался, тебя, кормщика и вожа моего, искал. Золотым и багряным листом запали твои следа.

1960

Завтра Афанасьев день (18 января с/с).

У нас «на Полунощных странах», после кромешной ночи в первый раз забрезжит утренняя заря, так что и сальные светильни, по избам, погасят о полдни.

Брателко мой любил пословицу: – «Тёмна ночь не на́век».

***

Снеги белы пали на море, покрыли всю Русскую Землю.

Время за полночь. Тих и бел весь город. По оконцам преизящные морозные узоры.

Со времени детства остались у меня в памяти некоторые строфы греческой песенки: «Мама, мама, почему ты о умершей так грустишь? Наша Зоя в лучшем мире, ты сама нам говоришь». Мать подтверждает, что Зоя в лучшем мире. Но тут же плачет... ибо нет «в лучшем мире ни цветов ни трав душистых, ни весёлых мотыльков».

Песенка весьма наивна, но, когда представляю я себе милого моего Толюшку, такого простого и весёлого, трудно мне применять и прикладывать к нему торжественные слова молений и песнопений.

И это, во-первых, потому, что в моления об отошедших в мир иной, насовано это слово: «о упокоении». «Упокой, Господи».

Заупокойность эта всячески не вяжется с торжественным радостным и любимым гимном «Христос воскресе из мертвых». Он сущим во гробах жизнь даровал, а не «вечное упокоение».

Воскресенье христово есть «Пасха вечная». «Воскресе Христос и низвержься смерть». Воскрес Христос и низвержься смерть. «Угаси ю, иже от нея держимой». Где твоё смерте, жало? Где твоя, смерте, победа?

Христос – Пасха вечная. Почему же твердят это, выжимающее слёзы «упокоения». Разве нирвану или анабиез какой даровал, победитель смерти, смертию смерть поправый и живот даровавый?

Начал я грустной «песенкой», потому что взял фотокарточку брата и облил её слезами. Но, очевидно, надобно «горняя мудрствовать». «Крута гора, да миновать нельзя!»

Скажете, сам себя тешишь. Пока жил, по то и был. Но разве не таинственно всё вокруг нас. Разве понятны тебе эти обиходные выражения «вечность», «бесконечность»?

Февраля (н/с) 22-го. Старого стиля 9 февраля (1960 г.)

Через неделю пост Великий, зима, помалу, пойдёт на извод. Через четыре недели грачами, жаворонкам прилететь. Зимушку непробудно спит он, мой дорогой, мой единственный, под белым покрывалом. На первой неделе, через десять дней, полгода будем править.

Я «живу». Но, думается мне, все видят, кто с сочувствием, кто с досадой, что только тень моя бродит из угла в угол.

Всю жизнь, от юности до седых кудрей, жили мы вместе, неразлучно. Ночью, сижу с книгой, слышу его дыханье. Днём светлый его голос, ясный как божье небо, взгляд. Всю жизнь, всякий день и час видел я ненаглядное его лицо. Единое билось в нас сердце, одна была дума, одни мысли. Моё горе было его горем. Неразлучно мы и смеялись или плакали.

Во всю жизнь расстались ли мы хоть на два дня. Я на час уйду, он уж ждёт у ворот.

Когда он заболел и слёг, я на три минуты отлучусь в кухню, он уж спрашивает, где ты был так долго?

И, вся жизнь как сон остановилась.

Братишечко прелюбимый, дитятко моё дорогое, желанное! Я тебя не укараулил, я за тобой не доглядел.

Нет тебя около, нет тебя рядом. Я спохватился, да поздно, я ужаснулся, да напрасно.

Я бегать, я искать, я звать, я кричать, я спрашивать. Все молчат, как стена. Никто твоего пути не сказал.

Считает что здесь все должно

быть не такое, как в сем мірѣ.

И глаз и ухо должны видѣть

и слышать „пренебесное", ~~„~~

~~„~~ надмірное, высокое. Целомо-

идеалистическая живопись,

~~особая, отдѣл~~ особый стиль

пѣнія, красота которого

столь
~~обыкновенно~~ несродна обще-

распространенным нынѣ

потребам и вкусам, — вот что

требует душа Северной

Руси. А чувственная,

~~[illegible] католическая~~

смеренной ~~тр~~ вокальной

музыка в этих ~~приемах~~ и

лучшее исполнение поэзии

всего чаще играет на самой

античной инструменте

вздей-
ствия, — о, как ее ~~прим~~-

средне
~~узкие~~ инструменты по сравнению

с примитивами умудрений

древнего искусства романти-

ческого пения..

18-го августа. В Успение

четверг. Дороги дня на

~~~~~~~ два просохли,

а дальше опять ~~[illegible]~~ до обеда

дождь или к вечеру дождь.

В конюшню при солнышке

посидим, видно еще и лето.
~~~~~~~

1962

11 января. Воскресенье

Недомогаю и делать не в силах. Поброжу из угла в угол да лягу, да опять сижу: гляжу в книгу, вижу фигу...

13 января

У меня есть прискорбное душевное свойство: ежели кто любимый и желанный живёт далеко от меня, и я не вижу его, то и место, где любимое существо обитает, и пребыванье любимого в тех местах кажется мне какой-то молитвой, живущей только в памяти. Какой реальный результат от молитвы, которую «твержу я наизусть».

25 января

Жизнь-та как меня мнёт, как меня трепает. Уж думается, чем хуже, тем лучше. Уж кажется, давно во мне целого места нет, а ещё удары сыплются, и когда им будет конец? Долг непосильный повешен на шею. Да ещё один ведомый мерзавец на людях меня кастил. Не знаю, с какой стороны надо отбиваться... Долго ли беды будут на меня сыпаться? Видно, до самой моей смерти.

24 июня

Душу художника, с юных лет волнует облик желанного человека и невнятая для молодости таинственная красота природы.

Влюбиться в существо подобное себе занимает у человека половину лет его жизни. Далее, помни неложное Слово: «в чем млад похвалится, в том стар покается».

Взыщи богатство некрадомое, неистощимое. Красота природы является богатством неиждиваемым.

Если ты истинный художник, тебе смешны аляповатые, курортные, окурки этикетки. Пущай сыплются туда обыватели. Их мозгляковый механизм несложен.

Но, сказано: «Если ты довольно знаешь и судишь себя, тебе недосужно судить о других».

Я, вот, художник мизинный, но солнце отражается и в малой капле вод.

Мне люба срединная Русь деревенская. Время года – петровщина. Дни тихие, ненастливые. Стенка у комнаты стеклянная, и видится она картиной нерукотворной.

За окнами берёзник, рябинник. Листва загораживает солнце и сияет, как изумруды. Только темнеют густолиственные ветви и сучья. К полудню небо пооблачится. Зачнёт погромыхивать дальняя гроза, будто серебряная призрачная кисея опустится на землю. Стеклянная стена моей горницы видится новой картиной. Нет ярких красок. Только нюансы нежно-тусклых тонов. Купы деревьев будто карандашом (прочерчены на) этой чуть подцвеченной акварели.

Куда глаз достанет, видится шёлковая пелена. По этой пелене призрачные тени ветвей теми же шелками шиты, каковые краски этого пейзажа. И я спрошу: каковы тона безглагольной тишины? Впрочем, птичка какая-то подобрала тона, посвистит повыше и после паузы возьмёт столь же нежно, пониже.

...И был вечер, и было утро – день второй. Цвет неба – облакитный. Светлошумный ветер. За окнами новая картина. Перед старыми лапистыми деревьями рядочками стоят молодые поросли. Чуть налетит ветер, и старики важно начнут помавать густолиственными сучьями, будто руками благословлять. А молодые тотчас в такт помаванию стариков зачнут кланяться в пояс.

Стремления художника многообразны. Добро, если он сосредоточит свои творческие силы, свой умный взор на образе природы. Люби Мать Сыру Землю. Соглядай красоту природы. Не плавай далеко. Всего света в карманы не уберёшь. Ранней весною броди по холмам, по берегам срединной Руси. Собирай в сердце рано-утреннюю красоту. Она отрыгнётся нестареющим душевным весельем.

27 июня

С досадами повторяю слова «краса природы». Созвучие это – пустой орех. Я имею в виду Мать Сыру Землю – существо таинственное: жизнеподательное песенное «Сыра Земля». Это не торфяная яма. У Матери-Земли очи недремлющие. Эти очи неутомлённо соглядают днём серебряные облака, ночью сияние звёзд. В косы Матери-Земли заплетены луговые цветы и травы.

Я однажды лез на Митину гору, что в Хотькове. Лез, не чуял колючего шиповника. Мне дивно было, что в берег заплетены были могучие, точно из золота, связи-корни, омытые вешней водой. Я брался руками за эти чудные крепи и чудился: из меди тут ковано или это камень? А после понял на радостях – это кости нетленные Матери-Земли. А на взлобье Митиной горы древле стоял бор: пни заросли давно ельничком-березничком.

28 июля

Добивают человека, доводят человека механические шумы – лязг, визг, скрежет машинный.

Но уставшего, ошалевшего от грохота машин, моторов человека успокаивают голоса природы – гроза, шум ветра, переливный шум дождя. Лес шумит, листва шелестит.

Городской шум ночью – грохот транспорта неусыпающий. Спи, кто может, я спать не могу. А в деревне – шумит ветер, что-то рассказывает дождь – словно музыка!

6 августа. Хотьково: Митина гора

...Родители, у которых дети маленькие умирали, до Преображенья не ели яблоков. Потому что хотя их дети в раю, но, ежели родители заповедь преступили и до Спаса яблоки ели, детям на том свете яблочка райского не дадут. Они плачут, дети там.

24 сентября

Если ты любишь Мать Сыру Землю, и леса, и воды, живой лик красоты, с радостью усмотришь ты и в каменном городе.

Днём в окна глядел дождливый туск. Художник оценил бы богатство серых тонов старого города, в дожде.

Я вылез на улицу к вечерней заре. Тонко-облачная пелена стояла над западом. Она светилась золотом, нежным и тусклым.

Но на туске небесном, призрачно и ярко, как свечи, горела листва на деревьях.

Омытые дождём мостовые, бульвары будто вышиты были золотом листьев. В дом заходим, трём да трём ноги. А тут, как же можно топтать эту бронзу и красную медь, это червонное золото?

10 августа

«Эти бедные селенья, эта скудная природа»... Мой внешний глаз мало что видит. Но для сердца много богатства, ум радуется. Худые глазишки что могут видеть сквозь очки? Физическому зренью всё примелькалось. А душевные очи видят светлость Руси. И уж нет для мысли прошлого и настоящего.

Эффектна ли русская природа?

Светлость, тихость русской природы значительнее швейцарских эффектов.

Люблю, когда радуется мой ум. Люблю, когда веселится моя мысль. Эти вот дороги – Серпухов, Звенигород, Можай, Сергиев, Хотьков... веселят ум. Весело мне любить эту землю, эти дороги, леса, речки, тропинки и нежность неба над ними.

никому, никому во всем мiрѣ не нужен. Только он, печальник мой, ибо мил, в снах и скорбях моих обмирает. Весь век наш, всю жизнь мы с ним вместе радуемся, а чаще, — вместе плачем.

Некому нас развеселить, обрадовать, хоть малой радостью.

Откупорили окно. „В [illegible] там и луг пр… [illegible] верхи. Ноги прохожих шаркают по подоконнику. Далеко ещё весна, небо …

1946

М5

9 августа. В том несчастье

мое, что, вот,

болеет Батенко, и сразу

я духом ~~упал~~, и падаю. Сразу

только поддержит мне перья-крылья.

И не в силах я здраво начать разви-

вать доброю мыслью.

Что есть добрая мысль? ~~Да сейчас~~,

~~вот, та, что~~ да, вот есть, хотя бы

легендарную надпись „Перстня

Соломона" вспомнить: — Это пройдет

В радости Соломон взглядывал на

это надписание и, — не возносился.

Но и в лютой тоске слово

от разума „Это пройдет", — за

великий разумный совет царь

принимал.

1963

8 января. Рожества второй день

Сей год зима с морозом пришла на Николу. Морозы и стоят месяц. А осень после ненастливого лета была сухая. У Миши с осени были приступы холецистита. Было у меня горя-то.

8 апреля. Марта 26-го. Понеделок Страстной

Сейгод Благовещенье и Воскресенье Вербное в один день. А с и весна вдруг надошла. В городе с четверга на Вербной снега опали.

У нас с Рождественской горки на Трубу ручьи бегут. По дворам невылазно – инде снег, инде вода. Сегодня мать убирала и у нас полы мыла. Вербочек не добыли.

14 апреля

Воскресенье. Прибрались, встретили втроём, по силам, не грустно. День весенний. Под утро, за окном слышались голоса, народ шёл.

Душа-та потускнела, слухи не дослышат, очи недовидят. Светлость дня, будто за окном не в моей горнице.

14 апреля

В молодости, бывало, взволнует тебя мысль о любимом и тут же записываешь своё веселие сердечное.

А в старости, ежели тебя и взвеселило любимое, оттянешь запись до вечера, когда нет никаких помех и еле-еле мнимые помехи дня, напишешь конспект настроений дневных «светлых». За немощью тела немощна стала и душа.

22 мая

Вешний Никола. Недели с три весна пришла, а в городе и жара летняя. О Егорьеве дни и дерева еле дымка зелёная. Сегодня, в Николин день, еле домы за бульваром сквозят. Дождей нет, травка ... благоуханное время. Мне не тоскливо и в городе. На даче я попугай облезлый в клетке: «Птичка, хочешь <?>

Диариус. 9 июля н/с

Сейгод выбрались в Хотьково с Ивана дня. Угадали к канунам Петрова дни.

Время тихое, дни благоцветливые. К ночи аромат цветов скошенного сена.

Мнится мне, это ангелы кадят лику Сергия Чудного.

Оскудевши силами, не добрался я – ноги не донесли до ограды Сергиевой. Но близко он, всея Руси чудотворец.

Утром рано и вечером поздно, стоя на Хотьковской горке, в избном углу, кланяюсь в Север, в сторону его ограды, и чую, что персты рук моих и чело касаются, где он почивает, он не спящий, недремлющий.

10 июля

Только на лоне природы, творческие силы твои приходят в равновесие.

В городе ты как трава под стеной, ни солнце сияет, ни дождь идёт. На лоне природы, немощь телесная и горечь о неисправности твоей, перед близкими не гнетут тебя бесплодно.

Творческая радость в железном городском быту как птица в клетке сидит, подвернув голову под крыло.

Деревенская жизнь – светлооблачное небо, светлошумные леса, пение птиц, неоглядные дали. Душа твоя расправляет крылья, оживают думы и стремления, которыми ты был одержим от юности твоей.

Проклятый быт: в окна деннонощный скрежет машин, в двери червь неусыпающий, жильцы квартирные. Как жабы, нас кусают не для сытости, а для лихости. Только и следи, не сживают ли со свету кого, привитающего около меня.

От юности до старости корабль жизни моей ходил вдоль и вкруг берегов. Прекрасность русского искусства билинные реки родимого Севера, дивное искусство Новгорода и Москвы.

Куда ни причалю, то и скажу: «Здесь покой мой, тут веселюся».

А на склоне лет, видя близких, одолеваемых напастей бурею, я укорил и осудил сам себя: безмятежно плаваю по песенным рекам, соглядаю красоту искусств, а те, кому я, <нрзб.> волей являюсь опорой, тонут...

Когда жизнь твоя, Божьим изволом, сложится так, что хоть двоим, хоть троим ты явился опорой, оправданы твои «вдохновения и звуки сладкие».

Но, вот, вырвешься, как куропать из силка, из скаредного каземата, припадёшь к благоцветущему лону Матери-Земли, и оживёт душа, и обновится ум, и слышишь слово тайное. И то правда непререкаемая, что должен ты душу за други своя отдать, за каждого из малых сих. А сил на это ищи в нерукотворенной красоте природы.

Резюме: любовь красоте даст силу для жизни.

18 июля

Сергиев день. Вспоминается детская книжечка: хорошо лето красное, небо чистое да ясное, тишь кругом да благодать... Пленительны были акварельные рисунки.

Не успел дописать строку, ударил ливень.

Небо с полдня потянуто было. Нежный туск. Старики, ходившие в Лавру, успели рассказать о «земном» рае. Народ, богомольцы, начал собираться к празднику ещё накануне. Поезда за полночь подвозили богомольцев из Москвы: ночью в ограде Преподобного народу было как в Пасху.

На восходе солнца отошли утрени. Начинались ранние обедни. Ранноутренние поезда из Москвы опять начали подваливать народ. Люди сдвигались толпами, из окрестностей шли непрерывными вереницами. Церкви заполнены были людьми ещё с вечера. Плотной стеной стоял народ вкруг каждого храма.

Усердные пришли пешком из Дмитрова, из Александрова, из Хотькова. Но будто и не устал никто. Лавра – это целый городок. Все проулки меж древних зданий заполнены были народом.

Но пренебесная тишина осеняла Сергиев град, благодатная тихость нисходила с небес, прозрачен был воздух. Этой тихости небесной, сходящей с небес, вторили перезвоны колоколов, шелест листвы на деревьях и древнее литургийное пение.

Удивителен был этот час литургии. Для людей, плотно окружавших храмы, не было зрелищ – высились древние стены с отверстными дверьми, окнами. Никто не входил, не выходил. Стоявшие против входов заглядывали туда. Куда же глядели бесчисленные очи человеческие? Восторг знаменался на лицах. Люди созерцали и видели как бы некое чудо. Казалось, что поёт литургию этот Троицкий собор и этот Успенский, поют возносящиеся ввысь белокаменные стены.

В этот пречистый день и час преподобный Сергий стоял среди нас. Он был в жемчужной бирюзе неба, в шелесте листвы, в аромате цветов, в борковании голубей. Он и отец и учитель. Андрей Рублёв ходил сегодня меж нас, брал десницу каждого и говорил: «Божественные песни пресвятой Руси, божественная икона пресвятой Троицы, божественно зодчество».

Украдкой поглядел он на лица стоявших <...> тесно: капли пота или слёзы умиления катились по лицам, по этим лицам светлым, преображённым.

Праздник обретения, обретения радости нетленной. Из года в год, из века в век обретает Русь эту радость неотымаемую, творит святую память отцу своему, воскрешает в сердце тихий блаженный свет Сергиев.

18 июля. Сергиев День

Небо на Руси часто бывает потянуто облаком. Но, там, выше облачного полога, бесконечная лазурь и сияние солнца.

Человеческое наше сознание каждодневно покрыто бывает немытой будничной клеёнкой.

Утомленье, усталость от злоб дня, от злой суеты и забот семейных, квартирных, служебных. Привычка к табачной мгле, к гундосому вою, рождает праздное уныние. У тебя свободный час, раствори окно, прошёл летний дождь. До облака у меня деревья на бульваре. Нет, ты «отдыхаешь». Как осуждённый сидишь... Или лежишь, в состоянии анабиоза читаешь, жуёшь бумажную жвачку.

Слышу ответ: «Ты бы это твоё предисловие не растягивал, мне бы нечего было жевать-то».

Дитя, я ведь это сам с собой разговариваю. Все старики так.

Дряхлость безвременная, слабость ли душевная, бельма внутреннего зрения. Это не значит, что если ты не видишь, не чувствуешь, то значит и нет ничего.

Будничная житуха-бытуха отучила нас искать мира душевного, радости сердечной, замутила прозрачность умного зрения.

Спросишь: «С кем бывают эти светлости? На каких людей надо глядеть прозрачно? К каким особенным людям, к каким разительным происшествиям надобно применять пречудное прозрение?».

Подслепый наш взгляд на всё окружающее не видит истинной реальности.

Никуда не надо ни ходить, ни ездить. Лазурь небесная прозрачная вкруг тебя. Блаженная страна не где-то «за далью непогоды», а вот здесь, в Хотьковской деревушке. Я за образец называю Радонеж. У меня здесь сорока кашу варила, а у тебя в ином берегу пристань, иной человек там тебя ждёт. И дело иное запомни: всяк над своим делом радуется.

Радонежское княжение – удел чудного отца, мысленное моё пострижение.

Чуешь ли, как нежно, призывно играет свирель? Это добрый пастух сидит на Маковце, весть подаёт о себе. И слышим его, где бы нас нелёгкая ни носила.

Андрей Критский в Мефимонах не устаёт припевать: «Троица проста». Видишь тайна непостижная и та «просто».

Ещё сказано, – рубаха близка телу, а мир невидимый ещё ближе.

В рассказе «Студент» Чехов вдохновенно рассуждает об отречении Петра, греется с ним у костра, слышит пение петуха. И мы чувствуем, что всю эту предивную ночь пережил сам Чехов.

И тут же, в обстановке ранневесеннего рассвета автора, пронизываемого утренником, который подморозил и вешние лужицы. Автора охватывает неудержимая радость. В ночь на Великий Пяток Пасха таинственная накатывается на человека, Пасха вечная, радость неотымаемая, неиждиваемая. Дивно раскрываются внутренние очи, высшим ведением озарён разум. Человеческий счёт времени исчезает. Человек вдруг понял, что такое вечность.

Андрей Критский, который не то что плакал, а по слезам плавал, ликуя, поёт: «Троица-де проста». И русский писатель (уж какими пилами житьё-бытьё его перетиралось) напоследки понял, что такое вечность. Неприступный безначальный и бесконечный свет, присущий бывает русскому писателю.

«Дух дышит, где хочет». Дивное знание открывается «студенту» в этой предутренней пустыне, посреди полей, только что сбросивших зимние саваны.

События земной жизни Сына Божия – не история. Празднование Рожества, Преображения, Страстная неделя, Пасха – не воспоминания. Весна вечно юнеет, ночь сменяется утренними зорями всегда. Но разве весна и утро древние? И студент радостно сознаёт: «Правда, добро, красота живут вечно. И только в них смысл жизни».

Светел мне, светел сегодняшний день, весел мне, весел теперешний час. Весна вечно юнеет. Дивное дело, живоносное; животворная весна сошла на русскую землю в тяжкие времена татарщины. Ещё была ночь, но засияла над Радонежем заря русского дня. Сергий Радонежский – это новое рождение Руси. Сергий воскресил Русь. В Сергии Русь получила обновления. Здесь, в Радонежской, он зачался. Благоухание русской весны, отрок Варфоломей.

Сергий-воин, военачальник, организатор русского национального сознания. Сергий – вечная весна, вечно живёт с нами.

Пасха называется «таинственная». Тайна в том, что Христос воскресает каждую весну. Церковь поёт: «Днесь весна красуется, оживляющая земное естество. Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко воскресе Христос и смерть умертвил. Воскресе Христос, и жизнь живёт во всём мире».

Русский народ искони верует, что по воскресении Христос сорок дней ходит по Русской земле. Все этапы события, все степени жизни Сергия существуют. Отрочество в Радонеже, юность в Хотькове и на Маковце в благословенном и препрославленном, где вечно бьёт родник живой воды.

Филарет на освящении Михайловой церкви видит реальность, откидывает завесу времени. Стоит в древней церквице, припадает к порогу келий Сергиевой, слушает молчание Исаакиево. «Ведь, всё это, всё это здесь и всё живёт, – говорит Филарет, – но только закрыто от нас временем».

Многое, случавшееся во времени, в ту или другую эпоху исчезает, преходит вместе со своим временем. Но добро, светлость и красота продолжают существовать, пребывают вне времени.

Мы знаем, как живёт добро и красота, воплощенные в личности Сергия Радонежского. Мы призывали его на помощь, зная, что он слышит нас. Мы с любовью целуем его святое Изображение. Многим он являлся воочию.

Иди в Лавру, стань с народом, припадающим к нему, отцу любимому и живому. Жив он, благодатная наша весна, жив. Не только в обстановке моления и пения. На протяжении столетий бесчисленно раз видали воочию спешащего на помощь. И в наши дни человек некто видел Сергия там, в Посаде, переходящего линию путей. Другой видел Его на Ярославском шоссе. Человек узнал, кто идёт навстречу, пал на колени и преклонил голову до земли. Преподобный прошёл мимо, но край святой одежды коснулся преклонённой главы человека.

Светлость и красота вокруг нас. Чтобы ощутить и увидеть это, надобно скинуть с разума ветхий ночной колпак. Здесь чудо. В этих чудесных явлениях внутренняя церковная жизнь. Эта жизнь таинственная, столь же благодатно проявляется в Христе, в христианском искусстве.

Скажем о живописи.

На Сергии дивно знаменался свет святой Троицы. Самое слово «Радонеж» стало синонимом радости, радости заветной, заповедной. Свет Радонежа дивным образом знаменался в творчестве М. Нестерова. Любовь к чу́дному, загоревшаяся в сердце художника, породила ответную любовь. Совершается чудо: время исчезает как дым.

Художник, на самом деле, исходил блаженную, радонежскую землю. Художник сам поспешал лошадь. Вслед за отроком, неутомлённо поднимался на холмы Абрамцева и Хотькова, спускался в долины Вори и Пажи. Запечатлел в памяти нежное и прекрасное лицо отрока, запомнил, во что он был одет. Наконец, увидел и тихую святую славу, которую в своём «Видении Отроку Варфоломею» запечатлел.

В записках своих художник касается написания «Видения Отроку», говорит о поисках натуры. Но нигде, никогда не раскрывает он мыслей сердца своего. Только, в сюите, посвящённой Сергию, в чудной музыке Китежских видений («В лесах и на горах») «поёт и зовёт и глаголет». В картинах Нестерова светлое умиление.

Брате, ты сам стань перед «картиной». Сам соглядай то, что видел вдохновенный художник. Перед тобою «прекрасная мати пустыня», мечта русской души.

Холм, реденькие травы – отавы, ёлочки, внизу вьётся речка, вдали стеною темнеет бор. Невыразимая нежная красота русской природы. Но сейчас, когда таинственный инок, лик которого закрыт схимой, возносит Святые Дары и отрок, молитвенно сжавший ручёнки, стоит как свеча перед Богом и весь он как ангел земной, этот мальчик Пренебесный. Сейчас, брате, чуешь, какая безглагольная торжественность осеняет эти радонежские холмы и берёзки. Радуешься ли, соглядая «Видение», что вся природа стала нерукотворенная церковь.

Слышишь пение «херувимской»: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Кто поёт? Берёзки и вербочки. Или это холмы святие или сердце твоё хвалит ангела земли русской.

18 июля

Существует жизнь таинственная. Высокое и прекрасное, совершавшееся на земле, повторяется вневременно. Давно, годы и годы назад, пришли мы с братом в Хотьков. Сели на крутом обрыве, в тени древней монастырской стены. Внизу перед нами зеленеющая долина реки Пажи. В её воды, как в зеркале, глядятся нежные берёзки.

Хотьковская Пажа, прихотливо извиваясь, течёт меж высоких лесистых холмов по широким луговинам. Перед нами – произведения Нестерова, эти светлые его видения: «Из жизни преподобного Сергия», «Святая Русь» (Христос со святыми встречает идущую к нему бродячую Русь), «Тише воды», «Пустынник» – всё озарённое «светом невечерним».

Картины Нестерова вызывают чувства, равновеликие, хочется сказать, величанию на Благовещенье. Празднуется «вечная благостная тайна». Велик день, а в величии, в дивном напеве «Архангельский глас» какое умиление «Предначатия радости».

Брат говорит: «Видение Отроку не здесь ли было?».

Я говорю: «Прежде коней-то без опасения пускали. Потом ходят, ищут по берегам. Отрок-то Варфоломей, может, и за те холмы перешёл, к Абрамцеву?».

Кругом была тишина безглагольная. Простстрекочет в траве кузнечик и молчит. Далеко, на Митиной Горе, пропоёт петух. Ему с выжиданием ответит другой.

Брат говорит: «Не по этой ли тропочке юный Сергий спускался к Паже умыть лицо и руки? Всё будто вчера было».

Я хотел что-то ответить, и оба мы умолкли на полуслове.

Мимо нас, неслышно ступая босыми ногами по траве, шёл мальчик-подросток. Шёл, не замечая нас. Шёл, углубившись в чтение книги, которую держал обеими руками. Шёл, чуть склонив темнокудрую голову.

Удивительна была задумчивость юного лица. Читал он или думал над раскрытой книгой? Мы глядели вслед, и непонятно было, берёзки ли белеют или мерцает лёгкая одежда нашего видения.

Это «видение» было как золотая заставка или тихим и торжественным запевом к нашему житию.

С того благословенного дня и часа <как> явился нам здесь, в древнем Радонеже, «отрок Варфоломей», прошло много лет. Отрок, Божиим изволом пришед к нам на малой радонежской речке, стал для нашей семьи сыном богоданным, Божиим благословением.

Брат мой оставил ныне юдоль земную горькоплачевную. Он, друг мой, сотаинник, уже при конце своего земного пути, высказывал мне слово тайное и крайнее:

– Сознаёшь ли ты, брат, умом, чувствуешь ли сердцем, что это существо, так светло и удивительно вошедшее в нашу жизнь, есть чудный залог и знак милости Божией к нам, худым и нестоящим.

Чаятельно, у вас и дома такое пребывание бысть, как на нестеровских картинах?

Ни близко: извне – неусыпающий машинный лязг, бензинное удушье; внутрь – человеконенавистническая квартирная склока.

«Отрок Варфоломей» (имя условное) зван и призван к искусству музыкальному... Что о нём скажу, как расходуются душевные силы?..

«...Жизнь даёт только Бог, а отнимает всякая гадина».

Попробуй урвись в тихость безмолвную, в палату лесовольную, в прекрасную мати Пустыню... Кто теперь смыслит загадку: «Стоит мост на семь вёрст. При конце моста золотая верста». (Мост – семь недель великого поста. Золотая верста – Пасха.)

Но радость неиждиваемая многолика. Лик радости светло и верно может проявиться и в нашем многомутном быту. Чем же можно озарить и осветить наш быт? Это, во-первых, если ты примешь в семью сироту...

Значит ли, что над нами непригодный небелёный потолок да лампочка, засиженная мухами, а под ногами неумытый пол да стоптанный асфальт? Не будь то! Приходит день, настанет час – откатится от сердца ненастье, сияет над головой небесная голубизна.

Единым мгновением исчезнет мгла унылая, как дым. Очи сердечные видят и душа чует, что есть она наяву, страна Радонежская. Как озёра в тундре, ширятся бирюзовые небесные просветы.

Телесные глазки смотрят на муть квартирную. Явится какой-то разум, и начинаешь понимать, что действительность и реальность только в том, что видят очи внутренние, сердечные.

Шерлин утерял в лесу очки
Дачи 1930 г.

1964

2 апреля

Всю жизнь март и апрель у меня заветные месяцы. Седмицы поста великаго – сестра сестры изящнее приезжают из Хотькова, сказывают новости. Воронья Гора, что лицом на полдень, обтаяла. Грачи вьют гнёзда. У них столько шуму, голосу человеческого не слышно. На «сорок мучеников и жаровонки прилетели». А мы с Мишей, глядя на снег, на дожди, думали, призадержатся птицы.

Ну и пусть там предвесенняя пора в полном лике. Но и в народе, поглядывая из окон, постаивая у ворот, разве не видишь, не чувствуешь живого ответного целования?

С запада налетает влажный ветер. Весело, не глядя на погоду, перекликаются воробьи, в окна заглядывают голуби, ожидая хлебца.

Зимою, при ночных часах, чтоб отманиться от печали, люблю я сидеть у окна. Ни езды, ни ходьбы, тишина, ни шуму, ни голосу, разве вороны где-то прокаркают спросонья. А под окнами, вдоль дорог, по бульварам всё застлано широкими долгими пеленами снегов. Точно к празднику кто-то застелил город чистыми скатертями, праздновать звал настойчиво.

Но, вот, март наступил, и уж радуешься раннему рассвету и долгому дню – семь часов, а у окна читать видно. И пускай болезни, печаль и воздыхания не дали усладиться зимним праздником. Душа-пленница чует, что пришёл месяц Благовещенья и бьётся в клетке, просится на волю.

5 апреля (23 марта)

Завтра прозвучит Архангельский глас и пронесутся глаголы Златоустовы. «Радости Благовещение, свободы Знамение, от рабства свобожение».

Четвёртая седмица поста, двадцать пятый день желанного месяца.

Уж три сестры, три недели <...> постов приходили, звали в гости.

А я хоть знаю, что там тишины и мира подадут, а не пошёл. Унылого и ленивого надобно за руку тащить.

8 апреля (26 марта)

По примете: какое Благовещенье, такова и Пасха. А уж третий день дождь, вперемешку со снегом. Сегодня всю ночь дождь барабанил

в помосты <?>подоконников. А я люблю эту музыку. Снега везде взялись льдом мокрым.

Настроение ума, моё устроенье, что куст пожухлый. Ненастье к земле прижмёт, а пригреет хоть тусклое солнышко, я оживу на мал час. Так живу. Бывало, предвесенние настроения одолевали житейскую печаль и тревогу. А теперь я – трость, ветром колеблемая.

...Сегодня зачалась Седмица 5-я. Завтра 1 апреля, Марии Египетской. А послезавтра привелось и Мариино стояние». <...>

13 апреля (30 марта с/с)

С пятницы Крестопоклонной погоды пренежные, уж окна приотворены. Сегодня в ночи дождь лил, по городу, чай, последние снега сгонял. А день стоит чуден, не ушёл бы с улицы. В Хотькове, сейгод, Пажа из берегов не выходила. Кромки льда держатся, река бежит серединой, чистая. Сейгод под снегом талая вода не держится, уходит в землю – осенью Земля <...> накрылася снегом.

По превосходному разуму нет сомнения, что жизнь природы состоит в таинственной гармонии с умиленными днями поста и «Дни печальные Великого поста» – предначатие весны. А когда запоют и «Днесь веры красуется», «Днесь всякая тварь веселится радуется, яко воскрес Христос», то уж малому уму ясно и внятно, что видимое воскрешение природы – говор вод, вербы, благоухание берёзок и верб, и пенье птиц, и нежняя лазурь неба – все это есть видимые явленья нам для поклоненья, икона таинственного Христова воскресенья.

2 июня

Кто не воспевал красоты лета. Ничего не прибавишь. Но, в самом деле, глянешь в оконце – кусты сирени, малинник, смородинник по самый подоконник. Ночью точно ангелы кадят. Днём, чуть ветерок, и кусты, ряд за рядом, кланяются чинов, кланяются, точно <нрзб.> простирают, точно благословения просят у надлетевшего ветра, духа святого.

Давно ли по двору, по тропинкам, вдоль изгородей сиротливо, молчаливо, как бы стесняясь своей бедности, стоял этот ягодник, рябинник, черемушник стоял, точно метлы рассыпанные или веники-голики тощие.

А теперь «на шестой неделе» к Вознесенью будто рай насажден на землю. Ни одна веточка не тулится сиротливо. Всё приукрашено. Чудем приукрасилась Мать Сыра Земля. Точно ангелочки маленькие, слетели в сад и сели рядочками в порядке, по тем веточкам. Не счесть этого рая. Всюду изумрудные самосиянные крылышки.

В Троицын день земля именинница. Приоденется, приукрасится не оранжелейной роскошью, но русскими травами и цветами, красоты чистой и благоуханной.

Написано немало музыкальных произведений, иллюстрирующих «русский пейзаж».

Здесь, на Хотьковских холмах, – Воронья Гора, Митина Гора и Монастырская, Радонежской <?>.

Весне аккомпанируют в марте бесчисленные потоки вешней воды. Начиная с Герасима (4-го марта с/с) немолчный неумолкаемый гомон грачей. На <нрзб.> Горе, что увенчана старой рощей, древнее грачиное царство. Девятого марта на «40 мучеников» зазвенят жаворонки. Сразу же во всех деревнях по скворечникам запоют скворцы. И во всю весну, на любом деревенском деревце, не боясь людей, всякая птаха наводит свои голоса. А на изгородях, под избными окнами вертятся сороки, цокочут, торопятся рассказать нечто важное.

Зимою по весенним деревам поют воробьи. На вечерних морозных зорях стаи галок звенят стеклянными голосами.

25 июля

Два месяца – июнь и июль – сейгод, не было дождей. Овощи, ягоды чахлые, тощие. Июнь был сухой, с холодными ветрами, июль с жаркими днями. В прошлых годах, в Хотькове вечера бывали всегда прохладными.

Сейгод Ольгин, Владимиров, Ильин день и по закате солнца сухо, тепло. Дачники довольны, хозяева хмуры.

Михайлушко с 12-го апреля по 1-е июля, два с половиной месяца, уезжал на гастроли – Мелитополь, Полтава, Харьков. Измучился. Сейчас, четвёртую неделю находится дома. Я горестно ждал нового расставанья, но, дай-то Господи, надеюсь, что надолго не уедет.

Вечера ещё долгие. Солнце закатится в восемь часов. В десять сумрачно. На северо-западе заря не гаснет. В два часа ночи рассвет, на северо-востоке заря с зарёй сходятся.

26 ноября

Из Хотькова сейгод приехал перед Иваном Постным. А жил там с мироносной <?> недели.

Осень сейгод стояла протяжная, дожди редкие. По уездам, круг Москвы, почки на кустах не во пору распустились.

Снег пал на Димитриев день <...>. В городе этот снег дождём съело. Самосильно снег пошёл на Михайлов день. Днём по городу дороги разъездят, а в ночи опять всё замолодит – что скатертью белой праздничной город-от накрыт.

Михайлушка моего жду домой за неделю до Николы. Три месяца в разъездах. Хозяйство ведёт тщательная моя сестрица.

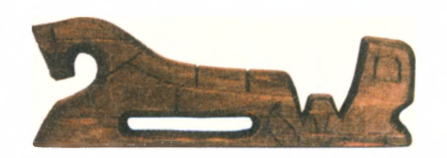
Время – половина четвёртого, а уж и на окне писать не видно. Сегодня Филиппово заговенье.

Окна у нас как офорты высокого художества: широкая полоса белого бульвара. Точно графитом наведена полоса мостовой. И рисунок, и тона пейзажа удивительно изящны в этом сумеречном туске.

в Свободную, непринуж-
денную [illegible].

Красота природы и красота
человека всегда кажутся
новыми. Сколько бы
раз ни увидел я красоту
тела без прикрас и за-
весок, всегда много овладе-
вало чувство неожиданности,
чувство удивления.

Пришло в голову со-



1966

29 января

Есть в мире Божье чудо – музыка. Прослушал «Концерт для фортепьяно с оркестром» Моцарта. Раздвинулись стены комнаты. Иду ли я по цветущему лугу? Поют птицы, звенят ручьи. Кто «виновник торжества»? Моцарт, Ван Клиберн. Великолепная слаженность оркестра. Чувствуется только одно: душа моя развернула крылья и, ликуя, кружит в каком-то нерукотворном храме или цветущим лугом кружит, касаясь крыльями весенних дерев.

Прекрасное это музыкальное произведение ощущается как некий целостный организм, как существо, которым зов времени и пространства осязаемо обладает вами полностью.

Три части концерта. Богатство переживаний творца этой музыки. Бедное воображение моё не успевало, не могло угнаться за богатством переливов-перезвонов моцартовской музыки.

Но душа, как птица в вешнем небе, неутомлённо купалась в радости.

Концерт окончился. Но ощущение, что ты был участником пира, что тебя наделили богатством и ты это богатство несёшь с собою, – счастье надмевает душу. Оно кажется неиждиваемым. И бедная душа верит и надеется, что оно не будет окрадено или утрачено.

От пространных музыкальных произведений у меня всегда оставалось впечатление расплывчатости. Сюиты, сонаты... Например, в «Лунной сонате» Бетховена привык слышать и помню только элегические повторения первой части. Остальное терялось.

Но, прослушав «Концерт» Моцарта, дивлюсь на себя: будто я получил во владение дом. Моё – стены, кровля. Всё осязаемо. Оглаживаю его, обстукиваю. Сижу в нём; ношу его в охапке. Это моё владенье, могу измерить аршином... Люди прочтут, подумают: купил невидаль...

1966 г. мая 15-го

Рос<?>товские звоны.

Припав ухом к прибрежному песку, слушали заутренние звоны, благовест китежских колоколов.

Люди, по древним памятям, знали, у какой церкви какой звон...

1966 г. июля 5-го с/с. Сергиев День.

Сорочьи голоса серебряные. Сорока трекочет, будто кошельком с мелкой, серебряной монетой играет. А то, опять, будто это серебро в саду на стол высыплет.

22 июля

«Откуда есть пошла Русская земля, откуда она стала есть?»

Откуда зачинается, зарождается в человеке художник? Нет сомнения, человек родится художником.

Я рассказывал о себе, как рисовал и «красил» в годы детства, рисовал запойно и, думается, бессознательно.

Мне любо вспомнить о годах юности, когда пришла на меня любовь к тому, что стало радостью моей навеки. Всю жизнь мой ум увеселялся искусством. Невнятно подошла старость. Теперь, когда почувствовал, что слово простое обидит мя, малая печаль повержет мя, смирился. Конец? Или в путь необратимый. Великими горестями не козыряю... Отёр слёзы. Но те, кто жив, кому надлежит по возрасту цвести и приходить из силы в силу, они как тёрн острый в сердце, как жало жалят душу неутомлённо.

Но слушайте, слушайте! Непроглядное уныние и нечувствие моё вдруг покрывает весенняя радость...

25 июля

В тихие, ненастливые дни охватит меня не воспоминание, а некая пречудная жизнь. Вижу себя юным. Сижу у окна. За окном дождливый день... Описывать исчезнувшее болезненно.

Немногие годы спустя в Москве пил я живую воду досыта. Но не художники, не музеи, не выставки – не этот слепящий глаза парад переживаю «при конце жизни». Тихий свет обнимает мой ум в тихостные, призрачные, серые, как жемчуг, дни.

Должно быть, весьма рано начались у меня муки творчества. Этот хмель, это смятение, эти искания в дождливые дни по улицам города, разглядывая «Деисусы», поставленные над входами и крыльцами, иногда у могил на кладбище.

Весь век переживал радости и горести любимого искусства.

И эти переживания становились воспоминаниями. Но переживания ранней юности, то, о чём пытаюсь рассказать, вдруг, хоть на малый час, становятся жизнью. Утро и весна жизни. Искания, стремления юности. Трепетное томленье само по себе счастье, счастье <нрзб.> неиждиваемое.

1966 г. августа 11-го. Хотьково

Живу здесь седьмую неделю. Погоды на редкость хорошие. Жарко. Мухи жужжат. Окна день и ночь настежь. Но «старость не радость». Дух праздности

и уныния. Немоществует тело, немоществует и душа. Солнце закатится в 8 часов и кряду падут сумерки. Ночи тёмные.

Михайлушко бывает по пятницам, на малые часы. Не с кем взвеселить сердце. Человек, сохранивший духовные силы, осудил бы меня, сказал бы:

– Посмотри, как живут настоящие люди и в худших обстоятельствах.

1966 г. сентября 28-го

Сейгод я жил в деревне два месяца, июль и август. Лето было красное – солнце-дождички. Но второй год ни ягод, ни яблок. Родилась только картошка. Третий год не стрекочут кузнечики, ни бабочки не видал, ни комара не слыхал. Перевелись пчёлы на пасеках. В реках ни мелкой рыбёшки. Все обидятся на Химзавод, на фабрику. Но все и заработок оттуда имеют.

Михайлушко мой работает в Москве. Слава Богу, сейчас на нём вся забота и обо мне. Отдыхать ему некогда.

Сестра моя выбилась из сил – на ней больными старухами <?>. Утром рано и ночью поздно около болящих. Надо купить и приготовить и обиходить. А днём на службе.

Толя целый месяц лежал без помощи. Но Бог взыщет с людей за его страдания.

Покойный брат, на последнем прощании, заповедовал мне не бросать Толянку. Я презрел братню заповедь. Потому и живу безрадостно.

Згадок Григорієви

1967

11 февраля

Сейгод была суровая зима. Морозы Никольские, Рождественские, Крещенские, Афанасьевские давали себя знать.

Пора кратких дневных часов, долгих ночей миновала. Наступил февраль. Зачирикали на солнышке воробьи. Пришло Сретенье, бокогрей, криво дороги.

7 августа

Кто мне даст крылья, да постигну дни мои претекшие – кто возвратит век мой?

В молодые годы как по цветущему лугу шёл: простые были цветочки, а всё радовано. Теперь этот луг будто стал зарастать.

Но как неугасимая искра живого огня (...)

9 августа

Лето с Борисова дня как бы повернуло на осень. Кусты за окном пашут траву, как веники. Но радость, осенявшая меня от дней отрочества, никогда не спрашивалась с погодой.

В Архангельске, было мне лет шестнадцать, принесу с чердака чёрную икону, протру постным маслом. Как бы из глубины веков чуть-чуть проглянут контуры, силуэты нездешнего мира. И я от радости на руках пройдусь по комнате. Потом, хмельной от радости, нанесу на бумагу то, что провидел.

Невдолги объявились около меня два друга единомысленных – Виктор Постников и Павел Кузнецов. Виктор уже отыде жития сего света, и прекрасна память его. А ты, Павел Геннадьевич? Лет сорок не могу уловить никакой вести о тебе. Если бы ты потрудился найти меня! Обнял бы я твои ноги со слезами благодарности. Ты был богаче меня, талантливее. Вместе сыскивали мы древнюю красоту, и твоя взволнованность передавалась мне. Ты соколиным своим взором сразу усматривал в древней красоте то, что «едино есть на потребу», что будет жить вечно. Благодаря тебе, Павел Кузнецов, юность моя видится мне как бы лик нерукотворный, позлащённый. Ты был цвет благоуханный, благоухание души твоей и поднесь живёт со мною. Весь ты был светлость, весь чистота пренебесная, весь утро весеннее. Но и теперь для меня ты день невечереющий.

10 августа

Радость о красоте есть грань, «юже никтоже во́зьмет от нас». Следственно, по природе своей будучи вечной, та самая радость, которая надмевала меня в годы юности, обдержит меня и сейчас. Скажут: то было пятьдесят лет назад. Отвечу: а весна текущего года, разве она не та же самая?

И в восемнадцать, и позже я не менял ни силы, ни свойства радости. Я, робея, приобучал себя освобождать древнюю живопись от чёрной олифы. Этот период связан у меня с сияющими белыми ночами, когда полночь в Архангельске разнится от полдня только безглагольной тишиной...

Жизнетворческая сокровищница наша состоит из богатств, которые собрали мы ещё в дни юности нашей. Богатства эти пополняются в течение всей жизни. К счастью, которое мы имели, прибавляется новая малость и радость.

Но великая и богатая малость и радость, пришедшая к тебе в годы последующие, преогорчена бывает неусыпающим сознанием твоих неисправностей и твоих вин. Скажем: как солнце, согревали меня годы и годы любовь братская, дружба верная. Жил в этих лучах беспечно. Но «солнышко на закат пошло, красное закатилось».

Но и то неложно сказано: «Ради скорбей спеется душа». Старая книга говорит: «Не добрая, братия, вдавшись в печаль, изнемощи. Печаль – моль в одежде, червь в плоде, печаль жжёт сердца крепость».

Всяк человек перед кем-нибудь виноват. Старый, немощный человек, например, виноват уж тем, что надоел своим близким. Но в то же время и ему, немогущному, по превосходному разуму, не положено падать в печаль.

Чем же ты отманиваешься от печали? Тем, что от юности стяжал богатство неиждиваемое. Вечно юнеет весна; всякий день наступает утро; разве к вечной весенней юности приложимо понятие: история, воспоминание, прошлое?

Я ещё в юности убедился, что заветные думы живут и цветут, когда ты делишься ими с человеком, который тебе по уму и по сердцу.

Вот мы угнездимся с Павликом на моём мшистом камне лицом к воде, соглядаем подводное царство. Он говорит: «Там всегда всё к празднику умытое. Разноцветные камешки постланы узорными дорогами, во вкусе. Одни глазками глядят, карими, а другие смеются, как беленькие зубки. А на пыльной дороге всё это <это всё?> ослепнет». По дну, тихо шевеля плавниками, шли бронзовые рыбы. Одна, важно поводя хвостом, справила под наш камень. Павлик прошептал: «Это правым шкивом оборотень на тебя глядит, левым на меня». Я говорю: «Оба шкива на тебя глядят. Это наяда тобой любуется». Домой шли, думали, как нарисовать эту сказку.

Не воспоминаньем, а жизнью ликующей и обновляющей являются для человека избранные свидетели его юности.

12 августа

Потом полдесятка лет был я учеником Строгановского училища. Осень и зиму жил в Москве. Весну и лето жил дома, в Архангельске. Художественная жизнь Москвы 1913–1917 гг. была эпохой восторженного увлечения древнерусской живописью «Ум исхититься может от перезвона тех красок» (Никодим Сийский). И я ходил как хмельной.

Но прошли десятки лет. Теперь, на старости лет, не переизбытки впечатлений столичного Ренессанса древней живописи и связанная с этим эстетическая истома и суета... Нет, не эту эпоху вспоминаю я... И... окрыляет радостью моё сердце.

Любовь к древнерусской красоте породила во мне Северная Русь. Архангельский глас, а не московский вопиет во мне: «Радуйся!». Там «Свете тихий» поют в неизрекомой тишине и древний город Архангела, и зеркальные воды под ним, и острова... В мире, превосходящем всякий ум, в тишине, в свете тихом рождалась и крепла в сердце моём радость, которую ничто – ни болезни, ни лишения, ни уличный железный смрад – не смогли у меня отнять.

14 августа

Не как воспоминание, а как явь сего наречённого дня встаёт передо мною путеплаванье наше в Никольское устье Северной Двины. Здесь с незапамятных времён стоял монастырь Николы Морского (именуемый также Корельским).

В 1419 году этот монастырь разорён был норманнами. Берег-от был вотчиною новгородских посадников Борецких.

Около середины XV века посадница Марфа послала сюда, для досмотра, своих сыновей Феликса и Антония. Морская непогода разбила судно, на котором шли Феликс и Антоний. Тела их волною морскою вынесены были к подножию холма, под стены разорённой обители.

Над гробом своих сынов Марфа воздвигла истинное чудо архитектуры. Гениальный зодчий замыслил эту белокаменную «сказку». Величественный соборный храм, как лебедь крылья, простирает на север, на юг и запад торжественные входы и выходы. С какой бы стороны ни подходили к монастырю, с моря или протоками, меж островами, всегда казалось, что белая лебедь, вышедши из волн морских, отрясает свои крылья на все страны света. При этом кружится, опираясь на аркады подкрылий.

17 августа

В церквах города Архангельска, с древней иконописью соверничество столярство иконостасов.

Впрочем, формы барокко, занесенные в г. Архангельск в XVII веке, нравились горожанам и повторялись в отделке оконных наличников, слуховых окон, в бытовой живописи даже в начале века XX.

Но, как правило, северный люд считал кощунством или детским легкомыслием всякое украшательство священной живописи. «Нельзя-де играть неиграемым».

Прихожане, даже городских церквей, не позволяли украшать иконы ни бумажными, ни живыми цветами:

– У нас божество, а не барыни в шляпках.

В силу этой строгости религиозного мышления никто никогда не дерзал украсить какой бы то ни было резьбой и северные деревянные церкви.

Безукоризненный вкус старинных людей довольствовался красотою архитектурных форм.

Суетливая деревянная резьба всегда казалась северным плотникам чем-то «преизлишним и звягливым».

Когда в 1907 году архангельские пригородные крестьяне-безпоповцы построили в городе обширную моленную, они сыскали и иконописцев, умеющих новгородское письмо. Люди ходили туда восхищаться явственным художеством.

18 августа

Чувство ошеломляющее охватило меня, когда я, в дни ранней юности, переступил порог летнего собора Никольского монастыря. Сияние полуночных зорь наполняло храм. Ни единой души человеческой. Но в соборе шла торжественная служба. Я слышал, как пели херувимскую песнь: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Кто пел? Кто совершал службу? Литурги(чали) и пели чины апостолов, архангелов и святителей. Нет, они не были написаны в чинах иконостаса.

Такова была динамика, такова сила вдохновения новгородских художников, что ты сам со страхом чувствовал «ветр Духа Святаго», который гонит апостолов, пророков, святителей к Христу, на херувимах несомому.

Ветр Духа Святаго развевает воскрылия одежд, хитоны, омофоры, рвёт из рук пророков хартии. Воздетые крылья архенголов уносят и тебя... Ленты античных повязок на кудрях ангелов. От стремительного ветра локоны и брады пророческие.

Древнерусская живопись наследница искусства Византии.

Русь XII–XV столетий в изобразительном искусстве и в зодчестве показала себя достойной наследницей эллинистической культуры восточной Европы (Константинополь, Александрия, Дамаск, Афон).

Одновременно Русь приняла и эллинистическую литературу. Здесь упомянем гимнологию – песнотворчество. И таков был орлиный, творче-

ский полёт русских художников, что, претворяя в краски и линии литургические песнопения, русская храмовая живопись удесятеряет силу текстов и музыки гениального Иоанна Дамаскина.

В книге сказано, что толпа, стоящая у обедни, смотрит церковное действо только телесными глазами. Но в книгах же приводятся свидетельства святых тайновидцев. Они видели, что в час «литургии верных» съемлется кровля храма и в храм нисходит Небо. Херувимскую песнь поют вместе с людьми ангелы.

Грозные и рыдательные песнопения страстной пятницы и страстной субботы потрясающе вдохновенно отобразила Руси в своём искусстве.

Древнерусские плащаницы нередко являются шедеврами художественного шитья. Нежным и благородным переливом шелковистых тонов.

Плащаница:

Лежишь во гробе,
Празднуешь субботу,
По тру<дем?> тяжких,
По кровавеем поту.
Очи жизнедавцы
Смертным сном объяты,
Зиж<дителя руце>
У сердца прижаты...

Недвижно простёртое тело Творца и Бога окружает род человеческий, поющий с воплем крепким и со слезами.

Тело Христа простёрто посредине плащаницы. Род человеческий на переднем и заднем плане. И вот удивительное воздействие законов обратной перспективы: Тело Христово кажется заполняющим весь мир, всю Вселенную.

21 августа

Не как воспоминание, но как вечная жизнь в красоте встаёт передо мною совершаемое в ночь с Великой пятницы на Великую Субботу в соборной церкви г. Архангельска.

Дни страстной седмицы и Пасхи определяются весенним полнолунием. Но луна теряется уже в сиянии беззакатных «белых» ночей, когда заря праздновечерняя встречается с зарёй раннеутренней и встреча эта и тихий свет этой встречи озаряет полнеба.

Перед погребением в храме совершается особый чин «Плач богоматери», вдохновенное творение болгарского поэта Симеона Логофета.

Этот лик есть высоко поэтический диалог между безгласным бездыханным сыном и рыдающей над ним Матерью. Мать вопит:

– Увы мне сыне мой! Увы мне свете мой. Увы, дитя моё возлюбленное.

Хор прерывает этот вопль торжественным пением:

– Не рыдай, не рыдай мене мати,
Зрящее во гробе сына, его же родила
Я восстану из мёртвых. Моя смерть
Человеческому роду и всей твари.

23 августа

Если Пасха ранняя, лёд на Двине и по ея устьям ещё стоит, но его надмевают вешние воды, с городового берега летят вниз ручьи. Сколько этих потоков, будто по камертону настроенных! От Благовещенья, в дни страстные, на светлой недели, и в дни Радоницы и до Вознесенья, до Троицы берега Двинского понизовья оглашаемы были многоголосым пением вешних вод. Музыка. Музыка природы была, в эти дни пренебесной.

В ночь на Великую Субботу и вслед за нею в пасхальную, светозарную ночь горожане не спали, стояли со свечами в церквах и вкруг церквей. И у всех навеки запечатлевались в душе тихая блаженная симфония: пение весенних вод и пение церковное.

24 августа

На горе, на высокия
Храм – Божья церковь соборная.
Там звоны тихогласные,
Там горят воскояровы свещи,
Там поют епископы, попы...
Кирик елейсон, Христе елейсон,
Кирик елейсон...

В мерцающем свете неба белые стены собора, алтарные апсиды крыльца казались написанными на иконе. Но вот на соборной колокольне начинается перезвон.

Звонари тихогласно и редко ударяли попеременно в большие, середние и малые колокола. Начиналось «Погребение Христа». Шествие с плащаницею вокруг собора. Впереди шли мальчики, дисканты и альты. За ними мужской хор. Священники несли Плащаницу. По сторонам шли дьяконы со звенящими кадильницами.

У нас в соборном храме издревле допускалось только знаменное столповое пение. Знаменные напевы передают все оттенки чувств человека, но в них никогда не бывает чувствительности.

Вот и сейчас мальчики по уставу поют «глагол рыдающий». Но в мелизмах, передающих плач и исполняемых дискантами, ни тени человеческой.

Светская, мирская музыка в операх, романсах передаёт и томную элегическую грусть. Мужчины, изображая горе, ревут как быки, визжат как калеки. Но разве это музыка горнего мира? Разве не кощунство у гроба Того, кто взял на Себя грех всего мира, ариозно-оперная театральщина?

Август, 30-го

Лето прекрасное на редкость... пригорки, ручейки и мурава шёлкова. А не с кем молвить слова. Тоскливую скуку не с кем развеять. За столом болтовня пустая, пересуживают всех и вся. Михайлушко редко приезжает. О нём и о сыновьях его припадаю к Нерукотворному Лику.

Но весь вечер слушал «Феодора Иоанновича» Алексея Константиновича Толстого. Слушал один, сиротливо, впотьмах.

Впечатление сильное. Есть, есть она, бессмертная красота святой Руси!

Как люблю я слушать такие передачи с сыном богоданным, с Мишей моим.

Народная русская мысль убеждена была в том, что Христос каждогодно приходит на Русскую землю.

Таинственно полагается во гроб и таинственно и торжественно воскресает в пасхальную светозарную ночь.

Воскресеньем Христа обуславливал русский народ и наступление весны на русской земле.

Тайнозрители, поэты-художники воочию видели Воскресшего. Этой степени достиг Нестеров в картине «Святая Русь». Весь же народ, равночестно с поэтами-художниками, видел Воскресение Христово в благодатной теплоте воздуха, в чудной голубизне купола небесного, в радостном блеске вешних потоков, в цветущих вербах, в аромате вешних листочков на деревьях.

31 августа

Русская природа раннею весною – это икона Воскресения Христова. Рядом с этим вовеки жила вера в то, что Воскресший Христос от первого дня Пасхи до Вознесения, то есть в течение сорока дней, ходит по русской земле невидимо или под видом странника и нищего.

Помню, чуть прозвучит у крыльца или под окном голос просящего «Христа ради», мать бежит на улицу и, подавши красное яичко, колобок и шанежку, поклонится нищему в пояс. Приезжие сторонние люди дивились:

– Что вы это оборванцам чуть не в ноги кланяетесь?

Ответ был один:

– Может, это сам Иисус Христос был.

2 сентября

Странствование Христа по Руси в марте–апреле я с детских лет принимал к сердцу. Но я не вглядывался в лица прохожих странников. Я знал – подлинный лик Христов глядит на нас со Спасовой иконы, в домах или в церквах.

Помню, семья наша подолгу гостила в подгородной деревне Уйма. Занимали здесь верхний этаж древнего дома.

С семилетнего возраста стал я соглядать Спасов лик в большом углу горницы. Когда в горнице никого не было, я становился ногами на лавку. Какие чувства могли волновать меня, шестилетнего? Но и в последующие годы.

Спасов лик с той поры стал обладать для меня силой, необоримо привлекательной.

Ещё отпечатлелся в моей душе лик Нерукотворного Спаса, что находился в иконной палате епархиального древлехранилища г. Архангельска. Большая храмовая икона. Не успеешь переступить порог, Лик, точно корабль, поплывёт к тебе, помавая чёрными косами власов.

4 сентября

Я не мог разобраться в чувствах, которые волновали меня, тогда ещё мальчишку. Позже в «Губернских новостях» я поделился впечатлениями от помянутого собрания икон. Но о Лике Спаса я ничего не дерзнул сказать. Это был лик русского Христа, но отобразилось в нём всё величие русской души и непобедимая мощь народа русского.

На другой день Успения Русь праздновала «Нерукотворному Спасу». Тропарь начинается словами: «Пречистому Твоему образу поклонимся, Христе... Радости вся исполнившеся Спасе, пришедый спасти мир».

ΔIARIUS 57/X/1/14 Понедельник

Давно не слыхал „под окном весе-
лый, на ранней зорьке. „Где славит
шопот моих лесов"? Лишь я, когда он
не видал, но, ~~шумы~~ и краски природы
как солнце в малой капле вод, живут
и в милом нашем садике... Опавшие

листья, листья злобно под ногами,
на скамьях. Ветер с запада
~~на сухой~~ прилетел, зашумит на
деревьях, шумит осравшие листья
братишки не думав, я уплакал. И
ребята не весел.

ΔIARIUS 57/IX/28.X/11

~~За этот месяц, Киса, три [illegible]~~
~~подарочек.~~

1968

23 августа

Глубокое, ценное слово о родимой стороне может сказать только тот человек, для которого его родина не есть «край», а центр. Отсюда, сказал Писарев, художник и исходит. Я исхожу из родимого дома в городе Архангельске. И снова, и снова возвращаюсь туда. Домой. Там, когда не стало отца и матери, живою речью заговорила со мною вся обстановка поморского дома, поморского письма иконы, модели кораблей, деревянные солонки в виде птиц, даже «коренные» ложки, изящно украшенная «Иисусовой молитвой» посуда соловецкой работы. Каждая чашка, тарелка, ложка, декоративно украшенная Соловецким гербом. Плывущая чайка. Мастер употреблял только три краски, три цвета – синий, белый, чёрный. Рисунок предельно лаконичен, эффектен.

Любая бытовая вещь много говорила сердцу и уму. И посейчас малые остатки быта зовут «домой».

23—29 августа. Помин

Из начала мира звучит откровение Библии: Бог сотворил человека по образу Своему и подобию. Взяв тело от земли, Бог вдохнул в это тело «душу живу». Бог наделил человека Своими божественными свойствами и, во-первых, бессмертием.

В Пасхальную ночь не слышим ли мы Благовест:

«И свет во тьме светит, и тьма его "не объят"».

Тысячи людей, заполняющих площади и проулки вкруг, переполняющих церковь в Христову ночь, не свидетельствуют ли о том, что Его лик светел на Руси.

Возьми крест, падай под тяжестью его, да опять неси. Гляди, впереди тебя на Голгофу идёт Сам Христос.

Человеку, взыскующему Христа, суждено претерпеть и Голгофу. И тогда наступит воскресение. Ещё здесь, на земле. Тогда ещё, когда ты в теле, в плоти, найдёт тебя Пасха Великая. Когда откроются у тебя очи и слухи сердечные, тогда в Пасхальную ночь узришь дивное чудо Божие на Земле, узришь Христа, сияющего светом Воскресения. Ясно услышишь из уст Его слово, обращённое к тебе: «Радуйся!». Ликуя и радуясь, запоёшь победную песнь: «Христос воскресе из мертвых!».

О, человече! Изучи на память, непрестанно припевай душе своей канон Пасхи и тропари. Держи в памяти чины пасхальные, и звоны, и сияния свечей, и бряцания кадил, и целование: «Христос воскресе!».

Ты, человече, и то ещё учти: праздник Пасхи, Дни Пасхи, «12 Евангелий», Плащаница, Светлая Заутреня – этих дней целый год ждала наша Русь, ждала, как утра весеннего, как весны животворящей. И, дождавшись, и в храме, и дома ненасытно, с упоением воспела пасхальные службы.

Нередко слышишь слова: «Как хорошо Иван Иванович, сидя в гостях, острил, хохотал и, вдруг, перекосил рот и... готов. Как хорошо!» Или: «Бежал на службу, посвистывал и вдруг... свалился. Вот счастливец!».

Нет, это очень нехорошо. Если человека не забыл Бог, человеку подлежит перед смертью попрощаться.

Христианство есть церковь соборная. Без соборности, без литургического общения нет церкви. Но к каждому из членов этого собора церковь относится как к личности самостоятельной. Христос каждого из нас омыл своею кровью. Потому он и сказал: «Единой души человеческой весь мир». На панихиде, от лица умершего, возникнет молитва: «Я образ неизречённой славы Твоей. Ты из небытия создал меня и образом Своим божественным почтил».

Век сей и мир сей исключил из своего словаря понятия: «смерть», «гроб», «мертвец». Современный человек выработал своеобразный иммунитет: друзья и знакомые один за другим ложатся в гроб, а я ещё поживу. Но вот и он заболевает, начинает трястись от страха и кричит: «Доктор, спасите меня!».

Но какие препараты, какие шприцы и уколы могут успокоить душу, ум и сердце человека, всю жизнь сознательно истреблявшего в себе всякие стремления к тому, что едино есть на потребу? Современный человек думает о смерти с ужасом...

Почему же вам, горестные люди, понравилось влачить существование в преисподних ада? Ведь не рады вы вечной зиме, вечной мерзлоте?

Возьми на себя подвиг, унылый преогорчённый человек, отряхни мрачный сон. Возьми иго, возьми бремя, речённое в Евангелии. Возьми на себя крест...

[illegible]

Войти вон, а вот
В кипези
нашим перьям
пёрышкам
У Ширши
Ширши сини Сочино,
Кип веревки [illegible]
журчит [illegible]
Вложил ... шепчет
пряди ... вьют
от крыши до земли

1970

Хотьково. 2 января. Среда

Сегодня день мглистый. В полдень еле различаю лист бумаги.

В крещенские дни видел странный символический сон. На высоком постаменте будто обнимаю бюст крестника моего Володеньки Старовского. Мрамор тонко и нежно подцвечен. Обнимаю со слезами радости. Потом говорю:

– Володенька, помнишь ли ты меня в той в твоей вечной жизни.

В слезах очнулся. И тут же с горячей нежностью говорю:

– Володенька, да ведь ты оставил мне великую задачу. Ведь живёт на свете Мишенька, другой бесценный и любимый мой крестник.

Знай, что его я люблю бесконечно, как тебя. Он светел и ясен, как и ты. Он твой брат на земле.

Так, в сонном видении, объединились два (годных) моих крестника – один, пребывающий на небе, другой, здравствующий на земле.

кѕ апрѣл.
вскр. же
мѵроносиц.

ч лѳ

МГ. 3 ма. Аля говорит,
что в очень
больших надобях не только
золотые и серебряные сосуды
но и глиняные и деревянные.
Очевидно и такой надтреснутый и
надбившийся горшок, как я, хоть
еще может служить. еще по време[нам]
кладут в него меду... Горшок-то
старый, рад: и он де еще в отличие
чует мед-то, всасывается. А удерж[ать]
сладкого не может. Вытекает сладко[е]
[illegible]. И через пуст горшок. через
щелей и все... Деньго я пише[illegible]

«ОСТОВ МОЙ, СМЫСЛ БЫТИЯ МОЕГО УБОГОГО...»

Ю.М. Шульман

Дневниковое творчество Шергина началось чуть ли не с первым пробуждением в нём религиозного чувства, в пору, когда будущему художнику едва минуло четырнадцать лет. Записи поначалу («годов с десять») носили случайный характер, велись «как попало» и «на чём попало», порой на обрывках берёзовой коры, составляя причудливые «берестяные грамоты», и не предназначались «ни для кого». Позже пришло сознание полезности Диариуса не только для себя, но и для других, особенно близких по духу людей.

Поскольку в Шергине «слышанное из живых уст, запечатлевается... ярче и сильнее, чем любой письменный документ», он и Дневник с усладой создаёт в форме живого и непринуждённого разговора с «однодумным» другом, со «своим братом». Диариус дышит увлекательными и доверительными интонациями, радует образными народными оборотами и особенными словечками, присущими изустной речи, но не книжному ладу, разного рода обращениями, диалогами, дружескими спорами, оживляющими беседу... («друже», «человече», «смотри-ко», «а у нас с тобою»; «дак думаю и меня Он в охапку возьмёт, скажет: «Куда тебя денешь?»...).

При этом может возникнуть порой впечатление не только лёгкости и непринуждённости, но даже и некоторой небрежности создания Диариуса – впечатление ошибочное. Ведение Дневника было для Шергина не только любовным, но и творческим призванием. Записи Диариуса Шергин долго «обкатывал» в памяти, набрасывал их вначале вчерне, и только после этого запечатлевал сказ окончательно. Оттого все оттенки народного говора живут в его строках и слышатся, как живые.

Содержание Диариуса цветисто, зримо и разнообразно. Сквозь магический кристалл волшебной сказки («Любезную птичку-сорочку увидишь и уже знаешь, что сказочное "некоторое царство" тут близко, что никуда оно не девалось»[1]) Шергин преподносит «сказку» своей жизни, во всех её

[1] Б. Шергин. Поэтическая память, с. 111.

пленительных подробностях, в радостях и разочарованиях, в раздумьях и заботах. Здесь вся душа писателя, его биография и его исповедь. Здесь «как бы стержень, остов мой, смысл бытия моего убогого»[1], – говорит писатель о своём Дневнике.

«Творчески одарённый человек создаёт около себя и распространяет атмосферу увлекательную и живительную для других»[2], – замечает Шергин. Именно творческое и нравственное воодушевление талантливого человека пронизывает Диариус и передаётся читателю Шергина.

В то же время Дневник Шергина – это поэтическая энциклопедия северного народного мореходства, уходящего корнями к «дедам» и «праотцам»; широкая и красочная панорама народных и церковных обрядов прошлого; поток загадочного «проникновения таинства в жизнь»...

Однако, несмотря на пестроту дневниковых записей, Диариус остаётся цельным художественным произведением. Что же сплавляет мозаику Дневника в такое единство?

Кажущийся свободным и ничем не связанным, Диариус в действительности скован рамками и мотивами ключевой задачи, к которой восходит весь «водомёт» отдельных авторских мыслей и наблюдений. Шергин и Дневник подчиняет коренной идее своего творчества – «непременно поведать» о таинственной «лоции для всех нас, житейским морем плывущих», отыскать и указать единственный благой путь к преображению жизни, исцелению недугов времени и восстановлению нравственной красоты человека – стезю народной веры. «Иного пути к миру душевному, к счастью и радости нет для человека»[3]. «Если сейчас где живёт Церковь, то в сердце народа. В сердце народа наиболее жива Церковь и вера Христова. С народом, в народе добро постоять: я одно с ними по Христу, по крещенью»[4].

«Вопрос о внутреннем богопознании, – пишет Шергин, – о том, чтоб самому найти Бога, чрезвычайно важным и насущным делается в наши дни. Род людской, "массы", отторгнуты от отчего дома... Церковь уж не навевает им вечного своего аромата... А между тем среди этих молодых и пожилых есть (а дальше будет ещё больше) таких, у которых горит в душе искра Божия!.. Имеющие ухо, чтобы слышать, начинают ловить в природе звуки небес. Может начаться естественное богопознание...»[5]

Но Шергин отнюдь не проповедник, а скорее художник веры. «Думается мне, – пишет он, – что религиозность есть свойство, подобное таланту... Мне кажется, свойства одарённости религиозного человека сродни и сход-

---

[1] Б. Шергин. Дневн. запись от 30 ноября 1949 г. – См. стр. 382 наст. изд.
[2] Б. Шергин. Жизнь живая, с. 154.
[3] Б. Шергин. Из дневн. записи от 10 января 1944 г. – Архив Б.В. Шергина.
[4] Б. Шергин. Из дневн. записи от 16 апреля 1945 г. – Архив Б.В. Шергина.
[5] Б. Шергин. Дневн. запись от 20 января 1944 г. – См. стр. 86–87 наст. изд.

ствуют с настроенностью поэтической». А «художник смотрит на мир не сквозь очки или бинокль. Он видит природу внутренними, сердечными очами»[1]. Однако «я не тебя убеждаю, а с тобой рассуждаю, – говорит Шергин воображаемому собеседнику в Дневнике, – ... пуще всего не люблю я кому-либо что-либо навязывать»[2].

Даже его прямые наставления и назидания («Люби людей без хитрости»; «Берегись пустопорожних разговоров»...), растворяясь в «мёде и млеке» повествования, становятся ярким поэтическим образом в том вешнем потоке счастья, где мы утопаем, читая сказы Шергина. «А счастье облагораживает, – говорит В. Пропп, – и в этом значение литературы, которая делает нас счастливыми и тем подымает нас»[3].

Итак, Шергин стремится «возжечь огонь веры», заразить читателя её утраченной поэзией. Таким образом, задача чисто проповедническая растворяется в задаче художественной, эмоциональной. Нести в мир поэтическое «извещение» о Боге для Шергина «самое высокое, самое совершенное» призвание. И если в сказовом творчестве Шергин говорил о богопознании «эзоповым языком», то в Дневнике он высказывается с совершенной открытостью и откровенностью.

С чего предлагает Шергин начинать стезю богопознания? «Бога "внутрь себя" не скоро узришь, – пишет он, – Очи мысленные, очи сердечные доспеть, – подвиг велик. А ты природу люби. С этого зачни... В ней Бог разлит»[4]. «Надо, чтоб учение о Боге, о церкви, о таинствах повевало благоуханием цветов, благодатным дождём, вешнею лазурью неба»[5]. «В сердце человеческом да в природе Бог-от»[6]. «Красивые «виды» природы заставляют подумать о Художнике, равно как и благоуханье малого цветочка... Не прячется от нас Творец, нет, – отверзает широко двери нерукотворенного прекрасного храма и зовёт нас... Эта торжественная красота надмирная, зовущая нас, говорящая нам, обнимающая нас, увлекающая ум и сердце, и есть «объятия Отчи», простёртые над миром, готовые обнять человека. Коль прекрасен дом Отчий. Ночь в звёздах, поле в цветах, – всё это дом Отца нашего, сею красотою напоминает Благой Отец наш о себе, сею красотою зовёт нас»[7].

Вера, как луч солнца: «...В стужах, в знобких ветрах Севера, берёза, шиповник ли растут, простираяся по земле, укрываяся мохом... но где, когда пригреет солнышко, берёзка серьги свои наденет, листочки распустит; а шиповник благоухает цветами. Таково и религиозное сознанье

---

[1] Б. Шергин. Из дневн. записи от 1 июля 1962 г. – Архив Б.В. Шергина.
[2] Б. Шергин. Из дневн. записи от 29 июля 1947 г. – См. стр. 302 наст. изд.
[3] Неизвестный В.Я. Пропп. – СпБ. Алетейя, 2002, с. 316.
[4] Б. Шергин. Из дневн. записи от 13 марта 1945 г. – См. стр. 166 наст. изд.
[5] Б. Шергин. Из дневн. записи от 25 января 1944 г. – См. стр. 93 наст. изд.
[6] Б. Шергин. Из дневн. записи от 8 января 1945 г. – См. стр. 140 наст. изд.
[7] Б. Шергин. Из дневн. записи от 1 марта 1945 г. – См. стр. 155 наст. изд.

русского человека»[1], прекрасно выраженное В. Проппом: «Я живу сознанием чуда. И всё, что имеет прикосновение к чуду – это моё, это наполняет меня блаженством жизни»[2].

Можно продолжить предыдущее сравнение. Предметы мира в сумраке ночи искажаются неестественными, фантастическими очертаниями. Вся жизнь утопает в призрачных формах. Но едва солнечное небо веры озарит мир, те же предметы, словно обласканные золотыми лучами, на наших глазах оживают в своём настоящем, радующем нас лике, отражая мириады искрящихся оттенков...

Ещё с детских лет лик родной земли радостно волновал Шергина и переполнял его счастьем бытия на земле. «Красоты природы могущественно, таинственно и сладко начали пленять мою душу с девяти годов»[3], – вспоминал писатель. Уже тогда природа была для него «не мастерская, а храм».

«Войдёшь, как в церковь, – пишет Шергин, – тихо, листва шелестит, в светлом сумраке птицы посвистывают... от леса дух идёт приятный, лёгкий...»[4] «Деревья напоминают нам об утерянном рае», «небо передо мною в полном лике – везде мне оно как икона». Всё в природе уподоблено совершающейся молитве: «Деревья тихостью, в благом молчании склоняются друг к другу, глядя в зарю... Не спят, живут деревья, глядят в занимающиеся зори утра. ...Живы они и свет вечный видят» [5]. «Чуть налетит ветер, и старики важно начнут помавать густолиственными сучьями, будто руками благословлять. А молодые тотчас, в такт помаванию стариков, зачнут кланяться в пояс»[6]. «В лесу хорошо Бога хвалить, а утром лес – сущий храм. Туманец в лесу утренний долго стоит меж дерев... только что служба отошла. Ладан ещё к небу не вознёсся»[7].

Особенно явственны и вдохновенны «залоги» и «знаки» Бога были в грозных явлениях природы, например, грозы и приходе весны. Шергин часто вспоминал об одном из таких ранних «знамений». «В четырнадцать лет, – рассказывал он, – у меня был некий "пир", некий "брак" с дождём. Был полдень, блистало солнце, лил дождь, благоухали цветы, берёзы, тополи, пели птицы... Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в тёплых потоках. Я как бы "восхи́щен был в рай и слышал неизреченные глаголы". Царственно было... Как будто Утешитель меня всего исполнил»[8].

---

[1] Б. Шергин. Из дневн. записи от 9 января 1947 г. – См. стр. 277 наст. изд.
[2] Неизвестный В.Я. Пропп, с. 333.
[3] Б. Шергин. Из дневн. записи от 14 октября 1945 г. – См. стр. 207 наст. изд.
[4] Б. Шергин. Из дневн. записи от 15 июня 1946 г. – См. стр. 255 наст. изд.
[5] Б. Шергин. Из дневн. записи от 20 апреля 1944 г. – См. стр. 122 наст. изд.
[6] Б. Шергин. Дневн. запись от 24 июня 1962 г. – Архив Б.В. Шергина.
[7] Б. Шергин. Жизнь живая, с. 99.
[8] Б. Шергин. Из дневн. записи от 22 марта 1949 г. – См. стр. 355 наст. изд.
Смысл и возвышенность детских религиозных переживаний Шергина восходят к известной библейской цитате, парафразой которой и видится описание: «Знаю человека во Христе... он был восхи́щен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор., 12, 3–4).

Не случайно восторженный рассказ об этом «пире» перерос в эмоциональный парафраз известного евангельского повествования (2 Кор., 12, 3–4).

Позднее столь пьянящие ноты упоения ушли из дневниковых записей, но пластическая и степенная мистерия «пира веры» осталась навсегда. Вот как видит Шергин зрелых лет предначатие весны, своё любимое время года, преддверие Пасхи: «Воспоминание о рае; и вновь, и вновь видение рая для меня – эта вот тишина земли апрельской. Расточились снега, отшумели ручьи. Весна – утро для Земли-Матери. Глинистая, овеваемая ветрами Земля глядится в тихость небес и беседует шорохом безлиственных ещё дерев, шелестом пролетающих в ночи ветерков.

– Благослови, отче, – говорит Земля. И, незримо благословляемая, учнёт наряжаться на пир брачный, в благоуханную прозрачность первой зелени»[1].

Как видим, родная природа для Шергина – поэтические врата веры. Ему чужда и непонятна клюевская «журавлиная тяга с Соловков – на узорный Багдад». «Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или Багдад, – пишет он. – Человек-художник с юных лет прилепляется к чему-нибудь "своему". Всё шире и шире открываются душевные его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает. Ежели твоё "упование" есть любовь к красоте Руси, то "эти бедные селенья, эта скудная природа" радостное «извещение» несут твоему сердцу».

«Моё упование, – продолжает Шергин, – в красоте Руси. И, живя в этих "бедных селеньях", посреди этой "скудной природы", я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту»[2].

Но в то же время Шергин говорит: «С досадами повторяю слово "краса природы"... Созвучие это – пустой орех»[3]. Как же связать эти, на первый взгляд, непримиримые определения? Почему «бедные селенья» и «скудную природу» писатель подчёркнуто называет «заветной красотой»?

Шергин явно не в дружеских связях с чисто внешней красотой природы, даже, когда «вольно дышит грудь, бодро движутся члены, крепнет весь человек» – для него это скорее некая «олеография». Шергина притягивает не внешний лик природы, а тайна, сокрытая в ней («мы видим яичко-то простое, а оно золотое»), чудо, которое обращает человека к мистической мысли о Творце. Вот почему «хиреет творчески человек, изолировавший себя от жизни природы, от времён года»[4], и, напротив, пьёт радость человек, припавший к груди природы.

Природа для Шергина далеко «не слепок, не бездушный лик – в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык...». При этом «душа природы» столь животворна и живоносна, что Шергин,

---

[1] Б. Шергин. Из дневн. записи от 15 апреля 1944 г. – См. стр. 119 наст. изд.
[2] Б. Шергин. Из дневн. записи от 31 августа 1949 г. – См. стр. 373 наст. изд.
[3] Б. Шергин. Из дневн. записи от 27 июня 1962 г. – См. стр. 434 наст. изд.
[4] Б. Шергин. Из дневн. записи от 20 августа 1946 г. – См. стр. 264 наст. изд.

потрясённый, восклицает: «Есть ли большее счастье, как улучшить, обрести это единство, тождество своего душевного устроения с душевным состоянием природы?»[1]. Это тождество рождает «веселье сердечное». «Где, как ни здесь, зацвести творческой радости в народной русской душе!»[2].

Как молитву, Шергин «припевал уму своему» строфы «Оды к Радости» Шиллера:

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит...
У груди благой природы
Всё, что дышит, радость пьёт.

Аккомпанемент природы нужен Шергину во всём, даже в музыке. («В музыке русских композиторов надо мне подслушать, нет ли там мною любимого – тонко-тусклого, сребро-прозрачного неба, голых весенних веточек и этого: "ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят..."»[3])

А в Диариусе поэтический глас русской природы – уже торжествующий лейтмотив всего произведения. Живой, зрительный образ народной веры, открытый в русской природе и напоённый теплом и красотой земной плоти (чем сильнее аромат жизни, тем прочнее вера) превращает всё богатство воспоминаний Шергина в «силу радости, рождаемой фактами».

Вместе с тем Шергин пишет: «Ты скажешь: "Воспоминания детства, как живые, встают передо мной...". В том-то и дело, что не "воспоминания!". Воспоминанье – это дымок от папироски, окурки. А я вот ясно вижу, чувствую, знаю, что радость, которая рождалась во мне тогда, в детстве, эта радость существует...»[4]. «Золотое детство не воспоминания для меня, а живая реальность, – пишет Шергин. – И она веселит меня...»[5]

Таким образом, воспоминания для Шергина – это то, что связано с вещественным, материальным и телесным обликом «фактов», с тем, что уносит время. Память же – «невидимая», духовная и вечная сторона «фактов», которая «кладёт свои печати» на вечной, нестареющей душе. «Вот почему может веселить «воспоминание»[6]. Но Шергин не любит «воспоминаний». «О, как досадно слышать: всё это было, да прошло. Что прошло, то не существует. Чего не видишь глазами, чего не ощущаешь руками, того нет... Несмысленная речь! Невещественное прочнее осязаемого»[7]... «Для меня не велико то сокровище,

---

1 Б. Шергин. Из дневн. записи от 5 сентября 1946 г. – См. стр. 267 наст. изд.
2 Б. Шергин. Из дневн. записи от 12 июля 1947 г. – См. стр. 287 наст. изд.
3 Б. Шергин. Из дневн. записи от 14 января 1946 г. – См. стр. 218 наст. изд.
4 Б. Шергин. Из дневн. записи от 22 марта 1949 г. – См. стр. 354 наст. изд.
5 Б. Шергин. Из дневн. записи от 14 февраля 1949 г. – См. стр. 341 наст. изд.
6 Б. Шергин. Поэтическая память, с. 34.
7 Б. Шергин. Из дневн. записи от 14 февраля 1949 г. – См. стр. 342 наст. изд.

которое моль ест, шашел точит, червь грызёт»[1]. Но «понятия "память» и "жизнь", – пишет Шергин, – равнозначно-равносильны и восполняют одно другое... сила их животворна и не умирает»[2] – невольное соответствие стихам поэта Вяч. Иванова:

Ты, Память, Муз родившая, свята,
Бессмертия залог, венец сознанья,
Нетленного в истлевшем красота!
Тебя зову, – но не Воспоминанья[3].

Любое прошлое, сколь бы оно ни было давним, запечатлевалось в памяти Шергина и красочно отображалось в Дневнике как живая жизнь, как то, «что не умрёт и вечно живо»: и «золотая заставка» жизни, воспринимаемая как золотая заря Руси («Утро моей жизни там, далеко, в светлом Помории, и утро святой Руси. Какое-то единство переживаний и впечатлений»[4]), яркость народного быта Севера, и «сладкое заветное волшебство пресветлого Гандвика, стаи парусных кораблей, идущие, красуяся, в перламутровом тихом свете», «вкруг одно жемчужное небо...».

Стало быть, «и воспоминания личной жизни человека могут быть однородны и равноценны "памяти Бога"»[5]... «Надо изнутри себя взорвать некие ключи, надо, чтоб внутри тебя началось извержение Везувия. Внутри себя делай глубокую шахту, чтоб огонь вырвался и твой ум и сердце разжёг, через себя, в себе, своим подвигом найдёшь ты Бога, поймёшь, что всё в Нём. Увидишь и как это всё в Нём»[6].

Воскрешая в памяти пробуждение истоков своего творчества, Шергин скромно исповедуется перед читателем: «Ведь вот, зачем-то вложил Бог искорку света своего в меня. И не угасла ещё она под пеплом лени и греха. Как молчать о том, что поёт душа. Помнит душа звуки небес, не может <не могут?> их заменить скучные песни земли»[7].

Чтобы помочь читателю внятно расслышать эти «звуки небес» в земных песнях, Шергин насыщает Диариус своего рода подобиями летучих и кратких (чтобы легко запомнить) поэтических и вдохновенных лирических поэмок – «песен славы» святым и их творениям, подвижникам благочестия, отцам Церкви, – написанных явно с желанием увлечь читателя, чтобы склонить его обратиться к подлинникам.

«Что было лучшего в человечестве, то изображено в Житиях, дано сие нам на все времена, – читаем мы в этих отступлениях. – И более высокого

---

[1] Б. Шергин. Из дневн. записи от 23 июля 1947 г. – См. стр. 295 наст. изд.
[2] Б. Шергин. Из дневн. записи от 2 марта 1949 г. – См. стр. 347 наст. изд.
[3] Вяч. Иванов. Собр. соч., Т. 3. – Брюссель, 1979, с. 533.
[4] Б. Шергин. Из дневн. записи от 18 января 1949 г. – См. стр. 338 наст. изд.
[5] Б. Шергин. Из дневн. записи от 2 марта 1949 г. – См. стр. 347 наст. изд.
[6] Б. Шергин. Из дневн. записи от 20 января 1944 г. – См. стр. 85 наст. изд.
[7] Б. Шергин. Из дневн. записи от 11 марта 1943 г. – См. стр. 61 наст. изд.

прекрасного не будет»[1]; «Всё пройдёт, а словеса истинных учеников Спасовых не пройдут. И сейчас, а сейчас особенно, они, благодатные, и только они дадут ответы на все вопросы жизни нашей»[2]; «Умы церковные, учители и отцы, наши как весенняя гроза были, как дожди благодатные, "как бы резвяся и играя", "грохотали" "в небе голубом". Всё у них было от радости, от вдохновения, от полноты»[3]. «Сергий Радонежский... – наша весна, вечно юнеющая, благодатное утро Руси Святой, наше возрождение, наша радость неотымаемая! Блаженное имя Сергиево, как весенний цветок, распускается в сердце, озаряет ум, окрыляет мысль. Сергий преподобный – заря русская, звезда утренняя. Имя Сергиево – освящение ума, радость мысли, сияние памяти, веселье духовное...»[4].

«И непременно, непременно, – уверяет Шергин, – надобно читать Филарета Дроздова. У него не только глубина и полнота речи, у него явственны и начала и корни – истоки речевой красоты. Классика греческая и латинская, высокопоэтический стиль творений святоотеческих, как злато в горниле, слиты у Филарета с родимой русской речью... Пушкин в знаменитом своём стихотворении прекрасно охарактеризовал Филарета-проповедника, назвав его речи "благоухающими", а его поэзию "арфой серафима"... и сейчас через 90, через 80 лет никому не найти словес более благоуханных, более живых и радостных... Сколько скорбящих материнских сердец, плачущих о детях, утешило великое и мудрое, нежное и любящее сердце Святителя – "отца отцев". Филарет – средоточие русской души»[5].

«Всегда держи в памяти жизнь и деяния великих философов-поэтов, художников. Они вне веков, вне времени. Они в твоём сознании. Применяй к себе как живую воду».

Призма народной веры определяла и отношение Шергина к любимым писателям и поэтам – Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Кольцову, Лескову, Чехову, Пришвину. Так, Пушкин, по мнению Шергина, велик прежде всего тем, что «своим разумом нащупал корни древа жизни, ветви и листья которого зачахли, перестали видеться в образованном обществе, но корни, по существу бессмертные, живы и действенны были в народной вере... В сложном мироощущении Пушкина чувство религиозное было как подземный, сокрытый, но живой ключ»[6].

По-иному близок Шергину А. Кольцов: «Есть что-то общее в творческих путях наших»[7]. Это нетрудно понять. Если Кольцов первым в русской литературе открыл поэзию земледельческого труда крестьянина, то Шергин впервые запечатлел красоту ремесла крестьянина-морехода.

---

[1] Б. Шергин. Из дневн. записи от 14 февраля 1945 г. – См. стр. 146 наст. изд.
[2] Б. Шергин. Из дневн. записи от 6 июня 1942 г. – См. стр. 39 наст. изд.
[3] Б. Шергин. Из дневн. записи от 25 января 1944 г. – См. стр. 91–92 наст. изд.
[4] Б. Шергин. Из дневн. записи от 6 мая 1946 г. – См. стр. 253 наст. изд.
[5] Б. Шергин. Из дневн. записи от 24 февраля 1946 г. и 15 октября 1945 г. – Архив Б.В. Шергина.
[6] Б. Шергин. Из дневн. записи от 11 марта 1945 г. – См. стр. 163–164 наст. изд.
[7] Б. Шергин. Из дневн. записи от 1 марта 1953 г. – См. стр. 388 наст. изд.

Читая Дневник, мы особенно внятно осознаём, во-первых, почему творчество Шергина стало достоянием не только местной, но и общенародной культуры («Моё упование – в красоте Руси») и интерес к нему неуклонно растёт; во-вторых, что свежесть и теплота художества Шергина выросли из недр родной поморской почвы и приобрели для него святой и широкий смысл.

Медлительно, но неуклонно поднимался сквозь десятилетия поэтический чертог «Диариуса», едва ли не главного творения Шергина.

Тетради Дневников, писавшиеся без всякой надежды на опубликование, со временем оказались в числе самых драгоценных страниц творческого наследия Шергина.

* * *

Но хотя Шергин и не мог надеяться на публикацию своего Диариуса, втайне он не переставал думать о том, что когда-то его слово дойдёт к читателю, к «сотаиннику»: «Ежели со страху не сотру этих листков, да попадут они настоящему человеку...», «кабы эти мои записи были письменами к кому-то...», «...вялы мысли, стороннему человеку скучно читать», «проговаривается» писатель на страницах своего дневника.

В 1976 году, уже через три года после смерти Бориса Викторовича, его друг, писатель Ю.Ф. Галкин, много сделавший для популяризации Шергина, опубликовал в журнале «Север» отрывки из его дневников 1946–1948 годов. Через два года он выпустил в «литинститутской» серии «Писатели о творчестве» небольшую тетрадь дневников, озаглавленную «Поэтическая память». Дневник явился перед читателем, и отныне каждый томик «Избранного» Шергина непременно включал в себя страницы его «памятей».

Очевидно, что в годы советской власти напечатать религиозные записи Шергина было немыслимо. Поэтому публикаторы были вынуждены прибегать к цензуре. Иногда просто опускались записи, посвящённые Пасхе и другим церковным праздникам, иногда цензура производилась «ювелирно», когда внутри предложения, вырезалось имя Христа или отца церкви. Образ автора дневников, претерпевал некоторое изменение – и даже такие искушённые критики, каким был, например, Вл. Гусев, прочитав Дневник Шергина, отмечали, что писатель «ищет в родной природе и родной литературно-изобразительной традиции единства начал добра и красоты», не видя – или подразумевая? – что в этой формуле было и третье, главное – вера.

И лишь в «перестроечные» и постсоветские годы, религиозный пласт дневникового творчества Шергина наконец вышел к читателю. Весенним паводком вырвались из-под спуда дневники Шергина, вновь привлекая внимание к Шергину и его творчеству.

В январе 1988 года «Новый мир» напечатал неизвестные прежде дневники из архива писателя (публикация Л.Ю. Шульман, в подготовке текста принимал участие Ю.И. Коваль). В 1990 году журнал «Слово» посвятил 4 выпуска дневнику Шергина (подготовка текстов Ю.Ф. Галкина). 12 декабря 1990 года «Литературная газета» предоставила полосу под архив Шергина (публикация Л.Ю. Шульман). В 1994 году в 4 и 5 номерах журнала «Москва» вышли дневники 1942–1947 и 1948–1968 гг. (публикация Ю.М. Шульмана). В 1996 году там же, в ноябрьском номере, опубликовал записи Шергина, также в основном религиозного характера, Ю.Ф. Галкин. Этот список неполон, перечислены лишь основные публикации.

Впустил читателя в свои фонды и ИРЛИ. В 1998 и 2002 годах в составе Ежегодников рукописного отдела Пушкинского Дома вышли фрагменты дневника 1945 года (публикация И.А. Красновой), а в 2007 году – 1939 года (публикация Е.Ш. Галимовой и М.В. Никитиной).

Перечисленные публикации составили сборник дневников Шергина «Праведное солнце», вышедший в 2009 году (подготовка текстов Е.Ш. Галимовой и А.В. Грунтовского).

В 2010 году вышла в свет книга в основном неизвестных читателю дневников Шергина 1940–1950-х годов «Не случайные слова», подготовленная Б.М. Егоровым из тетрадей, которые передал Архангельскому литературному музею Ю.Ф. Галкин.

В третьем томе собрания сочинений тексты были заново выверены по рукописям, доступным составителям. Пропуски, где это было возможно, заполнены, исправлены некоторые ошибки. Датировка восстанавливалась везде, где её было возможно установить.

Многие записи печатаются впервые. Впервые публикуется «Сорокоуст» – прощальное слово Шергина своему «брателку», А.В. Крогу, скончавшемуся в конце 1959 года.

Печатаются поздние записи 1960-х годов из архива писателя, которые удалось расшифровать (уже полуслепой, Шергин писал наощупь, иногда строка на строку). Составители также приняли решение опубликовать записи личного характера, посвящённые «богоданному племяннику» М.А. Барыкину, его семье, детям. Облик Бориса Викторовича открывается в них неизвестной прежде стороной – не как мыслитель, проповедник, живописец, а как человек, печалующийся о судьбе близких ему людей.

Напротив, датированные записи 1958 и 1959 годов, имеющие пометки «Воспитание», «Литература», «Творчество», «Слово о друзьях», включаются в состав следующего тома. Очевидно, что сам Шергин видел их не страницами своего «Диариуса», а подготовительными материалами к будущей книге о народной педагогике. Шергин в последние годы жизни писал на отдельных листах и был вынужден полагаться при

редактуре на помощь сестры или племянника, использовал датировку как нумерацию страниц. Именно таким образом готовились некоторые статьи, «беседные очерки» «Слово устное и слово письменное», пословицы в рассказах «Незабудки», рассказ «Виктор-горожанин».

Записи, примыкающие к неосуществлённому «Слову о друзьях», будут опубликованы в следующем томе собрания сочинений. Там же, отдельным циклом, планируется выпустить в свет размышления Шергина над страницами проповедей и писем митрополита Филарета, воспоминания писателя о друзьях юности, материалы книги «Народ-художник».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья:

Теребова Надежда Николаевна
Ботвинко Яна Еновна
Мудрик Наталья Михайловна
Китаева Елена Юрьевна
Котукова Марина Александровна
Чертков Александр Николаевич
Павлова Зинаида Петровна
Михеева Евгения Николаевна
Кузнецов Максим Вячеславович
Белавина Ирина Юрьевна
Кравченко Анна Андреевна
Вевюрко Илья Сергеевич
Лелюхина Ирина Николаевна
Иванова Марина Александровна
Еремина Ольга Александровна
Соколова Ольга Николаевна
Чернобровкина Наталья Николаевна
Иванова Надежда Михайловна
Архангельская Светлана Юрьевна
Суркова Любовь Николаевна
Сергеева Татьяна Александровна
Федоров Алексей Владимирович
Неверович Галина Александровна
Чиров Владимир Геннадьевич
Малютина Елена Валентиновна
Прасолов Григорий Васильевич
Кашперская Ирина Викторовна
Кашина Надежда Михайловна
Григорьева Наталья Петровна
Гейнрихс Евгений Георгиевич
Рыжков Сергей Владимирович
Третьякова Татьяна Геннадьевна
Мамычева Елена Вадимовна
Трунова Ольга Александровна
Михайлов Алексей Леонидович
Побыванец Галина Ивановна
Гаврилин Павел Алексеевич
Шульга Ольга Владимировна
Канцевич Людмила Сергеевна
Хаевская Татьяна Сергеевна
Сергиенко Антон Викторович
Угодникова Ирина Игоревна
Самсонова Евгения Николаевна
Рябова Марина Борисовна
Тычков Максим Алексеевич
Бокова Кира Владимировна
Шнитко Алла Олеговна
Сазонова Светлана Игоревна
Бахман Михаил Владимирович
Буцерова Олеся Викторовна
Серебренникова Татьяна Вячеславовна
Ващина Татьяна Николаевна
Куликов Юрий Анатольевич
Августинович Евгения Александровна
Месяц Валентина Юрьевна
Деревянченко Евгений Анатольевич
Балабина Евгения Александровна
Перевозникова Любовь Николаевна
Пахомова Евгения Вячеславовна
Гнатюк Валентина Олеговна
Хлебнова Ольга Юрьевна
Мнёва Ксения Германовна
Соломадин Григорий Дмитриевич
Макаренкова Светлана Викторовна
Лейба Татьяна Васильевна
Русинов Андрей Иванович
Скрябина Елена Георгиевна
Степанова Елена Вячеславовна
Когрутов Владимир Александрович
Варганов Яков Владимирович
и другие.

Позвольте поблагодарить вас за то, что помогли нам издать этот том.

Имея такой живой отклик от читателей, мы, естественно, будем продолжать работать в этом направлении. Тем более, что и сами читатели проявляют инициативу, выражая желание увидеть напечатанными нужные им книги.

Первый и второй тома Собрания сочинений Б.В. Шергина, вышедшие в 2012 и 2013 годах, уже практически невозможно найти в свободной продаже. Они стали библиографической редкостью. А интерес к ним не уменьшается.

Поэтому мы объявляем сбор заявок на первые два тома. Те из вас, кто не успел их приобрести, могут направить свои заявки с 15 марта по 30 апреля 2015 года на электронный адрес: knizhnik.foma@yandex.ru или domlistopad@yandex.ru.

Собрав 1500 заявок по каждому тому, мы официально организуем подписку.

Тома выйдут с уточнениями и дополнениями!

Литературно-художественное издание

Шергин Борис Викторович

Собрание сочинений

ТОМ ТРЕТИЙ

ДНЕВНИК

1939-1970

Подготовлено НО «Издательский центр «Москвоведение». Генеральный директор Ю.Н. Курнешов
125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 15. Тел./факс: (499) 195-27-73. www.redakzia.ru

Допечатная подготовка
Главный редактор – Е.А. Александрович; редактор – Ю.Н. Денисов; художественный редактор – Н.А. Дымова; обработка иллюстраций – В.Г. Удовенко; вёрстка, компьютерная подготовка издания – И.А. Потрахов; технический редактор – А.И. Немальцина; корректор – Ж.А. Евсеева

По вопросам приобретения книги обращаться по тел.:
опт.: (901)546-81-75, (495) 972-81-75, розница: (926) 703-900-2,
интернет-магазин: www.podariknigi.ru

Подписано в печать 20.11.2014. Формат 70x100/16. Гарнитура Гарамон.
Печать офсетная. Печ. л. 31,0. Тираж 3000 экз. Заказ 1550.

ISBN 978-5-905118-48-7

9 785905 118487

Отпечатано в ООО «Агентство печати «Столица»
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2.
Тел./факс: (495) 319-83-61
www.apstolica.ru; email: apstolica@bk.ru

Знак 16+ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ